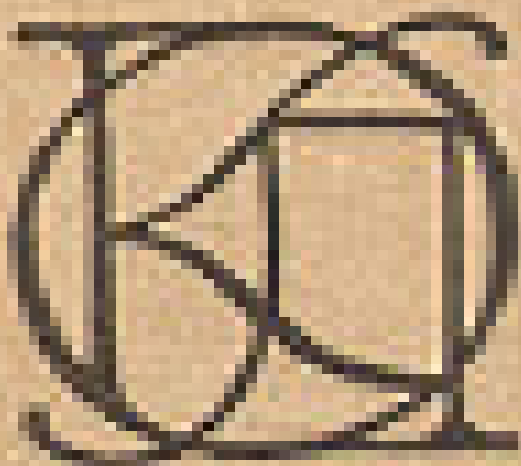


1870
1871
1872



Annotation

В сборник включены рассказы М. Горького, В. Вересаева, К. Федина, А. Фадеева, Ив. Катаева, В. Катаева, Б. Горбатова, М. Зоценко, А. Платонова и других писателей, созданные в тридцатые годы.

<http://ruslit.traumlibrary.net>

- Под чистыми звездами
 - Ю. Лукин. Литература нового человека
 - Максим Горький
 - Рассказы о героях
 - Пантелеймон Сергеевич Романов
 - На Волге
 - Николай Семенович Тихонов
 - Дискуссионный рассказ
 - Александр Александрович Фадеев
 - Землетрясение
 - Вениамин Александрович Каверин
 - Суховей
 - Лев Вениаминович Никулин
 - Полет валькирий
 - Исаак Эммануилович Бабель
 - Аргамак
 - Марк Борисович Колосов
 - Первая палубная
 - Борис Андреевич Лавренев
 - Воображаемая линия
 - Иван Сергеевич Соколов-Микитов
 - На глухом болоте
 - Лидия Николаевна Сейфуллина
 - Собственность
 - Михаил Леонидович Слонимский
 - Католический бог
 - Александр Степанович Грин

- [Бархатная портьера](#)
- [Юрий Карлович Олеша](#)
 - [Альдебаран](#)
- [Борис Михайлович Левин](#)
 - [Голубые конверты](#)
- [Петр Андреевич Павленко](#)
 - [Муха](#)
- [Викентий Викентьевич Вересаев](#)
 - [Болезнь Марины](#)
- [Сергей Николаевич Сергеев-Ценский](#)
 - [Конец света](#)
- [Александр Иванович Куприн](#)
 - [Ночь в лесу](#)
- [Константин Георгиевич Паустовский](#)
 - [Акварельные краски](#)
- [Всеволод Вячеславович Иванов](#)
 - [Разговор с каменотесом](#)
- [Николай Николаевич Никитин](#)
 - [Потерянный Рембрандт](#)
- [Ольга Дмитриевна Форш](#)
 - [Филаретки](#)
- [Валентин Петрович Катаев](#)
 - [Под Сморгонью](#)
- [Михаил Михайлович Зощенко](#)
 - [Двадцать лет спустя](#)
- [Илья Ильф, Евгений Петров](#)
 - [Колумб причаливает к берегу.](#)
- [Вячеслав Яковлевич Шишков](#)
 - [Чертознай](#)
- [Иван Михайлович Касаткин](#)
 - [Задушевный разговор](#)
- [Валентин Владимирович Овечкин](#)
 - [Ошибка](#)
- [Василий Павлович Ильенков](#)
 - [Митрофан и Захарка](#)
- [Александр Серафимович Серафимович](#)
 - [Бригадир](#)

- [Андрей Платонович Платонов](#)
 - [Река Потудань](#)
- [Леонид Сергеевич Соболев](#)
 - [Рождение командира](#)
- [Иван Иванович Катаев](#)
 - [Под чистыми звездами](#)
- [Владимир Германович Лидин](#)
 - [Сад](#)
- [Александр Степанович Яковлев](#)
 - [Глухарь](#)
- [Николай Николаевич Ляшко](#)
 - [Сердолик на ладони](#)
- [Александр Владимирович Перегудов](#)
 - [Светлый день](#)
- [Константин Александрович Федин](#)
 - [Рисунок с Ленина](#)
- [Аркадий Петрович Гайдар](#)
 - [Голубая чашка](#)
- [Антон Семенович Макаренко](#)
 - [Домой хочу](#)
- [Борис Леонтьевич Горбатов](#)
 - [Большая вода](#)
- [Сергей Владимирович Диковский](#)
 - [Сундук](#)
- [Михаил Михайлович Пришвин](#)
 - [Весна света](#)
- [Выходные данные](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)

- [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
-

Под чистыми звездами
Советский рассказ тридцатых годов

Ю. Лукин. Литература нового человека

В стремительном беге времени приняли тридцатые годы эстафету двадцатых. И в жизни, и в литературе... Зародившаяся и окрепшая в минувшем десятилетии молодая литература все более уверенно заявляла о себе как о явлении принципиально новом в истории человеческой культуры, утверждала себя как литература нового мира, нового человека.

Это получило выражение в темах, к которым она обращалась, в идеях, которые она исповедовала, в образах ее героев, в самом характере ее и слоге, в ее служении революционному народу.

В двадцатые годы советская литература силою художественного, образного слова поведала миру о том, как совершилась Великая социалистическая революция, о победе Октября, об ожесточенной схватке старого и нового в жизни общества, о разгроме того, что сопротивлялось движению истории вперед. Об этом повествовали произведения больших и малых форм, посвященные событиям семнадцатого года, гражданской войне, разгрому белых армий и разномастных полчищ интервентов. Многие авторы говорили о том, как ликвидировались тяжелые последствия, которые оставили в жизни города и деревни первая мировая война и война гражданская.

Эти темы, естественно, сохраняются, подвергаются углубленной разработке также в литературе тридцатых годов.

Но круг тем, охват явлений действительности все более расширяется.

Все свободнее и полнее входит в литературу то, что навсегда приковало к ней, советской литературе, внимание и интерес людей во всем мире, завоевало ей горячие симпатии передового человечества. Все разнообразнее, все богаче становится палитра жизненных красок, все обильнее и щедрее таланты ее творцов, все более глубоким содержанием наполняются образы совершенно новых для истории и для литературы мира героев, людей нового общественного строя, нового образа мыслей, нравственных принципов, нового человека.

Уже не только о победе революции идет речь в произведениях писателей всех поколений того времени, но чаще и чаще, ярче и ярче

говорят книги о ее плодах, о том, что впервые в истории и навсегда вошло в жизнь нашего народа. Уже на стыке двадцатых и тридцатых годов, в первой половине тридцатых возникают произведения, отображающие размах созидательного труда, охвативший всю страну, великое время новостроек, переход деревни к хозяйствованию коллективному, рождение в человеческой психологии невиданного дотоле отношения к труду. Вначале робко, как бы ощупью, затем все отчетливее проявляется новизна в быту, ранее всего у молодежи. Радость небывалого, широких горизонтов, светлого неба наполняет людей страны, свершившей великую революцию.

Запечатлевая эти явления и процессы в жизни народа, в сознании и психологии человека, советская литература несет миру слово о людях мирного труда, строящих жизнь, руководствуясь стремлением к миру, к благу и счастью своего народа и всех других народов земли.

Однако полыхали – еще отдаленные – зарницы, предвестницы гроз, темнели кое-где края небосвода, и слышались приближающиеся первые удары и раскаты. Литература тридцатых годов, особенно второй их половины, правдиво запечатлела готовность мирных людей, строителей, созидателей, в любых схватках с любым врагом отстоять завоевания своей революции, с оружием в руках отразить все покушения врагов на свободу, честь и независимость нашей социалистической Родины.

Очень многое было сделано, создано за короткий срок.

Мощной грядой вершин высятся произведения, выразившие наиболее характерные устремления советской литературы двух первых десятилетий ее существования, лучшая их часть составляет то, что с полным основанием зовем мы советской классикой.

Вероятно, вполне естественно сложилось так, что прежде всего сюда должны быть причислены полотна эпические, произведения столь емкого и могучего жанра, каков роман. Роман и близкая к нему по масштабам охвата жизненных явлений повесть – вот жанры, которыми молодая литература заявила о себе наиболее четко и весомо.

Вспомним лишь небольшую часть.

Гражданская война. Выдвинутые ею магистральные, все глубже осмысляемые темы. Фурмановский «Чапаев», «Железный поток» Александра Серафимовича, фадеевский «Разгром» и наконец – «Тихий Дон»

Михаила Шолохова... В том же тематическом ряду книги Алексея Толстого, В. В. Вересаева, Николая Тихонова, Константина Федина, Михаила Булгакова, Бориса Лавренева, Аркадия Первенцева, Артема Веселого, Исаака Бабеля и многих других.

Рабочий человек, освободившийся от извечного рабства, восстанавливающий в своей стране принадлежащие отныне ему заводы, воздвигающий гигантские промышленные предприятия, прокладывающий каналы, строящий плотины, обуздывающий энергию рек, инженер, ученый, обретшие вдохновение и счастье творческого труда в единстве с народом... «Гидроцентральный» Мариэтты Шагинян, «Соть» Леонида Леонова...

Коллективизация сельского хозяйства, революционное изменение вошедших в плоть и кровь крестьянина навыков и представлений, коренная переоценка ценностей, развитие чувства коллективизма, осознание неразрывности судьбы личности с судьбой Родины, всего нашего народа.

«Разбег» Владимира Ставского, «Бруски» Федора Панферова, лучшее из написанного на эту тему – «Поднятая целина» Михаила Шолохова. Судьбы русской интеллигенции, той ее части, которая своим путем шла к революции или безоговорочно слила свою судьбу с судьбою рабочего класса и крестьянства родной страны, постигла смысл жизни в самозабвенном служении общенародному делу, идеям Коммунистической партии, подлинному прогрессу. Здесь могло бы быть повторено не одно из уже названных произведений или уже упоминавшееся имя одного из целого ряда писательских имен.

Эта сосредоточенная и подробная ретроспекция понадобилась в предисловии к сборнику рассказов тридцатых годов потому, что как в капле воды отражается огромный окружающий ее мир, так и маленький рассказ вбирает в себя все явления действительности. Рассказ тридцатых годов, как и все другие литературные жанры, воссоздает ту же, единую картину становления нового. Совокупность многих рассказов лишь сообщает изображению, в отличие, скажем, от романа, сходство с картиной мозаичной, а по сути своей являющей собой нечто единое.

Здесь уместно вспомнить, что тридцатые годы – это время, когда крупнейшие советские писатели перешли к созданию объемных эпических полотен, отражающих социалистическое строительство,

индустриализацию, героизм и творчество народа, пафос коллективного труда (Л. Леонов «Соть», «Дорога на океан», М. Шагинян «Гидроцентральный», И. Эренбург «День второй»); Михаил Шолохов работал над выдающимся произведением социалистического реализма романом «Тихий Дон», Алексей Толстой создавал свою трилогию о судьбах русской интеллигенции «Хождение по мукам». Поэтому читатель не найдет в данном сборнике рассказов этих писателей.

И все же рассказ, думается, все более успешно выполнял свое назначение. Рассказ, а в особенности очерк, в силу своей «оперативности», мобильности быстрее откликались на новые явления быстро развивающейся действительности, шли в ногу со временем.

Этим объясняется многое в стилистике произведений, составивших сборник.

Очевидна близость ряда рассказов к очерку, журналистской зарисовке, тем не менее несомненно написанной пером писателя, мастера изображения художественного.

В этом сборнике рассказов тридцатых годов творчество советских писателей того времени представлено в том единстве и многообразии художественных течений, многоцветности и опять-таки единстве творческих индивидуальностей, плодотворности свободных, смелых исканий и счастливых обретений.

Объединению всех творческих сил советской литературы для решения важнейших общих задач решающим образом способствовал, обеспечил это объединение, консолидацию, приведшую к столь щедрым и благотворным результатам, направил литературный процесс по верному руслу состоявшийся в середине тридцатых годов Первый всесоюзный съезд писателей, на котором был принят устав творческой организации писателей нашей страны.

Во главе сборника стоят по праву «Рассказы о героях» Максима Горького. Вот один из случаев, когда слово «рассказы», думается, не определяет жанровую принадлежность произведения. Это скорее – очерки. Очерки о том, что увидел великий писатель-гуманист в стране победившей революции, что поразило его и взволновало как художника, как гражданина. А много ли найдется в сборнике таких рассказов, которые смогли бы соперничать с этими очерками в

великолепном могуществе образного, подлинно писательского слова, во владении автором богатством русской речи?

Казалось бы, просты портреты и судьбы людей, которые привлекли внимание писателя. А вот назвал он свое произведение рассказами о героях. Увидел он в них героев новой разбуженной революцией жизни, героев той литературы, которая может родиться только в Стране Советов. Такими он и показал их в своем произведении.

Открыли вы страницу, первую страницу горьковских очерков, и можно ли оторваться от этих строк, стряхнуть с себя их колдовскую власть?

«Чем дальше к морю, тем все шире, спокойнее Волга. Степной левый берег тает в лунном тумане, от глинистых обрывов правого на реку легли густые тени, и красные, белые огоньки баканов особенно ярко горят на масляно-черных полотнищах теней. Поперек и немного наискось реки легла, зыблется, сверкает широкая тропа, точно стая серебряных рыб преградила путь теплоходу. Черный правый берег быстро уплывает вдаль, иногда на хребте его заметны редкие холмики домов, они похожи на степные могилы. За кормою теплохода туманнее, темнее, чем впереди, и этим создается фантастическое впечатление: река течет в гору.

Расстилая по воде парчовые отблески своих огней, теплоход скользит почти бесшумно, шумок за кормою мягко-ласков, и воздух тоже ласковый – гладит лицо, точно рука ребенка».

Какая красочная живопись словом, какой могучий русский язык!

Неспроста начинает этим пейзажем великий искусник в литературе свое повествование о людях родной земли, перестраивающих свою жизнь, жизнь своих братьев по труду, по классу. Разве не западет вам в память портрет и весь образ «государственно мыслящей бабищи», бывшей батрачки, ныне делегатки Анфисы или солдата Заусайлова?

Сколь безыскусно говорит он о массовом героизме, вспоминая годы борьбы с Деникиным...

Живая связь с отечественной классикой, с прекрасными традициями русской прозы – творчество одного из крупнейших ее представителей А. И. Куприна. Не сюжетом, не темой, не новизною жизненного материала ценен этот рассказ. Нет в нем достоинства

горьковских, зачастую провидческих наблюдений. Привлекает читателя, даже, пожалуй, завораживает предельная естественность интонации, доверительная искренность беседы, кровная близость художника к родной природе, любовь к пей, мудрая зоркость этой спокойной любви. В рассказе, посвященном тайнам сокровенного общения человека с природой, явственны чистые традиции русской литературы девятнадцатого века.

В купринской «Ночи в лесу» автор рассказывает о глухаринной охоте. Другой «охотничий» рассказ «На глухом болоте» Ивана Соколова-Микитова посвящен охоте на медведя. Вряд ли может не тронуть сердце читающего мягкость штриха, ненавязчивая интонация неспешной беседы с ним автора. Но заметим, как еще непривычно, едва ощутимо входит в рассказ, написанный в 1930 году, деревенская новь: она сводится лишь к упоминанию о том, что эта охота колхозная.

Может быть, противопоставлен по своей творческой установке этому произведению рассказ Вениамина Каверина «Суховой». Тут подчеркнуто удивленное внимание автора к его персонажу, чуть ли не фантастическому, гипертрофированно могучему характеру, строителю-грейдерщику с причудливым именем или прозвищем Бой-Страх. Время действия рассказа – тот же тридцатый год. И следует признать, что явная манерность письма не губит произведения, сквозь нее проступает не сразу уловимое дыхание «ветра» времени...

Любопытно перейти после этого к рассказу Марка Колосова «Первая палубная», с его симпатичным героем – пареньком Сашкой, «судорожным шутником», искусство которого пригодилось, когда для корабельной команды наступил момент огорчительный и надо было поднять настроение у ребят. Рассказ написан в 1930 году. Но в самый сюжет законно входят мотивы социалистического соревнования. Тут уж автор идет, можно сказать, по горячему следу входящего в жизнь нового.

Литератор стремится поскорее подметить новое, сказать о нем во всеуслышание, как бы зафиксировать его, определить ему место в литературном произведении.

Мотивы новой нравственности вступают в сюжет рассказа Василия Ильенкова о том, как облагораживает душу крестьянина колхозный строй, как борется порою человек сам с собою,

одолеваемый привычными соблазнами, не сразу сумевший устоять перед искушением легко обогатиться за счет колхоза. Лишь внезапно поняв, как ошибся он в человеке, которого ни в грош не ставил, считая мелким воришкой, увидев, что этот человечешка радеет теперь об общем благе, устыдившись собственного преступления, которое думал свалить на столь, удобную жертву, раскаявшийся герой рассказа находит верное решение.

О пробужденных советской жизнью добрых чувствах в душе человека, о светлом начале, делающем самых рядовых людей носителями прекрасных внутренних качеств, о том в их жизни, что свершается как бы само собою, а на деле рождено новыми устанавливающимися между людьми отношениями, написан Владимиром Лидиным в присущей его прозе непринужденной манере рассказ «Сад». Непритязателен сюжет: красноармейцы, участвующие в маневрах, проводимых в маленьком городке, помогают одинокой старушке в уходе за ее садом. Писатель показывает отзывчивость и душевную скромность славных советских ребят.

Лишь формирующиеся, непривычно новые взаимоотношения в молодой семье, столь же непривычные формы быта, радикальное измерение положения женщины в семье, в обществе, связанные с этим проблемы привлекли внимание такого мастера психологического анализа, как В. В. Вересаев. В его творчество органично вошел представленный в сборнике рассказ «Болезнь Марины». И герои рассказа близки тем, кто часто становился объектом наблюдений маститого прозаика: молодежь, студенты.

В рассказе Александра Перегудова «Светлый день» еще одна важная примета времени. Необоримому страху трудового человека перед «черным днем» в прошлом здесь противопоставлено чувство спокойной уверенности. Ради «черного дня» люди прежде отказывали себе во многом, лишь бы уж не вовсе голым встретить трудное время, старость, когда не станет у него силы тянуть ляжку. Герой рассказа оказывается совершенно в иных условиях: государство о нем позаботилось, он чувствует на каждом шагу доброе внимание к себе, его старость светла, как светел тот день, о котором ведется повествование.

О другом, так сказать, действующем, неугомном старике написал Валентин Овечкин... Здесь показан колхоз, колоритная

фигура то потешного, то куда как справедливого и мудрого деда со смешным прозвищем «дед Ошибка». Когда-то кто-то прозвал его так, и прозвище прилипло и осталось за дедом, хотя вовсе не за ошибки, а за умение и постоянное стремление применить к нынешним условиям ценный опыт ведения хозяйства в былые годы стали уважать его колхозники и поставили на почетный пост инспектора колхозной бригады. У Валентина Овечкина уже в то время сказалось отличное знание деревни, ее людей, дел и забот, столь полно: выявившееся в гораздо более поздней его книге «С фронтовым приветом...».

С горечью рассказала Лидия Сейфуллина о своей героине, старательной, работающей Клавде, поступившей в услужение к мастерице и владелице мастерской, а та оценила усердие, полюбила ее и «облагодетельствовала»: завещала ей свое дело, сделала ее хозяйкой белошвейной мастерской. Это и стубило Клавдю, исковеркав ее душу, отравив ее ядом, который уродует сознание и мир чувств человека, когда в нем поселяется микроб собственности. Рассказ «Собственность» написан в 1933 году, но действие его начинается задолго до революции. Не успела героиня рассказа, эта простая женщина, подвергнуться воздействию новой жизни, которая выправила судьбы многих женщин, подобных Клавде.

И снова противопоставление судеб героев, старой и новой жизни, характеров и мировоззрений. Хотелось бы остановить внимание читателя на весьма любопытном произведении Всеволода Иванова «Разговор с каменотесом». Сочными красками написан образ человека, словно залитого светом радостного дня, радости свободного, счастливого труда в стране, где рабочий человек воистину чувствует себя хозяином и творцом жизни.

Встретились два человека, вместе работавшие в былые годы в одной сибирской типографии, разные были у них профессии, но общее дело.

А теперь судьба свела их на южной земле, на участке, где герой рассказа, каменотес, участвует в прокладке дороги в горах, соединяющей два курорта, известных всей стране, а автор приехал туда в качестве корреспондента. И вот встреча... Тут и воспоминания, и раздумья о том, что же произошло, что завоевано страной за те годы, пока не виделись эти два человека. Очень естественно и ярко выразил свое отношение к этому и свои чувства герой рассказа: «— ...

вдруг слышу: в Сочи дорогу строят через горы! Дорога широкая, самая красивая в нашей стране.

Будут по ней людей возить в такие воды, что обмакнут тебя, полежишь там – и вылезешь здоровым. Ты видал эту дорогу?.. И пальмы видал?

Сто тысяч людей провезет в год, всех обмакнет, вот какая дорога.

Я много на ней топтался, много молотком стучал... Письма из дома отличные получаю, сыновья моей силе радуются. А верно! О камень ударю – сыплется. Этот удар тебе, этот тебе! Я и для тебя, Сиволот, ударю.

Читал Робинзона Крузо, очень упорно человек жил, много страдал.

Один! Самое страшное – один! Я бил много камня, выше себя набил щебня, все в его честь. Дон-Кихоту бил, приключениям Финна бил.

Максиму Горькому бил особо, три дня. Красиво думает о жизни. Оркестр мимо идет. Красная Армия, Ворошилов! Много им тоже камня бил.

Я каждый день бью больше всех, а последний удар самому себе бью: молодец Шибакмет Искаков, ударник, очень веселый человек».

Вот какая дорога строится, вот какой ударник на ней работает, вот каких людей вырастила, уже успела к середине тридцатых годов вырастить новая, советская жизнь.

Замечательные свойства художественной манеры Всеволода Иванова, его писательской индивидуальности щедро проявились в маленьком рассказе: и редкая наглядность изображения, и подкупающая доброта взгляда, и ничуть не обидный юмор, и умение сказать об очень важном так, словно речь идет о чем-то самом простом...

Иной жизненный материал, иные герои, представители иных профессий, возникших в социалистической стройке, – перед нами в мягком, лиричном рассказе Ивана Касаткина «Задушевный разговор». Герой рассказа юн, рвется к знанию, усиленно готовит себя к рабфаку, даже ночью, при лунном свете, лежа на стогу, штурмует курс исторического материализма...

«Ночного сторожа обильного урожая, ученого колхозника, будущего военного командира зовут Колей. Что о нем сказать: тут

надо складывать новую сказку о полевом герое, который для общего счастья при лунном сиянии упорно подкрадывается к драгоценной жар-птице – науке и ловит ее за радужный хвост».

Узнавали такие Коли о прошлой тяжелой жизни рабочего человека в царской России только из книг да по рассказам старших – дедов и отцов, иной раз – старших братьев. Встретить бы Коле «Чертозная», о котором повествует рассказ Вячеслава Шишкова! Сильно написано это произведение о человеке, каких принято называть самородками, о работнике несомненно одаренном, на примере чьей судьбы столь отчетливо противопоставил художник старую и новую жизнь золотых приисков. Существенно то, что герой рассказа, типичный таежный приискатель в прошлом, тот самый Чертознай, теперь помогает комсомольцам, помогает им победить вставшие перед ними трудности.

Одну за другой раскрывает перед нами рассказ тридцатых годов страницы увлекательного повествования о новой жизни на земле победившей революции. Одна за другой появляются перед нами грани огромной темы.

Люди, свершившие революцию, строящие социалистическое общество, с законным сознанием своего превосходства вглядываются в чуждую им жизнь стран зарубежных. Литература вбирает в себя характерные интонации памфлета. Таков, к примеру, рассказ Михаила Слонимского «Католический бог». Говорится в нем о зарождении в Германии фашизма, о готовящемся захвате власти Гитлером. К сожалению, рассказ ослаблен схематичностью, плакатностью изображения. Но справедливость требует отметить, что написан рассказ уже в 1932 году, накануне известных событий в истории Германии.

Обширность панорамы, развернутой представленными в сборнике рассказами, отлично характеризуется, например, появлением темы завоевания Арктики, темой Заполярья, быта зимовщиков. Это, как известно, одна из тем, увлекавших Бориса Горбатова. Сердечно описал он своих героев, их нелегкий быт, их заботы и нужды, немалые сложности, переживаемые ими, препятствия, которые им приходилось преодолевать.

Теплыми красками написан портрет чудесного человека, одинокого старика который находит для себя радость в той

неоценимой помощи, которую оказывает он людям, в сочувствии им, в стремлении уменьшить горе каждого, умножить его счастье.

Леонид Соболев рассказывает о молодом военном моряке, юном офицере, размышляющем о качествах, которые должен выработать в себе всякий воин, призванный стать командиром...

«Программным» для всего сборника стало название рассказа Ивана Катаева «Под чистыми звездами». В самом деле, удивительной чистотой, ясным светом напоен, кажется, сам воздух, которым дышат герои произведения. Ощущение чистоты не оставляет читателя, всматривающегося в то как идет соревнование колхозных бригад, вслушивающегося в разговор-признание двух молодых людей – юноши и девушки, в слова юноши о его стремлениях, о его мечте. Сильна и чиста любовь этих двух сердец. Спокоен и радостен взгляд советских людей, советского писателя, обращенный к будущему. Писатель показывает поэзию сельского труда в свободной стране, поэзию возникших лишь в молодом, революцией созданном мире, отношений между людьми, да и самих характеров вырастающих в этом мире, созданном для счастья человека.

И элементы нового быта свободно вошли в рассказ – кинопередвижка на сеноуборке в алтайских краях, и желание колхозного паренька учиться, открытая перед ним перспектива осуществления этой мечты и тяга паренька к искусству... Вполне реалистичен и в то же время несет в себе глубокую прекрасную символику «пейзаж» ночного неба над утренним, пробуждающимся Алтаем, распахнувшийся в концовке рассказа: над смутно чернеющей внизу щетиной нагорных лесов, над белесыми полосами катунских туманов, над воздушно-серебряной чертой зубцов и куполов Терехтинских «белков» – высоко над головой горят звезды, горят торжественно и лучисто...

Рассказ Константина Феина – о художнике, работающем над портретом Ленина. Художник напряженно ищет решение, которое дало бы ему возможность открыть в облике вождя то, что наиболее ему присуще, что сразу и как можно полнее выразит и величие, и пламенную натуру, и мудрость, и тесную близость к массам трудовых людей. Показать вождя революции, революционной массы в неодолимом движении и в живом общении с ведомыми им вперед и вперед людьми...

Художник находит нужный ему аспект, нужный ракурс, когда видит Владимира Ильича среди участников конгресса Коминтерна... Вот лишь некоторые из черт, которые пытается уловить художник: «Ленин шел во главе делегатов конгресса. Рядом с ним все время сменялись люди – иностранцы, русские, старые и молодые. Он кончал говорить с одним, начинал с другим, третьим... Было похоже, что он – не на улице, среди тяжелых, огромных строений, а в обжитой комнате, дома; ровно ничего не находил он необычайного в массе, окружавшей его, и просто, свободно чувствовал себя во всеобщем неудержимом тяготении к нему людей...» И сценка, которую наблюдал художник на некотором отдалении и которая потому осталась для него немой, но «полная движения, так остро выразила в Ленине непринужденность, доступность и беспощадное чувство смешного. Сергей видел Ленина веселого, от души хохочущего, наблюдал его манеру спорить – с быстрыми переменами выражения лица, с лукаво прищуренным глазом, с жестами, полными страсти и воли...». Сценка «должна была дополнить рисунок Сергея такими важными штрихами, каких прежде он не мог знать».

Новая жизнь народа была добыта в боях Революции. Молодая республика отстояла себя, защитила созданное ею в битвах не на жизнь, а на смерть с контрреволюцией, с армиями врагов, терзавших ее внутри страны и вторгнувшихся из-за ее рубежей, из стран старого мира.

Наш народ, построивший свое государство, добившийся поразившего мир расцвета новой жизни на своей освобожденной Родине, вкусивший плоды завоеваний Революции, познавший счастье раскрепощения народных сил и талантов, видевший впереди широкий путь, открытый для свободного труда и творчества, – предвидел, что не однажды еще возобновятся покушения на его право строить свою жизнь, идти по избранной им дороге...

Часты возвращения в литературе тридцатых годов, в частности в новеллистике, мотивов гражданской войны, охраны границ Родины.

А кое-где возникали отдаленные отзвуки громов будущих, неотвратимо надвигавшихся столкновений, битв с самыми черными силами реакции, империализма, уже выпестовавшими такое чудовищное свое детище, как фашизм.

Воспоминания автора ли, героев ли рассказов о гражданской войне, связанные с нею этапы их биографий присутствуют во многих произведениях, в том числе и в тех, о которых уже шла речь. У Всеволода Иванова и автор и герой помнят об этих боях, входит эта тема и в судьбу персонажей рассказа Ивана Касаткина. Набрасывая портрет колхозного бригадира, Александр Серафимович все время вводит воспоминания о прошлом, воинском прошлом этого человека, сражавшегося с белыми бандами.

С годами гражданской войны связано суровое повествование Пантелеймона Романова (рассказ «На Волге»).

Целиком посвящены тому времени, тем событиям такие произведения в сборнике, как «Полет валькирий» Льва Никулина, «Аргамак» Исаака Бабеля, «Дискуссионный рассказ» Николая Тихонова.

Воинская служба пограничников дала содержание рассказам Бориса Лавренева «Воображаемая линия», Петра Павленко «Муха».

Надеюсь, читатель задержит особое внимание на превосходном рассказе Александра Фадеева «Землетрясение». Очень органично сплетаются здесь описание одной из строек (прокладывается трасса железной дороги через горный перевал в дальневосточной тайге) с партизанским прошлым героев произведения. Там, где строится дорога, воевали они в те годы. Близка эта земля, эта тема автору «Разгрома» и «Последнего из удэге». В рассказе, датированном 1934 годом, отчетливо ощущается точная рука большого мастера прозы. И выстроен рассказ в композиционном отношении образцово, и образы людей привлекают сочностью колорита, и характерна здесь присущая Фадееву сосредоточенность на передаче движения мысли и эмоции действующих лиц, проникновение в их психологию.

Литература возникшая и возникавшая в тридцатые годы, не может не поразить обилием и многообразием талантов тех, кто ее создавал, кто представляет ее и в этом сборнике. Светло отразилось здесь удивительное явление в жизни: рождение новой культуры, утверждение ее, формирование принципов творчества, обеспечивающих наиболее свободное развитие и выявление художественных индивидуальностей, манер, стилистических течений. Свидетельств этого благотворного процесса множество.

Мастерство реалистической живописи, детальнейшее знакомство с предметом изображения, совершенное постижение материала, подвергаемого художественному исследованию – впечатления, владеющие читателем, вникающим в особенности рассказа С. Сергеева-Ценского «Конец света». Сочность фактуры, сочность характеров, не оставляющее вас чувство свежести при познании новых для него сторон мира маленьким героем рассказа мальчиком Костей, поехавшим вместе с отцом в Крым...

На страницах сборника вас будут встречать то элегантная, «ленинградская», сдержанность слога забавных «Филареток» Ольги Форш, то словесная филигрань и обточенные, шлифованные самоцветы русского слова в рассказе Валентина Катаева «Под Сморгонью», теплая лиричность мягкой повествовательной манеры Николая Ляшко («Сердолик на ладони») гротескно обрисованные морячки, населяющие романтические порою ироничные рассказы, сочиненные Александром Грином.

Порождения гриновской выдумки, его летучей фантазии соседствуют с милым повествованием Александра Яковлева о детстве глухоренка, повествованием столь убедительным, что порою вы сами, наверное, почувствуете себя братом или сестренкой героя рассказа, частичкой шустрого выводка, доставляющего столько забот матери-глухарихе...

Резкий и разящий штрих карикатуры на действительность современной Америки словно пронзает объект изображения в рассказе И Ильфа и Е Петрова. Разящего эффекта достигают авторы, заставив Колумба воскреснуть и снова открывать Америку. Америку теперешнюю.

Открывать для себя... Снова гротеск, но на этот раз бичующий, направленный на цель весьма конкретную, на «достижения» капитализма, убивающие, растлевающие душу человека.

И после саркастической графики этой сатиры особенно нежными и проникновенными воспринимаются акварельные краски пейзажей Константина Паустовского, влекущие к себе и завладевающие сердцем художника-живописца, заставив его не только понять и влюбленно оценить родную природу, но и постигнуть как бы душу Родины, как некую тайну, открывающуюся человеку в минуты прозрения...

Возникло такое принципиально новое явление в культурном обиходе, как литература детская, созданная у нас в стране, быстро укрепившаяся и достигшая заметного развития. Прекрасный образец писательского творчества для детей – помещенный в сборнике известный рассказ Аркадия Гайдара «Голубая чашка». Это и теперь одно из любимых произведений наших детей, с удовольствием перечитывают его и взрослые, восстанавливая в памяти знакомые с детства картины. Даже в этом рассказе, написанном в 1936 году, живут отзвуки борьбы против врангелевского десанта в годы гражданской войны, боевого прошлого, правда, столь еще недавнего, отнюдь не поросшего быльем...

Миниатюра Юрия Олеши «Альдебаран» – крошечный шедевр художника-виртуоза, словно сверкающий непринужденным, щедрым, жизнерадостным озорством мастера.

Изящный сарказм Михаила Зощенко без громких слов буквально уничтожает героя рассказа «Двадцать лет спустя». Как всегда, Зощенко с открытым забралом сражается против мещанства, клеймит ничтожество мелких душонок...

Главным достоинством «Голубых конвертов» Бориса Левина представляется редкостно остроумно построенный сюжет. Мягкий лиризм дарования этого талантливого прозаика несколько неожиданно сочетается у него обычно с мотивами разоблачительными. Нравственная нетерпимость к разнообразным проявлениям мещанства выявляет себя и в этом рассказе, с его увлекательным комизмом и характеров и, особенно, ситуаций.

Нравы тех, кого называли нэпачами, мутную атмосферу, окружавшую словно выплывшие из небытия тени старого мира, живописует и обличает рассказ опять-таки с интереснейшей ситуацией – «Потерянный Рембрандт» Николая Никитина. Стиль этого прозаика чем-то напоминает стиль так называемых плутовских романов литературы прошлого.

Произведение Николая Никитина по духу близко романам Ильфа и Петрова. А сюжет его таит в себе столь благодарные возможности, что мог бы послужить также основой широко развернутой фабулы небольшого романа...

Литературная биография выдающегося советского писателя-педагога Антона Семеновича Макаренко вся протекла – началась и

завершилась – в тридцатые годы. В сборнике читатель найдет известный рассказ Макаренко «Домой хочу (рассказ бывшего колониста)». Читатель уловит свойственное Макаренко сочетание вдумчиво серьезного смысла беседы о вещах более чем важных с особенной, мелькающей кое-где ласково-ироничной по отношению к своим героям интонацией, как бы высвеченной взглядом умнейшего, многоопытного педагога, проницательного психолога. Примечательна нота, звучащая в концовке, говорящая о готовности советских людей к самым суровым испытаниям ради защиты советской Родины.

Эта нота, этот гражданский, художественный мотив внезапно сближают рассказ Макаренко с таким, казалось бы, непохожим произведением, как «Весна света» Михаила Пришвина.

Удивительное произведение ожидает вас на страницах сборника.

Беседа с вами, покорит вас писатель и обаянием внутреннего своего мира, и мудростью, почерпнутой в наблюдениях и раздумьях, и опытом философа, сложившимся за долгие годы, и верой в прекрасные силы природы и человеческой души...

И снова звучит в рассказе предчувствие грядущих битв за то, что назвал писатель весной света, за нашу страну, за ее жизнь. Написан был рассказ в 1939 году.

Вот о чем и как повествуют рассказы советских писателей, созданные в тридцатых годах. Вот какую действительность правдиво, вдохновенно отражают они.

А их собственное многообразие, духовное богатство их создателей, щедрость свободно выявляющихся талантов, светлая увлеченность строительством нового мира – ведь тоже одна из побед этого нового мира, его драгоценная частица.

Максим Горький

Рассказы о героях

«Всякое дело человеком ставится, человеком славится».

I

Чем дальше к морю, тем всё шире, спокойней Волга. Степной левый берег тает в лунном тумане, от глинистых обрывов правого на реку леги густые тени, и красные, белые огоньки баканов особенно ярко горят на масляно-чёрных полотнищах теней. Поперёк и немножко, наискось реки легла, зыблется, сверкает широкая тропа, точно стая серебряных рыб преградила путь теплоходу. Чёрный правый берег быстро уплывает вдаль, иногда на хребте его заметны редкие холмики домов, они похожи на степные могилы. За кормою теплохода туманнее, темнее, чем впереди, и этим создается фантастическое впечатление: река течёт в гору. Расстилая по воде парчовые отблески своих огней, теплоход скользит почти бесшумно, шумок за кормою мягко-ласков, и воздух тоже ласковый – гладит лицо, точно рука ребёнка.

На корме сдержанно беседуют человек десять бессонных людей. Особенно чётко слышен высокий, напористый голосок:

– А я скажу: человек со страха умира-ат...

В слове «умирает» он растянул звук «а» по-костромски. Ему возражают пренебрежительно, насмешливо, задорно:

– Смешно говорите, гражданин!

– В боях не бывал!

Напоминают о тифе, голоде, о тяжести труда, сокращающей жизнь человека. Усатый, окутанный парусиной, сидя плечо в плечо с толстой женщиной, сердито спрашивает:

– А старость?

Костромич молчит, ожидая конца возражений. Это – самый заметный пассажир. Он сел в Нижнем и едет четвёртые сутки. Большинство пассажиров проводит на пароходе дни своих отпусков,

это всё советские служащие; они одеты чистенько, и среди них он обращает на себя внимание тем, что очень неказист, растрёпан, как-то весь измят, сильно прихрамывает на правую ногу и вообще – поломан. Ему, наверное, лет пятьдесят, даже больше. Среднего роста, сухотелый, с коричневой жилистой шеей, с рыжеватой, полуседой бородкой на красном лице; из-под вздёрнутых бровей смотрят голубые глаза, смотрят эдаким испытующим взглядом и как будто упрекают. Трудно догадаться – чем он живёт? Похож на мастерового, который был когда-то «хозяином». Руки у него беспокойные, он шевелит губами, как бы припоминая или высчитывая что-то; очень боек, но – не весёлый.

Часа через два после того, как появился он на палубе теплохода, он обежал её, бесцеремонно разглядывая верхних пассажиров, и спросил матроса:

– С верхних-то сколько берут до Астрахани?

И через некоторое время его певучий голос внятно выговаривал на нижней палубе:

– Конечно, – лёгкое навверх выплывает, подымается, тяжёлое – у земли живёт. Ну, теперь поставлено – правильно: за лёгкую жизнь – плати вчетверо.

Нельзя сказать, что этот человек болтлив или что он добродушен, но ясно чувствуется, что он обеспокоен заботой рассказывать, объяснять людям всё, что он видел, видит, узнал и узнаёт. У него есть свои слова, видимо, они ему не дёшево стоят, и он торопится сказать их людям, может быть, для того, чтоб крепче убедиться в правоте своих слов. Прихрамывая, он подходит к беседующим, минутку-две слушает молча и вдруг звонко говорит нечто, не совсем обычное:

– Теперь, гражданин, так пошло: ты – для меня, я – для тебя, дело у нас – общее, моё к твоему пришито, твоё к моему. Мы с тобой – как две штанины. Ты мне – не барин, я те – не слуга. Так ли?

Гражданин несколько ошарашен неожиданным вмешательством странного человека и смотрит на него очень неблагоприятно. Пожилая женщина, в красной повязке на голове, говорит, вздыхая:

– Так-то так, да туго это понимают!

– Не понимают это – которые назад пятятся, вперёд задницей живут, – отвечает хромой, махнув рукою на тёмный берег: теплоход поворачивал кормой к нему.

– Верно, – соглашается женщина и предлагает: – Присаживайся к нам, товарищ!

Он остался на ногах, и через две-три минуты высокий голос его чётко произнёс:

– Всякое дело людьми ставится, людьми и славится.

Прозвучало это как поговорка, но поговорка, только что придуманная им и неожиданная для него.

Вот так он четвёртые сутки и поджигает разговоры, неумолимо добиваясь чего-то. И теперь, внимательно выслушав все возражения против его слов о том, что «человек умирает со страха», он говорит, предостерегающе подняв руку:

– Старики, конечно, от разрушения системы тела мрут, а некоторо-а часть молодых – от своей резвости. Так-ведь я – не про всех людей, я про господ говорил. Господа смерти боялись, как, примерно, малые ребята ночной темноты. Я господ довольно хорошо знаю: жили они – не весело, веселились – скушно...

– Откуда бы тебе знать это? – иронически спрашивает усатый человек. – На лакея ты не похож...

Молодой парень в шинели и шлеме резко спрашивает:

– Позвольте, гражданин! При чём тут обидное слово – лакей?

– Есть пословица: для лакея – нет... людей.

– Пословицы ваши оставьте при себе.

Присоединяется ещё один голос:

– Пословица ваша сочинена тогда, когда лакея за человека не считали...

– Довольно, граждане!

Хромой терпеливо ждёт, выбирая из коробки папиросу, потом говорит:

– Я тебе, гражданин, пословиц сколько хочешь насорю, ну – толку между нами от этого не много будет. Это ведь неверно, что «пословица век не сломится»...

Красноармеец перебивает его:

– Насчёт страха – тоже неверно. Это теперь буржуазия смерти боится, а раньше...

– И раньше, – настойчиво говорит хромой, раскурив папиросу. – Я обстановку жизни изнутри знаю, в Питере полотёром был...

– Ну, если так, – проворчал усатый и усмехнулся.

– Вот те и так! До тринадцати годов я, по сиротству, пастушонком был, а после крёстный батюшка прибыл в село, да и похитил меня, как бирюк барашка. Четыре года я и выплясывал со щёткой на ноге по квартирам, ресторанам, по публичным домам тоже. В Питере тогда особо роскошные бардачки были, куда тайно от мужьёв настоящие барыни приезжали, ну и мужья тоже тайно от них. Я все четыре года во дворе такого бардачка прожил, в подвале, стало быть, мог кое-чего видеть...

Курил хромой торопливо, заплатавал дым глубоко, из-под его жёлтых растрёпанных усов дым летел так, точно человек этот загорелся изнутри и вот сейчас начнёт выдыхать уже не дым, а огонь.

– И в боях я во всяких бывал, – обратился он в сторону красноармейца. – Я, браток, повоевал так, как тебе, пожалуй, не придётся, да я тебе и не желаю. Под Ляояным был, бежал оттуда так, что сапоги насквозь пропотели...

Кто-то засмеялся, толстая женщина спросила:

– Что же вы – гордитесь этим?

– Нет, зачем? – звонко ответил рассказчик. – У меня, для гордостей, другое есть, георгиевский кавалер, два креста получил, когда мотался на фронтах от Черновицы города до Риги даже. Там ранен два раза, в своей, за Советы, – два, для гордостей – хватит!

– За что кресты получили? – спросил усатый.

– Один – за разведку и пулемёт захватил, другой – рота присудила, – быстро, но как будто неохотно ответил хромой; плюнув в ладонь, он погасил окурок в слюне и, швырнув его за борт, помолчал.

Обнявшись, тихонько напевая, подошли две девицы.

Одна сказала:

– Смотри – лодка, точно таракан...

– Огоньки на берегу, – задумчиво сказала другая, а красноармеец спросил что-то о пулемёте.

– Да так это, случайно, – нехотя сказал хромой воин. – Послали нас, троих, в разведку, я – за старшего... Ночь, конечно, австрияки не так далеко, шевелились они чего-то... Это ещё в самом начале войны было. Ползём. Впереди, за кустами, кашлянул человек, оказалось – пулемётное гнёздышко, вроде секрет. Пятеро были там. Одного – взяли, он по-русски мог понимать, ветеринар оказался. Нашего одного тоже там оставили, потому что погоня началась, а он – раненый, а у

нас – пулемёт. Проступок этот сочли за храбрость, даже приказ по полку был читан.

– Ногу-то когда испортили? – спросил красноармеец.

– Это уже когда господина Деникина гнали, – очень оживлённо заговорил хромой. – Ногу я упрямством спас, доктор решил отрезать её. Я его уговариваю: оставь, заживёт! Он, конечно, торопится, вокруг его сотни людей плачут, он сам плакать готов. Я бы, на его месте, топором руки, ноги рубил, от жалости. Ну, поверил он мне, нога-то – вот!

– Герой, значит, вы, – сказала одна из девиц.

– В гражданскую войну за Советы мы все герои были...

Усатый человек напомнил:

– Ну, не все, бывало, и бегали, как под Ляояном, и в плен сдавались...

– Когда бегали – не видал, а в плен сам сдавался, – быстро ответил рассказчик. – Сдашься, а после переведёшь десятка два-три на свой фронт. Переводили и больше.

– Вы – крестьянин? – спросила женщина.

– Все люди – из крестьян, как наука доказыва-ат...

Красноармеец спросил:

– В партии?

– На кой нужно ей эдаких-то? В партии ерши грамотные. А меня нехватка стеснила, грамоты не знал я почти до сорока лет. Читать, писать у безделья научился, когда раненый лежал. Товарищи застыдили: «Как же это ты, Заусайлов? Учись скорее, голова!» Ну, выучили, маракую немножко. После жалели: «Кабы ты, голова, до революции грамоту знал, может, полезным командиром служил бы». А почём я знал, что революция будет? В ту революцию, после японской войны, я об одном думал: в деревню воротиться, в пастухи, а на место того попал в дисциплинарную роту, в Омск.

Красноармеец засмеялся, ему вторил ещё кто-то, а усатый человек поучительно сказал:

– В грамоте ты, брат, действительно слабоват, говоришь – проступок, а надобно – поступок...

– Сойдёт и так, – отмахнулся от него солдат, снова доставая папиросу, а красноармеец подвинулся ближе к нему и спросил:

– За что в дисциплинарную роту?

– Четверых – за то, что недосмотрели арестованного, меня – за то, что не стрелял; он выскочил из вагона, бежит по путям, а я у паровоза на часах, ну, вижу: идёт человек очень поспешно, так ведь тогда все поспешно ходили, великая суматоха была на всех станциях. На суде подпоручик Измайлов доказывает: «Я ему кричал – стреляй!» Судья спрашивает: «Кричал?» – «Так точно!» – «Почему же ты не стрелял?» – «Не видел – в кого надо». – «Ты, что ж – не узнал арестанта?» – «Так точно, не узнал». – «Как же ты, говорит, ехал в одном вагоне с ним три станции конвоиром, а не узнал? Ты, говорит, напрасно притворяешься дураком». Ну, потом требовал: расстрелять. Однако никого не расстреляли...

Он засмеялся очень звонким, молодым смехом и сказал, качая головой:

– Суматошное время было!

– А ты, дядя, не плох, – похвалил красноармеец, хлопнув ладонью по его колену. – Чем теперь занимаешься?

– Пчелой. На опытной станции пчеловодством. Дело – любопытное, знаешь. Делу этому обучил меня в Тамбове старик один, сволочь был он, к слову сказать, ну, а в своём деле – Соломон-мудрец!

Заусайлов говорил всё более оживлённо и весело, как будто похвала красноармейца подбодрила его.

Толстая женщина ушла, усатый сосед её сказал:

– Я сейчас приду.

Но тотчас встал и тоже ушёл, а на его место, на связку каната, присела девушка, которой лодка показалась похожей на таракана.

– С пчёлами он такое выделял – в цирке не увидишь эдакого! – продолжал Заусайлов и причмокнул. – Сам он был насекомая вредная и достиг своей законной точки – шлёпнули его в двадцать первом за службу бандитам. Мне в этом деле пятый раз попало – голову проломили. Ну, это уж я не считаю, потому – время было мирное, не война. Да и сам виноват: любопытен, разведку люблю; я и в нашей армии ловким считался на это дело.

– В нашей – в Красной? – тихонько спросила девушка.

– Ну, да. Другой армии у нас нету. Хотя и в той – тоже. Там, конечно, по нужде, по приказу, а у нас по своей охоте.

Он замолчал, задумался. Вышла женщина с мальчиком лет семи-восьми; мальчик тощий, бледненький, видимо, больной.

– Не спит? – спросила девушка.

– Никак!

– Я к тебе хочу, – сердито заявил мальчуган, прижимаясь к девушке; она сказала:

– Садись и слушай, – вот человек интересно рассказывает.

– Этот? – спросил мальчик, указав на красноармейца.

– Другой.

Мальчик посмотрел на Заусайлова и разочарованно протянул:

– Ну-у... Он старый...

Красноармеец привлёк мальчугана к себе.

– Стар, да хорош, куда хошь пошлешь, – отозвался Заусайлов, а красноармеец, посадив мальчика на колени себе, спросил:

– Как же ты, товарищ, к бандитам попал?

– А я их выяснил, потом – они меня. Суть дела такая: вижу я – похаживают на пчельник какие-то однородные люди, волчьей повадки, все невесёлые такие. Я и говорю товарищам в городе: подозрительно, ребята! Ну, они мне – задание: доказывай, что сочувствуешь! Доказать это – легче лёгкого: народ тёмный, озлобленный до плупости. Поумнее других коновал был, артиллерист, постарше меня лет на пятнадцать – двадцать. Практику с лошадьми ему запретили, ну, он и обиделся. К тому же – пьяница. В шайке этой он вроде штабного был, а кроме его, ещё солдат ростовского полка, гренадёр, замечательный гармонист.

Мальчуган прижался щекою к плечу красноармейца и задремал, а девушка, облокотясь о свои колени, сжав лицо ладонями, смотрела за борт, высоко подняв брови. Теплоход шёл близко к правому берегу, мимо лобастого холма, под холмом рассеяно большое село: один порядок его домов заключён, как строчка в скобки, между двух церквей. С левого борта – мохнатая отмель, на ней – чёрным кустарник, и всё это быстро двигается назад, точно спрятаться хочет.

– Банда – небольшая, человек полсотни, что ли. Командовал чиновник какой-то, лесничий, кажись, так себе, сукин сын. Однако – недоверчивый. Ну вот, они трое приказывают мне: узнай то, узнай это. Товарищи говорят мне, что я могу знать, чего – не могу. Действовали они рассеянно: десяток там, десяток – в ином месте, людей наших бьют, школу сожгли, вообще живут разбоем. Задание у меня, чтоб они собрались в кулачок, а наши накрыли бы их сразу всех, как птичек

сетью. Сделана была для них заманочка... помнится – в Борисоглебском уезде на маслобойке, что ли. Поверили они мне, начали стягивать силы. Чёрт его знает почему, старик догадался и вдруг явись, как злой дух, раньше, чем они успели собраться, однако – тридцать четыре сошлось. Начал он сеять смуту, дескать, надобно проверить, да погодить, да посмотреть. Вижу – развалит он всё дело, говорю нашим: «Берите, сколько есть!» Они за спиной у меня были в небольшом числе. Тут меня ручкой револьвера – по голове. Вот и вся недолга история!

– О, господи! – вздохнула женщина. – Когда всё это кончится?

– Когда прикончим, тогда и кончится, – задорно откликнулся рассказчик. Женщина махнула на него рукой и ушла.

– А ведь верно, вы в самом деле – герой, – весело и одобрительно сказал красноармеец. Мальчик восторженно спросил:

– Что ты кричишь?

– Извини, не буду, – отозвался красноармеец. – Строгий какой!.. Чужой вам? – спросил он девушку.

– Племянник, – ответила она. – Иди-ка спать, Саша.

– Не хочу. Там – храпит какой-то.

Он снова прижался к плечу красноармейца, а Заусайлов вполголоса повторил:

– Саша...

И, вздохнув, покачиваясь, потирая колени ладонями, заговорил тише, медленнее.

– Ты, товарищ, говоришь – герой. Слово будто не подходящее нашему брату, – своё защища-ам, ну ведь и бандиты, кулаки – своё. Верно?

Мальчик снова восторженно и громко, как бы с гордостью, сказал:

– У меня отца кулаки убили. Я видел – как. Мы приехали из города, папа вылез ворота отворять, а они на него напали пьяные, два, а я уже проснулся, закричал. Они его палками.

– Вот оно как, – сказал Заусайлов.

– Н-да, – угрюмо откликнулся красноармеец, а девушка сказала:

– В третьем году, а он – помнит.

– Я помню, – подтвердил мальчик, тряхнув головой.

– Расти он перестал после того, – продолжала девушка, вздыхая, – двенадцатый год ему.

– Вырасту, – хмуро пообещал мальчуган. Заусайлов пошлёпал его по колену и посоветовал:

– Так и помни!

– Вот они, дела-то, – пробормотал красноармеец. – Учительница будете?

– Да. Мы обе, с его матерью.

– Сестра вам?

– Жена брата.

– Убитого?

– Да.

Все замолчали. Красноармеец, расстегнув шинель, прикрыл мальчика и прижал его к себе плотнее.

– Вот оно, геройство, – снова заговорил Заусайлов. – Оно у нас – везде, товарищ.

Щупая пальцами папиросы в коробке, он, негромко и не торопясь, заговорил:

– Я могу хвастануть – знал героя. У нас в отряде парень был, тоже – Саша. Сашок, звали его, туляк он, медная душа. Весёлый был и – куда хошь сунь, везде он на своём месте. Личностью маленько на тебя схож был, тоже крепыш и зубастенький, как хорёк. Ты – кавалерия?

– Да.

– То-то шинель длинна. И – аккуратен.

Закурив, он продолжал, снова оживляясь:

– Был он семинарист, Сашок, из недоучек; сказывал, что выгнали его за резвость. Однако – сильно образованный. Он меня и многих в безбожники обратил, мастак был насчёт леригии, очень убедительный. Бога знал, как богатого соседа, и так доказывал, что бог жить мешает, что не хочешь, а – веришь. Н-ну, вот...

– Случилось так, что заскочил сгоряча наш отряд далеконько. За Курском это было, Деникина гнали. Вообще перепуталась обстановка, непонятно: где – они, где наши. Товарищи говорят: «Ну-ка, Заусайлов, сходи, сообрази, кто у нас с левого бока? И – сколько? Возьми себе, по вкусу, одного, двух парней». Это, конечно, так и надо по моей безграмотности. Взял я Сашка и Василия Климова, – осанистый был мужчина, вроде старшего дворника, – в Питере в царёвы годы бывали

такие дворники: он, сукин сын, дворник, а осанка – церковного старосты.

– Ну, пошли. Места – незнакомые. Держимся линии железной дороги, Сашок с Климовым по одну сторону насыпи, я – по другую, впереди шагов на сто. Дорога, конечно, раскарябана. Вечер – лунный, ветерок гуля-ат, облака бегут, тени ползут, там – тень, тут – тень, да сразу – бом! «Стой!» – кричат. Вижу – пятеро. Они хоть и белые, а в один цвет с землёй и в кустах, около насыпи, неприметны. Командирчик – молодой, ещё и до усов не дорос, реворверчик в руке, шашечка на боку, винтовочка коротенька за плечом, – вооружён, как для портрета фотографии. Нацелился мне в глаз, допрашивает, покрикивает; я, конечно, вроде как испугался, тоже во весь голос кричу, чтоб Сашок с Климовым слышали, дескать – бегу от красных, боюсь – мобилизуют. Он как будто верить начал, а солдатик один и подскажи ему: «Ваше благородие, выправка у него подозрительная, наверно – солдат ихний, разведчик!» Ах ты, думаю, сучкин сын! Ну, побили меня немножко, отрядил он со мной двоих, повели меня куда надо. Идём тихонько, и дождичек пошёл. Начал было я балагурить с конвоем, вижу: ничего не выходит, сердятся они, видно, устали. Решил молчать, а то, пожалуй, пришибут, черти.

– Долго ли, коротко ли – дошли в село, большое село и пострадавшее: горело в двух местах, некоторые избы артиллерией побиты. У церковной ограды, под деревьями коновязь, семнадцать лошадей – все дрянцо. Поодаль на дереве два уже висят. «Ну, думаю, ежели не убегу, – тут и останусь». Темновато, огней в окнах почти нет, время – за полночь, спит белое воинство. Человек пяток на паперти прячутся от дождя. Привели меня к школе, а напротив её – хороший дом, два этажа, только крыша разбита. Там – шумят и огонь есть. Один конвойный пошёл туда, другой сел на крылечко школы, я, конечно, стою на дождике, тут – не побежишь.

– Вышел другой конвойный, говорит: «До утра велено оставить». Это – меня, значит. Потолковали они, куда меня запереть, повели недалеко от школы, затолкали в избу, в ней уж совсем ни зги не видно, окна заколочены. Солдат спичку зажёт – вижу я: пол разворочен, угол разбит, верхние венцы завалились внутрь, в углу – тряпьё, похоже, что убитый лежит. Дождичек проникает в избу. Солдат оглядел всё, вышел в сени, дверь не закрыл. «Это – плохо, что не закрыл, а вылезти отсюда

– пустяки», – думаю. Сижу. Тихо, только лошади сопят, пофыркивают, дождик шуршит; людей не слышно. Солдат в сенях повозился и тоже засопел, потом, слышу, – храпит.

– Счёта времени я, конечно, не вёл, часов помнить не могу, сижу, не смыкая глаз, и – как страшный сон вижу. Душа скучает, и – совестно: вот как влопался! Зажёг осторожненько спичку, поглядел – брёвна так висят, что снаружи влезть в избу, пожалуй, можно, а вот из избы-то едва ли вылезешь. Встал, попробовал – качаются.

– И тут меня точно кипятком ошпарило, слышу шёпот: «Заусайлов!» Это – Сашок, это – он! «Вылезай», – шепчет. Отвечаю: «Никак нельзя, в сенях – солдат». Замолчал он, потом, слышу, царапает, брёвна поскрипывают. И только что, на счастье своё, отодвинулся к печке, – заскрежетало, завалились брёвна в избу. Ну, теперь – оба пропали!

– Солдат, конечно, проснулся, кричит: «Что ты там?» Отвечаю: «Не моя вина, угол обвалился!» Ну, ему, конечно, наплевать, был бы арестованный жив до казённого срока. Пожалел, что не задавило меня. Стало опять тихо, и слышу, близко от меня, – дыхание, пощупал рукой – голова. «Сашок, шепчу, как это ты, зачем?» Он объясняет: «Мы, говорит, всё слышали, Климова я назад послал, а сам следом за тобой пошёл... Главная, говорит, сила их не здесь, а верстах в четырёх», – он уже всё досконально разузнал. «Они, говорит, думают, что у них в тылу и справа – наши»... Рассказывает он, а сам зубами поскрипывает и будто задыхается. «Мне, говорит, бок оцарапало, сильно кровь идёт, и ногу придавило». Пощупал я – действительно нога завалена. Стал шевелить бревно, а он шепчет: «Не тронь, закричу – пропадёшь! Уходи, говорит, всё ли помнишь, что я сказал? Уходи скорей!» – «Нет, думаю, как я его оставлю?» И опять шевелю бревно-то, а он мне шипит: «Брось, чёрт, дурак! Закричу!» Что делать?! Я ещё разок попробовал, может, освобожу ногу-то... Ну, хочешь – веришь, товарищ, хочешь – не веришь, – слышал я, хрустнула косточка, прямо, знаешь... хрустнула! Да... Раздавил я её, значит... А он простонал тихонько и замер. Обмер. «Ну, думаю, теперь – прости, прощай, Сашок!..»

Заусайлов наклонил голову, щупал пальцами папиросы в коробке, должно быть, искал, которая потуже набита. Не поднимая голову, он продолжал потише и не очень охотно:

– За ночь к нам товарищи подошли, а вечером мы припёрли белых к оврагу, там и был конец делу. Мы с Климовым и ещё десяточек наших первые попали в это несчастное село. Ну, опять, пожар там. А Сашок – висит на том самом дереве, где до него другой висел, тоже молодой, его сняли, бросили в лужу, в грязь. А Сашок – голый, только одна штанина подштанников на нём. Избит весь, лица – нет. Бок распорот. Руки – по швам, голова – вниз и набок. Вроде как виноватый... А виноватый я...

– Это – не выходит, – пробормотал красноармеец. – Оба вы, товарищ, исполнили долг как надо.

Заусайлов раскурил папиросу и, прикрыв ладонью спичку, не гасил её огонёк до той минуты, пока он приблизился к пальцам. Дунув на него, он раздавил пальцем красный уголь и сказал:

– Вот герой-то был!

– Да-а, – тихо отозвалась учительница и спросила:

– Уснул?

– Спит, – ответил красноармеец, заглянув в лицо мальчугана, и, помолчав, веско заговорил:

– У нас герои не перевелись. Вот, скажем, погрохана в Средней Азии – парни ведут себя «на ять»! Был такой случай: двое бойцов отправились с поста в степь, а ночь была тёмная. Разошлись они в разные стороны, и один наткнулся на басмачей, схватили они его, и оборониться не успел. Тогда он кричит товарищу: «Стреляй на мой голос!» Тот мигом использовал пачку, одного басмача подранил, другие – разбежались, даже и винтовку отнятую бросили. А в это время – другого басмачи взяли; он кричит: «Делай, как я!» Он ещё и винтовку зарядить не успел, прикладом отбивается. Тогда – первый начал садить в голос пулю за пулей и тоже положил одного. Воротились на пост – рассказывают, а им и не верят. Утром проверили по крови – факт! А ведь на голос стрелять – значило, по товарищу стрелять. Понятно?

– Как же не понятно, – сказал Заусайлов. – Ничего, помаленьку понимаем свою задачу. Из отпуска, товарищ?

– Из командировки.

Учительница встала.

– Спасибо вам. Надо разбудить Саньку.

– Зачем? Я его так снесу, – сказал красноармеец.

Они ушли. Заусайлов тоже поднялся, подошёл к борту, швырнул в реку папироску.

Серебряный шар луны вкатился высоко в небо, тени правого берега стали короче, и весь он как будто ещё быстрее уплывал в мутную даль...

II

Тёплым летним вечером мы – я и старый приятель мой – сидели под соснами на песчаном обрыве; под обрывом – небольшой луг, ядовито-зелёный после дождя; на зелень луга брошена и медленно течёт рыжая вода маленькой реки, за рекой – тёмные деревья, с правой стороны от нас, над сугробами облаков, багровое вечернее солнце стелет косые лучи на реку, луг, на золотой песок обрыва.

Собеседник мой закурил, глядя за реку, и начал рассказывать, не торопясь, вдумчиво:

– Было это года два тому назад, в одном из маленьких городов верховья Камы. Я сидел в уездном комитете партии, беседуя «по душам» с предом и секретарём.

– Было воскресенье, время – за полдень, на улице жарко, точно в бане, и – тишина. За крышами домов – гора, покрытая шубой леса, оттуда в открытые окна течёт запах смолы и горький дымок: должно быть, где-то близко уголь жгут.

– Беседуем мы и уж начинаем немножко скучать. Вдруг с улицы, в открытое окно, поднимается от горячей земли большое, распаренное докрасна бабье лицо, на нём неласково и насмешливо блестят голубовато-серые, залитые потом глаза, тяжёлый, густой голос гудит:

– «Здорово живёте! Чай да сахар...»

– «Опять чёрт принёс», – проворчал пред, почёсывая под мышкой, а женщина наполняла комнату гулом упрёков:

– «Ну, что, товарищ Семенов, обманул ты меня? Думал: потолкую с ней по-умному, она и будет сыта? А я вот опять шестьдесят вёрст оттопала, на-ко! Принимай гостью».

– Лицо её исчезло из окна. Я спросил, кто это. Пред махнул рукой, сказав: «Так, шалая баба».

– А секретарь несколько смущённо объяснил:

– «Числится кандидаткой в партию».

– «Шалая баба» протиснулась в дверь с некоторым трудом. Была она, скромно говоря, несколько громоздка для женщины, весом пудов на шесть, если не больше, широкоплеча, широкобёдра, ростом – вершков десяти сверх двух аршин. Поставив в угол толстую палку, она движением могучего плеча сбросила со спины котомку, бережно положила её в угол, выпрямилась и, шумно вздохнув, подошла к нам, стирая пот с лица рукавом кофты.

– «Ещё здравствуйте! Гражданин али товарищ?» – спросила она меня, садясь на стул. Стул заскрипел под нею. Узнав, что я – товарищ, спросила ещё: «Не из Москвы ли будешь?» – И, когда я ответил утвердительно, она, не обращая более внимания на своё начальство, вытащив из огромной пазухи кусок кожи солдатского ранца величиной с рукавицу, хлопнула им по столу, однако не выпуская из рук, и, наваливаясь на меня плечом, деловито, напористо заговорила:

– «Ну-ко, вот разбери дела-то наши! Вот, гляди: копия бумаги из губпарткома – верно? Это – ему приказанье, – кивнула она головой на преда. – А это вот он писал туда. Значит, есть у меня право говорить?»

– Минут десять она непрерывно пользовалась этим правом, рассказывая о кооператорах, которые «нарочно не умеют торговать», о товариществе по совместной обработке земли, которому кулаки мешают реорганизоваться в колхоз, о таинственной и не расследованной поломке сепараторов, о мужьях, которые бьют жён, о противодействии жены предсельсовета и поповны-учительницы организации яслей, о бегстве селькора-комсомольца, которого хотели убить, о целом ряде маленьких бытовых неурядиц и драм, которые возникают во всех глухих углах нашей страны на почве борьбы за новый быт, новый мир.

Рассказывая, собеседник мой постепенно увлекался и живо дорисовал фигуру бабы, её жесты; отметил её бережное отношение к носовому платку: она раза два вынимала платок из кармана юбки, чтобы отереть пот с лица, но, спрятав платок, отирала пот рукавом кофты.

– Пóтом от неё несло, как от лошади, – сказал он. – Секретарь налил ей стакан чаю: «Пей, Анфиса!» Но она, жадно хлебнув жёлтенького кипятку, забыла взять сахару, а взяв кусок, начала стучать

им по столу в такт своей возмущённой речи, а затем, сунув сахар в карман, взяла ещё кусок и сконфузилась:

– «Ой, что я делаю!» Но и другой кусок тоже машинально спрятала в карман, а остывший чай выпила залпом, точно квас.

– «Налей ещё, товарищ Яков!»

Собеседник мой, торопливо покуривая, продолжал:

– Она высыпала на голову мне столько этих драм и неурядиц бытовых, что я даже перестал понимать «связь событий» в хаосе этом. Чувствую только, что шестипудовая Анфиса – существо совершенно необыкновенное, новое для меня, что мне нужно узнать и понять, каким путём она «дошла до жизни такой». Короче говоря, пригласил я её к себе, – я остановился у агронома, старого приятеля моего. Пригласил и за чаем подробнее, до позднего вечера, пытал её расспросами. Передать колорит её рассказа я, разумеется, не могу, но кое-что в память врезалось мне почти буквально. Отец у неё был портной-овчинник, ходил по деревням, полушубки и тулупы шил. Мать умерла, когда Анфисе исполнилось девять лет. Отец дозволил ей кончить церковно-приходскую школу, потом отдал в «няньки» зажиточному крестьянину, а года через три увёз её в село на Каму, где он женился на вдове с двумя детьми. В этих условиях Анфиса, конечно, снова стала «нянькой» детей мачехи, батрачкой её, а мачеха оказалась «бабочкой пьяной, разгульной», да и отец не отставал от неё – любил и выпить и поспрашивать. Частенько говаривал: «Торопиться некуда, – на всех мужиков тулупы не сошьёшь».

– Анфисе минуло шестнадцать лет, когда отец помер, заразясь сибирской язвой, и по смерти отца хозяйство мачехи ещё тяжелее легло на её хребет.

– «Был у нас шабер, старичок Никола Уланов, охотой промышлял, а раньше штейгером работал. Его породой придавило в шахте, хромал он, и считали его не в полном уме: угрюмый такой, на слова скуп, глядел на людей неласково. Жил он бобылём, ну, я ему иной раз постираю, пошью, так он стал со мной помягче».

– «Зря, говорит, девка, силу тратишь на пустое место, на пьяниц твоих. До чужой силы люди лакомы, избаловали их богатые. На всё худое людям от богатых пример, от них весь мир худому учится».

– «Очень понравились мне эти его слова-мысли, вижу, что верно сказал: село – богатое, а люди – жёсткие, жадные, и все в склоке

живут. Спрашиваю Николу-то: „А что мне делать?“ – „Ищи, говорит, мужа себе. Ты девица здоровая, работница хорошая, тебя в богатый дом возьмут“».

– «Ну, я и в ту пору не совсем дура была, вижу, старичок сам же туда гонит, откуда звал. А первые-то его слова скрыла в душе всё-таки».

– Эту часть своей жизни она рассказала не очень охотно, с небрежной усмешкой в глазах и холодновато, точно не о себе говорила, а о старой подруге, неинтересной и даже неприятной ей. А затем как-то вдруг подобралась вся, постучала кулаком по колену, и глаза её прищурились, как бы глядя глубоко вдаль.

– «И вот приехал к матери брат, матрос волжских пароходов, мужик лет сорока – лютой человек! Сестру живо прибрал к рукам, выселил её с детьми в баню, избу заново перебрал, пристроил к ней лавку и начал торговать. И торгует, и покупает, и деньги в долг даёт, трёх коров завёл, овец, а землю богатому кулаку Антонову в аренду сдал. Я у него и стряпка, и прачка, и коровница – и тки, и пряди, и во все стороны гляди. Рвутся мои жилочки, трещат косточки. Ох, трудно мне было! Видите, товарищ, какая кувалда, а до обмороков доходила».

– Она засмеялась густым таким, грудным смехом, – странный, не женственный смех. Потом, вытерев лицо и рот платочком, вздохнула глубоко:

– «А ещё труднее стало, когда он невзначай напал на меня да и обабил. Хоть и подралась я с ним, а не сладила – нездорова была в ту пору, женским нездоровьем. Очень обидно было. Я компанию вела с парнем одним, с Нестеровым, хорошей семьи, небогатые люди, тихие такие, двое братьев, Иван и Егор. Жили не делясь. Егор, дядя парня, – вдовый, он потом партизаном был, и беляки повесили его. Парня-то убили в первый год империалистической войны, отца его кулаки разорили, тоже пропал куда-то. Из всей семьи только Лиза осталась, теперь она подруга моя, партийной стала четвёртый год. Она в шестнадцатом году, умница, в Пермь на завод ушла, хорошо обучилась там. Ну, это уж я далеко вперёд заскочила. Ну, хотела я, значит, уйти, когда идиот этот изнасил меня, и собралась, а он говорит: „Куда пойдёшь? Пачпорта у тебя нет. И не дам, на это у меня силы хватит. Живи со мной, дурёха, не обижу. Венчаться не стану, у

меня жена в Чистополе, хоть и с другим живёт, а всё-таки венчаться мне закон не позволяет! Умрёт она, обвенчаюсь, вот бог свидетель!“»

– «Противен был он, да пожалела я сдуру хозяйство: уж очень много силы моей забито было в него. У Нестеровых семья вроде как родные были мне. Пожалела, осталась. Неласкова была я с ним, отвратен он был, дм и нездоров, что ли: живём, живём, и детей нету. Бабы посмеиваются надо мной, а над ним ещё хуже – дразнят его; он, конечно, сердится и обиды свои на мне вымещает. Бил. Один раз захлестнул за шею вожжами да и поволок, чуть не удавил. А то поленом по затылку ударил, ладно, что у меня волос много, а всё-таки долго без памяти лежала. Сосок на левой груди почти скусил, гнилой чёрт, сосок-то и теперь на ниточке болтается. Ну, да что это вспоминать, поди-ка, сам знаешь, товарищ, как в крестьянском-то быту говорят: „Не беда, что подохнет жена, была бы лошадь жива“. Началась разнесчастная эта война...»

– Сказав эти слова, она замолчала, помахивая платком в раскалённое лицо своё, подумала.

– «Разнесчастная, это я по привычке говорю, а думается мне, как будто не так: конечно, трудовой народ пострадал, однако и пользы немало от войны! Как угнали мужиков, оголили деревни, вижу я, бабы получше стали жить, дружнее. Сначала-то приуныли, а вскоре видят – сами себе хозяйки, и общественности стало больше у них, волей-неволей, а надобно друг другу помогать. Богатеи наши лютуют, ой, как лютовали! Было их восьмеро, считая хозяина моего, конечно, попы с ними, у нас – две церкви; урядник – зять Антонова, первого в селе по богатству. И чего только они не делали с бабами, солдатками, как только не выжимали сок из них! На пайках обсчитывают, пленников себе по хозяйствам разобрали. Даже скушно рассказывать всё это. Пробовала я бабам, которые помоложе, говорить: „Жалуйтесь!“ Ну, они мне не верили. Живу я среди горшков да плошек, подойников да корчаг, поглядываю на грабёж, на распутство и всё чаще вспоминаю стариковы слова, Уланова-то: „Богачи всему худому пример“. И такая тоска! Ушла бы куда, да не вижу, куда идти-то. Тут Лизавета Нестерова приехала, ногу ей обожгло, на костыле она. Говорит мне: „Знаешь, что рабочие думают?“ Рассказывает. Слушать – интересно, а – не верится. Рабочих я мало видела, а слухи про них нехорошие ходили. Думаю я: „Что же рабочие? Вот кабы

мужики!“ Много рассказывала мне Лиза про пятый-шестой года, ну, кое-что в разуме, должно быть, осталось. Уехала она, вылечилась. Опять я осталась, как пень в поле, слова не с кем сказать. Бабы меня не любят, бывало, на речке или у колодца прямо в глаза кричат: „Собака ворава двора!“ и всякое, обидное. Молчу. Что скажешь? Правду кричат! Горестно было. Нет-нет да и всплакнёшь тихонько где-нибудь в уголку. Стукнул семнадцатый год, сшибли царя, летом повалил мужик с войны, прямо так, как были, идут, с винтовками, со всем снарядом. Пришёл Никита Устюгов, сын кузнеца нашего, а с ним ещё бойкенький паренёк Игнатий, не помню фамилии, да какой-то вроде цыгана, Петром звали. Они на другой же день сбили сход и объявляют: „Мы – большевики! Долой, кричат, всех богатеев!“ Выходило это у них не больно серьёзно, богачи посмеиваются, а кто победнее – не верят. И моя бабья головушка не верила им. Однако вижу: хозяин мой с приятелями шепчутся о чём-то, и все они невеселы. Собираются в лавке почти каждый вечер, и видно – нехорошо им! Ну, значит, кому-то хорошо, а кому – не видно! Вдруг слышу: царя в Тобольск привезли. Спрашиваю хозяина в ласковый час: „Зачем это?“ – „Сократили его теперь – в Сибири царствовать будет. В Москве сядет дядя его, тоже Николай“. Не верю и ему, а похоже, что правду Лиза говорила. А в лавке, слышу, рычат: „Оскалили псы голодные пасти на чужое добро“. Как-то вечером пошла незаметно к Никите, спрашиваю, что делается. Он кричит: „Я вам, чертям дубовым, почти каждый день объясняю, как же вы не понимаете? Ты кто? Батрачка? Вору служишь?“»

– «Мужик он был сухой такой, чёрный, лохматый, а зубы белые-белые; говорил звонко, криком кричал, как с плухими. Он не то чтобы злой, а эдакий яростный. Вышла я от него и – право слово – себя не узнаю, как будто новое платье надела и узко мне оно, пошевелиться боюсь. В голове – колёса вертятся. Начала я с того дня жить как-то ни в тех ни в сех и – будто дымом дышу. А хозяин со мной ласков стал. „Ты, говорит, верь только мне, а больше никому не верь. Я тебя не обижу, потише станет – обвенчаемся, жена померла. Ты, говорит, ходи на Никитовы сходки, прислушивайся, чего он затевает. Узнавай, откуда дезертиры у него, кто такие“».

– «Ладно, думаю. Ловок ты, да не больно хитёр».

– «Незаметно в суматохе-то и Октябрь подошёл. Организовался совет у нас, предом выбрали старика Антонова, секретарём Дюкова, он до войны сидельцем был в монополюшке и мало заметный человек. На гитаре играл и причёсывался хорошо, под попу, волосья носил длинные. В совете все – богатеи. Устюгов с Игнатом бунтуют. Устюгов-то сам в совет метил, ну – не поддержали его, мало народа шло за ним, боялись смелости его. Пётр этот, приятель его, тоже к богатым перемернул, за них говорит. Прошло некоторое время – Игната убили, потом ещё один дезертир пропал. И вот мою полы я, а дверь в лавку не прикрыта была, и слышу – Антонов говорит: „Два зуба вышибли, теперь третий надо“. – „Вот как?“ – думаю, да ночью к Никите. Он мне говорит: „Это я без тебя знаю, а если ты надумала с нами идти, так следи за ними, а ко мне не бегай. Если что узнаешь, передавай Степаниде-бобылке. Я на время скроюсь“».

– «И вот, дорогой ты мой товарищ, пошла я в дело. Притворилась, будто ничего не понимаю, стала с хозяином поласковее. Он в ту пору сильно выпивать начал, а ходил гоголем; они все тогда с праздником были. Спрашиваю я моего-то: „Что же это делается?“ Он, конечно, объясняет просто: грабёж, а грабителей бить надо, как волков. И похвастался: „Двоих ухайдакали и остальным то же будет“. Я спрашиваю: „Разве Зуева, дезертира, тоже убили?“ – „Может, говорит, утопили“. А сам оскалил зубы и грозит: „Вот ещё стерву Степаниду худой конец ждёт“. Я – к ней, к Степахе, а она ничего, посмеивается: „Спасибо, говорит, я уж сама вижу, что они меня любить перестали!“ От неё забежала я к Нестеровым, говорю дяде Егору: „Вот какие дела!“ Он советует мне: „Ты бы в эти дела не совалась!“ А я уж не могу! Была там семья Мокеевых, старик да две дочери от разных жён, старшая – солдатка, а младшая – девица ещё; люди бедные, старик богомольный такой, а солдатка – ткачиха знаменитая, в три краски ткала узоры и сама пряжу красила; злая баба, однако меня она меньше других травила. У неё вечеринки бывали, вроде – бабий клуб; раза два она и меня звала. Вот и пошла я к ней от тоски спрятаться. Застала там баб – все бедняцкие жены да вдовы. И прорвало меня: „Бабы, говорю, а ведь большевики-то настоящей правды хотят! Игната за правду и убили, да и дезертира Зуева. Неужто, говорю, война-то ничему не научила нас и не видите вы, кто от неё богаче становится?“»

– «И знаешь, товарищ, не хвастаю, не сама за себя говорю, а после от людей слыхала: удалось мне рассказать женщинам всю их жизнь так, что плакали. Это я и теперь всегда умею, потому что насквозь знаю всё и говорю практически. А старик Мокеев на печи лежал, слушал да утром же все мои речи Антонову и передал. Вечером хозяин лавку запер, позвал меня в горницу, а там и Антонов, и зятьёк его, и ещё двое ихних, и Мокеев тоже тут. Он меня и уличил во всём; прямо сказал: она, дескать, не только вас, и бога хаяла! Это он врал, я тогда о боге не думала, а как все: и в церковь ходила, и дома молилась. Наврал, старый чёрт! Начали они меня судить, страшить, выпрашивать, хозяин мой уговаривает их: „Она – дура, ей что ни скажи, всему верит. Не трогайте её, я сам поучу“. Поучил. Пятеро суток на полу валялась, не только встать не могла, а рукой-ногой пошевелить силы не было. Думала, и не встану. Однако – видишь – встала! Суток через трое владыка и воспитатель мой уехал в волость, и вот слышу я ночью, стучат в окно. Решила: пришли убить! А это Егор Нестеров. „Живо, говорит, собирайся!“ Вышла я на улицу, сани парой запряжены, в санях – Степанида; спрашивает: „Жива ли?“ А я и говорить не могу от радости, что есть люди, позаботились обо мне!»

– Громко шмыгнув носом, она часто заморгала, глаза у неё странно вспыхнули, я ждал – заплачет, но она засмеялась очень басовито и как-то по-детски.

– «Привезли они меня в город, стали допрашивать, да лечить, да кормить, – в жизни моей никогда не забуду, как лелеяли меня, просто как самую любимую! Народ всё серьёзный, тут и Устюгов, и Лиза, и ещё рабочий один, Василий Петрович, смешной такой. Ну... всего не скажешь, а просто: к родным попала! Дядя Егор удивляется: „Я, говорит, не верил ей, почитал за шпионку от них“. Жила я в городе месяца четыре, уже началась гражданская, за Советы, пошёл кулак войной на нас, и было это в наших местах вроде сказки: и страшно, а весело! Путаница большая была, так что и понять трудно: кто за кого? Никита учит меня: „Вертись осторожно, товарищ Анфиса, держи ухо остро“».

– «Научил меня кое-чему, светлее в голове стало, я уж по всему уезду шмыгаю: где на митингах бабам речи говорю, где разведку веду. Тут уж мне трудно рассказывать, много было всего; перед глазами-то, как река течёт. Поработала, слава те, господи!»

– Славословие богу сконфузило её, покраснеть она не могла – и без того лицо её было красное, точно кирпич, – но она всплеснула руками, засмеялась, виновато воскликнув:

– «Фу ты, батюшка! Вот и оговорилась! Привычка, товарищ! Слова эти – скорлупа! А своих – не похвалишь, они сами себя делом хвалят. Ну, ладно!.. Да, милый, поработала в охотку. Егор Нестеров собрал отрядец, десятка три, сходил в село для наказания – там, видишь, хозяйство ихнее разорили, Ивана-то уюкали, должно быть, пропал, Степанидину избёнку сожгли, Авдотью Мокееву убили, а сестрицу её, Танюшу, изнасильничали – она и по сей день дурочкой ходит. Егор суд устроил на площади. Никита Устюгов речь говорил, народ одногласно осудил Антонова, хозяина моего, да ещё двоих: Зотова, мельника, и попа. Застрелили их. Дюков скрылся, урядника в перестрелке убили, а старику Мокееву и бороду и волосы на голове обрили начисто и – ходи, гуляй! Всё было страшно, а как вывели Мокеева-то на улицу бритого – не поверишь: такой смешной он стал, что хохотали все до упаду, до слёз, и весь страх пропал в смехе! Это Никита шутку выдумал. Ох, умён был мужик! Посадили его предом сельсовета, Лизу секретарём, я тоже в дело вошла, всё с бабами возилась. Тут они все уж верили мне: „Из богатого дома зря на бедную сторону не встанешь“, – говорят. „Эх, говорю, подруги! Да ведь вы сами знали, что я в богатом-то дому собакой служила!“ – „А не служи!“ Смеются. Ну, ладно! Примерно месяца через два пришлось нам бежать: белые пришли, и – многовато их! Егор со своими в лес ушёл, у него десятков пяток людей было, мог бы собрать больше, да винтовок не было. Меня и Степаниду оставили в селе: наблюдайте, да не показывайтесь! Степаха, отчаянная голова, там пряталась, а я приткнулась версты за три на пасеке. Живём. По ночам Степаха приходит, один раз винтовку скрала, принесла мне и говорит: „Знаешь, Дюков с белыми, любовничек мой, и я ему хочу дерзость устроить, сволочи! Он там взяточки собирает, страшая людей, и уже из-за его языка двое пострадали, заарестованы“. – „Пропадешь“, – говорю. – „Авось сойдёт!“»

– «Сошло ведь! Тоже смешной был случай. Сижу я как-то вечером на пасеке, шью чего-то, поглядываю сквозь деревья на дорогу в село и вижу: будто Степанида идёт, а с ней мужчина в белом картузе, белой рубахе, идут не по дороге, а боком, кустами, там

тропинка была на целебный ключ. Не понравилась мне эта прогулка. Хоть и считалась Степанида сознательной, да уж больно жадна была на всякое баловство. А она всё ближе; тут уж я подумала: „А не бежать ли мне в лес?“ Вдруг вижу: наклонился белый-то, а она – верхом на спину ему, ноги свои под мышки его сунула, голову в землю прижала, кричит: „Анфис!“ Баба она здоровая, ловкая была! Бегу я к ней, сама задыхаюсь от страха, барахтается белый-то, вот-вот скинет её с себя! Подбежала, успокоила его по затылку. Степанида револьвер вынула из кармана у него. „Веди, говорит, его к Егору, он там сгодится“. А это Дюков и был! Ну, сволокли мы его на пасеку, очухался он там, Степанида говорит: „Стрелять знаешь как? Револьвера из рук не выпускай, так и веди. Я, говорит, тут останусь, а ты не приходи и скажи, чтобы мне кого-нибудь прислали, дело у меня есть“».

– «Ладно, повела я Дюкова; до Егора далеко было, около двадцати вёрст, а верстах в пяти – хутор староверский, там тоже наши сидели. Идёт Дюков впереди меня, плечи трясутся, плачет, уговаривает: „Отпусти!“ Подарки сулил. Стыдно ему, конечно, что бабы в плен взяли, ну и боится тоже! „Иди, приказываю, и не пикни, а то застрелю!“ Хохотали наши над ним, да и надо мной, и он сидит на пёнышке, трясётся весь, лица на нём нет, маленький, щуплый, даже смотреть жалко было. Суток через двое Степанида заманила на пасеку ещё белого. Привели его к нам те двое, которых послали к ней, и говорят: „Ну, эта рискованная баба пропала, считайте“».

– «Так и вышло: пасеку разорили, а от Степаниды – ни костей, ни волоса, так и неизвестно, что с ней сделали. А пленник её оказался полезный: рассказал нам, что через трое суток белые город брать будут и что к ним большая сила подходит. Не соврал. Двинулись мы в город. На Каме, на берегу, сраженьице было небольшое, как будто и ненужное, да уж очень разъярился дядя Егор. Семерых наших убили. Город белые взяли, конечно: их было, пожалуй, сотни полторы, а защитников – человек сорок. Постреляли друг в друга издали, и ушли наши в лес. Так, дорогой товарищ, годика полтора, пожалуй, и вертелись мы вроде карасей в сети: куда ни сунься, – белые, а бывало, что и красные белели, было и так, что белые перебежали к нам. Да. За горами идёт большая гражданская, Колчака бьют, а мы – свою ведём, и конца ей не видим. Как пожар лесной: в одном месте погаснет, в

другом – вспыхнет. Переметнулись даже в Осинский уезд, там бедноты много, все рогожки да верёвки выют. Дядя Егор прихварывать начал – лошадь помяла его, да и ранен был в ногу. Под городом Осой захватили его белые; он, вчетвером, на конных наткнулся, двоих убили, ещё его подранили. Четвёртый, гимназист пермский, прибежал в город, где Лиза со мной была. Лизавета послала меня поглядеть, нельзя ли как выручить дядю. Белые на реке стояли, верстах в трёх, у пристаней. Пришла я, а Егор висит на дереве, полуголый, весь в крови с головы до ног, точно с него кожа ключьями содрана, – страшный! И кисти на правой руке нет. Спрашиваю какого-то рогожника: „За что казнили?“ – „Большевичок, говорит, настоящий большевичок; они его тут мучили-мучили, а он их – кроет! Довели его до беспамяти, пожалуй, даже мёртвого и вешали“».

– «Ну, тут обалдела я немножко. Жалко товарища-то! У пристани народ был, я и говорю: „Как же вам, псы, не стыдно? Вас бы, говорю, вешать надо, бессердечный вы народ!“»

– «Недолго покричала: отвели меня к начальству. Какой-то седенький, лихорадочный, что ли, трясётся весь, скомандовал: „Шомполами!“ Десяточка два получила, и с неделю – ни сесть, ни на спину лечь. Хорошо, что тело у меня такое: чем бьют больней, тем оно полней. Вроде физкультуры. Да, товарищ, бою отведала не меньше норовистой лошади; кожа у меня так мята-изодрана, что сама удивляюсь: как это всю кровь мою не выпустили? А ничего, живу – не охаю!»

– «Ну, что же дальше-то? Первое-то время после нашей победы не легче стало, а будто скушней. Близкие товарищи – кои перебиты, кои разбрелись по разным местам, по делам. Лиза в Екатеринбург уехала, учиться, тогда ещё Свердловска не было. Осталась я вроде как одна. Народ у нас, в сельсовете, всё новый, осторожный, много не знают в нашей жизни, а что знают, – это понаслышке. Про них один парень, чахоточный, – он помер года два тому назад – частушку сочинил:

Сели власти на вышке,
Рассуждают понаслышке:
– Мы-де здешний сельсовет,
Наплевать нам на весь свет.»

– «Власть на местах была в ту пору. Потом новая экономическая началась. Пристроили меня к совхозу, да не удался он, разродилось новое кулачье, разграбило. Была зиму сторожихой в школе, – ну какая я сторожиха? Учительшко – старенький, задира, больной, ребят не любит. Стала подённо батрачить и вижу: всё как будто назад попятилось, под гору, в болото. Бабы звереют, ничего знать не хотят, кроме своих углов. Беда моя – слабо я разбираюсь в теории. Стыдно это мне, а учиться времени нет! Да и человек-то я уж очень практический, не знаю, как писание к настоящей жизни применить, к нашему быту, ловкости у меня нету. Одно знаю: от этих своих углов – все наши раздоры и разлады, и дикость наша, и бесполезность жизни. Знаю, что первое дело – быт надо перестроить и начинать это снизу, с баб, потому что быт – на бабьей силе держится, на её крови-поте. А как перестроишь, когда каждая баба в своё хозяйство впряжена, грамотных – мало, учиться – некогда? Завоевали бабью жизнь горшки-плошки, детишки да бельишко... Начала я уговаривать баб прачешную общественную строить, чтобы не каждая стирала, а две-три, по очереди, на всех. Не вышло ничего. Стыд помешал: бельишко-то у всех заношено, да и плохое; когда сама себе стирает – ни дыр, ни грязи никто не видит, а в общественной прачешной каждая будет знать про всех. Они, конечно, не говорили этого, я сама догадывалась, а они провалили меня на вопросе с мылом: дескать, как же мыло считать? У одной десять штук белья, а у другой – четыре, а мыло-то как? Потом некоторые приснились: мыло – пустяки, а вот стыда не оберёшься! Будем побогаче, устроим и прачешную, и бани общие, и пекарню. Утешили: будем побогаче! „Эх, бабы, говорю, от богатства нашего и погибаем...“ Ну, всё-таки дела идут понемножку, безграмотность ликвидируем; „Крестьянку“ совместно читаем, очень помогает нам „Крестьянская газета“. Вот она – да! Она – друг! Нам, товарищ дорогой, акушерский пункт надобно, ясли надо, нам амбар Антоновых надо под бабий клуб, амбар – хороший, бревенчатый, второй год пустой стоит».

– Она стала считать, что ей надо, загибая пальцы на руках, – пальцев не хватило. Тогда, постукивая кулаком по столу, она начала считать снова:

– «Раз, два...»

– И, насчитав тринадцать необходимостей, рассердилась, даже два раза толкнула меня в бок, говоря:

– «Маловато вы, товарищи, обращаете внимания на баб, а ведь сказано вам: без женщины социализма не построить. Бебеля-то забыли? А Ленин что сказал? А Сталин что вам приказал? Не освободив бабу от пустяков, государством управлять не научишь её! А у нас и уком и райком сидят, как медведи в берлоге, и хоть бей – не шевелятся! Только слов у них: „Не одни вы на свете!“ А дело-то ведь, товарищ, яснее ясного: ежели каждая баба около своего горшка щей будет вертеться, чего достигнем? То-то! Надобно освободить нас от лошадиной работы. Время нам надобно дать свободное. Я вот сюда третий раз притопала, сосчитай: вперёд-назад сто двадцать вёрст, а за три раза – триста шестьдесят. Шутка! Это значит – полмесяца на прогулку ушло. Ну, ладно! Выговорилась я вся, допуста. Спать пойду. А ты мне укомцев-то настегай, не то в губком пойду. Эх, скорей бы зачисляли меня в партию, уж так бы я их встряхивала!»

III

По берегам мелководной речки, над её мутной ленивой водою, играет ветер, вертится над костром, как бы стремясь погасить его, а на самом деле раздувая всё больше, ярче. В костре истлевают чёрные пни и коряги, добытые со дна реки; они лежали там, в жирной тине, много лет; дачники вытащили их на берег, солнце высушило, и вот огонь неохотно грызёт их золотыми клыками. Голубой горький дымок стелется вниз по течению реки, шипят головни, шёлково шелестит листва старых вётел, и в лад шуму ветра, работе огня – сиповатый человеческий голос:

– Мы – стеснялись; стеснение было нам и снаружи, от законов, и было изнутри, из души. А они по своей воле законы ставят, для своего удобства...

Это говорит коренастый мужичок, в рубахе из домотканного холста и в жилете с медными пуговицами, в тяжёлых сапогах, – они давно не мазаны дёгтем и кажутся склёпанными из кровельного железа. У него большая, круглая голова, густо засеянная серой щетиной, красноватое, толстое лицо тоже щетинисто; видно, что в

недалёком прошлом он обладал густейшей, окладистой бородою. Под его выпуклым лбом спрятаны голубоватые холодные глаза, и по тому, как он смотрит на огонь, на солнце, кажется, что он слеп. Говорит он не торопясь, раздумчиво, взвешивая слова:

– Бога, дескать, нету. Нам, конечно, в трудовой нашей жизни, богом интересоваться некогда было. Есть, нет – это даже не касает нас, а всё-таки как будто несуразно, когда на бога малыши кричат. Бог-от не вчера выдуман, он – привычка древних лет. Праздники отменили, ну, так что? Люди водку и в будни пьют. А бывало, накануне праздника, в баню сходишь, попаришься.

– Так ведь это и в будни можно, в баню-то?

– Кто говорит – нельзя? Можно, да уж смак не тот. В праздник-то сходишь в церкву, постоишь...

– Ходите и теперь ведь...

– Смак, говорю, не тот, гражданин! Теперь и поп служит робко, и певчих нет, и свечек мало перед образами. Всё приbedнилось. А бывало, поп петухом ходил, красовался, девки, бабы нарядные – благообразно было! Теперь девок да парней в церкву палкой не загоишь. Они вон в час обедни мячом играют, а то – в городки. И бабы, помоложе которые, развинтились. Баба к мужу боком становится, я, говорит, не лошадь...

Сиповатый голос его зазвучал горячее, он подбросил в костёр несколько свежих щепок и провёл пальцем по острию топора. Он устраивает сходни с берега в реку; незатейливая работа: надобно загнать в дно реки два кола и два кола на берегу, затем нужно связать их двумя досками, а к этим доскам пришить гвоздями ещё четыре. Для одного человека тут всей работы – на два часа, но он не спешит и возится с нею второй день, хотя хорошо видно, что действовать топором он умеет очень ловко и не любит людей, которые зря тратят время.

На том берегу реки пасётся совхозный скот – коровы и лошади. Из роци вышел парень с недоуздом в руках, шагнул к рыжему коню, – конь отбежал от него и снова стал щипать траву. Словоохотливый старик, перестав затёсывать кол, начал следить, как парень ловил коня, и, следя, иронически бормотал:

– Экой неуклюжий!.. Опять не поймал... Ну, ну... эх, болван какой! Хватай за гриву! Эй!

Парень тоже не торопился. Коня схватила за гриву молодая комсомолка, тогда парень взнуздal его и, навалясь брюхом на хребет, поскакал, взмахивая локтями почти до ушей своих.

– Вот как они работают – с полчаса время ловил коня-то, – сказал старик, закуривая. – А кабы на хозяина работал, – поторопился бы, увалень!

И не спеша снова начал затёсывать кол, пропуская слова сквозь густые подстриженные усы:

– Спорить я не согласен с вами насчёт молодёжи, она, конечно, действует... добровольно, скажем. Ну однако нам её понять нельзя. Она, похоже, хочет все дела сразу изделать. У неё, может, такой расчёт, чтобы к пятидесяти годам все барами жили. Может, в таком расчёте она и того... бесится.

– Ну, да, конечно, это слово – от нашего необразования: не бесится, а вообще, значит... действует! И – учёная, это видно. Экзамены держит на высокие должности, из мужиков метит куда повыше. Некоторые – достигают: тут недалеко сельсоветом вертит паренёк, так я его подпаском знавал, потом, значит, он в Красной Армии служил, а теперь вот – пожалуйста! Старики его слушать обязаны! Герой!

– Бывало, парень пошагает в солдатах три-четыре года, воротится в деревню и всё-таки – свой человек! Ежели и покажет городскую, военную спесь, так – ненадолго, покуражится годок и – опять мужик в полном виде. А теперь из Красной-то через два года приходит парень фармазон-фармазоном и сразу начинает все обстоятельства опровергать. Настоящего солдата и не заметно в нём, кроме выправки, однако – воюет против всех граждан мужиков и нет для него никакого уёму. У него – ни усов, ни бороды, а он ставит себя учителем...

– Плохо учит?

Старик швырнул окурок в воду, швырнул вслед за ним щепку и, сморщив щетинистое лицо, ответил:

– Я вам, гражданин, прямо скажу: не в том досада, что – учит, а в том, что правильно учит, курвин сын!

– Непонятно это!

– Нет, понять можно! Досада в том, что обидно: я всю жизнь дело знал, а оказывается – не так знал, дураком жил! Вот оно что! Кабы он врал, я бы над ним смеялся, а так, как есть, – он прёт на меня, мне же

и увернуться некуда. Он в хозяйство-то вжиться не успел, по возрасту его. А – чего-то нанюхался... Кабы из него, как из меня, земля жилы-то вытянула, так он бы про колхозы не кричал, а кричал бы: не троньте! Да-а! Он в колхоз толкает – почему? Потому, видишь ты, что он на тракториста выучился, ему выгодно на машине сидеть, колёсико вертеть.

– Ведь понимаем: конечно, машина – облегчает. Так ведь она и обязывает: на малом поле она – ни к чему! Кабы она меньше была, чтоб каждому хозяину по машине, кататься по своей земле, а в настоящем виде она между не признаёт. Она командует просто, сволочь: или общественная запашка, или – уходи из деревни куда хошь. А куда пойдёшь?

– Ну, да, конечно, я не спорю, – начальство своё дело знает, заботится – как лучше. Мы понимаем, не дураки. Мы только насчёт того, что легковереие большое пошло. Комсомолы, красноармейцы, трактористы всякие – молодой народ, подумать про жизнь у них ещё время не было. Ну и происходит смятение...

Поплевав на ладонь, крепко сжимая топориче красноватой, точно обожжённой кистью руки, он затёсывает кол так тщательно, как секут детей люди, верующие, что наказание воспитывает лучше всего. И, помолчав, загоняя кол ударами обуха в сырой, податливый песок, он говорит сквозь зубы:

– Вот, примерно, племянник мой... Двоюродный он, положим, а всё-таки родня. Однако он мне вроде как – враг, да!.. Он, конечно, понимает: всякому зверю хочется сыто жить, человеку – того больше. На соседе пахать не дозволено, лошадь нужна, машина – это он понимает. Говорить научились, даже попов забывают словами; поп шлёпает губой, пыхтит: бох-бох, а его уж не токмо не слышать, даже и нет интереса слушать. А они его прямо в лоб спрашивают: «Вы чему такому научили мужиков, какой мудрости?» Поп отвечает: «Наша мудрость не от мира сего», они – своё: «А кормитесь вы от какого мира?» Да... Спорить с ними, героями, и попу трудно...

– Вы, гражданин, прибыли издаля, поживёте да опять уедете, а нам тут до смерти жить. Я вот пятьдесят лет отжил в трудах и – достоин покоя али не достоин? А он меня берёт за грудки, встряхивает, кричит, как бешеный али пьяный. Из-за чего, спрашиваете? Будто бы я на суде неправильно показал, – там у нас

коператоров судили, за растраты, что ли, не понял я этого дела. Попытка на поджог лавки действительно была, это всем известно. Суд искал причину: для чего поджигали? Одни говорят: чтобы кражу скрыть, другие – просто так, по пьяному делу. Племянник – Сергеем звать – да ещё двое товарищей его и девка одна, они это дело и открыли. До его приезда все жили как будто благополучно, а вкатился он – и началась собачья склока. И то – не так, и это – не эдак, и живёте вы, говорит, хуже азиатов, и вообще... И требуют, чтобы меня тоже судить: будто бы я неправильно показал насчёт коператоров...

Говорит он всё более невнятно и неохотно; кажется, что он очень недоволен собой за то, что начал рассказывать. Он изображает племянника коротенькими фразами, создавая образ человека заносчивого, беспокойного, властного и неутомимого в достижении своих целей.

– Бегает круглы сутки. Ему всё едино, что – день, что – ночь, бегают и беспокойство выдумывает. Пожарную команду устроил, трубы чистить заставляет, чтоб сажи не было. Мальчишек научил кости собирать, бабам наговаривает разное, а баба, чай, сами знаете, – легковерная. В газету пишет; про учителя написал. Оттуда приехали – сняли учителя, а он у нас девятнадцать лет сидел и во всех делах – свой человек. Советник был, мимо всякого закона тропочку умел найти. На место его прислали какого-то весёленького, так он сразу потребовал земли школе под огород, под сад, опыты, дескать, надобно произвести...

Чувствуется, что, говоря о племяннике, он, в его лице, говорит о многих, приписывает племяннику черты и поступки его товарищей и, незаметно для себя, создаёт тип беспокойного, враждебного человека. Наконец он доходит до того, что говорит о племяннике в женском лице:

– Собрала баб, девок...

– Это вы – о ком?

– Да всё о затеях его. Варвара-то Комарихина до его приезда тихо жила, а теперь тоже воеводит. Загоняет баб в колхозы, ну, а бабы, известно, перемену жизни любят. Заныли, заскулили, дескать, в колхозе – легче...

Он сплюнул, сморщил лицо и замолчал, ковыряя ногтем ржавчину на лезвии топора. Коряги в центре костра сгорели, после

них остался грязновато-серый пепел, а вокруг его всё ещё дышат дымом огрызки кривых корней: огонь доедает их нехотя.

– И мы, будучи парнями, буянили на свой пай, – задумчиво говорит старик. – Ну, у нас другой разгон был, другой! Мы не на всё наскакивали. А их число небольшое, даже вовсе малое, однако жизнь они преодолевают. Супротив их, племянников-то этих, – мир, ну, а оборониться миру – нечем! И понемножку переваливается деревня на ихнюю сторону. Это – надобно признать.

Встал, взял в руки отрезок горбуши, взвесил его и, снова бросив на песок, сказал:

– Я – понимаю. Всё это, значит, определено... Не увернёшься. Кулаками дураки машут. Вообще мы, старики, можем понять: ежели у нас имущество сокращают и даже вовсе отнимают – стало быть, государство имеет нужду. Государство – человеку защита, зря обижать его не станет.

И, разведя руками, приподняв плечи, он dokonчил с явным недоумением на щетинистом лице, в холодных глазках:

– А добровольно имущество сдать в колхоз – этого мы не можем понять. Добровольно никто ничего не делает, все люди живут по нужде, так спокон веков было. Добровольно-то и Христос на крест не шёл – ему отцом было приказано.

Он замолчал, а потом, примеривая доску на колья, чихнул и проговорил очень жалобно:

– Дали бы нам дожить, как мы привыкли!

Он идёт прочь от костра, ветер гонит за ним серое облачко пепла. Крякнув, он поднимает с земли доску и бормочет:

– Жить старикам осталось пустяки. Мы, молодые-то, никому не мешали... Да... Живи, как хошь, толстей, как кот...

Чадят головни; синий, кудрявый дымок летит над рекой...

Пантелеймон Сергеевич Романов

На Волге

Солнце уже опустилось за высокий берег Волги, и половина широкой водяной глади была в тени. А дальше, к другому берегу, она розовела и на гладких изгибах волны отливала темно-красным и лиловым цветом.

Березки на низком левом берегу надули свои тройчатые почки, которые краснели на закате, четко вырисовываясь в чистом весеннем воздухе.

Было самое начало весны, когда река, еще мутная, плавно катила вниз свои полные воды, и только у островов и прибрежных каменных кос были видны перевивавшиеся струи, окрашенные тихими красками заката.

С высокого каменистого берега по извилистой тропинке спускались четыре человека: три военных и одна женщина, скорее девушка, тоненькая, в коричневом платье, похожем на гимназическое, с длинным шарфом, обмотанным вокруг шеи.

У двух передних были на плечах лопатки, а шедший сзади них военный, с серебряными офицерскими погонами и желтой кобурой револьвера на боку, держал в руках сломленную палку, которой беззаботно сбивал по дороге камешки.

Когда стали спускаться с крутого места, он, опираясь на палку, протянул было галантно – девушке руку, чтобы помочь ей. Но она, с мелькнувшей на ее лице едва заметной болезненной судорогой, отдернула свою руку.

– Вы так ненавидите меня? – спросил, улыбнувшись, ее спутник.

– Нет, – ответила девушка, – это не имеет практического смысла.

– А если бы имело, вы сделали бы все возможное?..

– За меня сделают уже другие. Вы только не дотрагивайтесь до меня. Лучше дайте палку.

И она, опираясь на палку, ставила ноги в туфлях боком и спускалась, переставляя все одну ногу вперед.

Ее тонкое нервное личико постоянно менялось в своем выражении. Она то улыбалась своему испугу при спуске, то поднимала голову и, задержавшись на секунду, обводила взглядом

необъятный горизонт синеющих на том берегу лесов и песчаных отмелей, на которых уже зажигались боровшиеся с зарей красные и белые огоньки баканов, отсвечивавшие зигзагообразной черточкой в спокойной воде широкой реки.

При этом у девушки появлялось странное выражение какой-то ненасытности, с каким она оглядывала бесконечный простор реки, небо и далекие леса.

Ее руки делали движение сжаться на груди, и на глазах навертывались слезинки. Но страшным усилием воли она давила в себе эти слезы и до боли стискивала зубы.

Когда офицер оглядывался на нее, она начинала улыбаться, как улыбается человек, которому жгут руку, но он не хочет показать своей слабости:

– Меня мучает, – сказала девушка, – что я не написала письма.

– Не все ли равно теперь? – проговорил офицер. – А вот вы оделись очень легко, сейчас на дворе сыро, пока доедем, продрогнете.

Это был человек лет тридцати, блондин, с острой бородкой.

Его разделяемые ложбинкой плечи, высоко сидящий на тонкой талии кожаный пояс и сапоги из тонкой мягкой скрипучей кожи делали его фигуру красивой, легкой и жизнерадостной.

Иногда он снимал свою офицерскую фуражку с кокардой и, оглядывая весенний простор, проводил рукой по коротким волосам. И этот жест напоминал о теплых днях весны, когда голова на быстрой ходьбе делается влажной от жаркого пота под фуражкой и хочется снять фуражку и пройти с непокрытой головой, подставляя свежему ветру разгоряченный лоб с выдавившимся на нем красным кругом.

Спустились к реке. Солдаты, гремя цепью, отвязали большую широкобокую лодку, окрашенную в защитный военный цвет.

Офицер закурил толстую желтую папиросу и несколько времени, не бросая, держал горящую спичку, пламя которой, совсем не колебалось в неподвижном вечернем воздухе.

– Как тихо... – сказала девушка, задумчиво глядя на спичку.

– Да, дивный вечер.

Солдаты отвязали лодку и подвели ее нос к каменистой косе, на которой стояли девушка и офицер.

Девушка как-то замялась, когда офицер подал ей руку, чтобы помочь войти в лодку. У нее на секунду мелькнуло на лице выражение

ужаса. Она даже отшатнулась от офицера, но сейчас же оправилась и без его помощи вошла в лодку, закачав ее на воде.

Солдаты, спихнув лодку с хрящеватого берега, прыгнули в нее, и она, глубоко и мягко осев, поплыла боком по течению, уносимая быстрой водой, пока они, сев на весла, не выправили ее.

Лопатки были положены на нос, где села девушка, и мешали ей. Она старалась их отодвинуть.

– Они мешают вам, давайте их сюда, – сказал офицер и прибавил, очевидно, по адресу солдат: – Ну что за неделикатный народ!..

– А где же остальные? – спросила девушка.

– Остальные там, – ответил офицер, показав рукой вперед.

– А это где?

– Вот на том острове, видите – кусты и песок посередине.

– А сколько времени до него ехать.

– Минут двадцать, – сказал офицер, остро и коротко взглянув на девушку.

– Вы говорите, что там и следователь?

– Да, конечно, там...

Девушка, сидевшая на носу лодки лицом к офицеру, который поместился на передней скамеечке, замолчала и, повернувшись, несколько времени со странным выражением смотрела на узкую полоску песка с ивняком, чуть видневшуюся вдали.

Потом обвела взглядом широкий разлив реки, чуть тронутый на середине румянцем заката, взглянула на чистое весеннее небо, остановилась взглядом на красневшей точке костра на противоположном берегу и сказала:

– Как странно, что это будет всегда...

Она сощурила при этом глаза и крепко закусил губы,

– Что будет всегда?

– А вот это... – она с блеснувшими на секунду в глазах слезинками широко обвела рукой реку, небо и далекий туманный горизонт лесов.

Оба солдата мерно гребли, направляя лодку вкось против течения, чтобы ее не сносило.

Один из них был рыжий с белыми ресницами и с руками, покрытыми веснушками и белыми волосами. У него было широкое мясистое лицо и широкие плечи. Он чего-то добродушно улыбался,

поплеывая на руки, работавшие веслами, досадливо кричал, когда они срывались с уключин и лодка брала неверное направление.

Видно было, что в нем кипят жизненные силы и здоровье.

Он часто оглядывался на девушку и смотрел на ее шарф, который ему, очевидно, очень нравился.

Другой, в противоположность первому, был молчалив. Он был худой, черный, и от переносицы через весь лоб шел шрам, который придавал ему суровый и замкнутый вид.

– Зачем вы это сделали, вы – такая яростная большевичка? – спросил офицер у девушки.

– Я не хотела убить: я выстрелила в ногу, чтобы любимый человек мог убежать.

– А попали в голову?

– Промахнулась.

– Довольно удачный промах, – сказал офицер, пристально посмотрев на девушку.

– Как это все-таки нехорошо, что я не написала письма, – проговорила девушка, как бы уклоняясь от разговора.

– Но насколько нам известно, он перебежал фронт и теперь, вероятно, находится в Москве, – сказал офицер, продолжая пристально и испытующе смотреть на девушку.

– Это все равно. Письмо нашло бы его.

– Какой теперь в этом смысл!

– Да, это верно, – сказала девушка, опустив голову, как бы задумавшись. Потом решительно подняла ее и опять с прежним выражением какого-то удивления обвела взглядом горизонт... – Чувствуете ли вы, как пахнет весенней водой, какой живой теплый воздух и как просыпается опять с весной жизнь?

Жизнь... – сказала она, точно по-новому как-то вслушиваясь в это слово, причем ее сцепленные в пальцах руки сжались так сильно, что хрустнули пальцы в суставах.

Офицер потянул носом воздух и, доставая портсигар, оглянулся по сторонам.

– Да, апрель месяц, – проговорил он, – земля отходит.

Тонкое и нервное личико девушки было обращено вперед в сторону узкой песчаной полосы острова, к которой лодка медленно приближалась. Глаза ее горели каким-то особенным блеском, и она

часто и жадно переводила их с одного предмета на другой, как бы отмечая каждую подробность пробуждающейся жизни.

– Вон майский жук летит, смотрите! – вырвалось у нее, Она показала пальцем вверх и даже сама засмеялась на неожиданную детскость своего восклицания. – Я в детстве любила их ловить.

Потом с каким-то странным выражением прибавила:

– Какое же это счастье ловить майских жуков!

Офицер, держа в углу рта папиросу, улыбнулся и пытливо посмотрел на девушку.

– А ведь вы, между нами, совсем еще дитя...

– Тут дело не в этом. Когда вы будете в моем положении, тогда вы вспомните и поймете меня.

– А вы таки думаете, что я когда-нибудь буду в вашем положении?..

– Непременно! – сказала девушка, выпрямившись, и какой-то огонь блеснул на секунду в ее глазах.

– И когда же это может случиться? – спросил офицер, тонко улыбнувшись одними губами и как-то вдруг неожиданно хищно прищуриваясь.

– Не больше чем через месяц, если хотите знать!

– Ого!.. Да вы прелюбопытный... зверек, чтобы не сказать больше.

И глаза его уже открыто-нагло посмотрели на девушку, причем он жевал размочаленный конец мундштука папиросы.

Но это продолжалось одну секунду. Затем, как бы пересиливая себя, он прибавил:

– Все-таки я отдаю вам должное: в жизнь свою не видел ничего подобного. Обыкновенно люди мечутся, рвутся... и вообще, нехорошо. Не эс-те-тич-но. А вы – прелесть.

– Как странно – сказала девушка, – для меня сейчас, при очень определенном к вам отношении (офицер иронически поклонился), большое значение имеет то, что вы «отдаете должное» тому, как я держусь. Это помогает держаться, потому что я на один волосок от того, чтобы начать делать то же, что и те, о которых вы говорите.

– Но все-таки это у вас напускное, навинченный героизм?

– Нет, – сказала девушка просто, – я сама не пойму. Я бы не поверила, если бы мне кто-нибудь сказал, что я в таком положении

буду так себя держать. Я как-то не могу себе представить... вот мы сейчас плывем, все обыкновенно, как тысячу раз бывало в жизни, когда не думала совсем... капли стекают с весел. Странно подумать, что через час на обратном пути весла будут точно так же опускаться в воду, лодка причалит к берегу, ее спокойно привяжут... Вот это почему-то страшно и непонятно.

Она содрогнулась спиной.

– Ну вот и приехали... – сказал офицер, когда лодка мягко и тупо ткнулась в песок острова, поросшего ивняком.

Он встал, легко выпрыгнул из лодки и подал девушке руку, как подают, когда приезжают на пикник и какой-нибудь молодой человек, придерживая лодку за нос, помогает женщинам выходить, подавая им по очереди руку.

Девушка побледнела и на секунду как-то сжалась, потом, обойдя протянутую руку, решительно выпрыгнула из лодки.

Башмаки ее утонули в сыром песке, и он засыпался в дырочки шнуровки. Она отряхнула его концом шарфа.

Рыжий солдат с сожалением посмотрел на шарф.

Девушка заметила это, сняла шарф и сказала солдату:

– Возьмите его себе, он мне больше не нужен.

Офицер вдруг с изменившимся лицом вырвал шарф из рук солдата и как-то неожиданно грубо сказал:

– Не полагается!.. Возьмите его.

Потом, обращаясь к солдатам, прибавил:

– Вы останетесь пока здесь, а мы пройдем туда, поищем остальных.

И при этом значительно посмотрел на них.

– А нам далеко идти? – спросила девушка.

– Минут десять, а пожалуй, и пятнадцать. Запахнитесь шарфом, здесь сыро, – сказал офицер, – еще схватите бронхит.

Они пошли.

Он застрелил ее в затылок тут же за кустом, не пройдя и двадцати шагов. Он два раза отводил руку назад, чтобы, идя сзади нее, незаметно вынуть револьвер из кобуры, но всякий раз отдергивал руку. И только в третий раз, когда девушка взглянула на вечернее небо и сказала: «Какое же оно в самом деле бесконечное, я никогда прежде не

чувствовала этого», он успел быстро и незаметно поднести ствол к самому ее затылку с худенькой девичьей шеей.

Выстрела было почти не слышно. Это был резкий сухой звук. Точно пастух на вечерней заре где-то хлопнул кнутом.

Ее зарыли привезенными лопатами в пропитанный весенней влагой песок вместе с шарфом, на который рыжий солдат все время смотрел и даже пробовал попросить его себе. Но начальник только посмотрел на него, и солдат сконфуженно замолчал.

Когда ехали обратно, вечер уже догорал. Весла со стекающими каплями так же мерно гребли, так же изредка в разных направлениях пролетали над водой майские жуки.

А вдали на берегу еще краснела точка костра, на который десять минут назад указывала девушка.

Все было, как всегда.

И только на носу лодки была какая-то странная, непривычная пустота.

Николай Семенович Тихонов

Дискуссионный рассказ

Перевал Латпари,

высота над уровнем моря 2850 метров, южный склон

Местами они подымались, как пена на кипящем молоке. Неровные, лопнувшие их края мутными языками лизали камни. Огромная чаша лесной страны исчезла в их косматой бесноватости. Горы изменялись в лице, когда к ним приближался прибой этого неслышного моря.

Оно затопило солнце и выкидывало все новые и новые молочные гривы, неумолимо спешившие к высочайшим углам хребта.

Начальник отдельного отряда Ефремов, скрипя кривыми зубами, смотрел на вечерние облака, колыхавшиеся под ним. Облака явно торопились.

– На рысях идут, сволочи, – сказал он.

Тогда Кононов, военком, закричал ему, таща за собой по камням задыхавшегося от высоты строевого жеребца:

– Александр Сергеевич, глядишь, любишься, а знаешь, как это называется?

Они стали смотреть оба. Ефремов грыз мундштук потухшей трубки, зло ударяя каблуком край нарастающего снега. Он не отвечал.

– Ночь называется, – сам себе ответил военком. – Торопится ночь сегодня, а мы не торопимся, комбат, а мы торопимся потихоньку...

– Торопливость хороша блох ловить, – сказал мрачно Ефремов. – Отстань от меня, военком! Мне и так невтерпеж.

Горы вокруг темнели уже заметно. Молочная пена облачного моря стала серой и враждебной.

– Плохо, Александр Сергеевич, плохо, – сказал военком.

Ефремов показал ему на изгибы горной тропы. Там вились темные кольца голодного, продрогшего и усталого отряда.

Томительный ветер вдруг засвистал в ушах. Конь военкома закашлял, трясая гривой, выросшей выше нормы. Комбатр Аузен метался по горе, крича на утонувшие среди пехоты вышки своей затасканной батареи. Иные батарейцы двигались вверх без тропинок, в муках сокращая расстояние, держась за лошадиные хвосты. Лошади

свешивались над хлипкой пропастью, собирая дыхание, и синие сливы их глаз наливались желтизной отчаяния.

– Пусти хвост, сатана! – кричал Аузен. – Мало она тебе шесть пудов несет, так ты еще примостился? Иди на тропу!

Брось хвост – у нее паралич зада будет!

Лошади с вьюком двигались прыжками, отчего вся тяжесть вьюка била их по крупу и заставляла ежеминутно оседать на задние ноги. Люди дышали, как лошади, широко раскрыв рот и останавливаясь через пять шагов.

– Ну, вот так, – сказал Аузен, – растянулись на семь верст, – где хобот, где колеса, где лобовая часть – подет разбери. До ночи не разберемся.

– А ночь – вот она. – Военком плеснул рукой в сторону облаков, – Вот где уже ночь, под колени влезла уже...

– Хорошо, что не в бой идем, – отвечал Аузен и снова закричал под гору: – Кто там рысит? Трусцой идти! Не смей рысать! Передавайте дальше: не смей рысать!

– Дай дорогу! – закричали снизу, и пехота расступилась.

Пехота садилась выше тропы и гудела.

– Заморились, – сказал Ефремов, – заморились работнички. Ничего не поделаешь. Скоро ночлег.

– Где ночлег? – спросил Кононов, беря из рук комбата кисет с махоркой.

– На перевале, по расписанию, – не моргнув глазом, ответил Ефремов.

– Та-ак, – протянул Кононов, – на перевале? В снежки играть?

– В снежки не играть, – отвечал с деловитой яростью комбат, – а ты, военком, суди сам. Вниз не стянемся благополучно: темнота, измотали людей и лошадей. Куда пойдешь, что скажешь? Смотри, что делается.

– Дай дорогу!

Задние вьючные лошади проходили мимо обезноженной пехоты тихим, рабским шагом. Ударил колючий и холодный дождь. Смесь людей, камней и животных потемнела еще больше. Ночь подходила вплотную.

Серая лошадь первая сорвалась с узкой тропы. Щебень хрустел и трещал под ее перевертывающимся телом. Красноармеец прыгал за

ней, не выпуская повод. Он кричал и прыгал, утопая в рыхлом щебне по колено. Лошадь остановилась и лежала, дрожа на выступе, ощерившемся и непрочном, не думая вставать. Красноармеец потянул повод на себя. Лошадь встала дрожа и пошла наверх, спотыкаясь и кося глаза на пропасть.

Другая лошадь упала, загородив тропу и сползая к краю стены.

– Смотри, что делается, – сказал холодно Ефремов, разжигая трубку. – Это тебе не степи кубанские – попрыгай.

– Встали. Чего встали? – спросил Аузен. Вокруг сытой и бойкой лошадежки, хватавшей ртом снег, толпились люди.

– Седловку справляем, товарищ начальник.

– Седловку... – начал Аузен и не договорил. Сзади него, обходя поверху, повалился конь в снежную яму и ерзал мордой по снегу, бил всеми копытами снежную дыру. Три красноармейца держали его за хвост, один тянул за повод, утопая сам в снегу все глубже.

– Дела! – сказал военком. – Хуже не бывает. Дела!

– Николай Егорович, не горюй. – Ефремов сел на камень. – Меньшевичков почистили – пыль с них сбили. От банд и следу не осталось. А такие переходы – не парад, не парад. Проверочка – такие переходы. Вон мои ребяташки чешут пятки о камни. И курят. Ведь курят. Говорил – не курить.

Дышать нечем чертям, а они храбрятся – курят.

– Да ты сам, чудака, куришь...

Стрелки карабкались, кутаясь в длинные холодные промокшие шинели, закинув винтовки за спину и по-охотничьи придерживая их сзади. Дождь подгонял идущих, но, посмотрев вперед и не видя намека на огонек и отдых, они снова шли, все тише и тише, пока не останавливались, держась за камни и прислушиваясь к мутным ударам скакавшего через непереносимые барьеры сердца.

– Усталость в расчет принимается не целиком, – сказал Ефремов. – Что скажешь, военком?

– Ты кряжист, – ответил Кононов. – Ты сколько дорог ломал? А тут есть, которые новички. Тут и целиком расчет пересчитаешь. Где класть их спать будешь?

– То-то и оно, – сказал военком невесело. – Ну, а у тебя, Николай Эльмарович?

– Собрал, Аузен-то не соберет! Всех собрал – два вьюка догоняют. Абгемахт. Перевал за поворотом. Стоянку я смотрел.

Можно говорить, военком?

– Говори.

– Погубим мы отряд сегодня.

– Почему ты думаешь?

– А вот посмотришь.

Шагавший перед ними красноармеец сел, отирая пот, и застонал, задыхался, как будто из пего выкачивали последний воздух.

– Торопливость, торопливость, – откуда-то сверху летел голос Ефремова.

– Алла верды! – закричал тогда иступленно военком.

– Алла верды!.. Алла верды в голову требуют!.. Алла верды!.. – передавали по кольцам отряда. Имя шло прямо в облака, уже обнимавшие нижний карниз тропы своей ватной тяжестью.

Из облаков вышел верховой. Княжески блистательная бурка одевала очень худые и длинные несуразные плечи. Красноржавое лицо было залито косым дождем. Конь взмыл в гору и стал рядом с военкомом. Настоящее имя Алла верды было Микан-Гассан Шакрылов, но все его издавна звали Алла верды.

– Алла верды, вода на перевале есть?

– Нет вода, – живо сказал Алла верды, откидывая капюшон.

– Трава лошадям есть?

– Нет трава...

– Что же там есть? – спросил военком, глядя мокрую шею иноходца.

– Снег есть, камень есть, темно есть, – быстро сказал Алла верды и завернул коня.

Белая черта, лежавшая над головой так, что можно было до нее достать нагайкой, приблизилась:

– Стой, отряд, стой!

– Вот тебе и перевал, – сказал Ефремов. Дождь залил трубку.

Это называется отдых

Когда грузинские меньшевики подняли восстание в Сванотии, лучший оратор Капелейшвили потерял голос, бессечно и напрасно повторяя одно и то же. Бело-зеленые банды были выжжены и

выметены железной метлой из лесов Чолура, и остатки их бежали в дебри без надежды вернуться.

Отряды Красной Армии шли в разных направлениях, добывая клочья банд. Стояла поздняя осень. Нет ничего печальнее перевала осенней ночью. Ветер особый, безлюдный, доисторический ветер хозяйничает на его просторе. Тени громадных гор качались за мглой тумана. Начал падать снег.

Красноармейцы стояли кучками, прижавшись друг к другу.

Батарейцы согревали руки, заложив их под гривы, о горячую шею лошадей. Сесть на снег никто не решался. Предстояло простоять бесчисленное множество часов до утра. После шквала наступила особая горная тишина. Ни куст, ни травинка не шевелились, потому что их не было на всем просторе перевала.

Камень и снег окружали людей. Ночлег не имел права на это мирное определение часов, отведенных под отдых.

Аузен бродил между лошадей, кутаясь в бурку. Он трогал спины лошадей, и темнота съедала его искривленный рот и почти испуганные глаза.

– Потертости, старшина, – говорил он, – нагнеты на холках – на что похоже? Попоны кладут неправильно. Спустимся с горы – взгрею, старшина.

Электрическим фонарем он освещал дрожащие лошадиные ноги, он нагибался, как ветеринарный фельдшер.

– Засечки, старшина, – почти шепотом говорил он, – венчики побиты: как вели – на хвостах мастера ездить... Спустимся с горы – взгрею.

– Камней много, – отвечали из тьмы, – по каким местам шатались – ни тебе моста, ни тебе дороги, все вброд, все вброд; камни – тоже несчитанные. И людям трудно.

Аузеи отвечал во тьму с вызовом в голосе:

– И людям трудно, товарищи! А как мы воевали в Дагестане? Пятнадцать человек пушку держали – на канатах держали. На двадцать седьмом выстреле, как сейчас помню, трах – ни каната, ни пушки. Три версты пропасть, и летела та пушка со скалы на скалу, пока не угробилась. И висит до сих пор дулом вверх, старшина. Люлька к черту...

– Мы все тут будем дулом вверх, – сказали из тьмы, – сдохнем к утру. Ни стать, ни сесть...

Аузен слушал молча.

– Товарищ начальник, – сказал стрелок Курков, мотаясь в неладной, задрипанной своей шинели. – Я в Хунзахе месяц сидел, вику ел с кониной в Первом Дагестанском, – а тут тяжелые. Сами рассудите – ни пня, ни огня...

– Пальцы гудят, – сказал другой стрелок, – ломает ноги – до колен дошло. Я уже скакал, скакал – нет мочи и скакать больше.

– Руки замерзли, винтовку держать не могу. Если б еще война, а то на походе мученье невесть за что.

Голоса шли с разных сторон. Гудел весь перевал этими хриплыми и жалобными голосами.

– Лучше этого места на свете нет – остановились.

– А ты заплачь...

– Сам заплачешь. Снег пойдет, и метель непременно к утру хватит. Как мухи смерзнем.

Черная бурка военкома зашла краем за бурку Аузена, – Николай Егорович, что делать?

– Деда – дела никуда. Послушайте-ка!

Из темноты шел голос, скрипучий и острый. Алла верды рассказывал горскую сказку. Они подошли ближе. До них долетели обрывки фраз:

– Охотник говорил: я лезу в берлогу; когда поймаю медведя, буду дрыгать ногами...

Ветер унес продолжение в другую сторону. Потом они услышали скрип его голоса ближе, и слова стали понятней.

– ...была у него голова или нет? Пошли к жене, спрашивают: была у мужа голова или нет? Жена говорит: не знаю, была голова, не была голова, но шапку я ему покупала каждый год...

Слушатели топали ногами, как в хороводе.

– Алла верды, – крикнули со стороны, – в штаб! Немедленно!

Военком и Аузен шли вдоль бивуака. Это был самый невероятный бивуак в их жизни. Холод гулял по телу, как по пустой комнате, время остановилось. Люди бегали между камней и вскрикивали от холода. Лошади храпели. Люди садились в изнеможении на снег и стучали зубами.

Неясные слова, хрип, кашель, звон упавшей винтовки, скрип вьюков – были окружены ночью. Холод, ветер, голод и усталость ринулись на людей, как на добычу. Никто не надеялся на утро. Где-то внизу стояли леса; большие стройные сухие деревья, кусты – какой огонь можно развести! Где-то внизу люди спали в домах, отгородившись теплыми стенами от этого мелкого снега и бесконечной темноты.

– Отряд погибнет, – сказал Аузен, – абгемахт. Это ясно.

Что проку в этом ночлеге?

– Николай Эльмарович, – сказал военком, – идем к Ефремову. Дела такие – что дальше некуда,

Давайте думать

Алла верды вынул из деревянного патрона на груди серые нитки, куски смолистого дерева.

– Есть дрова, я знаю, где – немного дерева. Я согрею тебя, – сказал он, – я разожгу огня.

Ефремов отвел его руку и положил свою ему на плечо...

– Алла верды, – сказал он почти любовно, – ты помнишь, как ты женился? А? Как ты показал мне и сказал: «Моя жена». – «Хуже соломы не нашел?» – сказал я тогда. Весь Владикавказ знал эту солому. Весь город валялся на ней, а ты не знал...

– Ты хорошо говорил – спасибо. Не надо такой жены нам. Спасибо.

– Алла верды, ты помнишь, как мы брали Баку? Как ты скакал три дня, сабля наголо, и кричал: «Баку, Баку!» И мы взяли Баку...

– Помню, начальник...

– Алла верды, будем думать, что делать...

– Будем думать...

И они стали шептаться, как закоренелые заговорщики.

Ефремов стоял между Аузенем и Кононовым. Синие щеки военкома от холода стали черными. Аузен почти плакал – непонятно, почему. Он не озяб.

– Дела! – сказал военком. – Штаб не рассчитал, что мы не перевалим сегодня. Конский состав с ног сошел. Люди тоже на боковую. А боковой-то и нет. Стоят. Так нельзя, Александр Сергеевич, отряд погибнет. Отвечать будешь ты... и я. Давай думать!

– Я обошел бивуак, – сказал Аузен, – ничего подобного не видал в жизни. Я снимаю ответственность за батарею, в ней к утру некому будет ни стрелять, ни нести вьюк. Надо найти выход...

Ефремов вышел из палатки. Военком и комбатр следовали за ним. В неясной мгле шатались толпы и стояли толпы. Снег больше не шел.

Четкий голос винтовки прорезал затаенные шорохи бивуака. На перевале вмиг затихли все голоса. Внизу стреляли.

– Правильно, – сказал Ефремов, – у наших меньшевичков не все еще гайки ослабли. Нас в оборот берут – слышите?

Бой шел где-то под перевалом. Выстрелы шли с разных сторон.

– Так, – сказал, повеселев, Ефремов. – Давай сюда ротных, давай сюда взводных! Николай Эльмарович, берите-ка ваши пушки, двиньте, пожалуйста, легонечко шрапнелью, а потом увидим. А потом и гранатой. Сейчас мы все согреемся.

Молодцы часовые, не прозевали. Запомним сие для потомства.

Аузен, Николай Эльмарович, комбатр, расстроивший нервы еще в мировую войну

Кто бы поверил в отряде, что Николай Эльмарович Аузен больше всего боится темноты? И однако это было так. Ему казалось, что он умрет непременно ночью, однажды ночью. Никогда никому он не говорил об этом. Он синел от ужаса с ног до головы.

Пункт 815 Полевого устава: захваченные высоты немедленно закрепляются за собой артиллерией!

Огонь! Полночный удар горной пушки пришелся в каменные осыпи. Шесть с половиной кило тяжести ударилось в каменную башню. Стена охнула. Невидимые камнепады долго стонали, содрогаясь и грохоча. Узкие щеки Аузена побагровели от вспышки выстрела.

Огонь!

Весь нижний мрак, – тот, что ползал под ногами Аузена, – вопил навстречу, перекатывалось в каменных ладонях эхо выстрела.

Днем переходили реки вброд. После этого на отдыхе смазывали снарядной мазью дистанционные и ударные трубки и дульца гильз. Внимание всему, а вот у лошадей нагнеты и потертости – Аузену не хватает двух глаз.

– Огонь!

Грохоты возвращаются обратно, как разрывы неприятельских гранат, но у неприятеля сейчас нет пушек, нет даже пулеметов – тревога подымается к самому сердцу, как те вечерние облака. Бедное сердце, перегоревшее еще в огне мировых сражений, мрачное, страдающее сердце комбатра Аузена! Нужно бить по каменным осыпям, тогда на голову врага сыплются камни, осколки скал.

И уже ясно было разделение. Вот Аузен, кости и мясо которого перепутаны, сломаны смертельным страхом, слезы на глазах от внутренней боли, больной человек, боящийся не за участь отряда, не за себя, а только за удары истрепанного, негодного к употреблению сердца. Вот другой Аузен, стоящий в черной бурке чертом, неколебимо у орудия, без сигнальщиков, без связи, без пристрелки, застигнутый врасплох, поражает мрак – Аузен на службе горной артиллерии, специалист, которого в отряде, если он сейчас умрет, некому заменить полностью. Если бы не этот второй Аузен, Аузен долга и воли, первый Аузен сел бы у орудия, сполз на землю с лафета и заплакал бы, закрыв лицо руками, потому что больше всего на свете он боится темноты – не смерти, не мучений, не боя, – он боится только темноты.

– Огонь!

Красноватый призрак выстрела – душа взрыва – не может осилить ночь, наваливающуюся всей черной тяжестью на плечи одного человека. Ночь жжет плечи сквозь бурку – это, может быть, ветер и холод; темнота оседает крупинками на лбу – это, может быть, и снег. Аузен хочет огня, не этого сверкающего и гремящего, на секунду, а хорошего, доброго длинного огня, низвергающего темноту. Он чиркает спичку за спичкой, одни вовсе не горят, другие вспыхивают и гаснут. Когда он спит ночью, он закрывается с головой.

– Огонь!

Это голос другого Аузена, которого все знают и любят; он бережет людей и лошадей, он знает орудия, как самого себя.

Как самого себя. Он прячет лицо в бурку. Слезы льются по щекам. Сердце глухо поворачивается, как корабль, севший на мель. Это больной Аузен, с растерзанными нервами, не может пережить спокойно ночь. Нет, никто не должен знать, что Николай Эльмарович Аузен, исключительный солдат, до слез боится темноты. Это никого не касается. Это его личное дело.

Это очень странно – такая детская болезнь у взрослого. Это очень страшно. Пускай это умрет вместе с ним и его проклятым сердцем. Посинелыми губами от холода (от страха) он командует:

– Огонь!

Дикий удар пушки приходится на каменную стену. Невидимые камнепады режут на все четыре стороны долго и уныло.

**Курков, Петр Осипович, красноармеец,
на вечере воспоминаний о гражданской войне**

Самое, скажу, неинтересное, гражданские товарищи и товарищи бойцы, – воевать ночью. Тебя, правда, не видно, да и ты не видишь ни ручки. Заночевали мы, можно сказать, стоя.

Какой там нерасчет вышел, а пришли мы, мать дорогая, на пустейшее такое место на верху горы. Ни сесть, ни лечь. Скулы светло – мороз, того гляди, ударит, а одежонка у всех поистрепалась изрядно. Не могу себя найти – обмерз весь. Бойцы, какие послабже, пиццать начали, как птицы, ей-богу! Не можем понять, чего комиссар с командиром соображают.

Ни тебе пня, ни огня, ни кусточка – веточки никакой.

Воды – и той нету. Лежит снег, и скука такая – тошнит от той скуки. И как ни прижимайся друг к другу, как ни дыши в рукава, нет тебе согреву. Одно слово – верх горы, в небо уперлись – конец свету. Падение дисциплины, думаю, пойдет срочно. Уже винтовки иные держать не в силах, и помутнение в глазах у всех от снега и от скуки этой горной такое, что не дожить до утра без несчастья никак. Погоди, что вышло. Проведали, что ли, через шпионство о нашем таком положении недобитые какие-то бело-зеленые банды из меньшевиков – и начали, подошли и начали часовых щупать. Думают – смерзли, застыли или заснули. А те их и покрыли со злости, с морозу. Ну, и пошла перепалка.

И с той самой пальбой, гляди ты, положение меняется, и сразу в нашу пользу. Самые тихие стали свое дело вспоминать.

Тут и команда: «Становись!» И стали все становиться, и кто не мог и кто мог – все разом строились. Гляжу – и легче душе становится. И пошли мы в обход сбивать врага, и по каким камням – дух вон! И с таким темпом пошли, что летели с камня на камень, со второго на пятый, и не было нам остановки.

И стреляли, чтобы согреться, и стреляли сначала почему зря, а потом боевое задание без выстрела стали выполнять, и, как не жрали мы с вечера, – легкость в ногах была такая, что лезли мы прямо на скалы. Скалы такие чудные, что утром глядели, не верили – мы ли это лезли или не мы.

И никаких уныний не наблюдалось. Я как старатель кавказских многих видов такое первый раз дело видел. И отстать никто не хотел, и те, что, как птицы, пищали, говорили полным голосом и ругались во весь дух. Банды мы сбили начисто, и следа от них не осталось. Очистили путь всему отряду и тут сели отдыхать на камни, и огня не надо – пар от шинелишек идет, как от самовара. Все согрелись, пока по камням прыгали и лицом к лицу врага искали. А он сгинул, как в воду, – убежал. Это всегда бывает, если обход правилен, – теряет враг позицию и, если налегке, бежит впустую, а если с обозом – извините, обоз нам оставляет. Ну, тут, значит, налегке были.

И, угнав нашего классового врага, зашли мы, конечно, в село ихнее и там спали и ели в тепле. Много нам, конечно, артиллерия помогла. Я в Хунзахе тридцать дней вику жрал, а такого боя не видел. И в Хунзахе артиллерия очень помогала. Но это интересно только снутри, а снаружи – воевать ночью неприятно. И убьют если, то, конечно, не страшно, потому темно, а если ранят, хуже – потому не сразу отыщут и подберут, смотри, на другой день еще.

Отрывки из донесения военкома отдельного отряда Николая Егоровича Кононова

Доношу, что мы двигались с двумя взводами горной батареи и неполными двумя ротами стрелкового полка вверх по р. Цхенис-Цхали и пришли к ночи на высоты перевала Латпари...

Во время движения моральное состояние бойцов и комсостава было хорошее. После очень утомительного и непрерывного похода, имея в виду ликвидацию бело-зеленых банд, о коей я уже подробно доносил, состояние пошатнулось немного, потому что главной причиной была физическая свыше сил усталость...

Подъем на перевал не был рассчитан и согласован со штабом N отряда, и мы пришли к перевалу к ночи. На перевале не оказалось ни дров, ни травы; нельзя было даже согреть чаю и накормить бойцов. Мы рассчитывали проскочить перевал, и это не удалось.

Подул сильный ветер, свойственный такой местности, и пошел свойственный высокогорью снег, что повело к тому, что бойцы стали ложиться на голые камни и к утру многие могли обморозиться. Укрытый от ветра и снега не было никаких.

Мокрые шинели стояли колом.

По обследовании лошадей обнаружилось: 5 лошадей с потертостями и у 6 – нагнеты и засечки венчиков. Оружие было в полном порядке. Из людей на перевал не могли идти четверо, а другие больные были оставлены в Цагери, после чего остальные держались в строю. На горную болезнь жалоб не поступало...

После полуночи со стороны севера подошла бело-зеленая банда, которая атаковала наше расположение. Мы вступили с ней в бой, открыв стрельбу из двух орудий. Посланные в обход два взвода обошли по неприступным скалам противника и обратили его в бегство.

Банда отступила по направлению к Ушкулю, для того чтобы не быть отрезанной в долине Ингура. Преследовать ее будет, вероятно, отряд Гелильяни. Раненых у нас нет. Потери банды неизвестны.

Моральное состояние бойцов превосходное.

Все, кто замерзал от холода и ветра, сейчас уже заняли позицию и отогрелись в бою, особо те, что были в обходе, ибо надо видеть самому те скалы, чтобы составить представление о местах, куда взойшли наши доблестные стрелки.

Комсостав действовал без паники, и особенно быстро начал стрельбу из орудий и дал прикрытие обходимой части комбатр горной Аузен Николай Эльмарович, показавший крайнюю выдержку и боевой порядок.

Особо отличался боец Курков Петр, первым взошедший на неприступные скалы при обходе противника.

Сейчас отряд стоит на отдыхе в селе Лархор, Кальской общины, в долине Ингура, при слиянии его с р. Халде-Чала.

Связь со штабом N отряда и исполкомом местным налажена.

Довольствия хватает. Маловато махорки. Бойцы обижаются...

**Ефремов Александр Сергеевич,
комбат, начальник отряда**

– Написал донесение о бое? – спросил Ефремов военкома на отдыхе в селе Лархор.

Он сидел, расстегнув гимнастерку, и его широкое лицо, изрытое оспинами, хранило сосредоточенное лукавство. С улицы, заставленной оперными домами, шла бывалая красноармейская песня.

Батарейцы у берега мыли лошадей.

– Написал, – сказал Кононов.

– Порви, пока не поздно. Никакого боя не было...

Кононов, как мог, сузил глаза и уставил их в переносье Александра Сергеевича.

– Ты что? – сказал он. – Ты что еще за винты нарезаешь?

– Порви донесение, – сказал медленно Ефремов. – Боя не было. А была тревога боевая – это разница. Видал ты хоть одного бандита?

– Нет, – сказал, хмуря лоб, военком, – не видал. А кто, по-твоему, крыл огнем наших из скал? Эхо? Игра природы?

– Эхо – не эхо, а ты раненых наших считал, убитых видал?

– Нет, – сказал тихо военком и потер хмурый лоб, – да кто же стрелял в пас?

– В нас – никто, а в воздух стрелял – скажу, не поверишь...

– Ну?

– Стрелял, брат... Чего уставился? Не я стрелял, стрелял Алла верды.

– Как? Кто же ему приказал?

– Я приказал, – запахивая гимнастерку, сказал Ефремов. – Понимаешь положение: замерзают люди, пропадает отряд. Куда пойдешь, кому скажешь? Я позвал этого Алла верды и внушаю: «Помнишь, как ты на стерве женился?» – «Помню, – говорит, – спасибо, что глаза открыл». – «Помнишь, – спрашиваю, – как Баку с тобой брали?» – «Помню», – говорит. «Ну, если и это не забыл, так помни и то, что я сейчас скажу. В бесчувствие отряд пришел. Так? Ступай в горы и крой – делай тревогу! А уж я людей раскачаю. Согреются мигом». Как тарарахнули по скалам – все в ружье встали, как миленькие. Мог я, по-твоему, так поступить, а? Ты говорил:

«Дела – хуже не надо. Кто отвечать будет? Ты». (На меня пальцем сунул.) Я, – на себя пальцем ткнул. – Вон и смотри.

Не отряд – игрушка. Песни поют. Боевая выдержка брызжет.

Порви донесение – ни к чему...

– А ты думаешь – ты прав? – спросил военком.
– А ты думаешь – я не прав? – сказал Ефремов, и синий дым обволоок его отвратительные оспины.

**Микан-Гассан Шакрылов,
прозванный всеми просто Алла верды**

Он остановил буланого коня Аузена на бревенчатом мосту через Ингур. Аузен посмотрел на него надменно пустыми глазами. Днем это был обычный Аузен, осмотрительный, щеголеватый, осторожный, всезнающий артиллерист. Перед ним стоял старый горец, давний спутник отряда, проводник и переводчик.

– Спасибо, начальник, – сказал Шакрылов, прикладывая руку к сердцу.

– За что благодаришь? Не выпался? – сказал Аузен. – Пусти коня.

– Сейчас пушу. Спасибо за то, что ты меня не убил, немного мимо давал...

– Я – тебя? – спросил Аузен, наклоняясь с седла и смотря в древнюю бороду горца. – Когда?

– Как ты стрелил из своей пушки – гора валилась и мне на голову – чуть не убил. Камни шли, шли мимо, мимо, долго шли. Стрелил бы еще раз – конец Шакрылов. Спасибо... Хорошо стрелил, честно стрелил. Поезжай... О-а... Пошел!..

И он толкнул коня я, улыбаясь, пошел через мост. Аузен поехал оглядываясь, и буланный слюнявил трензель и оглядывался, как и его хозяин.

Аузен взглянул в небо. Облака были не как вчера – под ногами. Облака шли вверх, над головой. Их нельзя было, как вчера, достать шашкой: их можно было достать только из винтовки или его горной пушкой (76,2 мм) со снарядом в 65 кило, дальность 7 километров, число выюков 7, вес орудия 650.

1931 г.

Александр Александрович Фадеев

Землетрясение

1

В 1920 году по условиям перемирия, заключенного с японским командованием, части Приморской группы отошли на тридцать километров от железной дороги, за нейтральную зону. Второй Вангоуский отдельный батальон отошел в глубокий таежный тыл, в село Ольховку. Батальон должен был построить там зимовья и склады на случай новой партизанской войны.

Наступил август. Давно уже были построены зимовья и склады, а никто не вез ни продовольствия, ни снаряжения. Про батальон точно забыли. В течение месяца бойцы получали по горсти пшена на день.

Решили тогда послать двух отделенных командиров, Федора Майгулу и Трофима Шутку, в ближайшую хлебородную долину – просить помощи.

Федор Майгула и Трофим Шутка были уроженцы южных уссурийских районов, односельчане и одногодки. Они дружили между собой. Это были настоящие парни – рослые, как ясени. Майгула любил помечтать. В свободное время он мог часами лежать на траве и смотреть, как облака плывут по небу, как играет солнце на стволах деревьев, как падают тени утром, в полдень и вечером я меняются краски. А Шутка все хотел знать, что от чего происходит, и любил всякое мастерство, и всякое мастерство спорилось в его быстрых руках. Он был подвижной и веселый, как его фамилия.

Чтобы не заблудились они в окружных болотах, их пошел проводить до правильного ключа местный тигролов и партизан Кондрат Фролович Сердюк – старик ростом с Петра Великого, но куда пошире и бородатый. Русая борода его была поразительной мощности и непомерной длинноты.

К тиграм он относился ласково, но без уважения, называл их не иначе, как «котами». За жизнь свою он не менее тридцати «котов» скрутил живьем, а переколотил их, как сам говорил, «и счету нет».

Живых тигров он поставлял торговой фирме Кунста для германских зверинцев, а убитых – китайским купцам на лекарства.

Все тело и лицо Кондрата Фроловича было в шрамах и царапинах, правая рука между локтем и кистью сплошь искромсана тигровыми зубами. Как-то с двумя сыновьями он выследил самку, водившую трех полувзрослых котят. Охотники преследовали зверей недели три, не давая самке поохотиться. Под конец котята вовсе обессилели. Самка, отбиваясь от собак, вертелась вокруг да около по тайге, никак не удавалось ее пристрелить. До сумерек повязали двух котят и хотели третьего, да сгоряча, не разобрав в темноте, Кондрат Фролович вместо котенка налетел на самку. Он наскочил на нее сбоку с веревкой в руках и грудью сшиб старуху со всех четырех лап, – опомнился только тогда, когда ее оскаленная пасть возникла над ним и страшный рев едва не оглушил его. Старику ничего не оставалось, как загнать собственную руку в разверстую перед ним пасть поглубже. Тигрица, стень и задыхаясь, грызла его руку, а сыновья Кондрата Фроловича, боясь стрелять, чтобы не попасть в отца, по очереди били ее винчестерами по голове, пока не сломали винчестеры. И уж сам старик, изловчившись, с левой руки запустил ей кинжал под сердце.

Вынужденный месяцами молчать в лесу, Кондрат Фролович любил поговорить на людях и всю дорогу занимал Шутку и Майгулу степенным своим разговором.

Разговор начался с того, что Майгула спросил:

– И как это ты, дед, тигров не боишься? Ведь злые!

– А чего мне их бояться, коли я знаю, они больше меня боятся, – сказал старик. – Правда, охотнички наши любят порассказывать: мол, на того кот напал, на того – медведь, да то все не истинно. Самый дикой зверь норовит от человека уйти. Зверь напротив человека идет, уж когда ему деваться некуда. Страшней зверя, как человек, в тайге нет.

Тут Кондрат Фролович от зверей перешел к человечеству, и выяснилось, что о человечестве он самого тяжелого мнения.

– Люди не только зверю, они друг другу страшны, человек сам себе страшен, – говорил старик. – Годов тому двадцать водил я экспедицию – один образованный полковник места наши на карту снимал. Раз он мне говорит: «До чего ты, Кондрат Фролович, простой,

как ребенок, у тебя и глаз детский». А я ему говорю: «Что ж глаз, когда в сердце у меня коршун». – «Нет, говорит, человек ты очень благородный, а все оттого, что ты на природе живешь». А я ему говорю: «От природы в нас не может быть благородства. Когда б мы, мужики, над ней господа были, может, и было б в нас от нее благородство, а мы по ней ходим. По будням ворочаем пни до кровавого пота, а в праздники с устатку водку пьем, а к вечеру друг друга режем, – тоска да ненависть в нас от нее, а благородства нет». – «А посмотри, говорит, на гольдов: совсем дикой народ, а живут на природе, как дети, разве нет в них благородства?» – «Благородство в них есть, – это я ему говорю, – да это, говорю, потому, что у них промеж себя братский закон, а природа для них – мачеха, и они ее боятся». Так и не переговорил он меня. Да и правда: плохо, очень плоховато мы живем. И сколько ни бьемся за правильность, а оно все на старое. Землетрясение, что ли, какое на людей напустить? Пущай бы уж всю землю перетрясло. Поди, те, кто живы б остались, по-новому жить начали. От страха, – пояснил старик и, посмотрев на парней серыми своими глазами, улыбнулся.

Так дошли они до ключа и сели под кедром перекусить перед тем, как расстаться. Поели, и вдруг Кондрат Фролович говорит:

– А не завидую я вам, ребята. Страшная ваша путь-дорога. Ведь это какая тайга? Это тайга мертвая. Тут ни птица, ни зверь не водится, и ветер сюда не достигает. Тишь-то какая!

Он снял шапку и прислушался, и глаза у него стали какие-то лешачьи. Майгула и Шутка тоже подняли головы и прислушались. Непролазная чаща, как стена, стояла перед ними, ни один лист не шевелился – ни дуновения, ни шороха, только ключ слабо звенел. Парни покосились на старика, потом друг на друга и, по молодости лет, рассмеялись.

А правда, чаща тут была такая, что солнце редко где пробивало ее. Тысячи лет стояла она так, нерушимая. Не шевелясь, как изваянные, высились кругом папоротники в рост человека. Воздух был душный, влажный. Почва вся состояла из павших от старости

гнилых, обомшевших деревьев. Иной раз Майгула и Шутка по пояс проваливались в труху.

Они шли и все говорили о том, о сем. Вначале они говорили оттого, что вырвались из скучного сидения в Ольховке и им было весело. А потом стали говорить оттого, что страшно было молчать: такая невыносимая стояла кругом тишина.

Ночью они долго сидели у костра, глядя в огонь.

Утром Майгула пошел набрать в котелок воды для чая. Спустился к ключу, только хотел нагнуться – и задрожал. Через ключ перекинулось, в плесени, дерево, а на дереве, свернувшись кольцами, выложив на них крупную плоскую головку, лежал громадный полоз и смотрел на Майгулу. Кольца у полоза были все в изумрудах. В глазах его, застывших на Майгуле, стояли две золотые точки. Все молчало вокруг, только ключ чуть слышно звенел.

Майгула трясущейся рукой зачерпнул воды и пошел к стану, удерживаясь, чтобы не побежать. Подумал было взять винтовку, вернуться и убить полоза, но не смог заставить себя: уж очень страшно было возвращаться к ключу.

Вечером парни неожиданно для себя поссорились. Шутка начал разводить костер, а Майгула сказал, что не надо разводить костра. Он сам не знал, почему ему не хочется, чтобы горел костер. А боялся он костра потому, что ему казалось: как только огонь разгорится, станут они оба на виду, и вся сила тьмы и тишины обрушится на них и задавит их. Но Шутка знал, что в тайге всегда вернее с костром.

И они стали спорить, не замечая сами, что спорят не в голос, а шепотом.

Майгула шипел:

– И так тепло. Завернемся в шинельки да и уснем.

А Шутка шипел в ответ:

– С огнем надежнее. И чего ты боишься?

Майгула злился, что его обвиняют в трусости, и шипел:

– Это ты, видать, боишься без огня. А и так тепло.

– Вот не знал, что ты эдакий! – сердился Шутка. – А с огнем надежнее.

Костер они все-таки развели, но кашу поели, не глядя друг на друга, и легли не вместе, как в прошлую ночь, по разные стороны костра. Утром встали с опухшими глазами, злые.

Весь день они боялись разговаривать, чтобы не поссориться, и не глядели друг на друга. В этот день они перевалили две больших сопки. А вечером уже и Шутка не стал разжигать костер.

Майгуле хотелось сказать:

– Ага! Стало быть, и ты такой, как я. Небось теперь видишь, что страшно?

Но ему не хотелось признаться в том, что ему самому страшно, да и боялся он, что Шутка из упрямства разожжет костер, и тогда обоим станет еще страшнее.

Они легли по разные стороны лесины, завернувшись в шинели, и всю ночь ворочались без сна, поводя ушами, как звери.

Утром обнаружилось, что Майгула на вчерашней дневной стоянке забыл топорик, и они снова поссорились.

– Не знал я, что ты такой раззява! – злобно говорил Шутка.

Майгула смотрел на него темными от ненависти глазами и говорил:

– Ты ж сумы увязывал... Это ж ты, ты сумы увязывал!

И стали они друг другу вконец отвратительны. Шутке казалось, что Майгула много ест (так что им на дорогу не хватит), и губы у него толстые, противные, и что Майгула ленится и все приходится делать ему, Шутке, – и костер в обед разводить, и котелок мыть, и сумы увязывать. А Майгуле было ясно теперь, что Шутка только прикидывался веселым, а на самом деле был хитрый человек, подлый человек. И Майгула все вспоминал, что семья Шутков слыла на селе за воров.

Они теперь совсем не говорили друг с другом. Ненависть их росла день ото дня, но они боялись сцепиться. Они боялись того, что в ссоре один убьет другого, и тогда оставшийся живым погибнет в этой чаще от тоски и страха. Ночами они ложились порознь и не спали, – кое-как отсыпались днем. Казалось им, идут они уже целый век. И когда однажды к ночи, задыхаясь от усталости, влезли они на знаменитый по крутизне и дикости Бархатный перевал, оба не поверили: открытое звездное небо раскинулось над ними. Дул ветер. Тайга лежала глубоко внизу, в звездном свете.

Едва дождавшись утра, они начали спускаться с перевала. И только спустились к другому ключу, как что-то зафырчало в ольховнике, и оба шарахнулись в стороны, – таким ужасным

показался им этот внезапный звук после стольких дней тишины. Это вылетел из кустов табун рябчиков. Шутка и Майгула с недоверием смотрели на этих живых тварей.

Тут тайга стала редеть, и к полудню они вышли в долину, залитую солнцем. Веселая речка преграждала им путь. На той стороне расстилались поля под синим-синим небом. Бабы жали пшеницу.

Парни разделись и кинулись купаться. Они долго барахтались в холодной воде, фыркая и улыбаясь про себя. Потом Шутка сказал:

– Выбрались все-таки, а? – и засмеялся.

Они впервые за всю дорогу посмотрели друг другу в глаза и заметили, как оба похудели и пожелтели. Майгуле стало жаль Шутку, – он замигал и отвернулся.

3

В долине, куда вышли Майгула и Шутка, стоял Сучанский полк, и этот полк окружным путем доставил продовольствие Вангоускому батальону.

А потом началась новая партизанская война, и длилась она до 1922 года, пока ни одного вооруженного японца не осталось на нашей земле. В этой войне бились до конца и Шутка, и Майгула, и Кондрат Фролович Сердюк.

Когда война кончилась, Кондрат Фролович вернулся в Ольховку и стал по-прежнему ловить тигров, только уже не для германских, а для советских зверинцев. А Шутка и Майгула пошли учиться.

Прошло еще двенадцать лет.

И Кондрат Фролович, и Шутка, и Майгула начинали свою жизнь как люди незаметные, простые. А теперь все трое стали большими людьми, известными всей стране.

Тигров, которых ловил Кондрат Фролович, можно было видеть в зверинцах и зоологических садах Москвы, Ленинграда, Харькова, Тифлиса. И дети, когда ходили смотреть зверей, уже знали, что вот этот тигр пойман знаменитым уссурийским охотником Кондратом Фроловичем Сердюком, колхозником села Ольховки.

Шутка стал строителем железных дорог. Он строил их и на Урале, и в Казахстане, и на Хибинах, и на Кавказе. По его дорогам ездили

люди, многие из которых в жизни не видели железных дорог: вотяки, казахи, карелы, лезгины. И на начальных станциях каждый мог видеть Доску почета, где среди других фамилий значился и Трофим Шутка.

А Майгула научился писать красками картины на полотне. Картины его выставлялись в Москве, в Баку, в Горловке, в Магнитогорске. И всюду говорили, что его картины воспитывают людей в духе новой жизни.

В 1934 году, осенью, Майгула поехал на родину.

Он не узнавал знакомых мест, да и люди стали другими. Вдоль старой Уссурийской дороги на сотни и тысячи километров прокладывались вторые пути. Ночами Майгула, не отрываясь, смотрел в окно, и видел огни тракторов, и слышал урчание, заглушавшее шум поезда, – тракторы подымали зябь.

На станциях было много войск. Бойцы ладно одеты, обуты. Когда поезд долго стоял на станции, Майгула подходил и смотрел, как бойцы учатся. Они учились хорошо. Парень, недавно из деревни, мог разобрать и собрать пулемет и назвать каждую его часть, знал обязанности бойца в бою и был готов к самопожертвованию.

Над огромными пространствами тайги реяли самолеты. Их мощный клекот то и дело врезался в шум поезда, тени самолетов скользили по желтым колхозным полям, по синим водам рек и озер. Самолет стал такой же принадлежностью родного пейзажа, как жаворонок или голубь.

Майгула смотрел на все это влажными глазами и думал: «Вот она, та земля, которую корчевали мой отец, братья, я сам, – земля, смоченная нашим потом, нашими слезами, нашей кровью. И вот люди стали жить на этой земле хорошо...»

Волнение его достигло предела, когда поезд подошел к той самой станции, от которой отступил когда-то в Ольховку Вангоуский батальон. Майгула выскочил на перрон и вдруг увидел перед собой Трофима Шутку – в синих галифе, с орденом Ленина на груди и в тапочках на босу ногу.

– А, Федя, – сказал Шутка так, как будто они расстались не двенадцать лет назад, а сегодня, – ты куда едешь?

– А ты как здесь? – вскричал Майгула.

Они спрашивали, но не успевали отвечать: целовались и встряхивали друг друга за плечи. Они по-прежнему были здоровые

парни, только Шутка начисто облысел, – одни рыжеватые бровки, как кусточки, торчали на его лице, а у Майгулы голова пошла сединой, как у бобра.

Наконец Майгула сказал, что он едет навестить стариков, а Шутка – что он строит здесь новую железную дорогу. Тут Майгуле стало ясно, что ничего не сделается со стариками, ждавшими его двенадцать лет, если они подождут еще несколько дней. И он слез с поезда.

4

Дорога, которую строил Шутка, проходила через ту самую мертвую тайгу, где четырнадцать лет назад Шутка и Майгула хотели и боялись убить друг друга. Она была готова почти до Бархатного перевала, а должна была пройти до самого моря.

Думали ли парни, когда стояли под звездным небом на гребне Бархатного перевала, что одному из них предстоит уничтожить этот перевал начисто? А между тем это было так. Шутка готовился взорвать Бархатный перевал. Он заложил в него двадцать шесть вагонов аммонала – случай, невиданный за все время существования людей на земле. Перевал, знаменитый на весь край, стоял начиненный, как пирог с капустой, и только ждал, когда его съедят. Прибыл даже человек с двумя аппаратами, большим и маленьким, чтобы заснять этот взрыв на кино и потом показывать его всем людям.

Вечером они втроем поехали в закрытой дрезине по дороге, построенной Шуткой, а к утру уже были в Ольховке: они наметили прихватить с собой Кондрата Фроловича.

В Ольховке как раз шло распределение доходов. По пыльной улице двигался обоз с зерном – пятнадцать подвод, и на каждой по шесть, а то и по семь мешков. Все это зерно заработала семья колхозника Ивана Прутикова.

Позади обоза перед группой колхозников шел оркестр в пять труб. Каждая труба играла по-разному, так что нельзя было идти в ногу. Но на трубах пышно сверкало солнце, на возах полыхали кумачные флаги, и всем было очень весело.

Когда обоз подкатил ко двору Ивана Прутикова, председатель колхоза кинулся отворять ворота, а оркестр заиграл громче – каждая труба по-разному. Семья Прутиковых – шестнадцать душ вместе с детьми – высыпала из избы на двор. Иван Прутиков – мужичок рябенький, как наперсток, выбежал к воротам, остановился и прижал к груди сплюсненные кулачки.

Председатель достал бумажку и начал читать, сколько семья Прутикова выработала трудодней и сколько ей причитается хлеба. Но Иван Прутиков не слышал председателя, а все прижимал к груди сплюсненные кулачки и спрашивал:

– Это мне? Это все мне?

Он был так испуган своим богатством, что все, даже собственные дети, стали смеяться над ним. Кинооператор, вынув из чехла маленький аппарат, стал наводить его то на обоз, то на оркестр, то на Ивана Прутикова. А Майгула стоял, утирая слезы, и думал о том, как трудно все это передать красками на полотне: в жизни все изменялось, все двигалось вперед, а на полотне все получалось неподвижным.

Они застали Кондрата Фроловича дома. Кондрат Фролович, в очках, сидел за столом и разглядывал детский глобус. Старик повертывал его из стороны в сторону обеими руками, как врач повертывает голову больного, рассматривая больное горло или глаз.

Услышав приветствия, старик снял очки и сказал:

– Гости-то какие!..

Он был еще могуч, только борода его сплошь взялась сединой, и он, чтобы по ночам не пугать детей, укоротил ее почти втрое.

– Видишь, какой он стал благородный! – сказал Шутка, подмигнув Майгуле.

– Теперь я могу быть благородным, – степенно согласился старик и даже не улыбнулся. Потом, ткнув глобус огромным указательным пальцем, он сказал: – Я все гляжу, сколько морей на сей планете. Очень их многовато. Нам подводные лодки надо строить. Побольше подводных лодок... – И он так крутнул глобус, что все великие моря и страны слились в одно пестрое.

К Бархатному перевалу они ехали уже вчетвером. Ехали медленно, – тут рельсы были уложены только начерно.

Конечно, теперь ничего нельзя было узнать от прежнего. Мертвая тайга вдоль всей дороги была порублена, побита взрывами так, что одни щербатые пеньки торчали, как гнилые зубы. Дрезина то углублялась в темное ущелье, то ползла по каменным насыпям такой высоты, что пространства с обеих сторон казались пропастями. Все тот же бежал ключ, но берега его оголились. Там, где его пересекала дорога, прокинулись деревянные мосты. Даже смешно было бы искать то место, где Майгула видел полоза!

Уже стемнело, когда они сошли с дрезины. Они пошли по грязной дороге вдоль неоконченной насыпи. Возле барачков и палаток горели костры. Строители ужинали. Впереди ревел застрявший в грязи грузовик, и фары его ярко светились в ночи.

– Распугали тигров твоих, дед! – сказал Майгула.

– Ничего! Мой век уже кончился, – спокойно отвечал Кондрат Фролович.

5

А наутро погиб Бархатный перевал. Майгула и старый тигролов наблюдали взрыв на расстоянии двух километров, с небольшой сопки, из-за укрытия, откуда видны были и седловина перевала, и вся тайга вокруг в желтых и синих пятнах. На этой же сопке примостился и кинооператор с большим аппаратом на треноге.

Они видели суетню людей на ближних оголенных сопках, слышали голос Шутки, который ругал кого-то на чем свет стоит. Потом суетня прекратилась, люди спрятались, стало очень тихо.

И вдруг вся масса Бархатного перевала стала медленно расти в воздухе, а в том месте, где была седловина перевала, стремительно взнялась к небу тяжелая черная туча. Вначале туча столбом поднялась вверх, а потом медленно стала раздаваться вширь. И только тогда послышался звук взрыва, и в лицо ударило воздухом, и видны стали отдельные глыбы, летящие в пыли и в дыму.

Звук взрыва не был похож на пушечный выстрел или удар грома – нет, это был глухой, подземный гул, наполнивший собой все пространство вокруг и волнами прошедший под землей так, что Майгула и Кондрат Фролович ощутили его не только ухом, а и всем

телом. Вырвавшиеся из тучи камни, как ядра, начали крушить деревья под самой сопкой, за которой прятались Майгула и Кондрат Фролович. Весь воздух наполнился тарахтящими и свистящими звуками, в которых точно слились вместе и конский топот, и стрекот молотилок, и свист каких-то гигантских прутьев. Отдельные камни стали попадать и на их сопку, один с силой врезался в землю, метрах в двух от кинооператора. А тот, весь в поту, в мыле, все крутил и крутил ручку своего аппарата.

Когда все кончилось, в воздухе долго стоял желтовато-серый туман, более густой у самого места взрыва. Потом туман развеялся, и стало видно, что края седловины широко раздались, осели и в самой середине ее зияет глубокий провал, в котором громоздятся развороченные груды камней; за ними проступала дальняя небесная голубизна.

Тайга вокруг бывшего Бархатного перевала была начисто разметена, разнесена в щепки. Вся местность лежала голая, в серой пыли, осыпанная камнями и огрызками стволов. И даже по склону сопки, где укрывались Майгула и Кондрат Фролович, у многих деревьев были срезаны вершины.

Но самое удивительное выяснилось на третий день после взрыва. На строительство приехал степенный седоватый старичок, оказавшийся профессором, заведующим сейсмической станцией. Станция отметила землетрясение в этом районе, и профессор приехал выяснять причины. Он долго не мог поверить, что землю по собственной воле потряс Трофим Шутка, а когда поверил, обрадовался, как ребенок.

Профессору подарили мешок кедровых шишек и вместе с Кондратом Фроловичем отправили домой на дрезине. Старики, подружившись, всю дорогу высовывали из окна седые головы и были так похожи друг на друга, что обоих можно было принять и за мужиков, и за профессоров.

Вениамин Александрович Каверин

Суховей

В восьмом часу утра курчавый человек в трусах с треском распахнул дверь.

Масло и песок густым слоем лежали на его груди. Он отвернул кран и с жадностью сунул голову под кран водопровода.

Я и до сих пор никак не пойму, каким образом это мохнатое видение, явившееся мне в ранний час в хрупком доме строителей, ухитрилось плавать в том небольшом количестве воды, которое могут удерживать человеческие руки.

Но оно плавало. Оно фыркало, пускало воду струйкой, как кит, оно ныряло в ладони.

Лужи стояли вокруг низких, мохнатых ног, и довольно много воды попало на спящего Бой-Страха.

Он лежал огромный, розовый, упираясь головой в одну стену, ногами в другую, – и я вспомнил, как грейдеры церемониальным маршем проходили мимо него на своих подгибающихся колесах.

Он приветствовал их, подняв правую руку. Самодовольно усмехаясь, он положил ее на седло передней машины. Он сел на нее, как на коня. Он так и остался партизаном...

Теперь он спал, обливаясь потом, и блоха прыгала по холмам и раскатам его высокого живота, блестящего из-под распахнутой спецовки.

Ночь была проведена в пустой кухне – стены ее не были тронуты дымом плиты, паром обеда.

«На этой плите, – думал я, – никогда не лежала разрезанная вдоль петрушка, которая потом так высоко прыгает в кипящем супном горшке. Тараканы никогда не дремали на остывающих заслонках. И закипающие, беленькие катышки воды никогда не бежали вокруг конфорок в этой холодной кухне холостяков».

Бой-Страх проснулся.

Он проснулся, сел и зевнул сладко, как собака.

Гулливер, боящийся раздавить лилипута, он осторожно шагнул через меня и подошел к окну.

Он оборвал веревку, которой, боясь за стекла, я ночью притянул сломанный шпингалет к ножке кухонного стола, – оборвал и голым животом лег на подоконник.

Тогда по спине, по ногам, по шевельнувшимся лопаткам я заранее угадал два слова, которые он скажет, обернувшись, – Дует, сволочь!

Дул суховей.

Он дул пятый день, и веки у всех распухли и загнулись вверх, как у лоцманов, всю жизнь водивших корабли против ветра.

Пятый день все ели суп пополам с песком, потому что нельзя было закрывать окна.

Пятый день дышать было нечем.

Он дул пятый день, а на шестой – об этом не говорили, – зерно превращается в пыль.

Мы вышли на площадь.

Тент, под которым пили ситро, читали газеты, где еще вчера начальник учета устраивал, свои летучие совещания, так похожие на разговоры военных, брошенных в непредвиденный поход, – этот тент был сорван и висел на лесах водонапорной башни.

Плотный, горячий ветер дул вдоль Главного хутора, по дорогам и без дорог.

Он срывал вывески и менял их места – вывеска ЦРН торчала у дверей библиотеки, а библиотечная качалась над душами, раскатываясь, как театральный гром.

Длинноногий, он входил в Зерносовхоз с одной стороны, и уж на другой взлетали фонари, и каменщики на постройках закрывали лица от раскаленной пыли, забивавшей уши и рты.

Скромная женщина в книжном киоске казалась раздутой, как вербный чертик, и не сидела, а плыла на шарах вздувающейся юбки, и все ее газеты и журналы, прикрепленные кнопками к витринам и прилавку, вдруг начинали шуметь и шелестеть, как часы в часовом магазине все разом начинают бить в одно и то же время.

Комбайнер в детском вязаном чулке подсел к Бой-Страху.

Потом подсел еще один, старый, небритый, в студенческой кепке с длинным холщовым козырьком. Потом третий, четвертый.

Все смотрели ему в рот и ждали, что он скажет.

Он ничего не сказал.

Говорить можно было только о том, что вот уже пятый день... а об этом ему говорить не хотелось.

Черноглазая девушка, худенькая, замученная жарой (мне сразу запомнились ее скромные матовые глаза), принесла нам шесть стаканов чаю.

Она смутилась, увидев Бой-Страха, а он поздоровался с нею вежливо, серьезно.

И, вынув блокнот, на каждый стакан положил по одному листочку.

– Пейте чай, – сказал он не очень весело, – не огорчайтесь! Это все детский спектакль в сравнении с тем, что творилось здесь весной двадцать девятого года.

Я молча выпил первый стакан. Весной двадцать девятого года – об этом я слышал не в первый раз – трактора десятками замерзали в степи. Застигнутые ураганом рулевые отлеживались в могилах, вырытых плугами в целине. Весною двадцать девятого года радиаторы отогревали телогрейками.

– Мне, рассказывали о том, что здесь было весной двадцать девятого года, – сказал я и выпил второй стакан, – но то, что я вижу здесь летом тридцатого, я все-таки не назвал бы театром для детей. Взгляните на себя в зеркало! Вы постарели,

И верно, он постарел за эти дни. Уж не такой розовый он был, не такой веселый, не так хохотал, не так топал ногами.

– Да я что ж, я сегодня еду, – сказал он.

Он сказал это в ту минуту, когда худенькая, что подавала нам чай, вернулась, чтобы убрать со стола пустые стаканы.

Один из них зазвенел, покатился и, должно быть, упал бы на пол, если бы Бой-Страх не подхватил его, протянув через весь стол длинную лапу.

Я посмотрел на девушку – брови ее были сдвинуты, губы поджаты, у нее было несчастное лицо, и стаканы она убирала с такой трогательной неловкостью, что трудно было не догадаться о причинах ее смятения.

– Какая славная, – сказал я Бой-Страху, когда она отошла и где-то уже в другом конце столовой мелькали ее черные, плотные волосы южанки. – Честное слово, я ничего не имел бы против, если бы она так же смутилась, услышав о моем отъезде.

Бой-Страх засмеялся.

– Монокультура, – сказал он и важно поднял палец, – в этих делах я сторонник однополюя. Я люблю жену...

Мы расстались несколько минут спустя: он отправился укладывать вещи, а я – пешком на ближайший участок.

По растрескавшейся дороге, сделанной грейдерами Бой-Страха, я шагал один и думал об этой худенькой; что подавала нам чай.

«Он мог бы, однако, оставить ей что-нибудь на память, – в конце концов решил я сердито, – нельзя же быть таким невежливым, даже если любишь другую».

Но больше я не думал о ней. Серый, плотный, упирающийся в тучи столб шел навстречу мне по дороге.

Я повернулся к нему спиной. Обшитый белым железом элеватор еще сверкал в свете заката, простой и ясный, как будто сложенный из кубиков детьми.

Вот еще сверкали белые щиты его башен, а вот уже и пропали, и все пропало, и нечем было любоваться, и нужно было искать себя, свои губы, уши, руки, ноги и, главное, глаза, – глаза, потому что веки распухли, болели и уже начали загибаться вверх, как у лоцманов, ведущих корабль против ветра.

Я насилу выпутался из пыли.

В этом таборе, который лежал передо мной в котловине и казался морем, – как парусные суда, стояло в степи раздувающееся плотно палаток, – мне случалось бывать и раньше.

Но так неприветливо меня не встречали ни разу.

Знакомый рулевой, которому я крикнул: «Здорово, корыш!» ничего не ответил, а только закрыл глаза, вместо того чтобы сказать: «Здорово».

Ноги его лежали на земле, голова и плечи – на палатке.

Он качался, как в люльке, и дремал, а по правую и левую руку лежали двое рулевых и тоже дремали.

Я походил по табору, потом нашел учетчика и познакомился с ним.

Он был в пенсне, рыжий, умный, с язвительными глазами и обо всем говорил в условном наклонении – почти каждая фраза начиналась со слова «если».

Будущее, даже самое ближайшее, было неясно для него.

Будущее зависело, по его мнению, от этой стервы, которая пятый день дует в хвост и в гриву, и весь Институт Засухи, в полном составе шляющийся по участкам, ничего не может сделать с этой подлой сволочью, нагнавшей 48° в тени.

Я не знал, о чем говорить с этим сумрачным человеком, который, несмотря на эти 48° в тени, сидел над циферблатами брунов, и среди них не было ни одного, на который с его носа не упала бы капля пота.

Наконец, я робко спросил его о том, какой же все-таки образ жизни ведут на таборе рулевые, механики, комбайнеры, – он ничего не ответил, и после этого я попрощался с ним и ушел...

Низенький злорадный дед сидел на скамеечке подле кухни и курил какую-то едкую дрянь. Я подсел к нему.

– Ну, теперь советской власти крышка, – бодро сказал дед, – хлеб сгорел, сейчас же голод, бунт. И кого же первого на сук? Инженера Причепу?

Он помолчал, потом закусил бороду и сказал тихо:

– Ой, худо будет вам, братцы, худо вам будет!

– А кто это инженер Причепу? – спросил я.

– Вредитель, – строго сказал дед, – он главный инженер по карасину. Его первого вздернут. До как же, льют, льют!

Тут, братцы, не только хлеб, тут тебе и вся земля загорится.

– Да что льют-то?

– Карасий, – радостно сказал дед. – Прямо в землю спускают. Вчерась шел я по табору, смотрю, в чистерне кран открыт. Спускают! И доска приставлена, чтобы он потихоньку тек. Ну, что ты скажешь? Пропитавши она или нет? Пропитавши! Может она загореться или нет? Может!

Дед был навеселе.

Но был сильно навеселе, и ему, без сомнения, было наплевать на то, что сухой закон был объявлен в зерносовхозе 3. Инженер Причепу его занимал, – как бы вздернуть поскорее инженера Причепу!

Я бросил деда и пошел прочь.

День не удался – это было ясно. Он был сдут суховеем, завален пылью.

Нечего было, например, надеяться, что эта кухарка, бродившая по маленькой кухне, как гиена, накормит меня обедом.

Нечего было и думать, что этот голый человек, сидевший верхом на перегородке душа, позволит мне освежиться водой, которую он с трудом добывал из обмелевшего колодца.

Нечего было ждать, что этот шофер (уже целый час легковая машина стояла подле конторы) возьмет меня пятым – у меня не хватило духу даже вступить с ним в переговоры.

Загнуть рукава рубашки и выпить из бочки кружку теплой воды – это было все, что мне оставалось...

Комбайнер в детском чулке – тот самый, что в столовой Главного хутора приставал к Бой-Страху, – налетел на меня, когда, обогнув палатки, я двинулся в обратный путь.

Парень хохотал – вот что меня поразило.

Хохоча, топая ногами, хватаясь за живот, он схватил меня за рукав и потащил к деду.

Деда брили.

Двое рулевых держали его за руки, двое – за ноги. Пятым – за голову. Шестой – оттягивал щеку. Седьмой брил.

Он брил его безопасной бритвой «жиллет» и ругался, потому что бритва была тупая, а волос крепкий.

По временам он бросал бритву на табурет и брал другую, должно быть не более острую, потому что минуту спустя возвращался к первой.

Техника смены ножей была, надо полагать, ему неизвестна.

– Сиди смирно, дед, – сказал он, отхватив деду полбороды и любуясь своей работой, – мы, брат, живо из тебя пионера сделаем! Не будешь тогда, сукин сын, говорить, что советской власти крышка.

И дед сидел смирный, совсем смирный, и больше уже ничего не говорил. Глаза у него были отчаянные, нос горел.

Восьмой уже разводил мыло. Так много он его развел, с такой старательностью взбивал мыльную пену, что уж ни чашки, ни кисточки, ни самой руки его нельзя было разглядеть под лопающимися разноцветными пузырями.

Должно быть, я так и не разглядел бы эту чашку, если бы дед не взбунтовался:

– АН крышка, – сказал он вдруг и вырвался. Он ударил ногой седьмого, который брил, и шестого, который оттягивал щеку,

перемахнул через табурет, на котором восьмой разводил мыло, и чашка покатила к моим ногам.

Я поднял ее: тучный скиф в длинных штанах, в остроконечной шляпе, края которой свисали до плеч, был изображен на ее темной глазури. У него были полузакрытые глаза и разрезанный морщинами рот. Одной рукой он держал чашу, другою опускал в нее меч.

Деда давно уже поймали, посадили и, взяв за горло, добривали остаток бороды, а я все еще разглядывал важного кочевника на забрызганной мылом глазури.

– Откуда ты ее взял? – спросил я у рулевого, который с кисточкой в руке стоял передо мной, дожидаясь, когда я верну ему чашку.

– А нашел, – пробормотал он и поставил чашку на табурет, – когда курганы пахали.

И он снова принялся разводить мыло в чашке, из которой когда-то пили скифы, заключавшие союз побратимства.

Дед был выбрит наконец и оказался разбойником. У него был тяжелый подбородок, большая челюсть.

Он сидел, расставив ноги, закинув голову, помолодевший и страшный.

Я догнал рулевого и попросил позволения еще раз взглянуть на чашку: полузакрытыми глазами смотрел на меня тучный скиф, свисали до плеч края его шляпы.

– Продай, – предложил я рулевому.

Мы сошлись на паре подтяжек и трех бутылках ситро – все это я купил для него в участковой лавке.

Подтяжки он сейчас же надел на себя, ситро мы распили вместе. Потом я привязал к поясу скифскую чашку и отправился в обратный путь.

Знакомый автомобиль дорожной бригады догнал меня, когда, задыхаясь от пыли, осатанев от ветра, я зашел в хлеба и бросился прямо на землю.

Бой-Страх сидел в машине согнувшись, пряча голову в плечи. Я посмотрел на него и испугался. Он сидел старый, с большим ртом, с белыми челюстями и вежливый – это было особенно страшно.

Я уселся подле него и ничего не сказал. Пятый день был на исходе, низко стояло солнце, наступал уже тот, знакомый каждому

жителю степей, час, когда жара начинает отступать, и предчувствие вечера возникает не здесь, рядом с вами, а где-то далеко в степи.

Пятый день клонился к закату. А на шестой...

– Бой-Страх, – сказал я, и горячий ветер вошел мне в рот, мы ехали против ветра, – не огорчайтесь! Ведь вы же сами сказали, что все это детский спектакль в сравнении с тем, что здесь творилось весной двадцать девятого года.

Бой-Страх встал, я невольно откинулся назад, и его раздутые ноздри встали надо мной, круглые и темные, как ноздри монумента.

Он заорал что-то о бездельниках, путающихся под ногами, и вдруг закрыл рот, сел и прислушался.

Прислушался и я. И ничего не услышал. Мне померещилось, впрочем, что ветер не так сильно, как раньше, свистит в ушах, что он как будто стал слегка посвежее.

– Стой! – хрипло сказал Бой-Страх шоферу.

Мы остановились.

Направо и налево от пас и до самого неба стояла рожь.

Она была прямая, не клонилась, не шла волной.

Она была рыжая и тихая – тихая, потому что ветер упал...

Я проводил Бой-Страха на станцию и вернулся.

И когда я вернулся, вывески в Зерносовхозе 3 висели на своих местах – синяя ЦРК над входом в лавку и синяя библиотечная над входом в библиотеку.

Ветер упал, тент был снят с лесов водонапорной башни, наброшен на шесты, и под ним уже пили ситро, болтали.

Я поздоровался с женщиной, сидевшей в книжном киоске, и купил у нее «Огонек». Ветер упал, и женщина не была теперь похожа на вербного чертика. Она сидела скромная, приветливая, и все ее газеты и журналы смиренные висели за веревочками на витринах.

Ветер упал. Все ходили легкие и дышали.

Начинало темнеть, и по главной улице, расступаясь перед машинами, шлялись, обнявшись с девушками, рулевые.

Фонари висели вдоль улицы тихо, не раскачиваясь.

Я прошел мимо столовой. Худенькая, что утром подавала нам чай, стояла у дверей, задумавшись. Очень грустная стояла она, у нее было усталое лицо, и волосы отливали, чернели.

Мне стало жаль ее.

– Монокультура, – вспомнил я и снял с пояса чашку.

В последний раз я посмотрел на скифа. Я простился с ним, с его шляпой, края которой свисали до плеч, с его узкими важными глазами кочевника, с его разрезанным морщинами ртом.

– Бой-Страх просил меня передать ее вам, – сказал я худенькой и отдал-ей чашку. – Он сказал: передайте это ей, пускай не поминает лихом.

Вечером я стоял в машинном парке, луна была, как монета, которую мальчишки отпечатывают на бумаге через фольгу, и Лурья, библиотекарь, знакомил меня с Джеком Эшли, плотником.

Я спросил:

– Как себя чувствует здесь товарищ Джек?

И плотник сказал:

– Как дома. Я из Небраски, штата Северная Дакота.

Лев Вениаминович Никулин

Полет валькирий

Первая половина моей жизни прошла на Украине. Но учился я в Москве и приехал в Москву поздней осенью семнадцатого года. Время для ученья было неподходящее. Не стану распространяться, что это было за время, и перейду сразу к романтической завязке.

Я оставил в уездном городе на Волыни девушку, по имени Оля. Отец ее был железнодорожник, и жили они в полосе отчуждения, то есть в деревянном домике в вишневом саду. Маневренные паровозы пересвистывались на запасных путях, но все же вокруг была удивительная тишина. Станция была в стороне от магистрали, по которой шло плавное движение на юго-западный фронт.

Я оставил тихий городок и девушку по имени Оля и уехал в Москву, в Высшее техническое училище.

Сначала мы писали друг другу длинные письма. Она мне писала о черноземной украинской осени, о возрождении Украины, украинских вышивках и о том, что украинский язык лучше русского и что у нашей родины есть своя культура, чуждая культуре московской. Я писал ей об осени семнадцатого года и громе первых выстрелов, прокатившемся над Красной площадью. На этом я оборвал письмо, потому что выстрелы эти были началом боев за советскую Москву.

Три месяца не было известий из станционного домика на Волыни. Затем, однажды утром, знакомый машинист привез мне письмо, написанное на обложке романа Винниченко. Неизвестные люди убили отца Оли Радченко, и она написала об этом мне, единственному человеку, которого занимала ее судьба.

В то время из Москвы уходили советские отряды на Дон, против Каледина. Но я взял направление на Харьков. Это была пора «первого триумфального шествия советской власти».

Это был вихрь, я сейчас не найду другого слова, и этот вихрь подхватил меня с моей любовью, жалостью, личными человеческими страстями. На моих глазах пал Харьков и пал Киев после жестокой двенадцатидневной бомбардировки. Далее, я очутился в Одессе в дни Румчерода и крейсера «Алмаз».

Я не различал дня от ночи, не различал дней и недель, и так меня кружил этот радостный вихрь, что я забыл о станционном домике на Волыни и судьбе Оли Радченко. У меня кружилась голова от радости первых побед, от нового товарищества и дружбы, которую я нашел в отряде, от важности и обилия дела и радостного чувства опасности.

Откровенно говоря, я мало разбирался в том, что происходит вокруг, и думал, что речь нашего командарма, обращенная к сидящей в бархатных креслах одесского театра буржуазии, это и есть речь революционера, трибуна, вождя. И если бы кто-нибудь сказал мне, что не пройдет года и командарм из полковников генерального штаба изменит революции, я бы назвал такого человека дураком и контрой. Но не буду останавливаться на этих событиях, ни на тех, свидетелем которых я был на румынском фронте. Вихрь, круживший меня по юго-западу, в конце концов забросил меня в тот самый город, где почти год назад я простился с Олей Радченко под яблоней в розовом цвету. И, пока мольбой, божбой и угрозами добывали в депо паровоз, я оставил эшелон и пошел по запасным путям и не увидел ни станционного домика, ни цветущих яблонь. Мартовский ветер свистел в оголенных ветвях, кирпичный фундамент, обвалившаяся печная труба – вот все, что осталось от домика в полосе отчуждения.

Я стоял перед этим жалким памятником моей первой любви и видел все это как в дурном сне. У меня стучало в висках, болела голова, сохли губы, и каждый шаг отдавался болью внутри. Полуденное солнце светило над моим родным городом, но я видел дома и улицы как бы сквозь проволочную сетку.

Я заблудился в родном городе, который знал с детских лет.

И тут мне пришла в голову мысль, что я болен. В том самом городе, где я родился, я чувствовал, что умираю. И я постучал в дверь учителя начального училища Шимона Марковича Головчинера. И упал на пороге его дума, гремя казацкой шашкой, патронной сумкой, – упал, как был, в полушубке, кожаных штанах и с карабином за плечами.

Сознание оставило меня, когда же оно возвращалось ко мне, я видел себя на клеенчатом диване в полутемной комнате и слышал над собой глухой старческий голос. Не более чем на мгновение возникали перед глазами крестовина окна, вата между стеклами, обрезки цветного гаруса, глухая каменная стена и над ней тополя

семинарского сада. Мгновенье все было реально, отчетливо, затем все затмевалось, менялось, меняло образ. Невиданная многоцветная радуга, сияние разноцветных огней ослепляло меня. Я видел моих товарищей, погибших от румынских пуль, я видел людей моего детства, я говорил с бесследно исчезнувшей Олей Радченко. Затем все ускользало, тонуло в мути бреда, долгим и мучительном сне с неуловимыми сновиденьями. Только одно сновиденье, не расплываясь, не преобразаясь в химеры тифозного бреда, неизменно возникало в моем воображении. Оно начиналось торжественным, стремительным маршем, лязгом оружия, громом, звоном и топотом.

В оранжевом небе проносились кони и всадники-гиганты. Блистающие серебряные полулуния светили у них на груди.

Уздечки и подковы их коней светились синеватым лучистым сиянием. Земля звенела, как металл, под тяжестью коней. Музыка, звон и топот наполняли мой бедный череп. Всадники поднимались в гору и, отделяясь от земли, проходили чугунным галопом над оградой и тополями семинарского сада. Облака раздвигались как занавес, и люди и лошади исчезали в оранжевом зареве.

Жар и бред постепенно оставили меня, и, медленно возвращаясь к жизни, я стал понимать неуловимые сновидения, химеры и чудовища моего бреда. Я открыл, что невиданная разноцветная радуга возникла из обрезков гаруса между стеклами окна, а гром и звон и музыка рождались из негромкой игры на фортепиано в комнате рядом с той, где я лежал почти два месяца.

Я выздоравливал. Я различал голоса и лица Шимона Головчинера и его жены, суровой и властной старухи. За стеной двигалось еще одно живое существо. Ничего замечательного не было в людях, которые были у меня на глазах, и я сосредоточил мысли на невидимом существе за стеной. Негромкий женский голос иногда долетал до меня. Я научился различать шаги, походку моей соседки, ее прикосновения к предметам. Вынужденное безделье, одиночество, болезнь располагали меня к мечтательности. У меня было много времени для разгадывания аллегорических снов, и не было никаких собеседников, кроме Шимона Марковича. Но это был замечательный шахматист и замкнутый, молчаливый человек. Он коротко и выразительно называл женщину за стеной «соседка». Поэтому я мог сколько угодно мечтать и видеть свою соседку красивой девушкой

восемнадцать лет с мягким гортанным выговором украинки и тонкими, поставленными высоко бровями, как у Оли Радченко, которую я потерял.

С тех пор как я выздоровел, в комнате за стеной стали играть смелее и громче. Теперь моя соседка играла сложные и трудные вещи на стареньком, слегка разбитом фортепиано.

Некоторая слабость удара происходила от недостатков инструмента. А может быть, музыкантша все еще боялась тревожить выздоравливающего. Впрочем, я очень мало понимал в музыке.

В молодости я приучился слышать музыку издали и мимоходом. Для меня не было другой музыки, кроме голоса, когда бесхитростно громкий, густой и сладостный, он летел из раковины военного оркестра в городском саду. Палочка капельмейстера чертит треугольники в воздухе, над прудом в кленовой аллее смеются счастливым и глупеньким смехом девицы из епархиального училища, и все это горячит, возбуждает и мешает читать Бебеля юноше шестнадцати лет. Я немного понимал в музыке и в ту пору, когда болезнь уложила меня на два месяца в доме Шимона Головчинера. И вдруг музыка открылась мне как стихия. Я открыл ее впервые, как однажды открыл море между отвесных стен приморского спуска.

Музыка стала главным в моих размышлениях. Я чувствовал странное волнение уже в ту минуту, когда слышал за стеной скрип отодвигаемого стула, и стук откинутой крышки фортепиано, и первые осторожные прикосновения к клавишам.

Я научился различать головокружительный речитатив шопеновского вальса от шепотов и хрустального перезвона вальса Брамса. Имена великих еще не существовали для меня, однако я уже различал простодушную вычурность старых итальянцев от хитроумной простоты Люлли и Рамо. Бах и Моцарт, Шопен и Лист, Чайковский впервые открылись мне. Первым был для меня Лист, которого я полюбил за мужественность, страсть и ясность и великую доступную простоту. Как я слепо верил той, которая открыла для меня эту стихию...

С тех пор прошло тринадцать лет. Я увидел девять морей и два океана, но что может сравниться с чувством восторга и изумления, когда я впервые увидел, заключенное меж двух стен, синее пламя Одесской бухты. И я слышал великих мастеров, пианистов

необычайной силы и дарования. Перед всемирным блеском их имен обратилось в прах скромное имя музыкантши из флигеля в Семинарском переулке. Но что сильнее и глубже первого и нового для тебя чувства?..

Я выздоравливал. Синий стелющийся дым, деревья семинарского сада принимали зеленоватый оттенок, цвет ранней, прозрачно-зеленой листвы. Весеннее воркование голубей, колокольный звон, скрип возов вместе с весенним ветром проникли в мою комнату. Беспокойство и досада мучили меня.

Я думал о зиме восемнадцатого года, о судьбах товарищей, о судьбе страны и революции, от которой меня оторвала болезнь и два навеки потерянных месяца. Я встал и, нетвердо переставляя ноги, подошел к окну. Грязная оконная вата в обрезках цветного гаруса лежала уже на полу. Окно было полуоткрыто, я наконец добрался до него и вдохнул дрожащий в желтых лучах теплый воздух. И вдруг музыка, поющая медь труб, заглушила воркованье голубей, колокольный звон, скрип возов на базарной площади. Кавалерийский военный марш наполнил улицы города. Тысяча подков ударяли о камень мостовой, от этого происходили скрежещущий рокот, дробь, подобная прибою. Меня поразила стройность оркестра, стройность движения кавалерийской колонны, неизвестно откуда появившейся в нашем городе. Показались медные солнца басов. В изумлении я разглядел зеленоватые, цвета ранней зелени, мундиры, шлемы и пики солдат, тяжелых вороных коней с подстриженными гривами и хвостами. Серебряные полулуния блестели под квадратными подбородками солдат. Земля звенела, как металл, под тяжестью коней. Звон, топот и лязг наполняли мой бедный череп. Офицер презрительно и холодно смотрел на бедные черепичные кровли, на испуганных громом музыки голубей, на притихших, прячущихся за забором детей.

Ноги не держали меня, я дополз до моего жесткого, скользкого ложа и едва не заплакал. Что скрывать – двадцатилетний парень плакал, как мальчик, прощаясь с тем радостным вихрем, который нес его по нашей стране от Балтики до Одесской бухты.

Шимон Маркович стоял на пороге и, вздыхая, смотрел на меня:

– В конце концов это случилось.

Да, в конце концов это случилось. Случилось то, что немцы заняли Украину, что на Дону формируют белые армии и в моем родном городе вербуют гимназистов и кадет в особый русский корпус, что трех моих лучших товарищей захватили венгерские гусары в поезде под Сумами и трое моих лучших товарищей были повешены на деревья станционного сада.

– Мы закопали ваши вещи в палисаднике и достали вам другую одежду. Можете ее надеть.

Пропустим незначительные подробности.

Через две недели я был здоров, как может быть здоров двадцатилетний парень после тяжелой, обновляющей человека, болезни. И, когда мне стало тесно и душно и скучно в старосветской тишине флигеля четы Головчинер, я вошел в комнату стариков и сказал, что мне пора уезжать и что я еду утром в направлении города Клинцы на советской границе.

– Вы можете ехать, – сказал Шимон Маркович, – вы можете ехать, потому что жизнь человеческая в конце концов не в наших руках. Но может быть, вам лучше остаться в городе, где, кроме нас двоих, никто не знает, где вы были прошлой зимой. И может быть, ваше место здесь, а не там...

– Нет – ответил я, – нет, Шимон Маркович, мое место там.

И тогда заговорила суровая и тихая старуха, жена Шимона Марковича:

– Мы написали письмо Оле Радченко. Написали письмо в Белую Криницу. Если хотите знать, она живет у дяди, у лесника. Вы же звали ее, когда были больны, и вы ее увидите.

Скажите же теперь, что вы уедете завтра утром. Скажите же это...

Но я молчал и молча ушел из комнаты стариков.

До позднего вечера я ходил по саду, обнесенному высоким плетнем. Сад был невелик и запущен. Я ходил вокруг единственной клумбы, где под ковром анютиных глазок похоронил мою шашку и карабин. Я сидел на прогнившей скамье под зеленым сводом орешника и сирени и думал о том, что, может быть, завтра, рядом со мной, будет круглое, теплое плечо Оли Радченко и мягкий и нежный ее подбородок. В сущности – все пройдет. Прошли всадники в папахах и полушубках и матросских бескозырках, прошли всадники в

стальных шлемах с блистающими серебряными полумесяцами на груди. Пройдут войны над стареньким флигелем в Семинарском переулке. И останется наша любовь, и мы как-нибудь проживем в эти грозные годы и сохраним первую любовь, – любовь двадцатилетних.

Я уже смотрел в глаза смерти под Киевом и Харьковом и в Молдаванской степи. Я видел смерть рядом с собой на клеенчатом скользком диване во флигеле стариков. И теперь я хочу жить и чувствовать теплую высокую грудь Оли возле моей груди и слушать головокружительный лепет вальса здесь, в заброшенном саду, среди дикого цветения полевых цветов и подсолнечников. Никогда я так не чувствовал весны, как сейчас, бархатные прикосновения орешника, уколы шиповника, запах росы и крапивы... «Откуда эта слабость, – вдруг говорил я себе, – откуда это головокружение и лихорадочное биение сердца, что это значит, болезнь или любовь?»

Я не мог больше оставаться один в этом саду, и я вернулся в мою комнату, оглядел клеенчатый жалкий диван, портрет доктора Герцеля, стену семинарского сада, тополя над стеной...

Лунный серп повис над тополями неправдоподобной серебряной занавеской. Вокруг была жестокая, бессмысленная тишина.

И вдруг, именно в эту минуту, в комнате моей соседки заиграли незнакомую мне великолепную и страшную вещь, и на меня обрушился победоносный ее ритм, лягг и гром, шелест и треск знамен, сокрушительный галоп победителей. И тут я понял, откуда происходили всадники-чудовища и дикий их полет над изголовьем моей постели. Не эта ли музыка вызвала одно из самых страшных сновидений в дни моей болезни?

Что же происходит со мной? И вдруг стыд и горечь и жажда борьбы и сопротивления овладели мной. «Трус, – сказал я себе, – ты прожил на земле двадцать лет и жил из них только три месяца, когда странствовал с ружьем за плечами по озаренной пожаром революции стране. А теперь ты хотел спрятаться в зеленой щели, под черепитчатой кровлей старосветского домика. Земля звенит, как металл, под тяжестью коней. Оранжевое зарево стоит над нашей страной. Цветы и травы дымятся под копытами коней...»

Я постучал в стену и спросил:

– Что вы играете?

Негромкий женский голос ответил:

– Это «Полет валькирий».

Затем скрипнул отодвинутый стул, и слабо стукнула крышка фортепиано.

– Прощайте, – сказал я твердо, – я уезжаю.

И тихий голос ответил мне грустно и ласково:

– Прощайте, молодой человек.

Так я расстался с флигелем в Семинарском переулке и старенькой дамой, учительницей музыки, Лидией Станиславовной Блюм.

В шестом часу утра я стоял на железнодорожном мосту.

Под мостом, в утренней тишине и прохладе, лежал мой родной город. Город еще спал, как сто, как двести лет назад спали городничие, повитовые судьи, заседатели. Они спали на пуховых перинах, под образами почаевской божьей матери. Березовый квасок стоял у них в голове, клопы ели их жирные шеи и плечи. В садах жужжали зеленые мухи и осы. Дворовые псы громыхали цепью в своих конурах. И белый мирный дымок плыл над черепитчатыми крышами моего города.

Я видел его таким в последний раз. Через одиннадцать месяцев город лежал в развалинах. Густой черный дым всплывал над развалинами, и бронепоезд имени Октябрьской революции бил из шестидюймовых по колокольне и семинарскому саду.

Был вечер, синие облака собирались на юго-западе. Там, как зодиакальный свет, колыхалось бледно-золотое зарево, охватывая четверть неба. По росистой траве, вверх по пригорку, поднималась конница. Всадники, облитые пламенем пожара, появлялись на гребне косогора и исчезали из глаз. Со свистом и скрежетом летели, опережая конницу, снаряды. В ушах у меня звучала знакомая страшная мелодия – полет в громе и молниях. Но всадники двигались бесшумно и неудержимо. Копыта их коней топтали хищных прусских орлов, васильки и колосья и золотой трезуб Петлюры.

Это и было «второе триумфальное шествие советской власти по Украине».

Исаак Эммануилович Бабель

Аргамак

Я решил перейти в строй. Начдив поморщился, услышав об этом.

– Куда ты прешься?.. Развесишь губы – тебя враз уконтрапупят...

Я настоял на своем. Этого мало. Выбор мой пал на самую боевую дивизию – шестую. Меня определили в 4-й эскадрон 23-го кавполка. Эскадроном командовал слесарь Брянского завода Баулин, по годам мальчик. Для острастки он запустил себе бороду. Пепельные клоки закручивались у него на подбородке. В двадцать два свои года Баулин не знал никакой суеты. Это качество, свойственное тысячам Баулиных, вошло важным слагаемым в победу революции. Баулин был тверд, немногословен, упрям. Путь его жизни был решен. Сомнений в правильности этого пути он не знал. Лишения были ему легки. Он умел спать сидя. Спал он, сжимая одну руку другой, и просыпался так, что незаметен был переход от забытья к бодрствованию.

Ждать себе пощады под командой Баулина нельзя было. Служба моя началась редким предзнаменованием удачи – мне дали лошадь. Лошадей не было ни в конском запасе, ни у крестьян.

Помог случай. Казак Тихомолов убил без спросу двух пленных офицеров. Ему поручили сопровождать их до штаба бригады, офицеры могли сообщить важные сведения. Тихомолов не довел их до места. Казака решили судить в Ревтрибунале, потом раздумали. Эскадронный Баулин наложил кару страшнее трибунала – он забрал у Тихомолова жеребца по прозвищу Аргамак, а самого заслал в обоз.

Мука, которую я вынес с Аргамаком, едва ли не превосходила меру человеческих сил. Тихомолов вел лошадь с Терека, из дому. Она была обучена на казацкую рысь, на особый казацкий карьер – сухой, бешеный, внезапный. Шаг Аргамака был длинен, растянут, упрям. Этим дьявольским шагом он выносил меня из рядов, я отбивался от эскадрона и, лишенный чувства ориентировки, блуждал потом по суткам в поисках своей части, попадал в расположение неприятеля, ночевал в оврагах, прибывался к чужим полкам и бывал гоним ими. Кавалерийское мое умение ограничивалось тем, что в германскую войну я служил в артидивизионе при пятнадцатой пехотной дивизии. Больше всего приходилось восседать на зарядном ящике, изредка мы

ездили в орудийной запряжке. Мне негде было привыкнуть к жестокой, враскачку, рыси Аргамака. Тихомолов оставил в наследство коню всех дьяволов своего падения. Я трясся, как мешок, на длинной сухой спине жеребца.

Я сбил ему спину. По ней пошли язвы. Металлические мухи разъедали эти язвы. Обручи запекшейся черной крови опоясали брюхо лошади. От неумелойковки Аргамак начал засекается, задние ноги его распухли в путовом суставе и стали слоновыми. Аргамак отощал. Глаза его налились особым огнем мучимой лошади, огнем истерии и упорства. Он не давался седлать.

– Аннулировал ты коня, четырехглазый, – сказал взводный.

При мне казаки молчали, за моей спиной они готовились, как готовятся хищники, в сонливой и вероломной неподвижности. Даже писем не просили меня писать...

Конная армия овладела Новоград-Волынском. В сутки нам приходилось делать по шестьдесят, по восемьдесят километров.

Мы приближались к Ровно. Дневки были ничтожны. Из ночи в ночь мне снился тот же сон. Я рысью мчусь на Аргамаке.

У дороги горят костры. Казаки варят себе пищу. Я еду мимо них, они не поднимают на меня глаз. Одни здороваются, другие не смотрят, им не до меня. Что это значит? Равнодушие их обозначает, что ничего особенного нет в моей посадке, я езжу, как все, нечего на меня смотреть. Я скачу своей дорогой и счастлив... Жажда покоя и счастья не утолялась наяву, от этого снились мне сны.

Тихомолова не было видно. Он сторожил меня где-то на краях похода, в неповоротливых хвостах телег, забитых тряпьем.

Взводный как-то сказал мне:

– Пашка все домогается, каков ты есть...

– А зачем я ему нужен?

– Видно, нужен...

– Он небось думает, что я его обидел?

– А неужели ж нет, не обидел...

Пашкина ненависть шла ко мне через леса и реки. Я чувствовал ее кожей и ежился. Глаза, налитые кровью, привязаны были к моему пути.

– Зачем ты меня врагом наделил? – спросил я Баулина.

Эскадронный проехал мимо и зевнул.

– Это не моя печаль, – ответил он, не оборачиваясь, – это твоя печаль...

Спина Аргамака подсыхала, потом открывалась снова.

Я подкладывал под седло по три потника, но езды правильной не было, рубцы не затягивались. От сознания, что я сижу на открытой ране, меня всего зудило.

Один казак из нашего взвода, Бизюков по фамилии, был аемляк Тихомолову, он знал Пашкиного отца там, на Тереке.

– Евоный отец, Пашкин, – сказал мне однажды Бизюков, – коней по охоже разводит... Боевитый ездок, дебелий...

В табун придет – ему сейчас коня выбирать... Приводят. Он станет против коня, ноги расставит, смотрит... Чего тебе надо?

А ему вот чего надо: махнет кулачищем, даст раз промежду глаз – коня нету. Ты зачем, Калистрат, животную решил?..

По моей, говорит, страшенной охоте мне на этом коне не ездить... Меня этот конь не заохотил... У меня, говорит, охота смертельная... Боевитый ездок, это нечего сказать.

И вот Аргамак, оставленный в живых Пашкиным отцом, выбранный им, достался мне. Как быть дальше? Я прикидывал в уме множество планов. Война избавила меня от забот.

Конная армия атаковала Ровно. Город был взят. Мы пробыли в нем двое суток. На следующую ночь поляки отгеснили нас. Они дали бой для того, чтобы провести отступающие свои части. Маневр удался. Прикрытием для поляков послужили ураган, секущий дождь, летняя тяжелая гроза, опрокинувшаяся на мир в потоках черной воды. Мы очистили город на сутки.

В ночном этом бою пал серб Дундич, храбрый из людей.

В этом бою дрался и Пашка Тихомолов. Поляки налетели на его обоз. Место было равнинное, без прикрытия. Пашка построил свои телеги боевым порядком, ему одному ведомым. Так, верно, строили римляне свои колесницы. У Пашки оказался пулемет. Надо думать, он украл его и спрятал на случай. Этим пулеметом Тихомолов отбил от нападения, спас имущество и вывел весь обоз, за исключением двух подвод, у которых застрелены были лошади.

– Ты что бойцов маринуешь, – сказали Баулину в штабе бригады через несколько дней после этого боя.

– Верно, надо, если мариную...

– Смотри, нарвешься...

Амнистии Пашке объявлено не было, но мы знали, что он придет. Он пришел в калошах на босу ногу. Пальцы его были обрублены, с них свисали ленты черной марли. Ленты волочились за ним, как мантия. Пашка пришел в село Будятичи на площадь перед костелом, где у коновязи поставлены были наши кони. Баулин сидел на ступеньках костела и парил себе в лохани ноги. Пальцы ног у него подгнили. Они были розоватые, как бывает розовым железо в начале закалки. Ключья юношеских соломенных волос налипли Баулину на лоб. Солнце горело на кирпичках и черепице костела. Бизюков, стоявший рядом с эскадронным, сунул ему в рот папиросу и зажег. Тихомолов, волоча рваную свою мантию, прошел к коновязи.

Калоши его шлепали. Аргамак вытянул длинную шею и заржал навстречу хозяину, заржал негромко и визгливо, как конь в пустыне. На его спине сукровица загибалась кружевом между полосами рваного мяса. Пашка стал рядом с конем. Грязные ленты лежали на земле неподвижно.

– Знатьця так, – произнес казак едва слышно. Я выступил вперед.

– Помиримся, Пашка. Я рад, что конь идет к тебе. Мне с ним не сладить... Помиримся, что ли?

– Еще – пасхи нет, чтобы мириться, – взводный закручивал папиросу за моей спиной. Шаровары его были распущены, рубаха расстегнута на медной груди, он отдыхал на ступеньках костела.

– Похристосуйся с ним, Пашка, – пробормотал Бизюков, тихомоловский земляк, знавший Калистрата, Пашкиного отца, – ему желательно с тобой христосоваться...

Я был один среди этих людей, дружбы которых мне не удалось добиться.

Пашка как вкопанный стоял перед лошадью. Аргамак, сильно и свободно дыша, протягивал ему морду.

– Знатьця так, – повторял казак, резко ко мне повернулся и сказал в упор: – Я не стану с тобой мириться.

Шаркая калошами, он стал уходить по известковой, выжженной зноем дороге, заматывая бинтами пыль деревенской площади. Аргамак пошел за ним, как собака. Повод покачивался под его мордой, длинная шея лежала низко. Баулин все тер в лохани железную красноватую гниль своих ног.

– Ты меня врагом наделил, – сказал я ему, – а чего: я тут виноват? Эскадронный поднял голову.

– Я тебя вижу, – сказал он, – я тебя всего вижу... Ты без врагов жить норовишь... Ты к этому все ладишь – без врагов...

– Похристосуйся с ним, – пробормотал Бизюков, отворачиваясь.

На лбу у Баулина отпечаталось огненное пятно. Он задергал щекой.

– Ты знаешь, что это получается? – сказал он, не управляясь со своим дыханием. – Это скука получается... Пошел от нас к трепаной матери...

Мне пришлось уйти. Я перевелся в 6-й эскадрон. Там дела пошли лучше. Как бы то ни было, Аргамак научил меня тихомоловской посадке. Прошли месяцы. Сон мой исполнился. Казаки перестали провожать глазами меня и мою лошадь.

Марк Борисович Колосов

Первая палубная

1

Перегонное судно «Аджаристан», только что спущенное со стапелей Балтийского завода, вышло из ленинградского порта в начале августа. Оно должно было бы выйти раньше, но встретились затруднения с экипажем. Судно предназначалось к плаванию между Одессой и Батуми, в перегонный рейс вокруг Европы шло без пассажиров и без груза. Старые матросы неохотно поступают на такое судно. Кое-как собрали экипаж, в том числе несколько подростков.

Бисо Ахметели, маленький коренастый аджарец с черными, без блеска глазами и такими же расчесанными на косой пробор жесткими волосами, подошел к штурману Алеше Лаврову.

Бисо подстерег его при выходе из кают-компания и, страшно тужась, сказал:

– Скажи, пожалуйста: в большой путь идем, много стран видеть будем? В каких портах стоять будем?

– В каких? Что ты, друг мой?! – насмешливо воскликнул штурман, приложив белую руку к широкому, прямому лбу матроса. – Ты что, не болен, душа моя? Дай бог в один зайти... Стамбул...

Но Бисо точно не расслышал слова штурмана:

– Слушай сюда, пожалуйста... Учи меня, какие будем проходить страны, сколько за это возьмешь?

– Ничего не возьму. И так буду учить... чему надо!

Они уединялись после вахт на спардеке. Звучный голос штурмана разносился по всей верхней палубе, а матрос слушал, уставив прямые глаза куда-то вдаль.

Второй подросток был Катернов Егор из Астрахани. Он был нешумный, работающий, со скуластым, степным лицом. Воспитывался он в детском доме, потом работал курьером в каком-то астраханском учреждении, пристрастился к физкультуре, был голкипером в команде водников. Здесь наслушался он былей и небылиц про границу и

возымел желание поглядеть на все эти еще не виданные страны с их особой, приспособленной для любопытства жизнью.

Третий был Сашка – мальчик из одесской парикмахерской, беспокойный, судорожный шутник. Он стыдился своей любви к матери и сестрам, ко всему домашнему и потому особенно непристойно ругался. Свое умение грубовато и увлекательно смешить он использовал во время вахт. Его назначили дневальным, он должен был мыть посуду, но это не привлекало его, и он ухитрялся, чтобы это делали другие.

Как-то у него вышла ссора с боцманом из-за нежелания мыть гальюн. Боцман пожаловался капитану, тот вызвал Сашку.

Капитан Лука Кириллыч, самоучка, крестьянский сын из деревни Голая Пристань, стоял у рулевого указателя верхнего поста управления. Ему было не до Сашки.

– Ты зачем здесь? Почему не у себя? – недовольно проворчал он.

– Я... Я могу уйти, товарищ капитан... – замялся парень.

– Ну... и ступай... Впрочем, постой. Зачем пришел?

– Вы же вызывали меня... боцман докладывал...

– А, насчет гальюна? Ну, так в чем же дело? Почему не подчиняешься?

– Кто? Я не подчиняюсь? – удивился Сашка, стукнув себя по груди кулаком. – Я подчиняюсь, я только уборные не могу мыть – ведь я же этими руками посуду мою... У меня же запасных рук нет.

– Ступай в кубрик, – стараясь не вспылить, сказал Лука Кириллыч, – только мы тебя за это на берег в Стамбуле не пустим!

– Т-то есть как? – хотел было снова удивиться Сашка и уже снова хлопнул себя по груди кулаком, по, постояв с минуту, побежал мыть гальюн.

Теплоход, не останавливаясь, прошел Кильский канал. Пошла Эльба, желтая, густая, с тонкими полосками берегов, с крупными и мелкими судами под разноцветными флагами. Ребята стали было по ним определять, кому какое принадлежит судно, но сбились. Уже

смеркалось, дул сильный холодный ветер с моря, и Сашка побежал в кубрик накрывать к ужину.

Красный уголок в кубрике, где ужинали матросы, был продолговат, бел, светел. У одной из стен на вделанной подставке стоял бюст Ленина. Свежие, красочные плакаты призывали строить пятилетку, звали на борьбу с кулачеством. Вдоль уголка, на самой середине его, стоял стол – длинный, узкий.

– Что-то у нас, ребята, Сашка нынче не весел? – отхлебнув первую ложку палящих щей, спросил моторист первого класса Моргунец. – А, ребята?

И тут все удивились перемене в Сашке.

– А ну, поглядите в иллюминатор, не меняется ли море, – он недолюбливает погоды. Факт, Сашка?

Из иллюминатора действительно подуло и донесло несколько брызг, кубрик слегка качнуло, стало совсем темно.

Кто-то зажег электричество, закрыл иллюминаторы, и разом прекратились шутки. Первым желанием Сашки было по; бежать в кубрик и уснуть, но он не мог уйти с дежурства.

Когда матросы поужинали, корабль выровнялся, и Сашка пришел в себя. Но едва он стал убирать посуду, его снова замутило, и так продолжалось до того времени, пока наконец кок, высунув из рамы бескровное лицо, не прокричал ему:

– Все! Домывай посуду и ступай спать...

Сашка налил воды в таз, сгреб в него посуду, намочил губку. Он доставал тарелку, быстро проводил по ней губкой, и тарелка с грохотом летела в ящик. Когда уже ничего не оставалось в тазу, Сашка пошел на выход. Кок стоял у двери, одетый в черный суконный пиджак поверх синей спецовки.

– Сразу не ложись, сначала выйди на палубу... – сказал он так, что Сашка не мог понять, смеется кок или говорит правду.

Схватившись за перила трапа, он, пошатываясь, полез наверх. Вдруг его ослепило сизым блеском. Огромный головокружительный горизонт падал и поднимался, волны, набирая высоту, внезапно рушились, отвратительно пенясь.

В каюте Сашка лег, стараясь заглушить преследовавший его запах водорослей и мыла, подступавший прямо к горлу. Он попробовал представить себе Стамбул, но его воображение не шло дальше узких и

кривых улиц и ущербного турецкого полумесяца, забившегося между двумя высокими домами, один из которых – мечеть, другой – церковь,

3

Штиль, зной, утро. Теплоход проходит Ла-Манш. По правому борту видны скалы, отвесно спускающиеся в море.

Могучий поток воды мчится из брандспойта, заливая палубу. Матросы палубной команды в одних трусах, вооруженные железными скребками, дряют доски. Бригадир в сползающих полотняных брюках, с ремнем на голом животе, с кисточкой в одной руке и с ведерком в другой ходит вдоль бортов, подкрашивая перила. Сашка говорит:

– Ребята, посмотрите на эти острова. Разве из-за них стоит мучиться морской болезнью? Другое дело – Стамбул. Скажите нет, ребята?!

И, видя, как поблескивают у ребят глаза, Сашка продолжает:

– Будто я не знаю ваших планов насчет этого местечка...

Хотите, скажу?

– Молчи, трепач! – ворчит Катернов, разгибая спину и забрасывая голову. – Уйди, а то сейчас утоплю!..

– Зачем, зачем? – живо откликается Бисо. – Ты ему про шторм скажи, про погоду скажи. Скажи – через час шторм будет... Слышь, Сашка?

4

Смеркается. Волны, сверкающие за бортом, становятся сизыми. Кое-где на корабле зажгли электричество, но та часть палубы, где после работы на скамейках отдыхают матросы, еще погружена во мрак. Требуется усилие, чтобы увидеть лицо соседа.

Откуда-то доносятся голоса штурмана и Бисо.

– Ну, теперь понял, что такое долгота и что такое широта? – это голос Лаврова. – Покажи меридиан! А параллель!

Да нет же ж, параллель!.. Ну, то-то... Ну, теперь определи, на каком градусе широты и долготы мы находимся.

Молчание.

– Мы проходим девятый градус западной долготы, считая от Гринвичского меридиана, и сорок четвертый градус северной широты – от экватора. Понял?

– А сколько градусов до Стамбула? – внезапно перебивает Бисо.

Теперь несколько секунд молчит штурман. Наконец он говорит с усмешкой:

– Ты хочешь сказать, в скольких милях мы от Стамбула?

– Да.

– До Стамбула еще около трех тысяч миль.

– Так много? – вздыхает матрос.

– Далеко? – спрашивает штурман.

– Очень! – проникновенным шепотом говорит Бисо.

Окончив занятия, Алеша Лавров идет в штурманскую. Бисо бродит вдоль борта, всматриваясь в темноту, изредка разрезаемую лучами португальского маяка.

– Ну, как успехи в географии? – спрашивает его Сашка.

– В Стамбул не скоро придем... Три тысячи миль... Никак нельзя меньше сделать.

В кают-компании идет общее собрание экипажа. На кожаных диванах сидит вся команда, машинная и палубная, кроме вахтенных. За одним из столиков, разложив перед собой листы бумаги, стоит болезненного вида рыжевато-русый человек. Это председатель судкома моторист Лебедев. Он говорит:

– Товарищи! У нас плохо обстоит дело с соревнованием.

Посмотрите на другие суда. Тот же «Декабрист» или тот же «Пестель» – они имеют соревнующиеся вахты, а мы...

Сашка сидит возле иллюминатора, в который видно нестерпимую голубизну неба и моря. Он слушает внимательно. Он смотрит прямо в рот Лебедеву. Он думает: «Что такое соревнование? Наверное, это что-то озорное: „Вот вы все так, а мы вот как? Видали? Мы еще не так можем!“»

– Я скажу, товарищи, – продолжает между тем Лебедев, – что при таком темпе, когда моторист опаздывает на вахту, неаккуратно сдает машину, льет масло куда попало... при таком темпе никогда мы не придем в Одессу!

– Стой! – прерывает его Моргунец, шевеля игольчатыми усами. – Стой! Дай слово сказать... «Пестель»! «Декабрист»!..

Был бы я на «Пестеле», в четыре-пять портов наверняка зашли б. Для команды отдых. А тут жди Стамбул, да еще сколько там простишь... Сравнил!

Лебедев долго возражал ему.

Комично поднимая и опуская плечи, Сашка как-то боком подходит к столику председателя.

– Товарищи! – начал он. – Я... как бы сказать... Что ж, ребята, я так думаю, что соревнование нам определенно светит. Я – за! В самом деле, почему бы нам не прийти в Стамбул на сутки раньше? Что же, это совсем не плохо... Скажите нет, ребята? – посмотрел он на своих сверстников. – Ты, Бисо, и ты, Егор, писать вас?

– Пиши! – сказал Катернов.

– И меня пиши! Я тоже согласен! – сказал Бисо.

Первая ударная вахта была создана.

6

Вскоре в красном уголке уже висела доска соревнования с изображением аэроплана, автомобиля, голубя, мотоцикла, лошади, матроса, рака и черепахи.

На всем протяжении пути по Средиземному морю, от Гибралтара до Греческого архипелага, первая палубная красовалась под аэропланом.

Когда теплоход вошел в Мраморное море, в рубрике «Экономия» значилось уже тридцать четыре часа. До Стамбула оставалось около семисот миль. Уже тянулись пепельно-зеленые массивы островов со спрятанными в глубине селениями, издали похожими на выводки гусят.

В полдень показались Дарданеллы. Сашка видел ветхие дома, облезшую мечеть, остатки старинной крепости. Два-три каменных

здания грязновато-серого цвета, очевидно, были заняты казенными учреждениями.

Такая же убогая, немая жизнь тянулась по правой стороне пролива. Теплоход круто поворотил. Две фелюги показались из-за мыса. «Аджаристан» входил в Босфор. Сначала проступила топкая и еле видимая цепь огней, огни размножились, и наконец огромная светящаяся бухта обозначилась перед глазами.

«Аджаристан» замедлил ход и стал на рейде. Тотчас же, визжа сигнальными рожками, из темноты стремительно приблизились к нему новый полицейский катер и старый, похожий на чисто выскобленное корыто, буксир «Гарвет».

По трапу поднялись тощие турецкие полицейские. Два лодочника зацепили свои утлые лодчонки за открытый иллюминатор одной из нижних кают и беспечно покачивались на волнах.

Капитану спустили шлюпку. Он вышел одетый в черный, плотно облегающий его приземистую фигуру штатский костюм, в шляпе и с тростью, торжественно поглядывая по сторонам.

Поздоровался с полицейскими. Из темноты завопил новый рожок, подплыл еще один катер; на корме его стоял мужчина в роговых очках и в мягкой фетровой шляпе, съехавшей на затылок.

– Эй, – обратился он к стоявшим на палубе матросам. – Хорошо ли привязан трап?.. Ну, здравствуйте! С прибытием!

Кто капитан? – спросил он, очутившись на палубе.

– Я, – сказал Лука Кириллыч, выступив вперед.

– Здешний представитель Совторгфлота, – приветливо улыбнулся человек, приподнимая шляпу. – Вы пришли на двое суток раньше. Грузы не готовы. Завтра погружу на «Декабриста».

– Я... Мы... – начал было Лука Кириллыч. – Следовало бы... Грузов, значит, нет? Тогда-а...

– Ну да! Чего вам тут стоять! – торопливо проговорил мужчина в роговых очках, надевая шляпу. – Ну-с, товарищи, счастливого пути! Всего хорошего. Привет Одессе!..

И, сделав ручкой, сбежал по трапу. За ним быстро сошли турки. Раздались снова визг и клекот сигнальных рожков, буксир и катер шумно отвалили. Проснувшиеся лодочники, спохватившись, отвязали свои лодки.

– Вира шлюпку! – приказал капитан. – Якорь! Боцман, передайте команде – грузов нет. Стоянки не будет!

– Первая палубная, к якорю! – крикнул боцман. – Почему стоите? Или это вас не касается? – обратился он к Катернову и Бисо.

Но те не двинулись с места.

– Не имеем права! – шевеля игольчатыми усами, произнес Моргунец. – Матрос не имеет права миновать Стамбул!

Лука Кириллыч посмотрел на Сашку, на его комичную, страдальческую улыбку и вдруг что-то как бы сообразил.

– Саша! – сказал капитан тихо. – Грузов нет, стоять не для чего. Надо поднимать якорь на Одессу! Может быть, ты скажешь им что-нибудь смешное, Саша?

Сашка подошел к ребятам.

– Слушай сюда, Бисо! Слушай сюда, ребята! – страстно заговорил он. – Что мы не видали в Стамбуле? Нищих мы там не видали? Фески с кисточками? Зачем же волноваться, парни! Вот еще немного – и покажется Екатерининский маяк. Это же наш, чисто советский маяк, ребята! И вообще, я вам скажу еще одно замечание. Мы соревновались для Стамбула. Будем соревноваться для Одессы. Что? Или это вам не светит, вахта?!

Борис Андреевич Лавренев

Воображаемая линия

Первым и единственным камнем преткновения в красноармейской службе для Скворцова был горизонт.

Было это в те дни, когда новенькая фуражка ядовито зеленела пушистым ворсом верха, как поемный луг после спада разливных вод, шинель не облежалась еще на круглых плечах и торчала острыми углами затверделого сукна, а казарма казалась оглушительным складом нерассортированного шума.

Словом, в те дни, когда Скворцов только-только начал привыкать к мысли, что он уже не житель села Ракитина, а боец Рабоче-Крестьянской Красной Армии и что это новое положение в корне меняет его жизнь.

Решительное столкновение Скворцова с горизонтом произошло на первом занятии по топографии. Исход борьбы оказался неопределенным.

Скворцов считал себя победителем, но, если бы горизонт мог иметь свое мнение, он, вероятно, также не признал бы своего поражения.

– Горизонтом называется воображаемая линия, на которой для взгляда наблюдателя, смотрящего вдаль, земля сходится с небом, – сказал преподаватель, плавно поведя перед собой рукой на уровне груди.

Преподаватель был взводным командиром из сверхсрочных одногодичников. Он был очень юн, румян, как девушка, но старался быть очень положительным и официальным.

– Понятно, товарищи? – спросил он, оглядывая взвод.

Товарищи молчали, но по особенному, учащенному сопению, шуршанию свежих гимнастеров на крепких спинах и напряженным, блестящим взглядам преподаватель сделал для себя неутешительный вывод, что объяснение его требует дополнительного толкования.

Горизонт еще не овладел молодыми, неискушенными умами. Он скользил по их поверхности, не проникая в глубину мозговых клеток. Нужно было сделать понятие горизонта реальным, материализовать его, довести до степени такого же удобнопонятного

предмета, как обеденная каша с салом, ибо для пограничника горизонт – вещь серьезная.

– Хорошо, товарищи, – впрягся снова преподаватель в горизонтальную проблему, – попробуем объяснить отвлеченное понятие наглядным примером. Большинство из вас жило в деревне и чаще видело горизонт, чем горожане, от которых он скрыт архитектурными деталями (преподаватель любил иногда остро научные термины, как южные народы – красный перец).

Вы каждый день видели горизонт, но не обращали на него внимания как на естественное явление. Так вот – представьте себе, что вы вышли на полевую работу. Перед вашими глазами открытое пространство, где нет ни леса, ни гор, а только ровная, как поле, нива. И вы видите, что на некотором расстоянии от вас нива кончается, соприкасаясь с небом. Воображаемая линия соприкосновения неба с нивой и называется в науке горизонтом. Теперь понятно, товарищи?

Сопение утихло, и напряженный блеск погас. И робкий еще, но уже осознающий первую победу в учении голос из угла отозвался:

– Понятно, товарищ командир.

Преподаватель облегченно поправил пояс на френче и хотел уже продолжать возню с горизонтом для изъяснения практической важности этого явления, как другой голос (он принадлежал Скворцову) опять выбил почву из-под его ног.

– Товарищ командир, – Скворцов говорил решительно и хмуро, сознавая, что идет наперекор начальнику, наверное съевшему собаку в горизонтах. – Это неправда, что земля с небом сходится.

– То есть как неправда? – возмутился уязвленный преподаватель.

Скворцов оробел, но не сдавался.

– У нас на селе старики говорили, точь-в-точь как вы, что земля до неба касается и можно по лестнице на небо залезть.

Я в те поры подпаском был, и дюже меня интерес взял до того места дойти и на небо заглянуть.

Сдержанный смешок за спиной Скворцова колыхнул взвод, и Скворцов медленно налился краской.

– Вот и пошел я раз по полю... Еще подметил на том месте – куст прямо в небо торчал. Дай, думаю, до него доберусь – и до неба рукой подать... Иду, а поле от меня все уходит. До куста дошел, а за им

опять поле, и до неба не допрыгнешь. Ну, плюнул – и назад. Ясное дело – враки. Ничего не сходится, и линии не видать.

Взвод уже откровенно грохотал. Преподаватель криво усмехнулся.

– Товарищ, – сказал он, – я же вам и говорю, что линия эта – воображаемая. На самом деле ее нет.

– А на что ж воображать, коли ее нет, – уже сердито сказал Скворцов, – только людей зря путать.

Преподаватель призвал на помощь авторитет науки:

– Потому, что условное понятие горизонта дает нам возможность самым простым образом, без всяких вычислений и инструментов, доказать, что земля не плоская, как думали раньше, а имеет форму шара. Понятно?

Скворцов помолчал и мрачно ответил:

– Може и так, а но-моему, можно и без врак доказывать.

И хмуро сел под общий хохот. То, что рассказывал преподаватель дальше, было вполне понятно Скворцову и не вызывало в нем никаких сомнений, но с горизонтом он долго оставался во вражде. И часто, закрывая глаза, пытался представить себе эту, неизвестно к чему воображаемую линию, но не мог.

Его не смущали и не ставили в тупик такие сложные понятия, как «экономика», «эксплуатация», «капитал», «социализм», – все это было вполне понятно и реально и вызывало совершенно определенные чувства симпатии или вражды. А воображаемая линия горизонта оставалась в сознании каким-то туманным, расплывчатым призраком, не имеющим реальной ценности.

И только через год он понял горизонт с предельной остротой и ясностью, когда попал в пограничную заставу. Приведенный впервые отделкомом на пост, он оглядел лежащее перед кустом, за которым ему предстояло стеречь советский рубеж, болотистое пространство. Здесь должна была быть граница.

Границу он хорошо знал по карте Союза. Советская земля была отделена от земель, точивших на нее клыки штыков, жирной черной чертой.

И Скворцов думал, что на местности граница помечена либо насыпанным валом, либо вырытой канавой. Но ничего подобного не было видно в мшистом, дымящемся осенним туманом болоте. Оно

лежало рыжее, ровное, мокрое и противное. За ним синел такой же перелесок, как и на советской стороне. Но там были чужие, – Скворцов знал это. Чужая земля, чужие деревья, чужие люди.

– А где ж граница, товарищ Садченко? – недоуменно спросил он у отделкома. – Как мне ее разобрать?

– От чудак, – ответил Садченко, – не иначе ты думал, что тебе тут флажки на веревках навешаны, как лису загонять...

От – болото видишь?.. Ну, посередь болота и есть граница...

Она ж воображаемая линия.

Скворцов глянул на болото, и в сознании его все сразу стало ясным. Он реально увидел границу. Она пролетела в его мозгу резко очерченной линией. По эту сторону лежали свободные поля, дымили свободные фабрики, и землей правили такие же бесчисленные Скворцовы и Садченки, над которыми не-висела ничья палка. По ту сторону Скворцовыми и Садченко, носившими чуждо звучащие имена, помыкали хозяева. Оттуда тучей ползли к советской земле ложь, предательство, вражда, насилие. И, раз поняв воображаемую линию границы и ее высокую условную правду, Скворцов понял и воображаемую линию горизонта. Это была такая же граница, но лишённая социального смысла и потому для Скворцова второстепенная.

Стекла заставы тонко и жалобно звенели от ударов метели.

Двое суток она бесилась разъяренной, визгливой, вздорной ведьмой и только в ночь, исчерпав весь запас злобы и остервенения, стала затихать.

За это время она успела наместить сугробы до половины окон, засыпать двор и ворота конюшни, к которым пришлось прорывать дорогу между пушистыми голубоватыми стенами снега.

В ночь ударил мороз, и к томительному стону стекол прибавилось сухое потрескивание бревен. К рассвету окна заткало пышным лапчатым узором. На восходе оранжевая теплота ламп смешалась с густо-бирюзовым холодком оконного света, и в заставе стало зябко. Дневальный подбросил в печи по охапке лайковой березы и стал будить утреннюю смену.

Скворцов вскочил, сунул ноги в валенки и побежал в сени умываться... Ледяная вода щекочуще обожгла лицо и шею, стало свежо и весело.

До отвала нахлебавшись обжигающего чаю, Скворцов стал собираться на пост.

Взял из пирамиды винтовку, вынул затвор и, повернув винтовку прикладом к окну, заглянул в ствол. Ствол сиял, как ледяной. От сизого оконного света по нарезам трепетал холодноватый голубой блеск.

Винтовка была в отменном порядке. Скворцов аккуратно обернул ноги суконными обертками и, снова надев валенки, потоптался на месте, пробуя, все ли ладно, не жмет ли, не попала ли какая неловкая складка, которая помешает ходить и разотрет ногу.

Раскрыл подсумок, вынул обоймы, чтобы пересмотреть патроны – нет ли помятостей и трещин в гильзах, но в это время услышал голос дневального:

– Скворцов... Начальник зовет.

Скворцов бережно сложил обоймы в подсумок и, подтянув пояс, пошел в комнату начальника заставы.

Начальник сидел за столом в расстегнутой гимнастерке.

Он только что кончил пить чай. На распаренном лице проступили мелкие капельки пота – начальник любил чай, как пьяница водку, и выпивал по семи стаканов зараз.

Маленькая, востроносенькая, похожая на ручную белку, жена начальника сидела на постели, кормя грудью ребенка и, когда Скворцов вошел, повернулась спиной, стыдясь красноармейца, так как только первый месяц наслаждалась материнством и еще не успела привыкнуть к нему.

– Здравствуйте, товарищ начальник, – сказал Скворцов, переминаясь у порога.

– Здорово, Скворцов, – весело ответил начальник и добавил тихо и серьезно: – Маленький разговор будет.

Скворцов пристально посмотрел на красное лицо командира.

– Сейчас пойдете на пост, так глядите в оба. Есть у меня думка, что сегодня может быть «случай».

Скворцов насторожился. Он знал привычки и словечки начальника и знал, что на его языке «случаем» называется попытка перехода границы. Если начальник говорил «может быть», – значит, он знал это наверное, значит, у него были проверенные сведения, и,

следовательно, ему, Скворцову, предстоит сегодня серьезный боевой день. Тело его напряглось, и в ушах зашумела кровь.

– Поняли, товарищ Скворцов? Вы хороший пограничник, и я на вас полагаюсь. Дело серьезное, и птичка отличной породы. Главное дело, если заметите, не спугните не вовремя. Дайте перескочить и забирайте живьем. Оружие применять только в самом крайнем случае. Соображаете?

– Соображаю, товарищ начальник, – ответил Скворцов.

– Ну, ладно – идите. Полагаюсь на вас.

Скворцов вернулся в казарму. Постовая смена уже одевалась.

– Скворцов, поторопись, – окликнул Садченко. – Где тебя носило?

– Начальник звал, товарищ Садченко, – ответил Скворцов, присел на постель и, подумав минуту, решительно сбросил валенки и потянулся к шкафчику за сапогами. Когда он натягивал их, Садченко подошел к постели.

– Зачем валенки скинул? Непорядок... Такой мороз...

Скворцов не дал ему договорить. Подняв голову и взглянув прямо в глаза отделкома, он раздельно и с напором сказал:

– Может, бежать много придется, товарищ отделком... В валенках неспособно...

Глаза договорили остальное, и старшина понял мысль красноармейца. И уже больше для формы сказал:

– Не застудись только.

В сенях поверх тулупов постовые напялили белые холщовые балахоны с капюшонами, помогая друг другу завязывать сзади тесемки. Смена тронулась на посты.

Противный рыжий пустырь болота сиял незапятнанной белизной, плотно прикрытый полуметровым покровом снега.

Ни одного пятнышка не было на всем открывающемся взгляду пространстве, мерцающем матовым сахарным блеском, только кое-где, протыкая снег, как штыки, торчали острые стебли осоки.

Ни впадинка, ни горбик не нарушали скатертной ровности пустыря, и тем не менее Скворцов отчетливо видел воображаемую линию границы. Она пересекала болотный пустырь ровно посередине, она горела, красная и живая, как кровь.

Скворцов присел на знакомый пенек за кустом, положил винтовку на колени и, слегка потопывая ногами, приминая пухлую

снеговую перинку, погрузился в думу о чужой земле.

Что нужно тем, которые властвуют на этой чужой земле?

Какая злобная ненависть кидает их, как волков, к советской границе, острит их штыки, закладывает обоймы в магазины маузеров, заставляет подстреливать из-за угла часовых советской земли, таких же, как он, Скворцов, пограничников, молодых, жизнерадостных парней?

«Вот мы же, – думал Скворцов, – не лезем к ним. Стоим и бережем свою границу и никого не трогаем. А они, как звери, кусаются. Должно быть, оттого, что силенки за собой не чувствуют. Силенки нет, а злобы хоть отбавляй. Силом взять не могут, так хоть пакостью душу отводят. Вон на соседней заставе неделю назад стоял на посту Гриньков. И вдруг из-за дерева – трах! и нет парня. В висок пуля и навывлет, – всю голову разворотила. А за что? А у Гринькова в деревне старики остались, калеки. До Советской власти, гады, дострелить не могут, так по крайности в Гриньковых стреляют. Вот сволочи!..»

Скворцов озлобленно плюнул в снег и смотрел, как плевок пробил круглую ямку в зернистом снежному пуху и медленно застыл.

Потом поднял голову, глянул вперед, дрогнул, подался и медленно, как зачарованный, не отводя глаз от мелкого переплета веток чужой рощицы за болотом, сполз с пенька в снег и вытянулся на животе, подбирая к боку винтовку.

За ветками рощицы метнулось что-то желтое. Как будто лисица пробежала, а может быть, и не лисица... Глаза в руки, товарищ Скворцов, и замри!

Из напряженных глаз потекли слезы, и Скворцов несколько раз часто мигнул ресницами, смахивая мешающие смотреть капли. Ветер пронесся над поляной, качнул ветки деревьев, стряхивая с них невесомые белые глыбы. Ветер примчался издалека с моря и свистал, как боцман.

Здоровый кусок снега свалился на голову Скворцову, засыпал лицо – Скворцов только слегка передернулся, чтобы стряхнуть колющие снежинки, двигаться сильней было нельзя.

Он, не отрываясь, смотрел в чащобу чужой земли, туда, где метнулось желтое.

«Нет... верно, и в самом деле лиса», – подумал он и только успел подумать, как вновь возникло отчетливое желтое движущееся пятно, и Скворцов сразу понял: человек!..

Холодея, Скворцов осторожно вытянул руку вдоль пояса и пощупал подсумок, точно испугался: на месте ли он. Но твердая кожаная коробочка крепко держалась на поясе и хранила свинцовое зерно. Скворцов снова перевел взгляд на рошу. Человек – теперь Скворцов видел его совсем ясно – в желтой бобриковой куртке с меховым воротником сторожко, как волк, переползал от кустика к кусту, пробираясь к опушке. На его спине горбился вещевой мешок с новенькими ремнями. Вот он добрался до крайних березок, выпрямился во весь рост, поглядел из-под руки. Теперь Скворцов видел его лицо, длинное, с резким подбородком, со стриженными усами.

Минуту человек постоял неподвижно, потом медленно, мягко ставя ноги в валенках, двинулся вперед. Он, видимо, как и Скворцов, хорошо чувствовал воображаемую линию границы.

Он не дошел до нее двух шагов, остановился, взглянул исподлобья, усмехнулся и нахально достал из кармана коробку папирос. Чиркнула спичка, легкий дымок всплыл и исчез, на лету украденный ветром.

У Скворцова рот переполнился слюной от злости и зависти.

Захотелось курить до боли под ложечкой.

Человек стоял вполоборота, выпуская периодически клочки дыма, которые также мгновенно воровал ветер.

Щелкнув зубами от злости, Скворцов припал к прикладу винтовки и медленно поднял ствол на уровень груди человека.

Черные пуговицы на куртке были ясно видны. Мушка подползла под вторую пуговицу, оставалось только легко дернуть спуск, но Скворцов знал, что этого делать нельзя. Он просто успокаивал себя этой забавой сознания своей власти над жизнью этого человека, может быть, того самого, который неделю назад пустил из-за дерева предательскую пулю в висок пограничника Гринькова.

Человек как будто ощутил опасность. Он сделал два быстрых шага назад, опяделся, бросил папироску и стал неторопливо прохаживаться по болоту вдоль линии границы, делая каждый раз, с точностью часов, пятнадцать шагов вперед и потом пятнадцать шагов

назад. Несколько раз он улыбнулся, и Скворцов с каждой его улыбкой все больше и больше наливался едким ядом озлобления.

«Гуляешь, стерва?» – прошептал он с ненавистью.

Человек явно испытывал скворцовское терпение, если подозревал присутствие пограничника, и Скворцов понял, что он делает это нарочно, чтобы вызвать его на какое-нибудь движение, окрик, чтобы показать, что здесь опасность.

«Не дожدهшься, сука не нашего господ», – прохрипел Скворцов.

Лежать становилось трудно и неудобно. Снег засыпался в рукава тулупчика. Руки и ноги начинали коченеть. Скворцов пожалел на мгновение, что снял валенки. Руки полбеда. Пальцами можно было все-таки шевелить. Даже можно было по очереди засовывать руки под тулуп, в теплую овчину. Ногам приходилось хуже.

Нельзя было ни переменить положения, ни похлопать сапог о сапог – это моментально выдало бы пограничника. А в ступнях уже начиналось неприятное покалывание. Сейчас бы встать только на две минутки, побегать по снегу, высоко взбрасывая ноги, пригнать к ним кровь, а там опять можно лежать хоть час, хоть полтора. Но не только встать – переменить позы нельзя, пока этот черт торчит там на болоте.

Скворцов взглянул на человека и обрадовался. Он повернул и пошел к роще.

«Сдрейфил, – решил Скворцов, – смывается».

Но человек, как будто издеваясь, дошел до деревьев и присел на пень. Достал новую папироску, покурил, бросил, развязал мешок. Скворцов видел, как он достал хлеб, вскрыл ножом консервную банку, намазал содержимое на ломоть и стал есть, медленно жуя, искоса поглядывая в сторону Скворцова.

Он явно испытывал терпение Скворцова.

Ветер опять рванул ветви над головой пограничника и, сорвав большой ком смерзшегося снега, обрушил его на ноги Скворцову. Скворцов с испугом почувствовал, что ноги не ощутили удара, как будто они были деревянные. Он попытался пошевелить ногами, передвинуть их вбок, и при этой попытке ледяная боль прошла от ступни до колена.

«Застудил, – подумал Скворцов и почувствовал приступ ослабляющей тошноты. – Дурак! Надо было валенки оставить, а коли

бежать – сбросил бы валенки и босиком погнал бы».

Но жалеть о сделанном было бесполезно. От боли и злости Скворцов вцепился зубами в рукав халата, заглушая стон.

Человек снова завязал мешок и, неся его на руке, подошел к середине пустыря. Немного постоял, прислушиваясь, откинулся, сильно размахнулся и швырнул мешок в сторону Скворцова. Мешок взвился в воздух, упал в снег и, кувыркаясь, обрастая белыми комьями, как снежная баба, лег сбоку Скворцова, шагах в десяти.

Боль в ногах мгновенно забылась. Скворцов весь напрягся.

«Провокацию делает, гад... Пробует на арапа взять мешком. Авось польстятся...»

И еще глубже врылся в снег.

Человек послушал, наклонив голову набок. Потом решительно пошел на Скворцова. Воображаемая линия границы была перейдена. Скворцов трясущимися руками навел винтовку.

Десять... пятнадцать шагов... Человек остановился. Скворцов открыл рот крикнуть, но в эту минуту человек круто рванулся и большими скачками побежал назад. Палец Скворцова истерически заплясал на спуске. Нажать – и вся мука кончена. Но в памяти встала комната начальника, самоварный пар, женщина на постели, кормящая ребенка, и голос командира: «Живьем бери».

Можно было бить в ноги, но выстрел наделает шума, набегут пограничники с той стороны, черт знает, что может выйти.

С пробитыми ногами можно переползти рубеж, и тогда все насмарку. Скворцов закусил губы. Ему хотелось плакать. Перебежав заколдованную линию, человек остановился, повернулся и поглядел назад. Потом повторил ту же проделку еще и еще.

После пятого раза, точно убедившись в том, что путь свободен, он засунул руки в карманы куртки и уже совсем другим шагом, легким звериным, волчьим ходом пошел напрямик, чуть уклоняясь в сторону от куста, за которым лежал Скворцов.

Скворцов, не отпуская, вел дулом винтовки. Мушка прочно вцепилась в облюбованную пуговицу. Вот человек перешел пустырь, вот он равняется с кустом, смотря в другую сторону... вот нагнулся за мешком.

И, когда он выпрямился, сдавленным от волнения и боли голосом Скворцов крикнул:

– Стой!

Человек выронил мешок и взвился, как пружина. Руки его метнулись к карманам, взгляд в сторону окрика, и руки медленно, как вытягиваемые посторонней силой, поднялись над головой. Скворцов видел, как побелело его лицо и затряслись усы.

Неслыханная ненависть потрясла все тело Скворцова, смешиваясь с болью и жалостью к себе, к своим закоченевшим ногам.

– Кидай оружие, гад, – прокричал Скворцов, плача и не сдерживая слез. – Кидай, тебе говорю.

Человек, с испуганным удивлением глядя на залитое слезами, исковерканное лицо пограничника, осторожно опустил руку в карман. Черный и блестящий, как ворон, пистолет отлетел в сторону и зарылся в снег.

– Все кидай, – крикнул опять Скворцов, захлебнувшись злобным всхлипом.

– Больше нит, – ответил человек по-русски, но странно выговаривая слова.

– Ложись! – приказал Скворцов, и человек послушно лег ничком. Скворцов попытался приподняться, но ноги так резнуло, что он с протяжным стоном опустился на снег. Человек исподлобья глядел на Скворцова одним глазом, и во взгляде была мутная ненависть пойманного волка. Он чуть пошевелился.

– Тихо лежать! – заорал Скворцов и подумал: «Доходился? Не на такого напал. Я тебя, как лису, стерег, я за тебя ноги загубил, – теперь не выпущу. Носит вас, гадюк, нет вам покоя».

Левой рукой Скворцов достал из-за пояса свисток и, не спуская глаз с лежащего нарушителя, вставил кончик свистка в рот. Скрежещущая трель пошла по лесу. Человек дернулся всем телом, но под черным зрачком винтовки затих.

– Ты что лежишь? За компанию, что ли? Чтоб не скучно было? – услышал Скворцов за спиной голос Садченко.

Через силу он повернулся к отделкому и двум товарищам.

– Берите, – выдавил из себя тупым стылым голосом, протягивая руку в сторону задержанного, и добавил хмурым: – Не могу встать, товарищ отделком. Ноги застудил.

Когда двинулись на заставу, задержанный шел впереди.

Винтовка Садченко упиралась ему в спину. Сзади Садченко пограничники, просунув винтовки в рукава снятой с задержанного куртки, несли на ней, как в кресле, Скворцова, обнявшего их за шеи.

– Молодец парень, – обронил на ходу Садченко, – чисто сработал. Дельный пограничник.

Скворцов колыхался на руках товарищей, закрыв глаза.

Ноги щемило, все тело ныло от лежки. Но горячая радость переполняла его и, казалось, оттаивала и отмороженные ноги. Он бессильно улыбнулся и проговорил, как в бреду:

– Горизонт есть воображаемая линия, на которой небо сходится с землей...

Красноармейцы переглянулись. Им показалось, что Скворцов «свихнулся». Они не знали, что он просто вспомнил свое первое столкновение с воображаемой линией, которая теперь не вызывала в нем никаких сомнений.

Иван Сергеевич Соколов-Микитов

На глухом болоте

Путешествуя за рекой Угрой, мы переходили глухое болото, носившее мрачное название Бездон. Из деревни вышли до рассвета.

Было нужно пройти большой лес, перебраться через поваленный пожаром старый осинник. Солнце уже золотило макуши деревьев, когда наконец добрались мы до мохового болота. На траве под деревьями лежала роса, множеством радужных блесков сверкала растянутая в лесу паутина.

Мы пробирались едва заметной тропинкой, утопавшей в глубоких мхах. Повсюду на моховых кочках попадался выветрившийся волчий помет, а под невысокими болотными соснами здесь и там белели обглоданные кости. В этом глухом, отдаленном от проезжих дорог болоте уже много лет жили и гнездились волки, причинявшие большой вред окружающим колхозам. Повсюду на болоте торчали обгрызенные волчатами пни, темнели вырытые в земле ямы, наполненные черной болотной водою, по которой во все стороны разбегались длинноногие паучки. Запах звериного логова был неприятен. Моя охотничья собака, зачуйв зверя, не отходила от ног, испуганно дрожала.

Мы шли очень тихо и осторожно, иногда переговариваясь знаками и тихим свистом. На краю мохового болота, где кончался густой темно-зеленый ельник, мой спутник, деревенский охотник Вася, остановился. Неторопливо сняв заплечный мешок, прислонив ружье к стволу сосны, сделав мне условный знак, он стал готовиться вабить.

Сперва Вася стащил с головы свою старую, выдавшую всякие виды шапку и, уткнувшись в нее лицом, стал глухо кашлять, чтобы хорошенько прочистить горло перед ответственным и важным делом. Откашлявшись и оглядевшись, он приложил ко рту сложенные рупором ладони и, закинув голову, удивительно точно начал подражать волчьему вою. Не всякому охотнику удастся услышать близко волчий вой. Страшна, жутка волчья песня: есть в ней и скитальческая печаль, и злая угроза разбойника, и жалоба на лютый голод... У верного спутника моего по лесным охотам, деревенского

охотника Васи, выходило очень похоже – казалось, это на самом деле возвращался в свое логово с добычей старый волк и давай весть о своем приближении затаившемуся в чащобе семейству. Подражая старому волку, Вася заводил глухим, тонким голосом, потом снижал голос и обрывал песню, низко нагнувшись над землею. От натуги покраснели его лицо и шея, надулись жилы на лбу. В лесу было тихо, где-то перестукивал на сухом дереве дятел, тихо попискивали, перелетая по сухим нижним веткам, хлопотливые синички. Вася помолчал, послушал, откашлялся в шапку и опять приложил ко рту сложенные рупором ладони [Чтобы подражать волчьему вою, некоторые вабельщики-охотники брали с собою в лес глиняный горшок с отколотым дном. Я знавал в деревнях таких искусников-подвывал, которые могли подманить на верный выстрел даже взрослого, очень осторожного волка]. Тотчас, не дав ему окончить, отозвался прятавшийся в чащобе выводок молодых волчат. Казалось, весь лес наполнился их голосами. Было отчетливо слышно, как визжат и по-щенячьи перебрехиваются нынешники-прибылые, как зло и голодно подвывают прошлогодники-переряки [В каждой волчьей семье воспитывается и выкармливается обычно два поколения волчат, целиком находящихся на попечении родителей, ради прокормления прожорливого семейства безжалостно опустошающих округу]. Мы прятались за стволами деревьев, издали наблюдая, как в глубине еловой чащобы челноками мелькают серые спины волчат.

Мы стояли не шевелясь, выжидая, пока молодые волки совсем затихнут, и, когда замолкли последние звуки, стали отходить очень тихо. Теперь нам было известно, что выводок волков на месте. Приходилось спешить в деревню, чтобы созвать людей и до захода солнца устроить облаву. Скоро у нашей избы собралась большая шумная толпа. Собравшиеся на облаву колхозники курили и весело смеялись. Из деревни мы выступали, словно большой отряд партизан.

По лесу шли тихо. На краю мохового болота я приказал всем остановиться. Мы с Васей отправились вдвоем вперед, чтобы еще раз проверить волков. На этот раз выводок нам не отозвался. Это был верный признак того, что в логово вернулись с промысла старые волки и все разбойничье семейство было теперь в сборе. Мы осторожно обошли круг, заранее отмечая места для загонщиков и

стрелков. Я остался со стрелками, осматривавшими свои ружья, а мой помощник Вася пошел расставлять загонщиков-крикунов.

Я выбрал место на небольшой чистинке и внимательно огляделся. Покрытая мхом сухая еловая макуша лежала впереди, недалеко. Я стоял под деревом, закрывшись густым зеленым кустом, тихонько обламывал ветки, мешавшие стрельбе. На облавах всегда долго тянутся первые минуты. Рябчик вспорхнул близко и, затрещав, уселся почти над моей головой на закачавшийся под его тяжестью тонкий сучок.

Вот далеко в загоне выстрелил Вася, и тотчас по условному сигналу шумно загорланили многие голоса загонщиков, застучали по деревьям топоры. В густом лесу голоса загонщиков казались далекими и глухими, особенно выделялся один пронзительный женский голос, вопивший не умолкая...

Сухо и отрывисто щелкнул в цепи охотников первый выстрел, и еще громче, горластее стали кричать в загоне крикуны. Скоро я увидел волка: он бежал на соседа-стрелка, прижав тесно уши, разинув от волнения пасть. Светло-желтая спина зверя быстро мелькала за стволами деревьев. Я хорошо видел, как сосед поднял ружье, выстрелил, – зверь взвизгнул и пополз, западая среди моховых кочек.

В цепи охотников продолжали стрелять. «Должно быть, мажут. Уйдут, пожалуй, волки!» – подумал я, досадуя, что неудачно выбрал для себя место. Облава уже подходила к концу, близко слышались голоса загонщиков, когда вышел последний таившийся в окладе зверь. Как мышь, он крался вдоль лежавшей на земле еловой макуши, прислушиваясь к приближавшимся крикам загонщиков.

Стоя за кустом, я осторожно поднял ружье, прицелился. После выстрела было видно, как, яростно лязгнув зубами, метнулся и упал смертельно раненный волк. Подстреленный зверь вытянулся, а над ним все еще колыхалась покрытая ягодами ветка рябины.

После облавы, когда убитых волков перенесли в одно место, я направился в лес, чтобы хорошенько осмотреть и изучить опустевшее логово зверей. Из центра логова во все стороны разбежались протоптанные волками тропы. Такие же тропы шли к водопою. Множество птичьих и звериных костей валялось вокруг. Посреди логова я увидел небольшую сосну, росшую на сухой и просторной

кочке. Невысоко от земли кора на ней была как бы отполирована здесь, видимо, резвились и играли маленькие волчата.

Ночевать мы с Васей остались в лесу, чтобы захватить утро и поискать у края болота выводки глухарей. Всю ночь мы провели у костра, дремали и слушали, как за глухим Бездоном воет единственный оставшийся в живых старый волк. Утром, еще до восхода солнца, мы пошли напрямик через болото, и от пас, раскинув огромные крылья, поднимались гнездившиеся на болоте журавли.

1930

Лидия Николаевна Сейфулина

Собственность

I

Кузнец Трунов пил горькую. Семья его бедствовала. Старшая дочь, красивая Лизавета, вышла замуж за нелюдимого, нехорошего лицом и телом, набожного вдовца. Сожительство с ним претило ей. Но была она сыта, одета, обута, защищена от злых соседей. Родные и знакомые считали ее жизнь счастьем. Мать хотела, чтоб и вторую подрастающую дочь Клавдию миновали нищета и порок, чтобы устроилась она так же, как старшая.

В один апрельский вечер, за всеобщей, усталая старая мать молилась об этом богу. Она устремляла искательный взгляд на иконы, на трепетный огонь свечей, навстречу душистому кадильному дыму, вздыхала, простиралась ниц, часто крестилась боязливими мелкими крестами. Близ нее сердито молилась увечная женщина, знаменитая в городе белошвейка. От сухотки спинного мозга ей плохо служили ноги. Она то и дело присаживалась на складной ковровый стульчик у стены. Тогда странный взгляд ее затуманенных глаз с неравномерными зрачками бегал по толпе молящихся.

Униженное, суетливое моление старухи разжалобило ее. По выходе из церкви они разговорились и пошли рядом. Костистая Трунова бережно поддерживала под локоть низенькую рыхлую белошвейку. Рассказывая, она неловко взмахивала левой рукой, будто подшибленным сухим крылом. Горестные движения заскорузлых, темных ее пальцев были выразительней, чем слова. Белошвейка сочувственно приговаривала чудесным голосом, нежным, искренним, как у детей. Она обещала даром учить, одевать и кормить Клавдию, с тем чтобы, обучившись ремеслу, девушка отработала на хозяйку еще три года за небольшое жалованье. Озирая темнеющее небо с яркой каймой заката, белошвейка назидательно проговорила:

– И на небе и на земле создал бог прекрасную красоту.

И людям была бы жизнь прекрасная, если б достойны были.

Бог за всех, а мы уж друг за друга. Бумажку мы у нотариуса заверим. Завтра приходи. Мой домишко в Заречной тебе все покажут.

II

Проезжал освободившийся катафалк. Траурные лошади бежали вольной рысцей. За колесницей вздымалась позолоченная солнцем веселая пыль. Клавдя приостановилась на перекрестке.

Черный возница крикнул ей:

– Хороша девчонка, жалко – некогда!

Клавдя слов не разобрала, засмеялась в ответ на обрадованный взгляд. У ней было хорошо на душе. Утром чай пила с молоком и с сахаром. На теле –: чистая рубашка, отмытые ноги обуты, платьице, перешитое из старья, сидело ловко. Воспоминанье о том, что всего месяц назад она виновато шныряла меж людей босой, простоволосой, голодной, не омрачало ее сегодняшней радости. На ходу она потаенно пела, иногда беззвучно шевеля губами. В песню вплетались ее собственные мечтанья.

Когда белошвейка станет ей платить за работу, она справит себе зеленую шерстяную юбку и две-три кофточки. Одну – розовую шелковую, как у Шурки гулящей. Этой кофточке завидовали все женщины на улице. Потом она купит матери валенки к зиме, а весной – крепкие ботинки. Так, мечтая, она откормила, одела всю несчастливую свою семью и пристроила себя. Она вышла замуж. Ее муж улыбался ей, как проехавший мимо приветливый похоронщик, но лицом и голосом походил на молоденького почтальона. Тот приносил зимой Труновым письмо с родины. Клавдя больше не видела его, но дважды он приснился ей. Один раз – будто смотрит на нее во все глаза, берет за руку и говорит: «Милка моя». Во втором сне он шел по странной цветущей дороге, оглядывался на Клавдю, кланялся ей, не то звал, не то прощался. Клавдя хотела побежать за ним, но не могла двинуть ногами, проснулась в слезах и весь день думала: «Не помер ли?» При воспоминании об этих снах сердце Клавди сжалось от светлого страданья, доступного только юности. Зрелому возрасту оно чуждо, старость знает, желает, но не может его ощутить.

Когда Клавдя пришла с покупками, белошвейка заметила ее душевное состояние. Оно не понравилось хозяйке. Ее жизнь была окутана горьким туманом болезни. И как в тумане всякая чуть выступившая тень кажется большой и недоброй, каждое юное смятение казалось ей грехом. Будто разыскивая нечистоту, она брезгливо, издали оглядела девушку до ног и сказала звенящим голосом:

– Моль точит одежду, ржа – железо, девушку – улица.

Я думала, ты скорей вернешься.

У девочки задрожали ресницы. Она побледнела, ответила, заикнувшись:

– В другой раз скорей схожу.

Испуг ее смягчил хозяйку. Но, когда Клавдя, босая, переодетая в заношенную рубашку с холщовой становиной, несла чистить во двор большой медный самовар, белошвейка еще раз оглядела злыми глазами ее тело. Клавдя втянула грудь в плечи, пошла сгорбившись. Ей было стыдно и горько, но она не оскорбилась. В узком проходе между глухой стеной дома и каменной кладовой помещалась тесовая будочка с высокой вытяжной трубой. Строеньице внутри было выскоблено, вымыто; закоулок, ведущий к нему, чисто выметен руками Клавди. Созданная ею самой, но не подобающая, как ей казалось, этому месту чистота вызвала в ней уважительное удивление. Сиреневый куст закрывал постройку. Под ним Клавдя чистила большой медный самовар и думала о том, что у хозяйки есть другой, томпаковый, его ставят, вероятно, только на пасху.

Однажды белошвейка открывала при ней окованный блестящей жестью сундук. В нем большие отрезки шерстяных и шелковых тканей, много сшитой ненадеванной одежды. В кухне помещалось обилие неупотребляемой утвари. Все ткани, вся излишняя посуда, дом, двор, чистая будочка для грязной нужды и благоуханная эта сирень, овощные гряды и прелестно цветущие две молодые яблони в другом конце двора – все это собственность белошвейки, Марьи Васильевны Клепиковой. Поэтому Марья Васильевна сильна, несмотря на увечье, всеми уважаема.

С ней спорить нельзя, сердиться на нее бесполезно, надо ей угождать. Иначе хозяйка прогонит. Для Клавди навсегда захлопнется вход в этот мир, где за высоким забором растут чудесные деревья,

существует чистота и счастливые излишки. Тогда опять избенка без двора, близ кузницы, меж ними полянка с затоптанным гусиным щавелем, где по воскресеньям дерутся взлохмаченные хмельные мужики, в потемках крадутся озорные парни. Крадутся к дочерям кузнеца, чтоб обольстить или осилить, потом смеяться. Если ж во всем угодить Марье Васильевне, она поможет добиться хорошей судьбы.

III

Время было горячее, перед рождеством. Пожилая мастерица Ксенофоновна не уходила домой ночевать. Спали в сутки часа три. На Клавде лежала также вся ежедневная работа и разноска законченных заказов. Девушка сильно уставала, часто впадала в дремоту за ночным шитьем. И она и Ксенофоновна, чтобы прогнать сон, выбегали во двор умываться снегом; нюхали горчицу. Хозяйка страдала бессонницей. Но в эту ночь она вдруг закрыла глаза, улыбнулась блаженной улыбкой.

Пальцы ее с нежной осторожностью задвигались по столу.

Клавдя увидела, вскрикнула:

– Ой, что вы щупаете, Марья Васильевна?

– Собираю их в решето, – счастливым голосом ответила увечная и очнулась.

Ей приснилось, что под руками пушистые желтенькие цыплята. Рассказав, она заплакала:

– Одолевает сон. Это у меня – к смерти.

С усилием приподняв грузный зад, потянулась она за горчицей. Движение было смешное, но лицо, мокрое от слез, некрасивое, озарилось строгим светом самой страшной человеческой мысли. Клавдя посмотрела на нее и с бессознательным уважением потупилась. Работали в полном молчании; потом хозяйка встала.

– Укладывайтесь, часика через три разбужу.

Клавдя охнула. Она забыла принести постель. Марья Васильевна рассердилась:

– Ты думаешь, я тебе должна и постель стелить, и нос вытирать? Поработала бы, когда я была ученицей, узнала бы!

Клавдя спала на полу, на войлочке, в спальне хозяйки. На день, чтоб не нарушилось годами утвержденное благообразие двух маленьких комнат и чистой кухни, ее постель, скатанная в трубку, становилась в чулане, в сенях. Зимой необходимо было приносить ее заранее, чтоб согрелась. Виновато улыбаясь, Клавдя побежала за постелью в чулан. Стены его покрылись студеным пушистым налетом. Обхватив руками стоявший в углу войлок, девушка сразу озябла. А спать сильно хотелось. Глаза слипались, ноги дрожали. Клавдя склонилась к войлоку и заплакала. Увечная улеглась, вздремнула, проснулась, девушка все еще не возвращалась. Белошвейка, сердито дыша, поднялась, оделась потеплее и вышла с лампой в чулан. Прижавшись к войлоку, Клавдя крепко спала стоя. В склоненной шее, во всех членах неловко согнутого, сладко уставшего молодого тела было столько животной теплоты, что сердце Марьи Васильевны сжалось от умиления и зависти. Белошвейка больше не заснула, но помощниц подняла на час позднее, чем собиралась. Увечная лежала в темноте. Она упорно смотрела в черный потолок, будто именно там из прошлого, как болотные огни, вставали разрозненные видения. Наутро хозяйка замучила Клавдю неровностью в обращении. То была слишком ласкова, то до крайности придирчива. Девушка на бегу плотала слезы, отвечала невпопад. До рождества оставалось пять дней. У белошвейки был обычай в этот срок раздавать подарки. Ксенофонтоне вручалась благородная материя, шерстяная или полушерстяная, очередной ученице – ситец. Избранным беднякам ее церковного прихода Клепикова дарила старые вещи. Она рассуждала, что в пять дней при желании можно сшить обнову к наступающему празднику.

Вечером пришел кривой сосед. Он чистил двор, возил Марье Васильевне воду и колот дрова. Кроме церковного причта, это был единственный мужчина, входящий к белошвейке. Клавдя быстро приладила волосы, выпрямилась над шитьем. Ксенофонтонна мельком на него взглянула, на хозяйку посмотрела оживившимися глазами. Клепикова благожелательно улыбнулась и пошла в спальню. Собрав подарки водовозу и Ксенофонтоне, она задумалась над ситцем, приготовленным Клавде. Первым отблагодарил и откланялся, со стыдом и неловкостью, кривой сосед. Потом Ксенофонтонна

поцеловала руку Марьи Васильевны, приложилась к ее щеке уважительно подтянутыми губами.

Белошвейка отмахивалась от обоих и светло улыбалась. Дарить было приятно. С помолодевшим лицом она протянула материю Клавде.

– А тебе, птица, голубой шелковой сюры на кофточку. Юбку из моей перешьем.

Клавдя, как в прежние годы, поклонилась хозяйке в ноги быстрым земным поклоном, но глаза ее засияли счастьем. Руки, принимавшие подарок, дрожали. Увечная душевно растрогалась. Она за свой счет отдала срочно сшить модную обтяжную кофточку с пышными рукавами.

В сочельник старуха Трунова постилась до первой звезды.

Теперь она с наслаждением ела мягкий хлеб, запивая его водой. Хмельной кузнец необычно спокойно уснул на печи. Старуха отдыхала от радости насыщения. Нарушал тишину трудный храп кузнеца. Он был привычен для жены, она его не слышала. Все кругом казалось ей погруженным в блаженный отдых.

Клавдя вбежала шумно. Мать содрогнулась, не сразу обрадовалась дочери. Потом старая и молодая долго рассматривали кофточку, щупали шелковистую ткань, переговаривались приглушенно, как бы воркуя. Проспавшийся кузнец долго прислушивался к их разговору. Он слез с печи, опухший, распущенный, красноглазый, хрипло сказал:

– Тряпичницы! Пускай гнилая кикимора замуж Кланьку выдаст.

И ушел, натянув полушубок лишь на один рукав. Неожиданный совет его показался дельным старухе. Она решила переговорить с благодетельницей-белошвейкой. Праздничные дни Клавдя проводила приятно. Отец загулял где-то в городе, дома не буянил. Вечерами Клавдя ходила со слободскими девушками, плясала на одной вечеринке. Она была одета хорошо, ее теперь звали в гости, парни не стеснялись заигрывать с ней. С вечеринки она вернулась на свету, но сразу не смогла уснуть.

Сердце стучало громко и часто. Девушку томило множество желаний. Они не укладывались-ни в какие слова, сливались в одно ощущение, похожее на страх от предвкушения счастья.

В крещение ночью на пустыре, около своего жилища, замерз кузнец Трунов. Сумеречным утром нашла жена его скрюченное черное тело, запорошенное чистым снегом. Бурное горе старухи удивило детей и соседей. Она рыдала, ползая по снегу на коленях, долго целовала нечистое лицо пьяницы, обнимала его, не могла оторваться. Вместо положенного причитанья из ее груди вырывался отрывистый плач, похожий на ропчущий клетот. С похорон вернулась она домой сразу одряхлевшая, безучастная ко всему окружающему. И после оживляла ее только забота о замужестве Клавди. О нем были последние слова кузнеца. Жена считала их заветом.

Избу Труновых заколотили. Мать поселилась теперь в семье Лизаветы. Она помогала как умела, нянчила детей, но зарабатывать стиркой уже не могла. Спина старухи сильно сгорбилась, ходила она с батожком. Зять ею тяготился. Со двора старуха уходила только в церковь шептать свои пугливые мольбы да к белошвейке поглядеть на Клавдю. Марья Васильевна была приветлива, жалела обессилевшую мать. Она охотно беседовала со старухой. Разговоры их состояли в том, что белошвейка говорила, Трунова с ней во всем соглашалась. Увечная обстоятельно и подолгу жаловалась на свое слабое здоровье. Поэтому и старуха, и все окружающие все больше убеждались, что хозяйка недолго проживет.

У старой Труновой была на примете небольшая дружная семья, куда взяли б Клавдю за сына охотно, если б хозяйка помогла на первое обзаведение. Старуха долго выбирала удобное для разговора время, а заговорила неожиданно и некстати.

В нерабочий, праздничный день, в марте, когда сквозь видимую хмурость веяло незримым весенним теплом, они вдвоем ходили по двору. Хозяйка осматривала деревья и голые ягодные кусты.

Вздыхая, она приговаривала:

– Расцветут и плод принесут, а меня не будет. Для меня росли, а кому после одинокой достанутся?

Старуха остановилась, взмахнув батожком, и придержала Марию Васильевну за рукав.

– Благодетельница, золотая, многим обязаны. Выдай Клавдюшку от себя замуж...

Хозяйка не сразу поняла, в чем дело. Ей подумалось, что Клавде надо спешно прикрыть девичий грех, что где-то близко, может быть, сейчас за воротами, ждет выгоды распутный жених. Она закричала, размахивая руками:

– Все вы такие, все, все... Распутные, корыстные, урвать бы только чего!..

Нежный ее голос в гневе становился пронзительно тонким.

С криком, ковыляя неверными ногами, она поспешно ушла в дом.

Поздно вечером за матерью к Лизавете прибежала Клавдя.

Белошвейка извещала, что умирает и просит старуху немедленно прийти проститься. Клепикова, правда, занемогла, даже пролежала три дня в постели, почти не вставая, но поправилась.

Старая Трунова прислуживала ей у кровати. Увечная говорила о несчастливых супружествах, о многодетности, о нужде, о нечистых нравах мужчин и хвалила Клавдю. Наконец она заявила:

– Если дочка твоя до моей смерти не выйдет замуж и сохранит себя в девичестве, оставлю ей свой дом со двором, со всем, что есть. Пускай послужит мне, как родная. Недолго придется служить.

V

Тихо болея, Клепикова прожила еще двадцать пять лет.

С каждым годом она двигалась все меньше. Ее лицо становилось прозрачнее, тело грузнело. Уход за ней был тяжел. Клавдя не одну ночь плакала злыми, необлегчающими слезами. Девушка решала утром уйти на вольную работу и каждый раз оставалась. Она думала: «Уйду, а она умрет, и все мои годочки – прахом...»

Старуха Трунова умерла, не дождавсь. Наконец Клавдя почтительно, с богатой милостыней похоронила хозяйку. В августе тысяча девятьсот восемнадцатого года во владении домом утвердили Клавдю Максимовну Трунову. Ей шел сорок третий год. В слободке уже давно за ней утвердилось прозвище «Закопченная невеста». К сорока годам у нее сильно потемнело лицо, на лбу и около рта легли тонкие морщины, прямое тело чуть пригорбилось. Но в застенчивой

улыбке отцветших губ, во взгляде, прямом и чистом, таилась молодившая стареющую девушку печальная детскость. Белошвейное дело у новой хозяйки пошло плохо. Клавдия Максимовна порой думала, что люди перестали рассчитывать на долголетие. Все чаще на белье приносили батист вместо полотна. Дорогую, кропотливую, но прочную ручную вышивку вытесняли жидкие машинные узоры и дешевая мережка. Клавдия приспособила ножную машину и для вышивания, и для мережки, но не нравилась ей эта работа.

Она собиралась выйти замуж и заняться домом, хозяйством.

После получения наследства присватавались женихи, приличные, пожилые вдовцы. Клавдии Максимовне были неприятны бородатые озабоченные лица, расчетливые движенья их немолодых рук. Безусый почтальон не старел в ее мечтах. Она отказывала. Однажды, отбирая старье для семьи Лизаветы, Клавдия вынула из сундука кофточку из голубой шелковой сюры. Ласково расправляя слежавшиеся пышные рукава, она задумалась.

В доме вставляли зимние рамы. Племянница Клавдии Максимовны протирала стекла и негромким, мирным голосом пела новую песню:

Вей буржуазию, товарищи, ура!

Очень ясный свет осеннего солнца заливал девочку и полосатую кошку на стуле.

Клавдия Максимовна окликнула:

– Полюшка, погляди, вот эту мне первую справили...

Девочка оглянулась, откидывая тыльной стороной ладони спустившиеся волосы, и засмеялась:

– Какие старые моды были смешные... Мурка, и чего ты все спишь? Ах ты, ах ты, ах ты!..

Она подхватила кошку, потискала ее, нежно повизгивая, на мгновенье загляделась в окно, увидела, как в прозрачном воздухе кружатся ржавые листья, и подхватила с полу таз:

– Пойду воду сменю...

Полюшка пошла к двери, шая на ходу длинными ногами, высоко ими взбрыкивая, как бы приплясывая. Она качала головой в такт беззвучной музыке, играющей в ней самой, улыбалась глупой, милой улыбкой. Клавдия Максимовна с неприязнью оглядела чуть сложившееся девичье тело и закричала:

– Шешнадцатый год, а кривится, как маленькая! Уходи с глаз моих долой, дура, растрепанная!..

Она сильно хлопнула крышкой сундука. Чтоб ее умиловить, пришла ночевать сестра Лизавета. Лежа рядом на кровати, они долго разговаривали. Клавде хотелось вспомнить молодость. Но Лизавета свою забыла. Она вспоминала только боль и радость, доставленные детьми, выпрашивала у Клавди для семьи подарки. Клавдия вдруг почувствовала, что и у самой у нее мало воспоминаний, вслух и рассказать нечего. Она перестала слушать сестру, думая о своей жизни. За радость, за ласку никто уж ее не возьмет, сватаются из-за дома. И какой-нибудь седой вдовец, если он хороший человек, ставши мужем, будет лишь добр к ней. Тело у нее худое и усталое, к непогоде ноют кости, волосы седеют и сильно падают. Клавдия заплакала.

Чтобы скрыть всхлипыванья, она сердито сморкалась и кашляла. Но Лизавета ничего не слышала. Она заснула внезапно крепко, как засыпают дети и счастливые старики.

О замужестве вскоре прекратились всякие разговоры. Человеческая жизнь вокруг стала такой же путаной и непрочной, как машинная вышивка. Собственный дом Клавдии Максимоиной уже мало кого привлекал. По совету зятя, она спешно продала его первому покупателю за новые тысячи. Уходить со двора ей было тяжело. Она долго простояла у ворот, сгорбившись и утирая слезы. Но вечером у Лизаветы, обильно и льстиво угощавшей богатую сестру, Клавдия Максимовна развеселилась.

Она пригубила лишнее из стаканчика самогонки. На темных щеках выступил пот, и разлился пятнами немолодой, некрасивый румянец. Коротенько, визгливо посмеиваясь, она тягуче говорила:

– Бог с ними, с домами да-садами, не на радость они нынче.

Пока поживу с вами, за кусок заплатит хватит. А потом, говорят, по новым правилам, заставляют кормить одиноких стариков. А? Вот Петеньку заставят, он тетку прокормит. А?

Семнадцатилетний Петя, рассыльный в суде, гордясь знанием законов, стал обстоятельно объяснять:

– Видите, во-первых, мы обязаны кормить родившую нас мать...

Клавдия Максимовна низко склонила голову с потускневшими редящими волосами, уронила меж колен горестно сплетенные руки, заплакала, повторяя нетрезво:

– Родившую мать!..

Михаил Леонидович Слонимский

Католический бог

1

Родные места провожали Ганса горной бурей. Черное небо низко нависло над черным лесом, то и дело распахаясь в молниях. Лесная тьма была полна шумом ливня. Ветер, врываясь в гущу деревьев и трав, гнал и усиливал потоки, бившие и хлеставшие в спину и затылок. Желтая рубашка, коричневые, тщательно заплатаемые, короткие, до колен, штаны – все было мокро так, как будто сутки лежало в ведре с водой. Тяжелые черные ботинки чавкали и хлюпали.

Может быть, Ганс заблудился... Во всяком случае, луг, который внезапно открылся перед ним, был незнаком ему. Не то хижина, не то сторожка привиделась ему в свете молнии. Плетень мелькнул и пропал во вновь наступившей тьме. Буря свирепствовала на лугу так, что за каждый шаг следовало бороться всем остатком сил. Расстояние до хижины казалось огромным.

В ответ на удары кулаками в дверь – ни звука, ни даже лая собаки. Хижина оставалась черна и мертва. Надо найти окно, выбить стекло и влезть под крышу.

Ганс двинулся в обход и сильно стукнулся грудью о неожиданное препятствие. Молния помогла ему разглядеть телегу и брезент на ней.

Тело само прыгнуло в телегу и спряталось под брезент, свернувшись. Ливень бил по брезенту с громадной силой, но тут, в соломе, было сухо, и даже, пожалуй, можно было согреться. Тело оживало, и ясна голова. И только тогда Ганс почувствовал, до чего он устал и голоден.

Это же почти неправдоподобно: человеку, готовому на любую работу, решительно некуда было деваться. Два раза уходил Ганс из дому на заработки и, поплутав по селам и городам юга, ни с чем пускался в обратный путь, в хижину, где с детства запомнились дым из неисправной плиты, крепкий запах отцовского пота, кашель матери и широкая кровать – одна на всю семью. Теперь, в третий раз, он ушел навсегда. Возврата назад нет. После этой последней прогулки с отцом

в лес в родной деревне показываться ему опасно. Он случайно не был пойман жандармами, только потому, что отошел несколько в сторону от отца, собирая сучья. Заслышав возню и крики, он затаился меж деревьев и увидал, что отец схвачен жандармами.

Не мог же отец плести корзины из воздуха или платить за материал втридорога, когда в лесу можно достать все, не истратив ни пфеннига! А закон, запрещающий ломать лес, – глупый закон, потому что он лишает всех корзинущиков области заработка, доходящего в иную неделю до пятнадцати марок, и ничего не дает взамен. Все же жандармы повели отца. Штраф уплатить не из чего. Значит, отец вновь, уже не в первый раз, попадет в тюрьму. Но на этот раз случилось невероятное – отец вырвался, размахнулся в отчаянии своей длинной, сухой рукой и ударил жандарма по лицу. Убегая, Ганс слышал позади выстрел.

Слава богу, что мать еще до того умерла: теперь ей все равно нечем было бы кормиться. Слава богу, что и сестры нету – она работает далеко, в Саксонии, на текстильной фабрике, и так как она нравится мужчинам и ни в чем не отказывает мастеру, то можно рассчитывать, что она не пропадет. Сестра была особенно памятна Гансу, – уже с отроческих лет, ложась спать рядом с ней, он боялся, что ночью причудится ему на ее месте чужая девушка.

Теперь Ганс окончательно оторван от семьи и один брошен в жизнь.

Мучительно хотелось есть. Ганс вынул из кармана кусок хлеба, недоеденный в лесу. Хлеб был совершенно мокрый.

Буря стихала. Ливень уже не так сильно шумел за брезентом.

Вдруг, между двумя порывами ветра, Гансу послышалось, будто чья-то нога чавкнула вблизи. В шуме ветра и дождя заглохли все звуки, а затем вновь чавкнула нога, уже у самой телеги. Опять только ветер гулял вокруг, по уже чувствовалось, что кто-то живой стоит рядом.

Ганс лежал под брезентом, сдерживая дыхание. Все страшные рассказы о лесной нежити разом припомнились ему. Черт из представлений заезжих актеров мелькнул, размахивая хвостом. Или это просто жандарм?

Ганс не двигался и почти не дышал. Страшно одному ночью, в бурю, вдруг почуять рядом неизвестное живое существо.

Брезент шевельнулся, поднятый чьей-то рукой. Пахнуло холодом, и дождевую пыль занесло на солому.

Ганс сжался в углу в ожидании, и ему казалось, что глаза его загорелись, как у кошки.

– Эге! – сказал незнакомый голос. – Да тут уже кто-то есть.

Голос был простой, человеческий, и сразу же постыдными представились Гансу его страхи. Вот до чего напугался он в лесу с отцом – струсил теперь, как ребенок!

– Я – корзинщик, – откликнулся он глупо.

– Ну, так принимай гостем литейщика, – сказал незнакомец, и под брезентом стало теплей от дыхания второго человека.

– Ел? – спросил литейщик.

– Нет, – отвечал Ганс.

– Получай!

Ганс с благодарностью принял ломоть сухого хлеба и две холодные картофелины.

– Теперь – спать! – сказал литейщик. – А это такой обычай у корзинщиков – ночевать в лесу под дождем?

И, не дождавшись ответа, он захрапел.

Утром Ганс разглядел его. Это был длинный, сухощавый человек. Коричневая кожа на лице его была в трещинах от ветров и солнца, как у моряка. Проснувшись, он полежал, закинув руки за голову, потом потянулся и сказал внезапно:

– В Японии люди работают за лошадей.

Поднявшись, он осведомился деловито:

– Гуляешь или оседлый?

Он внимательно выслушал историю Ганса и промолвил:

– Худо в Германии быть корзинщиком. Почти так же худо, как литейщиком. Хочешь – будем гулять вместе? Ты уже высох или еще мокрый?

Свет летнего солнца разоблачил все, что ночью притворялось таинственным. Хижина оказалась наглухо забитым сараем, а откуда взялась телега – решительно безразлично. Довольно и того, что она дала приют на ночь.

Они шли к большому курорту; в каждой деревне, в каждом селе литейщик умел быстро заводить дружбу, и они двигались дальше с некоторым запасом пищи.

– Везде есть свои, – неопределенно объяснял литейщик.

Последняя перед курортом деревня была пройдена.

– Вчера убили здесь одного нашего, – говорил литейщик, широко шагая своими длинными ногами и сильно размахивая руками, – а полиция и знать не хочет. Жандармы! Всех их надо в одну кучу!..

Гансу становилось страшно с этим спутником, как тогда под брезентом, когда возле телеги чавкнула и остановилась неизвестная нога...

Когда они подошли к курорту, Ганс предложил:

– Пойдем тут розно, больше так соберем. А к вечеру сойдемся.

Они условились, где встретиться, и разошлись.

Разными дорогами они вступили в курорт.

2

В этой католической дыре, в долине меж гор, заросших от подошвы до макушки черным хвойным лесом, господствовал огромный собор. Под широчайший купол его стекалось по воскресеньям столько жителей, что каждый новый доктор убеждался: надо, если и не любишь католиков, ходить в храм, чтобы не потерять клиентов и не разориться.

По пути сюда, в этот предальпийский угол Германии, откуда до Швейцарии езды на автобусе не больше двух часов, в ушах словно лопаются и пузырится воздух, показывая все растущую высоту. Впрочем, приезжего народу в этом году поднялось сюда гораздо меньше, чем даже в прошлое лето. Огромная белая санатория с двумя ярусами садов и площадок, розовыми и белыми зарослями цветов, фонтанами и золотыми рыбками, белыми шарами и львиными мордами у нижних ворот пустовала, уступив умирающих и отдыхающих дешевым пансионам, густо насаженным по склону в зелени садов. Только немногие счастливицы сохранили возможность оплачивать лечение в этом белокаменном здании. Прославленный врач добросовестно старался оправдать свою мировую репутацию, а когда удавалось ему спасти харкающего и плюющего больного от смерти, он всем авторитетом своим старался удержать его у себя как можно дольше, грозя возвратом опасности, – обнищавшая страна с

каждым годом все меньше и меньше посылала ему пациентов, и потому из каждого бумажника следовало вынуть как можно больше денег. Но несколько десятков человек, разбросанных по многочисленным комнатам, все равно не заполняли пустоты, а только подчеркивали ее. Тяжелые этажи, выставив вперед балконы с лонгшезами, громоздились друг на друга, пустые и молчаливые.

Ганс шел по главной улочке, что извивалась вдоль горного ручья, разлившегося здесь в речку. Он отдыхал после опасных разговоров литейщика. Ничего он не желал сейчас так сильно, как спрятаться в эту тишину, в этот опрятный уют, где белизна домишек чернела вывесками магазинов и магазинчиков. Вывески выписаны аккуратно и внимательно, и буквы на них вырисованы так тщательно, с такими завитушками, что иностранцу могли показаться китайскими. В витринах выставлено все, что только нужно человеку. И тут дешевле, чем где бы то ни было в Германии, шоколад и часы.

Обязательно надо добиться работы здесь, где все вокруг то же, что и в родных местах, – горы в хвое могучих лесов, долина, быстротекущая речка, а если все это тут немножко иначе перетасовано, то это не составляет особой разницы. Если он добьется работы, то сможет завести такое же яркое альпийское оперение, как у этого прокатившего мимо велосипедиста. Он будет тогда так же упитан, как этот мальчик, догоняющий на маленьком велосипеде своего разноцветного отца, озабоченно оттопыривая локти и колени. Почему он не парикмахер, не почтальон, не шофер автобуса? И все-таки чем все это кончится?

У автобусной остановки Ганс поднялся по первому же повороту налево, к пансионам. Если в пансионах его постигнет неудача, он вернется на улицу магазинов. Он вошел во двор соседнего с санаторией пансиона и увидел черноволосую девушку, которая удивительно неловко колола дрова. Она явно боялась размахнуться как следует. В ослепительно белом переднике, в прорезах которого сверкали ослепительно черные пятна платья, она показалась Гансу воплощением всего опрятного и уютного, во что хотелось зарыться от всех бед.

– Дайте мне, – сказал Ганс и с неожиданной в нем решительностью отобрал у девушки топор. – Вы не умеете, я вам помогу, – прибавил он в объяснение.

Девушка отдала топор, не сопротивляясь и даже с благодарностью, – она ведь не нанималась колоть дрова, а если отказаться, то можно потерять место.

Ганс так увлекся взмахами железа и треском поленьев, что не заметил, как внимательно следит за его стараниями хозяйка пансиона.

Хозяйка, у которой глаза оставались серьезными и недобрыми даже тогда, когда она улыбалась, смотрела на него из окна.

Бесспорно, этот юноша будет больше дорожить заработком, чем служивший у нее баварец, сын возчика с пивоваренного завода. Неслыханное безобразие! Баварец с утра налил пивом так, что не смог наколоть дров! Надо немедленно же сменить его, пока пансионеры не узнали.

Ганс понравился хозяйке. Он производил впечатление человека работающего и честного. И как безработный он уж наверняка будет стараться. Можно нанять его пока – на испытание...

Ганс хитро сумел скрыть свою радость. В его позе и словах, когда хозяйка обратилась к нему, проявилось нечто независимое, но, впрочем, вполне скромное и добропорядочное. Он объяснил, что из родной деревни он отправился к сестре, которая работает на текстильной фабрике и могла бы его устроить тоже, и это было почти правдой. Но он тотчас же принял предложенное место.

Когда он проходил с хозяйкой в дом, чтобы окончательно договориться об условиях, он не заметил грузного, как грузчик, мужчину в зеленой, как у носильщика, блузе. Мужчина стоял невдалеке, посасывая трубку. Затем, освободив рот от трубки, поглядел на Ганса с ненавистью и недоумением и медленно тронулся прочь от пансиона.

Ганс получил кофе и две хрустящие булочки, а на тарелочке перед ним желтело множество кружочков масла. Подав все это, черноволосая девушка (она оказалась швейцаркой) сама присела к столику в людской и глядела, как он ест, спрашивая, вкусно ли. Ганс ел и пил медленно, сдерживая нетерпение, – так солидной и приличней. За обедом он получил жирный мясной суп, вкуснейший, облитый плазуньей, бифштекс с жареной картошкой и компот. В четыре часа. – опять кофе, а ужин превзошел все его ожидания – омлет, ветчина, сыр... Ганс был совершенно счастлив. Ему казалось, что всегда он знал – придет день, и вот так, одним махом, он отделается от голода и

нищеты. Нищета и голод – не для него. И он готов был работать хоть двадцать часов в сутки, исполняя обязанности сторожа, помощника повара, курьера, носильщика и мало ли еще кого.

Ел он за одним столом с поваром и обеими горничными – молчаливой пожилой немкой и черноволосой швейцаркой. После ужина, когда пансионеры разошлись по своим комнатам, он посидел с швейцаркой в саду под большой зеленой шляпкой деревянного гриба.

К ночи, вытянувшись на свежестланной простыне, голый (из первых же денег надо купить белье!), Ганс не поверил своему счастью. А может быть, он просто бредит? Ведь еще прошлую ночь он провел под открытым небом. Может быть, он заболел в ту ночь, когда ливень бил по брезенту, и все, что произошло дальше, причудилось ему, а на самом деле он сейчас лежит без сознания и умирает один, всеми брошенный, в лесу?

Или, может быть, его просто подстрелил жандарм, и это его последняя секунда?

В испуге Ганс, сев на кровати, ощупывал свое тело. Нет, все это правда – он получил место, он сыт, он не бредит. И тут он вспомнил литейщика.

Он условился встретиться с литейщиком в девять часов вечера там, же, где они разошлись. Сейчас без четверти десять.

И Ганс представил себе длинную фигуру своего последнего спутника при входе в курорт, у подножия знаменитой санатории. Литейщик терпеливо ждет. Он кормил Ганса всю дорогу и теперь ждет, не сомневаясь. Но страшно было даже подумать о том, чтобы идти к нему, возвращать весь прежний кошмар.

Ганс опустил голову на подушку и заснул.

Теперь Ганс был сыт. Но все-таки не ясно было, чем все это кончится, – ведь все больше и больше народу голодает, и даже у тех, у кого раньше хватало на жизнь, теперь тоже ничего нет. Об этом рассуждали и за табльдотом, где сходились учитель, массажистка, коммивояжер, конторщик, некий молодой, но с очень уверенными и

зрелыми движениями, берлинец и еще несколько такого же рода людей.

Большинство пансионеров в политические споры не вступало, предпочитая молчать. А из остальных спокойно и авторитетно побеждал берлинец – во всяком случае конторщик и коммивояжер всегда соглашались с ним. Один только учитель обычно возражал. Слушая берлинца, он скептически усмехался, качал своей круглой, с коротко остриженными седыми волосами, головой и наконец начинал протестовать. Протестовал он бестолково и путано и, чувствуя это, замолкал, хмурясь.

Быстро доев, он говорил сердито: «Мальцайт!» и удалялся к себе в комнату.

Жил тут еще один пансионер, перебравшийся из санатории, – военный врач, раненный под Верденом семнадцать лет тому назад. Семнадцать лет носил он в своей груди осколки гранаты, и эти осколки, если верить черноволосой швейцарке горничной, блуждали у него в легких, причиняя мучения, о которых не хотелось думать. Он никогда не появлялся за табльдотом, и только изредка – у дверей уборной, или во дворе, или на прогулке, – пансионеры встречали его, сгорбленного (одно плечо страшно поднялось над другим), маленького, истощенного. Его голос, которым он пользовался редко и только для просьб, обращенных к швейцарке горничной, был протяжный и жалобный. Это был почти уже не человек. Но он, как и все пансионеры, аккуратно выставлял каждый вечер в коридор свои желтые полуботинки, из которых дугой выгибалась пружина, и по утрам брился.

Особенно громко спорили в тот день, когда утренние газеты уверовали в женевскую победу фон Папена и восхваляли мудрость и мощь рейхсканцлера. Берлинец в этот день напрасно пытался умерить восторги пансионеров, – даже конторщик и коммивояжер возражали ему. И он сердито, как учитель, вырыгнул сегодня обязательное – «мальцайт».

Ганс почтительно посторонился, когда берлинец прошел мимо него: он знал, что хозяйка как раз больше всех других пансионеров уважает и даже боится берлинца, а с этим следует считаться, чтобы не потерять место.

Со двора пансиона можно было видеть, как берлинец вступает, обиженный и раздраженный, за высокую белую ограду санатории – вероятно, опять к той светлой, высокой, как англичанин, немке, с которой иногда видели его на прогулках.

Эта женщина, несмотря на все достоинства берлинца, все ещё предпочитала ему своего мужа, высоченного землевладельца и пивовара, который сам не понимал, какого черта он забрался с женой в эту санаторию, здоровый, как боров, – наверное, от избытка денег.

– Пока я имею – я живу, – объяснял он.

А имел он, по слухам, столько, что хватило бы на долгую богатую жизнь всем безработным, что ютились в длинном бараке за курзалом.

Даже этот пивовар был сегодня приятней берлинцу, чем все эти дураки в пансионе, которые не понимают, что в вопросе, где затронуты честь, жизнь и счастье германского народа, нельзя идти на компромиссы. Надо рвать Версальский договор, отказаться от платежей – окончательно и бесповоротно. Да и вообще надо быть точным: спасти Германию – так спасти до конца. Все права на жизнь надо дать только чистокровным немцам, все отобрав у иностранцев и в особенности у таких инородцев, как евреи. А всякую либеральную болтовню надо побоку – она только поощряет врагов народа. К черту! Чем решительней – тем лучше. Ведь вот даже коммунистов правительство не решается прикончить. В Италии, например, запрещена коммунистическая партия – и прекрасно. Надо учиться у Италии, а не у старых либеральных болтунов. В Италии – идеальный порядок, он сам убедился в этом прошлой осенью, когда поехал по стране Муссолини.

Все это он выкладывал с горячностью убежденного человека, а пивовар одобрительно кивал головой. Такие, как этот, бесспорно нужны сейчас Германии.

– Революция – наш общий враг, – нравоучительно заметил пивовар. – Это беспорядок. Это не для немцев.

– Вы верите в революцию? – удивился берлинец.

– А я почему знаю! – вдруг обозлился пивовар (он любил нервничать и размахивать руками). – Не все ли им равно – верю или не верю? Зарежут и все отберут!

И, огорченный представившейся ему печальной картиной, очень жалея себя (даже слезы выступили на его выпуклых глазах), пивовар

махнул рукой и оставил свою жену наедине с берлинцем.

Жена глядела ему вслед, – наверное, сядет сейчас за свою обширную корреспонденцию и будет, как всегда, в раздумье водить своей большой мягкой рукой от затылка ко лбу по бритому черепу. Неприятная у него рука – как у жирной женщины.

– Пройдемтесь немного, – предложила она берлинцу негромко.

И, когда пивовар возвратился к ним, он уже не нашел их на скамье возле фонтана.

Берлинец и на следующий день не гулял с пансионерами, а пропадал в санатории.

Все-таки неясно было, чем все это кончится. В одном только бараке за курзалом помещалось больше людей, чем во всех здешних пансионах и санаториях, и эти люди были голодны и ободраны. А если собрать всех таких вместе – так это же получатся миллионные толпы! Мимо барака Ганс проходил иногда, но ни разу не остановился тут, – о том, что недавно и он сам был в таком же положении, как эти в бараке, хотелось забыть.

Но сегодня знакомый голос окликнул его здесь. Длинный, сухощавый человек с лицом в трещинах от ветров и солнца, как у моряка, сидел на скамье у широких, как ворота, дверей барака. Ганс остановился, не зная, как быть – подойти или нет.

Над литейщиком пестрела наклеенная на черную стену барака листовка. Черные буквы на ней объявляли: «Немцы, проснитесь!»

– Хорошо устроился? – спросил литейщик спокойно. – Я знаю, где ты работаешь.

– Здравствуйте, – отвечал Ганс как можно почтительнее.

– Неизвестно, что из тебя выйдет, – сказал литейщик. – Ты и сам не заметил, кажется, что бросил отца в беде... В беде рассчитывать на тебя не стоит.

Ганс молчал.

– Может быть, даже и проснешься, – продолжал литейщик, ткнув через плечо в фашистскую листовку. – А интересно, какие это немцы просыпаются?

Этот вопрос он внезапно обратил к вышедшему из барака и присевшему рядом с ним грузному, как грузчик, мужчине в зеленой блузе и черных штанах. Мужчина ничего не ответил, – он продолжал

тянуть свою трубку, изредка вздыхая – не от грустных мыслей, а от телесной тяжести.

– Сами увидите, – нам надо взять свою судьбу в свои собственные руки, – проговорил литейщик. – Хочешь знать, как жить, приходи не на это, – он еще раз ткнул в листовку, – а на наше собрание.

Предложение было адресовано Гансу.

– Постараюсь прийти, – вежливо отвечал Ганс. Он был рад, что эта неприятная встреча проходит довольно мирно, и не хотел вызывать ссору. – Но не сердитесь, если не удастся.

Я могу быть занят – очень много работы, даже в воскресенье.

Тут зеленоблужый мужчина, вынув трубку изо рта, задал неожиданный вопрос:

– Твоя хозяйка – иностранка?

– Венгерка, – отвечал Ганс. – А тебе что?

– Ничего, – промолвил зеленоблужый и вновь занялся трубкой и вздохами.

На сомнительное собрание Ганс, конечно, не пошел. Он отправился со швейцаркой потанцевать. Утром они вместе были в соборе (Ганс с детства был приучен уважать католического бога), а вечером можно и повеселиться – сегодня ведь воскресенье.

В обширной пивной они всласть попрыгали под гром и стон рояля и скрипки. Тут они не прислуга, а такие же вольные посетители, как и эти господа пансионеры – берлинец, конторщик и коммивояжер, сидевшие в углу за столиком.

Берлинец сегодня торжествовал – теперь уже всем честным немцам ясно, что никакой победы фон Папен в Женеве не одержал, что Эррио надул этого неудавшегося Бисмарка самым беспардонным образом. Нет, фон Папен только тогда хорош, когда слушается нацистов.

– А все-таки чем все это кончится? – уныло спросил конторщик, и коммивояжер с интересом взглянул в рот берлинцу.

Берлинец отметил на круглой подставке пятой черточкой пятую кружку пива и заявил авторитетно:

– Гитлер должен быть рейхсканцлером.

Ганс и швейцарка, напрыгавшись, ощутили настоящую необходимость остаться наедине. Тесно прижавшись друг к другу, они вышли под черное, теплое звездное небо...

Все кончилось так же внезапно, как началось. Взгляд хозяйки был сегодня особенно недобрый. Все на ней – бусы, серьги, даже туфли – казалось тяжелым, веским и недобрый и все было темного, как ее волосы, глаза и кожа, цвета. И повадка у нее, как у всех хозяев, – уж раз гонит с места и берет другого, так не уговоришь. Даже причин толком не объясняет. Во дворе уже кто-то другой колот дрова. В человеке с топором Ганс узнал вчерашнего зеленоблuzого мужчину.

Швейцарка плакала почти неслышно, таясь от хозяйки.

Ганс укладывал в рюкзак все, чем он оброс тут, в счастливом и опрятном уюте. Швейцарка сунула ему пакетик с бутербродами. Она не хотела прощаться с ним навсегда. Он тоже не хотел этого. Все становилось опять страшным и непонятным. Возвращались выстрелы жандармов и ночь под брезентом. И надел на себя Ганс прежнюю одежду – ту, в которой он явился сюда.

Не веря своему несчастью так же, как не поверил раньше в счастье, Ганс растерянно остановился во дворе, уже готовый в путь, в ремнях рюкзака. Спросил зеленоблuzого мужчину:

- Тот парень, литейщик, – в бараке?
- Ушел, – ответил зеленоблuzый густо и кратко.
- Куда ушел?
- Опасно ему тут стало. Смуту сеял. Ушел.

Гансу хотелось спросить, как устроился зеленоблuzый на его место и, вообще, что такое случилось. Но он не спросил.

- До свиданья, – сказал он.
- Счастливого пути, – отвечал зеленоблuzый мужчина.

И Ганс пошел со двора.

Немного сытых дней – и вот он, порожденье нищеты и горя, вновь выплунут жизнью к черту. Это же нестерпимо, и должно же это когда-нибудь кончиться! Миллионы голодных людей шатаются по Германии, вырывая друг у друга кусок хлеба и не умея даже собраться вместе, чтобы взять свою судьбу в свои собственные руки. И он тоже не умеет. А что, если соблазнить дебелую венгерку и жениться на ней? Или как-нибудь еще перехитрить зеленоблuzого?

Ганс ушел за курорт и сел на склоне в горном лесу, охватив колени руками. Что же все-таки ему сейчас предпринять?

В Японии, если верить литейщику, люди работают за лошадой.

Может быть, и в Германии можно молодому парню наняться в лошади? Он бы не прочь. И чем все-таки все это кончится?

Ведь завтра уже опять, как раньше бывало, нечего будет есть.

И бредом представились Гансу прожитые здесь сытые дни и ночи. Не было хрустящих булочек. Не было бифштекса, ветчины, кофе, сыра. Не было и сегодняшней неправдоподобной ночи с швейцаркой. Все это причудилось ему. Наверное, он очень серьезно простудился тогда в лесу под ливнем, если такое привиделось ему в бреду. А может быть, и та ночь была уже бредом. Может быть, просто жандарм подстрелил его, и сейчас он, Ганс, очутился в лесу у родной деревни. Но тогда откуда же у него рюкзак и в рюкзаке бутерброды?

Нет, не было никакого бреда. Ганс ясно слышал выстрел.

Коли не в него, то в отца стрелял жандарм. Жандарм, может быть, убил отца, а Ганс даже не попытался защитить его или хотя бы узнать о его судьбе. Ганс убежал. Всю дорогу досюда его кормил литейщик. Литейщик помогал ему, а Ганс, найдя место, тут же оборвал с ним знакомство. Но Ганс готов и не на такое, лишь бы добиться спокойной, сытой жизни. Он не может и не хочет больше голодать. Все позволено голодному для того, чтобы стать сытым. А если все это нехорошо, то это людей не касается. Он об этом перетолкует со своим католическим богом, а католический бог – умный: он все поймет и простит. И Гансу неудержимо захотелось обратно, в сытый и опрятный бред пансиона.

Внизу по дороге ползла сгорбленная фигура. Клетчатый плед перекинут через высокое плечо. Это – военный врач из пансиона. Не попытаться ли через него вернуть счастье? Ганс почти скатился вниз, только у самой дороги задержав стремительное движение, чтобы перевести дыхание и выйти к врачу спокойно и ровно.

– Прошу вас, господин доктор, – сказал он, – я не знаю, почему меня рассчитали сегодня в пансионе. Помогите мне, господин доктор, вернуться на работу.

Врач остановился, осторожно сунул руку в карман, вытянул кошелек, медленно открыл его, вынул монету и, подав ее Гансу, спрятал кошелек обратно.

– Это пятьдесят пфеннигов, – промолвил он жалобно и протяжно и пошел дальше, маленький, страшный, почти мертвый.

Пятьдесят пфеннигов – это очень неплохо, но все же это не то, чего решил добиться Ганс. Надо найти берлинца.

Берлинец и не подозревал, какие надежды возлагает на него Ганс. Вчера с вечерней почтой он опять получил взволнованные письма от товарищей. Штурмовикам Гитлера предстоят бои. А берлинцу как раз пора в родной город – отпуск кончился. Это значит, что возможна смерть. Не полиция опасна, а коммунисты. Коммунисты, обороняясь, не будут щадить врага.

Берлинец провел тревожную ночь, прислушиваясь к каждому звуку. Утомительно долго кричал где-то больной ребенок, затем начал кашлять сосед, и, когда затих, скрипы и шумы пошли в углах комнаты – крысы, должно быть. Нет, уж лучше скорей прочь из этой мертвой дыры, где в каждом шорохе чудится ему страшное и непонятное, где лунные потоки, пробиваясь сквозь занавески, льются в комнату.

С товарищами в шумном Берлине шагается в колонне весело и бодро, а эта унылая дыра хоть кого загонит в боязливый католицизм. В поту он натягивал на голову одеяло, возвращаясь к детским страхам. Под одеялом его молодое, чуть тронутое в ногах и руках волосом тело вздрагивало и пугалось, несмотря на все увещания разума. И все чудилась ему сгорбленная фигура встреченного им однажды раненого врача, как образ войны, еще не испытанной им, – берлинец принадлежал к тому поколению, которое по возрасту своему не успело повоевать.

Страх прошел только к рассвету. К рассвету явились надежды. Может быть, настал момент, когда, по слову Гитлера, штурмовики прогонят правительство и наведут порядок в стране?

И он, честный служащий еще не лопнувшего банка, не будет больше бояться ни краха, ни потери места, ни революции. Он – чистокровный немец, а чистокровным немцам будет открыт путь в счастливую жизнь. Только бы скорей совершилось все, и можно было бы зажить в полную ширь! А если Гитлер будет колебаться и тянуть, то штурмовики прогонят и Гитлера!

Утром, после завтрака, приятно было встретиться на скамье возле фонтана с женой пивовара. Надетая сегодня полная форма штурмовика бодрила берлинца.

– Сегодня я отправляюсь, может быть, в последнее путешествие, – говорил он. – Надо биться и умирать за счастье Германии. Все личное должно быть отброшено.

Тихая, спокойная, похожая на англичанку, она молча слушала его. Он поглядел – никого не видно вокруг... Взял ее за руку и притянул к себе. Тотчас же он увидел за ее плечами огромную фигуру приближающегося пивовара...

Она встала.

– Счастливого пути, – промолвила она негромко.

– Я напишу вам, – отвечал он. – До свидания.

Подошел пивовар, надо было и ему сообщить о предстоящих боях.

– Желаю успеха, молодой человек, – сказал пивовар. Он был сегодня строг и сдержан, как при деловых операциях. – Мы выйдем проводить вас к автобусу.

Берлинец следил, как ведет он по саду свою жену, светловолосую, высокую, похожую на англичанку. Она шла, опустив голову, принаравливая свой шаг к его шагу. Вот она скрылась за поворотом аллеи...

Еще пять часов до автобуса. Взяв билет, берлинец, имея вид торжественный и печальный, долго бродил по лесным дорогам, полюбовался, как неудержимо и шумно стеной белой пены падала вода горной речки в долину, затем, спустившись к мосту, облокотился на узкие перила, следя, как черные форели сменяют под водой неподвижность на стремительный бег и вновь – движение на покой.

Наконец он поднял голову, расправляя затекшие плечи, и вдали, среди черных лесов, заметил зеленый луг. Ему показалось, что он бредит – этот обыкновенный луг, покрытый обыкновенной зеленой травой и даже с обычным плетнем и хижинкой, висел в высоте почему-то косяком перед его глазами, тогда как все остальное высилось прямо и ровно к небу. Эта косая зеленая плешь среди сплошной массы леса казалась неправдоподобным миражем.

Выпучив голубые глаза, он в испуге смотрел на это далекое ярко-зеленое пятно, пока не сообразил наконец, что этот луг просто поместился на склоне горы, – в нем гора обнажала свою крутизну, скрытую густым высокоствольным лесом. Но все равно ему было неприятно видеть этот – странный, неблагополучный луг, некогда – до

того, как на холодеющей земле образовалась эта громадная хвойная складка, – лежавший, наверное, ровно и гладко, не затрудняя ноги человека и не пугая глаз.

Он отвернулся и увидел перед собой молодого парня в желтой рубашке, коричневых, тщательно заплатаанных, коротких, до колен, штанах и тяжелых черных ботинках. Светлые волосы были зачесаны к затылку, открывая широкий лоб над испуганными голубыми глазами.

Парень как будто собирался о чем-то просить.

– В чем дело, Ганс? – спросил берлинец.

– Прошу вас, господин, – отвечал Ганс, – меня сегодня рассчитала хозяйка. Она – иностранка, венгерка. Она не имеет права так поступать с немцами, как она со мной поступила.

– А почему она вам отказала? – спросил берлинец.

– Я не знаю. Я работал хорошо и старательно.

– Да, вы хорошо работали, – согласился берлинец.

Помолчав, он прибавил:

– Так вот как с нами поступают иностранцы, Ганс? Иностранцы по-хозяйски с нами обращаются, Ганс, не правда ли?

И добро бы француженка, а то еще какая-то венгерка, а? Нет, Ганс, все это никуда не годится.

– Помогите мне, пожалуйста, – сказал Ганс.

– Попробуем, – отвечал берлинец. – Попытаемся. Постараемся, Ганс, устроить в Германии хорошую жизнь для немцев.

Они двинулись вместе к пансиону.

– Мы это сделаем, не правда ли? – говорил берлинец. – На то мы и немцы, чтобы помочь самим себе, да? И слишком богатых людей мы с вами, Ганс, тоже не очень любим, не так ли?

Немцы должны быть равны в труде и богатстве.

Он дружески коснулся руки Ганса.

– Мы, немцы, сумеем помочь себе! Правильно я говорю?

Надо сейчас твердо идти к цели, Ганс, надо уничтожить врагов народа, и тогда все несчастья останутся позади. Что же вы молчите, Ганс?

– Вы очень добры ко мне, – отвечал Ганс. – Помогите мне, пожалуйста, вернуться на работу. Кроме вас, мне некого просить.

Зеленоблужый мужчина, как истый немец, пунктуально, от дома к дому, изучал всех здешних рабочих и служащих. Таков уж был его обычай, всегда спасавший его в затруднительных случаях. Знания его могли быть оплачены в полиции, в местной фашистской ячейке, а также могли пригодиться для того, чтобы спихнуть кого-нибудь и занять его место. Вот узнал он, например, что баварец, служитель пансиона, очень любит пиво, но все сдерживается. Немножко внимания в эту сторону – и вот, из нескольких дел это удалось первым: баварец оправдал надежды, и очистил место. Правда, какой-то проходимец перебил дорогу, но и о проходимце удалось выяснить такое, что даже и не иностранка выгнала бы его. Он очень хитро намекнул хозяйке, что она нарочно взяла на службу такого, потому что, как иностранка, не любит честных немцев. А с такими рекомендациями, как у зеленоблужого, на освободившееся место берут сразу. Только вот редко места освобождаются. Тут надо очень думать и хорошо понимать политику, чтобы не пропасть.

Все это очень тонкая и небезопасная работа. В Гамбурге грузчики даже грозились убить зеленоблужого. Пришлось перебраться в Штеттин. Тут стало тоже неуютно, и зеленоблужый покинул и Штеттин. Он перебирался с места на место, накапливая знания и опыт, которые, может быть, когда-нибудь дадут ему настоящую хорошую должность.

Пока что зеленоблужый довольствовался мелкими выгодами своего ремесла, и мелкая служба в пансионе могла пока что удовлетворить его в эти трудные времена.

Случались, конечно, в его практике и ошибки. Случалось, что сведения его оказывались неправильными. Может быть, он ошибся и насчет Ганса. Он с недоумением и некоторой даже тревогой смотрел, как Ганс в дружеской беседе с берлинцем приближаются к пансиону. Если ошибся зеленоблужый – то надо удирать отсюда: подстерегут где-нибудь и прибьют, как уже бывало. Но действовать сейчас надо решительно и напролом.

Он поднял руку, приветствуя берлинца (конечно, он уже знал, что это за человек). Берлинец ответил тем же.

Хозяйка сидела под зеленой шляпкой деревянного гриба.

Она встала, обеспокоенная.

– Почему вы прогнали Ганса? – спросил берлинец. – Я задаю вам, простите, этот вопрос, потому что немцы в своей стране должны помогать друг другу.

Не успела хозяйка свалить вину на зеленоблuzого, как тот сам заговорил – спокойно и солидно.

С первых же его слов берлинец мгновенно изменился – он выпрямился настороженно и взволнованно.

Для Ганса ничего неожиданного не было в словах зеленоблuzого – ведь он, в сущности, потому и не добивался причин увольнения, что чуял их и без того, только не решил тогда, как быть. А теперь рискнул.

– Отец – бунтовщик, – рассказывал зеленоблuzый, – а сам он в дружбе с коммунистами, с вожаком одним сюда пришел, потом разошлись нарочно. Разве такого можно допускать? Сюда честные немцы отдыхать приезжают, нам таких работников сюда не нужно.

Хозяйка поддакивала обиженно и удовлетворенно.

– Где этот вожак? – спросил берлинец.

Зеленоблuzый усмехнулся:

– Нет его уже, вчера мы его убрали.

– Ну, что вы на все это скажете, Ганс? – сурово обратился к парню берлинец.

Этот человек был уже совсем не похож на того добряка, который только что, в дружеской беседе, шел рядом с Гансом.

Он был сух, зол, и фашистский знак на рукаве его коричневой рубашки чернел угрожающе. Швейцарка стояла на пороге, в безмолвном испуге и ожидании глядя на Ганса. Католический бог на помощь не приходил...

Ганс молчал растерянно.

Швейцарка отчаянно вскрикнула, и это было последнее, что услышал Ганс перед тем, как зеленоблuzая тяжесть навалилась на него и опрокинула...

Александр Степанович Грин

Бархатная портьера

I

Пароход «Гедда Эльстон» пришел в Покет после заката солнца.

Кроме старого матроса Баррилена, никто из команды «Гедды» не бывал в этом порту. Сама «Гедда» попала туда первый раз, – новый пароход, делающий всего второй рейс.

Вечером, после третьей склянки, часть команды направилась изучать нравы, кабаки и местных прелестниц.

Эгмонт Чаттер тоже мог бы идти, но сидел на своей койке, наблюдая, как перед общим, хотя принадлежащим боцману Готеру, небольшим зеркалом сгрудились пять голов: матросы брились, завязывали галстуки и, в подражание буфетчику, обмахивали начищенные сапоги носовыми платками.

Баррилен, сидя у конца стола, пил кофе.

Чаттер не знал, что Баррилен жестоко ненавидит его за примирение двух матросов. Эти матросы обыграли Баррилена, и он искусно стравливал их, тонко клевета Смиту на Бутса, а Бутсу на Смита. Дело вертелось на пустяках: на украденной фотографии, на соли, подсыпанной в чай, на сплетне о жене, на доносе о просверленной бочке с вином. Однако, посчитавшись взаимно, Бутс и Смит схватили ножи, а Чаттер помирил их, растрогав напоминанием о прежней их дружбе.

Человек злой и хитрый, Баррилен умел быть на хорошем счету. Он пользовался прочным, заслуженным авторитетом. В каждом порту он всегда верно указывал – тем, кто не знал этого, – лавки, трактиры, публичные дома, цены и направления.

– Чаттер! – сказал Баррилен, подсаживаясь к нему. – Разве ты не пойдешь танцевать в «Долину»? – так назывался квартал известного назначения.

Чаттер подумал и сказал:

– Нет.

– Что же так?

– Сам не знаю. Я, видишь, еще утром припас две банки персиковой настойки. Сегодня было уж очень душно, должно быть, от этого я и мрачен.

– Ты купил чашку в Сайгоне? – спросил Баррилен, помолчав.

– Купил.

– Покажи!

– Не стоит, Баррилен. Просто фарфоровая чашка с Фузи-Ямой и вишнями.

Матросы, хлопая друг друга по спине и гогоча, как гуси на ярмарке, вышли по трапу вверх, саркастически пожелав Чаттеру хорошенько перестирать свои подштанники. Тогда Баррилен приступил к цели.

– Тебе это дело понравится, – сказал он, тщательно обдумав картину, которую собрался нарисовать простодушному человеку. – Я знаю Покет, Лисс и все порты этого берега; я бывал два раза в Покете. Я сам не пойду в «Долину», хоть веди меня туда даром. Двадцать лет одно и то же... везде. Тут есть одна порченная семья, богатые люди. Болтливому я не скажу ничего, а ты слушай. Их семь душ: четыре сестры и три их приятельницы, – хорошей масти, одна другой лучше. Денег они не берут. Напротив того: ешь и пей, что хочешь, как в нашем салоне. Но они, понимаешь, заводят знакомство только с моряками. Следующее: они сами не пьют, но любят, чтобы матрос ввалился пьяный, завязав ногами двадцать морских узлов. Без этого лучше не приходить. Негритянка проводит тебя через раззолоченную залу к бархатной портъере из черного бархата с золотыми кистями. Тут должен ты ожидать. Она уйдет. Потом занавески эти вскроются, и там ты увидишь... у них это шикарно поставлено! Фортепьяно, арфы, песни поют; можешь также нюхать цветы. Виски, рому, вина – как морской воды! Все образованны, везде тон: «прошу вас», «будьте добры», «передайте горчицу», и что ты захочешь, все будет деликатно исполнено. Там смотри сам, как лучше устроиться. Хочешь сходить?

Истории такого рода весьма распространены среди моряков. Расскажи приведенную нами выдумку кто-нибудь другой, Чаттер ответил бы, смеясь, полдюжиной аналогичных легенд; но он безусловно верил Баррилену, и его потянуло к духам, иллюзиям, музыке. Поверив, он решился и приступил к действию.

– Пусть будет у меня внутри рыбий пузырь вместо честной морской брюшины, – вскричал Чаттер, – если я пропущу такой случай! Это где?

– Это вот где: от набережной ты пойдешь через площадь, мимо складов, и выйдешь на Приморскую улицу. У сквера стоит дом, № 19. Стучи в дверь, как к себе домой после двух часов ночи. Будь весел и пьян!

– Пьян... Это хорошо! – заметил Чаттер. – Потому что мы непривычны... Значит, ты там был?

– Да, в прошлом году. Меня просили посылать только надежных ребят.

Зная настойчивый характер Чаттера в нетрезвом виде, Баррилен посылал его по вымышленному адресу. Этот или другой – все равно: адрес превратится в поле сражения.

Чаттер был молод – тридцать три года! Он переделся в новый костюм и выпил бутылку настойки. Но обстановка кубрика была еще трезвой. Чаттер выпил вторую бутылку. Теперь кубрик напился. Койка поползла вверх, вместо одного трапа стало четыре. По одному из них Чаттер вышел, как ему казалось, прямо на улицу, в тень огромных деревьев, заливаемых электрическим светом. Память изменяла на каждом шагу, кроме сброшенной в нее якорем цифры «19» и названия улицы. Чаттер прошел сквозь толпы и бег экипажей, сквозь свет, мрак, грохот, песни, смех, собачий лай, запах чеснока, цветов, апельсиновых корок и саданул по большой желтой двери, согласно всем правилам церемониала, внушенного Барриленом.

Едва успела отскочить от него мулатка, открывшая дверь, как появился высокий бородач внушительного сложения.

Человек с окладистой золотой бородкой стоял, загораживая путь, и Чаттер произнес деликатную речь:

– Если вы попали сюда раньше меня, – сказал он, – это еще не причина наводить на меня боковые огни прямо в глаза. Мест хватит. Я матрос – матрос «Гедды Эльстон». Я верю товарищу. Дом... – номер тот самый. «Прошу вас...», «будьте добры...», «передайте горчицу...» Куда мне идти? Семь лет брожу я от девок к девкам, из трактира в трактир, когда здесь есть музыка и человеческое лицо. Мы очень устаем, капитан. Верно, мы устаем. Баррилен сказал: «Раздвинется, говорит, бархатная портьера». Это про ваш дом. «И там, говорит, –

да! – там... как любовь». То есть настоящее обращение с образованными людьми. Я говорю, – продолжал он, идя за хмуро кивающим бородачом, – что Баррилен никогда не лжет. И если вы... куда это вы хотите меня?

– Вот вход! – раздался громовой голос, и Чаттер очутился в маленькой комнате – без мебели, с цинковым полом. Дверь закрылась, сверкнув треском ключа.

«Он силен, чертова борода! – размышлял Чаттер, прислонясь к стене. – Должно быть, сломал плечо».

Настала тьма, и пошел теплый проливной дождь. «Лей, дождь! – говорил Чаттер. – Я, верно, задремал, когда шел по улице. Я не боюсь воды, нет. Однако, был ли я в 19 номере?»

Через несколько минут безжалостный поток теплой воды сделал свое дело, и Чаттер, глубоко вздохнув, угрюмо закричал:

– Стоп! Вы начинаете с того, чем надо кончать, а я не губка, чтоб стерпеть этакую водицу!

Дверь открылась, показав золотую бороду, подвешенную к нахмуренному лицу с черными глазами.

– Выходи! – сказал великан, таща Чаттера за руку. – Посмотри-ка в глаза! Теперь – переоденься. На стуле лежит сухая одежда, а свою ты заберешь завтра.

Дрожа от сырости, Чаттер скинул мокрое платье и белье, надев взамен чистый полотняный костюм и рубашку. Затем появился стакан водки. Он выпил, сказал «тьфу» и огляделся. Вокруг него блестел белый кафель ванного помещения.

– Теперь, – приказал мучитель Чаттеру, стоявшему с тихим и злым видом, – читай вот это место по книге.

Он схватил матроса за ноющее плечо, сунул ему толстую книгу и ткнул пальцем в начало страницы.

Попятысь к столу, Чаттер сел и прочел:

...Руки моей поэтому. Вот здесь
Цветы для вас: лаванда, рута
И левкой я вам даю,
Цветы середины лета, как всего
Приличнейшие вашим средним летам...
Приветствую я всех!

Камилл
Будь я овцой...

– Довольно! – сказал бородач. – Попробуй повторить!

– Я понимаю, – ответил, сдерживая ярость, Чаттер. – Вы, так сказать, осматриваете мои мозги. Не хочу!

Бородач молча встал, указывая на душевую кабину.

– Не надо! – буркнул Чаттер, морщась от боли в плече. – «Руки моей поэтому...» Ну, одним словом, как вы старик, то возьмите, что похуже – например: мяту, лаванду, а розы я подарю кому-нибудь моложе тебя. Тут Камилл говорит: «Будь я овцой, если возьму ваше дрянное сено!» Теперь пустите.

– Пожалуй! – ответил бородач, подходя к Чаттеру. – Не сердись. Завтра заберешь свое платье сухим.

– Хорошо. Кто же вы такой?

– Ты был в квартире командира крейсера. Должно быть, ты теперь знаешь его, матрос! – сказал капитан, тронутый видом гуляки. – Вот она, бархатная портьера, которую ты пошел искать! – Он дернул его за ворот рубашки. – Она раскроется, когда ты захочешь этого. А теперь марш по коридору, там тебя выпустят.

– Ладно, ладно! – буркнул Чаттер, направляясь к выходу. – У вас все – загадки, а я еще хмелен понимать их. Большая неприятность произошла. Эх!

Он махнул рукой и вышел на улицу.

II

Коварная выходка Баррилена теперь была вполне ясна Чаттеру, но он думал об этом без возмущения. Сосредоточенное спокойствие, полное как бы отдаленного гула, охватило матроса: чувство старшего в отношении к жизни. Он шел, глубоко-глубоко задумавшись, опустив голову, как будто видел свое тайное под ногами. Поднимая голову, он удивленно замечал прохожих, несущихся, колыхаясь, лица с особым взглядом ходьбы. Наконец, Чаттер очнулся, вошел в магазин и купил жестянку чая – испытанное средство от опьянения. Но ему негде было

его сварить. Продолжая идти в надежде разыскать чайную лавку, каких в этой части города не было, он попал в переулок и увидел раскрытую, освещенную дверь нижнего этажа. Там сидела за столом бледная женщина, молодая, с робким лицом, – она шила.

Теперь Чаттер мог бы заговорить с кем угодно, по какому угодно поводу – так же просто, как заговаривают с детьми.

– Сварите мне, пожалуйста, чаю, – сказал матрос, переступив две ступени крыльца и протягивая жестянку насторожившейся женщине. – Я выпил много. С виду я трезв, но внутри пьян. Большая кружка крепкого, как яд, чая сделает меня опять трезвым. Я посижу минут десять и вывалюсь.

Простота обращения передалась женщине, и, слегка улыбнувшись, она сказала:

– Присядьте. Вы, верно, моряк?

– Да, я матрос, – ответил, опускаясь на стул, Чаттер как ей, так и вошедшему невысокому мужчине с маленьким, темным от оспы лицом. – Верно, ваш муж? Я заплачу, – продолжал Чаттер.

Вынув из кармана горсть серебра и золота, жалованье за три месяца, он бросил деньги на стол.

Три покотившиеся монеты, затрепетав, легли посреди клеенки. Мужчина, юмористически сдвинув брови, взглянул на деньги, потом на жену.

– Кэрри, – сказал он женщине, – что тут у вас?

– Ты видишь?! Зашел... принес чай и просит сварить, – тихо ответила Кэрри, нервно дыша в ожидании брани.

– Приятно! Джемс Стиггинс, – сказал муж, протягивая руку Чаттеру. – Я шорник. Кэрри все сделает. Сидите спокойно. Деньги ваши возьмите, не то, если потом растратите, будете думать на нас.

Он беспокойно оглянулся и вышел вслед за женой в кухню.

– Много не сыпь, – сказал он ей, – нам больше останется. Задержи его. Он дурак. Подлей в чай чуть-чуть рому.

Когда он ушел, Кэрри понюхала чай. Хороший чай, с чудным запахом, совсем не тот, какой покупала Гертруда, сестра Стиггинса. Кэрри не разрешалось покупать ничего. А она очень любила чай. Он веселил ее, заглушая желание есть. Теперь ей очень хотелось есть, но она не смела взять кусок пирога с луком, отложенного Гертрудой на завтра.

Подумав, Кэрри высыпала в чайник полжестянки чая.

Между тем перед задумавшимся Чаттером предстала Гертруда. Стиггинс прервал беседу, состоявшую из вопросов о плаваниях, и сделал сестре знак.

Забрав со стола деньги, Чаттер дал ему гинею, а остальное сунул в карман. Перед ним очутилась теперь рослая женщина лет сорока, с диким и быстрым взглядом. Она старалась сейчас подчинить свое жестокое лицо радушной улыбке.

– Вот зашел к нам дорогой гость, бравый моряк, – говорил Стиггинс. – Он выпьет чаю, как у себя дома, в семье, не правда ли, Труда? Он дал мне гинею, – видишь? – купить к чаю кекс и орехов. Ты сходишь. На! А сдачу храни, в следующий раз ему снова дадим чаю и кекс.

Гертруда, взяв деньги, степенно прошла на кухню.

Едва слышно напевая, Кэрри варила чай.

– Как он попал? – спросила Гертруда, показывая монету. – Говоришь – увидел тебя? Так иди же, пусть он видит тебя. Матросы, попав на берег, часто тратят все до копейки. Я заварю чай, а за покупками ходит Джемс. Он много истратился на комод, а теперь еще надо покупать коврик и занавески.

Не смея послушаться, Кэрри, не поднимая глаз на Чаттера, передала мужу взятую у Гертруды гинею.

– Ты сам...

Стиггинс вышел, а Гертруда принесла чайник.

– Сейчас, сейчас, – говорила она, расставляя посуду. – Наш гость мучается, но он будет пить чай.

Кэрри взглянула на Чаттера, потом на комод. Большой новый комод стоял у стены, как идол. Комод отнял у Кэрри много завтраков, чая, лепешек и мяса, и она ненавидела его. Кэрри хотела бы жить в тесной комнате, но чтобы быть всегда сытой. Вот этот матрос был сыт, – она ясно видела, что он силен, сыт и бодр.

Чаттер сказал:

– Я вам наделал хлопот?

– О нет, нисколько, – ответила Кэрри.

– Да, наделал! – повторил Чаттер.

Некоторое время он пил, не отрываясь, свой чай из большой глиняной кружки и, передохнув, увидел Стиггинса, пришедшего с

кексом, сахаром, пакетом орехов.

– Дай же мне чаю! – сказал Стиггинс сестре. – Кэрри, нарежь кекс. Наш славный моряк начал отходить. Домашняя обстановка лучше всего.

– Кэрри, ты не объешься? – сказала Гертруда, взглядом отнимая у несчастной кусок кекса. – Ишь! Взяла лучший кусок.

Кэрри положила кекс; глаза ее закрылись, удерживая, но не удержав слез.

– Пусть она ест! – сказал Чаттер, подвигая поднос к Кэрри. – «Руки моей поэтому...» Кэрри, это стихи! «Будь я овцой! Я вам дарю цветы середины лета!»

– Интересно! – заявила Гертруда, жуя полным ртом.

Вошла сгорбленная маленькая старуха с подлым лицом и тихой улыбкой. Взгляд ее загорелся; она шмыгнула носом и села, не ожидая приглашения.

– Чаю, тетушка Риден! – предложила Гертруда. – Вот вам чашка, вот чай. Кушайте кекс!

– Я думала, чай такой жидкий, как был на вашей свадьбе, милочка Кэрри, – монотонно пробормотала старушка, оглядываясь с лукавством и хитростью. – Но нет, он крепок, он очень хорош, ваш чай. Кто же этот ваш гость? Не родственник?

– Родственник! – вдруг сказала Кэрри, у которой странно переменялось лицо. Оно стало ярким, глаза блестели. – Мой двоюродный брат. Мы пойдем с ним в сад. Там есть пиво, там танцуют и есть театр. Не правда ли?

Она смотрела прямо в глаза Чаттеру, и он так же прямо, но глухо, чуть прищурясь, посмотрел на нее. Чаттер уже выпил свой чай. Пока он, встав, искал, а затем нашел кепи, Стиггинс переглянулся с женой и больно придавил ей ногой ногу.

– Только смотри! – мрачно шепнул он.

Общее молчание заставило Гертруду громко заговорить о домашних делах. Нарочно качнувшись, Чаттер взял под руку Кэрри, которая, прикрыв плечи голубым шарфом, поспешно рванулась вперед.

На улице она горько расплакалась.

– Четыре года! – говорила Кэрри, припав к хмуро обнявшей ее руке Чаттера. – Четыре года! Но больше я не вернусь. Возьмите меня

и уведите, куда хотите, чтобы я только могла заработать! Можете ли вы это? Вы можете... можете!

– Бедняга! Не реви! – сказал Чаттер. – Ведь ты мне дала чаю, Кэрри, ты будешь пить его из чашки с Фузи-Ямой! Пойдем, то есть возьмем извозчика, а завтра «Гедда Эльстон» выйдет на рейд. Одна наша горничная взяла сегодня расчет. «Будь я овцой!..»

Буфетчик нерадостно выслушал Чаттера относительно Кэрри, так как хотел взять милочку повертливее, но Чаттер обещал ему свое жалованье за два месяца, и дело устроилось. Кэрри не вернулась за вещами, так что матросы в складчину достали ей необходимые платье и белье.

За своими вещами Чаттер съездил в дом № 19 на другой день.

Вот все.

Еще надо сказать, как утром Чаттер доконал Баррилена, подтвердив портьеру, музыку и цветы. Он сильно озадачил его, особенно когда прочел стихи.

– Их пела одна красавица, – сказал Чаттер. – Ты слушай!

Руки моей поэтому...

Будь я овцой. Дарю я вам цветы.

Берите, когда дают, хотя вы есть старик.

Приличнейший левкой для ваших лет!

Цветы середины лета.

После этого, все с тем же, еще не оставившим его чувством старшего среди жизни, Чаттер запустил руку в свою «бархатную портьеру», почесал грудь и лег спать.

Юрий Карлович Олеша

Альдебаран

На скамье сидела компания: девушка, молодой человек и некий ученый старик. Было летнее утро. Над ними стояло могучее дерево с дуплом. Из дупла легко веяло затхлостью. Старик вспомнил детские проникновения в погреб.

Молодой человек сказал:

– Я сегодня свободный весь день.

– Я тоже, – сказал ученый старик.

Молодой человек работал машинистом на трамбующей машине «Буффало». Он укатывал асфальтовые мостовые. Он был латыш, по фамилии Цвибол. Саша Цвибол.

Подошла цыганская девочка величиной с веник.

Она предложила лилии.

– Пошла вон, – сказал ученый старик.

Саша Цвибол возмутился.

– Вот как, – удивился старик, – вас это умиляет, Странно из уст комсомольца слышать защиту бродяжничества.

– Она – ребенок! – сказала девчушка.

– Ребенок? Скажите пожалуйста. Социализм, следовательно, есть христианский рай детей и нищих?

Старик говорил звонко, тенором. Между прочим, это был красивый и вполне здоровый старик – один из тех стариков, которые курят, пьют, не соблюдают диеты, спят на левом боку и говорят о себе: ого!

Звали его Богемский. Он сотрудничал по составлению Большой советской энциклопедии.

Он влюбился в девушку. Она сидела рядом. Она положила руку на колено молодого. Тогда старый спросил:

– Быть может, я лишний?

Молодой вздохнул, снял картуз. Круглая красноармейская голова его была низко острижена. Он был блондин. Голова его блестела, как бульон. Он почесал темя. Старик встал и кинул окурок в дупло.

– Мы поедем с Сашей на реку, – сказала девушка. Старика на реку молчаливо не пригласили.

– Проводите нас до автобуса, – сказала девушка. Они пошли, Она шла на шаг впереди. Богемский смотрел ей в спину и думал:

– Нет, это не любовь. Это похоть. Трусливая старческая похоть. Я хочу тебя съесть. Слышишь? Я бы тебя съел, начиная со спины, с подлопаточных мест.

– Какая красивая! – сказал Цвибол.

Эти восторженные слова он сказал с акцентом. И прозвучало мужественно. Из восторженности с поправкой на мужественность получилась застенчивая страстность, И старик позавидовал.

– Катя, ваш возлюбленный похож на римлянина! – крикнул он девушке.

– Я из Риги, – сказал Цвибол.

– Ну что же? Это тот же стиль. Воины. Орден Храмовников.

– Теперь нет Храмовников, – через плечо сказала Катя, – теперь называется Фрунзенский район.

Они подошли к остановке.

– А вдруг пойдет дождь? – сказал Богемский,

– Не пойдет, – сказал Цвибол.

Они подняли головы. Небо было чистое. Синее небо.

– Дождь – враг влюбленных, – сказал старик: – он выгоняет их прочь из садов. Злой сторож морали.

Подошел автобус.

Они не успели сказать ученому старику «до свидания».

Он увидел Катю, уносимую на подножке. Она входила в дверцу. Поддуваемая ветром движения, она приобрела сходство с гиацинтом.

Богемский шел в неопределенном направлении.

Он был высок и строен. Он шагал, как юноша. На нем разлеталась черная пелерина. На седых кудрях стояла черная шляпа. Он был тем пешеходом, которого побаиваются псы. Он идет. Пес, бегущий навстречу, вдруг останавливается, смотрит секунду на идущего и перебегает на другую сторону. Там он бежит под стеной, останавливается, когда пешеход уже далеко впереди, и смотрит пешеходу вслед.

Богемский шел и размышлял о девушке. «Первоклассная девушка. Она – первоклассная девушка и не знает себе цены. При других объективных условиях она вертела бы историей». Он стал размышлять о веке просвещенного абсолютизма. Герцогиня дю-Барри.

Салоны. И многое другое. Директори. Варрас. Возвышение Бонапарта. Госпожа Рекамье. Женщины говорили по-латыни. Игра ума. Нити политики в маленькой ручке. Жорж Занд. Шопен. Ида Рубинштейн.

Саша Цвибол.

«Солдат, – думал Богемский. – Дон Хозе. Печальная повесть. Молодой коммунист влюбился в Кармен, Саша Цвибол, простодушный пастух, попался на удочку. Интересно. Он потрясен ею. Еще бы! Он и сам не подозревает, в чем ее сила. Он – тот ротозей на ярмарочной площади, который хватается за электрические катушки и корчится и, корчась, не понимает, отчего корчится. Коммунист. Смешно. Комсомолка. Смешно. Я живу на свете очень много лет. Я помню, как танцевали в Париже канкан. Я все знаю, все видел, все обдумал. Я очень стар, Катенька. Я дело Дрейфуса, я – королева Виктория, я – открытие Суэцкого канала. Цвибол, которого вы любите, говорит вам многие прекрасные вещи о строительстве, о социализме, о науке, о технике, которая переделает человека, Ах, Катюша, молодой возлюбленный ваш говорит вам о классовой борьбе... Смешно. Легко говорить ему о чем угодно, когда вы улыбаетесь ему А я, который старше Художественного театра вдвое и которому вы не улыбаетесь, мудро говорю вам, перефразируя поэта: любви все классы покорны.»

А в это время они раздеваются в какой-то грелке на сваях. Под сваями стоит неподвижная базальтовая вода. Они шумят. Там шум, возгласы, плеск голого тела в деревянной комнате, где раздевается молодежь. В окошках видны река, перила, флажки, лодки. На реке вспыхивают весла, Они выходят из деревянной комнаты и идут по горячим доскам. Где-то играет оркестр. Он колеблет воздух. От колебаний сотрясается деревянное сооружение. С досок летят опилки. Ах, не лучший ли вид человеческой жизни – флаг, бегущий в синеве летнего неба, когда вдали играет военный оркестр!

Он пришел домой и лег.

Он предался игре воображения.

Таких женщин убивают.

Париж! Париж! Он воображал страшную сцену. То, чего не было. Драму. Конец драмы. Развязку событий – обязательный на его взгляд результат Катиной красоты.

Убийство.

Она мечется по комнате. Падают стулья. С диким сверканием распахивается зеркальный шкаф. А тот, кто преследует ее, он сам, старик, чей рассудок мутится от страсти, стреляет в зеркало навывлет. Шесть выстрелов. Осколки. Тишина. Он стоит посередине комнаты с ладонью на лбу. Розовые обои. Вечерние пылы в солнечном столбе, И входят соседи. Видят старика с сединах. Благороднолобый, лучащийся, похожий на Тургенева старик.

Какой век? Какие годы? Где это? Не все ли равно! Любовь и смерть. Вечные законы пола.

Открывается шкаф. Вываливается боком и потом стучается головой о паркет тело.

– Пустите меня! – кричит старик и бросается к телу. Он воет, испускает мычание, глубокое «до» неутоленной страсти. Он кладет голову между раскинувшихся грудей девушки. Он поднимает алые глаза на обступивших его и говорит:

– Как чисто у нее здесь и прохладно в этот жаркий день.

Он поздним вечером говорит с ней по телефону.

– Катя, – говорил он, – я люблю вас. Смешно? Вы слушаете меня? Я спрашиваю: любовь старика – это смешит вас? Я не прошу о многом. Если вы – буря, то я мечтаю лишь о капле... Очень трудно говорить образно по телефону. Вы слушаете? Каждый день вы проводите с Цвиболом. Вечером сверкают звезды. Вы сидите с Цвиболом под звездами. Да, да, – я видел. Любовь, звезды... я понимаю. Знает ли Цвибол прекрасные имена звезд? Вега, Бетельгейзе, Арктур, Антарес, Альдебаран. Что вас смешит? Альдебаран, да. Я уже месяц целый мечтаю о том, чтобы пойти с вами в кинематограф. Но погода не благоприятствует мне. В летний вечер вы предпочитаете звезды. Что? Но ведь погода может испортиться. Техника еще не умеет управлять погодой, Отдайте Цвиболу синеву, реку, звезды, а мне оставьте дождь. Хорошо? Катя, я говорю по автомату, Меня торопят. Стучат в стекло, грязно кривляются. Итак – вот о чем прошу я вас... Вы слушаете? Если завтра погода испортится, пойдет дождь – согласны ли вы пойти со мной в кинематограф? Если звезд не будет?

– Хорошо. Если звезд не будет.

Утро было чистое, безоблачное.

Богемский стоял в проезде, где работали три машины «Буффало». На одной ездил Цвибол в синей почерневшей майке.

– Жарко? – крикнул Богемский.

– Жарко! – ответил Цвибол.

Он, не выпуская руля, голым плечом стирал пот со лба. Было очень жарко. Вообще был ад. Жар свежей смолы, блеск медных частей, крик радио.

На панели стояли зеваки.

– Жарко? – еще раз крикнул Богемский,

– Жарко! – еще раз ответил Цвибол.

В перерыве Цвибол подошел к Богемскому покурить.

– Что вчера вечером делали? – спросил Богемский.

– Гулял.

– С Катей?

– Да.

– Где?

– Везде.

– Хороший вечер был?

– Да.

– Звезды?

– Да.

– А сегодня?

– Тоже гулять будем.

Вмешивается радио.

Радио. Обильные дожди прошли в Центральной черноземной области.

Богемский. Слышите?

Цвибол. Хорошо, что обильные.

Радио. Метеорологические данные дают основание ожидать выпадение осадков в Московской области в ближайшие дни.

Богемский. Слышите?

Цвибол. Хорошо, что в ближайшие.

Пауза.

Богемский. Может быть, и сегодня даже дождь выпадет.

Цвибол. Пожалуй, выпадет.

Богемский. И звезд не будет.

Цвибол. И вы в кино пойдете с Катей.

Пауза.

Богемский. И вы согласны уступить мне вечер в обществе девушки, которую вы любите, ради того, чтобы пошел дождь?

Цвибол. Да.

Богемский. Дождь, который нужен республике и не нужен вашей любви.

Цвибол. Да. Дождь, который нужен республике.

Богемский. Bravo! Дайте вашу руку. Я теперь начинаю понимать, что такое классовый подход к действительности.

И действительно, появилась туча.

Сперва появился ее лоб. Широкий лоб.

Это была лобатая туча. Она карабкалась откуда-то снизу. Это был увалень, смотревший исподлобья. Он выпростал огромные лапы, вытянул одну из них над Александровским вокзалом, помедлил. Потом, поднявшись над городом до половины, повернулся спиной, опянулся через плечо и стал валиться на спину.

Ливень продолжался два часа.

Затем был неудачный проблеск.

Затем – умеренный дождь.

Наступил вечер.

Звезд не было.

Дождь то появлялся, то исчезал.

Богемский купил два билета на предпоследний сеанс и стал ждать Катю у памятника Гоголя, как было условлено. Она не пришла. Он ждал час и еще четверть часа. И потом еще четверть, Блестели лужи. Пахло овощами. В раскрытом окне играли на гитаре. Вспыхивали зарницы.

Он пришел в переулок, подошел к заветному дому. Здесь живет Катя. Он толкнул калитку подошвой. Он прошел по двору, оставляя в грязи следы, глубокие, как калоши. Обойдя флигель, он увидел темное окно. Нет дома.

Он вышел в переулок и стал ходить взад и вперед. Он остановился и стоял, закутавшись в пелерину, черный и пирамидальный, освещенный окнами, – как в иллюстрации.

Они появились из-за угла. Катя и Цвибол. Они шли обнявшись, как два гренадера.

Он вырос перед ними. Они разъединились.

- Вы обманули меня, Катя, – сказал Богемский,
- Нет, – ответила Катя.
- Дождь, – сказал Богемский.
- Дождь, – согласились они.
- Звезд не было, – сказал он.
- Звезды были.
- Неправда. Ни одной звезды.
- Мы видели звезды.
- Какие?
- Все.
- Арктур, – сказал Цвибол.
- Бетельгейзе, – сказала Катя.
- Антарес, – сказал Цвибол,
- Альдебаран, – сказала Катя и засмеялась.
- Мало того, – сказал Цвибол, – мы видели звезды южного неба.

Это вам не Альдебаран. Мы видели Южный Крест...

- И Магеллановы облака. – поддержала Катя.
- Несмотря на дождь, – сказал Цвибол.
- Я понимаю, – промычал Богемский.
- Мы были в планетарии, – сказал Цвибол.
- Техника, – вздохнула Катя.
- Шел дождь, нужный республике, – сказал Цвибол.
- И нам, – окончила Катя.
- И сверкали звезды, нужные нам, – сказал Цвибол.
- И республике, – закончила Катя.

1931 г.

Борис Михайлович Левин

Голубые конверты

Жена Дмитрия Павловича Непряхина получила письмо:

«Сонечка, родная!

Я долго думал, прежде чем написать эти два слова. Но, честное слово, нет ничего, что лучше выразило бы мое отношение к вам. Впрочем, это не важно. Завтра неделя, как я живу здесь. Я поселился в „Доме приезжих“. Это на самой постройке, в четырнадцати километрах от города. Место выглядит, как после землетрясения. Всюду ямы, котлованы, песок, цемент, кирпич, железо.

Стройка работает круглые сутки. Ночью все залито светом, стучат пневматические молоты, свистят паровозы, гремит железо. Завод растет, как в сказке.

Здесь была голая степь. Сейчас стоят уже два готовых цеха и почти готовые корпуса главных цехов – механического, кузницы и литейного.

Механический цех – полкилометра длиной – самый большой в СССР. Живу я очень одиноко – почти все наши инженеры живут в городе. Встаю рано, с работы прихожу поздно, для себя остается часа три в день. В это время я читаю, пью чай и хожу по комнате. Жене я написал, что больше к ней не вернусь. У меня с ней ничего общего не было. Нас связывал только сын, но он умер прошлой весной. Теперь я опять один, ни с кем не связанный и ничего не ожидающий. Внутри меня тишина, немного кладбищенская. Единственно хорошо, что увлекает работа. Ваша карточка... помните, где вы сняты в гимназическом платье с перекинутой косой, ну, та самая карточка, которую я выменял у вашего братца за перочинный ножичек и книжку Майн Рида.

Эту карточку я все годы таскаю с собой. И сейчас она лежит у меня в письменном столе, и каждый раз, когда я вынимаю пачку папирос, я вижу ее, мне становится теплее и радостнее. Это оттого, Соня, что я вас, должно быть, еще до сих пор люблю.

Узнал я ваш адрес случайно. Когда ехал сюда, то в Козлове (у меня там была пересадка) я встретил Назарова, – помните, долговязый

заика, он вместе со мной же учился в реальном? Сейчас он врач. Не видал его лет десять. Стали вспоминать мы с ним товарищей нашего выпуска, их оказалось очень мало. Из тридцати шести человек в живых насчитали что-то около семи-восьми. Остальные убиты. И, конечно, вспомнили и знакомых гимназисток. Вот он мне и рассказал, что вы вышли замуж и живете в Москве.

Сначала думал не писать вам. Ведь однажды, еще с фронта, я послал вам письмо, но вы не изволили ответить. И сейчас было решил вырвать вас навсегда из сердца и не писать... Но вот, видите, пишу и об этом несколько не жалею. Я много о вас думал и думаю. Вы мне часто снитесь. Был бы очень рад, Софья Яковлевна, если бы вы черкнули пару слов вот по этому адресу.

Ваш В. Гурьин».

Софья Яковлевна показала письмо мужу и похвасталась:

– Смотри, Дима, какие я еще письма получаю, а ты говоришь, что я старуха.

Дмитрий Павлович внимательно прочел письмо и спросил!

– Напишешь ему?

– Нет, – ответила Софья Яковлевна, – терпеть не могу переписываться. Потом все это было так давно, и я так мало знаю его, что мне абсолютно неинтересно.

Писать письма Софья Яковлевна действительно не любила.

И, главным образом, потому, что она писала безграмотно, хотя в свое время и прошла курс гимназических наук. Всякий раз, когда ей приходилось с кем-нибудь переписываться, она просила мужа, чтоб он выправил ошибки.

– А то напиши, – предложил Дмитрий Павлович, – я исправлю.

– Нет. Не буду. Неинтересно, – категорически сказала Софья Яковлевна.

– Кто он такой?

– Это Боря Гурьин. Один из товарищей моего брата Вити.

Он учился вместе с Витей в реальном и был в меня влюблен.

Раз он из-за меня даже выпил десять стаканов воды.

– Что за чепуха! Зачем? – недоумевая, спросил Дмитрий Павлович.

– Как зачем? Ведь я же тебе говорю, что он был в меня влюблен. И вот однажды он пришел – брата дома не было, я ему открыла дверь, а он попросил стакан воды. Я принесла, он попросил второй. Я ему второй, третий, четвертый. Так он выпил десять стаканов у меня на глазах. Потом уж Витя мне рассказал, что это он нарочно, чтобы дольше на меня смотреть...

Вот мальчишка! – заметила кокетливо Софья Яковлевна и продолжала: – Я его терпеть не могла. Во-первых, он некрасивый, всегда краснеет, губы толстые и уши торчат, как у зайца. Потом меня домашние им дразнили. Особенно Витя изводил: «Мадам Гурьина», «гурьина каша». А, во-вторых, я была старше его и по возрасту и по классу, и за мной уже тогда ухаживали студенты.

Слово «студенты» прозвенело синим колокольчиком из далекого прошлого.

– А то, может быть, Сонечка, все-таки напишешь? – спросил Дмитрий Павлович. – Жалко его. Человек на стройке, много работает, одинок, сын умер. Я знаю, ему будет очень приятно получить от тебя письмо. Напиши, – уговаривал муж. – Давай вместе сейчас сядем и накачаем. Жалко же, надо его поддержать.

– Глупости, – сказала Софья Яковлевна. – Я и не знаю, что ему писать. Потом, какое мне дело до него. Нет. Не буду. Ну его! Если тебе жалко, то пиши сам, я ни за что не стану, – и Сонечка резко закачала головой.

Письмо осталось на столе у Дмитрия Павловича. Он еще раз прочел его, и ему больше стало жаль Бориса Гурьина. Он увидел стройку, залитую светом. Он услышал грохот железа и тревожный свист паровоза. Он увидел, как некрасивый, но энергичный инженер носится мимо ям и балок. Руки у него в мазуте, лицо в копоти, измазался, лазая под машины.

А ночью ходит инженер один по темной комнате и курит.

Ему грустно. Одинок. Он вспоминает Соню. Он помнит ее семнадцатилетней девушкой, когда у нее были длинные косы и синие глаза. Глупый, влюбленный инженер – он не знает, что она сейчас толстая старая баба, у которой осыпается пудра с обвисших щек, и что она весит пять с лишним пудов. Ну да, ничего этого он не знает.

Он влюблен. Он, усталый, не раздеваясь прилег на кровать, и ему мерещится девичья улыбка, легкий стан, веселый каштановый локон.

Он не знает, что косы давным-давно отрезал парикмахер и девичья улыбка запаяна рыжим металлом...

«Между прочим, терпеть не могу, когда старухи красят губы, – подумал злобно Дмитрий Павлович. – Сколько раз я об этом говорил Соне, – бесполезно, как об стену горох... Ничего он этого не знает. А может, ему и не надо знать? Нет, пусть знает. Вот напишу ему письмо со всеми подробностями, и он успокоится. Войдет в рамку, не будет мучиться. Нет, – возразил сам себе Дмитрий Павлович, – так не надо. Это хорошо, что он влюблен. Наоборот, надо ему написать письмо от имени Сони. Таким, как он, нужна нежность, и для дела это полезительней. Напишу ему длинное теплое письмо – пусть радуется, сучья лапа, лучше работать будет», – подумал любовно об инженере Дмитрий Павлович.

И, как всегда в минуты хорошего настроения, он снял очки, долго протирал кулаками близорукие глаза и улыбался. Его очень развеселила мысль написать Борису Гурьину письмо от имени Сони. Ему захотелось сейчас же написать, немедленно.

И уж начало вертелось в голове: «Дорогой Боря! Я получил ваше письмо». Не «получил», а «получила». Ты, конспиратор!

В этот вечер он все-таки не написал Борису Гурьину. Письмо его он положил в верхний ящик письменного стола и решил завтра или послезавтра обязательно написать.

«А сейчас, – сказал Дмитрий Павлович громко самому себе, – хватит, товарищ Непряхин, пустяками заниматься, а извольте-ка составить конспект – не забудьте, что завтра в десять часов утра заседание в институте».

Дмитрий Павлович был чрезвычайно загружен. Он читал лекции, он вел семинар по философии среди аспирантов-зоологов, он писал статьи в научных журналах, и, кроме еще многих других общественных обязанностей, он работал в институте методов дошкольного воспитания. Там была его основная работа.

Только через три дня вечером он вспомнил об инженере.

Вспомнил, улыбнулся и, на этот раз не откладывая, написал письмо Борису Гурьину:

«Дорогой Боря!

Простите, что я вам не сразу ответила. Ваше письмо застало меня врасплох. Четырнадцать лет мы не виделись с вами.

Кажется, так? Да. Четырнадцать лет прошло! Как много! И какое время! За эти годы люди так сильно переменялись, в том числе и я. К лучшему ли? По-моему, к лучшему. Если тогда моя жизнь, так же, как и жизнь моих подруг, ограничивалась пустяками, то сейчас об этом времени стыдно вспомнить. Революция очень многое заставила переоценить и многому научила („Черта с два она тебя научила, – подумал про свою жену Дмитрий Павлович, – какой была дурой, такой и осталась“).

Лично я собою недовольна. И, главным образом, недовольна потому, что у меня нет никакой специальности. Когда я читала ваше письмо, я завидовала. Вы счастливый человек, Борис. Вы строите, вы увлечены. Это очень хорошо. А я – домашняя хозяйка. Это меня угнетает. Правда, я много читала, читаю („Много ты читаешь! Газету до сих пор не могу заставить ее прочесть!“). Но ведь это не то! Я не чувствую живого дела.

Все заняты полезным делом, а я одна в стороне. Это очень обидно. Вот и муж, Дмитрий Павлович, я его целыми днями не вижу. У него лекции, заседания, собрания, а станешь говорить ему о себе, он только отмахивается – женские капризы. Ну какие же это капризы? Он меня любит, но что мне с того! Ведь сейчас любовь не заключается в том, чтоб кормить и одевать свою жену. Не правда ли, Боря? Вот видите, в первом же письме как я с вами разоткровенничалась. Это потому, что я чувствую, что такие люди, как вы, которые находятся в самом пекле строительства, меня скорей поймут. Ладно. Хватит ныть!

Пишите чаще, я вам с удовольствием буду отвечать. Пишите о себе и о своей работе.

Всего доброго.

С. Н.

Р. S. Кладбищенскую тишину гоните ко всем чертям, она вам не к лицу».

И затем, немножечко подумав, прибавил:

«Пишите до востребования, мне. На этот счет у меня коекакие соображения, когда-нибудь при встрече объясню.

С.»

«До востребования! – это я здорово придумал, – похвалил сам себя Дмитрий Павлович. – Влюбленные любят такие штучки».

Через четыре дня от Бориса Гурьина пришло письмо в голубом конверте:

«Сонечка, родная! Я сегодня утром, когда был на работе, получил ваше письмо. Вы не знаете, как я обрадовался. Я весь день чувствовал себя, как на качелях. Мне работалось легко и весело. Ведь я уже думал, что вы не ответите. И вдруг – письмо. И какое прекрасное письмо!

Я так рад, я прыгал от радости. Я так волновался, что даже не мог есть. Это у меня еще с детства – перед экзаменами, перед поездкой и вообще накануне каких-нибудь событий я ничего не ем. Одно плохо – не с кем поделиться своей радостью, а так хотелось бы. Но все очень заняты. Из Америки уже начали прибывать станки. Четыре станка установлены и на следующей неделе начинают работать – изготавливать пробные тракторы. К апрелю мы установим около половины, а к октябрю 1930 года – всю тысячу. В первый год нам предложено выпустить двадцать пять тысяч тракторов. Это страшно много для нового, только что пущенного завода, и у нас есть сомнения на этот счет. Боюсь, справимся ли мы. Хотя все зависит от темпа работы. Наши инженеры и рабочие каждое утро идут на работу, точно в драку. И лично я сегодня дерусь за десятерых, и это все потому, Соня, что в боковом кармане моей тужурки лежит ваше письмо.

Мне очень жаль, что вас угнетает состояние домашней хозяйки. Это действительно нехорошо. Но я удивлен, почему ваш муж не помогает вам приобрести самостоятельность („Еще мной недоволен“, – подумал Дмитрий Павлович). Ведь вы могли бы, наконец, учиться. В Москве так много возможностей.

Я вам очень сочувствую, Соня, и думаю, что не все еще потеряно, особенно если вы это сами сознаете.

Конечно, ваше призвание – это не роль домашней хозяйки.

Ведь вы когда-то пели. По-моему, вы даже собирались в консерваторию. Вы бросили петь? Почему? Напишите. Напишите больше, и о себе как можно больше. Вы не отчаивайтесь, Соня.

Я убежден, что вы еще найдете себя. Будьте здоровы. Целую руки.
Ваш Б. Гурьин.

Теперь, когда я уже одно письмо от вас имею, то надеюсь получить и второе. Не правда ли, Соня?

Б. Г.»

«Обязательно подучишь, голубчик, – усмехнулся Дмитрий Павлович. – Сегодня же ночью нацарапаю».

Но выполнить данное обещание Дмитрию Павловичу не пришлось. Он вернулся поздно, усталый. Было начал писать письмо, но не оказалось нежных слов. Он даже искал их почему-то в энциклопедическом словаре. На букву «л» он нашел «Люблино», но это просто город. Вот есть еще «Любим». Про это словарь сообщал кратко – ст. Сев. ж.-д.; 4 т. ж. Лесопильный завод.

Он искал на букву «м» и на букву «р». Там не было нежных слов. Там все было: и Мария Стюарт, и Марк Аврелий, и марказит, и Марица, и маринад, а нужных слов не было. Тогда он вынул из письменного стола пачку Сониных писем и подумал: «Может быть, отсюда что-нибудь украду». Но украсть ничего нельзя было. Не писать же ему: «Внутри тяжелая тоска. Серо и слякотно. Так скучно, что плачу. В общем нервы крутят. Хочу весны и мимозь».

«Боже мой, – подумал Дмитрий Павлович, – какая безграмотная и пошлая галиматья, и почему это она так мягкий знак любит...» Все письма кончались: «Обнимаю и целую, крепенько-крепенько».

«Это бы ничего, – рассуждал Непряхин, – но со второго письма уже „крепенько-крепенько“ не слишком ли рано?... „Мне так хочется, чтобы вы приехали. Я очень хочу вас видеть...“

Этого ему писать ни в коем случае нельзя. Да еще „очень“ большими, жирными буквами, да еще с многоточиями... Ни в коем случае нельзя. Эта сучья лапа моментально сорвется с работы и прискочит в Москву. Что я тогда буду с ним делать?»

Из Сониных писем украсть ничего не удалось. И так как уже был поздний час, Дмитрий Павлович спрятал письма и сказал: «Ничего не выходит, Боричка, придется тебе немножечко потерпеть. На влюбленных это тоже хорошо действует».

Но Гурьин не терпел. Через неделю, когда Непряхин зашел на почту, он получил сразу два письма.

Первое:

«Сонечка, родная!

Что случилось? Почему вы не пишете? Одно письмо прислали и замолкли. Это же нехорошо. Ведь вы обещали писать. Ведь вы же знаете, как мне дороги ваши письма. Я по-прежнему много работаю, но последние дни мне что-то скучно, я быстро устаю, и ничего не хочется делать. Вы не пишете. Холодно. Потом бытовые условия у нас плохи. Особенно на стройке (в городе лучше). Все это, конечно, мелочи, но это раздражает. Мне, например, мало одной пачки папирос, а их нет. Я курю много.

В столовой грязно. Все это бесит и волнует. А тут еще и вы не пишете.

Вчера вечером я был в городе у одного приятеля инженера.

Пили, пели песни. И вот когда один инженер затянул: „Стояли мы с тобой на берегу Невы... – он пел очень хорошо. – Вы руку жали мне! Промчались безвозвратно...“ – я так ярко вас вспомнил. Ведь этот романс вы пели у нас в реальном на вечере. Вы тогда были в синем платье, и к черному переднику была приколотая красная роза. Я никогда не забуду, как вы пели! Ах как вы пели, Соня! Если бы вы мне тогда приказали броситься с шестого этажа вниз, все, что угодно, я бы выполнил. Ведь я вас так любил. И вот пел этот инженер, и мне стало чертовски грустно.

Я ушел и долго бродил по городу. Было холодно, и ветер свистел вокруг. Но я ничего не замечал. Я с вами разговаривал, и вы мне отвечали. Я говорил: „Соня, уедем со мной“. А вы отвечали: „А муж?“ А я говорил: „Плюньте. Так, как я вас люблю, вас никто не любит. Это самое важное. Что ваш муж? Не спорю, он умный, хороший, культурный. Но он чрезвычайно загружен, он занят. Он не видит вас. Вы для него домашняя хозяйка, коммунальные услуги. Самое главное для него работа, а потом уже вы“. Вы кричали: „Замолчите! Кто вам позволил так говорить!“ – „Я сам себе позволил“, – отвечал я и смиренно просил у вас прощения: „Простите, если я вам сделал больно.

Простите, Соня“. И от нежности, и от водки, и от ветра, и от любви я плакал. Вас не было возле. Никого не было. Была черная ночь, и ветер выл и стонал.

Я пришел домой и долго не мог заснуть. Мне казалось, что кто-то стучит в дверь. Я спрашивал: „Кто там? войдите!“ – Я думал – вдруг вы. Но этого не могло быть. Вы в Москве, и это очень далеко, Соня. И кто-то опять царапался в окно и стучал в дверь. „Войдите“, – просил я, но никто не входил. Это просто ветер, просто я забыл закрыть форточку. Надо спать – завтра рано вставать. А мне не хочется вставать, я не хочу работать. Я хочу вас видеть, Сонечка, родная моя! Как я хочу вас видеть!

Ваш Б. Гурьин».

И второе письмо краткое.

«Уважаемая Софья Яковлевна!

Ну что же, не пишете, и не надо! Я жалею только о том, что в последнем письме я, кажется, написал много глупостей. Но это спьяна, Софья Яковлевна, так что простительно. Живу по-прежнему, много работаю. Хотя к чему это я? Ведь вас это так мало интересует. Будьте здоровы.

Б. Гурьин».

Прочитав письма, Дмитрий Павлович подумал: «Вот, сучья лапа, зря я с ним связался, черт бы его драл. А теперь надо отвечать, а то он еще там сопьется». И, не откладывая этого дела, он тут же на почте написал инженеру:

«Дорогой Боря!

Я была больна. У меня был грипп – вот почему я не отвечала. А вы тоже хорош дядя, сразу же запузырелись: „Не пишете и не надо...“ „Вас это мало интересует...“ Нехорошо, Борис. Если бы меня это мало интересовало, я бы на первое же ваше письмо не ответила б – вот и все. Значит, меня это интересует.

И еще мне разрешите вас чуточку поругать. Я думала, что у вас твердый характер, а вы человек настроений. Чуть что не так, и вы киснете: „Я не хочу работать, я не хочу вставать“.

Из первых ваших писем у меня создалось впечатление, что вы действительно идете на работу, как в драку. Я даже гордилась, что у меня есть где-то друг, который так много работает и все-таки находит

время мне писать. Честное слово, Борис, я гордилась и даже, признаюсь вам, слегка хвасталась своим приятельницам. А последние ваши письма меня рассердили. Пожалуйста, не смейте больше пить. Я запрещаю вам. Слышите?..

Правда, Боря, не надо.

Сейчас время суровое, и нужно быть абсолютно трезвым.

Особенно на таком ответственном деле, как ваше. Вы там у себя даже хорошенько не представляете, какую огромную махину вы строите. Шутка ли сказать – ежегодно двадцать пять тысяч тракторов. Ведь это же взроет наново не только поля и степи, но и мозги и сердца у людей. Это черт знает что такое. Это асфальт, электричество, булки, колбаса, папиросы высший сорт.

Между прочим, папиросы я вам вышлю. Дмитрий Павлович получает, но он курит очень мало. Я для вас у него стащу. Может быть, вам еще что-нибудь надо? Не стесняйтесь, черкните, и я пришлю. Может быть, книги? Надеюсь, на меня сердиться не будете и напишете. Всего доброго.

С. Н.

P. S. Только не смейте пить, а то я рассержусь,

С.»

«Вот дела-то, – думал Дмитрий Павлович, наскоро запечатывая конверт. – Какой-то новый вид шефства».

«Соник, родной мой, простите и не сердитесь. Конечно, я виноват перед вами. Я – свинья. Но мне показалось вдруг, что вы мне больше писать не будете, и я с ума сходил. Как вы себя чувствуете после гриппа? Смотрите, осторожней, а то, не дай бог, еще простудитесь. Этот проклятый грипп особенно мешает нам на стройке. Тут и так некогда, тут черт знает как работать надо, каждый человек на учете, и вдруг, пожалуйста, ложись и укутывайся. Нам хворать никак нельзя. Нам нужно выпустить двадцать пять тысяч тракторов. Нам нужно к октябрю установить тысячу станков. И мы установим эти станки, и тракторы выйдут в поле. Правда, трудно, тяжело, но мы это выполним.

Сейчас у нас здесь довольно много иностранных инженеров.

Я их не люблю. Они так высокомерно обращаются с нашими инженерами, что иногда хочется им плюнуть в морду. Получают они жалованье половину долларами, а половину советскими деньгами. Для них все лучшее – и еда, и квартира. Это, конечно, обидно. Честное слово, я нашего инженера никогда не променяю на ихнего. Это люди очень узкие, кроме своей специальности, они ничем не интересуются. И вот, когда это гладкое животное, чисто выбритое и одетое в шевит, еще с тобой разговаривает, как дама с лорнетом, то приходишь в такое бешенство! Вне работы мы с ними совершенно не сталкиваемся. Они живут особняком. Конечно, не все такие, есть среди них и более симпатичные.

Так-то дела, Соня. Что у вас нового? Почему вы так мало пишете о себе? Что слышно в Москве? Где вы бываете? Ходите ли в театр? Я уже забыл, и как выглядит театр. В киношку как-то забрел, но там шла такая дрянь, что я прекрасно выспался. Если пришлете папиросы – спасибо. А книги не надо, мне их все равно некогда читать. Я еле-еле газету успеваю просмотреть. У меня к вам просьба, – только если это вас не затруднит, – купите мне свитер. Деньги я вам сейчас же вышлю.

Но условие, слышите, Соня, если это для вас составит хоть малейшее затруднение, то ни в коем случае не надо. Как ваше настроение? Пишите обо всем и подробно. Жду с нетерпением писем. Будьте здоровы. Целую руку.

Ваш Б. Гурьин».

«Дорогой Боря!

Вчера получила ваше письмо, а сегодня уже пишу ответ – видите, как аккуратно. Мне кажется, это нехорошо, что вы и остальные ваши инженеры чуждаетесь иностранных специалистов. Наоборот, надо чаще с ними встречаться, чтобы больше от них узнать. А то, что они дорого обходятся, – это ничего.

Уверяю вас, Борис, что когда-нибудь им это гораздо дороже обойдется. Сейчас, по-моему, нашему инженеру нужно как можно скорее научиться тому, что знают иностранные специалисты, и чем скорее, тем быстрее мы от них избавимся.

Свитер я вам завтра же пошлю и папиросы тоже, это для меня не составляет никаких затруднений (,Как же, есть у тебя время ходить по магазинам и на почту, – недовольно пробурчал Дмитрий Павлович и

сам себя успокоил: – Ничего не поделаешь, на то ты и шеф“). Вы спрашиваете, как я живу. Так, по-прежнему. В театре бываю, но редко. Начала изучать стенографию. Пока успешно. Вы как-то спрашивали в одном из ваших писем относительно моего пения. О, Борис, это так было давно, что я даже забыла, что я когда-то пела. И как это вы помните все эти мелочи? Даже удивляюсь. У вас, вероятно, удивительная память. Я, например, очень мало что помню. А вы – и в каком платье, и что роза была. Удивительная у вас память!

Почему вы не пишете никогда о прошлой своей жизни? Это интересно. Что же вам еще написать? В Москве ничего особенного. Сейчас самое интересное в провинции – вот в таких местах, где вы. Хотя и в Москве работают все, и, надо сказать, здорово работают.

Вот мне пришлось быть в компании вузовцев – я прямо удивлялась, какое растет у нас прекрасное поколение. Там были мальчики и девочки, самому старшему из них не больше девятнадцати лет. А какие они умные и все знают, черт возьми, даже завидно. Мы в их годы, кажется, только умели целоваться и глупые песни петь, вот, вроде „Стояли мы на берегу Невы“.

Они, ж спортом занимаются, и учатся прекрасно, и языки знают.

Вот будут инженеры! Однако заболталась я с вами сегодня и у вас время зря отнимаю. Вам надо хорошенько выспаться, чтоб завтра стать на работу свежим и бодрым. Правильно, Боря? Конечно, правильно. Всего доброго.

С. Н.

P. S. А у меня для вас сюрприз. Угадайте!

С.»

«Дорогая Соня!

Получил папиросы и свитер. Как я вам благодарен! Теперь мне тепло. И еще теплей от ваших писем. То, что вы сказали про иностранцев, „что это им дороже обойдется“, – мне очень понравилось. Я это использовал при разговоре с нашими инженерами. Все остались довольны, за исключением Панаева. Это очень хороший, старый инженер, но только невозможный циник.

Один он не улыбнулся и заметил: „Может быть, это им когда-нибудь и обойдется дорого, только я предпочел бы, чтоб за меня

расплачивались наши потомки, нежели мне сейчас расплачиваться за них“.

Верно, Соня, здорово сказано? Довольно ехидно, но очень не плохо. Панаев вообще умный человек, и его все уважают как ценного специалиста. Но циник – невозможный. Например, сейчас уже ясно, что мы дадим в первый год двадцать пять тысяч тракторов. А до этого сколько он по этому поводу острил и смеялся. Раз тоже вот мы сидели, и он говорит вдруг: „Да здравствует пятилетка в один год“. Спрашиваем: „Почему в один год?“ А он отвечает: „Так уже очень она надоела“. Ко мне он все время пристаёт, что я влюблен, и издевается. И, черт его знает, откуда он догадывается? О вас никогда ни с кем ни одного слова не проронил. Он зовет меня „влюбленный индекс“, при этом прибавляет – „индекс от слова индюк“, Я краснею, как дурак. Смешно, верно. Соня?

Вас интересует моя прошлая жизнь. Она очень обыкновенна.

До 1921 года я был в Красной Армии. В 1921 году я демобилизовался и поступил в Ленинградский техникум. Вот и вся жизнь.

Женился, но неудачно. Был ребенок, это еще нас связывало.

Умер – и ничего не осталось.

Еще вы спрашиваете, почему помню, в каком вы платье были и всякие мелочи. Какая вы странная – ведь я вас до сих пор люблю. Вот закрою глаза и слышу ваш голос. Мою жену также звали Соня, и, честное слово, когда я с ней только познакомился, это безусловно сыграло некоторую роль в нашем сближении. Ведь имя Софья я с ученических лет ношу в себе.

Пришлите вашу фотографию. Мне это будет приятно. А я специально снимусь и пришлю, а то вы, вероятно, и не помните, как я выгляжу. Когда вы были гимназисткой, вы всегда от меня отворачивались, а я, специально опаздывая на уроки, шел вас встречать. Боже мой, сколько раз мне из-за вас влетало! Витя забирал у меня все завтраки, карандаши и резинки только за право входа в ваш дом. Будьте здоровы, Сонечка. Целую руку.

Ваш Б. Гурьин.

Р. S. Не вздумайте вновь захворать гриппом, а то я опять останусь без писем. Какой сюрприз? Страшно интересно.

Б.»

«Теперь еще вмешался какой-то Панаев, черт бы его драл. На такого фрукта не жалко и часа потратить». Дмитрий Павлович писал:

«Боря, на этот раз я с ответом опоздала на два дня – и надеюсь, ничего плохого с вами не случилось. Я немного из-за вас беспокоюсь. Все-таки мне кажется, что вы очень добрый и слабыхарактерный и легко можете попасть под влияние Панаева.

Вот вы и в письме пишете о нем и, по-моему, слегка восторгаетесь им. Я не спорю, может быть, он и прекрасный инженер и очень умный, но в одном я убеждена, что он старый и желчный человек. Я таких людей на стройке не держала бы.

На стройке нужны энтузиасты, крепкие, мускулистые.

А это – какой-то дряхлый слизняк, каламбурист. Такие, как Панаев, – они вредные. Он все высмеивает. Да? Верно ведь?

Для них трактор, революция, пятилетка, любовь – все это мишень для плоских острог. Я знаю, под их влияние частенько подпадают молодые люди, и это уже совсем противно. Панаеву больше ничего не остается делать, как зубоскалить, но молодым это, конечно, непростительно. Если бы мне, на одну минуту, показалось, что в вас есть хоть намек от Панаева, я, честное слово, Боря, как хорошо к вам ни отношусь, все равно прекратила бы всякую переписку. Я не могу представить вас таким жалким брюзгой.

Я вижу вас вот каким: вы в длинных сапогах и кожаной куртке. Руки у вас в мазуте. Лицо в копоти. Вы шагаете уверенно. С машиной вы обращаетесь, как укротитель. Хотите – пускаете, хотите – останавливаете. Машина вас боится и слушается вашего окрика. И, кроме того, что вы в совершенстве знаете свое дело, вы еще убеждены в том, что строите социализм, что переделываете страну нашу, вшивевшую сотни лет под соломенными крышами, где кишели болезни и смрад, в страну с железной крышей и окнами, большими, как озера.

И поэтому, когда в спину раздаются смешки и плевки Панаевых, надо обернуться и посмотреть строго, – это уже достаточно, чтоб они замолкли. Но ни в коем случае не поступать так, как вы: слегка одобрительно, слегка укоризненно.

Правильно ведь, Боря? Конечно, правильно! Тут идет борьба на жизнь или на позорную смерть, так что таким змеиным шуточкам не место. Вы от него подальше, Борис. К вам цинизм совершенно не идет. Вы героическая фигура. Карточку свою я вам скоро пришлю. Это и есть сюрприз. Присылайте скорей вашу. Мне что-то сегодня очень грустно („Не мешает немножко похныкать: влюбленным это нравится“). Вчера много раз перечитывала ваши письма. Почему же мне грустно, Боря?

Я сама не знаю. Так что-то взгрустнулось. А самое плавное это потому, что я недовольна собой. Ах, если б я была инженером, как прекрасно я себя чувствовала бы!

Всего доброго, а то разнюнилась и только вам настроение порчу. А вы должны быть бодрым, трезвым, свежим и умытым.

Слышите, Боря, бодрим и трезвим. Всего доброго,

С. Н.

P. S. Пишите скорее, а то грустно.

С.»

«Сонечка, родная! Боже мой, какое сердитое письмо я от вас получил, даже страшно. Нет, серьезно, хорошее письмо, настоящее. Относительно Панаева – вы совершенно правы. Я с вами вполне согласен, что яд цинизма на стройке – это ржавчина. Но зачем вы так сердитесь и топаете ногами? Вы очень нервная, Сонечка.

На стройке у нас сейчас все идет хорошо. Установку намеченных станков к апрелю, безусловно, выполним. Теперь уж осталось очень недолго. Апрель это вообще переломный месяц в нашей стройке. Самое трудное до апреля, а с апреля все пойдет, как надо, и план будет выполнен. Зима была очень суровая. Дороги были тяжелые и грязные. Мне бы хотелось, чтобы вы приехали к нам и посмотрели, вам очень понравится.

Я вам рассказал бы о каждом участке, о каждом клочке земли. Как оглянешься назад, так не верится, что мы все это сделали. Я бы вам показал места наших побед и отступлений.

Но, увы, о вашем приезде можно только мечтать. Почему Вам грустно, Соня? А может быть, вы все-таки приехали бы. Или муж не пустит? Впрочем, простите, это плуposti, я ведь знаю, что вы человек самостоятельный, и если у вас будет желание, то приедете.

Посылаю вам свою фотографию и жду вашей. Не грустите, Соня, я уверен, что все идет к лучшему. Я совсем не такой, каким вы меня представляете. Когда читал в вашем письме о человеке в сапогах, в кожаной куртке, у которого руки в мазуте и лицо в копоти – мне стало жалко, почему я не похож. Руки у меня действительно частенько грязные, но хожу я в валенках, кожаной куртки у меня нет, а лицо мою аккуратно. Сейчас даже каждое утро бреюсь.

Но почему вам грустно, Соня? По письмам вашим я чувствую, как вы выросли. Какая огромная дистанция между ученицей Соней и теперешней Софьей Яковлевной. Это я чувствую из каждой вашей строчки, из каждого слова. Ваши письма я читаю по многу раз и всегда нахожу что-то новое. До свиданья, Сонечка. Будьте здоровы.

Ваш Б. Гурьин.

Р. С. С Панаевым я стараюсь не встречаться. А может быть, все-таки приедете, Соня?»

«Теперь можно немножечко и отдохнуть от подшефного, – подумал Дмитрий Павлович после этого письма. – Кажется, там все сейчас идет гладко, можно и не спешить с ответом. А быть может, вообще больше не писать, это было бы не плохо».

Но через неделю или больше от Бориса Гурьина получилось тревожное письмо:

«Сонечка, радость моя, светлая девушка моя, почему вы не пишете? Я с ума схожу от тревоги и желания вас видеть. Нам нужно встретиться, во что бы то ни стало нам нужно встретиться. Хотите, я приеду в Москву, мне обещали десятидневную поездку, это за одну сверхударную работу. Я эту работу выполнил. И об этом даже заметка в газете, где меня хвалили.

Если хотите, я сейчас же приеду. Но почему же вам этого не хотеть? Я вас так хочу видеть, что от одной мысли о возможности встречи с вами меня лихорадит: я дрожу, и губы запекаются. Соник, родной мой Соник, разрешите – и я приеду.

Сейчас весна. Вчера был такой теплый солнечный день.

Ночью я открыл окно, и в мою одинокую комнату вплыли такие большие, мохнатые, голубые апрельские звезды. Я бегал по комнате. Я

перечитывал ваши письма. Я ложился на кровать и вновь вскакивал. Я не могу заснуть, Соня. Я больше не могу!

Слышите? Не могу без вас, не могу больше жить. Разрешите – я приеду.

Ну что вам стоит сказать – приезжайте. Напишите эти десять букв. Я приеду к вам, моя светлая девушка. „Он вернется сюда, когда придет весна“, – помните? Это тоже одна из ваших песен.

Вчера застрелился Панаев. Жалко, хороший инженер был.

Застрелился в городе. Наша бригада как раз в это время мылась в бане. Мы все такие грязные и усталые. Мыться было страшно приятно. Я так усердно мыл голову, что волосы пищали, словно поросята.

Все это неважно, глупости. Самое главное для меня – это вы, Соня. Вы, вы, вы! Я действительно, кажется, начинаю с ума сходить. Я все чаще и чаще разговариваю с вами. Даже вслух говорю. Я говорю – приезжайте, вы говорите – нет. Тогда я говорю, что я приеду, вы говорите – не надо. Так знайте же, что все равно я приеду и увижу вас.

Сонечка, разрешите приехать к вам. Я очень хочу вас видеть! Я умоляю вас!

Я вас так люблю! Если бы вы только знали, как я вас люблю! Я с ума схожу! Будьте здоровы. Целую руки.

Ваш Б. Гурьин».

«Черт возьми, как далеко все зашло, – подумал с досадой Дмитрий Павлович, и ему стало неловко за свою переписку. – Придется написать ему обо всем. Я ему напишу. Я ему опишу его „светлую девушку“ так, что ему тошно станет, и он успокоится. Самое главное, надо, чтоб он женился, и все пройдет.

А то он так бурится, что страшно за человека...» И вечером Дмитрий Павлович писал в намеченном плане письмо Гурьину:

«Уважаемый Борис, простите, отчества не знаю. Давайте просто – дорогой товарищ Гурьин. Дело-то вот какое. Когда получилось первое ваше письмо, то Соня – моя супруга, дала мне его прочесть. Вообще-то я не читаю жениных писем, но если она сама просит, то не могу ей в этом отказать. Я прочел и попросил ее, чтоб она вам обязательно ответила, но она категорически ответила – нет. Я очень просил ее.

Мне вас было жалко. Но Соня, ведь она капризная баба, ее уговорить трудно.

Потом и возражения у ней были довольно веские – ей неинтересно вам писать. И тогда я решил написать вам письмо от имени Сони.

Может быть, это грубо, нехорошо. Возможно, я сам в этом несколько раскаиваюсь. Но как бы то ни было, переписка между нами началась. За это время я к вам привык, и вы мне были очень дороги, как инженер, как один из наших командиров.

Я часто думал о вас, и в тяжелые минуты, вспоминая, что где-то там на стройке действует Борис Гурьин, мне становилось радостней и легче.

Теперь самое главное – о Соне, моей жене.

Я женат уже девять лет, это срок, вполне достаточный для того, чтобы узнать человека. Вначале я много усилий приложил к тому, чтобы Соню научить чему-нибудь, но из этого ничего не вышло. Она даже не научилась газеты читать. Особенно возиться с нею мне просто времени не хватало.

Она-то своим состоянием не особенно огорчалась, так что все шло, как полагается. Она толстела и красила волосы. Вокруг нее всегда какие-то хахали и до сих пор увиваются – и пожалуйста. Не жалко. Домашним хозяйством она занимается с большой любовью, она очень довольна, когда я хвалю обед или печенье ее собственного изделия.

Меню она обсуждает за неделю вперед. Так что все в порядке.

Одно неприятно, что она сварливая и с каждым днем делается все скупее – это, должно быть, от старости, особенно противно по утрам, когда она спорит с молочницей. По-Сониному всегда выходит на одну кружку молока меньше. Спорит она отвратительно, ругается, топает ногами, как барыня. Я тогда натягиваю на голову одеяло и затыкаю уши, потому что если я вмешаюсь в разговор, то это будет лишний скандал, слезы, истерика. Я этого с некоторых пор просто избегаю. Так спокойней.

Я вам посылаю ее карточку, чтобы вы убедились, что это не та Соня, которую вы помнили с юношеских лет. Вы видите, сколько морщин и какой тяжелый подбородок.

Ваша светлая девушка, Борис, сильно потемнела, волосы, о которых вы так часто писали, у нее от перекиси стали огненно-гнедыми. Ваша светлая девушка весит сейчас пять с лишним пудов.

Единственно, что осталось в Софье. Яковлевне от прежнего, – это голос. И она действительно частенько садится за пианино, инструмент она берет напрокат, хотя он ей абсолютно ни к чему, ведь играть-то не умеет, и вот она садится за пианино и открывает золотую пасть. Поет она до сих пор вот эти самые песенки, о которых вы писали: „Вы руку жали мне“ и „Он вернется сюда“. Когда она поет, мне страшно. Я умоляю ее и унижаюсь: „Сонечка, не пой“, потому что она так ревет, так ревет, что мне приходится бежать из дому.

Такие-то дела, товарищ Гурьин. Мне всегда было очень обидно читать ваши письма к ней. Она не заслужила их, Я старше вас, товарищ Борис, и в данном случае говорю с вами очень искренне, верьте мне, что все это так, улыбнитесь и плюньте.

Вам нужна молодая, умная, сильная подруга, а не старуха с крашеными губами. Будьте здоровы. Надеюсь, останемся друзьями. Продолжайте работать так же хорошо, как работали.

Д. Непряхин».

В конце апреля Дмитрий Павлович уехал в командировку.

Возвратился он 9 мая. Утро было морозное. Лениво падал снег.

Непряхин ехал домой на извозчике – и трамвай и автобус пришлось бы долго ждать. Ему хотелось скорее домой, где его ждет Соня, чистые носки, белье и ванна.

«Сразу же полезу в ванну. Потом выпью кофе с этими сдобными штучками, – подумал он. – Сонечка, наверное, напекла, она знает, что я их люблю».

Ему хотелось скорее увидеть Соню. «Все-таки она хорошая, и я к ней привык». Он вспомнил о последнем своем письме к Гурьину, и стало совестно. «Так не надо было писать о ней.

Нехорошо. Зря я ее описал такой шкуркой. Она вовсе не так безнадежна. Во многом я сам виноват. У Сони много и положительных сторон». Ему было стыдно. Утешал он себя тем, что «надо же было этого сумасшедшего привести в нормальное состояние...

Интересно, есть ли от него ответ», – продолжал он думать о Гурьине. И опять подумал о Соне, о своем кабинете. «Перед отъездом Соня обещала новые полки заказать для книг, наверное, уж готовы... Жалко, что никакого подарка не везу ей... Ничего, дам ей денег, сама купит. Это еще лучше, а то она всегда пилит – и переплатил, и купил то, что не надо... Ах ты, свинья моя толстененькая».

Он волновался. Ему очень хотелось скорей увидеть Соню.

– Может быть, немножечко быстрее, товарищ извозчик, – попросил Дмитрий Павлович.

И вот, наконец, извозчик свернул влево и остановился возле нового серого шестиэтажного дома с продолговатыми балконами. Дмитрий Павлович быстро вбежал на третий этаж, открыл дверь французским ключом и радостно закричал:

– Сонечка, ау!

Никто не откликнулся, – Соня, ау!

Тишина. И когда он вошел к себе в кабинет, то на письменном столе нашел письмо в голубом конверте. Письмо было от Софьи Яковлевны.

«Дмитрий Павлович, – писала она, – я уехала с Борисом Гурьиным. Мне будет с ним лучше, потому что он меня больше и лучше любит. Он мне показал твои письма. Я не сержусь.

Ты прав, когда в одном из своих писем пишешь: „Ведь сейчас любовь не заключается в том, чтобы кормить и одевать свою жену“. Правильно. Совершенно правильно. Бориса сейчас перебрасывают на новое строительство, и я очень рада с ним ехать туда. Обидно было, очень обидно читать твои письма.

Я много плакала. Теперь несколько. Наоборот, чувствую себя прекрасно. Любовь возвращает молодость. Я не сержусь. Только зачем ты много преувеличил? Ведь я вешу, как тебе известно, не пять пудов и морщин у меня не так уж много,

Всего доброго.

Соня».

Дмитрию Павловичу стало жарко. Он снял очки, долго протирал близорукие глаза и спрашивал самого себя:

– Как же так случилось? Как же так случилось?

И, сомневаясь в происшедшем, он, как ребенок, громко и жалобно звал:

– Соня! Со-оня!

Никто не отвечал. Была тишина, паркет блестел, как медь.

Петр Андреевич Павленко

Муха

1

Это была самая беззаботная собака, какую только можно себе представить. Она никогда никому не принадлежала и, по-видимому, не хотела принадлежать. Никто точно не знал, где она живет; встретить ее можно было всюду – и на пристани, и у реки, и на бойне; ночью она попадалась на глаза в общественном саду, а поутру спокойно и очень деловито переезжала на пароме реку.

Была она ростом с шестимесячного котенка и запоминалась своей веселой пестротой, потому что спинка у нее была рыжая, хвост черный, лапы белые, а морда в черно-рыже-белых крапинках, будто покрыта собачьими веснушками. Вообще вся она была страшно смешная, торопливая и непонятная.

Низкие лапы ее едва держали худое, узкое туловище, но были так подвижны, будто бежали каждая сама по себе; хвост скромно путался между задних ног и цеплялся за землю, как тормоз.

Худая морда всегда бывала в чем-то выпачкана.

А высокие, крепкие стоячие уши казались не ей принадлежащими, а взятыми напрокат у другой собаки. Уши были величиной с ее голову.

Точного, раз навсегда известного имени она не имела и любила откликаться на самые случайные клички, словно играла сама с собой в перемену фамилии. Пароходные грузчики прозвали ее «Теткой». Ей понравилось. Стоило крикнуть «Тетка!» – и она сумасшедше неслась на зов. Но через неделю это ей надоело, и, когда кричали ей: «Тетка, Тетка!» – она виновато тормозила хвостом по земле и беспокойно повизгивала, но зову не подчинялась. Как-то ребята возвращались домой из школы, видят – она бежит, высоко задрав одно ухо, а другое положив отдыхать на макушку.

– Тетка, Тетка! – закричали ребята.

Она и виду не подала, что слышит.

Стали вспоминать все ее прежние клички:

- Лайка! Шарик! Мунька! Клякса!
- Наверно, она оглохла, – сказал один мальчик.
- Давайте пойдём домой, пусть себе бежит.
- Домой, домой!
- Собака остановилась, присела, оглянулась.
- Домой, домой!

При этом слове она вскочила и бросилась к ребятам и стала плясать у их ног и потом несколько дней отзывалась на кличку «Домой», чтобы через неделю не отзываться уже ни на какое прозвище.

Она жила одиноко и не водила дружбы с другими собаками.

Она была слабая собачонка и надеялась только на себя. Все в городе ее любили, потому что она никого не пугала лаем, не кусалась и не крала на базаре мяса. Но как и где она живет, никто не знал.

Многие хотели ее приучить к своему дому, но она не давалась и вежливо удирала при первой же попытке запереть ее в коридоре или в комнате.

И вот однажды заметили, что ее характер стал резко меняться. Она почти не показывалась на рынке, не каталась на пароме, не шлялась вечерами в общественном саду. Решили, что у нее щенята и она с ними нянчится, но оказалось, что это неверно.

Перемена началась с того, как в городе появился пограничник Андрон Андронов.

Городок был недалеко от границы; раненный контрабандистами Андронов лечился и отдыхал в этом городке. Когда ему разрешили выходить из больницы, он первым делом пришел к реке на пристань. С утра и до позднего вечера толпились здесь люди и шла веселая, шумная работа. Андронов садился на каменную тумбу у края набережной и подолгу молча смотрел на баржи, на плоты, на пароходы.

Клякса (это была ее последняя фамилия) тоже по-своему любила пристань; здесь она увидела Андроню и полюбила его. Шевеля своими огромными веселыми ушами, она сидела у самой воды, водила носом из стороны в сторону, нюхала запахи железа, муки, консервов, кожи и с безумным любопытством, высунув язык и блестя глазами, подсматривала за рыбаками, которые недалеко от нее дремали с удочками в руках.

Она давно уже обратила внимание на Андронина, и сначала он ей нравился – большой, тяжелый, того и гляди – задавит; плюется, голос хриплый, громкий. Но он сидел на пристани так тихо, что это успокаивало ее. «Не хочет ли он меня поймать?».

может быть, так сначала подумала она и стала приглядываться.

Но он просто смотрел, как выгружают баржи, слушал песни пароходных грузчиков, любил видеть шум на пристани и большое небо над рекой и над полями за ней, где тонкими дымками возникали очертания далекой деревни. Он себя вел как-то непохоже на людей: почти не говорил и, конечно уж, не кричал неожиданным голосом, какой вдруг оказывался у людей, когда они хотели напугать бедную собаку. Он не махал руками и спокойно держал ноги.

Он произвел вполне приятное впечатление. Знакомство началось с того, что Клякса подошла и села против его лица. Он молчал. «Вот, право, удивительный, милый какой», – может быть, подумала Клякса. Он молчал и глядел на реку, она тоже.

Так прошел час. Андронин поднялся и ушел в больницу.

Когда на другой день Андронин явился на набережную, Клякса уже чинно и будто совершенно-совершенно случайно сидела у его тумбы. Не глядя и просто, должно быть, не замечая ее, Андронин стал молча прислушиваться к шуму и грохоту дня на реке. Потом ушел, не проронив ни слова. Оставшись одна, Клякса беспокойно зачесалась и зевнула несколько раз от переживаний. «Хороший человек! Вот уж человек хороший!» – прямо, казалось, говорили ее глаза.

Самое главное, что она чувствовала себя с ним совершенно непринужденно: не нужно было угадывать его желания, лаять на что-то непонятное или служить на задних лапках. Клякса все это умела, но всегда стыдливо скрывала: ей было как-то неудобно проделывать эти штуки.

Когда они встретились на третий день, Клякса первая сделала шаг к сближению. Она села у самой его ноги. Потом, как всегда, они стали рассматривать реку. Вдруг она взвизгнула.

Взвизгнула и переступила лапками. Взвизгнула и оплянулась на Андронина, как бы готовя ему какую-то неожиданность.

Тут в первый раз он с ней заговорил:

– Ну, – буркнул он, – что тебе! – И мрачно сказал: – Ерундовская ты собака, Муха.

Так она приобрела новую фамилию.

Она опять взвизгнула и переступила с лапки на лапку, и где-то далеко-далеко прогудел пароход.

– А-а, слух, – сказал Андронов. – Смотри, пожалуйста!

Но и на этот раз он ушел, не позвав ее за собой. Любовь же Кляксы-Мухи теперь дошла до того, что она только и ждала его зова: она полюбила его самой верной любовью, на какую была способна собака ее породы.

Андронов ушел, но Клякса решила быть верной ему до крайней возможности и только сбегала на колхозный рынок позавтракать маленькой бараньей косточкой, а потом вернулась к реке, позевала и улеглась спать рядом с тумбой. Она проспала всю ночь и утро, стараясь не просыпаться, чтобы не чувствовать голода. Ее всю трясло – так хотелось есть, но Муха хотела быть верной и не сходить с места, раз он ничего не приказал ей делать.

Она страшно хотела заснуть и не могла и все-таки наконец заснула. Ее разбудил тяжелый голос, ради которого она мучилась со вчерашнего дня.

– Эх ты, Муха, ерундовская ты собака, – сказал Андронов, – Так и спишь со вчерашнего дня? Бить тебя некому., Он не понял, что она пролежала целые сутки на его любимом месте из большой к нему дружбы. «Просто ленивая собака», – подумал он про нее и сел смотреть на людей и небо, не сказав ей больше ни слова. Муха чувствовала, что она не понята и что отношения могут испортиться. Ей очень хотелось навсегда остаться с Андроновым, но она не умела добиться этого.

Тогда она решила показать ему, что она хорошая собака и умеет быть веселой и делать много дел. Вскочила, пролаяла в сторону парома, попрыгала, поиграла с камушком, рыча на него и топорща шерсть, будто она злющая цепная дворняжка.

Потом сделала стойку на ползущего мимо жучка, как первоклассный охотничий пес. Потом села на задние лапы. Перевернулась через голову. Принесла в зубах щепку. Сбежала к реке, немножко поплавала.

Андронов искоса, одним взглядом, наблюдал за ней. Он уже заметил, какая это занятная собака, только не подавал виду.

А Муха разошлась вовсю. Вот как она может, пожалуйста!

Через голову? Пожалуйста. Сальто-мортале в воздухе? Пожалуйста.

Устав, она села у его сапога и, высунув язык, растерянно и влюбленно глядела на него. И опять... взвизгнула, как вчера, переступила с лапки на лапку – и из-за горы, на том берегу, показался обоз.

– Ага, слух, – сказал Андронов. – Это, брат, слух у тебя, да.

Она смотрела на Андронova и изучала его. Что за человек?

Что же, разве он из одного голоса состоит? А руки? А ноги что же?

Для нее человек всегда как бы состоял из трех человек – из человека-ног, человека-рук и человека-голоса.

Можно было состоять в дружбе с человеком-голосом и получать от человека-ног самую чудовищную трепку. Человек-руки мог ласкать, а человек-ноги в это время с размаху бить ее собою в живот, а человек-голос, глядя на это, добродушно смеяться.

Муха больше всего любила человека-голос: от него не бывало никаких неприятностей, – ну, крикнет, подумаешь! А вот драться человек-голос не мог, это она знала наверное, и это было очень приятно. И то, что Андронов знакомился с ней только голосом, ей здорово нравилось, и постепенно ей стало казаться, что голос – это старший над ногами и руками, от которого все зависит, и что если хорошо дружить с голосом, то ни руки, ни ноги не посмеют сделать ничего дурного. Правда, голос никогда не давал поесть, едой заведуют у человека руки, но еду она находила самостоятельно. Что же касается ног, то их дело было самое простое – ходить. Куда они, туда и она, никаких недоразумений не получалось.

Значит, старший был голос. От него исходили ласки, угрозы, приказания, насмешки. Прекрасно. Муха занялась голосом Андронova, а он, к счастью, разговаривал мало, разговаривал медленно, и скоро ей стало понятно почти все, что он говорил ей.

Она ничего теперь не имела и против дружбы с ногами и однажды подошла и потерлась о его сапоги, как это – она видела – делают кошки-подхалимки, потом лизнула руку.

– Ладно, Муха, ладно. Будет тебе. Пойдем, – сказал Андронов, – Пойдем.

В тот день все страшно удивились в городке, видя Муху впереди мрачного, молчаливого пограничника. Она хлопотливо бежала перед ним, чуть высунув уголок розового языка, и не отзывалась ни на смех, ни на завывания.

Андронов стал ее хозяином.

2

Граница шла вдоль реки, заросшей густым камышом.

Пограничники жили в мазанках среди камышей. Днем камыш все заслонял от глаз. Ночью же из густых и спутанных его зарослей ветер приносил и разбрасывал в воздухе непонятные шорохи, писки, мяуки, странные, незнакомые запахи, которые никак не умела Муха определить – к добру ли они, ко злу ли, и она страшно всего этого боялась.

Каждое утро Андронов брал Муху в камыши. Он держал на ремне за плечом винтовку и шел очень тихо.

Муха вспоминала ночные тревоги и бежала по памяти на следы вчерашних шорохов.

Ага! Отсюда вчера слышалось мяуканье – так, так, так! – вот и котом пахнет. Так. А вот здесь запах птички. Интересно.

Значит, она и пищала. Ну, понятно. А это, это что же за запах? Странно. Вот как странно! А чьи следы это? И вдруг Андронов подавал ей знак: «Тихо. Тсс!»

Она сжималась в комочек. Лапки ее двигались бесшумно, как в воде. Тсс...

Где-то недалеко в стороне трещал камыш – шел человек.

Андронов и Муха стороной обходили треск, преследовали его, пересекали, опережали. «Следи за ним, Муха, – говорили глаза Андропова. – Не упускай. Ну, вот сейчас. Приготовься. Ну вот.

Подожди. Ну, возьми!»

По запаху следов Муха знала уже, что шел свой человек-пограничник. Она подбиралась к нему совсем близко и вдруг – а-ах! – бросалась под самые ноги, визжа и твякая нестерпимо, Пограничник испуганно отпрыгивал в сторону. А Муха суетилась и визжала от радости – так ей нравилось пугать людей, и такие прогулки стали ее

любимой игрой. Скоро она привыкла к камышам и научилась жить в них, все знать и все видеть.

А затем Андронов научил ее ездить с ним на коне, сидя на задних лапках в пустой переметной сумке, прикрепленной впереди седла. Ах, она лаяла тогда, лаяла на весь свет и ворчала и тихонько виляла хвостом на дне переметной сумки.

Однажды выехали Андронов и Муха на своем рыжем балованном жеребчике в дозор. Была ночь. Совершенно спокойная ночь. Лишь только въехали в глухие камыши, Андронов вынул Муху из сумки и, перегнувшись с седла, спустил ее на дорогу.

– Ищи, Муха, – шепнул он ей. – Ну, вот здесь, вот здесь ищи. Быстро. Тсс!

Муха была такая маленькая, что, когда Андронов выпрямился в седле, он перестал ее видеть впереди лошади. Но он знал, что она где-то тут, у самых копыт, потому что конь то прибавлял шагу, то неожиданно быстро останавливался. Видно, он сам следил за Мухой, чтобы случайно не наступить ей на лапу. Так и ехали: быстро – тихо, быстро – тихо, стоп – быстро – стоп. Стоп – стоп!

Что такое? Андронов опять перегнулся с седла к самой земле. Ну? Кто тут, Муха?

Муха даже не оглянулась на него. Она стояла, вытянувшись до дрожи в мускулах, и вечно согнутый ленивый хвост ее одеревенело торчал вверх...

«Вот ерундовская собака, – подумал Андронов, – всего боится». Он ударил ее концом тяжелой нагайки. Ну! Она не двинулась.

«Что же это может быть?» – подумал Андронов и стал прислушиваться. Долго он ничего не мог разобрать, но вот скорее понял, чем услышал: впереди, в камышах, кто-то шевельнулся.

«Э-э, дело плохо, – подумал Андронов, – видно, я наскочил на кого-то», – и стал осторожно снимать из-за плеча винтовку.

– Эй, выходи! – не по-русски закричал голос из камыша, и тут же раздался близкий выстрел. Пуля пропела над плечом Андропова.

– Ай-ай-ай!.. – отчаянно взвизгнула Муха, донельзя перепуганная громом выстрела, и прижалась к земле, скуля и попискивая, и поползла на животе в камыши.

Андронов тихонько щелкнул пальцами.

Но перепуганная Муха не слышала его зова.

– Нет ничего, это собака была, – сказал нерусский голос в камышах. – Напрасно стрелял, народ будил.

– Кто же знал, что собака, – сказал другой голос, – мог и человек быть.

Андронов крепко сжал поводья. Малейший шорох, стук копыта, звон стремени, дыхание коня – все могло его выдать.

«Вовремя, однако, запищала, – думал он про Муху, – выручила меня все-таки. И где только она спряталась, не найти мне ее теперь».

А в камыше опять заговорили.

– Давай наших будить, – сказал один голос. – Скоро утро.

Те-то, наши, уже переправились.

– Нет, рано еще, не переправились, – сказал другой.

И стали спорить голос с голосом, переправились ли те, или нет, и не пора ли возвращаться за реку, и из разговора понял Андронов, что перед ним стоит контрабандистский дозор, охраняющий переправу главной партии с товарами. Он понял, что нужно немедленно дать знать на пост, чтобы успеть задержать главную группу.

«Эх, черт возьми эту Муху, – думал он. – Какая несообразительная собака! Другая бы накинулась сейчас на этих людей, страху бы нагнала, лошадей их вспугнула и мне бы дала возможность удрать назад!».

Тихо-тихо, сдерживая дыхание, наклонился он с седла и старался найти взглядом где-нибудь притаившуюся Муху, но было темно, и он ничего не мог различить.

«В бой вступить с ними, – продолжал думать Андронов, – невыгодно. Дело не в этих людях, а в той партии, которая контрабанду везет. Но как уйти незаметно? Подстрелят обязательно».

Но выхода не было. Не стоять же так покойником до рассвета? Решил он – будь что будет! – повернуть коня назад и скакать под выстрелами.

«Авось доскачу благополучно, – подумал он, – сейчас же расскажу, в чем дело, и надо будет за той, главной партией кинуться».

И в этот самый момент Муха взвизгнула и, зажмурив глаза от страха, прыгнула из камышей прямо на контрабандистский дозор.

– Стреляй! Стой! Подожди!

– Что такое? А, черт!

Что-то, звякнув, упало, тяжело затрещал камыш.

Андронов ударил по коню, повернул его на задних ногах и понесся в сторону своей заставы. Сзади не скоро раздался выстрел-другой, вразнобой зашумели голоса и стихли. «Эх, хорошая собака, – подумал он теперь, – Как учил ее, так и поступила». Он чмокал губами и звал ее: «Муха, Муха!» И нагибался с седла, ища глазами по бокам лошади.

– Вот спасибо, какая собака, – ворчал он и торопил коня, чтобы сообщить на заставу о контрабандистах и успеть задержать главную партию.

А Муха, прыгнув на чужого человека, который сидел в камышах, упала с его груди на землю, подкатилась под ноги второму, задела лапами лицо еще какого-то спавшего и юркнула назад в камыши. От страха она едва бежала. Уши ее были полны шума, в глазах шли красные круги, нюх отказывался работать. Но след рыжего жеребца издавал сильный знакомый запах, и она не боялась сбиться с дороги. Она мчалась, почти не дыша. Она не знала, что ей делать в этих страшных камышах с неожиданными людьми, и она мчалась, мчалась, ничего не слыша, ничего не видя, только бы догнать жеребца, только бы догнать его и увидеть Андропова, и он все скажет, что нужно, Она не видела, что впереди, совсем уж недалеко, показались огни заставы, и не слышала идущего оттуда шума конного взвода, быстро уходявшего по дороге к реке.

Если бы она остановилась и отдохнула, ее ухо, может быть, уловило бы слабый крик Андропова: «Муха! Муха!» Но она не могла остановиться, если бы и хотела. Ноги мчались сами собой, глаза вылезли на лоб, сердце потерялось в тонкой грудке, его прямо не было, и, не дыша, ничего перед собой не видя, она с размаху ударилась о невысокий камень, почти слившийся с землей. Она высоко кувыркнулась в воздухе, махая лапками, и упала уже мертвой, все порываясь встать и продолжать скачку.

Там ее утром и нашел Андронов, в десяти минутах ходьбы от своей мазанки, когда возвращался с удачного набега на главную партию,

1933 г.

Викентий Викентьевич Вересаев

Болезнь Марины

Оба они, и Марина и Темка, были перегружены работой. Учеба, общественная нагрузка; да еще нужно было подрабатывать к грошовым стипендиям. Часы с раннего утра до позднего вечера были плотно заполнены. Из аудитории в лабораторию, с заседания факультетской комиссии в бюро комсомольской ячейки. Дни проносились, как сны. И иногда совсем как будто исчезало ощущение, что ты – отдельно существующий, живой человек, что у тебя могут быть какие-то свои, особенные от других людей интересы.

И вдруг перед обоими встало свое, касающееся только их обоих, ни для кого больше не интересное, а для них – очень серьезное и важное.

В субботу, как всегда, Темка пришел из общежития ночевать к Марине. У нее по-особенному блестели глаза, она вдруг среди разговора задумывалась. А когда он обнял ее стан и хотел поцеловать в шею, Марина удержала его руку и сказала, пристально глядя впавшими глазами с темными под ними полосами:

– Темка! Дело верное. Я беременна.

Он быстро опустил руку, взглянул на нее.

– Да ну?!

– Верно. Была у доктора. Он тоже сказал.

Темка – большой, плотный, с большой головой – медленными шагами ходил по узкой комнате. Марина сумрачно следила за ним. А у него глубоко изнутри взмыла горячая, совсем неразумная радость, даже торжествование какое-то и гордость. Он так был потрясен, что ничего не мог говорить... И так это для него было неожиданно, – эта глупая радость и торжество. Темка удивленно расхохотался, сел на постель рядом с Мариной, взял ее руку в широкие свои руки и сказал с веселым огорчением:

– Ну и ну!

Марина была рада, что он так хорошо отнесся к известию, – глубоко в душе и сама она радовалась случившемуся. Но веселее от этого не стало. Положение было очень запутанное. Она спросила:

– Что же теперь будем делать? Ты конкретно представляешь себе, что из всего этого получается?

– Да, да...

Но он это сказал рассеянно. Темка весь был в своей неожиданной, ему самому непонятной радости. Положил руку на ее еще девический тугий живот, нажал.

– Замечательно! Подумаешь: что-то там в тебе зреет, – твое и в то же время мое... Ха-ха-ха!

Он во все горло захохотал. Марина озлилась.

– Нужно о деле подумать, а он грохочет, как дурак. Заткнись, пожалуйста!

– А ужли ж самой тебе... не весело от этого?

– Куда те к черту весело! Только тошнит все время, – ох, как тошнит, и груди очень болят, и ты так противен, – пожалуйста, не трогай меня!

Марина резко оттолкнула его руку от своего тела.

Сегодня они ни о чем не могли столкнуться, – слишком разные у них были настроения. Но вопрос был грозный, и нужно было его решать поскорее. Марина, преодолевая странное какое-то отвращение к Темке, условилась, что он зайдет через три дня, и они все обсудят.

Но, в сущности, – что обсуждать? Дело было совершенно ясно. Головою и Темка – понял это наутро, когда мысли трезвы:

нелепость, выход один только и есть.

А в глубине души была тревога перед тем, что хотели они сделать, и недоумение – неужели Марина унизит себя до того, что пойдет на это?

Через три дня долго говорили. Да, нужно решиться. Другого выхода нет. Марина с тоской заломила руки и сказала:

– Как все время тошнит! Ни о чем подумать не могу, что бы есть! А послезавтра зачет сдавать по органической химии!

Темка украдкой приглядывался, и была тайная боль, что она идет на это, да еще как-то так легко.

Раньше нужно было сдать два зачета, – по ним Марина много готовилась, и откладывать их было невозможно. Между тем рвоты были ужасны, об еде она думала с ужасом, голова не работала. А тут еще Темка. К нему она чувствовала самой ей непонятную, все

возраставшую ненависть. А когда он пытался ее ласкать, Марину всю передергивало. И она сказала ему:

– Пожалуйста, приходи ко мне пореже. Ты мне определенно неприятен,

Женщина-врач исследовала Марину, расспросила об условиях ее жизни.

– Да-да... Обычная история. Как врач я, конечно, обязана вас всячески отговаривать, но если бы была на вашем месте, то сделала бы то же самое.

И дала ей ордер в родильный приют.

Через три дня Темка привез Марину обратно в ее комнату, Марина сильно побледнела, лицо спалось, глаза двигались медленно и постоянно останавливались. Но на Темку глядели с приветливою нежностью, – он уж думал, что никогда этого больше не будет. Марина лежала и ласково гладила его широкую, все еще как будто рабочую руку бывшего молотобойца.

Он спросил:

– Здорово было больно?

– Физически не так уж. Рвать зубы гораздо больнее. Но это такой ужас...

Она вся вздрогнула, крепко сжала его руку и прижалась к ней щекой. И молчала долго.

А вечером говорила:

– Это что-то страшное по своему цинизму. Вроде проституции. Мне теперь странно, как может идти на это женщина. Так же не могу это представить, как не могу себе представить, чтоб за деньги отдавать себя. Это всю душу может изломать, – все, что там со мною делали. На губы навсегда от этого должна лечь складка разврата, а в глазах застынут страдание и цинизм. Легальная бойня будущих людей. Не могу об этом больше думать.

Весь вечер был теплый и нежный. Марина отдыхала душою в любви и виноватой ласке, которою ее окружил Темка. Но все возвращалась мыслью к случившемуся. И уже когда потушили свет (Темка остался у нее ночевать, устроившись на полу), Марина сказала:

– Помнишь, осенью была статейка в «Красном студенчестве»? Она теперь все у меня в голове. Как это там? «Дни наши насыщены не

запахом ландышей и полевых цветов, а запахом йода... Кто расскажет людям о нашей обыкновенной студенческой любви, распинаемой на голгофе гинекологического кресла?»

Ночью Темка слышал сквозь сон, как Марина тихо плакала.

Жизнь опять встала на обычные рельсы. Опять оба, – и Марина и Темка, – закрутились в кипучей работе, где исчезали дни, опять аудитории сменялись лабораториями, бюро ячейки – факультетской комиссией. Во взаимных отношениях Марина и Темка стали осторожнее и опытнее. Случившееся неожиданное осложнение больше не повторялось.

Прошло года полтора. Оба подходили к окончанию курса.

Марина сдавала последние зачеты и готовилась взяться за дипломную работу. Перед Темкой тоже была дипломная работа, да еще три месяца производственной практики.

И в это-то время случилось однажды вот что.

В субботу к Марине пришел Темка, они отправились в кино.

Революционер-рабочий. Утром спит, его прибегает будить четырехлетний сынишка. Будит, отец возится с ним, играет. Потом мальчишка в другой комнате будит живущего у них студента, тоже революционера, который потом окажется предателем.

И опять смеющаяся мордочка мальчика, и та милая естественность, с какою выходят на экране животные и дети.

Марина прижималась в темноте к локтю Темки и в восторге спрашивала:

– Правда, какой славный мальчишка? Ах, какая прелесть!

Темка удивленно слушал. Чего она приходит в такой восторг? Мальчишка как мальчишка. А она равнодушно смотрела на подвиги неизменно твердых революционеров-рабочих, на предательство студента и все ждала, не появится ли еще раз мальчишка.

И, когда шли они из кино, Марина все время восхищалась мальчишкой, так что Темка усмехнулся и сказал:

– Что он тебе так по вкусу пришелся? Самый обыкновенный сопляк, и ничего особенного.

Тогда Марина поссорилась с Темкой из-за какого-то пустяка, у крыльца своего дома сказала ему: «Прощай», и он, печальный и недоумевающий, побрел ночевать к себе в общежитие.

С этой поры стало с Мариною твориться странное. Сидит у себя в комнате, готовится к зачету по геологии или читает «Спутник агитатора». За стеною шамкающим плачем заливается грудной ребенок. Соседка Алевтина Петровна недавно родила, и ребенок очень беспокойный, непрерывно плачет. Марина перестанет читать и долго слушает, задумавшись. Вот она прижала грудью руку к краю стола, почувствовала свою грудь и ощутила: не нужно ей, чтобы грудь ее ласкали мужские руки, целовали мужские губы. Одного хотелось. Страстно хотелось держать на руках маленькое тельце и чтобы крохотные губки сосали ее. И все, что раньше к себе тянуло, что было так разжигающе сладко, теперь представлялось грязным и тяжелым.

Марина разожгла в кухне примус, поставила чайник. Вошел в кухню гражданин Севрюгин, совторгслужащий, муж Алевтины Петровны. Он сказал извиняющимся голосом:

– Очень наш младенец орет, просто сладу с ним нету.

А вам учиться надо. Мешает он вам?

Марина поглядела на него, помолчала и вдруг ответила:

– Мешает. Очень завидно.

И быстро ушла из кухни.

Однажды после обеда в комнату Марины постучалась Алевтина Петровна и сконфуженно сказала:

– Мне так совестно вас просить. Сейчас только вспомнила, – нынче последний срок талону на масло, нужно бежать в лавку, очередь длинная... У вас через стенку все слышно: если заплачет мой мальчишка, запряните, что с ним. Вы уж простите. Такая забота с этими ребятами, просто беда.

Ребенок уже плакал за стеною.

Марина отложила учебник геологии и оживленно встала.

– Я сейчас пойду. Мне будет приятно. И не торопитесь.

Пришли в соседнюю комнату. Алевтина Петровна сказала:

– Уж вы меня простите. Буду нахальной до конца. В кухне на керосинке греется вода, хотела ему сегодня ванночку сделать. Приглядите уже и за водой.

– Да хорошо, хорошо, все сделаю. Идите.

– Вот спасибо вам. Если мокрый будет, вон пеленка чистая висит на спинке.

И ушла, благодарно улыбаясь.

Ребенок плакал в кроватке. Марина взяла его на руки, стала носить по комнате. Утешающе мычала:

– Ну, не плачь!

Прижималась губами к атласистой коже выпуклого лобика.

Ребенок перестал плакать, но не спал. Марина хотела положить его в кроватку и взяться за учебник. Однако все глядела на ребейка, не могла оторваться, притрагивалась губами к золотистым волосикам на виске, тонким и редким. Щелкала перед ним пальцами, старалась вызвать улыбку... Безобразия! На душе – огромный курс геологии, а она в куклы, что ли, собралась играть?

Положила ребенка в кроватку, села к столу, раскрыла учебник. Но мальчик опять заплакал. Марина пощупала под пеленкой: мокрый. Обрадовалась тайно, что нужно опять им заняться. Распеленала, с излишнею от непривычки бережностью переложила его в чистую пеленку, хотела запеленать. И залюбовалась. В крохотной тонкой рубашонке, доходившей только до половины живота, он медленно сучил пухлыми ножками, сосредоточенно мычал и совал в рот крепко сжатый кулак.

Глупые слезы тоски и беспредметной обиды задрожали в груди. Марина закусила губу, плечи ее задергались. Остро, остро, почти чувственно милы ей были эти полные ручки с ямками на локтях, у запястий перетянутые глубокими складками, и все это маленькое прелестное тельце. Как будто глаза какието у ней раскрылись: что-то особенное было перед нею, необычайное и несравненно милое.

Марина за весь час так и не притронулась к учебнику. Пришла Алевтина Петровна, опять стала извиняться и рассыпаться в благодарностях. Марина спросила:

– Вы сейчас будете купать мальчика?

– Да.

– Позвольте посмотреть?

– Пожалуйста! Конечно!

Из оцинкованного корыта шел теплый пар. Алевтина Петровна раскладывала на столике мыло, кокосовую мочалу, коробочку с присыпкой. Распеленали ребенка. Стали мерить градусником воду. Голый мальчишка лежал поперек кровати, дергал ногами и заливался старчески-шамкающим плачем. Мать, с засученными рукавами,

подняла его, голенького, положила над корытом так, что все тельце лежало на ее белой мягкой ладони, и погрузила в воду.

Ребенок сразу перестал плакать, широко раскрыл глаза и испустил удивленный звук: «О!»

Свет электрической лампы под зеленым абажуром падал сверху. Мальчик медленно двигал ногами в сверкавшей зелеными отсветами воде и пристально глядел в потолок. Мать хотела начать мылить ему голову, но тоже заметила взгляд и остановилась. И улыбнулась.

– Ишь, как смотрит!

Большими, вглядывающимися глазами мальчик уставился вверх, как будто что-то было перед ним, что он только один видел, а кругом никто не видел. Стало тихо. Он глядел не мигая, серьезно и настороженно. И как будто припоминал. Припоминал что-то далекое-далекое, древнее, что было с ним тогда, когда земля была такая же молодая, как он теперь. И как будто чувствовал, как плещется над его головою и вокруг него беспредельный океан жизни, в котором он был маленькой, но родной капелькой.

И еще раз он испустил свой удивленный звук; «О!», и все продолжал смотреть вверх.

Марина взволнованно заходила по комнате.

Вечером пришел Темка. Марина в разговоре то и дело задумывалась, так что Темка, наконец, удивленно спросил; – Чего это с тобой?

– Ничего.

И горячо прижалась к нему, И была долгая ночь. И были долгие разговоры. Страстные и странные.

– Нет! Так не хочу!

– Ну, Маринка, да что с тобой! Ужли ж хочешь, чтобы так было, как полтора года назад? До ребят ли нам сейчас? Подожди, дай кончим, теперь недолго.

Марина вызывающе ответила:

– Нам – до ребят ли! О себе говори. Тебе не до того?

Подумаешь, – самое тут важное, до того ли тебе это, или не до того... Темка! Пойми! – Она села на постели, с тоскою простерла голые руки в темноту. – Хочу белобрысого пискуна, чтоб протягивал ручонки, чтоб кричал: «Мама!» Прямо, как болезнь какая-то, ни о чем

другом не хочу думать. И ты мне противен, гадок, и все это мне противно, если не для того, чтоб был ребенок!

Темка вскочил и быстро стал одеваться. Открыл электричество. Марина враждебно следила за ним из-под одеяла. Было четыре часа утра. Он сердито ушел.

В конце концов Темке пришлось уступить. И случилось то, чего желала Марина.

Опять было ей очень тяжело. Опять изводили тошноты и постоянно болела голова. Но в душе жило сладкое ожидание, и Марина с торжеством несла все тягости. Отлеживалась и бодро бралась опять за учебники. И с одушевлением вела кружок текущей политики на прядильной фабрике.

Месяцы шли. Однажды возвращалась Марина из фабричного клуба с девушками своего кружка. Горячо говорили о революционном движении в Индии, о Ганди, о налетах на соляные склады и «красных рубашках». Комсомолка-работница Галя Андреева поглядела на выпирающий живот Марины, вздохнула и сказала:

– Эх, Маринка, Маринка! Здорово ты насчет текущей политики загинаешь. Так по всему свету все и видишь, где что и что к чему. А осенью что будет? – Она вопросительно положила руку на живот Марины. – Бросишь нас. Всегда так: заведется ребенок – и бросает девчонка всякую работу.

Марина расхохоталась:

– Дура ты, Галька! Чем до такого мещанства дойти, да я лучше бы сейчас сбросилась с этого моста в Язу. Можно и ребенка иметь, и не уходить с общественной работы.

Другая комсомолка-работница, замужня, грустно возразила:

– Все мы так говорим. Не знаешь ты еще, сколько ребята заботы берут.

– Ну, вот увидишь, – самоуверенно сказала Марина.

Часто Марину охватывало теперь чувство усталости и большой беспомощности. Иногда на улице, и особенно в очередях за хлебом или молоком, сильно кружилась голова. И вообще все трудней становилось жить одной.

Темка переселился из общежития к ней. Он помогал, в чем только мог и на что хватало времени. Был к Марине нежен и внимателен. Но – что скрывать? Неловко как-то было ему, когда он теперь шел с нею

по улице, и встречные, особенно женщины, быстрым и внимательным взглядом окидывали выпячивающийся живот Марины. И как у ней походка изменилась!

Прежде ходила быстро и словно на пружинах, а теперь медленно переваливалась с ноги на ногу, как гусыня. Сидела, широко раздвинув ноги. Вообще Темка теперь вдруг заметил, как она некрасива. Красива, собственно, Марина никогда не была: курносая, в частых веснушках весною, с невьющимися волосами, подстриженными а ля фокстрот. Но было в ней что-то крепкое, здоровое и комсомольски задорное. Теперь веснушки слились в одно темно-коричневое пятно, покрывавшее переносицу и щеки, а губы были белые. Из глаз же глядела постоянная усталость.

И однако, несмотря на все это, Темку сильно тянуло к Марине. Она была ему по-прежнему желанна. Но для нее ласки его были теперь совершенно невыносимы, она судорожно отталкивала его руки, а на лице рисовалось отвращение. Темка отлично понимал, что все это очень естественно и вполне согласно с природой, но в душе чувствовал обиду. Еще же обиднее было вот что. Марина была грубовата, вспыльчива, но всегда Темка чувствовал, что он для нее – самый близкий и дорогой человек.

Теперь он ясно видел, что о нем Марина думает очень мало, а что все мысли ее, как компасная стрелка к полюсу, тянутся к тому, кто медленно рос и созревал внутри ее тела. Это было как-то особенно обидно.

Иногда, сквозь туман вечной занятости и мыслей о не своем личном, вдруг в голове Темки яркой паровозной искрой проносилась мысль: «ро-ди-те-ли». И ему отчетливо представлялось, каким это песком посыплется на скользящие части быстро работавшей машины их жизни. Он встряхивал головою и говорил себе огорченно:

– Ну и ну!

Однажды они сидели вечером и прорабатывали вместе тезисы к предстоящему съезду партии. Темка читал, а Марина слушала и шила распашонки для будущего ребенка. На столе гордо разлеплась очень сегодня удачно купленная бумажейка, – ее Марина уже нарезала на пеленки.

Три коротких звонка. К ним. Темка пошел отпереть. В коридоре зазвучал его громкий сконфуженный хохот, он растерянно говорил

кому-то:

– Подожди тут! Одну минуту!

Быстро вошел в комнату. И взволнованно прошептал:

– Поскорей! Убери все это!

Марина удивленно и грозно спросила:

– Что убрать?

Темка виновато шептал:

– Васька Майоров пришел, секретарь райкома.

– Ну, так что ж?

Темка откинул крышку корзины и поспешно стал бросать со стола в корзину нарезанные пеленки. Марина следила за ним, не шевелясь. Он опять метнулся к столу, схватил ее шитье, накололся на иголку, выругался, скомкал распашонки и испуганно сунул их тоже в корзину. Захлопнул крышку. Высасывая уколотый палец, пошел к двери.

Вошел Майоров, – бритый, с тонкими насмешливыми губами. Говорили о предстоящем съезде. Марина не вмешивалась в разговор, молча сидела на стуле и била карандашом о лежавшую книгу то одним концом, то другим.

Через полчаса Майоров ушел. Марина все сидела молча и глядела на Темку. Он старался не встретиться с нею глазами.

И вдруг Марина тяжело сказала:

– Какая у тебя была подлая рожа!

– Когда? В чем дело?

Марина молчала и продолжала тяжело глядеть на Темку.

Потом проговорила медленно и властно:

– Вот что, милый мой товарищ! Смывайся-ка отсюда!

– Маринка! Что ты? Что с тобой случилось? Ничего не понимаю.

– Не понимаешь? Тем хуже для тебя. Вы-ка-ты-вай-ся!

Я не хочу больше с тобой жить.

Сергей Николаевич Сергеев-Ценский

Конец света

I

Получив командировку от одной из столичных газет на рыбные заводы и промысла Крыма, Прудников поехал туда не один, а со своим восьмилетним сынишкой Костей: он решил, что и Косте полезно будет познакомиться с промыслами, с заводами рыбного треста, с осенней путиной и со всем вообще строительством, какое попадется на глаза в этой поездке.

– Правда, – говорил он сыну, – очень большая с тобою будет возня по части кормов и ночлегов, но так уж и быть, я пойду на это, лишь бы из моей возни с тобой что-нибудь путное для тебя вышло... Кроме этого, конечно, взять тебя надо еще и затем, чтобы ты дал отдохнуть от своих фантазий твоей мачехе...

– А я чтобы отдохнул от ее фантазий! – живо отозвался на это Костя и добавил: – Правда ведь, товарищ Семен?

Товарищ Семен, отец Кости, подумал несколько и согласился:

– Отчасти, конечно, это правда... Но ты ее извини все-таки: она – женщина нервная, и ясно уж, что свой ребенок для нее дороже тебя...

– Почему?

– Видишь ли, есть законы природы, которые... Трудно с ними бороться неразвитому мозгу... И вообще... Вот наш вагон трамвая – идет на Курский вокзал... Нажми-ка педали, авось на площадку втиснемся...

Так они поехали вдвоем, в начале октября, с багажом очень несложным и легким. В купе плацкартного жесткого вагона Костя мало наблюдал из окна эти пробегающие мимо картины жизни бойких станций, глухих полустанков, удручающе-скучных после Москвы деревень и пустых полей: быстро утомили его их однообразие и бесконечность. Но зато с большим любопытством воззрился он на соседа по купе, очень напряженно, точно тащил он шестипудовый куль, писавшего в измятой тетради какой-то доклад карандашом. Вид этого труженика был действительно самозабвенно

свиреп, точно он уничтожающе спорил с кем-то невидимым, выпячивал на него толстые бритые губы, пронизывал его негодующими взглядами из-под насупленных бровей, страшно стискивал зубы и шевелил желваками на очень прочных скулах.

По тем косвенным раздраженным взглядам, какие бросал при этом занятии суровый человек из-под желтых крупных костлявых надбровий, Костя понял еще, что ему больше всего мешают писать соседи слева: какая-то женщина с черными бровями и родинкой на носу и ребенок ее лет четырех, которого звала она Ариком.

Правда, была это очень веселая мать очень бойкого сыночка, и оба они все время хохотали наперебой, потому что играли в желуди. Мать, черноволосая и молодая, все прятала от мальчика эти крупные зеленые блестящие желуди, а мальчик не должен был смотреть, куда она прячет их, однако очень хитро подглядывал и всегда безошибочно лез именно туда, где были спрятаны желуди.

– Жулик! Ловкий ты жулик! – кричала мать, и оба хохотали.

Их игру неприятно было наблюдать Косте, потому что вспоминалась мачеха, которая жила теперь в Москве в их квартире, и мать, которая от них уехала вот уже года два назад и взяла с собой младшего брата Кости, которого звали если полностью, то «Московский институт тесовых ящиков», а сокращенно – Митя. Неприязненно косясь на Арика и его мать, Костя представлял, как так же вот мелькают теперь перед глазами Мити голые до локтей, мягкие, теплые, белые, проворные руки матери и тоже прячут желуди в рукава, в карманы, в дорожную корзинку... Завидно ему, пожалуй, не было, однако казалось ему, что было бы все-таки гораздо лучше, если бы тут в купе вместо этой чернобровой, чужой женщины с родинкой на носу сидела мать, а вместо плутоватого Арика простодушный Митя.

Он знал, что его мать с Митей и с новым своим мужем живут где-то в Харькове, и когда кондуктор прокричал: «Граждане, скоро Харьков!» – Костя очень забеспокоился.

– Харьков сейчас! Харьков! – начал он тормозить спавшего отца.

– А? Харьков? Ну что ж... – перевернулся отец, не открывая глаз.

– Собираться будем! Укладываться! – не отставал от него Костя.

– Зачем? – спросил отец, приоткрыв один глаз.

– Как зачем?... А куда же мы едем?

– Мы, брат, едем на конец света...

– Где это «конец света»?

– А где железная дорога кончится, там и конец... Там и встанем...

– А это... это близко от Харькова?

– Можешь не беспокоиться... и меня не беспокой... далеко, очень.

Костя долго смотрел на такой знакомый ему с начала его жизни широконоздрый нос отца, плоские бритые губы, глаза с белыми ресницами и круглую голову, остриженную под ноль, и спросил:

– А в Харькове долго будет стоять поезд?

Угадав его следующий вопрос, Прудников ответил на него:

– Нет, к маме твоей мы съездить не успеем: поезд будет стоять всего минут двадцать.

– Вот и Харьков! Смотри – Харьков! – сказала чернобровая своему Арику.

– Харьков! – повторил Арик громко.

– Харьков, – прошептал Костя и кинулся к окну.

И все время, пока стоял поезд, он не отходил от окна и во всей торопливой толпе на перроне огромного вокзала разглядывал только молодых высоких женщин с русыми, подстриженными у плеч волосами.

– Как же это так? Мама в Харькове, а не было ее на вокзале... а? – спросил Костя отца, когда поезд двинулся дальше на юг.

– А зачем же ей было выходить на вокзал? – удивился Прудников. – Я ведь ей не писал, что мы едем и чтоб она вышла к такому-то поезду...

– А почему ты... почему не писал?

– Э-э, почему, почему?... Она теперь занятой человек... Она ведь не сидит теперь дома, как в Москве сидела, а служит...

Костя задумчиво свернул свиное ухо из полы отцовского пиджака, шевельнул это ухо туда-сюда, но тут же бросил и ничего уж не спросил больше о Харькове.

В Джанкой приехали ночью. Здесь была пересадка на Керчь, самый рыбный из городов Крыма. Костя устроился для спанья в уголку на лавке, и до утра кругом него клокотал вокзал. Пили чай за столиками и столами и что-то такое ели, для чего сами ходили в буфет и оттуда приносили себе то стакан чаю, то бутерброд, а пока ходили одни, оставленные ими стулья занимали другие, и потом подымалась

из-за этого голосистая брань. Швейцар спрашивал у всех входивших билеты, кого-то выводил, взявши за шиворот и приговаривая: «Иди-иди отседа! Иди-иди, тебе говорят, отседа!» – и в то же время кричал кому-то в сторону: «Гражданин, без билета нельзя!..» У какой-то старухи украли и билет и деньги, и она голосила на весь вокзал, пока ее не вывел тот же швейцар. Пронзительно свистали паровозы за окнами, и кто-то то и дело откуда-то из-за стены, высоко, под самым потолком, громко, но очень гундосо говорил в черную трубку: «Слушайте! Поезд номер... отходит...» И потом секунд через пять: «Паф-та-ряю! Поезд номер... отходит...» Среди этого гула, и гама, и воплей, и свистков, и «паф-та-ряю!» Костя заснул наконец, а проснулся только утром, когда черная труба «пафтаряля», что поезд на Керчь отходит во столько-то утра, и отец подымал его тяжелую голову с чемодана.

До Керчи, которая от Джанкоя всего в двухстах километрах, поезд, весь из одних только жестких вагонов без плацкарт, тащился целый день. И несколько раз спрашивал отца Костя:

– Когда же будет этот твой конец света, товарищ Семен? Я уж, должен тебе сказать, очень устал ехать!..

Все-таки к вечеру приехали в Керчь.

Рядом с ними, в чрезвычайно густо набитом вагоне, как-то незаметный прежде, устроился плотный обрубковатый человек, и без того коротенький да вдобавок оказавшийся еще и с поврежденной левой ногой: она у него была намного короче правой, отчего ботинок его на левой ноге был какой-то двух- или даже трехэтажный и очень занимал Костю.

Но когда Костя обратился к отцу: «Погляди, – что это?» – и указал ему пальцем на странный ботинок, Прудников широко раскрыл глаза на Костю и покачал укоризненно головой.

Коротенький человек с коротенькой левой ногой сел на какой-то маленькой станции перед Керчью, вот почему Прудников, когда уже показалась вся Керчь, обратился к нему:

– Вы, должно быть, бывали раньше в этих местах, – скажите, вон та гора как-нибудь называется? – и указал на крутую гору, внизу усаженную домами.

– Ну, а как же не называется? – удивился тот. – Это же и есть гора Митридат! А вот то, что на ней зданьце кругленькое белеется, это –

памятник ему.

– Кому же это ему? – не понял Прудников.

– Как кому? Самому этому Митридату!

– Ми-три-дат?.. Гм... – начал было вспоминать Прудников и не вспомнил.

– Памятник этот спокон веку тут стоит и уж, почитай, развалился, – объяснил коротенький.

– Ага, – значит, старина-матушка... А море тут какое против города – Азовское или же Черное?

– Перед городом тут не море – пролив... Азовское мы проехали: я с Азовского моря сел, со станции Ташлыяр... А дальше – там, за проливом, Черное пойдет... Ежели через пролив переехать, там же Тамань, – и считается берег кавказский...

– Вот мы с тобою куда, Костик, заехали!

– Это и есть конец света?

– Да-а, отчасти... Граница!.. И Кавказ отсюда – рукой подать... Вот гляди и наблюдай... Ты, главное, набирайся впечатлений, потому что впечатления – это, братец, все! То от моих впечатлений ты питаешься хлебом, а то от своих со временем будешь питаться, когда вырастешь и спецкором будешь... Понимаешь?

– Я понимаю, – отозвался Костя, ожидая большого вокзала и суеты.

Однако ни вокзала, ни суеты в Керчи не оказалось. Подъехал поезд к какому-то маленькому домишке, и люди начали высыпаться из вагонов прямо на шпалы, а коротконогий сказал Прудникову:

– Если вам в гостиницу, то и мне тоже в гостиницу, – можем пойти вместе: гостиница на всю Керчь только одна... Случится если нам койку в общем номере достать, – будет наше счастье...

И пошли втроем. И вместе с ними шли все пассажиры, волоча свои вещи. Дорогой оказалось, что фамилия коротконогого – Пискарев.

Шли долго. Наконец, усталый Прудников сказал:

– Эх, хорошо бы было извозца нанять!

А Пискарев ухмыльнулся весело:

– Ну, какие же в Керчи извозцы!.. Правда, раньше когда-то были...

– Неужели совсем нет? А город как будто широко довольно раскинулся... Сколько тут тысяч жителей?

– С заводом считается тысяч семьдесят...

– Ты слышишь это? – обратился Прудников к Косте. – Запомни! Семьдесят тысяч жителей Керчи обходятся без извозчиков! А завод здесь где, товарищ Пискарев?

– А вон видите, трубы высокие торчат, это и есть металлургический завод... До него отсюда семь километров... Туда машины ходят.

II

Всего только одна койка оказалась в единственной керченской гостинице в общем номере, и ту захватил каким-то образом Пискарев.

Правда, татарка в красном платочке, ведавшая комнатами и койками, была его хорошей знакомой; она сказала, улыбаясь: «А-а! Товарищ Пискарев!» – и протянула ему в окошечко, за которым сидела, тонкую смуглую руку.

– Послушайте, я спецкор, я приехал из Москвы по командировке... Вот моя командировка, читайте! – пробовал подействовать как-нибудь на эту, красноголовую, от которой зависели койки в общем номере, спецкор Прудников. Однако та, неумолимая, не стала даже и читать командировочной бумажки; она сказала коротко и сильно:

– Коек нет!

– Тогда дайте комнату, – тем лучше будет, а то я с ребенком...

– Ком-на-ту?.. Что вы это, товарищ? Ком-на-ту! – и татарка, поглядев на Пискарева, вдруг рассмеялась такой наивности спецкора.

– Где же мне ночевать? На дворе, что ли?

– Можете ночевать на лестнице, – сказала неумолимая.

– Вот тебе на! На лестнице!

– Что же тут такого?.. Пока еще не так холодно... Ночуют же люди!

– Вот так конец света! – сказал Костя. – На лестнице!

Но товарищ Пискарев отозвался на это степенно:

– На лестнице, на диване... Приходилось и мне как-то так тоже... Кто спать захочет, уснет, конечно... А разве есть такой человек, какой чтобы спать не хотел?

Прудников чувствовал, что ему неудержимо хочется спать. Он сказал примиренно Косте:

– Ничего не поделаешь, брат! Все-таки ведь диван дадут, а не то чтобы прямо на ступеньках... Давай будем платить и располагаться... А то кабы и лестницу кто не занял!

Диван, очень ветхий, ошарпанный и вонючий, оказался на лестнице на втором этаже под аркой, как раз против общей комнаты, в которой счастливый Пискарев нашел себе место. Едва прикрыли этот диван простыней, как тут же бойко пополз по простыне проголодавшийся клоп, за ним другой, третий...

– Смотри-ка, смотри! Это что? – закричал Костя.

– Вижу, – сказал Прудников. – Однако пока только три... И ты знаешь, что я тебе скажу? Похоже на то, что больше тут и во всем диване нет клопов: только три на наше счастье...

– На твоё счастье – два, на мое – один, – распределил Костя.

Пискарев, устроившись у себя, тоже вышел на лестницу. Насчет клопов он сказал:

– От клопа какой же может быть вред? Вот сыпная вошь если, это уж действительно! И даже у нас в рыбном цехе был один недавно случай с рыбаком: доктор признал так, – сыпную вошь где-то схватил...

– Простите-ка, это где у вас в рыбном цехе? – встрепнулся Прудников.

– А это где я в поезд сел, возле деревни Ташлыяр... Мы относимся к тресту «Союзрыба», а я этого рыбного цеха заведующий...

– Вот тебе на! Что же вы мне раньше не сказали? Ведь я, выходит, именно к вам-то из Москвы и ехал!

И с Прудникова сразу слетела вся дорожная усталость.

– Вот что, – заторопился он, – давайте возьмем с вами кипяточку – чай и сахар у меня есть, – сядем на этот презренный диван и потолкуем, – идет?

– А где же вы думаете достать кипяточку? – очень удивился Пискарев.

– Как где? Здесь же, в гостинице!

– Здесь его и в заводе нет... Есть тут в Керчи одна чайная, там же, конечно, и печенье могут дать, – только она почему-то до шести часов работает, а сейчас уж восемь... В такое время, как теперь, нигде вы здесь чаю не напьетесь, исключая у кого есть знакомые...

– Вот так история! А утром?

– Утром с восьми в чайной напьемся.

– Значит, Костя, ляжем спать без чаю.

– Я не согласен, – мрачно сказал Костя.

– Ты как хочешь, а мне подвезло: я сейчас о рыбном хозяйстве поговорю... Садитесь, товарищ Пискарев, потолкуем, а?

Пискарев поглядел на него недружелюбно, однако сел на простыню и поджал под себя куцую ногу, спросивши:

– Об себе я должен рассказывать или как?

– И о себе, так как вы – видный работник по рыбной части, и о рыбе, о чем хотите и как хотите, а мое дело слушать внимательно... Костя, а ты ложись спать!

– Ну, вот еще!.. Приехали на конец света, да чтобы спать!.. Я пойду на улицу посмотрю...

– Поди посмотри, что ж...

Костя взялся за скользкие перила лестницы, которые сильно блестели, отражая свет лампочки вверху под аркой, оглянулся на отца, усевшегося рядом с рыбником Пискаревым, у которого и голова, освободившаяся от кепки, оказалась такая же курбатенькая, широкая, как он весь, со скромными косичками светлых волос, – перескочил через одну ступеньку, потом еще через одну и так доскакал до вестибюля, где оказалась неизвестно откуда появившаяся толпа странного вида людей в плащах и то в черных, то в серых шляпах... Толпа эта была молчаливая, однако за нее, за всех этих в шляпах и плащах, кричал какой-то черненький человечек в кепке давешней неумолимой татарке:

– Вы должны были для нас оставить два номера, и мы должны будем получить эти два номера, и все! И не может тут быть никаких лишних разговоров!.. Эти два номера были заказаны по телеграфу позавчера!

– Пускай были заказаны, а в них сейчас живут люди!.. Что, я их должна на улицу выкидать? – горячилась татарка.

– Нам до этого дела нет, куда их вы должны выкидать!.. Мы приехали сюда на двух машинах, и мы знали: тут у нас есть два номера!.. Они у вас есть, товарищ, два свободных номера, и вы их нам даете сейчас же! Иначе я знаю, куда мне надо звонить!

Так кричали минут десять черненький человек в кепке и татарка в красном платочке... А на полу грудой лежали кожаные чемоданы, облепленные белыми и желтыми бумажками.

Наконец, все эти в шляпах и плащах пошли вместе с татаркой наверх, а Костя вышмыгнул на улицу.

III

– Я раньше в Астрахани и на Каспийском вообще море работал, – говорил Пискарев Прудникову, – а теперь сюда переброшен, чтобы дело здесь наладить... Ну, да мы за рыбой и на Черное море ездим, вплоть аж до самого Сухума. Теперь уж мы не ждем, чтобы к нам рыба шла, – это прежде так рыбаки дожидались, а мы ее теперь сами ищем... А найти не можем, где ее косяки, – аероплан враз найдет! Ему сверху все решительно видать по цвету: какой вода имеет цвет, когда пустая, а какой, когда с рыбой... С рыбой она показывает намного темнее... Конечно, как теперь все на хозрасчет переведено, приходится нашему тресту много за это платить, а все-таки зато у нас простоев меньше бывает – это раз, а другое – мы можем планировать... А насчет Сухума, например, взять прежние времена и теперь: ведь там же свои лодки есть и свои рыбаки, – а рыба вся у них... Как же мы-то со своими припасами к ним за рыбой гоним? В прежнее время если, да здесь бы смертный бой между нами зашелся, – многие бы увечье себе приняли, как я вот мальчишкой еще у себя на Каспийском... А теперь спору между нами быть не может даже, как хозяин у нас один – «Союзрыба»!

– Хорошо, а рыбакам-то вы позволяете рыбой пользоваться? – спросил Прудников.

– Что касается рыбаков, тем, конечно, приходится позволять, без этого нельзя. Нужно, чтоб и его интерес тоже был, а то он будет, конечно, шаля-валя... Много, понятно, несознательного элемента попадается, – вот почему... Потом то еще ценить приходится, какой

рыбак! Хороший рыбак – он знает, где рыба идет!.. Вот хотя бы меня самого взять. Я смальства на рыбе. Был раз у нас шторм... Я своим хлопцам говорю: «Ребята! После шторма обя-за-тельно должна рыба в берега ударяться!» Они, конечно, оспаривают: «Это когда как... Раз на раз не приходится...» Ладно!.. Ну, я раненько утром встал, круг бережка хожу, смотрю – есть!.. А другому покажи, кто этого не знает, – хотя бы вас взять – что вы увидите? Как есть ничего! Вода и вода тихая... А ры-бу – ее под водой надо чувствовать!.. Иду я к своим тогда, бужу: «Спускай, ребята, байды!» Так мы потом – верите? – байду за байдой потом к берегу гнали, а в байде считай рыбы в каждой пятьдесят пудов! Она ведь когда идет, эта рыба, до того плотный ход имеет, – палку в нее востреляй в середину, – стоять будет! Так и поплывет палка стоймя, куда рыба плывет!.. А куда же она ходит, рыба? Это ведь целая история, и все надо нам знать... Икру, например, метать – это она в сладкие лиманы ходит, а как отmetaется, ее мы не ловим тогда, пускай мяса-жиру нагуляет. Она, как отmetaется, идет до того унылая, совсем спит на ходу, и что касается жиру, то в ней его ни капли. Всякая рыба, как икру отmetaет, она нам тогда не годится... Также и шторм, например, взять... Какая рыба покрупней, поздоровей, та может шторм выдержать, а уж что касается мелочи если... султанка, например, если спротив шторма ей придется идти, от нее только одна голова остается, до того из последних сил выбивается!.. А в двадцать седьмом году летом она, барабунька эта, – ну, ее, конечно, и султанкой зовут, – вся чисто подохла! Она мелкую воду любит, около бережка, а вода возьми да враз вся зацвети, – вот она и задохлась. Теперь вот уж сколько лет после того мы ее больших партий не видим, а так только, если попадется случаем в сеть, – даже жалко ее и оставлять, – на развод обратно кидаем в воду... А вот будто в десятом году, – я тут в те годы не был, старые рыбаки говорили, – из Турции штормом пригнало рыбу, – греки ее паламидкой называли, а русские названия не могли подобрать, как они такой подобной никогда не видали. Крупная рыба была, а до чего же, говорят, вкусная, и мясо в ней мягкое, а костей совсем чуть! Сама вроде как мраморная вся... Греки покупают и об ней говорят: «Из какого моря сама рыба, такую имеет и видимость...»

– Из Мраморного, значит, моря? – спросил Прудников.

– Должно быть, так... Одним словом, из Турции... Греки ее покупают, а русские смотрят только: «Кто ее знает? Может, ядовитая!» А как рассмотрели пляделками, что за рыба, – ее уж и на базаре нет!

– Паламидка, значит? – переспросил Прудников и записал в книжечку.

– Так греки называли будто... А вид у нее был совсем как большая скумбрия... Тогда многие себя за чуба дергали, что по глупости своей ее не покупали, а потом уж, как ее распробовали, что за рыба, – она уж ушла в свое море. И вот скажи же: что бы ей у нас тут остаться? Ну, заблудилась, и ладно, и живи у нас, а мы, рыбаки, тобой пользоваться будем, – не-ет! Как это может быть, чтоб рыба да вдруг заблудилась? Рыба свое место знает изо всех! Небось, брат, рыба, она не заблудится!.. Говорят: как это птицы летят и свои гнезда находят? Хорошо, птицы, конечно... Однако же им сверху видать землю, а рыба в воде далеко ли видеть может? А вот же она знает в воде все!.. Если ее шторм куда загонит, это, конечно, ну уж чтобы она назад к себе дороги не нашла в море, – не-ет! На это ума у ней хватает!.. Тем более как она же стеной идет, и зря она не ходит – на какие там прогулки, как человек, – а исключительно по своему делу... Икру метать, например, идет она куда? Обязательно в сладкую воду!.. Вы думаете, не знает она, что на свою погибель идет? Знает, бедная!.. Ведь мы же ее в лиманах везде стережем!.. Мы один раз коропа на Кубани взяли, – прямо темно! Меряли тогда и весь свой расчет делали как? На кубические метры! И вышло у нас на проценты – пятьдесят пять процентов рыбы и аж только сорок пять процентов воды! Вот что тогда в реке Кубани делалось... Мальчишки на байдарочке подплывут крадучись и тут тебе вилами из воды рыбу кидают, как сено... Ну, конечно, за ними погоня и крики, – они в бегство... Так что мы там тогда, на Кубани, всей рыбы и взять не могли... А когда рыбаки не справляются – бывает и так, что посуды мало, рыбы всей взять не могут, они махало выставляют... ну, такую, как бы сказать, веху, чтобы ее издалька было видать: «подавай помощь!..» А самая сеть эта, какой мы ловим, называется «окаян»...

– Окаянная? – удивился Прудников.

– Китайское будто бы название: она к нам из Владивостока попала... У нас ведь и плавучий завод есть, а как же! А то ведь очень

большие количества рыбы, особенно летнее время, ни за что пропадать должны...

– А рыбакам вы хорошо платите? – задал привычный вопрос Прудников.

– Рыбакам остались мы должны в прошлом году за четыре месяца зарплаты, ну, конечно, вина эта не наша личная... Мы рыбу ловим, мы ее и сдаем, а нам деньги задерживают, – вот какое дело... А кроме того, бывает премия от рыбы, сколько поймают. Вот они и стараются поймать больше... Получается порядочная прибавка!

– Вы у себя там и красную рыбу ловите?

– А как же! На красную мы рыбу крючья по канаве ставим... А канава эта есть действительно такая в Азовском море, с чего она там – неизвестно, и в ней красная рыба – осетрята, белуга залегает, севрюга... Вот на нее и крючья. И так что в тумане, например, выходят рыбаки на байдарках, и должны же они свои буйки найти... Вот и спросите, как они это могут? Они по компасу, конечно, идут, а иначе им нельзя... Однако всякий свои буйки находит и разбирается, потому тут у каждого интерес: больше на свои крючья поймаешь – больше и получишь... А чужим крючьям, признаться, не так-то много и веры дают...

– Почему же все-таки это? – захотел понять Прудников. – Говорится ведь: в чужой руке кусок кажется больше...

– Насчет куска это действительно, потому что кусок, его видно... А что там в воде, этого не видать... И вот так выходит, что никто себя несчастнее другого не полагает, и на свое счастье всякий надежду имеет.

– Значит, красную ловите и простую... А какую же все-таки простую, как названия? – приготовился записывать Прудников.

– Названия? Рыба, ведь она названий много разных имеет... Судак, например, а его кое-где сулюю зовут... Так и называют: крупная – сула, а помельче – подсулок... Также лобан, и кефаль, и чуларка – порода эта одна и та же, все рыбы эти считаются породы одной, только рост у них разный: лобан бывает до четырех фунтов, а кефаль... да больше фунта мне кефали и не приходилось видеть... Ну, да я с судака начал, а на кефаль перешел... Мы же тут мелкого судака зовем чопом, а подсулок у нас – чопик называется... И вот я вспоминал, что барабунька вся отравилась, а сказать вот хотя бы

бычок, – почему же, он в той же воде жил, – не отравился? Бычок как тогда был, так и теперь мы его вполне бесчисленно берем... Что же до сельди касается, то, может, вы видали, когда бочонок откупоривают, – она одна в одну лежит, – прямо красота посмотреть! А кто ж это делает? Мы же все это и делаем. Потому что мы, как селедку поймаем, начинается у нас сортировка на восемнадцать разрядов. Каким же манером мы это делаем? Вот каким... Тысяча сельдей в пуде, называется эта сельдь у нас «пудник», и цена ей считается сто десять рублей; дальше: тысяча штук – два пуда, – «двупудник», – цена такой сельди уж двести тридцать рублей; три пуда тысяча, – цена уж четыреста семьдесят рублей... Так у нас считается восемнадцать всего разрядов.

– Вот как! Это замечательно! А восемнадцатый разряд?

– Восемнадцатипудник! Восемнадцать пудов в тысяче селедок... Это уж считается самая головка, и цена такой сельди ложится тысяча пятьсот рублей. Вот какая у нас работа идет! Ты же ее поймай, и ты же ее рассортируй, да смотри не ошибись, а то сбракуют!..

– Значит, вы же ее и солите?

– А как же! Не соленую же мы ее ловим... Солим же мы ее таким манером, чтобы мелкую селедку, например, два-три дня подержать в тузлуке, она и готова, а покрупнее, те, конечно, дольше, а самые крупные, так те даже еще и замораживать надо, как от мороза рыба начинает дубеть, и аж тогда только соль ее может прохватить, как следует, до красной кости... то мы, стало быть, делаем так: на низ мелкий лед ложим и соли, а уж потом рыба кладется! А холодный тузлук рыба уважает... Раз рыба мороженая, она сразу видна: у нее спинка будет как вороная, и сама она – мягкая, как живая, вот-вот поплывет! Совсем живой вид обозначает из себя, если она мороженая... Все это, конечно, надо знать... Пузанок, например, есть у нас, – ему за глаза два дня довольно, так и держим его два дня, а пересаливать ведь тоже не полагается... А почему же не полагается? Потому что от пересола с рыбы весь жир сходит... А если как следует засолить, пузанок до того бывает мягкий, прямо одними губами будете есть, а зубы для чего другого спрячьте!

– Хорошо, а вот вы сказали: тузлук...

– Тузлук мы как делаем? Считается так: десять процентов соли на ведро... Ну, а мы прямо руку в тузлук опускаем, – так и узнаем,

годится или еще соли досыпать. А то какие незнающие пробуют так: фунт если соли на ведро, – должно в таком тузлуке яйцо плавать, или там помидорка какая... Бабья примета! Мы где же это должны в море яйца брать или там помидору? Мы этого там не видим, а должны все сделать в натуре. Мы его сливаем, тузлук, и раз ежели пузырьки в нем скакают, значит, готово дело...

– А много ли у вас лодок в вашем именно цехе?

– У нас есть байды и есть судно... На байду пятьдесят пудов клади, а уж больше не зрись, а то пойдешь на дно скумбрию кормить, а судно, оно и пятнадцать тысяч пудов берет... Это все, одним словом, специальность, а так кого-нибудь возьми, не рыбака, он куда же годится? А уж рыбак, какой смальства привычный, он от нас не уйдет, ежели он рыбак природный. Куда же ему уйтить, когда весь его кровный интерес тут? Что он, землекопом, что ли, куда поступит, или по бетону на постройку, когда он рыбак? Он же считается, ну все равно что охотник с ружьем ходит, то и он, такой же охотник. Не то что мы рыбаков ищем, они нас сами ищут! Потому – у них же весь интерес ихней жизни тут, на байдаре, в море. В ночь, в полночь, когда ехать надо, он дома чесаться не станет: он враз готов и пошел неумойкой – в море, будет время, умоется!

– А пролив тут широкий?

– Пролив Керченский?... Считается четыре километра всего, и вполне мы его могли бы сетями перегородить и всю в нем рыбу застопорить, какая из Азовского моря идет, только этого делать не разрешается... А вот Кубань, Терек – те перегородаживаем во время икромета... А что касается теперешнего времени, то сейчас наши все силы на камсу идут, – камса сейчас в Черное море выходит, и так весь октябрь и, почитай, ноября половину с камсой мы возиться будем...

IV

Когда вышмыгнул Костя на улицу, то его поразило, что улица была почти пустая.

Конечно, народу на ней толпилось довольно, так как это была главная улица Керчи, но москвичу Косте, который привык с самого

младенчества к тому, что из-за людей в Москве никогда и нигде не видно домов, даже и главная улица Керчи показалась пустынной.

Вот прошли две цыганки и блеснули на него огромными белками глаз: может быть, они были и не цыганки, но так показалось Косте: сам он был сероглазый и волосы льняные. На цыганках были коричневые платки с голубыми и розовыми цветами.

Вот остановились против гостиницы двое бородатых рабочих с мешками, должно быть плотники, так как из мешков выпядывали у обоих желтые фуганки, но остановились они не затем, чтобы проникнуть в гостиницу: здесь, под сильным светом лампочки в подъезде, стояла девочка лет двенадцати и продавала пару копченых таранок. Один бородатый помял таранку чугунными пальцами, другой прикинул другую таранку на чугунной ладони, много ли она может весить, и оба спросили враз:

– А почему?

– Пять рублей пара, – сказала девочка скромно.

– Без ума ты! – качнулась сердито одна борода.

– Без понятия! – сожалеюще качнулась другая, удаляясь.

И в сторону грязных мешков, из которых выпядывали фуганки, кричала девчонка:

– Что? Дорого? Рогали!

Молодежь гуляла парочками и хохотала гораздо слышнее, чем хохочет та же, гуляющая парочками, молодежь в Москве... Четыре лошади, одна вслед другой, протащили по улице огромные возы грохочущих пустых бочонков, перевязанных веревками. Лошади были большие, и очень звонко лязгали их подковы о круглые булыжники мостовой.

Костя постоял у подъезда гостиницы недолго. Он вспомнил, что они с отцом и рыбником Пискаревым, когда шли от вокзала, подошли сюда слева, и смело пошел налево посмотреть, что там такое сейчас. А там через два-три дома оказался переулок, который вывел его на какую-то большую, должно быть рыночную, площадь. Площадь эта, правда, была теперь пустая и темная, но вдали на ней виднелась какая-то гулкая толпа, освещенная лампочками с карниза двухэтажного дома, и бодро рычали оттуда большие автобусы, как принято у них рычать перед отправлением. Автобусы в Керчи, точно в

Москве, это было и привычно для глаз и занятно, и Костя побежал туда к ним и скоро очутился в толпе.

– Куда это едут? – спросил он старуху в платочке.

– Как это куда? Всё на завод же! – и старуха ринулась становиться в очередь.

Переходя от одной людской кучки к другой, жадно глядя и слушая, Костя сам не заметил, как очутился на другом конце площади. Потом, думая, что идет назад к гостинице, он пришел к набережной, где было еще темнее, чем на площади, очень сильно пахло селедкой, сиротливо горел одинокий фонарь, не электрический, а с керосиновой лампочкой. Под фонарем медленно двигался кто-то в серой шинели с ружьем за плечами. Присмотревшись, увидел Костя, что двигался он между рядами новых бочонков, должно быть с селедкой, потому что от них именно и шел запах. Дальше в темноте что-то такое слегка качалось, очень страшное на вид. Это были большие парусные баркасы с убранными парусами, но Костя не понял, что это такое, и на него нашел страх от этой пустынности, темноты, от всего этого чересчур нового, невиданного в Москве, от множества бочонков с сельдями, от унылого одинокого керосинового фонаря и, наконец, от этого, в серой шинели с ружьем за плечами, молчаливо шагавшего.

– Дяденька! – сказал он ему несмело.

Он сказал это не громко, но тот услышал. Костя хотел спросить его, где гостиница, но только успел еще раз повторить: «Дяденька!» – как сторож в шинели сдернул ружье и выставил его в темноту перед собою. Он стоял как раз под фонарем, со всех сторон для него было непроницаемо темно, – слышно было только ему, что близко от него кто-то кого-то, подбиравшегося к бочонкам, чтобы укатить из них один, осторожно звал дяденькой.

– Это кто там смеет? – крикнул сторож, нацелившись в темноту, и Костя испуганно вскрикнул и пустился бежать обратно, а когда, отбежав уже порядочно, оглянулся назад, он испугался еще сильнее, он присел от испуга, припал к земле, как замершая в ужасе перепелка, над которой появился ястреб: звезды с неба вдруг посыпались вниз, туда, в море куда-то, в темноту, в бездонную пропасть, все сразу, все до единой!..

Не одна за другою падали звезды, а как-то сплошь, как падает крупный летний дождь, как идет кефаль в море, только одни из звезд

были тусклее, другие ярче, а были и огромные, пушистые, сверкавшие голубым сверканьем.

Если бы Костя заметил это там, в городе, он подумал бы, что это просто забавляется кто-то, пуская ракеты, но здесь, в пустой темноте, некому было пускать ракеты, и отсюда было видно огромное полнеба, а не какой-то жалкий клочок его между крышами домов.

– Что ж это делается такое? Конец света, что ли? – вдруг сзади себя услышал Костя и вскочил с четверенек. Сзади него остановились две женщины с тяжелыми плетеными кошелками: может быть, несли они рыбу.

– Конец света! – подтвердил Костя поспешно и вполне убежденно.

Одна из женщин сказала:

– А ты почему знаешь?

– Мой папа мне говорил... Конец света!

– А кто же это такой, твой папашка? Почему он знает? – тихо спросила другая женщина.

– Он все знает! Он спецкор Прудников!

К небу, с которого поспешно падали все звезды, Костя стоял теперь спиной, женщины же в теплых платках и с кошелками – лицом, и он только по отсвету в их глазах замечал, когда падали особенно большие звезды. Он чувствовал, что дрожал от испуга, но все-таки старался не плакать и спросил искательно, но в то же время и деловито:

– А где, тетеньки, гостиница? Как идти?

На площади потом он бежал на огоньки знакомого уже дома, от которого отправлялись автобусы на завод. И только теперь, добежав до рвавшейся к машинам шумной толпы, он понял, почему все стремились как можно скорее попасть в автобусы: дома у них, конечно, были дети, и надо было их куда-то и как-то спасать, раз падают звезды с неба, – столько звезд, что нет возможности их сосчитать!..

И когда он пробился через толпу на другую сторону площади, то вспомнил, что именно здесь он шел от гостиницы, что до гостиницы остался только небольшой проулок и потом два-три дома на улице.

Он оглянулся все-таки на небо в ту сторону, к морю, не перестали ли падать звезды, нет, они падали по-прежнему.

Когда Костя выбежал на улицу, где была гостиница, он очень удивился тому, что по ней гуляли люди как ни в чем не бывало, и только два старичка, оба в очках, стояли, подняв головы, и один говорил другому:

– Вы помните стихи чьи-то – кажется, Плещеева:

Ночь пролетала над миром,
Сны на людей навевая,
С темно-лазуревой ризы
Сыпались звезды, сверкая...

Костя остановился было послушать, что скажет другой старик, но этот другой сказал только:

– Нет, не помню.

– Конец света! – уверенно вставил в их разговор Костя.

Тот старик, который помнил стихи Плещеева, опустил голову, внимательно поглядел на Костю и сказал:

– На-халь-ные какие стали теперь маленькие ребята!.. – И потом оба они медленно пошли в ту сторону, откуда пришел Костя, а Костя вбежал в вестибюль гостиницы и очень изумился, увидя татарку-портье уже не за таинственным окошечком, а под зеркалом на стуле в обнимку с каким-то горбоносим черным человеком, волосы которого масляно блестели.

V

Рыбник Пискарев оживленно продолжал говорить о том, что сызмальства явилось для него основным делом жизни:

– Судак, например, когда он из Кубани идет, это же что такое, – уму непостижимо! Стена, прямо сказать, на несколько километров растянувшая... Или даже так, будто не река это Кубань, а какая-то уха живая или каша в котелке! И вся эта каша бывает наша!.. А ловим мы ее очень даже просто. Такие сети ставим, – на сто восемьдесят сажен сеть, – и ставим мы ее на якорях, – тридцать шесть якорьев, – через каждые пять сажен – один, а кроме того, четверо якорьев больших

возле котла... А котел что такое?.. Котел, это у нас называется такая... ну, просто сказать, мотня, об двух она крылах и об двух подкрыльях. Рыба, она вдоль сети идет с обеих сторон к середке, – и куда же должна она вся деваться? Больше ей деваться и некуда, только в эту мотню, а по-нашему, в котел... Котел же этот, конечно, должен прочность в себе иметь, – потому напор от рыбы, когда стеной она такой идет, вполне бывает порядочный...

Прудников слушал очень внимательно, иногда ставя кое-какие, понятные только ему самому, значки на память в своей записной книжке, когда появился перед диваном Костя и вдруг закричал испуганно:

– Звезды! Звезды падают в море!.. Все! Все звезды!.. Все падают!..

– Что ты? Какие звезды! Что с тобой? – испугался и Прудников, а Костя кинулся к нему под защиту и, прижавшись, шептал:

– Конец света!.. Конец света!.. Конец!..

Он был похож на помешанного, так что и удобно усевшийся на диване Пискарев поднялся и спрашивал:

– Какие такие звезды падают? Какой конец?

– Костик! Что ты! Чепуха!.. Звезды падают? Это же они часто падают... Чепуха! Не дрожи так! Чего испугался?

– Все падают! Все!.. Ни одной... ни одной не останется!.. – всхлипывал Костя и дрожал, как от сильной лихорадки.

– Ты вот что... ложись-ка спать, а? Ложись, брат, я тебя закутаю как следует, и все пройдет...

Прудников очень растерялся. Он поднял Костю на руки и положил было на диван, но тот тут же вскочил, крича:

– Не хочу! Не хочу спать!.. Пойдем, посмотреть будем!.. Все равно уж, пойдем... посмотрим.

Можно было это понять так, что вот пойдем – посмотрим, а потом и нам, как и всем, всем, всем, будет конец, и – тут уж ничего не поделаешь, потому что некуда спастись, нет спасенья!..

Прудников так это и понял. Он сказал Пискареву:

– Что там такое делается? Надо посмотреть, товарищ Пискарев...

– Что ж, пойдем и посмотрим... Ничего нам это не стоит...

И Пискарев первый заковылял по лестнице вниз.

– Вот! – с торжеством указал Костя отцу на небо, когда они трое вышли на улицу. – Вот, видишь?

– Ничего особенного я не вижу, – ответил отец, – хотя, конечно, кое-где падают.

– Падают, как обыкновенно... кое-какие... – отозвался и Пискарев.

– Электричество тут! Тут не видно!.. Сюда вот идите!.. Сюда!

Костя вывел отца и Пискарева через проулок на базарную площадь. Площадь была темная, и небо над нею, все расчерченное, сверкало от бесчисленно падавших звезд.

– А что? Ага? Вот! – подавленно ликовал Костя.

– Действительно ведь, товарищ Пискарев, падают, да... – удивился Прудников.

– Что падают, то это конечно, а только... Ведь мне и самому сколько разов приходилось это видеть в море.

– В самое море падают? – живо осведомился Костя.

– Может, и в море... не знаю куда, в точности не отвечу, – признался рыбник.

Так стояли они и смотрели с полчаса, пока на их же глазах почему-то все меньше и слабее стало расчерчиваться сверху вниз блистающими полосами небо, как будто устало уж заниматься этим, и те звезды, которые сияют на нем испокон века, проступили снова и засияли кротко и спокойно.

– Вот и все... как ничего и не было... – сказал рыбник. – Я вам говорю, бывает, – и сколько разов сам видал, только, конечно, ведь за делом стоишь и внимания на это не обращаешь... Одним словом, звезды, это, вам сказать, не рыба: сколько их падает, а не меньше прежнего остается...

– Поэтому надо идти спать... Ну, Костя, ты успокоился? – погладил Костю по голове Прудников.

Костя не отвечал, потому что не успокоился. Он и уснул не сразу на клоповом диване: сколько ни старался он закрыть глаза как можно крепче, звезды все-таки сверкали и сверкали, падая с неба в море.

VI

На другой день Прудников, показывая везде свою бумажку о командировке, обошел керченские рыбные заводы, и Костя, его

сопровождая, узнал, насколько густо пропах селедкой и копченой таранью весь этот город, стоящий на конце света.

А его отец был весел и доволен. Он неумоимо вносил в свою записную книжку с понятной жадностью спецкора всевозможные цифры отчетов и выводы, добытые долгим путем опыта.

Так он отмечал, что «наибольшую ценность керченская рыба, главным образом сельдь и камса, имеет в соленом виде, а маринады из нее получают развитие только в самое последнее время, причем камса в этом виде начинает успешно конкурировать с прославленной килькой»; что «по качеству и упитанности керченская рыба занимает первое место в Союзе и проникает довольно интенсивно на иностранные рынки»; что «пущенный в тридцать первом году холодильник имеет производительность в пятьсот центнеров в сутки»; что «керченское рыболовство дает пять процентов всей рыбной продукции Союза»; что «для обслуживания этой промышленности Рыбтрест имеет бондарные мастерские, вырабатывающие до полумиллиона бочек в год на такую-то сумму, а также корабельные мастерские такой-то мощности...»

Записей этих оказалось у него так много, что пришлось купить новую записную книжку, потолще. Вообще Прудников настроен был очень деловито и проявлял большую энергию в осмотре всех уголков Керчи, имеющих отношение к рыбному делу. Так что к концу второго дня у него составила уже довольно полная картина рыбной промышленности Керченского пролива. Он даже знал уже, что такое аламаны – сети, пришедшие сюда из Турции, и како-ами – сети, пришедшие из Японии, и скипасти – наследие древних местных греков, и чем они отличаются от закидных неводов, называемых большими волокушами, или от волокуш малых, которыми ловят бычков...

С самоуверенностью спецкора он решил в конце второго дня, что охватил со всех сторон это сложное дело и может считаться недюжинным его знатоком. Он даже заходил, между прочим, и в керченский музей и получил кое-какие сведения о боспорском царе Митридате VI...

– Ну, Костик, – сказал он вечером 12 октября, – переночуем здесь с тобою еще одну ночь, благо уехал к себе домой Пискарев и ночевать

мы уж будем не на лестнице, а завтра махнем еще в одно рыбное место, в Балаклаву!

– На пароходе? – спросил Костя.

– Нет, парохода завтра нет, и еще его три дня не будет... Придется нам опять по железке... А из Балаклавы мы уж прямо назад в Москву.

Поезд из Керчи выходил утром, и опять тащился он целый день по крымским зяблевым вспашкам и озимым посевам, и только поздно вечером в полнейшей темноте дотащился он до Джанкоя, где была пересадка на Севастополь.

Заняв столик и приказав Косте деятельно оберегать его стул от покушений, Прудников несколько раз ходил в буфет за чаем, чаепитием же он отвел свою московскую душу и стал мягкосердечен... Так что, когда в зал ожидания зашла толстогубая молодая цыганка в пестрых лохмотьях и швейцар, подскочив к ней, завернул ее решительно назад, Прудников крикнул ему:

– Товарищ! Она такая же полноправная гражданка, как и все!

Прудников думал купить плацкарту на первый же скорый поезд, шедший из Москвы в Севастополь, но свободных мест в этом поезде не оказалось, пришлось ждать другого. Зато скорый поезд привез московские газеты за 11 октября, и в одной из них Прудников прочитал телеграмму симеизской обсерватории, что в ночь с 9 на 10 октября замечено было необычайно сильное и продолжительное падение метеоритов в южной части неба, совсем необычное в это время года. Сообщалось, что наиболее сильное падение, когда насчитывалось до трехсот метеоритов в минуту, приходилось на время с половины девятого до половины десятого вечера и что в Нью-Йорке не могли этого видеть, так как там был день, а не ночь. Тут же высказывалось робкое предположение, что это или пролетала мимо Земли комета, или осколки взорвавшегося небесного тела.

Прудников прочитал это место в газете Косте и сказал:

– Вот видишь, что это такое было!.. Даже и астрономы стали перед этим в тупик!

– Ага! – торжествовал Костя. – Я тебе говорил!.. Я тебе ведь говорил! А какое это небесное тело?

– Небесное тело что такое? Это... какая-нибудь планета, может быть вроде нашей Земли.

– Вроде Земли? Сказал тоже!.. Как же она могла взорваться?

– Ну, просто лопнула и рассыпалась на куски... Вот эти-то куски и летели...

– Как так лопнула?

– Этого уж я не знаю как... Одним словом, мы с тобой видели ее конец... Только не поняли конечно, что это – конец какой-то планеты...

– Пла-не-та? – повторил Костя в изумлении. – Такая же, как Земля?.. Вот так та-ак!..

Немного подумав, он спросил очень живо:

– А на этой планете были спецкоры?

Прудников сказал: «Гм...» – и добросовестно задумался было, но ответил найденно-уверенно:

– Еще бы нет!.. Ведь это была планета, достигшая своей зрелости, – почему она и скончалась... А если она достигла зрелости, то, разумеется, на ней когда-то, очень, конечно, давно, были свои спецкоры!

Джанкойский зал ожидания бурлил, как кипящий котел; то там, то здесь подымалась брань из-за захваченных стульев, и в черную трубу под потолком, покрывая все голоса, добросовестно гундосил кто-то неведомый Косте: «Паф-та-ряю... Поезд... номер... отходит...»

– Это наш поезд отходит? – спрашивал Костя, схватываясь, но отец отвечал:

– Успокойся, это на Москву... А до нашего смело ты можешь отлично выспаться: ложись!..

1931 г.

Александр Иванович Куприн

Ночь в лесу

Середина апреля. По ночам еще стоят холода; болотцы и лужи в лесах затягиваются к утру тонким, хрупким льдом, но дни солнечны и теплы. Клейкие почки на березах насытились весенними соками, и в воздухе чувствуется их радостный смолистый аромат.

Теперь – последние дни глухаринной охоты. Как только распустятся первые нежные березовые листочки, то начнут свое страстное токование краснобровые тетерева, глухари и замолкнут и забьются до осени в непроходимые чащи. Мне уже надоело ночевать каждый день в старой смолокурне, глубоко врытой в землю. Там удушливо пахнет смоляной гарью; бревенчатые стены на вершок поросли висячей черной липкой сажей; каждый раз вылезая из смолокурни весь черный, как черт, чернее трубочиста; очень трудно потом отмыть руки и лицо. Кроме того, постоянное сообщество лесника Николая становится мне все более тяжелым и неприятным. Он без нужды болтлив, криклив, подобострастен, противно жаден до денег и суетлив. Но охотник он превосходный: знает все повадки, привычки и лежбища как птицы, так и зверя; неутомим на охоте, обладает почти собачьим чутьем и опознается в лесу, как в собственной избе.

Объездчик Алексеев однажды проговорился мне, что лесник Николай, в сущности, не охотник-любитель, а жадный дичепромышленник и шкурятник, что он-де бьет дичь для продажи, направляя ее пудами, при помощи кумовьев, свояков и дружков, через Тулу в Рязань и Москву. Кроме того, ставит на птиц и на зверей запрещенные капканы и разбрасывает отравы.

Все эти слухи о Николаевой изворотливости мало меня интересовали и беспокоили. Под самодержавным распоряжением моего зятя, у которого я тогда гостил, находились четыреста пятьдесят тысяч десятин Куршинского казенного лесничества, да еще ему поручено было наблюдение над Касимовскими соседними лесами братьев Хлудовых, где числилось более ста тысяч десятин; пространство, как видите, равное пяти-шести германским княжествам или любому лимитрофу. Этот лесничий (не только по образованию, но

и по призванию) любит лес серьезной, деятельной любовью. Для борьбы с лесными истребительными пожарами он построил в каждом из кордонов высокие наблюдательные каланчи и никогда не устает экзаменовывать лесников в знании противопожарных инструкций. Он ревностно преследует лесные самовольные порубки и никогда их не прощает. Еще строже он следит за тем, чтобы в его лесничестве никто не смел разводить костров, особенно летом.

Он никогда не берет взятки. Когда наступает время продавать на сруб старые лесные делянки, то первые очереди он предоставляет соседям-крестьянам, а лесопромышленникам идут остатки или дорогие строевые деревья за высокие цены.

Крестьяне это знают и ценят: оттого-то в его лесах почти никогда не шалят и его заповедных питомников никто не трогает.

Ему, конечно, известно, что почти все его лесники охотятся без его позволения. Но он глядит на это сквозь пальцы.

– У меня, – говорит он, – такая уйма дичи, что на всех хватит без малейшей убыли. Я тоже держусь взглядов моего патрона. Но поведение Николая на охоте меня порою возмущает до гнева. Вот уже почти три года, как мы с ним охотимся, и сколько раз я ловил его на плутовстве, к которому, однако, никак нельзя придраться. То он заведет меня в лысое пустое место, куда от сотворения мира не залетал ни один глухарь, ни тетерев. А то бывало, услышу я издали знакомые мне волнующие звуки глухариной песни и бегу под нее быстрыми короткими прыжками, стараясь делать это совершенно беззвучно. Вот, вот... уже близок глухарь. Я различаю теперь и второе колено его токования, похожее на мощное, глухое шипение; уже подымаю голову кверху, стараясь разглядеть среди веток густой сосны фигуру самого глухаря... И вдруг... треск валежника под ногами... Шлепанье кожаных бахил... Глухарь мгновенно замолкает. Из темного кустарника выдирается голова Николая. Громко хлопая огромными крыльями, глухарь улетает прочь, и теперь его больше не увидишь. О, черт! Николай спрашивает шепотом:

– Никак, спугнули?

Конечно, глухарь был спугнут, но не мной, а лесником, но по какой-то глупой деликатности я молчу и только пляжу на него с яростной злобой. «Ведь этак ты не в первый раз делаешь, подлец».

И правда: одного глухаря он еще мне иногда давал ухлопать, но стоило мне начать разыскивать глазами второго, как Николай уже мчался ко мне с криками:

– Сан Ваныч! Ау, ау, Сан Ваныч! А подойдя, говорил:

– А я-то вас кричу, кричу. Испугался даже. Тут место-то с закальцем. Стоит попасть ногой, так наверх никак не выкарабкаешься. Засосет.

Под конец я его просто возненавидел за его вертлявую заботливость и только сегодня решился сказать с надлежащей вескостью:

– Нечего нам с тобой, Николай, дурака валять друг перед другом... Нынче в ночь я пойду один, а ты сейчас же отправляйся домой, к себе на кордон. И сию же минуту! Он жалобно забубнил:

– Да я, помилуйте, Сан Ваныч. Да как же я вас оставлю одного? Здесь же болота разные, быстрые речушки, вы по ним и не пройдете, особенно ночью. И господин лесницын меня в прах обратит, если, не дай бог, с вами что-нибудь случится. Я же ведь только о вас самих забочусь... Я...

Но тут я ужасно заорал на него. Мне был стеснителен и труден лишь первый шаг, потом все пошло легче. Очень поспешно Николай оделся и вылез из смолокурни. Я долго слушал его удаляющиеся шаги, пока не убедился, что он действительно идет по направлению к Куршинской дороге. Наконец шаги стихли. Остался только шум в обоих ушах да странное, неуютное чувство внезапного одиночества. Я поглядел на часы: было около восьми. Мне вдруг стало жалко, что я прогнал Николая: прежде в этот час мы ложились спать в смолокурне, а к полуночи шли на ток. Ведь могло случиться, что я был неправ, приписывая леснику коварные замыслы. Но я преодолел свою чувствительность, вскинул ружье за плечо и, не торопясь, пошел в глубь леса узенькой, недавно вновь проторенной тропинкой.

Солнце заходило. Его закат был яркий и ясный, но спокойный, и ветер спадал: почти верный признак того, что завтра утром погода будет сухая и безветренная. Самая благоприятная для глухариних токов. А кроме того, какие-то птички, казавшиеся совсем малюсенькими, шныряли с необыкновенной быстротой в высоте смуглевого неба: тоже одна из примет тихого утра.

Было уже трудно видать лесную дорожку, но я доверился инстинктивной памяти ног, которая так остра и послушна в тишине и в полутьме.

Так дошел я до узенькой, всего в сажень шириною, но необычайно быстрой речонки, называвшейся Пра. Ее звонкий лепет доносился до меня еще издалека. Через нее с незапамятных времен была мужиками перекинута «лава», первобытный неуклюжий мост из больших древесных сучьев, перевязанных березовыми лыками. Странно – никогда мне не удавалось благополучно перебраться через эту проказливую речонку. Так и нынче: как ни старался я держать равновесие, а пришлось все-таки угодить мимо и зачерпнуть холодной воды в кожаные, большие, выше колена, бахилы. Пришлось на другом бережку сесть, разуться и вытрясти воду из тяжелой обуви. На ходу ноги опять согрелись, приятно и ладно обтянутые высыхающей упругой кожей. Дальше путь пошел легкий. Я уже по опыту знал, что мне теперь, кренделя между мощными стволами и густым цепким кустарником, надо неуклонно держаться востока. Тут мне помогали и лиловое с золотом догорание запада, и мой полуигрушечный компас, мгновенно озаряемый светом папиросы. Я на ходу перетягиваю поудобнее за плечами мой походный ранец и вдруг невольно улыбаюсь: в глубоком вечерющем лесном безмолвии набежала смешная мысль. Я вспомнил прелестную поэму нового норвежского писателя Кнута Гамсуна под заглавием «Пан». Ах! Какими страстными словами, какими волшебными образами живописал ее герой, очаровательный лейтенант Глан, лес и его великое безмолвие... Но какой же это был лес, если через него кратчайшим путем ходят ежедневно девушки из деревни в городок с кувшинами молока? И какое же в нем великое одиночество, если он весь засорен окурками, замасленными бумагами, апельсинными корками и стеклом разбитых бутылок; всеми этими грязными следами, говорящими о постоянной и тесной близости человека? «Вот хорошо было бы, – думаю я, – перенести этого норвежского любителя природы сюда, в сплошную полосу кондовых, частью еще не обмеренных лесов, раскинувшихся на многие сотни тысяч квадратных верст, на пространство, равное среднему европейскому государству, заселенное медведями, волками, лосями, лисами, барсуками, зайцами, рысями, белками, горностаями, куницами и тысячами мелких неведомых зверушек; и весь этот

четвероногий мир находится в вассальном подданстве у местного лешего, которого не однажды видели куршинские мужики, прозываемые соседями „куршей головастой“ или „литвой некрещеной“, а бабы – те видят его очень часто, когда летом ходят по ягоды».

Но уже падает, падает мгла на землю. Если теперь выйти из освещенного жилья на волю, то сразу попадешь в черную тьму. Но мой глаз уже обвык, и я еще ясно вижу нужную мне, знакомую вереву. Вереей в этом крае называется большой холм, который высоко и широко торчит над болотом. Почти всегда на нем свободно растут две или три мощные столетние сосны, упирающиеся далекими вершинами в небо, с четырехохватными стволами в землю. Еще ясно различаю, как на самом кряжистом дереве, покрытом древнею, грубою, обомшелюю корою, протянулся и точно дрожит бог весть откуда падающий густо-золотой луч, и дерево в этом месте кажется отлитым из красной меди.

Но прелестный лучик на глазах слабеет, затихает, меркнет... Вот уже и нет его совсем. Надо и мне улечься спать.

Я ложусь на ровном и мягком месте под холмом; так всегда удобнее лежать на открытом воздухе. Но уснуть мне долго не удастся. Шумно бьется кровь в ушах, и ложе мое все кажется неудобным. Но мне давно уже знаком этот искус: чем больше ты будешь менять позы, переворачиваться с боку на бок и возиться с ямками, бугорками и сучками – тем вернее будет бежать от тебя дрема. Я пробую лежать неподвижно, стараясь не замечать под собою ухабов и возвышений. «Это мне только кажется, – успокаиваю я себя. – Это мое избалованное воображение. Стоит потерпеть немного, и все пройдет». Вылез тонкий, ясный, только что очищенный серп полумесяца на высокое небо, и только теперь стало заметно, как темна и черна весенняя ночь. Бежит, бежит молодой нарядный блестящий месяц, плывет, как быстрый корабль, волоча за собою на невидимом буксире маленькую отважную звездочку – лодку. Порой они оба: и бригантина, и малая шлюпочка – раз за разом ныряют в белые, распущенные, косматые облака и мгновенно озаряют их оранжевым сиянием, точно зажгли там рыжие брандеры.

Не знаю, сколько проходит времени в этом восторженном наблюдении за небесными корсарами. Время меня больше не

интересует, как, пожалуй, и все на свете. Я даже не сознаю того приятного ощущения, что меня уже больше нигде не жмет, не теснит, не давит. Кровь перестала гудеть в ушах, но зато удивительно уточнилось и стало чудесно внимательным чувство слуха.

Далеко, верстах в двадцати – тридцати, в лесном озерце низко и сипло мычит выпь, классная наставница: «Спите, дети, спа-оть, спа-оть». Небольшая птица, чуть побольше коростеля, а голос у нее, как у соборного протодиакона или у породистого недовольного быка, начальника стоголового стада. Но она вскоре умолкает. Маленькие птички прощаются дружка с дружкой в густом кустарнике: «чики», «спокойной ночи». Спите чутко: «чи-чи-чи». Дергач в болоте протяжно скрипит в последний раз. Блеет барашком бекас, летящий на ночлег. Всемирная тишина! Только малюсенький, недавно вылупившийся из яйца птенчик-соловьенчик слабо пискнул два раза: это он бредит сквозь сон. Что за ночь! Вспоминается мне вдруг давнишняя, точно воскресшая детская песенка:

В добрый час, в добрый час,
Спите: бог не спит за вас...

Я даже чувствую в голове ее простой, наивный, точно молитвенный напев. Как странно и как торжественно-сладостно ощущать, что сейчас во всем огромном лесу происходит великое и торжественное таинство, которое старые садоводы и лесники так мудро называют первым весенним движением соков.

Влажная благодатная земля представляется мне всемирной, могучей матерью, щедро предлагающей свои бесчисленные сосцы всему живущему, растущему, дышащему и славящему создателя. Углубившись в темные недра, ее тонкие, как ниточки, нежные отпрыски корней неустанно сосут, жадно впивают чудотворные соки. Слепые и бесчувственные, обладающие лишь божественным инстинктом, они никогда не ошибаются. Вот этот сок нужен липе, тот – ландышу, тот – сосне, а тот – папоротнику или дикой малине.

О, ночные часы! как в них много возобновляющейся силы, творческой работы, неведомой жизни и вечной тайны. Ночью мальчики летают по воздуху, падают с кровати и растут. Ночью ходят

по вершинам лунатики, влекомые лунным притяжением. Ночью тревожатся и стонут девушки-подростки, а беременные женщины ощущают первые потуги.

...Я сейчас думал. Но во сне это было или в ночной яви? Взглядываю на небо. Там большие перемены. Полумесяц снизился, стал вдвое больше. Он точно разбух и покраснел. Маленькая лодочка отцепилась от него и пропала навсегда... Да, это верно. Я заснул на несколько минут и совсем этого не заметил. Ночь стала еще тише, еще глубже и гуще. Едва-едва слышный звук раздаётся около меня, у моих ног. Точно кто-то сказал шепотом: «Пак». Нет, вернее: такой кроткий звук бывает порой, когда дитя в задумчивости разомкнет уста. Я догадываюсь о его причине и слабо с умилением улыбаюсь. Это какая-то почка вся набрякла соками, раздалась вширь, и от нее с тихим шумом отклеился первый лепесток. Какое счастье! Я живу теперь в самом центре, в самом святилище простых домашних интимных чудес природы, как в любимом знакомом доме.

Отчего нет больше сказок в наш суровый практический век? Какое, например, превосходное и какое бесчисленное у меня королевство! Здесь живут дикие пчелы, осы и шмели, еще не решающиеся вылететь из зимних, глубоких дупел, забитых от холодов соломой и мохом. Здесь повсюду, в каждой щели и трещинке, в извилинке коры спят мертвым, но временным сном личинки и коконы разноцветных бабочек, изящных стрекоз, всевозможных жуков, свирепых комаров, пауков-строителей и всяких трудолюбивых червячков: пильщиков, резчиков, сверлильщиков, стругальщиков – и все они нужны для каких-то господних работ. Большими буграми высятся огромные жилища муравьев, битком набитые сильным, работающим, свирепым и умным народом...

Ну-ка, я попробую сделать подсчет: сколько у меня, в моем королевстве, приходится в среднем подданных на каждую кубическую сажень?

Я считаю. Голова моя тяжела и качается. Веки чешутся. Ах, как ночью в лесу, перед зарею, фантастически мешаются фантазии с правдой и сон с действительностью. Может быть, я снова задремал, но вдруг сразу нахожу себя проснувшимся и немного испуганным. Мне показалось, что кто-то сначала слегкадохнул на мою щеку, а потом ткнулся в нее чем-то холодным и мягким. Я вздрагиваю, хватаюсь за

щеку. На ней еще осталась чуть прохладная влажность. Одновременно с этим я, не слыша, чувствую чей-то мелкий и торопливый скок. Ах, боже мой! Да ведь это какой-то лесной зверюшка пришел и обнюхал меня. «Что, мол, здесь, в моем лесу, за большая живая говядина валяется?» Я подымаю голову кверху. Теперь уже видно небо. Оно ровного скучно-стального цвета. Я себя чувствую так же разморенным и усталым, как после долгой езды в вагоне третьего класса. Кто-то ворошится высоко надо мною, в гуще сосны... Присматриваюсь настойчиво и напряженно. Да, это – глухарь, хотя от меня он и кажется величиною не более лесного голубя. Когда он успел сесть, что я его раньше не услышал. «Не бойся, милый глухаришка, – говорю я про себя, – я тебя сегодня не обижу, не буду стрелять. Ведь мы с тобою нынче вместе спали под одной и той же сосной...»

Вдалеке медленно загнусавила жолна, и одновременно я услышал ритмический хруст хвороста. Неужели опять этот проклятый злодей Николай?

Константин Георгиевич Паустовский

Акварельные краски

Когда при Берге произносили слово «родина», он усмехался. Он не понимал, что это значит. Родина, земля отцов, страна, где он родился, – в конечном счете не все ли равно, где человек поя-вился на свет. Один его товарищ даже родился в океане на грузовом пароходе между Америкой и Европой.

– Где родина этого человека? – спрашивал себя Берг. – Неужели океан эта монотонная равнина воды, черная от ветра и гнетущая сердце постоянной тревогой?

Берг видел океан. Когда он учился живописи в Париже, ему случалось бывать на берегах ЛаМанша. Океан был ему не сродни.

Земля отцов! Берг не чувствовал никакой привязанности ни к своему детству, ни к маленькому еврейскому городку на Днестре, где его дед ослеп за драгвой и сапожным шилом.

Родной город вспоминался всегда как выцветшая и плохо написанная картина, густо засиженная мухами. Он вспоминался как пыль, сладкая вонь помоек, сухие тополя, грязные облака над окраинами, где в казармах муштровали солдат – защитников отечества.

Во время гражданской войны Берг не замечал тех мест, где ему приходилось драться. Он насмешливо пожимал плечами, когда бойцы, с особенным светом в глазах говорили, что вот, мол, скоро отобьем у белых свои родные места и напоим коней водой из родимого Дона.

– Трепотня! – мрачно говорил Берг. – У таких, как мы, нет и не может быть родины.

– Эх, Берг, сухарная душа! – с тяжелым укором отвечали бойцы. – Какой с тебя боец и создатель новой жизни, когда ты землю не любишь, чудак. А еще художник!

Может быть, поэтому Бергу и не удавались пейзажи. Он предпочитал портрет, жанр и, наконец, плакат. Он старался найти стиль своего времени, но эти попытки были полны неудач и неясностей.

Годы проходили над Советской страной, как широкий ветер, – прекрасные годы труда и преодолений. Годы накапливали опыт,

традиции. Жизнь поворачивалась, как призма, новой гранью, и в ней свежо и временами не совсем для Берга понятно преломлялись старые чувства – любовь, ненависть, мужество, страдание и, наконец, чувство родины.

Как-то ранней осенью Берг получил письмо от художника Ярцева. Он звал его приехать в муромские леса, где проводил лето. Берг дружил с Ярцевым и, кроме того, несколько лет не уезжал из Москвы. Он поехал.

На глухой станции за Владимиром Берг пересел на поезд узкоколейной дороги.

Август стоял жаркий и безветренный. В поезде пахло ржаным хлебом. Берг сидел на подножке вагона, жадно дышал, и ему казалось, что он дышит не воздухом, а удивительным солнечным светом.

Кузнечики кричали на полянах, заросших белой засохшей гвоздикой. На Полустанках пахло немудрыми полевыми цветами.

Ярцев жил далеко от безлюдной станции, в лесу, на берегу глубокого озера с черной водой. Он снимал избу у лесника.

Вез Берга на озеро сын лесника Ваня Зотов – сутулый и застенчивый мальчик.

Телега стучала по корням, скрипела в глубоких песках.

Иволги печально свистели в перелесках. Желтый лист изредка падал на дорогу. Розовые облака стояли высоко в небе над вершинами мачтовых сосен.

Берг лежал в телеге, и сердце у него глухо и тяжело билось.

«Должно быть, от воздуха»? – думал Берг.

Озеро Берг увидел внезапно сквозь чащу поредевших лесов.

Оно лежало косо, как бы подымалось к горизонту, а за ним просвечивали сквозь тонкую мглу заросли золотых берез. Мгла над озером висела от недавних лесных пожаров. По черной, как деготь, прозрачной воде плавали палые листья.

На озере Берг прожил около месяца. Он не собирался работать и не взял с собой масляных красок. Он привез только маленькую коробку с французской акварелью Лефранка, сохранившуюся еще от парижских времен. Берг очень дорожил этими красками.

Целые дни он лежал на полянах и с любопытством рассматривал цветы и травы. Особенно его поразил бересклет, – его черные ягоды были спрятаны в венчик из карминных лепестков.

Берг собирал ягоды шиповника и пахучий можжевельник, длинную хвою, листья осин, где по лимонному полю были разбросаны черные и синие пятна, хрупкие лишай и вянущую гвоздику. Он тщательно рассматривал осенние листья с изнанки, где желтизна была чуть тронута легкой свинцовой изморозью.

В озере бегали оливковые жуки-плавунцы, тусклыми молниями играла рыба, и последние лилии лежали на тихой поверхности воды, как на черном стекле.

В жаркие дни Берг слышал в лесу тихий дрожащий звон.

Звенела жара, сухие травы, жуки и кузнечики. На закатах журавлиные стаи с курлыканьем летели над озером на юг, и Ваня каждый раз говорил Бергу:

– Кажись, кидают нас птицы, летят к теплым морям.

Берг впервые почувствовал глупую обиду, – журавли показались ему предателями. Они бросали без сожаления этот пустынный, лесной и торжественный край, полный безымянных озер, непролазных зарослей, сухой листвы, мерного гула сосен и воздуха, пахнувшего смолой и болотными мхами.

– Чудаки! – замечал Берг, и чувство обиды за пустеющие с каждым днем леса уже не казалось ему смешным и ребяческим.

В лесу Берг встретил однажды бабку Татьяну. Она приплелась издалека, из Заборья, по грибы.

Берг побродил с ней по чащам и послушал неторопливые Татьянины рассказы. От нее он узнал, что их край – лесная глухомань – был знаменит с давних-предавних времен своими живописцами. Татьяна называла ему имена знаменитых кустарей, расписывавших деревянные ложки и блюда золотом и киноварью, но Берг никогда не слышал этих имен и краснел.

Разговаривал Берг мало. Изредка он перебрасывался несколькими словами с Ярцевым. Ярцев целые дни читал, сидя на берегу озера. Говорить ему тоже не хотелось.

В сентябре пошли дожди. Они шуршали в траве. Воздух от них потеплел, а прибрежные заросли запахли дико и остро, как мокрая звериная шкура.

По ночам дожди неторопливо шумели в лесах по глухим, неведомо куда ведущим дорогам, по тесовой крыше сторожки, и

казалось, что им так и на роду написано моросить всю осень над этой лесной страной.

Ярцев собрался уезжать. Берг рассердился. Как можно было уезжать в разгар этой необыкновенной осени. Желание Ярцева уехать Берг ощутил теперь так же, как когда-то отлет журавлей, – это была измена. Чему? На этот вопрос Берг вряд ли мог ответить. Измена лесам, озерам, осени, наконец, теплему небу, моросившему частым дождем.

– Я остаюсь, – сказал Берг-резко. – Можете бежать, это ваше дело, а я хочу написать эту осень.

Ярцев уехал. На следующий день Берг проснулся от солнца.

Дождя не было. Легкие тени ветвей дрожали на чистом полу, а за дверью сияла тихая синева.

Слово «сияние» Берг встречал только в книгах поэтов, считал его выпреним и лишенным ясного смысла. Но теперь он понял, как точно это слово передает тот особый свет, какой исходит от сентябрьского неба и солнца.

Паутина летала над озером, каждый желтый лист на траве горел от света, как бронзовый слиток. Ветер нес запахи лесной горечи и вянущих трав.

Берг взял краски, бумагу и, не напившись даже чаю, пошел на озеро. Ваня перевез его на дальний берег.

Берг торопился. Леса, наискось освещенные солнцем, казались ему грудями легкой медной руды. Задумчиво свистели в синем воздухе последние птицы, и облака растворялись в небе, поднимаясь к зениту.

Берг торопился. Он хотел всю силу красок, все умение своих рук и зоркого глаза, все то, что дрожало где-то на сердце, отдать этой бумаге, чтобы хоть в сотой доле изобразить великолепие этих лесов, умирающих величаво и просто.

Берг работал как одержимый, пел и кричал. Ваня его никогда таким не видел. Он следил за каждым движением Берга, менял ему воду для красок и подавал из коробки фарфоровые чашечки с краской.

Глухой сумрак прошел внезапной волной по листве. Золото меркло. Воздух тускнел. Далекий грозный ропот прокатился от края до края лесов и замер где-то над горящими. Берг не оборачивался.

– Гроза заходит! – крикнул Ваня. – Надо домой!

– Осенняя гроза, – ответил рассеянно Берг и начал работать еще лихорадочнее.

Гром расколол небо, вздрогнула черная вода, но в лесах еще бродили последние отблески солнца. Берг торопился.

Ваня потянул его руку:

– Глянь назад. Глянь, страх какой!

Берг не обернулся. Спиной он чувствовал, что сзади идет дикая тьма, пыль, – уже листья Летели ливнем, и, спасаясь от грозы, низко неслись над мелколесьем испуганные птицы.

Берг торопился. Оставалось всего несколько мазков.

Ваня схватил его за руку. Берг услышал стремительный гул, будто океаны шли на него, затопляя леса.

Тогда Берг оглянулся. Черный дым падал на озеро. Леса качались. За ними свинцовой стеной шумел ливень, изрезанный трещинами молний. Первая тяжелая капля щелкнула по руке.

Берг быстро спрятал этюд в ящик, снял куртку, обернул ею ящик и схватил маленькую коробку с акварелью. В лицо ударила водяная пыль. Метелью закружились и залепили глаза мокрые листья.

Молния расколола соседнюю сосну. Берг оглох. Ливень обрушился с низкого неба, и Берг с Ваней бросились к челну.

Мокрые и дрожащие от холода Берг и Ваня через час добрались до сторожки. В сторожке Берг обнаружил пропажу коробочки с акварелью. Краски были потеряны, – великолепные краски Лефранка. Берг искал их два дня, но, конечно, ничего не нашел.

Через два месяца в Москве Берг получил письмо, написанное большими корявыми буквами.

«Здравствуйте, товарищ Берг, – писал Ваня. – Отпишите, что делать с вашими красками и как их вам доставить. Как вы уехали, я искал их две недели, все обшарил, пока нашел, только сильно простыл – потому уже были дожди, но теперь хожу, хотя еще очень слабый. Папаня говорит, что было у меня воспаление в легких. Так что вы не сердитесь.

Пришлите мне, если есть какая возможность, книгу про наши леса и всякие деревья и цветных карандашей – очень мне охота рисовать. У нас уже падал снег, да стаял, а в лесу,

где под какой елочкой, – смотришь, и сидит заяц. Летом очень будем вас ждать в наши родные места.

Остаюсь Ваня Зотов».

Вместе с письмом Вани принесли извещение о выставке, – Берг должен был в ней участвовать. Его попросили сообщить, сколько своих вещей и под каким названием он выставит.

Берг сел к столу и быстро написал:

«Выставляю только один этюд акварелью, сделанный мною этим летом, – мой первый пейзаж».

Была полночь. Мохнатый снег падал снаружи на подоконник и светился магическим огнем – отблеском уличных фонарей. В соседней квартире кто-то играл на рояле сонату Грига.

Мерно и далеко били часы на Спасской башне. Потом они заиграли «Интернационал».

Берг долго сидел, улыбаясь. Конечно, краски Лефранка он подарит Ване.

Берг хотел проследить, какими неуловимыми путями появилось у него ясное и радостное чувство родины. Оно зрело годами, десятилетиями революционных лет, но последний толчок дал лесной край, осень, крики журавлей и Ваня Зотов. Почему? Берг никак не мог найти ответа, хотя и знал, что это было так.

– Эх, Берг, сухарная душа! – вспомнил он слова бойцов. – Какой с тебя боец и создатель новой жизни, когда ты землю свою не любишь, чуждак!

Бойцы были правы. Берг знал, что теперь он связан со своей страной не только разумом, не только своей преданностью революции, но и всем сердцем, как художник, и что любовь к родине сделала его умную, но сухую жизнь теплой, веселой и во сто крат более прекрасной, чем раньше.

Всеволод Вячеславович Иванов

Разговор с каменотесом

Я возвращался из Мацесты в Сочи берегом моря. Солнце закатывалось. Голубые и черные лодки плыли обратно. Я шел по железнодорожной насыпи. Вдруг за кустом я услышал знакомые фразы. Читали «Войну и мир». Тонкий голосок после каждой фразы спрашивал: «Понятно? Продолжаю». И гортанный голос отвечал ласково: «Ну зачем спрашиваешь, джаньшау? Такие события происходят, а мы не понимаем? Скорей».

Несколько каменотесов сидели вокруг девушки в синем. Позади всех слушал ее широколицый казах. Перед ним лежал халат, на нем – краюха хлеба и узкая бутылка вина.

– Э, еще кунак пришел! – закричал он, увидев меня. – Садись, кунак, садись, будешь слушать. Они в тетради пишут, а я тебе так расскажу. Какие события пишет!

Волосы у него черные, щетинистые и столь густы, что и шея покрыта ими до спины. Он сидел без рубахи. Мышцы его резко выступали при движениях. Он покачивался, хлопая себя по ляжкам, лицо его сияло.

– В Москве собирались, рассуждали, какие книжки писать. Джаньшау дорогой! Пиши любые, но чтоб я радовался. Ты меня не узнаешь?

Меня Шибрахмет Искаков зовут. Не помнишь такого?

– Нет.

– В Павлодаре лет двадцать назад вертельщиком был, ведомости помогал печатать. Ты буквы выдергивал шилом днем, а спал на кухне! А утром меня будил рано: «Шибрахмет, поедем на Иртыш за водой». Ха! Я надеваю штаны. А они от старости рассыпаются. А теперь посмотри, какие у меня штаны, рабочие! А какие я надеваю в праздники, у, джаньшау! Тебя как называют?

Я узнал его. Он положил вино, хлеб и стаканчик в карман и пошел за мной. Он покачивался, тряс халатом, прислушиваясь к звону стаканчика. Он улыбался очень протяжно. Он, видимо, радовался и тому, что встретил сибиряка, и тому, что я изумился его памяти.

– А, тебе бы пораньше прийти, когда я обедал! Отличный обед был! Я бы тебя угощать стал, а теперь вечером я пью вино и ем хлеб, чтоб ночью брюхо легкое было.

– Сколько же тебе лет, Шихахмет! Ты все еще неграмотный?

– А ты тоже небось, Сиволот, не буквы выдергиваешь! Трестом заведешь поди, а? У меня сын один, так тот профессор и говорит: «Я больше тебя знаю». А я ему: «Был бы ты дурак, если бы меньше меня знал!» Я тоже большой грамоты: я детей родил четырех, и все ученые. Я мог бы, Сиволот, большие тоже должности занимать, но мне некогда! Большая должность скажет: «Сиди с портфелем в машине, Шихахмет, ты бедняк, ты управляй государством». А я говорю: вот я вам вырастил четырех, выучили вы их, они и пусть теперь управляют, а я хожу и туда и сюда, и здесь и там радуюсь, мне пятьдесят лет!

– Ты по-казахски грамотный?

– И по-казахски и по-русски. Я много помню. Я помню, у тебя рубаха была сатинетовая, а пояс широкий кожаный, а я все думал: «Зачем у него такой широкий пояс, разве брюхо болит?»

Наслаждаясь своей памятью, он говорил о Павлодаре, о нашем хозяине-типографшике, о гражданской войне. Он разводил руками так, как будто в воздухе строил какие-то горбатые мосты. Изредка он потирал свою шею. Затем он схватил меня за плечи и сказал:

– Вот ты опоздал. А там что было!

И он вдруг начал читать на память, подражая голосу девушки:

– «Везде ему казалось нехорошо, но хуже всего был привычный диван в кабинете. Диван этот был страшен ему, вероятно по тяжелым мыслям, которые он передумал, лежа на нем.

Нигде не было хорошо! Но все-таки лучше всех был угол в диванной, за фортепиано...»

Слово «фортепиано» он выговорил весьма тщательно, даже как бы щеголяя своим выговором. Вообще он читал очень хорошо.

– «Он никогда еще не спал тут. Тихон принес с официантом постель и стал устанавливать. „Не так, не так!“ – закричал князь и сам подвинул на четверть подальше от угла и потом опять поближе. „Ну, наконец, все переделал, теперь отдохну“, – подумал князь...»

Он спросил, качнув меня сильными руками:

– Верно рассказал? А ты мне – неграмотный! Помрет старый князь, как полагаешь? Места не находит. Он и туда и сюда постели

став-ит. Вот завтра будем читать дальше, приходи – узнаешь.

– Где ты побывал, Шибакмет?

– Много ездил, много помню. Головы ломал офицерам. Догоним. Они в нас из пулеметов, а мы на них с шашкой. По голове шашкой! Пустые головы, зря выросли.

Он показал на пароход.

– И на этих «уткане» качало меня. Брюхо терзает, но предполагаю: кончится же вода! Поднимет и так подбросит, так подбросит на волне, что с нее всю свою жизнь видишь. Душа ликует, Сиволот. Так я говорю? Так ликует, что ничем не разбавишь. Красивое море, Сиволот. Зачем шумит? Много людей думало. Я тоже подумал... Чтобы любовались им, а? Играешь, старая баба, я тебе!

Он погрозил пальцем морю и рассмеялся.

– Я его люблю, Сиволот! Я и степь люблю. Коршун летит низко. Всего и дерево в степи, что телеграфный столб. Едешь, едешь, а все кажется – ползком. Обширная страна, а?

Он опять покачал меня за плечи, заглянул в глаза и глубоко вздохнул.

– Стою я возле моря. Льдины плывут. Оно такое сердитое, совсем стариковское, совсем седое и старое. Звери на нем седые, небо седое. Ох, а как, Сиволот, от льдин ветер подует, ой, как скучно!

– Да где это, Шибакмет?

– В Хибинах камни рубил. Порубил, порубил, пришел к морю. Эти камни бросишь в землю – сам видал – хлеб уродится такой, что ладонью землю прикроешь – столько ее, а зерна в этой ладони столько, что и ладонь твою засыплет и еще на лицо хватит. Вот какой целебный для земли камень! Рубил я эти камни, вдруг слышу: в Сочи дорогу строят через горы!

Дорога широкая, самая красивая в нашей стране. Будут по ней людей возить в такие воды, что обмакнут тебя, полежишь там – и вылезешь здоровым. Ты видал эту дорогу?

– Видал.

– И пальмы видал? Сто тысяч людей провезет в год, всех обмакнет, вот какая дорога. Я много на ней топтался, много молотком стучал.

Вино переливалось в стакане. Он легонько ударил пальцем. Стакан слегка зазвенел. Он дал мне выпить, затем опять наполнил

стакан и поставил его на камень. Вино горело темным багрянцем. Он щелкнул языком.

– Тоже красиво. Тоже здесь растет. Куда ни помотришь, все красиво. Письма из дому отличные получаю, сыновья моей силе радуются. А верно! О камень ударю – сыплется. Этот удар тебе, этот тебе! Я и для тебя, Сиволот, ударю. Читал Робинзона Крузо, очень упорно человек жил, много страдал.

Один! Самое страшное – один! Я бил много камня, выше себя набил щепня, все в его честь. Дон-Кихоту бил, приключениям Финна бил. Максиму Горькому бил особо, три дня. Красиво думает о жизни. Оркестр мимо идет. Красная Армия, Ворошилов! Много им тоже камня бил. Я каждый день бью больше всех, а последний удар самому себе бью: молодец Шибрахмет Искаков, ударник, очень веселый человек.

Он схватил стакан, выпил. Стакан он тщательно протер коротеньким полотенцем и положил в карман бешмета.

– Вот тоже Магомет был. Вино запретил. До сорока лет я не пробовал, а потом думаю: если я в князей стреляю, то разве их закон при мне остается? Взял бутылку, семнадцать рублей заплатил. Ах, какой хитрый Магомет был, себе хотел побольше оставить. «Не пей, говорит, Шибрахмет!» А я-то, дурак, отвечаю: «Слушаю, ваше величество». Да ты не горы смотри, Сиволот.

Он повернул меня за плечи к морю.

– Ты сюда смотри и долго смотри. Если я рядом с тобой тяжело дышу, ты не думай плохого, я не сплю, у меня так тело сделано, что от красоты начинает трястись.

Море было колыхающегося багряно-бархатного цвета.

В середине уже поднималась белоснежная дорога. В небе цвета индиго качалась оранжевая луна. Воздух теплел. В горах медный тягучий гул, словно они перед сном ворочаются и никак не могут лечь. Мы стояли неподвижно. Шибрахмет, видимо, мысленно проходил по широкой дороге, которую он недавно с такой любовью прорубил в горах. Он останавливался на каждом повороте, любовался на море, которое каждый раз было иное. «Какие замечательные люди строили дорогу, – думал он, – как они понимают красоту!»

Он наклонился к моему уху и тихо сказал:

– Моя власть получает от меня полное почтение, Сиволот. И она мне благодарна, что я ей таких детей подарил. Но вот мы читаем про войну и мир и думаем: красиво, все красиво!

Но почему он, Толстой, об рабочих молчал? Или дальше есть?

– И дальше нету.

– Скрывать приходилось, Сиволот. Не было ничего красивого у мужиков и рабочих, а Толстой хитрый старик был, умный. Борода-то у него какая, видал? Мне с ним поговорить, я б ему правду сказал: красоты у тебя много, но у нас больше. Вот я и хочу сказать власти добавочно: заводы, города, машины переименовываετε, а почему стоит Черное море? Это людей раньше пугали, чтоб они не стремились сюда. Черное, мол, так и страшно: у меня и без того жизнь черна! Вот ведь я при царе никуда не ездил, кроме Павлодара, да и там не камни бил, а крутил колесо. Перекрасить надо море!

Он шел рядом со мной, слегка помахивая халатом.

Лицо у него круглое, улыбающееся.

Он напевает вполголоса:

Качается море, качается
Вместе с пароходом и со мной!
От юрты к юрте на соловом иноходце
Качается младший мой сын.
Качается море, качается,
Качается тоже степь!
Над юртами, морем и степью
Качается флаг наш один,
Совсем красного цвета,
Как щеки моей невесты,
Когда ей было
Шестнадцать лет и четыре месяца,
А мне восемнадцать!

Николай Николаевич Никитин

Потерянный Рембрандт

1

Шел 1926 год. Легальные миллионеры платили сотни тысяч подоходного налога.

Доход был велик и очевиден. Запад заключал концессии. Все благоприятствовало предметам роскоши. Антиквары блаженствовали. Их связи так же, как некогда и связи масонов, тянулись через рубежи, нарушая все конвенции и все кордоны. Антиквары Лондона через финских и немецких антикваров посылали в Россию свои тайные заказы. Контрабандисты и консульства выполняли поручения. Но все кончается, все истекает. Впереди стояла опасность... и вожаки антикваров мечтали о редких вещах. Отчасти, чтобы рассеяться, отчасти, чтобы подтолкнуть энергию своих агентов, Семен Семенович Брук, ленинградский антиквар, решил устроить пирушку.

На площади против сквера, где от памятника остался только мраморный пьедестал, в подвальчике помещался духан. В коридоре, за потертыми зелеными портьерами, в крайнем кабинете духана сидел Брук со своими гостями. Кроме них, в духане не было ни души. Сюда народ обыкновенно собирался к вечеру. Брук пировал на просторе... Он был щедр, на стол подали шампанское. Пирушка уже кончалась, стол был раздрызган, пьяные гости обнимали друг друга. Кто-то допивал еще вино, кто-то уже спал, кто-то подходил к Бруку, и он, почти не считая, совал деньги.

Художник Шамшин был единственным человеком со стороны в этой компании. Ему казалось, что он дышит не так, как все люди, и из его ноздрей вылетает синий коньячный огонь. Он уже перешел обычные грани опьянения, то есть тупость, усталость, сон, тошноту, он сверкал алкоголем. В голове у него кипело, мысли плавались. Он с презрением пьяного смотрел на эту ораву. Ему хотелось крикнуть, оскорбить кого-нибудь, бросить бутылкою в стену, чтобы заявить громко в лицо всем: «Я не с вами, я чужой...» Он щурил глаза, выискивая жертву, и вдруг его взгляд упал на хозяина.

Брук был абсолютно трезв. За весь вечер он выпил только стакан вина. Он снисходительно помалкивал среди этого гама и благодушно обмахивался желтым шелковым платком. Брук посмотрел в глаза Шамшину. Этого было достаточно. Длинный Шамшин, не сгибаясь, наклонился над столом и крикнул, показывая пальцем на Брука:

– Кто этот жуткий молодой человек?

Брук улыбнулся ему. Они были знакомы уже два года.

– Не улыбаться! – еще отчаяннее закричал Шамшин. – Как ты смеешь улыбаться? Кто ты такой?

Шум в духане сразу затих. Пьяные жучки и прихлебатели поняли, что Шамшин затевает скандал. Брук сделался серьезным. Грузин стал припирать стол к стенке, боясь за свою посуду. Брук мигнул одному из гостей. Маленький толстенький человек (все его звали Юсупом) подошел к Шамшину и ласково дотронулся до его плеча.

– Василий Игнатьевич... Почтенный гость, уважаемый гость...

– Прочь! – Шамшин рванулся.

Юсуп обхватил его сзади, со спины.

– Не смей!

Шамшин отбросил Юсупа к столу. Задребезжали стаканы...

Бутылка с красным вином упала на асфальтовый пол и разбилась. Грузин побежал за официантом.

– Старьевщик! – кричал Шамшин. – Вы роетесь в старье и у себя под носом не видите Рембрандта.

– Уж кому, как не мне, знать, что имеется в этом городе, – спокойным, холодным тоном заявил Брук, желая образумить Шамшина.

Шамшин подхватил эту фразу:

– Конечно, как тебе не знать... Разве не ты ограбил этот город?.. А теперь ты рыщешь... И ни черта нет! Ты шаришь в каждой щелочке, чтобы найти хоть что-нибудь. Все мелочь!

Все не то!

Вдруг он улыбнулся, наивно, точно ребенок, и крикнул тонким голосом, как бы поддразнивая Брука:

– А в городе имеется Рембрандт... Имеется, имеется, имеется! А вы не видите, бандиты!.. Контры! Я знаю вас...

Шамшин захохотал, но в эту минуту официант Сашка в мерлушковой кубанке и грузин-хозяин взяли его под мышки и вытолкнули через три ступеньки в дверь, на площадь.

Прохожие с удивлением взглянули на молодого человека, схватившегося за фонарь, на его побелевшие глаза, наполненные отчаянием и алкоголем, на шелковый галстук, который он сорвал с себя и бросил на тротуар.

Рано утром он проснулся у себя дома, в постели. Он сразу представил себе весь вчерашний скандал. Разрыв с Бруком ни капли не смущал его. Он не нуждался в Бруке. Брук в нем нуждался. Брук доверял его чутью и приглашал его для экспертизы и кое-что давал для реставрации. Эта работа всегда казалась Шамшину отвратительной, он брал ее для денег. Иллюстрации, зарисовки, театральные костюмы, карикатуры, портреты – он делал все, что ему давали. Он чувствовал свои способности, он был человеком увлекающимся, страстным, как пьяница, как игрок, как любовник. Он искал открытия в своем мастерстве и бестолково топтался, сгорая от попыток, от мучительной работы, которая не оправдывала себя. Он хотел быть современным и, по существу, не знал современности. Он жаждал понять мир, не зная мира. Он хвастал, что в его библиотеке столько же книг, сколько было и у Рембрандта. То есть пи одной. Он жаждал славы, потому что был честолюбив, и не умел ее делать. И это было его несчастьем. Вчерашний, скандал, конечно, являлся отражением его душевных неудобств.

Крик о Рембрандте был пьяным криком человека, оскорбленного своей судьбой. Антиквары поняли иначе.

От железных крыш и труб становилось душно. В квартире стояла тишина. В соседней комнате, за стеной, еще спала Александра Петровна, она работала в театре и вставала поздно. Уже около года она оставалась женой лишь по паспорту.

Они встречались только в ванной. В третьей-комнате, самой маленькой, жила Ирина. Она молчаливо любила Шамшина и ненавидела его бывшую жену. Шамшин же сам не знал, кого он любит.

При кухне находилась старуха, презиравшая всех троих за несемейность и беспутство. Все вместе, точно в насмешку, называлось коммунальной квартирой..

За дверью Шамшин услышал голос Ирины. Он отозвался.

Когда Ирина вошла в комнату, Шамшин раскрыл глаза и рассмеялся, пораженный ее нежностью и тонкими удивленными глазами.

– Вставайте... Звонит Апрельский...

Шамшин вскочил и побежал в коридор к телефону.

Алеша, Апрельский, старый друг по академии, давно бросил живопись. Революция увела его в сторону, на газетную работу. Он стал заметным человеком в прессе. Встречались они редко. Апрельский был очень занят, но дружба не прерывалась. Апрельский в шутку говорил, что он шефствует над Шамшиным. Недавно, по его настоянию, даже по его теме, Шамшин начал работу над большой картиной. Картина предназначалась для выставки.

Он должен был изобразить один из эпизодов войны с белополяками. Шамшин не чувствовал себя баталистом, но в этом эпизоде, помимо его батальной формы, он видел большую тему... Два полка сошлись в кавалерийской атаке. Утро. Долина. Скользит первый луч. Конница, построенная эскадронами, несется с обнаженными клинками. На бойцах синие венгерки, только что пошитые из французского сукна, взятого недавно в бою. Навстречу нашим тем же эскадронным строем на рыжих гунтерах мчатся сенегальцы, во всем белом. Чёрные лица.

Крик. Когда сошлись головные эскадроны, сенегальцы вдруг остановились и выкинули белый флаг. Атака замерла. Сенегальцы выслали парламентаров. «Нас обманули, – заявили парламентары. – Нам сказали, что большевики – людоеды, пожирающие женщин и детей. А мы видим солдат». Ругаясь со своими офицерами, они отказались идти в атаку. Повернув лошадей, сенегальцы покидают поле... Горнист-сенегалец трубит отбой.

Шамшин набросал много эскизов, но когда начал писать картину, вдруг все разонравилось. Тема показалась иллюстративной, сюжет обычным, он стал работать формально, увлекаясь пятнами. Картина превращалась в какую-то фантасмагорию. Шамшин обращался к смыслу вещи, все переделывал заново, но чем больше вкладывал в нее

рассудка, тем автоматичнее становились образы. Он видел, что мысли без поэтики – ничто. Он пытался вообразить себя участником этого боя и окончательно потерял себя. Все действовало на него – идеи, форма, современность, желание угадать вкусы критики, все это влияло разновременно, смешивалось, путалось... Картина раздиралась на клочки заложенными в ней противоречиями.

Это был документ попыток и личных страданий, но это не было произведением искусства.

Апрельский настаивал на том, чтобы картина была приготовлена к ближайшей выставке. Шамшин очень ценил беспокойство друга, но честно поделиться с ним своими сомнениями мешала гордость и привычка к одиночеству. Он надеялся, что эта заминка временная и что в конце концов он выберется и даст такую работу, какая под силу только большому мастеру.

Маленькой победы он не хотел. Этот человек все мерил большим аршином. Заготовки росли. А вещи не было.

– Ну как? – спросил Апрельский.

– Что как?

– Подвинулась?

– Немного... Нет фонаря, – вздохнул Шамшин.

– Какого фонаря?

– А вот такого, какой был у Рембрандта. Все понять и осветить по-своему... Вчера утром я заходил в Эрмитаж. Там при мне освобождали от стекла фламандцев. Я опять увидел эту живопись так близко... посмотрел на нее и заплакал. А что они писали? Трактиры, пьяных баб, коров, детей, сидящих на горшке...

– Однако, – фыркнул Апрельский, – Рембрандт написал «Ночной дозор».

– А что ты из него поймешь? – спросил заносчиво Шамшин.

– Ты напиши, пойдем! – Апрельский засмеялся. – Сегодня вечером я позвоню тебе. Меня усылают в командировку.

Картина занимала половину комнаты. Из двух круглых окон, похожих на иллюминаторы, падало солнце, комната напоминала корабельную каюту. Стены ее Шамшин заклеил вместо обоев собственными копиями с гравюр Рембрандта. На потолке был прорублен большой квадрат и застеклен, как это делалось когда-то в фотографиях. К стеклянному люку приставлена стремянка. Шамшин

забрался по вей наверх, как по трапу, и раскрыл люк. Июльский свет к жар с раскаленных крыш наполнили комнату. Издали слышался уличный шум, напоминая театр. Шамшин, полуголый, в синих широких штанах, как у сварщика с Северной верфи, ходил по комнате, засучив рукава, будто он собрался с кем-то драться. Огромный ларь стоял в углу.

Он был наполнен старыми альбомами, записками; набросками, копиями. Это был архив, черновики пройденного пути, летопись разочарований, оставленная только для себя. Когда дрова в плитке плохо загорались, Шамшин шутя запуская руку в ларь и, не разбираясь, разжигал огонь этим материалом.

Есть человечки, понимающие втайне свое ничтожество и даже сознающие, что их терпят в искусстве только за выслугу лет, и все же они ревниво берегут, точно святыню, каждый клочок своей бездарности и нищеты! Шамшин был не похож на них.

Люди, говорившие, что Шамшин мало работает, просто не знали тех Монбланов, через которые он перешагивал.

Он работал. Ирина вслух читала книгу. Он не слышал ее.

Ему необходим был только голос. Иногда она прерывала чтение и снимала с плитки чайник. Работая, он поглощал кипящий чай.

Шамшин швырнул кисть. Она полетела под ящики.

– Не так! – закричал он. – Разве понятно, о чем трубят этот сенегалец? Это просто черный дурак...

Вдруг прозвенел телефон. Шамшин махнул рукой. Побежала Ирина и крикнула из коридора:

– Тебя.

– Пошли всех к черту, – ответил он.

– По экстренному делу.

Сжав зубы, Шамшин подошел к телефону.

– Вася?

– Я.

– Брук говорит. Слушай, Вася. Что ты вчера кричал о Рембрандте?

– Я ничего не кричал.

Шамшин скривился в телефон и тихо повесил трубку. Брук разговаривал так, как будто между ними ничего не произошло. Через секунду снова прозвенел телефон.

– Нас разъединили. Слушай, Вася. У тебя есть деньги?

– Есть.

– А то могу подсыпать...

Молчание. И снова однообразный и тягучий, точно лапша, голос Брука:

– Я сейчас буду проезжать в твоих краях. Он у тебя?

– Кто он? – уже обозлившись, крикнул Шамшин. – У меня никого нет! Отстань!

– Зачем орать! – печально сказал Брук. Звякнула трубка.

3

Вечером, чтобы отдохнуть и рассеяться, Шамшин предложил Ирине пойти с ним в Народный дом. Пока она переодевалась, он разбирал у себя в комнате всякую старую рухлядь.

Среди хлама ему случайно подвернулась одна доска, плод увлечения Рембрандтом, реакция на мастера. Картина изображала молодую женщину, полулежащую среди разбросанного белья и кружев. Склонясь к ее едва прикрытому животу и держа ее за руку, стоял еврей-врач. Пламя свечи падало пятном на его рыжую бороду. Глаза женщины улыбались. Смеялась ли она над бессилием врача, или, наоборот, ей представлялась будущая праздничная жизнь, когда она встанет и скинет с себя эти широкие шерстяные одежды? Во всяком случае, беременность ничуть ее не тревожила. Она мечтала... Она была далека и от этой постели и от своего материнства. Шамшин вздохнул, поставив доску на мольберт. Картина пропиталась пылью, немножко потрескалась. Она долго пролежала около радиаторов. Шамшин написал ее совсем случайно, счистив чью-то живопись со старинной доски.

Вот годы юности... Ничего не знал – ни жизни, ни опыта, ни ученых соображений, их уже потом натвердила критика.

Несмотря ни на что, одним инстинктом была создана эта вещь... В любви, в искусстве, даже в науке, да, пожалуй, и в политике, что сделаешь, если у тебя нет инстинкта?

Была жена. И нет ее... Был ребенок. И нет... Все умирает, даже дети. Был старый итальянец, живший на Васильевском острове, он составлял художникам краски по какому-то старинному рецепту...

Где же все это? Исчез, как все... Сколько исхожено дорог? Он прошел по всем путям живописца, от Сезанна и Матисса до черного пятна на незагрунтованном холсте.

Здесь караулила смерть. Он отшатнулся к Рембрандту. Его глазами он написал эту вещь, думая, что он берет только традицию и перебрасывает в этот мир новую Голландию... и здесь завяз. Это не годилось для современного сюжета. Он хотел быть современным. А современность не давалась. «Кто же я?

Где я живу?» – спросил он самого себя.

– На Манежной площади, – съязвил он вслух, чтобы оборвать свои воспоминания.

Ирина вошла в комнату и заинтересовалась картиной.

– Что это? Почему я ее никогда не видала? Это Александра Петровна? – спросила она, прикусив губу.

– Нет.

– А похожа... Александра Петровна, переселенная назад, в столетия.

Шамшин усмехнулся:

– Все может быть!

Он захохотал, накинул на мольберт тряпку, и они ушли.

Поезд в составе трех вагонеток скрежетал, подскакивая на поворотах, падал в ущелья и снова взвивался вверх. Около управления стоял худой человек. Он улыбался, оглядываясь на пассажиров, точно скелет, не разжимая челюстей. Сзади всех, на самой последней скамейке, сидел молодой пьяный парень.

Еще в начале пути с головы пьяного сдуло кепку, она упала прямо в толпу, около американских гор. Парень требовал моментально остановки. Народ хохотал. Когда поезд взлетел на самый верх, Ирина от страха закрыла глаза и уцепилась за Васю.

Вместе с ними взлетела тяжелая Нева, черные граниты, электрический пунктир мостов, синие бастионы, коричневые дворцы, трубы Монетного двора и плоский ангел.

Пьяный крикнул:

– Спускайся, черт!

Поезд ухнул вниз, упал в туннель, в сердце горы, там замигал багровый глаз и застонали рельсы. Шамшин нагнулся и крепко поцеловал Ирину. Тут поезд замедлил ход и подполз к игрушечному дебаркадеру. У Ирины билось сердце и кружилась голова. Она улыбалась. А Шамшин подумал: «Она счастлива».

И позавидовал ей. Он тоже хотел счастья. Ночью Ирина пришла к нему. В коридоре опять зазвонил телефон. Шамшин, набросив на себя пальто, побежал к аппарату. Он думал, что звонит Апрельский.

– Да! – крикнул он.

– Добрый вечер!.. Это Брук!

– Не мешай мне спать. Я сплю.

– Да погоди... Не вешай трубку... Я был сегодня у тебя. Открыла мне твоя старуха... Я видел эту вещь... – Брук явно волновался. – Сто хочешь?

– Слушай, Брук. Не сходи с ума. Я хочу спать.

– Откуда ты ее достал?

– Я хочу спать! Я вешаю трубку. Спокойной ночи...

– Погоди, погоди, Вася-... двести хочешь?

– Отстань, пожалуйста. Я хочу спать.

– Я думаю, это подделка, но все-таки... А ты, Вася, как думаешь?

– Я ничего не думаю... Меня ждут.

– Ты же сказал, что ты спишь?

– Да, я сплю.

– Погоди... Как ты думаешь, может быть, все-таки следует отдача на экспертизу?

– Позвони завтра... Я сейчас сплю.

– Что значит спишь? Ты же не спишь... Ты же стоишь у телефона...

– Я больше не в силах стоять...

– Ты болен, что ли?

– Да, болен.

– Странная болезнь... Когда человеку предлагают деньги...

– Я больше не могу...

– Да погоди, мне надо выяснить...

– Мне некогда!

– Что значит – некогда?

– Всего!

Шамшин брякнул трубкой.

На следующий день Брук встретил Шамшина и первый подбежал к нему.

– Ты сердишься? Зачем?

Шамшин молчал.

– Ну! Триста хочешь? – Брук хлопнул Васю по плечу. – И кончим дело... Что за канитель?

– Это моя вещь... – сказал Шамшин, улыбаясь. – Моя!

Пойми!

– Твоя? – Брук плутовато подмигнул. – за твою я дам тебе три копейки, а за эту даю триста рублей... Ты меня, надеюсь, понял?

– Вполне! Ты сволочь и арап!

Расхохотавшись, Шамшин круто повернул от Брука.

Брук стоял на тротуаре Невского. Прохожие толкали его, звенели трамваи, извозчики кричали «берегись», поджаривало солнце. Опомившись, Брук почесал коротко остриженный затылок, поправил кепку и пробормотал:

– Однако!

5

Однажды в соседней комнате, у Александры Петровны, веселились гости. Из-за стены непрерывно слышались шутки, шум и смех. Шамшин злился. Его раздражало это веселье. Он не был желчным человеком, но ему опротивел быт. На столе две недопитые чашки чая. У окна груда неоконченной работы для журнала. На мольберте надоевший портрет. В кресле Ирина, читающая книжку. Перелистывая страницы, она поднимает голову и смотрит на Шамшина влюбленными глазами. За стенкой кто-то пропел пьяным голосом: «Мальчик резвый, кудрявый, влюбленный...» Шамшин не выдержал и стукнул в стенку кулаком; «Эй, Моцарт, тише! Здесь Сальери!»

На минуту за стеной притихли, затем раздался взрыв хохота.

Обхаживая комнату вдоль и поперек, Шамшин думал: «Хоть потолок бы провалился, что ли».

Когда в коридоре позвонил телефон, Шамшин кинулся к нему, точно птица за пищей. Шамшина спрашивал незнакомый, свистящий голос. Шамшин ответил, что он у телефона.

– Очень рад. Я давно ищу случая с вами познакомиться. Говорит Агафон Бержере.

Шамшин был изумлен.

– Вы ко мне?

– Да, именно к вам.

– Собственно, по какому делу?

– Разрешите мне объяснить это при личном свидании. Где мы можем встретиться? Может быть, мы вместе позавтракали бы в «Европейской»?

Шамшин замялся.

– Я затрудню вас только на полчаса.

– Ладно, – согласился Шамшин.

– Значит, завтра, – сказал Агафон Бержере, – в два часа в «Европейской». Спокойной ночи.

Ровно в два часа Шамшин вошел в ресторан «Европейской гостиницы». Официанты, одетые в белые куртки и белые брюки, толклись без дела. Зал был освещен только одной люстрой. В самом конце зала, под эстрадой, скрывшись за вазочкой с цветами, сидел у столика немолодой человек, сухой, коренастый, с коротенькими, почти выстриженными усиками и гладкими, приклеенными волосами. На нем был жакет бутылочного цвета.

Стоячий крахмальный воротничок повязан узким черным галстуком. Синий абажур скрывал выражение его лица. Этого человека знали все. Агафон Бержере, полуфранцуз-полуголландец, получив от своего отца, выходца из Голландии, небольшое дело, развернул его до европейских масштабов. Драгоценности, дорогие камни, украшения, ювелирные работы, статуэтки зверей, выточенные из минералов, – все эти вещи с маркой Агафона Бержере всюду в мире считались первоклассными. Собственно, биография знаменитого ювелира была довольно банальной: мраморный дом на Морской, двуглавый орел поставщика его величества, одна, законная, семья в апартаментах, другая, незаконная, в скромном доме на набережной Мойки, у Крестовского яхт-клуба яхта, в Левашове богатый особняк, наполненный коллекциями, и т. д...

Семнадцатый год прихлопнул все великолепии Агафона Бержере, Законная жена с детьми отправилась в Париж. Агафон переселился к незаконной, записался с нею в загсе и занялся антиквариатом. Девять раз его сажали, девять раз он выходил.

К революции он относился точно к погоде. Даже в камерах он вытачивал перочинным ножичком деревянные мундштучки и ставил свою марку. Находились любители, за эту дрянь платили деньги...

Бержере встал, приветствуя Шамшина. Метрдотель, выгнув шею, как лошадь, почтительно принял от Бержере заказ: омары, рыба, утка по-руански, апельсины, французский сыр и теплое старое бордо. Ничего лишнего... И разговоры самые общие.

Потом черный кофе. Агафон подымает узенькую рюмку с тяжелым ликером.

– За искусство! – холодно говорит он Шамшину. Он краснеет от еды и выпитого вина, в его голосе прорывается что-то грубое. – Я довольно внимательно всматриваюсь в ваши работы.

Вы будете или великим, или ничем.

– Почему же такая дистанция? – смеется Шамшин.

Бержере дергает головой.

– Вам не хватает пустяка! Но этот пустяк имеет большое значение.

– Какой пустяк?

– Признание! Одних оно губит, а других окрыляет и ведет к вершинам. Я это знаю по себе...

Бержере хвастливо дергает рукой.

– Что такое полупризнанный художник? Полупочтенный дворянин... Признание – это. мостик к славе.

Бержере понюхал ликер и вздохнул.

– Да, в искусстве страшно жить. Вообще сейчас страшно жить. Смотрите, что происходит во всем мире... Но я люблю жизнь.

Он улыбнулся, и Шамшин увидел рот Бержере, наполненный маленькими, как у женщины, зубами.

– Больше жизни я люблю искусство... – продекламировал он; он все-таки был французом, – А кто сейчас понимает искусство? Никто! Нигде! В особенности здесь.

Шамшин решил вскочить, но удержался. Из любопытства к людям хотелось узнать этого человека поглубже.

– Зачем же тогда вы остались жить здесь, у нас? – нарочно подчеркивая, спросил Шамшин.

– Видите ли... – Агафон загадочно улыбнулся. – Мне необходим воздух революции... Да, да, не удивляйтесь. В эпоху войн и революций рождаются великие антиквары. Они идут в тылах – армий и...

– Грабят! – смеясь, закончил Шамшин.

– Смело сказано! Если хотите – да... Если хотите – нет...

Я покупаю! Кстати...

Тут он нагнулся к Шамшину и шепнул:

– Мне говорили, у вас есть хороший Рембрандт, Шамшин рассмеялся.

– Я отослал его, – сказал он.

– А разве он не ваш?

Шамшин отрицательно покачал головой.

– Кому же он принадлежит?

– Одной старухе.

Шамшин расхохотался, сам удивляясь своему нелепому, случайному ответу. Агафон разочарованно поправил бровь, ткнул окурок в пепельницу и кивнул метрдотелю. Оба гостя встали из-за стола. В вестибюле гостиницы Бержере мимоходом, как будто небрежно, спросил Шамшина:

– А вы знаете эту старуху?

– Да нет... – Шамшин иронически пожал плечами. – Неизвестная старуха.

6

История с картиной странно оживила Шамшина. Дней через пять после встречи в «Европейской гостинице» Бержере опять звонил ему по телефону и спрашивал: не может ли он взять на себя хлопоты по разысканию этой неизвестной старухи?

– Нет! – Шамшин отрезал начисто. – Я не знаю, где эта старуха... А может быть, ее и нет...

Звонил Юсуп об этом же. Очевидно, антикварный муравейник кишел слухами. Только Брук пропал, он перестал существовать на

свете. Шамшин всем отказал, но его самого втянула эта фантастическая игра с картиной. В том, что она замечена, было какое-то признание, это странно бодрило.

Он встретил Бержере в балете. Был первый дебют молодой, только что выпущенной из школы артистки. Они подошли друг к другу в конце спектакля. Много раз подымался занавес. Уже потухли люстры. В партере и наверху публика еще отхлопывала себе руки.

– Какая прелесть... – сказал Бержере. – Это Тальони!

Шамшин балета не любил, балет казался ему глупым, но спорить на эту тему не хотелось. Первый снег покрыл площадь перед Мариинским театром, кричали извозчики, подзывая седоков. Гудели редкие машины. Бержере – предложил Шамшину поехать с ним отужинать во Владимирский клуб. «Чем я рискую...» – подумал Шамшин и принял приглашение. По дороге Бержере забавлял Шамшина анекдотами из жизни старого балета. Шамшин почувствовал, что все это опять только предлог к дальнейшим разговорам. «Пусть его...» – решил Шамшин.

Сани остановились около подъезда с чугунными столбами.

В прямоугольных фонарях, оставшихся еще из-под газа, желтело электричество. Швейцар выбежал навстречу саням, распахнул теплую медвежью полость и с поклонами кинулся отворять двери. Раздевшись, они поднялись во второй этаж по широкой лестнице, сплошь затянутой красным бобриком. Лепные стены, грубые картины, пыльные амуры, маляром написанные фрески, гипсовые грязные богини – все говорило о вертепе. На эстраде танцевала худая, стройная еврейка в желтых мягких сапогах, сверкая монетами и бусами. За столиками аплодировали: «Бис, Берта! Bravo, Берта!» Журчал серый фонтан. В бассейне дремали золотые рыбки. Пальмы свешивали над столами искусственные веера. Сиял свет люстр в хрустальных подвесках. Было жарко, душно, пахло жареным мясом и вином. Сновали официанты. Шныряли женщины, почти полуодетые. Шамшин оглядывался, точно путешественник. За одним из столиков сидел Юсуп. Увидав вошедших, он вскочил. Бержере отвел Шамшина в сторону:

– Нам неудобно быть вместе с этой бандой.

Бержере брезгливо кивнул на компанию, окружавшую Юсупа. Они стояли посреди ресторана, не зная, куда приткнуться.

Все места были заняты. Тогда Юсуп, подмигнув своим, подкатился к Бержере:

– Устроить, Агафон Николаевич?

– Да нет... мы сами... – сморщился Бержере.

– Я вас устрою отдельно. – Юсуп улыбнулся и схватил за рукав мимо пробежавшего официанта, – Сафар, сделай столик. Почтенные гости!

Бержере вежливо поблагодарил Юсупа. Юсуп поклонился и прижал руки к сердцу:

– Хоп май ли, Агафон Николаевич... Хоп!

«Однако буржуазия чувствует себя довольно бодро», – подумал Шамшин, усаживаясь с Бержере. Подали ужин. В соседнем помещении, за огромными дверями из красного дерева, шумела толпа. Там шла игра.

Волнение, люди, нагретый воздух, духи, глаза и плечи женщин, улыбки их, возгласы, холодок, азарт, гул вентиляторов, шелест бумажных денег – все это смешалось и дразнило воображение. Бержере подливал шампанского.

– Кстати, вас можно поздравить... Вы женились?

– Да нет.

– А мне говорили, что вы женились на соседке по квартире.

– Напрасно говорили, – Шамшин отрекся. – Мне говорят уже десятый год, что падает Исаакиевский собор.

Они чокнулись, и в эту минуту легкие влажные пальцы притронулись к уху Шамшина. Около столика стояла женщина. Ее лицо было покрыто густым слоем пудры. Прижав руки к плоской, маленькой груди, она смотрела на Шамшина зелеными улыбающимися глазами и прошептала ему: «Вася, дай десять рублей... Я должна поставить, я все проиграла. Если, конечно, можешь».

Шамшин дал. Сунув деньги в вырез платья, она так же неожиданно убежала. Бержере поджал губы.

– Какие бесстыдные глаза.

– А чего стыдиться?... Она красивая... Ее зовут Лялькой.

У этой девушки есть мать. Вполне приличная женщина. Отца я не знаю... Может быть, они скрывают отца.

Бержере, слушая Шамшина, задумчиво качал головой.

– Почему вы не женитесь на ней? Вам нравятся такие женщины... Я заметил ваш взгляд.

Шамшин лениво ответил:

– Если бы в каждой женщине мы могли видеть будущую жену, мы никогда не ложились бы в постель рядом с женщиной.

– Неужели? – как будто намекая на что-то, ядовито захохотал Агафон. – В жизни бывает именно так. Случай из любовницы создает жену, честного человека делает преступником, величину ничтожеством, а ничтожество величиной. Это даже тривиально... Вам не надоела моя болтовня? Я вас сейчас развлеку.

Бержере вытащил из кармана замечательной работы золотую табакерку и подал ее Шамшину:

– Откройте.

Шамшин приоткрыл крышечку. В табакерке лежала маленькая горсть камней, они сияли гранями и радугой.

– Здесь на двести тысяч, прекраснейшие образцы! – шепнул Бержере. – Я никогда в жизни не расстаюсь с этой табакеркой, конечно, за исключением тюрьмы. Мне необходимо рассматривать и чувствовать эти камни. Я постоянно тренирую свой глаз и свои пальцы. Так же и в жизни надо ничего не бояться, надо тренировать себя, чтобы чувствовать случай. Успех, победу, славу имеет только тот, кто стремится им навстречу. Человек, чувствующий случай...

– ...почти бог! – зло подхватил Шамшин.

Бержере рассмеялся:

– Просто бог... Так думал Франс.

Они встали.

– Пройдем в соседний зал, – сказал Бержере, – я хочу вернуть сегодняшний ужин.

– Сколько с меня? – спросил Шамшин.

– Какие пустяки! – Бержере зевнул, прикрыв рот, – Мы сейчас выиграем. Allons bon!^[1] За овальным зеленым столом, на самой середине, выше всех сидел желтый крупье. Посматривая на стороны, точно жулик, он кричал:

– Банк принимает! Банк принимает!

Наваливаясь на спины игроков, стояла жадная толпа державших мазу. Растратчики, рвачи, шулера тесно облепили стол, ожидая счастья. От толпы пахло, и стены были захватаны потными руками.

Плавал табачный дым. Синяя муть зеркал превращала всю эту картину в мираж. Проигравшиеся подходили к зеркалам, чтобы поправить волосы или просто посмотреть на себя, и отходили в недоумении. Счастливец, мокрыми руками расковырявая по карманам деньги, бежал в ресторан. Столы заполнялись бутылками, слетались женщины, и лихо запевали цыгане. Нищие, в грязных сорочках, бродили из одного зала в другой. Они ни на что не надеялись, они дремали в креслах, потерявших позолоту. Утром очередной счастливец бросал им на колени бумажку в три рубля.

Бержере локтями растолкал всю эту толпу. Взявшись за спинку стула, он протянул руку через чье-то плечо и крикнул банкомету:

– Прошу!

По его тону поняли – пришел крупный игрок. Шум сразу затих. Все посмотрели на Бержере глазами изумленных животных.

– В банке три тысячи, – тихо сказал крупье. В руках у него хрустела новая колода карт.

– Ва-банк! – спокойно ответил Бержере.

Крупье поднял голову и, прицелившись к игроку, улыбнулся.

– Простите, может быть, будете любезны обеспечить? Не правда ли?

Бержере тоже улыбнулся, сунул руку в жилетный карман и выбросил на стол табакерку. Все в толпе переглянулись. Все смотрели за тонкими пальцами крупье. Крупье вынул себе туза, затем валета, секунду помедлил и выбросил третью карту. Все увидели, что это тоже валет.

– Банк бит, – сказал крупье.

Бержере снял со стола три тысячи, табакерку и отставил стул.

– Не желаете ли испытать счастье в следующую очередь? – ласково сказал он Шамшину... Тот почти механически сел, взял у Бержере выигранные деньги и, кинув их в банк, принял две карты. Кто-то сбоку подсказал: «Еще!» Он получил третью. «Жир!» – громко заявил сосед.

Это был Юсуп.

– Банк берет! – крикнул крупье и длинной деревянной лопаточкой кокетливо сгреб деньги в свой ящик. Почти все игроки вздохнули облегченно, справедливость была восстановлена.

– Я не понимаю... – спросил Шамшин. – Что это? Я проиграл?

Улыбающийся Бержере держал его за руку. Они покидали клуб. На лестнице к Шамшину подскочил Юсуп и спросил:

– Ну, как дела, Василий Игнатьевич?

– Какие?

– Нашли старуху?

– Не одну, а десять!

Шамшин был, конечно, подавлен, но по-прежнему смеялся и грубил.

Утром Шамшин проснулся в невероятном настроении. Его мучил проигрыш. И вообще все поведение казалось недостойным. Он долго лежал, завернув голову в одеяло, делая вид, что спит.

«Можно этого долга не отдавать... – думал он. – Да у меня и нет никакой возможности. Кроме того, страшно глупо сунуть этой гнуси свои кровные деньги. Конечно, никаких денег он не увидит. Да он и сам, по-моему, на это не надеется. Деньги-то шальные. И все-таки как некрасиво получается! Разве спустить ему картину? А кто за нее даст три тысячи? Какой дурак? Это нужно сделать так: в стиле любезности. Так сказать, в обмен.

Дело не в деньгах, а любезность за любезность... Я проиграл, ты получи картину. Только этот паршивый черт, несомненно, сморщится, если я ему так предложу. Тут надо сделать хитрее...

Надо, чтобы он умолял меня ее продать. Нет, и это нельзя. Ведь я же сказал, что картина не моя. Она принадлежит старухе...

Какой старухе?.. Вот положение. Теперь изволь искать старуху, да еще не какую-нибудь, а подходящую старуху. Если поехать к Ляльке да попросить ее достопочтенную мамашу? Опасно путать старух в эти дела... Нет, тут, я думаю, следует поступить так. Нужно этих антикваров еще немножко повозить около картины, помучить, чтобы они вошли в раж, чтобы у них накипело до отказа и слюнки потекли... А потом сказать: пожалуйста, есть одна вещь! Как хотите, дело ваше, я тут ни при чем... Я дам адрес... Пусть они туда сегодня съездят. Лялька им скажет, что мамыши нет и неизвестно, когда вернется... Правда, Бержере может узнать Ляльку... И прекрасно!

Пусть узнает... Это даже правдоподобнее. Ведь мог же я скрывать. А потом пройдет некоторое время, дело завертится, я тут что-нибудь придумаю...

А если они действительно возьмут картинку, я могу сказать: картинка-то моя! Да. Так и сделаю... Комедия!»

Он выскочил из постели. Полетел в ванную, окатился холодной водой, выбрился, тщательно оделся и позвонил Бержере и Юсупу, чтобы они приезжали сегодня к семи часам вечера по интересующему их делу на Разъезжую, дом № И, л там он их встретит у ворот. Каждого он звал в отдельности, не сообщая о конкуренте, чтобы создать азарт.

За завтраком он весело рассказывал Ирине про Владимирский клуб, не упоминая об игре. Она огорчилась:

– А ты напрасно, по-моему, ездил.

– Почему?

– Надо все-таки разбираться в своих знакомствах. Не нравится мне этот Бержере.

– Ну, мало ли кто нам не нравится... До вечера!

Он поцеловал Ирину в нос и беззаботно удрал.

Все, что случилось дальше, напоминало сон. Днем Шамшин заехал к Ляльке, уговорился с нею. Лялька пошла на все с большой охотой.

Ровно в семь вечера к воротам дома подкатили два извозчика. На одном был Бержере, на другом Юсуп. Расплачиваясь, они еще не замечали друг друга. Столкнувшись у калитки, они отпрянули, но делать было нечего. Они поморщились и примирились с судьбой. Увидев Шамшина, стоявшего за воротами, Бержере церемонно приподнял котелок, а Юсуп ласково хлопнул Шамшина по плечу:

– Хитрец! Столкнул!

Шамшин повел их по лестнице.

– Сейчас вы подыметесь на второй этаж и спросите Агнию Николаевну Баринову.

Дали звонок. К дверям никто не подходил. «Сдрейфила!» – решил Шамшин.

– Попробую я, – сказал Юсуп, приподымаясь к звонку на цыпочках. Звонок задрезжал. Наконец Лялька отворила.

Бержере, постукивая тростью, быстро осмотрел переднюю.

Ляльки он не узнал. Она была не напудрена, в глухом черном платье. Шамшин не мог взглянуть ей в глаза. Он давился от смеха.

– Мы желали бы видеть Агнию Николаевну, – сказал Бержере.

– Ее нет... – бойко ответила Лялька.

– Позвольте, нам сказали...

– Она уехала! – перебила Лялька.

– Куда? – Бержере чуть не уронил трость.

Лялька выгнула спину и с озорством лисицы посмотрела на него.

– В Москву!

Шамшин не ожидал такого ответа. Бержере наморщил брови.

– Вы дочка?

– Да.

– Нам бы только посмотреть картины... Покажите их – и все в порядке.

Лялька растерялась:

– У меня нет картин...

– Как нет? – закричал Юсуп.

Лялька покраснела, поймав взгляд Шамшина, и храбро соврала, почти не задумываясь:

– Мама все картины увезла в Москву.

Антиквары переглянулись. Шамшин зачесал в затылке.

– Вы знаете адрес вашей мамы в Москве? – спросил Бержере.

– Нет.

Антиквары мрачно повернули к выходу. Лялька подмигнула Шамшину и показала ему язык.

Около ворот состоялось совещание.

– В Москву... – сказал Бержере. – Надо разыскать старуху. Собственно, куда ей деться в Москве? Ясно, она будет где-нибудь среди антикваров. Василий Игнатьевич, едемте в Москву. Расходы на мой счет!

Шамшин пробовал сопротивляться. Но Бержере был настойчив.

– Ехать! Иначе упустим. Ясно... Старуха повезла картины на продажу!

– Да! Надо ехать... – сказал Юсуп.

Шамшин испугался.

– Видите, у меня дела...

– Какие там дела? – энергически заявил Бержере.

– Я только вечером сумею вам дать ответ: поеду я или не поеду.

– Вечером? Ничего подобного! Вечер уже сейчас! – Бержере необыкновенно воодушевился. – Вечером мы будем уже сидеть в поезде и пить красное вино. – Он посмотрел на часы: – Поезд отходит через два часа... Я еду на вокзал. Заказываю носильщику билеты для троих. Потом еду домой, забираю продукты и чемодан... и ужинаем мы в вагоне! Пошел... – сказал он, садясь в сани и дотронувшись до плеча извозчика, и уже с ходу крикнул:

– Встреча в вестибюле!

Юсуп сел на своего извозчика. Шамшин остался на Разъезжей.

– Что делать, черт возьми!

Накаленная атмосфера заразила его. Он почувствовал, что иного выхода нет... Или все позорно проваливается, или надо как-то действовать... Он снова бросился на второй этаж, надавил звонок изо всей силы. Лялька открыла.

– Где мать?

– Спит...

– Буди! Некогда спать... Через два часа она едет в Москву.

– Да ты с ума сошел!

– Буди скорей.

На крик вышла в переднюю старуха, седая, напудренная, подстриженная, с подмазанными губами, в прекрасном суконном платье лилового цвета. На руке у нее брэнчала золотая браслетка, а на носу торчало маленькое пенсне без оправы, так называемая «бабочка».

– Я не поеду, – сказала она.

Шамшин понял, что старуха все знает. Лялька ей, несомненно, разболтала.

– Агния Николаевна, – сказал он решительно. – Нам уже некогда убеждать друг друга. Я сейчас еду на вокзал, заказываю вам билет у носильщика... Я еду в десять, вы в одиннадцать! В Москве я вас встречаю и устраиваю у своих знакомых.

Все расходы на мой счет.

– Я не понимаю, Василий Игнатьевич, зачем мне ехать?

– Агния Николаевна, вы в Москве все поймете.

– Я не хочу тащиться в Москву неизвестно зачем.

– Как неизвестно? Я продаю картину... Это вам известно?

– Известно.

– Вы владелица этой картины, это вам известно?

– Ну, не совсем...

– Вы с продажи получите десять процентов.

– Василий Игнатьевич, – вдруг важно сказала старуха и высморкалась в маленький кружевной платок. – Простите меня, за кого вы меня принимаете?

– Как за кого? – Шамшин опешил и посмотрел на Ляльку, обращаясь к ней за помощью.

Лялька повела плечами и улыбнулась.

– Я вас очень уважаю, Агния Николаевна, – сказал Шамшин, – но вы сами понимаете, все помимо моей воли так неожиданно обернулось, мои антиквары...

– Мне нет дела до ваших антикваров, – резко перебила старуха. – Я не могу Лялечку оставить без глаза! Это во-первых... А во-вторых: какой мне интерес?

– Я же вам сказал...

– Вы мне ничего не сказали. Что значат ваши проценты?

Пятьдесят рублей, сто, триста... Я ведь ничего не знаю. Зачем я поеду? Я не девчонка, мотаться взад-вперед, неизвестно зачем.,

– Да... – Шамшин вздохнул. – Я об этом не подумал.

– Вы странный человек, Василий Игнатьевич... Как будто не от мира сего! – наставительно произнесла старуха и сняла дрожащее пенсне. – Не желаете ли чаю?

– Благодарю вас, некогда! Агния Николаевна, я умоляю вас...

Шамшин приложил руку к сердцу. Он уже вошел в отру, бес азарта им овладел. Он решил подействовать на воображение.

– Агния Николаевна! Это, конечно, риск. Рискните!

Риск – благородное дело. И вы, может быть, получите несколько тысяч.

Тут он понял, что порет какую-то невообразимую чушь. Растерявшись, он подмигнул старухе. Но пошлых людей сильнее всего убеждает пошлость. Вот почему старуха сперва удивилась, потом задумалась и наконец вопросительно взглянула на дочку.

– Ну, Лялечка... Что ты посоветуешь?

– Право, не знаю, мамочка.

– Да чего не знать? – снова врезался Шамшин. – Ну, потеряете дня три, только и всего... А вдруг?

– Рискнуть?

Старуха опять посмотрела на Ляльку. Лялька, задрав ноги, раскачивалась на стуле.

– Обдерни юбку... Где у тебя юбка? Что за мода?

Лялька захохотала. Старуха рассердилась.

– Я не понимаю, Ляля, ведь Василию Игнатьевичу, некогда. Он спешит... Надо же решать!

– Езжай, по-моему... –

– А это не опасно, Василий Игнатьевич?

– Да что вы, Агния Николаевна... Что тут может быть опасного? Люди-то свои... Я вас не в Америку везу. Согласились?

Он схватил ее за руку.

– Я сейчас еду домой, потом на вокзал, потом забрасываю вам картины... Говорю номер носильщика, вы забираете у него билет и... в Москву, в Москву!

Он расцеловал и Ляльку и заодно старуху. Старуха сразу же забегала по квартире, хватая вещи.

Лялька закричала прислуге:

– Даша, вытащите с антресолей чемодан... Да оботрите!

Начался переполох.

Шамшин опрометью скакал вниз по лестнице. Думать уже было некогда...

Ирине была оставлена записка: «Иринушка! Па экстренному делу выехал в Москву дня на три. Вася».

Старуха поселилась в одном из московских переулков, в каменном особняке с помещичьим двориком, занесенным пухлым солнечным снегом. Среди снега стояли три восковые замерзшие березы. Все вокруг и в самом домике было очень приятно. Домик, отведенный под маленький музей начала девятнадцатого века, довольно хорошо сохранился. Заведующий музеем, старый художник-реставратор, был большим приятелем Шамшина по винной части.

Старуху он приютил в жилой половине дома, которая не экспонировалась, среди красного дерева и ширмочек, около тяжелой круглой изразцовой печки.

Старуха радовалась тихой жизни и готова была жить в этом особнячке до бесконечности. Утром она пила кофе, потом уходила обедать к московской приятельнице и там проводила вечер.

Когда, наступил решительный день, старухе стало страшно, а может быть, ей не хотелось расставаться с московской жизнью.

Она категорически заявила Шамшину, что у нее сосет под ложечкой, что сегодня ночью ее томили скверные предчувствия и что она вообще не согласна на эту авантюру.

– Вы смеетесь надо мной, Агния Николаевна, – заявил испуганный Шамшин. – Отступить уже поздно. Через полчаса сюда приедут антиквары.

– Василий Игнатьевич, я вам говорю, что сегодня не готова... – стояла на своем старуха. – Придут люди, а я не в состоянии связать мысли, не то что говорить...

Шамшин забежал по комнате... Выкурив две папиросы, он сказал старухе:

– Агния Николаевна, раздевайтесь.

Старуха удивленно посмотрела на него.

– Я вам говорю: немедленно раздевайтесь и ложитесь в постель.

– Зачем?

Она сняла пенсне.

– Вы больны. Вы умираете. Буду говорить я за вас. Ложитесь!

Старуха, подчиняясь приказу, молча пошла за ширму и стала раздеваться. Из-за ширмы он услышал ее веселый, даже интригующий голос: «Я легла, Василий Игнатьевич».

Шамшин раздвинул ширмы. Старуха лежала под одеялом, помолодевшая, томная, румяная, с улыбающимися глазами, почти невеста, ожидающая жениха.

– Что это такое? – строго спросил Шамшин. – Так не годится! Повяжите голову чем-нибудь черным. Сотрите губную помаду... Пойдите! Да у вас даже брови накрашены... Все стереть...

Все к черту!

Старуха была недовольна, но ей пришлось подчиниться Шамшину. Когда раздался звонок, Шамшин побежал отворять двери.

– Старуха-то плоха... – сообщил он антикварам. – Боюсь, как бы тут не окочурилась.

Антиквары, покашливая, осторожно, на цыпочках, вошли в комнату. Раскланялись со старухой. Она ответила им, мигнув ресницами. Когда они начали ее расспрашивать, она тупо ткнула в угол, где стоял пакет, зашитый в холщовый мешок. Юсуп вскрыл его. С недоумением антиквары разглядывали привезенные картины, пока не дошли до работы Шамшина.

Бержере покосился на старуху и шепнул:

– Эта?

Шамшин, взяв свою картину, повертел ее, как фокусник, и швырнул на стол. Бержере с недоумением взглянул на нее.

– Ну как?

– По-моему, фальшивка! – холодно сказал Шамшин.

Бержере вздохнул. Ему тяжело было разочаровываться.

– Как быть?.. Подождите. Я съезжу к Вострецову.

Он не поверил Шамшину. Он заметил в его глазах странный блеск.

Надев свой неизменный черный котелок, Бержере исчез.

9

Профессор Вострецов сидел на пуфике, неподалеку от старухи, и мечтательно оглядывал низкие комнаты сквозь запотевшие стекла очков. Снежинки таяли на его старинной шубе. Из-под бобрового воротника он вытащил седую растрепанную бороду и расправил ее на две аккуратных бакенбарды.

Бержере подал ему картину. Вострецов взял ее небрежно.

– Агафон Николаевич, честное слово, делаю уступку только вам... Вы знаете, обыкновенно, когда мне приносят пакет и говорят, что там завернут Рембрандт или Рафаэль, я кричу:

«Идите к черту!»

– Это правильно, – неохотно процедил Бержере.

– А как же иначе? Ведь тащат черт знает какую дребедень. И главное, все убеждены, что у них шедевр... Но я скептик! Я не доверяю неизвестным шедеврам... В особенности подписным!

Шамшин молчал.

– Это не подписная, – робко промолвил Бержере.

– Слава богу... А то, чем хуже вещь, тем лучше подпись.

Профессор хлопнул доскою по столу и рассмеялся.

– Ох, уж эти обманщики, фальсификаторы и шарлатаны!

Черт их побери, вот уже десятки лет проходят, шагнула техника, они же все фабрикуют по старинке. Это непременно либо старая филенка, либо старое полотно, на котором делают копию или арлекинаду, то есть из самых разнообразных картин того же мастера берут куски и собирают вместе, меняют композицию, фигуры... Своей сухой живописи придают золотистый тон желтым голландским лаком, или обыкновенным, или лаком цвета сепии... Подделывают грязь, пропитывают картину густым слоем лакричного сока, прогревают солнцем, ставят в духовую печь. Кракелюры намечаются иголкой. Хитрецы прикладывают к полотну металлическую пластинку и бьют по пластинке молотком. Лак звездится. Трансформация! Хромолитография! Кислоты! Всю эту машину времени я изучил до тонкости... Убожество! Думают о чем угодно... О линии, о форме, о пятне, о свете!

Только не о том, что картина должна дать... Помнят о внешности, об эпидерме модели и забывают дух... Дух, дух!

Вострецов сдунул пыль с доски.

– И главное, всех тянет на Рембрандта! Здесь, между прочим, кроется какая-то несомненная тайна. Пожалуй, его можно скопировать, но дать Рембрандта очень трудно. Нужно самому быть гением, Рембрандтом! Гением, гением! – выкрикнул профессор.

Шамшину становилось не по себе. Чтобы спрятать дрожь, он сунул руки в карманы. Он жалел, что пошел на это дело.

Ему хотелось как можно скорее убежать из комнаты и бросить все на произвол судьбы.

– И все-таки... – Профессор снова добродушно расхохотался. – Вы знаете, что сказал одному скептику знаменитый Анри Рошфор о Capitaine en justaucorps de buffle^[2], выставленном в Пти Пале... Он сказал: «Милый мой, ты сомневаешься в нем... Сомневайся! Ты прав! Я тоже сомневаюсь. Но если бы ты узнал, кто фальшив из выставленных здесь Рембрандтов, тебе не на что было бы смотреть!» Что делать? В мире циркулирует не менее трехсот фальшивых

Рембрандтов. И если разоблачить некоторые из европейских и американских галерей, мы недосчитаемся многого. Кто этого будет добиваться? Те триста погибших, которые были равны ему? Большинство из них умерло в таком же забвении, как он. Триста погибших гениев! Вот тема для трагедии. Разрыв между талантом и временем создал этих несчастных. Мне жалко их... Я их люблю.

Профессор вдруг мельком взглянул на Шамшина. Щеки Шамшина моментально покраснели, он отошел в сторону и готов был провалиться. Вострецов ехидно улыбнулся, снял очки и поднес картину к самому носу. Затем, сделав из ладони что-то вроде трубки, он стал внимательно разглядывать. Антиквары следили за его движениями.

– Откуда она? – вдруг спросил Вострецов, подымая голову.

Антиквары пожали плечами и кивнули на старуху.

Вострецов подошел к ней, потянул носом воздух и моментально отскочил к окну. Здесь, отставив картину на расстояние, он долго смотрел на нее, посапывая, колупнул ногтем краски, поскреб в бороде и осторожно положил доску на стул.

– Вот художник... Бог знает, что это за человек... Пользовался ли он известностью в свою эпоху? Документы говорят, что нет... Его портреты не очень нравились заказчикам. Он был чужим в своей среде. При официальных церемониях его забывали, при наградах обходили... А если где-нибудь случайно ему и находилось место, так обязательно позади прочих.

– Я очень извиняюсь... – Юсуп нервничал. – Вы уважаемый профессор, почтенный профессор. Что мы имеем?

Вострецов опять взял картину, перевернул ее, улыбнулся, постучал.

– Единственное, что меня в ней смущает, так это доска,

– Единственное, что есть в ней настоящего, профессор, так это доска! – горячо сказал Шамшин.

Шамшину показалось, что профессор все видит и только издевается над ним. Тогда он решил открыто сгрубить ему. Профессор в ответ блеснул очками и ласково протянул руку Шамшину.

– Друг мой, древние говорили: «Мудрец сомневается только в истине»...

Потом, напялив на голову боярскую бобровую шапку с бархатным верхом, не прощаясь, профессор направился к выходу.

Вслед ему бросились Бержере и Юсуп. В темной передней Бержере схватил его за руки.

– Все-таки это Рембрандт?

– Если да, то мы не знаем на него цены! Не знаем рынка. Если нет... Нет, очевидно, да!.. Черт его знает, что это за мастер, – восторженно сказал Вострецов и загадочно заторопился.

Сунул антикварам свою ладошку, заправил бороду под воротник шубы и уплыл, громко топая ботами.

Пока антиквары провожали Вострецова, Шамшин приказал старухе:

– Берите с них немедленно пятьдесят тысяч.

Она закатила глаза.

Вернувшись, Бержере долго ковырял в зубах спичкой. Юсуп мечтательно смотрел в окно. Огни еще не зажигались.

– Ну... *Ca u est* ^[3], – шумно вздохнул Бержере и сказал Шамшину по-французски: – Я решил купить! Присоедините для виду еще каких-нибудь две картинки и спросите эту дохлую ведьму: сколько она возьмет за все?

– Дохлая ведьма возьмет за все пятьдесят тысяч, – бойко ответила старуха, тоже по-французски. Ее головка задорно зашевелилась на подушке. Бержере наклонился к старухе, почти вырвал из-под одеяла ее руку и поцеловал.

– Мадам... Я не мог знать... – зашептал он и отсчитал сорок тысяч. – *C'est mon dernier mot*^[4], больше я дать не в состоянии, *madame*.

От старухи они сразу уехали в «Метрополь» обедать и оттуда на вокзал. Бержере взял купе. В дороге он почувствовал себя еще лучше. Юсуп улегся спать, как человек, выполнивший свой долг. Шамшин забрался на верхнюю полку. Бержере попрежнему болтал.

– А хороша старуха! Все молчала и выпалила, точно пушка. Поскоблите русскую дворянку, и вы увидите боярыню, – Да почему вы думаете, что она дворянка? – издевался над Бержере Шамшин. – А вдруг она вдова полицейского чиновника?

– Нет, мой дорогой. Не те манеры. Чиновницы любят унижаться, а эта как отрезала! Не забудьте, у меня есть глаз на эти вещи... Я

полуартист, полупридворный, полуаристократ!

– Вот именно, что полу... – захохотал Шамшин.

Скрипели оси, раскачивались занавески, храпел Юсуп.

Не всегда деньги бывают приятны. Шамшин старался спустить их как можно скорее. Часть была отослана в Тамбов старикам, часть отдана Ляльке, выплачен долг Бержере, куплена дача в Петергофе.

На дачу приезжали гости. Кипел самовар, и не сходили со стола закуски и вино. Ирина держала голову выше обыкновенного, и про нее говорили: «Ну вот, все-таки выслужилась в жены». По вечерам играли в покер. Он тоже играл и смеялся вместе со всеми. Однако даже малознакомые люди замечали в этом смехе что-то маскарадное. Ирина пыталась узнать, он молчал. Вся окружающая жизнь подходила к пределу, после которого должно было начаться что-то новое....Но как все это будет, Шамшин не видел. Первыми почувствовали частники. Антиквары, сообразив, что им теперь не жить, стали потихоньку свертываться. Бержере нелегально перебежал через границу. Шамшин узнал об этом совершенно неожиданно.

В Петергоф приехала Лялька. Она влетела в квартиру, точно кавалерийская бригада. За столом сидели гости. Ирина сжала губы, она сразу почуяла какую-то опасность. Лялька села за стол, не смущаясь попросила чашку чая и закурила папиросу.

Она оглядывала Ирину и гостей, улыбаясь из-под фетровой шляпки, и весело спросила Шамшина, как он живет.

Он пожал плечами.

Лялька качалась на стуле, будто она сидела в седле.

– А я задумала смыться в Ташкент.

– Зачем?

Шамшин задал этот вопрос из необходимости, желая хоть чем-нибудь заткнуть образовавшуюся пустоту. Все молчали.

– Как зачем? Мы ведь живем совсем не так, как надо жить... Как от нас требуют. Скоро все изменится...

Лялька захохотала и погладила себя по груди, по бедрам.

Она вскочила. Прошлась по комнате, щеголяя тонкими туфлями и серебряным платьем. Остановилась около начатых картин, потом, махнув рукой, перевернулась на каблуках и положила руки на плечи Шамшину.

– Я бегу! Наш клуб скоро прихлопнут. Чего мне ждать?

Высылки... Я лучше уеду сама... В Ташкент! В отстающие районы. – Она засмеялась. – Там солнце, виноград, восточные люди... Программы хватит на год. А дальше? Поживем – увидим...

Да, кстати, Бержере смотался за границу... Разве ты не знал?

Лица у гостей вытянулись. Это не смутило ее.

– Неужели вы не знали? – сказала она необычайно звонко. – Этой осенью!

Шамшин покраснел. Кто-то из гостей заинтересовался: каким же образом сбежал Бержере?

– Ну, мне это неизвестно. Не я его переправляла! – опять засмеялась Лялька. – Мне говорили, что на яхте из Дубков... Прямо в Териоки! Решительный мужик.

Крепко стиснув Шамшина за плечи, она ему шепнула:

– Юсуп сказал, что Бержере увез твою картину... туда!

И она сделала в воздухе жест, точно раскланиваясь с трапеции.

Лялька, заметив, что Шамшин терялся все больше и больше, наконец сжалась над ним. Она нагнулась к Ирине и сказала, нагло улыбнувшись:

– Простите... Я могу поговорить с вашим... – Тут она нарочно сделала паузу. – С вашим мужем. У меня к нему маленькое дело... Секретное! – прибавила она и погрозила пальцем.

Ирина молча кивнула головой и не подняла на нее глаз. Гости переглянулись. Шамшин, еще больше краснея, увел ее в соседнюю комнату.

Увидав большую французскую кровать, она прикусила губы, потом бросилась на шелковое одеяло, подрыгала ногами и задохлась от восторга.

– Какая мягкая... Какая киска! Вася... Я хочу быть твоей женой. Почему ты ни разу не зашел ко мне? Или уж так хороша твоя Ирина?

Не дав ему опомниться, она его поцеловала и, оглядываясь по сторонам, зашептала на ухо:

– У тебя есть немного денег? Капельку? Мне надо на отъезд... Если только есть...

Шамшин стал искать в шкафу деньги. Не считая, он сунул в сумку то, что попало. Он понимал, что Лялька не шантажирует. Этот заем – для нее явление естественное, как снег зимой.

Она не обиделась бы, если бы он отказал. Она прилетела сюда поклевать. Не найдя здесь ничего, она улетела бы, как птица, в Другое место. Шамшин смотрел на этот маленький лоб, лишенный мысли, на разрисованное лицо, на котором широкие зеленые глаза казались странными, точно камни, заросшие тиной и выплядывающие из воды, на маленькое тело, небрежно прикрытое платьем, как будто по необходимости. Она прижалась к Шамшину и сказала ему бесстрастно, точно диктор:

– Спасибо...

Потом еще раз поцеловала его и посмотрела ему в глаза.

– Прощай! Тебя всегда будут любить бабы... А за что? Неизвестно. Впрочем, так именно и любят. Если будешь знаменитым, нарисуй меня. Пускай любят! Хотя... Кому надо такое барахло?

Тут она еще кое-что прибавила на своем кровосмесительном жаргоне, расхохоталась и удрала.

Шамшин вернулся, все гости уже ушли. Ирина одна сидела за столом, закрыв лицо руками. Шамшин бросился к ней,

– Что с тобой?

Он пробовал шутить.

– Ты точно проигралась...

– Да, я проигралась. Я-то ничего... Кто я? Никто. А вот ты...

Ирина развела руками.

– Недаром я боялась этого Бержере. Эта девка, свалившаяся с неба... Ты, очевидно, связан с ними каким-нибудь темным делом?

– Я? Связан? – Шамшин поднял голову. – Ты с ума сошла.

Он рассказал ей все от начала до конца.

– Бержере сам влез во всю эту историю, он сам себя втянул. Есть о чем горевать...

Шамшин наигранно улыбнулся.

Ирина ходила по комнате, растирая лоб, ей мешали оскорбительные мысли, по щекам ее текли слезы.

– Ирина, – говорил Шамшин, – ну, черт с ним, с этим буржуем... Что такое честность, в конце концов? А он был честным?

Они сами соблазнили меня. Они меня втянули в эту игру. Разве не так? Да не плачь... Да черт с ними, с этими деньгами!

Разве тебе так жалко денег Бержере? Может быть, следовало даже всерьез, по-настоящему обобрать его... а не так, случайно...

– Случайно ли? – задумчиво сказала Ирина и взглянула в глаза Шамшину.

– Какой вздор! – Шамшин освирепел, – Ну, хорошо, значит, по-твоему, я смошенничал...

Он захохотал, но по его волнению видно было, что этот хохот стоит ему дорого.

– Допустим, я смошенничал. А кто от этого в убытке?

– Ты... – твердо сказала Ирина, – больше никто. Ты прежде всего советский художник... А не... Кто, как не ты, презирал всех этих людей, третировал... А чем ты от них отличаешься?

Так чего же стоит твое благородство?

– Вот как? – крикнул Шамшин. – А почему Рубенс мог писать брейгелевского «Старика» и эта копия ценится отнюдь не меньше, чем оригинал? Даже больше!

– Разве Рубенс выдавал ее за Брейгеля? – холодно спросила Ирина.

Молчание. Шамшин лег на тахту и отвернулся лицом к стене. Ирина сидела у окна. Над Петергофом повисли зимние коричневые тучи.

Не глядя на Шамшина, точно обращаясь к себе, вслух подумала Ирина:

– Теперь я понимаю, зачем тебе нужны эти постоянные гости, и покер, и вино...

Она встала, обтерла лицо руками, будто умываясь, – И такой человек мог мечтать о славе? Лучше бы ты убил меня, – сказала она, глубоко вздохнув. Затем она ушла в переднюю. Потом хлопнула дверь.

Ирина уехала, не сказав ему ни слова.

Шамшин решил покончить с собой в этот вечер. Все случившееся казалось ему не случайным... А преступление, которое он понял во всей широте только сейчас, угнетало его своей бессмыслицей. Зачем он его сделал? Для славы... Чья же слава?

Из-за Ирины? Нет. Для кутежей? Нет. Для денег? Нет... Так для чего же? Ни для чего. Тем хуже! Какая бессмыслица... При таком честолюбии попасть в такой тупик! Вспомнив слова Вострецова о погибших гениях, он сел за стол, чтобы написать письма Ирине и Апрельскому: о том, что истина всегда запаздывает, о том, как скучно повторять прошлое искусство и притворяться мертвым. Над чертежным столиком горела маленькая лампа, прикрытая зеленым колпачком. За домом прохрустел снег. Кто-то с улицы осторожно постучал в окно. Шамшин потушил лампу, решив не открывать. Он уже покончил со всем... Минут десять он просидел в темноте, не двигаясь. Когда он вновь повернул выключатель, опять раздался стук, на этот раз требовательный и настойчивый.

– Кто там? – спросил Шамшин, подходя к дверям.

– Это я, Василий Игнатьевич, – радостно отозвался дворник с улицы. К вам гость приехал, вас разыскивает...

Шамшин открыл дверь.

Брук мрачно вошел в квартиру и, не снимая пальто, не здороваясь, спросил Шамшина:

– Можно мне пробыть у вас до утра?

– Здесь не гостиница, – резко ответил Шамшин.

– Неужели вы погоните меня?

Шамшин молча ушел в спальню, он не слышал Брука. Ему было все равно, кто бы там ни был в соседней комнате. Прошло несколько часов. Брук хрипел за стенкой, кашлял, ворочался, как собака, сторожившая Шамшина,

Потом он крикнул:

– Вася!

Шамшин молчал.

– Не желаешь разговаривать? Не надо. Я хотел сообщить тебе новость о твоей картине.

Шамшин не откликнулся.

– Агафон увез ее в Берлин. Она была на экспертизе у доктора Боде, и он признал ее Рембрандтом тридцатых годов. Два мировых коллекционера-рембрандтиста спорили о ней... А купил какой-то третий дурак! Теперь она ушла в Америку за сто тысяч долларов! Какой ужас! А я с Агафона получил только пять тысяч комиссии... Зачем ты обманул меня?

Шамшин и на это ничего не ответил. Тогда Брук тихо засмеялся:

– Вася, да жив ли ты?.. Может быть, я говорю с покойником?

Шамшин, сжав кулаки, выскочил к Бруку и закричал:

– Врешь! Картина моя!

– Твоя? – Брук зло улыбнулся. – Интересно. Почему же она твоя?

Я слышал уже это. – Брук махнул рукой. – Если это даже так, надо доказать... А теперь поздно доказывать...

– Я докажу... – Шамшин впал в бешенство. – Только я знаю это место в картине... Если снять там слой краски, все увидят мою подпись: «Василий Шамшин, Ленинград». Я нарочно это сделал! Меня никто не может обвинить...

– Дурак! – Брук расхохотался. – Кому нужна твоя подпись! Кто выплюнет золото ради тебя?

– Кто выплюнет золото...

Шамшин, не помня себя, схватил со стола острый разрезальный нож и бросился на Брука. Зажав нож в руке, он вдруг остановился, закрыл глаза и швырнул его на пол.

Нельзя было понять, испугался Брук или нет. Но он встал.

Вынул из кармана золотые часы, посмотрел время, щелкнул крышкой и покосился на окно. На синем замерзшем стекле уже проявились расплывшиеся черные лапы деревьев.

– Я ухожу, – сказал Брук. – Только никому не советую говорить, что эту ночь я провел здесь. Вчера в городе арестовали нескольких антикваров...

Когда Шамшин открыл глаза, Брука не было, он исчез, как будто он никогда и не сидел в этой комнате. У стола валялся нож с разбитым клинком. Шамшин упал на тахту, совершенно обессилев, словно он скатился в горную щель и все забыл. Мгновениями он просыпался и вспоминал все и от тяжести этих воспоминаний опять проваливался в забытье. Очнулся он утром.

Он услышал звон колокольчиков. Он с ужасом подумал: неужели утро? Вдруг показался черный горнист, сбитый с седла, черная лошадь без всадника, а впереди нее четыре удирающих офицера. Брук с лошади махнул ему рукой. Потом Лялька скинула мундир, и Шамшин увидел себя. Он лежал, залитый кровью, на него смотрела лошадь. Тут опять все раздвоилось, и уже неон, а сенегалец вскочил с земли и крикнул: «Ты дурак!»

Он раскрыл глаза и рассмеялся. В квартире тишина. Он потушил электричество, растопил печку, вымылся с головы до ног, потом подошел к забытой картине и сдернул с нее полотно.

– Я повалю горниста... – решил он и начал работать.

Когда обеспокоенная Ирина привезла Апрельского, они увидели художника стоящим около картины. Он писал. Услыхав людей, он обернулся и помахал кистью. В своем потрепанном комбинезоне он с некоторой горечью рассматривал поле битвы, точно главнокомандующий.

– Кончаешь? – осторожно спросил Апрельский.

– Не знаю... Думаю... – ответил Шамшин и гордо прибавил: – Картины бывают разные. Одну можно писать месяц, а другую годы, и все будет, что писать.

Горела печка.

Высокий, выпрямившийся и спокойный художник, реставратор, ремесленник, пошляк, болтун, любовник, игрок, похититель Рембрандта, человек с самых низов, но чрезвычайно высокого полета, человек, сложенный из противоречий, смотрел в огонь. Он думал:

«Поменьше вечности, побольше жизни!.. Каждый должен жить настоящим. Не делая настоящего, не рождая его в себе второй раз уже как художник, я мог убить себя...»

– Что ты бормочешь? – спросил Апрельский.

Шамшин улыбнулся:

– Я думаю о том, как будет сделан «Сенегалец»! Иринка, чаю...

Ольга Дмитриевна Форш

Филаретки

Прекрасно, с любовью и гордостью отпраздновал весь наш Союз юбилей Пушкина.

И вот вспоминаю, как некогда в сиротском дворянском институте и мы воздавали по-своему честь поэту.

Мы переводили прозу его на иностранные языки.

Для удобства своего и нашего учитель-немец разбил текст особого институтского издания «Капитанской дочки» на десятистрочия. При трудных словах стояли вверху номера.

«Я выпянул из кибитки». «Кибитка» – помер тридцать два.

В словарице, приложенном к повести, значилось:

– «Кибитка – это не есть фаэтон, не коляска, не бричка. Это возок».

На масленице у нас полагался большой музыкально-вокальный вечер с почетным опекуном и знатью города. Надо было, кроме танцев и пенья, говорить публично с эстрады стихи. Ввиду преддверия великопостных дней придумали было написать декорацию – монастырская келья и перед ней Пимен и Григорий в костюмах. Но батюшка воспротивился: в мужском монастыре девицам пребывать непристойно!

Сцену отменили.

Очень огорчена была по этому случаю рукодельная дама.

Она должна была сшить из черного кашемира клубук и мантию Пимену. Ее бы отметили на афише.

Рукодельная дама была честолюбива и мечтала стать выше других наших дам, приставленных охранять дортуары: дамы пыльной и дамы ночной.

По случаю вечера собрали институтский совет. Он создал педагогическую композицию с целью укрепления религиозно-моральных устоев.

Объединили два отрывка из Пушкина и собственные стихи митрополита Филарета.

Говорить должны были три девочки одна за другой: строптивый, плохой Пушкин, потом назидующий его Филарет, и второй Пушкин –

раскаянный.

Эту тройку институт прозвал немедленно «филаретки».
Началось со стихов Пушкина:

Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана?

В институте приказано было произносить только два первых, как говорили, «куплета» из этого стихотворения.

Третий куплет:

Цели нот передо мною,
Сердце пусто, празден ум,
И томит меня тоскою
Однозвучный жизни шум, –

был осужден, как богохульный. Его зачеркнули в тексте. Его знать запрещалось.

Зато ответ митрополита Филарета на эти стихи Пушкина, добытый из журнала Ишимовой «Звездочка», как принадлежащий лицу высокого духовного звания, произносился целиком.

После Филарета голосом слезного покаяния говорились «Стансы» Пушкина.

– Шесть первых строк – болтовня, – сказала начальница. – Они нам не нужны. Начинайте ближе к делу, с седьмой строчки:

Когда твой голос величавый Меня внезапно поражал, Я лил потоки слез нежданных...

– Но в подобном сокращении нет пушкинской рифмы, – защитил было учитель русского языка.

– Не в рифме дело, а в чувстве, – оборвала начальница. – Слезы – залог сердечного покаяния.

На эти роли двух Пушкиных, плохого и хорошего, и Филарета выбирались ученицы разных классов по росту и поведению.

К нам, в младший, пришла сама начальница и спросила:

– Кто здесь ведет себя хуже всех?

Классная дама вывела из-за парты меня:

– Вот эта...

– Какой срам, – сказала начальница, – за это ты будешь «дурной» Пушкин!

В Филареты попала громадная примерная девочка. Она вся ушла в рост, и на шалости ее уже не хватало.

– Второй, «хороший» Пушкин должен быть, натурально, пониже владыки и повыше «дурного» Пушкина, – сказала начальница.

Нашли и хорошего.

Трем филареткам дали сокращенный пушкинский текст, полный Филаретов, и велели учить наизусть. Репетировали до одури в узком многооконном зале. Под команду танцмейстера – раз, два – двигались в ногу, все три как одна, к самому краю эстрады. Нырjali плавно в глубоком реверансе. Не смея скосить глаза вбок, подымались вразной, танцмейстер хлопал в ладоши.

– Повторить!

Опять все сначала – раз, два – под шепот хора певчих, уходивших из зала:

– Фи... Филаретки...

Ненавидели Филарета, ненавидели Пушкина.

Про почетного опекуна, который должен был посетить вечер, был пущен слух, что он не настоящий человек, а сделанный. Барон носил парик и поигрывал челюстями. Он вставал, садился и кланялся так напряженно, как будто нажимал для этого дела пружину сложного механизма, – и тот действовал.

Девочек очень интересовало, где именно и что барон у себя нажимает. Мне поручено было досмотреть.

Наступил литературно-вокальный вечер. Мы надели открытые кружевные пелеринки с розовыми бантами. Нас причесывал парикмахер. Волосы вились, ряда не было. Собрались было круто помадить, но вошла начальница и сказала:

– Она говорит строптивного Пушкина, к тому же он был из негров, – можно ей волосы не помадить.

Вечер открылся хором «Где гнутся над омутом лозы». Потом мы, филаретки, поднялись на высокую кафедру. Мы растаяли в реверансе. Перед глазами горели люстры, лысины, бриллианты дам, украшенных орденом Екатерины.

Барон сидел в креслах, в первом ряду, около начальницы.

Он мутно глядел перед собой. Его левая рука, как обыкновенно, смиренно паслась на красном бархате сиденья. Правая рука барабанила длинными желтыми пальцами по колену, обтянутому белым сукном камергерских панталон.

«Он нажмет в правой коленке», – решила я и, не отрывая глаз от бароновой ноги, окунулась еще раз, уже отдельно, в глубоком придворном реверансе. Когда все туловище было откинута назад и весь упор шел на левую пятку, надлежало мне, Пушкину мятежному, начать грешный мой ропот самым толстым, сердитым голосом:

Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана?
Иль зачем судьбою тайной
Ты...

Начальница, сидевшая рядом с бароном, уронила на паркет белоснежный платок. Барон шевельнулся поднять. Я забыла стихи, я чуть присела, чтобы поймать, где именно нажмут желтые пальцы барона.

– Продолжай! – побагровев от усилия, сказала начальница. Пока барон тормозился, она сама достала платок.

«Если испортился механизм, барон не встанет. Так и будет сидеть. С креслом его унесут или нет?» – мучилась я положением барона.

– Про-дол-жай!
Но я забыла стихи:

...Иль зачем судьбою тайной
Ты на... что-то суждена...

Начальница презрительно махнула платком, и Филарет покрыл мое самодельное бормотание невыносимо высокими нотами:

Не напрасно, не случайно
Жизнь от бога нам дана...

Женским визгом, без передышки, сплошным комариным звоном прозвенел в зале «куплет» владыки. Громадный Филарет, испугавшись моего примера, гнал во весь опор, боясь забыть текст и не допуская паузы. Раскаившись немедленно, Пушкин хороший – девочка среднего роста – прорычала усеченные «Стансы»:

Я лил потоки слез неожиданных...

Реверанс мы сделали хорошо – все три как одна.
– Пушкин! – выстрелил барон и поднял вверх желтый палец. –
Пушкина похвально выучить наизусть.
Мы ушли под шепот хора:
– Фи... Филаретки!
Я забила в классе на заднюю парту. Вошла классная дама.
Она мне сказала:
– Ты осрамила весь институт. Не можешь запомнить стихи – пока другие танцуют, учи, милочка, прозу!
Она развернула передо мной «Капитанскую дочку» и, отчеркнув ногтем: «отсюда – досюда», ушла.
Я осталась в классе одна. Взяла книгу. И мне сразу понравилось:
«Ветер завыл; сделалась метель. В одно мгновение темное небо смешалось с снежным морем. Все исчезло.
– Ну, барин, – закричал ямщик, – беда – буран!
Я выплянул из кибитки...»
Кибитка... Кибитка?
«Кибитка – это не фаэтон, это не коляска, это не бричка, это возок».
Я размахнулась ихватила «Капитанской дочкой» стекло висячей лампы.
Меня увели в карцер.
И еще один раз я пострадала за Пушкина.
Я и моя подруга были обе с Кавказа и очень тосковали по горам. Особенно весной.
Мы садились спиной к бледному северному небу, смотревшему из казенных окон, мы впивались в географическую карту, висевшую

на стене. На Казбек налепляли мы жеваную резинку – клячку, и Казбек торчал выше всех на свете.

И я говорила от всей души:

Кавказ подо мною. Один в вышине...

Я говорила «Кавказ» Пушкина с начала до конца не раз и не два, а до тех пор, пока мы с подругой из холодного сиротливого класса не переселялись в «зеленые сени, где птицы щебечут, где скачут олени... где мчится Арагва в тенистых берегах».

Из моих глаз слезы восторга лились перед географической картой, и, прижав палец к вершине Казбека, всхлипывала другая кавказская девочка.

– О чем вы плачете? Какие казенные вещи вы испортили? – спросила подошедшая классная дама.

Я еще не успела вспомнить, что надо соврать даме понятное, и сказала правду:

– Мы плачем над стихами Пушкина.

– Ты лжешь, – нахмурилась дама. – Признавайся скорее, какие казенные вещи...

– Честное благородное слово! – сказали мы в голос. – Мы ничего не разбили. Мы только над стихами...

– В таком случае вас надо лечить. Нормальные люди над стихами не плачут.

Нас свели в лазарет, и доктор нам прописал холодное обтирание по утрам, до звонка.

Меня, как девочку плохого поведения и зачинщицу, обтирали целый месяц, другую – всего две недели, Это было холодно и неприятно...

Валентин Петрович Катаев

Под Сморгонью

Под Верденом погиб батальон французской пехоты. Он двигался ходом сообщения, наткнулся на неприятельскую минную галерею и был взорван. Из обвалившейся земли торчало лишь несколько штыков. Впоследствии французы превратили эту ужасную братскую могилу в памятник: залили ее бетоном и сделали надпись. Из бетона, среди венков с полинявшими трехцветными лентами, косо торчали кончики заржавленных штыков.

Думая об этом, я всегда вспоминаю другой случай, у нас на Западном фронте в 1916 году.

Батарея стояла на позиции под Сморгонью, слева от той самой знаменитой дороги Минск – Вильно, по которой отступала из России армия Наполеона. Дорога эта хорошо известна по картине Верещагина. На ней изображена лютая зима, полосатый столб и аллея траурных берез. У нас же под Сморгонью в ту пору была весна – конец свежего белорусского мая. С батареи мы видели длинный ряд старинных кутузовских берез, ставших за сто лет гораздо толще и выше. Кое-где порванные и расщепленные неприятельскими снарядами, они радовали чистотой, молодостью зелени.

Вторую неделю на фронте было затишье. Воспользовавшись им, мы очень хорошо замаскировали орудия молодым ельником, выкопали дорожки, обложили их камешками, возле блиндажей вбили в землю скамеечки и столики, на которых нарисовали шашечные клетки, – словом, превратили нашу батарею в прелестный уголок. Затем мы вымылись, пришили пуговицы, починили амуницию. Хорошенько вычистили травой бачки и миски и, наконец, разложив под ведрами костры из можжевельника, стали всей батареей кипятить белье. А прокипятив и накрепко выкрутив, не сразу стали развешивать его, чтобы неприятельская воздушная разведка не обнаружила нашу батарею. На этот счет мы были достаточно опытны. Мы терпеливо дождались, когда последний самолет противника, окруженный вскакивающими значками шрапнели, скрылся в глубине неприятельского расположения. Было отлично известно, что сегодня неприятельские аэропланы летать уже больше не будут. Поэтому мы

спокойно раскинули все наши белые подштанники и рубахи по ельнику маскировки. В ожидании, когда белье высохнет, батарея отдыхала и развлекалась.

Телефонисты пошли всей командой в поле играть в городки, или «скракли», как они у нас назывались по-польски.

Канонир Власов, пожилой белобрысый солдат со скопческим лицом, владелец единственной на всю батарею бритвы, открыл возле своего блиндажа цирюльню и уже мылил холодным помазком жесткий подбородок своего взводного командира, старшего фейерверкера Бондарчука, мужика по службе строгого, но тщеславного, любившего, чтобы ему услужали.

Коротконогий разведчик по фамилии Ворона, пришедший из обоза первого разряда, где помещалась команда разведчиков, повидаться со своим земляком Прокошей Колыхаевым, плясал под балалайку и ходил на руках в кругу молчаливо обступивших его зрителей.

Вольноопределяющийся Самсонов, голубоглазый юноша с Георгиевским крестом, волоча за рукав шинель, шел под березы читать роман Федора Сологуба «Мелкий бес».

Звероподобный, но добрый, как дитя, чалдон Горбунов, только что научившийся грамоте, со страшной медлительностью, жарко сопя и вслух произнося слова по слогам, писал письмо в Тобольскую губернию дорогой супруге своей Варваре Денисовне. Щербатый рот его был весь лиловый от химического карандаша.

Согнув потные плечи с суконными погонами, Горбунов трудился над уголышком тонконового столика, за которым два орудийных фейерверкера пятого и шестого орудий с молчаливой яростью с треском бились в дамки.

Один лишь подпрапорщик Чигринский, георгиевский кавалер всех четырех степеней, считал ниже своего звания принимать участие в солдатских развлечениях, хотя ему и очень хотелось. Он только что пришел на батарею из своего особого блиндажика, устроенного между батареей и офицерской квартирой.

Чигринский притворно озабоченно расхаживал вдоль орудий, хмурился, подравнивая ребром шафранной руки старомодные усы – черные, с сединой, сальные. Но скука одолевала его. Он не выдержал отчужденности. Заложив по-генеральски руки за спину, несколько

выставив живот, на котором аккуратно лежал хороший офицерский пояс с колечками, он остановился возле третьего орудия, где собралась компания, наиболее достойная его общества, в том числе несколько бомбардир-наводчиков, два взводных, три орудийных начальника и дежурный по батарее, младший фейерверкер Лепко, весельчак и балагур.

Лепко рассказывал анекдоты. Заметив подпрапорщика, он на полуслове спрыгнул с крыши блиндажа, выложенной дерном, стукнул шпорами и приложил руку к козырьку заломленной фуражки.

– Анекдоты рассказываете? – сказал Чигринский со снисходительной насмешкой.

– Так точно, господин подпрапорщик! – доложил Лепко.

– Ты рассказываешь?

– Так точно, господин подпрапорщик, я!

– Ну, так можешь не стоять. Садись, продолжай. И я тоже где-нибудь около вас посижу, устроюсь. Послушаю ваши глупости.

Солдаты почтительно подвинулись и дали место начальнику.

– Про что же ты анекдот рассказываешь? – спросил подпрапорщик, оправляя на бедрах гимнастерку превосходного сукна.

– Он рассказывает, Капитон Иванович, – сказал дискантом кузнец, канонир Улиер, бессарабский цыган с громадной синей бородой, – он рассказывает анекдот про то, как он сам в рай попал.

– Это что-то для меня новое. Послушаю. Докладывай, Лепко. Начинай сначала.

Лепко блеснул карими глазами, воровато мигнул слушателям:

– Только, господин подпрапорщик, вы потом до меня ничего не имейте и не обижайтесь.

– Это почему?

– Потому, что тама, в этом анекдоте, есть за вас, господин подпрапорщик. Такой анекдот и ничего кроме.

– Хорошо. Пускай. Я позволяю.

Лепко вскочил на крышу блиндажа, устроил шашку между ногами, сбил фуражку еще более на ухо, облизал губы и с места в карьер начал резким, бабьим голосом:

– Пошел я, значит, в очередь дежурить на наблюдательный пункт, и тама вдруг налетает неприятельский снаряд, и меня в один счет тем неприятельским снарядом убивает на месте. Вот, значит,

меня убивает на месте, и в сей же секунд подхватывают меня два ангела под руки, несут на небо и становятся против самых райских врат. Ну, конечно, сейчас же выходит апостол Петр и спрашивает: «Что такое за шум, кто пришел?» Я ему говорю: «Так и так, сего числа убитый на наблюдательном пункте младший фейерверкер шестьдесят четвертой артиллерийской бригады, первой батареи Лепко явился до вас в рай». Он на меня посмотрел со всех сторон и говорит: «Иди обратно: мы таких, как ты, мурлов в рай не принимаем». – «Что это за такое – „мурлов“? Как это может быть, что вы не принимаете? Новое дело! Не имеете права! Когда я шел на действительную службу, нам батюшка говорил, что тот солдат, который службу свою аккуратно справлял, до своего непосредственного начальства имел уважение и потом погиб в доблестном бою за веру, царя и отечество, – тот солдат безусловно сразу принимается до вас в рай. Какой может быть вопрос?» А он меня все-таки не хочет пускать и говорит: «Я ничего не знаю. Я пойду сейчас доложу господу богу. Пусть, как он скажет». Хорошо. Вот апостол Петр пошел до бога, возвращается назад и говорит: «Можно. Господь бог говорит, что если который солдат действительно службу свою аккуратно выполнял, до своего непосредственного начальства имел уважение и потом погиб в доблестном бою за веру, царя и отечество, тот солдат безусловно сразу принимается до нас в рай. Заходи, пес с тобой! Только сапоги вытри, а то у нас чисто». Я, значит, вытер сапоги об траву и захожу в рай. Ну, конечно, какой из себя рай, известно: безусловно чисто. Сметья под ногами нет. А под ногами есть то самое синее небо, которое, если посмотреть от нас, с батареи, то приходится вверху. А оттуда обратно – как раз внизу. Такая вещь.

При этих словах Лепко посмотрел вверх. Следом за ним посмотрели задумчиво вверх и все остальные. Голубой купол майского неба накрывал землю. Солнце садилось за неприятельским расположением. Огненная пыль висела в воздухе. И сквозь эту слепящую пыль нежно светлела на горизонте рыбья косточка – развалины сморгоньского костела.

Ух, как памятен мне этот майский полесский вечер!

– Начал я, значит, ходить по раю, – продолжал Лепко, бросив озорной взгляд на подпрапорщика. – Гуляю час, гуляю два, гуляю три. Вокруг ходят разные прозрачные ангелы. Ничего. Только вдруг

захотелось мне страшно ужасно кушать. Ничего нет смешного. А как вы думаете? С самой смерти ничего не ел. Вижу: идет мимо меня какой-то ихний архангел с огненным тесаком, – видать, дежурный по раю, – чи Гавриил, чи Михаил.

– Если с тесаком, значит, Михаил, – сказал дискантом цыган Улиер.

– Нехай Михаил. Вот я ему и говорю: «Слушайте: у вас тут какую-нибудь порцию выдают? Бо я сильно-таки голодный». А он мне говорит: «Что вы, что вы! Какой вы необразованный солдат! Тут у нас не земля, а рай, и никто не кушает, потому что вокруг – вы видите? – одни только бесплотные духи, то же самое сказать – прозрачные». – «Ну, я там не знаю, что за бесплотные духи. Очень может быть. Только я лично хочу кушать. Не могу терпеть». – «Не полагается». – «Как это „не полагается“? Ничего не знаю. Веди меня до господ бога». – «Хорошо». Приходим мы до самого ихнего бога. Ну, конечно, какой из себя бог – известно: сидит на таком вроде троне, и вокруг него кущи. «Что такое за шум? – спрашивает. – В чем дело?» Я ему говорю: «Так и так, не дают кушать, в чем дело?» А этот самый чи Михаил, чи Гавриил ему докладает: «Это есть тот самый младший фейерверкер Лепко с первой батареи шестьдесят четвертой артиллерийской бригады, который в доблестном бою пострадал за веру, царя и отечество». Бог спрашивает: «Солдат справный?» Я ему отвечаю: «А как же? Я службу свою аккуратно по уставу сполнял, до своего непосредственного начальства всегда имел уважение. Даже господин подпрапорщик могут подтвердить. А если вы мне не будете давать какую-нибудь пищу, тогда я лучше ухажу из вашего рая. Ну его к черту с таким делом!» Бог подумал-подумал и говорит: «Раз солдат справный, службу по уставу сполнял, до своего непосредственного начальства имел уважение, за веру, царя и отечество пострадал в доблестном бою, тогда ничего не попишешь. Дайте ему кушать». Тут дали мне полный бачок жареного мяса, полбуханки белого хлеба и кипарисовую ложку.

Пошел я себе в сторону, сел под райским кустиком и как следовало быть пообедал, а потом лег спать. Только я лег спать, как этот меня будит, чи Гавриил, чи Михаил: «Эй, солдат! Вставай! У нас в раю спать не полагается. У нас в раю находятся бесплотные духи. Они никогда не спят». – «А ну вас всех к черту! Веди меня до бога».

Обратно приходим до бога. «Что такое за шум? – говорит. – В чем дело?» – «Солдат спать хочет!»»

Лепко рассказал, как бог подумал-подумал и позволил ему спать. Потом, выспавшись, Лепко захотелось курить, и как архангел не позволил, и как опять ходили до бога, и как бог, обратно, подумал-подумал и велел выдать восьмушку махорки «Тройка», газету «Русское слово» и две коробки спичек Лапшина: «Нехай курит, чтоб дома не журились».

Лепко рассказывал подробно, обстоятельно, не торопясь, изредка сплевывая и крутя на груди револьверный шнур свекольного цвета.

Чигринский хмурился, хмурился.

– А где же тут за меня? – наконец спросил он с напускной небрежностью. – Что-то я этого не замечаю.

– За вас сейчас будет, Капитон Иванович, – быстро сказал Лепко. – Это есть анекдот довольно длинный, часа на полтора. Вот, значит, выкурил я две хорошие скрутки из махорки «Тройка» и газеты «Русское слово» и вдруг замечаю, что мне сильно необходимо до ветру. Побежал я по раю искать, где это находится. Бегаю, бегаю и ничего такого не вижу. Ну что тут делать? Подходит до меня этот самый чи Михаил, чи Гавриил: «Ты чего, солдат, бегаешь?» – «До ветру хочу». Он даже рассердился: «Да ты что: с ума спятил? Здесь все-таки рай, а не бог знает что!» А я прямо-таки чуть не плачу: «Веди меня скорее до бога». Приходим. «Что такое за шум?» Архангел докладывает: так и так. Бог подумал-подумал и говорит: «Нельзя». – «Как это „нельзя“?! – кричу я. – Как это может быть „нельзя“, когда я уже больше не имею возможности?! Что такое, на самом деле! Кушать даете, а до ветру не разрешаете! Тогда пустите меня назад, в часть!» Бог, обратно, подумал-подумал и говорит: «Раз солдат справный и пострадал за веру, царя и отечество в доблестном бою, тогда, поскольку мы ему действительно давали кушать, ничего не попишешь. Можно. Только отведите его подальше». Отвел меня архангел на сто шагов в сторону, выбрал тихое место за райскими деревцами, вынул свой огненный тесак и вырезал в небе аккуратный такой кружок. Небо там, знаете, синее, твердое, вроде стеклянное или, лучше сказать, фарфоровое. «Валяй», – говорит. А я посмотрел вниз, на землю и отвечаю: «Слушайте, извиняйте, но здесь я не могу. Вырежьте мне очко в другом месте». – «Почему такое?» – «А вот

смотрите». Архангел посмотрел вниз, а внизу, аккуратно под нами, как раз самая наша батарея и скамеечка, и на скамеечке как раз вы сидите, Капитон Иванович. «Видите?» – спрашиваю архангела. «Ну, вижу, говорит. Так в чем дело?» – «Не могу я позволить себе такое свинство над господином подпрапорщиком. Господин подпрапорщик всегда меня любил, в наряды меня не в очередь не посылал и сказал, что на той недоле меня непременно в отпуск отпустит, домой на побывку». А этот, чи Гавриил, чи Михаил, махнул только рукой и говорит: «Ничего. Валяй. Не стесняйся. Все равно не отпустит. Брешет».

И едва успел Лепко произнести последние слова своей длинной сказки, как воздух страшно рвануло и четыре взрыва, как четыре черных земляных столба, медленно выросли впереди батареи.

Спотыкаясь, падая и срывая на бегу с елок белье, бежали батарейцы к своим блиндажам.

Вдалеке ударили четыре слабых орудийных выстрела, и почти в ту же секунду бурей налетели четыре новых восьмидюймовых снаряда и разорвались позади, обдав батарею ливнем черной земли.

Следующие четыре снаряда разорвались на самой линейке. Вверх полетели щепки, куски дерна, елки, ведра, рубахи. Но мы уже сидели на нарах в блиндажах, с ужасом прислушиваясь к потрясающему свисту неприятельских снарядов, бушевавших сверху. Стены шатаясь, ползли. Ручьи сухой пыли бежали по стенам. Куски земли завалили маленькие окошечки. В блиндажах стоял удушливый зеленоватый сумрак. Мы молчали, подавленные. Мы боялись взглянуть друг на друга, боялись пошевелинуться. Нам казалось, что малейшее движение может навлечь мгновенную смерть. Вместе с тем мы понимали, что случилось. Случилась очень простая вещь.

Мы остерегались неприятельских самолетов, но совершенно забыли о змейковых аэростатах. Одна такая «колбаса», выставленная неприятелем за Сморгонью и незаметная в огненной пыли заката, обнаружила нашу батарею, увешанную бельем.

Я не знаю, какая сила в мире могла нас спасти!

Свыше сорока минут восьмидюймовая батарея противника на совершенно точном прицеле буквально уничтожала нас с методичностью сверхчеловеческой, зверской.

Несколько сот десятипудовых снарядов превратили нашу батарею, наш прелестный уголок с шашечными столиками, скамеечками,

клумбами и дорожками, в совершенно черное, волнистое, вспаханное поле.

В могильном сумраке блиндажа нам казалось, что прошло несколько суток.

И вот, когда мы уже думали, что этому аду никогда не будет конца, вдруг наступила полная, глубокая, блаженная, ангельская тишина. Мы подождали пять минут, десять минут и, наконец, осторожно, один за другим, стали выбираться из земли наверх.

Резкая оранжевая полоса зари плыла в глазах.

Мы были почти совсем глухие. Мир вокруг нас плыл в нестерпимой тишине. Но вот звуки стали возвращаться. С густым жужжанием пролетел майский жук.

Свежий ветерок уносил вонь жженого гребня, выползавшую из горячих воронок, покрывавших все пространство батареи. Сильно потянуло холодным, эфирным запахом листьев и хвои. Тогда мы стали выяснять потери, но оказалось, что потерь нет. Не было не только убитых или раненых, не было даже контуженых. Были только оглушенные, но они приходили в себя. Ни один снаряд не попал в блиндаж с людьми или в оружие. Два снаряда попали в блиндаж телефонистов, но он был пуст: телефонисты, игравшие в «скракли» далеко в поле, не успели добежать до своего блиндажа и укрылись в чужом. Блиндаж телефонистов был совершенно разбит, но на поломанной потолочной балке каким-то чудом висела совершенно не тронутая взрывами целенькая керосиновая лампа под круглым жестяным абажуром – гордость независимых и богатых телефонистов.

Некоторое время мы не знали, что делать, и в нерешительности сидели на земле, вытирая рукавами потные лица с черными носами и ушами.

Вдруг дежурный по батарее, младший фейерверкер Лепко, вскочил, поправил фуражку, обернулся и закричал:

– Встать, смирно!

Он увидел командира бригады. Генерал-майор Алешин шел в сопровождении адъютанта по исковерканной земле к батарее. Генерал оставил свой кабриолет на шоссе. С шоссе батарея, вероятно, казалась полностью уничтоженной. Его лицо было белее мела, губы тряслись. Он спотыкался, иногда скрываясь в земле по грудь, иногда поднимаясь

на насыпь так, что были видны целиком его хромовые сапоги с маленькими шпорами.

Когда он приблизился на должное расстояние, младший фейерверкер Лепко, с рукой под козырек, стремительно ринулся к нему, как вкопанный остановился за четыре шага, стукнул большими медными шпорами, отбросил левую руку ковшиком назад, выставил грудь настолько, насколько вобрал живот, и лихим, отрывистым бабьим голосом крикнул так, что в далеком лесу отозвалось эхо:

– Ваше превосходительство! Первая батарея шестьдесят четвертой вверенной вам бригады. Дежурный по батарее – младший фейерверкер Лепко. Во время дежурства никаких происшествий не случилось.

И отскочил в сторону, пропуская генерала.

Генерал хотел поздороваться, взял под козырек, запнулся, посмотрел на нас – черных и страшных, – и вдруг слезы хлынули по его старческому белому лицу. Он махнул рукой и, спотыкаясь, пошел назад, а за ним на высоких драгунских ногах шел, сутуло качаясь, адъютант подпоручик Шредер.

А мы начали откапывать орудия.

Михаил Михайлович Зощенко

Двадцать лет спустя

Прежде чем рассказывать вам эту забавную историю, придется нам с вами перенестись сначала чуть не в прошлое столетие.

Вот какое событие произошло двадцать три года назад в городе Виннице.

Город Винница – небольшой цветущий городок. Там, говорят, много садов. Прелестные маленькие домики. И славная быстротечная речка.

Этот городок еще тем отличается от других, что он расположен недалеко от знаменитой станции Жмеринка, где, как известно, скрещиваются многие пути и происходят пересадки.

И вот в этом небольшом славном городке жил двадцать три года назад сын одного довольно богатого коммерсанта.

Он там в свое время окончил реальное училище. И был потом инженером. Но после смерти своего папы он не пожелал пойти по научной или там технической линии, а стал продолжать дело своего родителя, который являлся поставщиком многих винных фирм.

И вот у сына этого коммерсанта дела тоже пошли весьма недурно.

Настроение у него было прекрасное. Вскоре он там построил красивый двухэтажный дом в английском вкусе. И через некоторое время женился.

Он там женился на одной местной девушке, недавно окончившей среднее образование.

Это была некая девушка Муза – смуглая красавица с круглыми щечками и с блестящими, как звездочки, глазами.

Кажется, как будто мама у нее была румынка. И, может быть, поэтому она отличалась такой южной красотой.

Ах, он исключительно ее полюбил.

Он обставил ее комнату стильной мебелью. Затянул стены шелковой материей. Вместо дверей навесил турецкие бусы. Подарил ей двух маленьких попугаев. Привез ей откуда-то всяких тканей, ковров и ковриков. И теперь ее жилище было похоже на шатер в восточном вкусе.

И молодая женщина была довольна, но не совсем.

Она не слишком любила своего мужа. И, может быть, отчасти пошла за него замуж по расчету. Она мечтала встретить какого-нибудь стройного и гибкого мужчину, а муж был немного толстоватый и слегка, как бы сказать, косопузый. И, вдобавок, ноги у него не были пропорциональны всему остальному. И, уж во всяком случае, со своей наружностью муж не являлся героем ее романа.

Он понимал это, как говорится, соотношение сил. Баловал ее. Носил на руках. И не очень-то любил уезжать в свои деловые командировки, боясь подолгу оставлять молодую женщину без внимания и надзора.

Он хотел, чтобы она все время занималась материнством и чтобы она кормила его детей. Он этим хотел сохранить ее для себя.

Но она, родив ему девочку, не могла почему-то продолжать в том же духе. И муж, благодаря этому, еще более страшился, что она влюбится в кого-нибудь во время его отъезда.

А она, конечно, оставаясь одна, скучала, и в ее южном сердце зарождалось желание кого-нибудь полюбить и кому-нибудь составить небывалое счастье.

И вот однажды она встретила одного своего знакомого. Она давно его знала. Они были знакомы, когда он еще был реалистом и на спине носил школьный ранец.

Но сейчас он был студент и кончал институт. И он на каникулы прибыл к своей матери в город Винницу.

Теперь это не был маленький и прыщеватый мальчишка. Теперь это был красивый студентик, сильный и стройный – Саша Ф.

Он не без шика одевался, носил накладные орлы на пуговицах и брюки со штрипками. И ходил со стэком, веселый и остроумный, способный поразить своей внешностью не только простенькую девушку из провинции.

Он встретился с ней на одной вечеринке, и у них почти сразу возникло чувство.

Он стал назначать ей свидания, писал ей пылкие записочки, стоял часами под ее окнами.

И вот они стали встречаться. И муж вскоре констатировал, что то, чего он боялся, – случилось.

Муж не велел принимать Сашу Ф. Он отказал ему от дома и даже пригрозил его убить, если тот не перестанет смущать покой его юной жены.

Но угрозы не утрашили смелого юношу. Он по-прежнему украдкой встречался с молодой женщиной. Он вскружил ей голову, и она, имевшая пятилетнюю дочку, впервые поняла, что такое любовь.

Она просто потеряла рассудок, и день, проведенный без него, считала потерянным.

Она бесстрашно стала приходить к нему и оставалась у него часами, мечтая с ним о новой жизни.

Но он был беден и не закончил еще учебы. Он приводил ей резонные доводы о невозможности значительных перемен.

В довершение всего, его мать, пожилая согбенная дама, позабывшая, что такое юность, весьма неблагоприятно отнеслась к ее посещениям. И не скрывала своей досады, когда влюбленная женщина приходила к ее сыну.

Она боялась, что эта любовь кончится драмой или трагедией.

Препятствия не прекратили их пылкой любви.

Муза предложила ему бывать у нее в доме, говоря, что муж постоянно находится в разъездах.

Он не считал это удобным и долгое время отказывался, но однажды все же пришел к ней, волнуясь за свое безрассудство.

Она успокоила его, сказав, что муж в Харькове.

Он пришел к ней, как они условились, утром. И ах! это утро осталось у него в памяти на всю жизнь.

Это было летнее утро. Окно было раскрыто. Сад благоухал цветами. Солнце сверкало в зеркалах и в хрустальных безделушках, украшавших ее комнату. Муза приняла его в каком-то небесном шелковом платье, юная и прелестная, – смуглая красавица, полюбившая его без памяти.

Он прямо с ума сошел от счастья, когда заключил ее в свои объятия.

И она, как сумасшедшая, обняла его. И они пять часов подряд целовались. И даже она чуть не потеряла сознания, – так это было для нее ново и удивительно.

Уже ее мать, старая румынка, дважды поднималась наверх и, тихонько постучав в стену, упрашивала их разойтись, но они не имели

сил расстаться.

Наконец они стали прощаться.

Дружески обнявшись, они ходили по комнате, говоря о своем светлом будущем.

Она вдруг шутя спросила его, что бы он стал делать, если бы сейчас приехал ее муж.

Он, смеясь, показал на свой расстегнутый ворот, на галстук и воротничок, брошенные на стуле. Он сказал, что он не трус, но он, конечно, не хотел бы ее компрометировать. И, поглядев в окно, выходящее в сад, сказал, что он отличный гимнаст и ему не составило бы труда спуститься в сад по этим деревьям.

Она похвалила его за благоразумие, хотя видно было, что ей хотелось бы услышать иное, более героическое, более смелое и мужественное.

Так, гуляя по комнате, он вдруг увидел распечатанную телеграмму, лежащую на столике. Телеграмма была от мужа – он извещал ее, что приедет в среду, и посылал ей тысячу нежных поцелуев и свою страстную, до гроба любовь.

– Как он вас любит, – ревнуя, сказал Саша, с досадой бросая телеграмму. Но тотчас ее поднял и, вновь прочитав, не без тревоги сказал: – Но ведь сегодня среда. Значит, он приедет сегодня.

Муза подтвердила это. Она сказала, что харьковский поезд приходит вечером, так что не следует беспокоиться.

Он назвал ее безрассудной. Он сказал, что муж каждую минуту может приехать на машине или же каким-нибудь иным поездом.

И он стал с ней прощаться. Но снова им было жаль расстаться. И они снова, к ужасу старой румынки, принялись за свои поцелуи.

Вдруг они услышали внизу звонок и шум. И звонкий голосок ее пятилетней дочки пронзительно закричал: «Папа приехал».

Муза страшно побледнела. Она, заламывая руки, сказала:

– Боже мой! Это приехал Илья... Он убьет тебя...

Саша Ф., поцеловав ее трепетную руку, в одну секунду вскочил на подоконник и, притянув к окну ветку дерева, ловко, как обезьяна, повис на ней.

Муза ахнула, всплеснув руками.

Студент гибким движением молодого тела подался вперед и, хватаясь руками за ветки, благополучно спустился в сад.

Внизу он помахал рукой молодой женщине, неподвижно стоявшей у окна, и скрылся в зарослях малины.

Пробравшись сквозь малину к забору, он стал приводить себя в порядок и вдруг с ужасом увидел, что воротничок, галстук, фуражка и стэк остались наверху в ее комнате.

Лоб его покрылся холодным потом, когда он подумал, что муж сейчас увидит эти вещи, небрежно брошенные на стул.

Страшно мучаясь и досадуя на свою неосторожность, он снова через малину пробрался к дому. Он хотел ей крикнуть, предупредить, чтоб она спрятала все это или, если можно, бросила бы ему вниз, но тут, всматриваясь в ее окно, он с ужасом увидел, что в комнате уже были люди – ее мать, нянька с дочкой, муж и еще кто-то.

Саша снова бросился назад и, страшась услышать сейчас крики драмы, перескочил через забор и направился к своему дому.

И, дойдя до своей улицы, он захотел было вернуться туда, где сейчас, вероятно, разыгрывается трагедия, но у него не хватило духу сделать это.

Ему показалось, что его возвращение было бы смешным и глупым. И он стал успокаивать себя, говоря себе, что Муза, вероятно, в последний момент успела сунуть в шкаф его оставленные вещи.

Он пришел домой, бледный и растерянный, и его старая мамаша стала выпытывать, что с ним. Но он, не желая посвящать ее в свои тайны, сказал, что его срочно вызывают в институт. И вот почему он так огорчен, взволнован и потрясен.

Это случайное вранье определило его шаги. Саша сложил вдруг чемодан и, попрощавшись с матерью, в тот же день уехал в Москву.

Ему оставалось жить в Виннице всего две недели. Ну, что ж, он несколько раньше вернется в столицу и несколько раньше приступит к занятиям. Нет, он не трус, но фигурировать в качестве застигнутого любовника ему не хотелось бы.

Конечно, он страшился за судьбу молодой женщины, но тут же утешал себя тем, что любовь мужа столь велика и грандиозна, что ей все простится и все забудется.

Перед отъездом он написал ей нежное и милое письмо и вложил его в конверт вместе с засушенной настурцией. Но не отправил его, боясь, что письмо попадет в руки разгневанного мужа.

Однако, приехав в Москву, Саша очень там страдал и волновался и вскоре послал одному своему другу письмо в Винницу. Он попросил приятеля разузнать, что с Музой, и передать ей пламенный привет, его адрес и нежную просьбу написать ему хотя бы несколько слов.

Но друг почему-то не ответил. И от Музы не было никаких сообщений.

Потом он случайно узнал от одного приехавшего из Винницы, что в доме Музы как будто все благополучно, развода нет, и муж, по-видимому, по-прежнему безмерно любит ее и обожает.

Это сообщение успокоило Сашу. Но вместе с тем он снова ощутил пылкую любовь к молодой оставленной даме. Он поставил ее карточку на видное место и подолгу любовался милыми чертами своей смуглой, черноокой красавицы.

Между тем начались занятия. Последний год в институте – это было не шуточное дело. И Саша с головой ушел в свою учебу.

Он хотел было на рождественские каникулы приехать в Винницу, но случайно сошелся с одной курсисткой, и эта связь задержала его в Москве.

Весною он заболел, переутомленный экзаменами, и его отправили на кумыс. А летом мамаша его приехала в Москву на операцию и тут, как говорится, под ножом хирурга, скончалась.

Саша осенью хотел побывать в Виннице, но тут началась германская война, и молодого инженера взяли в армию в саперные войска.

Я не сумею вам сказать, как это случилось, но Саша Ф., страдая и любя, не смог в ближайшие годы встретиться со своей красавицей Музой.

Только в начале революции он наконец приехал в Винницу.

Со страшным волнением он вернулся в свой родной город. И в тот же день он с отчаянием в сердце узнал, что Муза с ребенком и мужем только что недавно уехала в Киев, бросив свой дом и свои дела на произвол судьбы.

Это было понятно – революция, вероятно, не пощадила бы разбогатевшего дельца. И вот он поспешил уйти от народного гнева.

Тотчас вслед за ними Саша отправился в Киев, но там узнал, что они выехали из Киева как будто в Одессу, но, может быть, и в Ростов.

Саша хотел было поехать в Одессу, но узнал, что пути к Одессе отрезаны фронтом гражданской войны.

Тут молодой человек понял, что он потерял их следы. И, может быть, никогда больше ее не увидит. И он так заплакал, как будто ему было шесть лет. И бесчисленно раз целуя ее карточку, он дал себе слово до конца своих дней любить свою милую Музу.

Он вернулся в Москву. И стал там жить.

И вот, давно уже отгремели выстрелы гражданской войны, новая жизнь победно шествовала по городам и селам.

Саша Ф. был инженером. И он служил в Москве. Он давно женился, и у него теперь было двое славных детишек, и он в скором времени ожидал еще третьего младенца.

Но в сердечных делах он остался верен своему чувству.

Ее карточка, как святыня, стояла на его письменном столе, и он, вспоминая дни своей юности, подолгу любовался милым обликом и, печально вздыхая, восклицал: «Ах, счастье с этой женщиной мне было так возможно».

Всю силу своего чувства он перенес в свою работу. Он стал весьма крупным, выдающимся инженером. И год назад он получил в приказе благодарность за полезную деятельность.

В прошлом году, летом, он немного заболел и решил полечиться. Его сорокалетнее сердце стало пошаливать, – начались разные боли, спазмы и так далее.

Его премировали двухмесячной путевкой в Кисловодск, и в августе он уехал туда с намерением заняться лечебными процедурами.

Кисловодск в этом смысле чудный курорт. Там нарзан делает чудеса – обновляет кровь и восстанавливает слабые нервы.

Два месяца подряд Саша принимал там нарзанные ванны и ходил в горы, укрепляя этим свое уставшее сердце.

Он там великолепно поправился и чувствовал себя молодым, способным на безрассудства. Но он там никого не встретил, кем бы мог увлечься. И теперь не без охоты покидал курорт.

В день отъезда он пошел в парк прощаться с любимыми местами. Он пришел в нарзанную галерею. Ему там подали стакан нарзана. И он стал с чувством его пить, поглядывая на гуляющую публику.

Вдруг рука у него дрогнула. Пальцы невольно разжались, и стакан с треском разбился, упав на каменный пол.

Перед ним в двух шагах стояла Муза Н. со своим мужем.

Она стояла около источника и тоже пила нарзан.

Сердце замерло у Саши, когда он еще раз взглянул на нее. Она была, пожалуй, по-прежнему красива и эффектна, но она очень пополнила.

Ах, где же, эта тоненькая, смуглая красавица! Слишком полный ее стан, двойной подбородок и более крупные формы придавали теперь Музе солидный, стареющий и немного обрюзгший вид. И только милые ее глаза, блестящие и яркие как звездочки, сияли по-прежнему, так же, пожалуй, молодо и оригинально.

Она взглянула на человека, уронившего стакан. И у нее в то же мгновение замерло сердце. И бывает же такое совпадение чувств, – рука у нее тоже дрогнула, пальцы разжались, и стакан, упав на каменный пол, вдребезги разбился.

Рядом стоявший муж, стареющий и весьма полный кособокий человек, с инженерским значком на лацкане пиджака, с недоумением посмотрел, что случилось.

И вдруг, всплеснув руками, он воскликнул:

– Боже мой! Муза! Да ведь это Александр Семенович – наш дорогой друг из Винницы!

Саша Ф. подошел к ним, и они стали пожимать друг другу руки, расспрашивая, волнуясь и смеясь от нахлынувших воспоминаний двадцатилетней давности.

– Александр Семенович, – сказал муж, – куда же вы, голубчик, тогда бесследно исчезли?.. Ну, правда, я вас немного ревновал, но мы с Музой очень огорчились вашему отъезду.

Муза, улыбаясь, сказала:

– В самом деле, Саша, куда вы тогда делись?

Александр Семенович стоял растерянный, не зная, что сказать и что подумать.

Муж продолжал, улыбаясь:

– Да, я помню, много вы хлопот доставили нам своим отъездом. Помню, Муза три месяца меня пилила, зачем я так резко отказал вам от дома... Поверите ли, дело прошлое, но Муза плакала, и мы с ней заходили к вашей маме – расспрашивали ее о вас... Что с вами тогда стряслось?

Муза, улыбаясь, сказала:

– Это было, правда, нехорошо, Саша, что вы, не попрощавшись, уехали... Хоть бы написали письмо.

Саша растерянно бормотал:

– Боже мой... Как же так... Я писал... я не знаю... я думал, что...

Муж, громко смеясь, сказал:

– Да, черт возьми, я ревновал вас. Но теперь, Александр Семенович, я бы вам и сам сказал: поухаживайте, милый друг, за моей женкой.

Они втроем стали смеяться, иронизируя над своей полнотой, седеющими волосами и поблекшими чувствами. Вдруг муж сказал:

– Друзья, постойте минутку – пришли центральные газеты, и я боюсь прозевать...

Они остались вдвоем. Она сказала, улыбнувшись:

– Да, Саша, это было нехорошо с вашей стороны...

Саша, волнуясь и не понимая, сказал:

– Но ведь я думал, что муж все узнал... Я не хотел вам доставлять лишних страданий... Поверьте, я вас так любил...

Она вдруг сердечно и от души рассмеялась. Она так засмеялась, что он не знал, что подумать.

– Что вы смеетесь? – грубо спросил он.

Она сквозь смех еле могла сказать:

– Слушайте... Ведь тогда... помните... ну, в тот день, когда вы были у меня... Ведь это был не муж...

– Как не муж?! – спросил Саша, ужасаясь.

– Ну да, – сказала она, смеясь, – это была телеграмма. Муж прислал мне телеграмму, что он задержался.

– Но ваша дочка...

– Девочка ошиблась... Она на каждый звонок кричала: папа приехал... Я, как сумасшедшая, кричала вам из окна, чтоб вы вернулись... Но вы... соскочили со своего дерева... и сразу исчезли...

Она, сдерживаясь и кусая губы, смеялась. Ее подбородок дрожал, и плечи тряслись от хохота.

– Но как же так? – бормотал он. – Я думал... Фуражка, воротничок, которые я оставил...

Она, было перестав смеяться, снова захохотала так, что он подумал, что с ней истерика. Она сквозь смех еле могла сказать:

– Как же вы, Саша, уехали в Москву-то... без фуражки? Вы бы хоть зашли за фуражкой...

Он, сам не зная, что говорит, сказал:

– А куда же вы дели мой воротничок и фуражку?

– Ну, не помню, голубчик, – сказала она, – кажется, спрятала и сохранила на память.

Он хотел выдать на своем лице улыбку, но не мог и стоял, смертельно бледный, дрожа от волнения.

Она вдруг, увидев его в таком состоянии, перестала смеяться. Она сказала:

– Простите, Саша, что я так смеюсь... Я вас очень любила...

Он взял ее руку и стал целовать, бормоча:

– Боже мой... Ну, как же так?.. Какая комедия жизни... Я вас тоже любил. И так ждал...

Тень прошла по ее лицу, и губы ее дрогнули, но она, отдернув руку, сказала:

– Муж идет, после поговорим...

Муж подошел к ним, на ходу разворачивая газету. Саша, взглянув на часы, пробормотал:

– Ого, уже три. Ведь через сорок минут отходит мой поезд.

Они стали жалеть, что он уезжает. Они хотели, чтоб он зашел к ним – сыграть в преферанс. Как, право, жаль, что они встретились только сегодня.

Саша поспешно стал прощаться с ними и, бледный и растерянный, пошел в свой санаторий.

Через полчаса он, по-прежнему взволнованный и потрясенный, сидел в вагоне.

И когда поезд тронулся, Саша распаковал чемодан, нашел карточку Музы. Он долго всматривался в дорогие черты и бормотал:

– Ну, как же так?.. Ну, как же это могло случиться?..

Вдруг снова он ощутил в своем сердце любовь, но не к этой прежней, тоненькой красавице, а к той женщине, которую он сейчас оставил в нарзанной галерее.

Ее смех смутил его. А то он сказал бы ей больше о своем чувстве, о том, что все эти годы он помнил и любил ее.

Он вдруг подумал, что он сейчас может сойти на станции и вернуться в Кисловодск.

В это время поезд остановился в Ессентуках. Саша стал судорожно упаковывать свои вещи, чтоб сойти тут. Но поезд вскоре тронулся, и Саша остался. Он подошел к открытому окну, бормоча:

– Как глупо все, ах, как все глупо...

Потом вдруг сердце у него упало, когда он подумал, что ведь он даже и не знает, где и в каком городе они живут. В своем волнении, в своем поспешном прощании он даже не спросил ее об этом.

И тут он снова, как и когда-то в Киеве, понял, что он потерял ее. И теперь уж, наверно, навсегда.

Слезы показались на его глазах. Он снова метнулся к своим чемоданам, чтобы выйти в Пятигорске. И, подойдя к окну, сказал:

– Как глупо все... Какая комедия жизни... Вот она, старость и увядание...

В Минеральных Водах он опять хотел было вернуться в Кисловодск, но носильщик, схватив его вещи, сказал:

– Поспешайте, гражданин. Московский поезд сейчас отходит.

И он покорно последовал за носильщиком.

Но в поезде он успокоился, сказав себе, что он напечатает объявление в центральной газете с просьбой к Музе отозваться и написать ему.

Эту историю Александр Семенович рассказал мне в сентябре тридцать шестого года. Сейчас начало нового года, но этого объявления я в газетах так и не видел.

Илья Ильф, Евгений Петров

Колумб причаливает к берегу

– Земля, земля! – радостно закричал матрос, сидевший на верхушке мачты.

Тяжелый, полный тревог и сомнений путь Христофора Колумба был окончен. Впереди виднелась земля. Колумб дрожащими руками схватил подзорную трубу.

– Я вижу большую горную цепь, – сказал он товарищам по плаванию. – Но вот странно: там прорублены окна. Первый раз вижу горы с окнами.

– Пирог с туземцами! – раздался крик.

Размахивая шляпами со страусовыми перьями и волоча за собой длинные плащи, открыватели новых земель бросились к подветренному борту.

Два туземца в странных зеленых одеждах поднялись на корабль и молча сунули Колумбу большой лист бумаги.

– Я хочу открыть вашу землю, – гордо сказал Колумб. – Именем испанской королевы Изабеллы объявляю эти земли принадлежа...

– Все равно. Сначала заполните анкету, – устало сказал туземец. – Напишите свое имя и фамилию печатными буквами, потом национальность, семейное положение, сообщите, нет ли у вас трахомы, не собираетесь ли свергнуть американское правительство, а также не идиот ли вы.

Колумб схватился за шпагу. Но так как он не был идиотом, то сразу успокоился.

– Нельзя раздражать туземцев, – сказал он спутникам. – Туземцы как дети. У них иногда бывают очень странные обычаи. Я это знаю по опыту.

– У вас есть обратный билет и пятьсот долларов? – продолжал туземец.

– А что такое доллар? – с недоумением спросил великий мореплаватель.

– Как же вы только что указали в анкете, что вы не идиот, если не знаете, что такое доллар? Что вы хотите здесь делать?

– Хочу открыть Америку.

– А публисити у вас будет?

– Публисити? В первый раз слышу такое слово.

Туземец долго смотрел на Колумба проникновенным взглядом и наконец сказал:

– Вы не знаете, что такое публисити?

– Н-нет.

– И вы собираетесь открыть Америку? Я не хотел бы быть на вашем месте, мистер Колумб.

– Как? Вы считаете, что мне не удастся открыть эту богатую и плодородную страну? – забеспокоился великий генуэзец.

Но туземец уже удалялся, бормоча себе под нос:

– Без публисити нет prosperiti.

В это время каравеллы уже входили в гавань. Осень в этих широтах была прекрасная. Светило солнце, и чайка кружилась за кормой. Глубоко взволнованный, Колумб вступил на новую землю, держа в одной руке скромный пакетик с бусами, которые он собирался выгодно сменять на золото и слоновую кость, а в другой – громадный испанский флаг. Но куда бы он ни посмотрел, нигде не было видно земли, почвы, травы, деревьев, к которым он привык в старой, спокойной Европе. Всюду были камень, асфальт, бетон, сталь.

Огромная толпа туземцев неслась мимо него с карандашами, записными книжками и фотоаппаратами в руках. Они окружали сошедшего с соседнего корабля знаменитого борца, джентльмена с расплюснутыми ушами и невероятно толстой шеей. На Колумба никто не обращал внимания. Подошли только две туземки с раскрашенными лицами.

– Что это за чудак с флагом? – спросила одна из них.

– Это, наверно, реклама испанского ресторана, – сказала другая.

И они тоже побежали смотреть на знаменитого джентльмена с расплюснутыми ушами.

Водрузить флаг на американской почве Колумбу не удалось. Для этого ее пришлось бы предварительно бурить пневматическим сверлом. Он до тех пор ковырял мостовую своей шпагой, пока ее не сломал. Так и пришлось идти по улицам с тяжелым флагом, расшитым золотом. К счастью, уже не надо было нести бусы. Их отобрали на таможне за неуплату пошлины.

Сотни тысяч туземцев мчались по своим делам, ныряли под землю, пили, ели, торговали, даже не подозревая о том, что они открыты.

Колумб с горечью подумал: «Вот. Старался, добывал деньги на экспедицию, переплывал бурный океан, рисковал жизнью – и никто не обращает внимания».

Он подошел к туземцу с добрым лицом и гордо сказал:

– Я Христофор Колумб.

– Как вы говорите?

– Христофор Колумб.

– Скажите по буквам, – нетерпеливо молвил туемец.

Колумб сказал по буквам.

– Что-то припоминаю, – ответил туемец. – Торговля портативными механическими изделиями?

– Я открыл Америку, – неторопливо сказал Колумб.

– Что вы говорите! Давно?

– Только что. Какие-нибудь пять минут тому назад.

– Это очень интересно. Так что же вы, собственно, хотите, мистер Колумб?

– Я думаю, – скромно сказал великий мореплавателю, – что имею право на некоторую известность.

– А вас кто-нибудь встречал на берегу?

– Меня никто не встречал. Ведь туземцы не знали, что я собираюсь их открыть.

– Надо было дать кабель. Кто же так поступает? Если вы собираетесь открывать новую землю, надо вперед послать телеграмму, приготовить несколько веселых шуток в письменной форме, чтобы раздать репортерам, приготовить сотню фотографий. А так у вас ничего не выйдет. Нужно публицити.

– Я уже второй раз слышу это странное слово – публицити. Что это такое? Какой-нибудь религиозный обряд, языческое жертвоприношение?

Туемец с сожалением посмотрел на пришельца.

– Не будьте ребенком, – сказал он. – Публицити – это публицити, мистер Колумб. Я постараюсь что-нибудь для вас сделать. Мне вас жалко.

Он отвел Колумба в гостиницу и поселил его на тридцать пятом этаже. Потом оставил его одного в номере, заявив, что постарается что-нибудь для него сделать.

Через полчаса дверь отворилась, и в комнату вошел добрый туземец в сопровождении еще двух туземцев. Один из них что-то непрерывно жевал, а другой расставил треножник, укрепил на нем фотографический аппарат и сказал:

– Улыбнитесь! Смейтесь! Ну! Не понимаете? Ну, сделайте так: «Га-га-га!» – и фотограф с деловым видом оскалил зубы и заржал, как конь.

Нервы Христофора Колумба не выдержали, и он засмеялся истерическим смехом. Блеснула вспышка, щелкнул аппарат, и фотограф сказал: «Спасибо».

Тут за Колумба взялся другой туземец. Не переставая жевать, он вынул карандаш и сказал:

– Как ваша фамилия?

– Колумб.

– Скажите по буквам. Ка, О, Эл, У, Эм, Бэ? Очень хорошо, главное – не перепутать фамилии. Как давно вы открыли Америку, мистер Колман? Сегодня? Очень хорошо. Как вам понравилась Америка?

– Видите, я еще не мог получить полного представления об этой плодородной стране.

Репортер тяжело задумался.

– Так. Тогда скажите мне, мистер Колман, какие четыре вещи вам больше всего понравились в Нью-Йорке?

– Видите ли, я затрудняюсь...

Репортер снова погрузился в тяжелые размышления: он привык интервьюировать боксеров и кинозвезд, и ему трудно было иметь дело с таким неповоротливым и туповатым типом, как Колумб. Наконец он собрался с силами и выжал из себя новый, блестящий оригинальностью вопрос:

– Тогда скажите, мистер Колумб, две вещи, которые вам не понравились.

Колумб издал ужасный вздох. Так тяжело ему еще никогда не приходилось. Он вытер пот и робко спросил своего друга-туземца:

– Может быть, можно все-таки обойтись как-нибудь без публисити?

– Вы с ума сошли, – сказал добрый туземец, бледнея. – То, что вы открыли Америку, – еще ничего не значит. Важно, чтобы Америка открыла вас.

Репортер произвел гигантскую умственную работу, в результате которой был произведен на свет экстравагантный вопрос:

– Как вам нравятся американки?

Не дожидаясь ответа, он стал что-то быстро записывать. Иногда он вынимал изо рта горящую папиросу и закладывал ее за ухо. В освободившийся рот он клал карандаш и вдохновенно смотрел на потолок. Потом снова продолжал писать. Потом он сказал «о'кей», похлопал растерявшегося Колумба по бархатной, расшитой галунами спине, потряс его руку и ушел.

– Ну, теперь все в порядке, – сказал добрый туземец, – пойдем погуляем по городу. Раз уж вы открыли страну, надо ее посмотреть. Только с этим флагом вас на Бродвей не пустят. Оставьте его в номере.

Прогулка по Бродвею закончилась посещением тридцатипятицентového бурлеска, откуда великий и застенчивый Христофор выскочил, как ошпаренный кот. Он быстро помчался по улицам, задевая прохожих полами плаща и громко читая молитвы. Пробравшись в свой номер, он сразу бросился в постель и под грохот надземной железной дороги заснул тяжелым сном.

Рано утром прибежал покровитель Колумба, радостно размахивая газетой. На восемьдесят пятой странице мореплаватель с ужасом увидел свою оскаленную физиономию. Под физиономией он прочел, что ему безумно понравились американки, что он считает их самыми элегантными женщинами в мире, что он является лучшим другом эфиопского негуса Селасси, а также собирается читать в Гарвардском университете лекции по географии.

Благородный генуэзец раскрыл было рот, чтобы поклясться в том, что он никогда этого не говорил, но тут появились новые посетители.

Они не стали терять времени на любезности и сразу приступили к делу. Публисити начало оказывать свое магическое действие: Колумба пригласили в Голливуд.

– Понимаете, мистер Колумб, – втолковывали новые посетители, – мы хотим, чтобы вы играли главную роль в историческом фильме «Америго Веспуччи». Понимаете, настоящий Христофор Колумб в роли Америго Веспуччи – это может быть очень

интересно. Публика на такой фильм пойдет. Вся соль в том, что диалог будет вестись на бродвейском жаргоне. Понимаете? Не понимаете? Тогда мы вам сейчас все объясним подробно. У нас есть сценарии. Сценарий сделан по роману Александра Дюма «Граф Монте-Кристо», но это не важно, мы ввели туда элементы открытия Америки.

Колумб пошатнулся и беззвучно зашевелил губами, очевидно читая молитвы. Но туземцы из Голливуда бойко продолжали:

– Таким образом, мистер Колумб, вы играете роль Америго Веспуччи, в которого безумно влюблена испанская королева. Он в свою очередь так же безумно влюблен в русскую княгиню Гришку. Но кардинал Ришелье подкупает Васко де Гаму и при помощи леди Гамильтон добивается посылки вас в Америку. Его адский план прост и понятен. В море на вас нападают пираты. Вы сражаетесь, как лев. Сцена на триста метров. Играть вы, наверно, не умеете, но это не важно.

– Что же важно? – застонал Колумб.

– Важно публицити. Теперь вас публика уже знает, и ей будет очень интересно посмотреть, как такой почтенный и ученый человек сражается с пиратами. Кончается тем, что вы открываете Америку. Но это не важно. Главное – это бой с пиратами. Понимаете, алебарды, секиры, катапульты, греческий огонь, ятаганы, – в общем, средневекового реквизита в Голливуде хватит. Только вам надо будет побриться. Никакой бороды и усов! Публика уже видела столько бород и усов в фильмах из русской жизни, что больше не сможет этого вынести. Значит, сначала вы побреетесь, потом мы подписываем контракт на шесть недель. Согласны?

– О'кей! – сказал Колумб, дрожа всем телом.

Поздно вечером он сидел за столом и писал письмо королеве испанской:

«Я объехал много морей, но никогда еще не встречал таких оригинальных туземцев. Они совершенно не выносят тишины и, для того чтобы как можно чаще наслаждаться шумом, построили во всем городе на железных столбах особые дороги, по которым день и ночь мчатся железные кареты, производя столь любимый туземцами грохот.

Занимаются ли они людоедством, я еще не выяснил точно, но, во всяком случае, они едят горячих собак. Я своими глазами видел много съестных лавок, где призывают прохожих питаться горячими собаками и восхваляют их вкус.

От всех людей здесь пахнет особым благовонием, которое на туземном языке называется „бензин“. Все улицы наполнены этим запахом, очень неприятным для европейского носа. Даже здешние красавицы пахнут бензином.

Мне пришлось установить, что туземцы являются язычниками: у них много богов, имена которых написаны огнем на их хижинах. Больше всего поклоняются, очевидно, богине Кока-кола, богу Драгист-сода, богине Кафетерии и великому богу бензиновых благовоний – Форду. Он тут, кажется, вроде Зевеса.

Туземцы очень прожорливы и все время что-то жуют.

К сожалению, цивилизация их еще не коснулась. По сравнению с бешеным темпом современной испанской жизни американцы чрезвычайно медлительны. Даже хождение пешком кажется им чрезмерно быстрым способом передвижения. Чтобы замедлить этот процесс, они завели огромное количество так называемых автомобилей. Теперь они передвигаются со скоростью черепахи, и это им чрезвычайно нравится.

Меня поразила один обряд, который совершается каждый вечер в местности, называемой Бродвей. Большое число туземцев собирается в большой хижине, называемой бурлеск. Несколько туземок по очереди поднимаются на возвышение и под варварский грохот тамтамов и саксофонов постепенно снимают с себя одежды. Присутствующие бьют в ладоши, как дети. Когда женщина уже почти голая, а туземцы в зале накалены до последней степени, происходит самое непонятное в этом удивительном обряде: занавес почему-то опускается, и все расходятся по своим хижинам.

Я надеюсь продолжить исследование этой замечательной страны и двинуться в глубь материка. Моя жизнь находится вне опасности. Туземцы очень добры, приветливы и хорошо относятся к чужестранцам».

Вячеслав Яковлевич Шишков

Чертознай

А вот, честна компания, я весь тут: расту огромного, ликом страшен, бородища, конечно, во всю грудь. Я таежный старатель, всю жизнь по тайгам золото искал, сквозь землю вижу, поэтому и прозвище имею – Чертознай.

Ох и золота я добыл на своем веку – страсть!

Мне всегда фарт был. А разбогатеешь – куда деваться? Некуда. В купецкую контору сдать – обсчитают, замест денег талонов на магазины выдадут, забирай товаром, втридорога плати. А жаловаться некому – начальство подкуплено купцом. Ежели с золотом домой пойдешь, в Россию, в тайге ухлопают, свой же брат варнак пришьет.

То есть прямо некуда податься. И ударишься с горя в гулеванье, кругом дружки возле тебя, прямо хвиль-метель. Ну, за ночь все и спустишь.

Конечно, избыют всего, истопчут, с недельку кровью похаркаешь, отлежишься, опять на каторжную жизнь. Да и подумаешь: на кого работал? На купчишек да на пьянство. На погибель свою работал я...

Людишки кричат: золото, золото, а для меня оно – плевков, в грош не ценил его.

Например, так. Иду при больших деньгах, окосевши, иду, форс обозначаю. Гляжу – мужик потрясучего кобелька ведет на веревке, должно – давить повел. У собаки хвост штопором, облезлый такой песик, никудышный. Кричу мужику:

– Продай собачку!

– Купи.

– Дорого ли просишь?

– Пятьсот рублей.

Я пальцы поплюнил, отсчитал пять сотенных, мужик спустил собаку с веревки, я пошел своей дорогой, маню:

– Песик, песик! – а он, подлая душа, «хам-ам» на меня, да опять к хозяину. Я постоял, покачался, плюнул, ну, думаю, и пес с тобой, и обгадь тебя черт горячим дегтем... Да прямо в кабак..

А было дело, к актерам в балаган залез: ведь в тайге, сами поди знаете, никакой тебе радости душевной, поножовщина да пьянство. А тут: пых-трах, актеры к нам заехали, был слух – комедь знатно представляли.

Захожу, народу никого, кривая баба керосиновые лампы тушит, говорит мне: комедь, мол, давно кончилась, проваливай, пьяный дурак. Я послал бабу к журавлю на кочку, уселся в первый ряд:

– Эй, актеры! – кричу. – Выработывай сначала, я гуляю сегодня. Сколько стоит?

Очкастый говорит мне:

– Актеры устали, папаша. Ежели снова – давай двести рублей.

Я пальцы поплюнул, выбросил две сотенных, актеры стали представлять. Вот я пять минут не сплю, десять минут не сплю, а тут с пьяных глаз взял да и уснул. Слышу, трясут меня:

– Папаша, вставай, игра окончена.

– Как окончена? Я ничего не рассмотрел... Выработывай вторично. Сколько стоит?

– Шестьсот рублей.

Я пальцы поплюнул, они опять начали ломаться-представляться. Я крепился-крепился, клевал-клевал носом, как петух, да чебурах на пол! Слышу: за шиворот волокут меня, я – в драку, стал стульчики ломать, конечно, лампы бить, тут набежали полицейские, хороших банок надавали мне, в участок увели.

Утром прочухался, весь избитый, весь истоптанный.

– Где деньги?! – кричу. – У меня все карманы деньгами набиты были!

А пристав как зыкнет:

– Вон, варнак! А нет, так мы тебе живо пятки к затылку подведем. Вот как нашего брата грабили при старых-то правах...

Одначе, что ни говори, я укрепился, бросил пить. Два года винища окаянного ни в рот ногой, золото копил. И облестила меня мысль-понятие к себе в тамбовскую деревню ехать, бабу с робенчишком навестить. Ну, загорелось и загорелось, вынь да положь. Сел на пароход, дуд-ду-ду – поехали. Через сутки подъезжаем к пристани, а буфетчик и говорит:

– Здесь село веселое, девки разлюли-малина. На-ка, разговейся. – И подает мне змей-соблазнитель стакан коньяку, подает другой, у

меня и сердце заиграло с непривыку. – Золото-то есть у тя? – спрашивает.

– Есть, Лукич... Много. На, сохрани, а мне выдай на разгул тыщенку. – Отдал ему без малого пуд золота в кожаной суме, суму печатью припечатали; отсчитал он мне пять сотенных, говорит: «На пропой души довольно».

Вылез я на берег, окружили меня бабёшки да девчата, одна краше другой, ну прямо из-под ручки посмотреть. А у меня все персты в золотых, конешно, кольцах, четверо золотых часов навздвано, на башке бобрячья шапка, штанищи с напуском, четыре сажени на штаны пошло, из-за голенищ бархатные портянки по земле хвостом метут аршина на два. Как вскинул я правую руку, да как притопнул поцыгански: – Иэх, кахыкахы-кахы! – Тут девки-бабы целовать меня бросились...

Я расчувствовался благородным обхождением, пальцы послюнил, сотенную выбросил:

– Эй, бабы, парни, мужики, устилай дорогу кумачом! Веди меня к самому богатому хозяину. Аида гулять со мной!..

Зачалось тут пьянство, поднялся хвиль-метель. Я требую и требую. А богач мужик и говорит:

– Да чего ты бахвалишься? Есть ли у тя деньги-то?

Расчесал я пятерней бородищу, гулебщики под ручки повели меня, я иду, фасон держу, великатию на обе сторонки кланяюсь. А богач мужик пронюхал, низкие поклоны с крылечка отвешивает, пожалуйста, мол, гостенек, разгуляться.

Вот ввалился я с дружками в избу, горланю само громко:

– Редьки, огурцов! Шан-пань-ско-ого!..

Я хлоп по карману – пусто, обобрали. Я – «караул, караул!» да в драку. Богач мужик обозлился, выставил меня на улку. В крапиве проснулся я в одних портках. И пароход ушел, и золото мое ворбуфетчик с собой увез.

С недельку покашлял я кровью, да опять назад в тайгу.

Долго после того я грустил, непутевую жизнь свою стало жалко. Эх, дурак-дурак!.. В одночасье голым стал. Ведь два года маялся. Два года! Хотел на родине доброе хозяйство завести, человеком сделаться.

И облилось мое сердце кровью. И озлился я на царские порядки, на купчишек, на мирских грабителей.

И вот прошел в народе слух, будто бы на приисках какая-то советская власть желает укрепиться. Я опять заскучал.

А вдруг, думаю, при новой-то власти хуже будет... Дай, думаю, с горя напьюсь да учиню порядочное безобразие. А уж зима легла.

Велел ребятам воз кринок да горшков купить, велел кольев по обе стороны дороги понатыркать, а на каждый кол но горшку надеть, как шапки. Взял оглоблю в обе руки, а сам в енотовой, конечно, шубе, иду, будто воевода, к кабаку, да по горшкам оглоблей:

– Раз, раз! Эй, ходи круче! Сам Чертознай гуляет. Бей в мелкие орехи! Раз, раз!

И как закончилось мое гулеваньё, очутился я в снегу, весь избитый, весь истоптанный.

Долго ли пролежал я, не знаю, только очухался в чистой горнице, тепло, на кровати мягкой лежу, как барин, на столике разные банки с лекарством, и башка моя рушником обмотана. И сидит предо мной душевный человек, и капает капли в рюмку, и подает мне:

– Пей.

Гляжу: лицо человека тихое, благоприятное, бритый весь, по обличью сразу видать – человек ума высокого.

– Пошто ты со мной валандаешься, – говорю ему, – ведь денег у меня нет.

– А мне твоих денег и не надо, – говорит.

– Врешь, врешь, приятель! Я-то знаю, раз у меня денег нет, ты меня выбросишь вон, здесь все так делают, человек хуже собаки здесь.

– Ну, а мы по-другому, – отвечает он, – советская власть рабочим человеком дорожит, рабочий – брат наш.

– А вы кто такие будете?

– Я секретарь, советской властью сюда прислан добрые для рабочего люда порядки заводить.

– А где же я, будьте столь добры, лежу?

– В моей комнате. Я тебя, товарищ, в сугробе подобрал, боялся – замерзнешь ты.

– Так пошто же ты подбирал-то меня?! Я ж сказал тебе: денег у меня нет, оглох ты, что ли?..

А он только улыбнулся да рукой махнул.

У меня аж борода затряслась, слезы подступили: хотел вскочить, хотел в ноги ему бултыхнуться, да он удержал меня и говорит:

– Только пьянствовать, старик, брось. А то – гроб тебе.

– Брошу! – закричал я. – Честное варнацкое слово – брошу! Да оторвись моя башка с плеч! Ведь умирать-то дуже неохота, робенчишка жалко, робенок у меня на родине остался, Ванькой звать, матка спокинула его, с посторонним человеком снюхалась...

А он мне кротко:

– Поправляйся, ребенка обязательно выпишем.

«Ох, ты, ох, – думаю, – какие добрещше люди на свете есть».

А секретарь мне:

– Вот отдохнешь, становись золото мыть. Н слышал – ты большой этому делу знатец.

– Нет – отвечаю, – ослобони, товарищ секретарь. И на золото шибко сердит теперь, чрез него горе одно видел в жизни.

Да будь оно трижды через нитку проклято! Погибель моя в нем.

И оставил меня секретарь при себе: месяц прохворал я, потом стал вроде посыльного, стал струмент выдавать, да на кухне кой-какой обедишко готовить, ну и... по махонькой, конечно, выпиваю в тайности, а иным часом и подходяще дрызнешь.

Секретарь придет, приняхается, я рыло в сторону ворочу, дышать норовлю умеренно, а он, миляга, все-таки приметит, что я окосевши, и учнет, дай бог ему здоровья, пропаганд против меня пущать, учнет стыдить меня, политике вразумлять... Да не одного меня, а всех. По баракам ходит, везде пропаганд ведет.

От этого вскорости я в ум вошел, начал понимать, кто друг нашему брату трудящемуся, кто враг.

А работы уж развернулись на широкую, купчишки разбежались, везде порядок, пьянство на нет сошло, золото в казну старатели сдают, харч хороший, словом – со старым не сравнишь.

И стал я подумывать, как бы мне советскую власть отблагодарить.

Полгода прошло. Лето наступило. Секретарь и говорит: – На вот тебе получку, иди погуляй, культурно развлекись.

Я сметил, что секретарь проверку хочет мне сделать... Ох, хитрец... Я пальцы послунил, пересчитал деньги, иду, не торопясь, поселком, иду, люблюсь: все наше, все советское. Кооператив торгует, десять новых баракон большущих, Народный дом громаднейший под крышу подводят. Постоял, поглазел, поскреб когтем бороду.

И понесли меня непутевые ноженьки в кабак.

«Ах, – думаю, – что же это я, варнак, делаю. Ведь замест культурности я винищем, конечно, обожрюсь». И начал сам с собой бороться. Вот схвачусь-схвачусь за скобку, да назад.

У самого слюни текут, а все-таки борюсь. Ну, борюсь и борюсь...

Глядь – бригада комсомольцев идет на работу, батюшки – рогожное знамя у них. На рогоже буквищи: «Позор!» – и дохлая ворона повешена. Приискатели в хохот взяли их:

– Эй вы, рогожнички! – кричат, присвистывают, изгаляются всяко.

Ах, мать честная! Жалко мне стало молодежь. Парни все работяги, совестливые. Посмотрел на них, подумал: вот ребенок мой приедет, подрастет, обязательно в комсомол определю. Увидели меня ребята, гвалт подняли:

– Дядя Чертознай! Опозорились мы. Бьемся, бьемся, а все впустую... Смекалки еще нет у нас. Помоги! Бригадиром нашим будешь.

А кобылка востропятая, приискатели на смех подняли меня:

– И чего вы, рогожники, к Чертознаю лезете? Он забыл, как и кайло-то в руках держать. Будет землю рыть, ногой на бороду себе наступит.

Задели они меня за живое, осерчал я, выхватил рогожное знамя, взвалил его на плечо, скомандовал:

– Комсомо-о-лия! Аида за мной, малютки.

И повел прямо в тайгу, хотелось мне сразу их на золотое место поставить, было у меня на примете такое местешко сильно богатимое, да с пьянством забыл я – где оно.

Вот придем-придем, начнем шурфы рыть, я покрикиваю:

– Давай-давай-давай, малютки!

Парни до седьмого пота преют, аж языки мокрые. Нет, вижу, что не тут.

– Аида на ново место! – командую.

Так и бродим по тайге, ковыряем породу, а толку ни беса лысого. «Ах, – думаю, – старый дурак, пропил память». И ребята приуныли. Ну, я все-таки подбадриваю их:

– Солому ешь, фасон не теряй, малютки!

И стал я, братцы, с горя сильно пить, у спиртоносов водки добывать. Ой, грех, ой, грех... Так протрепались мы по тайге почем

зря боле месяца.

И случилось, братцы мои, вскорости великое чудо чудное.

Как-то выпивши лежу ночью под елью, малютки храпят, намаялись, сердешные, а мне не спится. Вдруг, как в башку вложило, вспомнил. Ну, прямо вижу явственно: вершинка Моховой речушки, огромный камень-валун, да кривая сосна развихлялась в три ствола... Выскочил я, загайкал, как лесовик:

– Го-го-го-го!.. Вставай, малютки, пляши! – И припустился возле костра в пляс. Комсомолия продрала глаза, спросонья закричала:

– Батюшки! Чертознай с ума сошел.

Одним словом, мы чуть свет то место разыскали: вот он, камнище, вот вихлястая сосна.

Я наклонился, рванул мох, – золото!.. Наклонился, рванул, – золото! Ребята принялись, как копнут где – золото!..

Вот ладно. Оставил их, говорю:

– Шуруй, малютки. Обогадим советскую власть. Давай-давай-давай! – А сам, дуй-не-стой на прииск.

Секретарь повстречал меня:

– Чертознай! Куда ты запропастился? Скоро торжество у нас, Народный дом открываем.

– Молчи, молчи, Петрович, – по-приятельски подморгнул ему и спрашиваю: – А робенчишка-то моего выпишешь?

А он:

– Деньги посланы, ребенок твой едет.

Я возрадовался, да шасть в цирюльню. Командую цирюльнику:

– Бороду долой, лохмы на башке долой!.. Что личность босиком была, как у секретаря... Катай!

Цирюльник усадил меня в кресло, а мальчонке крикнул:

– Петька! Мыла больше, кипятку. Приготовь четыре бритвы! – И начал овечьими ножницами огромнейшую мою бороду кромсать да лохмы. Он стрижет, Акулька подметает.

Я взглянул, батюшки! – целая корзина, стогом, да из этой шерсти теплые сапоги можно бы свалять. Оказия, ей-богу... И пыхтел цирюльник надо мной с лишком полтора часа. А как воззрился я в зеркало, ну, не могу признать себя и не могу. Дурацкий облезьян какой-то... Ну, до чего жалко стало оороды...

Цирюльник полюбопытствовал:

– Уж не жениться ли задумали?

– Нет – отвечаю, – не жениться, а молодым хочу быть.

Ведь я с комсомолией работаю. Не с кем-нибудь, а с комсомо-о-лией! К тому ж скоро ребенок должен ко мне прибыть.

– Ваш собственный-с?

– Да уже не твой же. На подивись. – Тут я вынул, конечно, из кисета карточку.

Цирюльник поглядел, сказал:

– Да это же совсем грудной ребеночек.

А я ему:

– Ну, теперь он подросток, конечно. А у ты ладиколон есть?

Облей мне лысину, чтоб культурно воняло.

И вот слушайте, братцы мои, начинается самое заглавное.

Вот, значит, входим в Народный дом. Кругом флаги, аплакаты, музыка. Народищу – негде яблоку упасть, на сцене за столом – начальство. У меня, конечно, рогожное знамя в руках, я команду подаю:

– Комсомолия, шагом марш! Ать-два, трах-тарарах. Атьдва, трах-тарарах, Ать-два. Стой!

Секретарь взглянул на меня, на облезьяна идиотского, удивился:

– Чертознай! Ты ли это? А где ж борода?

Я схватился было за бороду, бороды, действительно, не оказалось, я сказал:

– Отсохла, Петрович! Ну, товарищ секретарь, а мы к тебе с подарком. Я свое место заветное нашел. Новый богатимый прииск. – Тут обернулся я к робятам: – Комсомолия, вперед!

Ать-два! Давай-давай-давай, малютки! Мишка, шуруй золото на стол!

И зачали мои парни золотые самородки на стол валить. Тут все в ладоши забили. А я залез на сцену, сам громко закричал:

– Я всю жизнь, робята, хуже собаки маялся, купчишки обсчитывали меня, тухлятиной кормили, начальство по зубам било, и выхода мне из тайги не было. Не было! Я озлобился, пьяницей горьким стал, в сугробе едва не замерз, так бы и подох. А кто спас меня, кто меня в кроватку уложил, кто лекарством отпаивал, кто уму-разуму учил? А вот кто: секретарь. Он первый... первый... за всю

жизнь человека во мне увидел. Советская власть первая... на хорошую дорогу меня поставила. Да что меня – всех!

Опять все в ладоши стали хлопать, а я не вытерпел, скосоротился, заплакал. Утираю слезы кулаком да бормочу:

– Сроду, мол, не плакивал, а вот... от радости, от радости.

Всю жизнь с великой печали пьянствовал, дурак... Ребра поломаны, печенки-селезенки отбиты... А вот зарок дал, не пью теперича...

Секретарь заулыбался, спросил:

– Давно пить-то бросил?

– Вторые сутки не пью! Шабаш.

Народишко засмеялся, а секретарь и говорит:

– Товарищи! Давайте премируем Чертознаю хорошей комнатой, шубой да часами, а бригаду комсомольцев знаменем почета. Как звать тебя?

– Чертознаем звать, – отвечаю.

– Это прозвище. А как имя, как фамилия?

– Забыл, товарищ секретарь.

– Как, собственное имя свое забыл?

– Вот подохнуть, забыл. Леший его ведает, то ли Егор, то ли Петруха. Тут слышу: в задних рядах ка-а-ак громыхнут хохотом, как закричат:

– Чертознай! Чертознай! Ребенок к тебе прибыл.

И вижу, братцы, диво: посреди прохода прет к сцене лохматый, бородатый мужичище, вот ближе, ближе... Я воззрился на него да так и обмер: ну, прямо как в зеркало на себя пляжу, точь-в-точь – я: бородаща, лохмы, рыло, только на четверть пониже меня, сам в лаптях, и на каждой руке по робенку держит.

А за ним краснорожая баба в сарафане... «Батюшки мои, думаю, виденица началась, самого себя вижу, ка-ра-ул...» А он, подлец, к самой сцене подошел да гнусаво этак спрашивает:

– А который здесь Чертознай числится?

– Я самый, – отвечаю. – А вы, гражданин, кто такие будете?

А он, подлец, как заорет:

– Тятя, тятенька! – да ко мне. – Я глаза, конечно, вытаращил, кричу:

– Ванька! Да неужто это ты?

– Я, говорит, тятя. Со всем семейством к тебе, вот и внучата твои, Дунька да Розка, два близнечика.

Я от удивления присвистнул: с пьянством все времечко кувырком пошло.

– Вот так это робено-ок! – говорю.

А он, варнак, улыбается во всю рожу, да и говорит:

– Вырос, тятя, – и целоваться ко мне полез, ну, я легонько осадил его:

– Стой, ребенок! Еще казенные дела не кончены. А не помнишь ли ты, Ванька, как звать меня?

– Помню, тятя. Вавила Иваныч Птичкин.

– Верно! Птичкин, Птичкин, – от радости заорал я.

А миляга-секретарь зазвонил и само громко закричал:

– Давайте, товарищи, назовем новый прииск именем Вавилы Птичкина, то есть – Чертозная. Почет и слава ему. Ура!

Тут все вскочили, ура-ура, биц-биц-биц, музыка взыграла, барабаны вдарили, а комсомолия качать меня принялась.

Я взлетаваю, как филин, к потолку да знай покрикиваю:

– Давай-давай-давай, малютки!

Иван Михайлович Касаткин

Задумчивый разговор

На рассвете я подходил к селу Игнатскому. Слева дремало скошенное овсяное поле.

Справа за лесистыми скатами берегов поблескивала Ока. Таял бледный кружок луны. За рекой из гущи бора маячили далекие крыши музея-усадьбы замечательного художника Василия Дмитриевича Поленова.

Эти красивейшие русские местности, эти синеющие огромные просторы, эти поля и рощи, луну над стогом сена, придорожные березы и дорогу, по которой я иду, и как бы самый воздух этот и тишину неповторимо запечатлел на своих полотнах гениальный ученик Поленова – грустный и милый Левитан.

Рассвело настолько, что я различаю впереди большой, крытый соломой навес, окруженный скирдами. В близком, но пока невидимом селе орут петухи и трудолюбиво стучит чей-то молоток, отбивающий косу...

Внезапный отчаянный лай оборвал мои думы.

Прямо на меня рысью летели два крупных пса.

Я сжал в руке можжевелевую палку и сделал ею артикул наотмашь... но сразу понял, что бой не состоится. Один пес оказался слишком молод и глуп, что было видно по нелепо вихлявшемуся хвосту, другой просто был стар и давно сменил злобу на равнодушие, хрипуче лая лишь по привычке. Я вынул из сумки кусок хлеба – и между нами произошло трогательное братание.

Вслед за тем мы втроем направились к скирдам. Под навесом на току я присел на деревянный обрубок и стал закусывать.

Передо мною высилась большая куча ржаных снопов. Задумчиво жуя хлеб вприкуску с огурцом, я вдруг заметил, что вершина кучи медленно зашевелилась. Вот солома расступилась в стороны и показалась кепка – обыкновенная мятая кепка кукушечьей расцветки. Вслед за кепкой вылезли плечи, руки... Наконец, целиком возник заспанный молодой паренек, застенчиво улыбающийся, и улыбка его была особенно мила тем, что спереди не хватало одного зуба.

– Доброе утро! – приветствовал я его, приподымая с головы свой картуз. – Каково поспалось?

– Да я, чай, не спал. Погреться я залез. Лунно было, всю ночь читал...

За пазухой у него книга, тетрадки. Я любопытствовал, взял книгу в руки: «Курс исторического материализма». В тетрадках – углы, квадраты, линии, вычисления.

– Понимаешь, беда у меня, – горячо заговорил он, вместе с улыбкой показывая дырку в зубах. – Кончил я рабфак, но не сдал еще чертежи. А мне нынче в Красную Армию. Вот и подгоняю...

Снопы подпирают под самую крышу навеса. Пахнет густой медовой ржаной сытостью. Утренняя тишина в полутьме навеса особенно торжественна. Ночного сторожа обильного урожая, ученого колхозника, будущего военного командира зовут Колей.

Что о нем сказать: тут надо складывать новую сказку о полевом герое, который для общего счастья при лунном сиянии упорно подкрадывается к драгоценной жар-птице – науке и ловит ее за радужный хвост.

Спускаюсь под гору, в село. Молодой пес, от избытка сил носящийся кругами, и старый пес, оказавшийся одноглазым, раболепно меня сопровождали. Утки с плотины, по которой мы проходили, торопливо побросались в воду, заколыхав отражения в ней береговых верб, и одна утка на весь пруд прокричала нам укоризну.

Над избами кое-где кудрявился дымок, топились печи. Вот первые, как бы вызолоченные, косые лучи солнца брызнули вдоль улицы, багряно загораясь в окнах. Белоголовая девчурка, несшая в подоле хворост, увидев меня, остановилась и замерла, розовая в солнечном свете.

– Девочка! Где тут живет Александра Михайловна Скотникова?

– Бригадирка? А она давно-о-о в поле убежала! – Потому как она это «давно» протянула нараспев и помахала куда-то рукой, я понял, что и поле это не близко и дела там сейчас горячие. Присмотрев среди улицы что-то вроде часовни с затейливой крышей, с лавочками для сиденья, я направился туда. Похожее на часовню сооружение оказалось стеной газетой. Прежде всего тут показали свое мастерство плотники, столяры, маляры, стекольщики. А затем уж

выказали себя во весь рост художники, карикатуристы, критики, патриоты и герои колхоза «Пахарь».

Только было я, сев на скамейку, углубился в эту фундаментальную газету, как почувствовал, что в затылок мне дышит живое существо.

Я оглянулся. Высокий старик в суровых усах, опершись руками в колени, как рыбак за поплавками, следил через мое плечо за чтением. Мы познакомились, потрясли друг другу руки. Лаврентий Иванович Пучков, инспектор по качеству, сел со мною рядом.

– Вот, читай не торопясь, гляди, вникай. Стараемся по силе возможности. Нам она помогает. Почетные мы. Слышал, чай?

Стояла в Москве на самой главной местности башня, древняя, высоты несусветной. Но пришла пора-времечко, башню ту повалили, и на ее место из чистого камня-мрамора превознесла советская власть доску Почета. И мы на той доске выше всех золотыми буквами записаны. Понял? За пшеничку, за честный труд, за эти вот руки...

Вдоль улицы бежала копна снопов, семена человеческими ногами. Оказалось, ноги принадлежат старухе, взвалившей на себя такую непомерную копну. Увидя старуху, Лаврентий Иванович взвеселился, двинул картуз на ухо, закричал:

– Здорово, девка! Я думал, что ты умерла!

– Жива, жива! Раньше тебя не помру!

И оба утешно смеются, довольные обоюдной ловкостью в словах и, быть может, мелькнувшими воспоминаниями о далекой-далекой молодости.

Солнце уже прогревает нам спины. Один по одному подходят еще старички. Лаврентий Иванович знакомит: Андрей Петрович Сигаев, Прасковья Васильевна Митькина и другие.

– Во, орлы! – продолжает веселиться Лаврентий Иванович. – И у каждого неисчислимо поколение. И все в колхозе.

Ты лучше народа и не ищи. Хороший народ, веселый, ладный!

Вот Прасковья Васильевна, не дай-ка ты ей работы, она те горло передерет. Ну, только сомнение имеет: с попом или без попа умирать? Мне, к, примеру, попа даром не надо. У меня в городе брат музыкант. Целая оркестра у них, тридцать два человека, серебряные трубы. Такую панихиду отхватят, аж деревья закачаются, до Совнаркома

будет слышно. Скажут там: Лаврентий Иванович помер, инспектор по качеству, успокоилась неугомонная душенька...

Цель моего похода – Александра Михайловна Скотникова и задушевный тайный разговор с нею о работе ее бригады – отодвигалась. Подошли еще люди, скамейки заняли сплошь.

Лаврентий Иванович Пучков ударился в воспоминания.

– Ведь вот тоже, кабы записать, как мы забирали землю, как церковь ломали на материалы. Сильно интересная борьба была! Мы орудуем, а время смутное. Один и говорит мне: Лаврентий Иванович, смотри, не ошибись... Два столба, говорит, поставим, да и удавим тебя. И сейчас этот человек жив, в Серпухове на хлебозаводе укрылся, супчик. Мы на барскую землю в ту пору уже крепко сели. А к Орлу валом подваливали белые!

А землю мы делили по едокам, смеху куча! Но, невзирая, шестьсот пудов продрозверстки дали. И себя обеспечили. И меня ударить не успели. А теперь мы можем с песнями работать.

Пора было разойтись. Андрей Петрович Сигаев, степенный старик, идя со мною вдоль села, раздумчиво выкладывал:

– Вчера у меня радость случилась, сын явился с призыва, винца выставил, приятно угостил. Определили на Дальний Восток, в береговую охрану. А второй принят танкистом. Ну, этот ужасно какой проворный. Выгнется этак колесом и прокатится по всей деревне. Вчера вот тут всему народу фигуры показывал, чистый бес! На цыганскую пляску горазд. Бывало, штилеты ему купишь, разом вдребезги... Активист, неизвестно и в кого.

В полях, на так называемых бедных калужских землях, вязался в снопы обильный урожай. Народ кучками действовал и тут и там, но бригадирша Скотникова была неуловима. Вот только что распоряжалась тут, и нет ее. Наконец сказали, будто помчалась в соседнее Кузьмищево, где рожь еще на корню и куда будто бы пригнали комбайн. Я вернулся в село, в надежде на свидание с нею в обеденный час, и присел у одной избы на завалину.

Солнце было уже высоко. После утомительной гонки по полям приятно сидеть в тени избы и смотреть на вспыхивающую блестками гладь пруда, на березу, дремно осенившую плакучими ветвями покосившийся сарайчик, на забившихся под крапиву кур.

Рядом со мною старушка, маленькая, сухонькая, точно выветренная, покашливая и ворча, коричневыми руками хватала из вороха пучки соломы и с непостижимой быстротой крутила эту солому в жгуты для вязки снопов. Я не успевал следить, как это она делала. Под ногами у ней росла и росла куча вязок. И скоро бы эта куча была выше ее головы, но то и дело, как воробьи на мякину, налетала крикливая стая ребятишек, охапками расхватывала готовые вязки и, отшлепывая босыми пятками, с гомоном неслась в поле.

– С чего это, бабка, так покашливаешь? – спросил я, присаживаясь поближе.

– А бык покатал. Был у нас такой бык непочтительный.

Лошадь запорол. Мальчонку раз выше изгороди махнул. Только я и могла за ним ходить, меня слушался. За это и трудодни мне писали. Подошла это я раз, хворостиночкой стеганула, а он как обратился на меня, сшиб и давай бить-катать. Четыре раза поддевал, швырнул через дорогу, вон до того погребца. Чую, кровь с меня идет, земли полон рот, душа вон выскакивает...

А он знай ярится. И вдруг ровно кто меня надоумил, говорю: бычок-батюшко, за что ты меня, прости меня... И затих он сразу. Положил на правое мое плечо свою храпелку и сопит. Ну, прямо в лицо мне лезет, сопит, всхрапывает, вижу, жалеет.

И что бы мне раньше догадаться этак-то попросить, когда впервые брухнул. Может бы, и не тронул... Перешиб он мне три ребра, кровью плевалась.

С полей дружно стал появляться народ обедать, а собеседница моя, Старкова Татьяна Кузьминична, не отставая крутить соломенные вязки, развертывала передо мною повесть жизни своей.

– Я, милый, пятнадцать душ детей выходила. А как жили-то! Исполу земельку хватали за десятки верст. Ночью прибежишь домой, бывало, посчитаешь сонных по головам, малых-то, загоришь сердцем, не уснешь и бежишь опять в поле без памяти, схвативши корку сухую. Я их всех за пазухой выпестовала. В полотенце ребенка, бывало, за шею повесишь и бежишь, а в поде сунешь в снопы, и ладно. Поглотали слез, что и говорить! Мы, тульские, переехали вот сюда, огляделись да всей семьей, двадцать один человек, в колхоз и записались. И пошли в гору. У меня восемь сынов, и все тут. И я от них не отстаю. Дочка-

девчонка вон рвется в лес за орехами, за вениками, не отпущу, пока уборка. Сын просит: купи, мать, гитару.

Дала сорок рублей. На, не жаль. Вина не пьет. Другой велосипед купил. Все одеты-обуты. Мы со стариком прошлый год настукали шестьсот трудодней, теперь и не охнем. А молодые, гляди, уже аванцы берут... – Решительным шагом подошла к нам худощавая женщина, хозяйски плянула на старуху, на вязки, вдоль улицы.

– Ты что, Кузьминишна, мало накрутила?

– Мало? Ребята из рук рвут. Бона охапку потащили. Ты, бригадирка, не черни меня при постороннем. Мало ей!

Это и была Александра Михайловна Скотникова.

Я круглый год следил за ее делами по районной газете.

Я впервые ее вижу. Она смотрит на меня, слушает, и вдруг брови и ресницы этой мужественной женщины дрогнули, посуровела, глухо заговорила:

– Что ж, трудно. Раздоры были зимой, верно. Только из района не помогли мне. И сейчас обе бригады не спеты. У них почти одни мужчины, и семь членов правления. У меня почти одни женщины, и ни одного члена правления. И в правлении – ни одной женщины. Это дело? Одинокая я тут... Доработаю отчетный год, отпрошусь. Пусть мужчину ставят.

Тряхнула мне руку. Побежала через дорогу и зазвонила в висячий под березой обрубок рельсы: пора кончать обед.

– Не уйдет она из бригадирок, – сказала, покашливая, бабка Кузьминишна. – Ох, горячая на работу! – Пообедавший народ двинулся в поле. Высокая, худая бригадирша шла впереди всех устремленной, как бы летящей походкой.

Улица опустела. Я тоже двинулся восвояси. На ступеньке у крайней избы сидел карапузик в большом отцовском картузе, оттопырившем ему уши. Я остановился, залюбовавшись ухарским его видом.

– Ты что, парень, на работу не идешь?

– Я дом калаулю...

Порывшись в сумке, я выдал ему конфетку. И зашагал, постукивая можжевелевой палкой о сухую землю и думая о добром, трудолюбивом, мужественном, умном народе, о его великом подъеме.

1937

Валентин Владимирович Овечкин

Ошибка

Силантия Федоровича Агаркова колхозники звали дед Ошибка.

– Завязывай, Петро, мешки получше, чтоб не просыпал, а то дед Ошибка выгонит тебе чертей!

– Бросай курить, ребята, бери вилы – дед Ошибка идет!

Силантий Федорович – старик суетливый, всегда сердитый и нахмуренный. Зычный голос его выделяется из шума на молотильном току, как труба в духовом оркестре, и слышен далеко в округности, особенно когда что-нибудь не ладится – идет зерно в полу или остается в соломе невымолоченный колос.

– Это его наш бывший начальник политотдела так прозвал, с тех пор и пошло: дед Ошибка, – объяснил мне один колхозник из той же второй бригады, в которой состоял со своим семейством Силантий Федорович, и однажды в свободную минуту рассказал историю странного прозвища Агаркова.

– Дед он такой, как бы сказать, с заскоками или же с уклоном на старый режим. Всякое дело до старого примеряет. Выбирали мы первый раз колхозное правление, ну, все как полагается, – записали кандидатуры, начинаем голосовать, а дед разбушевался: «Не то же так: помахали руками и готово – садись, Ванька, за председателя, руководствуй нами! Ведь наш колхоз побольше, чем у пана Деркача экономия была, тут ума нужно, чтоб таким хозяйством управлять! Надо им, кого хотим выбрать, пробу сперва сделать».

Стали его урезонивать: «Не туда загнул, дед! Что ж это – лошадь на базаре покупаешь? Запряг в дроги: а ну, садись человек десять, погоняй рысью!» Дед свое: «Можно и людям сделать пробу. Вот как пан Деркач делал. Помер у него старый приказчик, надо было нового на его место определить. Позвал Романа-ключника и объездчика Федула. „Гляди, Федул, – говорит пан, – едет по хутору мужик. А ты, Роман, видишь, из леса кто-то выезжает? Бегите, узнайте – куда они едут“. Побежали они. Первый Федул вернулся, запыхался. Узнал про своего мужика – едет в село Куракино. „А откуда едет?“ – спрашивает пан. Почесал Федул затылок. „Беги обратно!“ Вернулся Федул. „Из

Латоновки едет“. – „А по каким делам едет он в Куракино?“ В третий раз побежал Федул – догонять мужика.

А тем временем возвращается Роман. „Едет, говорит, тот человек из слободы Кирсановки, а путь держит в город на базар коня покупать. Малость выпивши. Ежели еще ему поднести, так в аккурат вашего слепого мерина за хорошую цену можно сбыть. Я ему расписал – полета заглазно дает“. Вот! Так и взял пан приказчиком Романа. Вишь как умные люди делали!»

Ну, тут ему, конечно: «На старый режим хочешь повернуть? Нам твой пан не указ!»

Или вот такое: когда сошлись мы в колхоз, и вот уж перед тем, как выезжать на посевную, привязался дед к правленцам: «Дозвольте молебен отслужить! Это ж не шутейное дело. И деды и прадеды наши однолично жили, а мы порешили – гуртом. Что, как не сладится?» Начал было уже со стариков самообложение собирать, чтоб попу заплатить.

Придет, бывало, на степь в бригаду и – до кухарки: «Что варишь?» – «Борщ с бараниной». Ну, тут дед как разойдется, аж в хутор за три версты слышать: «Опять с бараниной? Какой же дурень в эту пору, весною, режет баранов? Мясо пожрем, а овчины – хоть выбрось! Куда они, стриженные, годятся? Хозяева! Безотцовщина, пустодомы!»

А ездовые: «Жалко тебе? Что жрать-то, ежели один борщ, да и тот без мяса?» – «Не подохнете! – кричит дед. – Баранина и в молотьбу пригодится. Весною можно и цыбулю с квасом. Что дома лопали? Вчера только сошлись в колхоз и подавай вам уже всякие разносолы! Нажить сперва надо!»

Или пристанет к посевщикам: «Зря ячменем все поле засеваете, лучше бы овса добавили. Нонешний год на Николу лягушки квакали, – овес должен бы уродиться», И ходит, зудит:

«Не слушайте бригадира – сейте овес». Или – лошади не так спарованы. Его кобылу надо бы с Пантюшкиной спрячь, они и до колхоза спрягались, привычные, а Серегиного хромого – с Андрюшкиным сухожплым, нехай уж в паре хромают. Дед – перепрягать, а ездовые не дают. Ругаются ребята: «Что ты за шишка такая, что порядки тут наводишь? Тебя ж не выбрали еще председателем? Ступай домой, командуй над своей бабкой!»

В первую весну как стали работать мы колхозом, очень суетился дед, а потом видит – по его не выходит, овес не сеют, баранов режут – заскучал. В бригаду не стал уж ходить, все возле потребилки околачивался, где собирались на раскур табаку кому делать нечего. Раз как-то пришел я к нему вечером, сидит бабка одна, деда нету. Подождал немного, слышу – снаружи кто-то возится под окном, стену лапает и ругается потихоньку: «Где ж они, проклятые? Днем тут были, а зараз нету...»

«Дед, что ли?» – спрашиваю бабку. «Вот-то, говорит, как видишь, и дверей не найдет». – «Так чего ж ты, говорю, пойдй открой». – «А ну его, нехай ночует на дворе. Одурел на старости!»

Дожил до седьмого десятка и рюмки в рот не брал: не идет, говорит, а зараз – пошла. Да еще какую моду взял, черт старый: чуть что не по его – хлеб не допекла пли пуговку на штаны не пришила, зараз тянется в морду дать! Озлел, как цепной пес!»

А угощался дед у Чепеля. Был у нас такой единоличник закоренелый, на прошлой неделе только вступил в колхоз.

У него, бывало, все старики собирались. Шатаются по хутору, как неприкаянные, ну, куда? – до Чепеля. Сегодня Чепель ставит литру, завтра другой – по очереди. Яблоками закусывали – сад у Чепеля хороший. Так их и прозвали – колхоз «Веселая беседа», а Чепель за председателя там был.

Но на собрания дед приходил обязательно. Тут уж он брал свое! Председатель, бывало, посылает рассыльных по дворам и приказывает: «Только тому срывщику горластому не загадывайте». А дед будто нюхом чует, когда собрание. Хоть и не зовут, так придет. Сядет в темном уголку на задней скамейке, и только, бывало, разойдется председатель, станет нам докладывать про посевную кампанию да начнет с того, как он на польском фронте два дня эскадронном командовал, когда командира убили, а дед кричит: «Слышь, Петька! Брось про это, слыхали уж много раз. Ты лучше ответь на вопрос: дохлые кобылы воскресают или нет?..» Председатель как услышит дедов голос, аж головой закрутит, будто зубы у него заболят, а дед продолжает свое: «Нет? А вот в нашей бригаде воскресла. Давеча булгахтер с бригадёрком считали, считали – недостает одной кобылы, написали акт: разорвали, дескать, волки, а

она нынче утром заявляется – в грязюке вся по уши, худущая, как шкилет!»

Счетовод соваается на стуле, будто на мокрое сел, а колхозники шумят: «Как же так? Где же она была?» Бригадиру некуда деваться, объясняет, что кобылу бабы вытащили на огородах из копанки (был у нас тогда бригадиром Поликарп Устименко, жулик оказался, судили его после), а ввалилась она туда ночью на попасе еще третьего дня.

А дед уже полевода распекает: «Илюшка! Чего ж ты не похвалишься, сколько вчера дудаков подстрелил?» Тут уж все за животы берутся, один дед сидит, как статуя, глазом не моргнет. Полевод наш – злой охотник был. Как увидит – дудаки за курганчиком пасутся, про все на свете забудет. Раз этак подбирался к ним, три километра на животе прополз – ничего не выходит! Ляжет в бурьян – дудаков не видно, поднимется – уходят дудаки, не подпускают пешего. К ним надо на подводе подъезжать или же с подкатом. Так он что придумал: пришел на загон, где пахали, вывел одну упряжку из борозды, – погоньч тянет быков за налыгач, а он идет за плугом с ружьем.

Полдня кружили этак по степи вокруг того места, где дудаки паслись, таких кренделей начертили плугом, будто кто с пьяных глаз обчинаял загон (вгорячах и плуг позабыли выкинуть), полгектара не допахали, а дудаков совсем было уже приготовился полевод стрелять, – чья-то баба шла с бахчи – спугнула...

Так и пойдет собрание кувырком. Кричат все: «Давай, дед, давай! Поддай жару!» Раз как-то говорит дед: «Что это в нашем колхозе, как бывало у Савки Мошны: купят, продадут – никто ничего не знает!» Мошна был такой мужик на нашем хуторе. Купит лошадь, даже сыновьям не скажет правду – за сколько. Все, бывало, тишком делает. Придешь к нему – зараз амбары, конюшню запирает, чтоб не узнали, сколько у него хлеба, да скотину не сплазили. Так вот дед и говорит: «Порядки у нас, как у Мошны. Видим – свинарники правление строит, свиней племенных, значит, собираются покупать, а что да как – ничего нам не поясняют. Может, по тыще рублей за штуку платить, – так эти свиньи и штаны с нас стянут. Я на таких свиней не согласный, нехай они подохнут по всему свету!» Ну, тут записали в протокол: предупреждение и строгий выговор деду за подрыв животноводства.

Еще пуще обозлился дед. И вот в прошлом году, весною, выкинул он такое колено. Распорядилось правление бороновать озимую пшеницу. Против этого-то дед не возражал. Хоть наши хуторяне и не делали этого сроду, но видели, как у Деркача в экономии бороновали – лучше получается. Но когда заметил дед на бригадном дворе, что сын его Гришка собирается на степь и кладет на бречку деревянную борону, вмешался: «Положь эту скребницу на место. Возьми фабричную, двухзвенную». У Гришки мозги раскорячились – кого слушать? Бригадир распорядился брать на зеленыя бороны легкие, деревянные, чтоб меньше рвать озимку. Дед в азарт вошел: «Дураки вы оба с бригадёром! Бери, говорю, железную!» Не успел Гришка выехать за хутор, встретился ему по дороге бригадир, обругал его, заставил вернуться и взять деревянную борону. Дед немного погодя опять наведался на бригадный двор, глядит – нету деревянной бороны. «Ах ты ж, говорит, собачий сын! Не послушал-таки, болячка тебе в спину!» И прямым сообщением – на степь.

С Гришкой бороновали еще трое парней. Ну, до тех дед не подходил – что с них спросишь, когда тут со своим не справишься. Подождал он, пока Гришка выехал на край загона, выхватил у него вожжи, как горланет на него, аж кони в сторону прынули: «Кто тебе батька – я или бригадёр? Кого слушаешь?

Убирайся зараз отсюда! Хлебу я еще пока хозяин такой же, как и твой бригадёр! Не дам пакостить!» Да вожжами его – по спине! Гришка, бедный, аж заплакал с досады, бросил на загоне бречку и борону, сел верхом и поехал в хутор, жаловаться на батька бригадиру. А дед идет за ним следом и рассуждает:

«Теперь за старухой очередь. Скажет: не буду тебе, черту старому, портки мыть – бригадёр, дескать, не велел, – и что ты ей сделаешь? Вот жизнь!»

Вечером деду принесли из правления повестку. Повестку дед взял, а в правление не пошел. Решили о нем заглазно: «Агаркова Силантия Федоровича, как антисоветского элемента и срывщика осеннего сева, исключить из колхоза».

Ну, так и жил дед. Гришка его со старухой – в колхозе, а он – единоличником. Придет ночью от Чепеля, толкает старуху: «Эй ты, колхозница, подвинься! Развалилась! И на кровати уже места нету!»

Уже и политотдел у нас стал работать. Дошли до начальника разговоры про воскресшую кобылу, давай он ковырять. Так по ниточке и распутал клубок. Оказалось, что счетовод с нашим бригадиром не одну кобылу списали этак на волков. И быков и коров сплавляли в Ставропольщину на базары, а в актах писали – волки разорвали. Уже и посадили бригадира со счетоводом, а дед все не хлопочет, чтобы восстановили его.

Довелось нам на другую весну снова бороновать озимку.

Приезжает из МТС старший агроном. «Строго, говорит, запрещаю применять деревянные бороны. Железные бороны тяжелые, идут по загону ровно, спокойно и землю хорошо рыхлят, а деревянные – прыгают, как козы, корку не разделявают, а зеленой портят больше».

Пришел я до деда. «Твоя, говорю, правда. Зря тебя исключили. Пиши жалобу. Не выйдет дело в правлении, жалуйся в политотдел». Не пошел дед ни в политотдел, никуда – так крепко разобиделся.

Случилось, что начальник политотдела товарищ Павлов сам заметил деда.

Встретились они как-то на улице, спрашивает Павлов деда:

«Ну-как, дедушка, дела у вас в колхозе?» – «Дела – как по маслу, – отвечает дед, – в две смены работа идет!» – «Как в две смены?» – «Да так: одни спят, а другие мух от них отгоняют». А в то время у нас в колхозе, верно, не ладилось. Председатель надумал другой раз жениться, ездил по хуторам, невесту искал, полевод – каждый день на охоте, а бригадиры тем часом до Чепеля. Павлов поглядел этак на деда: «А ты ж чей будешь? Я в вашем колхозе всех стариков знаю, а тебя будто не видел ни разу...» Дед насупился. Привык он, что никто его речей в толк не берет, вот, думает, еще один такой: поговорит, посмеется и уедет. «А я, – отвечает, – не колхозник». – «Чего так? Ушел из колхоза, что ли?» – «Да... ушел. Не ко двору пришелся». И больше не стал объяснять про себя. «Может, ты, дед, лишенец?» – спрашивает Павлов. «Ну, ясно, лишенец, кулак. Триста голов скота имел!..»

Павлов и верит и не верит. Пришел в колхоз, спрашивает, так ли? Разъяснили ему: пастухом он был когда-то, триста коров в стаде ходило. Бедняк. При советской власти уже пару кляч заимел. С этой-то стороны у него все в порядке, а вот крикун большой и старорежимного закала. Павлов наморщил нос – он всегда, бывало,

когда чем-нибудь недоволен, сморщит этак нос и сопит, как еж. «Да, говорит, комсомольский возраст дед уже перерос. Нагляделся он на своем веку старого режима».

А когда встретился с ним в другой раз, то стал его опять расспрашивать: «Как же ты, дедушка, дальше думаешь? Чем жить-то будешь?» Дед за словом в карман не лезет. «Проживем! – говорит. – Куплю конячку и буду колхозную солому молотить».

Солому-то, дай бог им здоровья, хорошую бросают, колосу – пополам. С месяц помолочусь – на три года хлеба. Не пахавши, не сеявши!» Павлов наострил ухо. «А ну-ка, говорит, садись в машину, поедем со мной, покажешь, где так молотят».

Поехали. А у нас тогда на молотилках норму повернули не с тонны, а с гектара, ну, машинисты и гнали – лишь бы скорее. Целые снопы проскакивали. Павлов нагнал там всем жару.

«Завтра, говорит, опять приеду. Если еще хоть один колосок невымолоченный найду – плохо будет».

Едут обратно. Дед спрашивает: «А ты кто ж такой будешь, что распоряжаешься? Должно быть, этот самый политотдел?»

Павлов смеется. Он такой щуплый, кепка на затылке, не похож на начальство. «Этот самый», – говорит. «А ежели до старого приравнять, как оно будет – политотдел? – спрашивает дед. – Становой или же повыше?» – «Не знаю, – смеется Павлов, – как постарому, а только если еще заметишь какие непорядки – ступай прямо ко мне». Дед дня через два пошел поглядеть, как молотят, – нету в соломе ни зерна. Удивился. «Хм! Как сто бабок пошептало! Оно таки, значит, верно, неплохая эта штука – политотдел».

И так у них и повелось с Павловым. Придет дед к нему в политотдел, сядет в углу, нахмурится и бормочет: «Сукины дети, агроломы, нету на вас погибели!» А сам под ноги себе глядит, будто не до Павлова речь ведет. Павлов усмехается. «Ты что там, дед, бубнишь? Подсаживайся ближе». – «Да вот, говорит, опыты у нас делают, как прямо по сорнякам озимку сеять. Привез агроном эти пшеничники, или как они там у черта называются, а они только сверху землю ковыряют, а вглубь не лезут».

Весь сорняк как был, так и стоит невредимый!» Павлов – на машину и деда с собой.

Раз как-то спрашивает Павлов у деда: «Чего ж ты не подаешь заявление, чтобы приняли тебя обратно в колхоз? Я слышал: тебя исключили за то, что не давал бороновать озимку? Ну, это прошлое – уладим». – «А ну их к лешему! – говорит дед. – Буду сам хозяйевать. За чужой головой хоть и спокойнее жить, да тошно».

Павлов на этом не остановился. Вызвал раз деда в политотдел. «Хоть ты, говорит, Силантий Федорыч, и не колхозник, но даем тебе от политотдела задание. Мы в ваш колхоз посылаем лучшую тракторную бригаду. Машины там новой марки, гусеничные, каждая по двенадцать лемехов тянет. Так надо, чтоб эти машины работали как следует. Тебя мы прикрепляем к этой бригаде наблюдать за качеством. Побудешь там хоть с неделю, пока наладится. Все равно делать тебе сейчас нечего. Соломы такой, чтобы тебе молотить, уже нет». И смеется. Дед подумал. «Это ж как я буду? Вроде как в третьей бригаде Микита Редкокаша? Инспектором?» – «Вот, вот, так, как Никита». – «А что оно, слышь, это инспектор, ежели до старого приравнять, – десятский или же сотский?» Рассказал ему Павлов. Пошел дед в бригаду. А председатель наш носом крутит. «Зря. Раз – то, что не колхозник, а другое – с ветерком дед. Он там такого натворит, что и не расхлебаем». Павлов ему: «Ничего, поглядим».

На другой день бежит в политотдел рулевой Мишка Филатов с жалобой на деда: «Нехай рукам волю не дает! Это ему не старый режим! Ежели мер не примете – в суд подам!» Аж слезы у парня текут и шею бинтом обвязал. Приехал Павлов на место происшествия, спрашивает деда: «Что тут у тебя с ним вышло?» Дед плечами сдвигает: «Ничего не вышло. Галдел, галдел ему: держи, парень, ровнее – огрех бросаешь, подглыби средний плуг, мелко берет, – так ничего и не вышло. Пришлось ссадить с машины». – «Как же ты его ссадил, что парень жалуется – шея не ворочается?» – «Ну, а я ж то при чем? Я б, может, за рукав или за шиворот его взял, кабы он в рубашке был, а он голый, загорал против солнца. Пришлось взять его за шею». Да как вызверится на Мишку: «С-сукин сын! Весь загон испакостил – срамно плядеть! Небось, когда на своем тракторе пахал, так не бросал огрехов!» – «Как – на своем?» – спрашивает Павлов. «Да так. Свой трактор у них с батьком был.

И молотилка. Он с Вербового хутора, я их знаю, как облупленных».

Выгнал Павлов этого тракториста из бригады. А через неделю – снова жалоба на деда. Пришел в политотдел председатель «Красных бойцов». «Что за самоуправство! – говорит. – Нашу клетку запахал!» Тут и наш председатель был. «Вот видите! – говорит. – Я же предупреждал – наделает делов». Павлов посмеялся, а потом как взял в оборот председателя «Красных бойцов»: «Какой же ты руководитель, ежели земли своей не знаешь? Хозяева! Сто гектаров земли потеряли!» Вышло так: в наш участок заходит сапогом стогектарка «Красных бойцов».

Земля там хорошая, толока, лет пять не пахалась. А у них такой ералаш в то время был: бригадиры и полеводы каждый месяц менялись, участков своих не знали, первая бригада думала, что клетка эта второй бригады, а вторая тоже за свою не признавала. Ну, у деда и разгорелся глаз на эту землю. «Загоняй, ребята, – наша будет!» Аж когда вспахали, тогда только разглядели «Красные бойцы» – ихняя земля. Ну, клетку ту им вернули, они нам за нее после отпахали. Деду Павлов сказал:

«Больше так не делай. Не к помещику за межу залез, а в такой же колхоз». А «Красным бойцам» потом проходу не давал. На каждом собрании, бывало, издевался: «Ну-ка, расскажите, хозяева премилые, как вас дед с землей объегорил?»

Вот так и пошло. Посылал Павлов деда к тракторам на неделю, а пробыл он там до конца пахоты. До Чепеля совсем дорогу забыл. Приезжает как-то Павлов, а дед суетится, мотается по полю, загонки для тракторов размечает, ругается с полеводом: почему сорняки на участке не выжег? Спрашивает Павлов деда: «Ну, а ежели так вот, как сейчас, не тошно будет в колхозе?» Дед подумал, усмехнулся: «Так-то оно вроде ничего...»

Зазвал его Павлов в вагончик, сам написал заявление, дед подписался. А как узнал Павлов в точности, за что исключили деда, про деревянную борону, рассердился, ни разу не видали его таким злым. «Шляпа! – говорит нашему председателю. – Жуликов под носом у себя держал, а деда какого выгнал!»

Так с тех пор и работает дед инспектором в нашей бригаде.

Недавно было – ячмень уже начинали косить, – приходит в степь, под глазами синяки, нос распух, будто пчелы его покусали, ухо в крови. Я перепугался: «Где это тебя угостили?» – «У Чепеля», –

отвечает. «Чего ж тебя туда занесло? Опять до рюмки потянуло?» – «Пошел ты к черту! – говорит. – До рюмки! Ишь догадливый какой!» Обиделся и разговаривать не стал.

Вечером уже, когда отсердился малость, рассказал: «Пришел, говорит, вчера до Чепеля, а там пир горой – человек двадцать собралось. И из нашей бригады сидят трое. „Что ж вы, говорю, делаете, бандиты? Колхоз уже косолицу начал, а вы тут саботаж разводите?“ Чепель поднимается: „А что ты, говорит, за шишка такая? Тебе какое дело?“ – да за грудки меня. Я не стерпел, Чепелю – в ухо! Чепель развернулся да меня! Я его – коленом в живот. Кабы один на один – умолотил бы, да вступились там за него, я и ушел от греха прочь».

Когда уезжал от нас Павлов – пришел к нам в колхоз и говорит председателю: «Этой своей ошибки до смерти не забывай». И зовет деда: «Ну, иди сюда, дед Ошибка, попрощаемся».

Так с тех пор и пошло – дед Ошибка...

Василий Павлович Ильенков

Митрофан и Захарка

Солнце уже спряталось за березовую рощу, когда Митрофан Рыбаков переезжал вброд Кострю. Лошадь напряженно вытянула шею, пытаясь достать воду вздрагивающими от жажды губами, но повод был подвязан высоко, чересседельник давил, и она пошла прямо в черную и тихую плубину, пока губы ее не коснулись воды.

– Н-но, черт! – крикнул Митрофан, дергая вожжу, но лошадь долго и жадно пила, не отрываясь.

Под телегой журчала вода. Знакомо пахло осокой, и в этом запахе чувствовалось холодное дыхание осени. Напившись, лошадь круто свернула вправо и бодро вынесла телегу на песчаный берег.

Дальше дорога шла в гору. Митрофан слез с телеги и пошел сзади, раздумывая о предстоящем разговоре с женой.

Целый день он бродил по городскому рынку, подыскивая черную нетель – другой масти жена не хотела. В самый последний час привели широкогрудую с черной лоснящейся шерстью нетель, но крестьянин заломил за нее тысячу рублей, а у Митрофана было только шестьсот. Он погладил рукой ее сытую спину и, вконец расстроенный, пошел запрягать. Заводя лошадь в оглобли, он ударил ее дугой по ногам, чего с ним никогда не случалось...

Шумно и неровно дыша, кобыла тащила телегу, под колесами шипел сыпучий белый песок. Вдруг телега подпрыгнула, словно наехав на камень, и Митрофан увидел на дороге рыжую кожаную сумку, перевязанную ремешком, – ту самую, с которой почтальон Тарас по воскресеньям ездил в город.

«Задремал, видно, или выпил лишку», – подумал Митрофан и бросил сумку на телегу. Хлестнув лошадь, он на бегу вскочил на грядку телеги.

До деревни оставалось не больше километра, уже был слышен лай собак. Кобыла, чуя близость двора, бежала веселой рысью, а Митрофан сидел сгорбившись и думал о том, что вот сейчас его встретит упреками жена, – она, верно, и хлев приготовила для нетели.

Лес, налитый сумерками, потемнел. Покачиваясь, скрипела одинокая береза, и от этого скрипа, протяжного и унылого, у

Митрофана защемило сердце. Охваченный беспокойством, он настороженно оглянулся вокруг. Взгляд его остановился на Тарасовой сумке, и Митрофану вдруг нестерпимо захотелось раскрыть ее. Сопrotивляясь своему желанию, Митрофан прикрыл ее сеном, но на выбоинах сено сползало, и сумка снова, дразня и соблазняя, приковывала к себе глаза.

– Вот бес! – усмехнулся Митрофан, засовывая сумку глубоко под сиденье.

Вдали показались деревенские крыши. Лошадь заржала, помахивая головой и ускоряя бег, но Митрофан вдруг рванул вожжу и повернул влево, в кусты. Лошадь резко остановилась, упершись передними ногами, голова ее почти выскочила из хомута.

– Но... дьявол! – прошипел Митрофан, но кобыла упрячилась, не хотела сворачивать и недоуменно косила налившиеся кровью глаза.

Митрофан злобно ударил ее кнутом, и телега, чуть не опрокинувшись на повороте, заскакала по кочкам, цепляясь колесами за кусты. Гибкая орешина обожгла лицо Митрофана, но он, не чувствуя боли, гнал лошадь все дальше и дальше в кусты, пока она не наткнулась грудью на изгородь...

Узел на ремешке сумки, затянутый каким-то сложным, незнакомым способом, не поддавался усилиям внезапно ослабевших рук. Скрипнув зубами, Митрофан разорвал ремешок и высыпал на телегу газеты и письма. В маленьком холщовом карманчике внутри сумки Митрофан нащупал тугой сверток, аккуратно связанный шнурком от ботинок. Деньги! Он сунул сверток за пазуху и, кое-как сложив в сумку газеты и письма, погнал лошадь в сторону от деревни.

Митрофану было жарко, хотя дул злой сентябрьский ветер, лицо его горело, словно ошпаренное кипятком. Он тянул правую вожжу, хотя нужно было ехать влево, домой, – кто-то другой распоряжался им, приказывал въехать в деревню с противоположной стороны, и Митрофан безропотно и радостно подчинялся этому другому, властному и хитрому.

«Верно, и Захарка так делает... все воры так делают», – подумал он и испугался этой мысли.

Митрофан никогда не крал. Случалось ли ему найти подкову, или брусочницу, или пеньковое путо, он всегда возвращал их владельцу. Он считал, что вор – последний человек и его надо убивать. Однажды

– дело это было давно – поймали конокрада, били кольями и цепами, а Митрофан ударил его кованым каблуком по виску, и не было никакой жалости, когда конокрад замычал и вытянулся в предсмертных судорогах.

Митрофан презирал рыжего Захарку, когда-то таскавшего у баб яйца, холсты, кур. И хотя Захарка вступил в колхозу всенародно поклялся, что воровать больше не будет, Митрофан не верил ему, убежденный, что сын конокрада несет в себе унаследованное от отца воровское начало. Он был непоколебимо уверен, что Захарка, а не кто-нибудь другой – ворует огурцы и капусту с колхозного огорода.

И вот теперь кто-то невидимый, сидевший рядом, приказывал Митрофану въехать в деревню впотьмах и непременно с другого конца – от больницы, а не от города, и Митрофан послушно кружил по темному полю.

В тревожном этом кружении по пустому холодному полю было что-то заманчиво влекущее, чему Митрофан сопротивлялся и против чего невозможно было устоять, – вот так отец его отталкивал одной рукой стакан с водкой, зная, что в нем яд губительного запоя, и в то же время удерживал его другой, жадной, трясущейся рукой.

К дому Митрофан подъехал совсем хворый.

У ворот его встретил сосед Карп и сообщил о несчастье, постигшем Тараса.

– А в сумке три тысячи наших денег, колхозных, да капусту перевели нам из города. Вот тебе и заработали! А может, и хапнул? В душу не влезешь... Ее каждый на замке держит...

Карп помолчал и тихо добавил:

– Поспытать бы его...

Митрофан вздрогнул.

– Ты это брось. Не виноват Тарас!..

– А ты почему знаешь?

Митрофан продолжал сидеть на телеге, чувствуя слабость во всем теле. В избе зажгли лампу, и желтый свет ее упал слева на лицо Митрофана.

– Занедужилось, что ли? – спросил Карп, увидев его ввалившиеся глаза.

– Совсем разломило, – немощным голосом ответил Митрофан. – В больницу ездил... Доктор градусник поставил... Тридцать три

градуса...

Карп посоветовал сделать на ночь припарку из льняного семени на грудь.

– А говорили, ты в город поехал, нетель покупать.

«Разболтала всем, дура!» – раздраженно подумал Митрофан о жене.

Спрятав сумку в солому, он велел сынишке отвести лошадь на колхозную конюшню, а сам забрался на печь.

– Не купил? – спросила жена, сердито гремя заслонкой у печи.

– А я в город-то не доехал... Дорогой затрясло меня, зуб на зуб не попадает... Свернул в больницу, да ждать долго пришлось – больных много было... – расслабленно проговорил Митрофан. – Нетель я тебе куплю, об этом не тревожься. В субботу поеду опять и приведу... Никаких денег не пожалею...

Жена зашивала в мешочек льняное семя.

Успокоенная, что ее желание будет исполнено, она рассказывала не торопясь деревенские новости:

– Баба Тарасова головой об стену бьется, ребятишки ревут, а сам Тарас кинулся верхом сумку искать. Да в потемках разве найдешь? Сказывают, в сумке-то три с половиной тысячи... Кто и найдет – не отдаст...

– Это уж так, и пословица говорит: «Что с возу упало, то пропало», – сказал Митрофан, вдруг повеселев.

– Перед войной барыня сретенская так-то вот деньги утерjala. Пять тысяч. На тройке ехала с кучером, а кони напугались чего-то и понесли по кустам. Барыня в ров опрокинулась, ногу ей колесом переехало... Скорей домой, а там – хватать! – сумочки-то и нет. Объявила по всем деревням: кто, мол, найдет, тому полсотни рублей награды... Я девчонкой была. Все кинулись искать, и я три дня по кустам ходила, все ноги ободрала...

Так и не нашла.

Митрофан не раз слышал этот рассказ про сретенскую барыню, однако старался не пропустить ни одного слова, даже голову свесил с печи.

– А через год слух прошел по деревне – Харитоновы стали с мясом варить... Потом Харитон сапоги купил. Стало быть, нечистое дело... Стали дознаваться, заметили, что Харитон у краснорядца

новую четвертную бумажку разменял, бабе полушалонок купил... От народа не укроешься, у него сколько глаз!

Только Харитон хитро дело повел, шику никакого не задавал, а выждет год – коровку купит, а еще через год – сбрую, а там глядишь – молотилку... А не пошло ему впрок богатство – раскулачили... Теперь, может, где в Сибири мается и те деньги проклинает...

Поставив припарку, жена ушла в амбар к детям. Митрофан лежал и думал, что Харитон поступил правильно: деньги господские, у мужиков награбленные, – почему и не взять?

«Я бы тоже взял, – решил он. – То не воровство, а счастье».

Он ощупал на груди пачку денег и вспомнил, что эти бумажки все старые, мятые, потертые – видно, много по рукам ходили...

Когда приходилось платить налог, Митрофан сам всегда выбирал бумажки какие похуже, а новенькие, хрустящие, оставлял себе. Верно, уж так человек устроен: что получше – себе, а что похуже – другим... Жулик, видно, в каждом сидит...

«Словно век крал, – подумал он, вспоминая, как кружил по полевым дорогам, врал Карпу, жене, разыгрывал больного. – И откуда это берется у человека? Бес мутит, не иначе... Говорят, нет беса, а вот он и проявился...

Дорогую нетель покупать нельзя – сейчас же пойдет разговор: откуда у Митрофана деньги такие? В колхозе знают, кто сколько заработал... не скроешься... Придется выждать год-другой, а потом потихоньку тратить, как Харитон делал. Но и через год и через два от народа не спрячешься... Будут подозревать, выслеживать, как сам я выслеживал Захарку. Какая же это жизнь?..»

Сбросив припарку, тулуп, Митрофан слез с печи и сел к окну. Над деревней висела тревожная луна. Лыдисто поблескивали окна в избах, через пруд легла ровная сверкающая дорожка. За прудом чернела конусообразная силосная башня, и Митрофану казалось, что-то-то большой стоит над деревней, охраняя ее ранний осенний сон.

Вот уже три года, как Митрофан сдал в колхоз лошадь, вторую корову, сбрую, телегу-все, что не давало ему спать по ночам, заставляло вздрагивать при каждом малейшем шорохе.

В темные, ненастные ночи мерещилось Митрофану что Захарка лезет через забор, подбирается к его богатству. Он выскакивал в сени, готовый защищать свое добро.

Расставшись с хозяйством, он почувствовал успокоение, на щеках его заиграл румянец.

И вот теперь Митрофан снова ощутил прежнюю мучительную тревогу. Ему казалось, что кто-то ходит вокруг двора, подсматривает. Он прислушался – все было тихо.

«Не вор же я. Нашел на дороге...» – подумал Митрофан.

Он зябко поежился и снова забрался на печь.

«Нет, вор...»

Кто-то постучал в окно.

– Митрофан Селиверстыч, спишь, что ль? – слышался знакомый вкрадчивый тенорок Захарки.

Митрофан соскочил с печки, подошел к окну, отодвинул створку. Захарка стоял с фонарем.

– Тараска сумку обронил, слышал? – спросил он.

– Сказывали...

– Ты в город ездил... Дай, думаю, зайду. Может, тебя кто на лошади обогнал...

«Все знают, что я ездил в город, – встревожился Митрофан. – Распытывает... хитрый... Отдам сумку, – решил он. – Но как ее теперь возвращать, когда сам же говорил всем, что ездил не в город, а в больницу?»

– А тебе чего ж беспокоиться? – спросил он, злобясь на себя.

– Да ведь наши капустные деньги в сумке! Три тысячи.

Как не тревожиться? – удивленно сказал Захарка. – Выходит, мы зазря целое лето на огороде работали? Мало ли жадных людей. Найдет сумку – и прощай!

– А сам нашел бы, поди, и не заикнулся б...

– Я-а?! Вот провалиться! Что ты, Митрофан Селиверстыч?! – обиженно воскликнул Захарка. – Да разве такие деньги можно? Я тому человеку голову проломлю! Я...

– Рассказывай сказки, – подзадоривал Митрофан.

– Я это давно кончил, Митрофан Селиверстыч! Истин бог! – сказал Захарка. Он поставил фонарь на землю и перекрестился. – Третий год в колхозе... честно... праведно... Ни одной травинки чужой не тронул...

«Как же теперь вернуть сумку? – раздумывал Митрофан. – Одно остается – подкинуть Тарасу...»

– Зарок себе дал, Митрофан Селиверстыч, – взволнованно говорил Захарка. – А случись мне ехать сегодня из города, всякий бы заподозрил... На тебя-то не подумают...

– А ты куда с фонарем?

– Хочу по дороге пройти, поискать, – ответил Захарка и медленно зашагал по улице.

Митрофан в мучительном раздумье смотрел на уплывающий желтенький огонек фонаря.

Нет, в нем, Митрофане, тоже сидит вор... Притаившись, он жил в нем незаметно, подстерегая, выжидая удобного случая...

Этот вор хитрее и опасней Захарки: пренебрегая подковой, чужим снопом, бруском для точки косы, притворяясь неподкупным и честным, этот большой вор терпеливо ждал, пока Тарас не обронит сумку с деньгами... А если завтра случится найти не три тысячи, а сто тысяч? Может быть, тогда заговорит самый крупный – третий вор, который пока молчит?

Митрофан быстро натянул валенки, полушубок и вышел во двор. Он вытащил из соломы сумку, сунул в нее пачку денег, теплую, впитавшую в себя жар его тела, и побежал догонять Захарку. Он чувствовал себя легко, будто освободился от тяжелой ноши. «Я тебя изловлю сейчас... Узнаю, какой ты есть праведник», – злорадно подумал он, завидев вдали мерцающий огонек фонаря.

Бросив сумку в канаву, возле дороги, он притаился за кустом. Огонек, покачиваясь, мигнул и исчез.

«На луг свернул», – догадался Митрофан. Его трясла лихорадка. Он не сомневался, что Захарка, найдя сумку, присвоит ее себе, он желал, чтобы и в Захарке проснулся большой вор.

Тогда Митрофан выйдет из-за куста и крикнет: «Стой, Захарка, вор!»

Ждать пришлось долго. Митрофан остыл и начал дрожать.

Наконец из-за поворота показался огонек и медленно поплыл навстречу, как бы ощупывая дорогу.

«Стал бы он так для Тараски стараться», – усмехнулся Митрофан, предвкушая торжество. Захарка прошел совсем близко, Митрофан видел даже новые круглые заплатки на его стареньком полушубке. Огонек замер у канавы и вдруг стремительно покатился по дороге в деревню.

– Стой! – сдавленно крикнул Митрофан, но Захарка, видимо, оглох от радости.

Митрофан погнался за ним, стараясь не упустить из виду тающую желтую точку фонаря, но споткнулся, упал, а когда поднялся, огонька не было.

«Молчком бежит... стало быть, спер!» – обрадованно подумал Митрофан и тотчас же услышал звонкий крик Захарки:

– Нашел! Нашел!!

На деревне залаяли собаки, заскрипели на ржавых петлях двери. Люди проснулись, разбуженные пронзительным криком Захарки.

Когда Митрофан, запыхавшись, ввалился в избу Тараса, она уже была полна народа. Маленький, рыжий, с зелеными глазками, Захарка вертелся по избе и, показывая всем сумку, бессвязно лепетал:

– Возле барсучьих нор... Братцы! Канава там... У меня аж сердце захолонуло!

– Хорошо, что на честного человека попала, а то поминай как звали, – сказал Карп.

В избу, пошатываясь, вошел Тарас и рухнул на лавку.

– Получите, Тарас Васильевич! – торжественно проговорил Захарка, передавая сумку.

Тарас упал на колени и глухо сказал:

– От позора спас... Век не забуду!

– Коммунистически, – с достоинством произнес Захарка, заикаясь от волнения. – У нас в колхозе нет воров. – И посмотрел на Митрофана: – Верно, Митрофан Селиверстыч?

Митрофан смущенно сдернул шапку и низко поклонился Захарке.

Александр Серафимович Серафимович

Бригадир

Мы сидим с ним в горячей голубоватой тени наметанного скирда. Вдали недвижно стоят два комбайна. Земля голубовато парит. Комбайнеры, трактористы – кто раскинулся на еще сыроватой земле и тяжело, лицом вниз, спит, кто, полуголый, латает рубаху. Ждут, пока подсохнет хлеб после бурного ливня, чтоб опять закипела работа.

У него свислые усы и ослепительные зубы.

А на бронзовом лице навсегда застыла не то непотухающая дума, не то навеки неизбывное воспоминание. Он – крепкий, умелый, никому не спускающий бригадир.

– Так что, товарищ Сарахвимыч, зубами от смерти отодрался.

Я глянул, зубы у него блеснули из-под усов.

А лицо все такое же твердо застывшее, и никогда не смеющиеся глаза. Ему под пятьдесят.

– Как это? Когда?

Он поглядел вдаль. Степь все так же голубовато дрожала и волновалась.

– В восемнадцатом... Это каким оборотом...

Усть-Медведицкую станицу белые брали. Навалились с Усть-Хопра. Дон разлился, наши не могут подмоги подкинуть. Попы на колокольне Воскресенской церкви пулеметы вправили, белые строчат оттель. Из-под пирамиды ихняя батарея глушит.

Наши на пароме ды на баркасах на ту сторону вдарились. А так и видать, ложатся, ложатся головы, и винтовки на пароме, как подкашивает, – с колокольни-то далече берет. Под энтим берегом не выдержали наши, стали сигать в воду. Много унесло.

А какие добрались до земли, мокрые, без винтовок, побегли.

Берег открытый, как на ладони, – тоже много полегло.

Нас, человек восемьдесят, за станицей к Брехунье прижали, хотели садами отступить. Да сам знаешь, сады в половодье до краев заливают. Некуда податься. Прикладами отбивались. Мне в голову приклад пришелся. Память отшибло. Очунелся, гляжу:

на мельнице лежу, и товарищи, – паровая мукомольная на горе, возле кладбищенской церкви. Белые хлопчут округ нас, раздевают

догола, вяжут проволокой парами рука к руке. А ночь.

Ну, думаю, стало, решать нас будут. Наши тоже видят: конец приходит. Которые молчат, кто матюкается, а есть и плачут.

Чуть посерело, стали выводить человек по двадцать. Слушаем. Застрочил пулемет, а потом замолчал. Екнуло... Эх! Ну, все одно. Тихо стало. Вошли белые, одни. Вывели другую партию.

Опять протрещал пулемет. Так – три раза. Наконец того подошли к нам с товарищем: Мы в последней партии. Товарищ ослаб, – в ногу раненный был; рана нечижолая, да крови потерял много. Вывели. Ночь хоть глаз коли. Только на бугре черная церковь признается, – небо за бугром сереть стало, вот и видать. Товарищ на руке почитай повис; тяну его на себе.

А сзади белые казаки прикладами подбодряют. Подошли, стали.

Попробовал ногой, чую, обрыв, – это пониже кирпичного завода. Холодный барак. Тут пулемет заработал. Я как рвану товарища, мы и полетели. Вдарилась, аж в голове загудело; кругом стон, крики, хрип. А на нас все глину сверху сыплют. Я это все голову кверху подымаю, все подымаю, чтоб йе засыпало. Слышу, голос наверху, – должно, офицер:

– Черт с ними, бросай. Завтра досыпем ды притопчем, чтоб не воняли, собаки.

Слыхать – пошли.

Никто не стонет. А все видней да видней. Отгреб с себя глину, стал товарища тащить, а он не ворочается, и рука, которая к моей прихвачена, холодеет. Сгреб с его лица глину. «Ваня, говорю, а, Ваня!» Молчит. Ну, пропал! Подтянул я его руку к рту, стал грызть проволоку, прямо, как кобель. Грыз, грыз, в роте солоно стало, полон кровищи. А я все грызу, а над бараком^[5] все светлей ды светлей. Видать, обрыв. По дну глина насыпана, иде рука, иде нога торчит. А я прямо озверинился, рву зубами. Да проткнуло концом щеку, – разошлась проволока.

Отвертел с руки, – слободный! Поднялся, шибануло, замлело во мне все. Полез по глине, по товарищам, а они холодные. Попробовал вылезть по обрыву, – прямо стена, сорвался. Ну, заспешил по бараку, а над бараком все светлей ды светлей... Кочета кричат, собаки брешут. Что есть силы бегу. Уж близко к Дону.

Глядь, баба идет с ведрами к колодезю. Как глянула – бряк с коромысла ведра: человек не в себе, – в чем мать родила. Заголосила: «Ой, нечистый дух!» Ды вдарилась бежать. А я – себе.

Прибег к Дону, бултыхнулся, поплыл. Полая вода холодная, несет; не успел оглянуться, далече пронесло, станицы уж не видать. Ну, ды это хорошо: людей близко никого, а только слабнуть стал, насили-насили огребаюсь одной рукой, – другая от проволоки занемела. Солнце над лесом поднялось. Эх, увидит кто, – крышка! Выполз на карачках ды в лес.

До ночи лежал, все руку тер, – почернела. Ну, ночью по лесу крадучись пошел. Каждую минуту остановишься, послушаешь и опять. Два дня шел, не ел, только пил. На третьи сутки шататься стал, в голове все звон; думаю: «Аи заблудился». В церкви звонят. Под утро вышел из лесу; глядь – хата. Девка увидала, кинулась в дверь, щеколдой хлопнула. Вышел мужик, пронзительный глаз, такой сурьезный, черная борода. Долго глядел: «Ты, говорит, божий человек, шо ж в одной коже блукаешь, как Адам? Дэ ж тоби Ева?»

Я молчу. Ну, думаю, один конец. «Два дня, говорю, не ел».

Он постоял, пошел в хату. Ну, думаю, пошел за топором али за вилами, – в станицу погонит. Выходит, несет ножик да мешок.

А я попятился: «Неужто в мешок будет загонять?» – «На, говорит, режь углы, для шеи вырежь дырню. Ишь, говорит, всю шкуру ободрал в лиси, як свежаванный баран, увесь в кровище». Вырезал я дыри, надел мешок, а он девке велел краюху отрезать. Принесла она полхлеба, фартуком закрывается, а сама вполглаза на меня дивуется. А мужик говорит: «Козаки из станицы конные швыдко по шляху пробигли, всэ якого-то нидоризанного шукалы. Ты, чоловіче, переправься на той бок Медведища, тай тягны до чугулки, – красные пид Себряковой хронт держуть». Ну, к ночи я и к своим прибился. Отлежался в лазарете, а там – наступление. Попы опять с колокольни из пулеметов. Из саду батарея бьет. Дон-то давно обмелел, мы его с маху. Ворвались в станицу, белые наутек, как мы весной. Ну, я минутку улучил, в свой курень забег, отворил дверь, ды... ды...

Что же это, брат ты мой!..

Он поднялся, постоял, как дуб, постоял, прямой, широкоплечий, потом сел. Я быстро глянул на его лицо. Оно было спокойное и неподвижно-бронзовое. Он сказал:

– Отворил в сенцы дверь, а на пороге жена лежит, юбки задраты, ноги голые, одна рука отрубленная... А сыны в кухне лежать, одному – девятый годок, а старшему – тринадцатый.

Соседи собрались, рассказывают – мучили их все время, с той поры как я убог, а когда мы ворвались в станицу, их и прикончили. С той поры пленных не брал. Сотней командовал, ссадили из-за этого самого. Два раза под суд отдавали, расстрелять хотели; нет, не брал пленных!

Он помолчал и спокойно сказал:

– Теперича у меня другая семья...

Долго смотрел на край степи, дрожавшей знойной дрожью, и вдруг оглушительно заревел и поднялся, – мне показалось – земля подалась под ногами:

– Ахвонька-а!! распротак тебе перетак... Опять за свое?!

Зараз запишу штраф... – и полез за записной книжкой. – Иде ж она?

Афонька, молодой парень, тракторист, черный как бес, от масла, сажи и металла, – только глаза и зубы блеснули, – торопливо затоптал черной босой ногой сигарку, подошел и, ухмыляясь белыми зубами, сказал просительно:

– Не пиши, Иван Семеныч, и так в штрафах весь, как в репьях. На получке ничего не достанется.

А тот опять загремел на всю степь:

– Кто курить будет на стану, разорву напополам!..

– Ну, прослабишься... – отозвался комбайнер, голый до пояса, и кожа блестела потом, чернотой, – кругом мокрота, а он...

– И тебе штраф!.. – загремело по степи. – Не сбивай народ.

Огромный, бронзовый, пошел в будку за книжкой. Трактористы, комбайнеры столпились.

– Вот сатана зубастая! Сам же видит: кругом парит, все волглое, и работать нельзя, – хлеб полег...

Бригадир вернулся.

– Марш по машинам! Проверить на ходу!.. – И, обернувшись, закричал стряпухе:

– Чтоб обед был зараз готов, на дуб солнце подымается, работать начнем, – и пошел, такой же стройно-тяжелый, спокойный, за расхोдившимися к черневшим машинам трактористами.

– У-у, сатана!.. – сказала стряпуха и поправила платок.

И вдруг ее потная и красная физиономия разъехалась до ушей.

– А осень придет, мы его качаем. Вот в прошлом году качали, ды чижолый какой...

– За что же качали?

– А как же? У всех трактористов премия за экономию горючего. У людей только приступают к уборке, а мы кончаем.

У людей – потеря хлеба, а мы зернышка не упустили. Как же, качали! Я все руки пообломала – чижолый, окаянный, как медведь...

Она глянула на подходившего от машин бригадира, сердито поправила платок и побежала к печке под навесом, пробурчав:

– У-у, зубастый черт...

Бригадир сел на прежнее место и молчал, вслушиваясь, как пробно ревели моторы на месте. Потом сказал:

– Несознательная публика... Хлеб подсох, можно начинать.

Опять помолчал и сказал спокойно:

– Вот и я такой несознательный был. Веришь, Сарахвимыч, как закрутились колхозы, я ведь не думал, что работать лучше будет, машины... Думал: «Наши деды, отцы без колхозов жили, и не хуже жили». Но, между прочим, в колхоз вступил. А почему? А все потому же: все ждал схватиться с беляками. Даром что в Черное море их спихнули, а все думалось: как бы опять не пришли они к нам с тамошней буржуазией. А у мене замест мобилизации – колхоз. Прямо бери-видал какие молодцы! Сажай на конь и в атаку. А то это покеда мобилизация, да сборы, да съедутся, много воды утекеть. А тут сразу все готово: мобилизованы, – колхоз...

Он вздохнул, в первый раз вздохнул:

– Несознательный был. Теперь все по-иному...

И, помолчав, глухо скаэгал:

– У меня теперича семья другая.

Поднялся, стройный, тяжелый:

– Пообедали. Ишь заревели. Пойтить...

И пошел. Жнивье хрустело. Голубоватость над степью пропала.

Струился зной.

Андрей Платонович Платонов

Река Потудань

Трава опять отросла по набитым грунтовыми дорогам гражданской войны, потому что война прекратилась. В мире, по губерниям снова стало тихо и малоллюдно: некоторые люди умерли в боях, многие лечились от ран и отдыхали у родных, забывая в долгих снах тяжелую работу войны, а кое-кто из демобилизованных еще не успел вернуться домой и шел теперь в старой шинели, с походной сумкой, в мягком шлеме или овечьей шапке, – шел по густой, незнакомой траве, которую раньше не было времени видеть, а может быть – она просто была затоптана походами и не росла тогда. Они шли с обмершим, удивленным сердцем, снова узнавая поля и деревни, расположенные в окрестности по их дороге; душа их уже переменялась в мучении войны, в болезнях и в счастье победы, – они шли теперь жить точно впервые, смутно помня себя, какими они были три-четыре года назад, потому что они превратились совсем в других людей – они выросли от возраста и поумнели, они стали терпеливей и почувствовали внутри себя великую всемирную надежду, которая сейчас стала идеей их пока еще небольшой жизни, не имевшей ясной цели и назначения до гражданской войны.

Поздним летом возвращались домой последние демобилизованные красноармейцы. Они задержались по трудовым армиям, где занимались разным незнакомым ремеслом и тосковали, и лишь теперь им велели идти домой к своей и общей жизни.

По взгорью, что далеко простерто над рекою Потудань, уже вторые сутки шел ко двору, в малоизвестный уездный город, бывший красноармеец Никита Фирсов. Это был человек лет двадцати пяти от роду, со скромным, как бы постоянно опечаленным лицом, – ко это выражение его лица происходило, может быть, не от грусти, а от сдержанной доброты характера либо от обычной сосредоточенности молодости. Светлые, давно не стриженные волосы его опускались из-под шапки на уши, большие серые глаза глядели с угрюмым напряжением в спокойную, скучную природу однообразной страны, точно пешеход был неместный.

В полдень Никита Фирсов прилег около маленького ручья, Ткущего из родника по дну балки в Потудань. И пеший человек дремал на земле под солнцем, в сентябрьской траве, уже уставшей расти здесь с давней весны. Теплота жизни словно потемнела в нем, и Фирсов уснул в тишине глухого места. Насекомые лета а над ним, плыла паутина, какой-то бродяга-человек переступил и рез него и, не тронув спящего, не заинтересовавшись им, пошёл' дальше по своим делам. Пыль лета и долгого бездождия высок стояла в воздухе, сделав более неясным и слабым небесный свет но все равно время мира, как обычно, шло вдалеке вослед солнцу... Вдруг Фирсов поднялся и сел, тяжело, испуганно дыша, точно он запалился в невидимом беге и борьбе. Ему приснился страшный сон, что его душит своею горячей шерстью маленькое, упитанное животное, вроде полевого зверька, откормившегося чистой пшеницей. Это животное, взмокая потом от усилия и жадности, залезло спящему в рот, в горло, стараясь пробраться цепкими лапками в самую середину его души, чтобы сжечь его дыхание. Задохнувшись во сне, Фирсов хотел вскрикнуть, побежать, но зверек самостоятельно вырвался из него, слепой, жалкий, сам напуганный и дрожащий, и скрылся в темноте своей ночи.

Фирсов умылся в ручье и прополоскал рот, а потом пошел скорее дальше; дом его отца уже был близко, и к вечеру можно успеть дойти до него.

Как только смерклось, Фирсов увидел свою родину в смутной, начавшейся ночи. То было покатое, медленное нагорье, подымавшееся от берегов Потудани к ржаным, возвышенным полям. На этом нагорье расположился небольшой город, почти невидимый сейчас благодаря темноте. Ни одного огня не горело там.

Отец Никиты Фирсова спал сейчас: он лег, как только вернулся с работы, когда еще солнце не зашло. Он жил в одиночестве, жена его давно умерла, два сына исчезли на империалистической войне, а последний сын, Никита, был на гражданской: он, может быть, еще вернется, думал про последнего сына отец, гражданская война идет близко около домов и по дворам, и стрельбы там меньше, чем на империалистической. Спал отец помногу – с вечерней зари до утренней, – иначе, если не спать, он начинал думать разные мысли, воображать забытое, и сердце его мучилось в тоске по утраченным

сыновьям, в печали по своей скучно прошедшей жизни. С утра он сразу уходил в мастерскую крестьянской мебели, где он уже много лет работал столяром, – и там, среди работы, ему было более терпимо, он забывался. Но к вечеру ему делалось хуже в душе, и, вернувшись на квартиру, в одну комнату, он поскорее, почти в испуге, засыпал до завтрашнего утра; ему и керосин был не нужен. А на рассвете мухи начинали кусать его в лысину, старик просыпался и долго, помаленьку, бережно одевался, обувался, умывался, вздыхал, топтался, убирал комнату, бормотал сам с собою, выходил наружу, смотрел там погоду и возвращался – лишь бы потратить ненужное время, что оставалось до начала работы в мастерской крестьянской мебели.

В нынешнюю ночь отец Никиты Фирсова спал, как обычно, по необходимости и от усталости. Сверчок, уже которое лето, жил себе в завалинке дома и напевал оттуда в вечернее время – не то это был тот же самый сверчок, что и в позапрошлом лето, не то внук его. Никита подошел к завалинке и постучал в окошко отца; сверчок умолк на время, словно он прислушивался, кто это пришел

– незнакомый, поздний человек. Отец слез с деревянной старой кровати, на которой он спал еще с покойной матерью всех своих сыновей, и сам Никита родился когда-то на этой же кровати. Старый, худой человек был сейчас в подштанниках, от долгой носки и стирки они сели и сузились, поэтому приходились ему только до колен. Отец близко прислонился к оконному стеклу и глядел оттуда на сына. Он уже увидел, узнал своего сына, но все еще смотрел и смотрел на него, желая наглядеться. Потом он побежал, небольшой и тощий, как мальчик, кругом через сени и двор – отворять запертую на ночь калитку.

Никита вошел в старую комнату, с лежанкой, низким потолком, с одним маленьким окном на улицу. Здесь пахло тем же запахом, что и в детстве, что и три года назад, когда он ушел на войну; даже запах материнского подола еще чувствовался тут – в единственном месте на всем свете. Никита снял сумку и шапку, медленно разделся и сел на кровать. Отец все время стоял перед ним, босой и в подштанниках, не смея еще ни поздороваться как следует, ни заговорить.

– Ну как там буржуи и кадеты? – спросил он немного погодя. – Всех их побили иль еще маленько осталось?

– Да нет, почти всех, – сказал сын.

Отец кратко, но серьезно задумался: все-таки ведь целый класс умертвили, это большая работа была.

– Ну да, они же квелые! – сообщил старик про буржуев. – Чего они могут, они только даром жить привыкли...

Никита встал перед отцом, он был теперь выше его головы на полторы. Старик молчал около сына в скромном недоумении своей любви к нему. Никита положил руку на голову отца и привлек его к себе на грудь. Старый человек прислонился к сыну и начал часто, глубоко дышать, словно он пришел к своему отдыху.

На одной улице того же города, выходявшей прямо в поле, стоял деревянный дом с зелеными ставнями. В этом доме жила когда-то вдовья старушка, учительница городского училища; вместе с нею жили ее дети – сын, мальчик лет десяти, и дочь, белокурая девочка Люба, пятнадцати лет.

Отец Никиты Фирсова хотел несколько лет тому назад жениться на вдовой учительнице, но вскоре сам оставил свое намерение. Два раза он брал с собою в гости к учительнице Никиту, тогда еще мальчика, и Никита видел там задумчивую девочку Любу, которая сидела и читала книжки, не обращая внимания на чужих гостей.

Старая учительница угощала столяра чаем с сухарями и говорила что-то о просвещении народного ума и о ремонте школьных печей. Отец Никиты сидел все время молча; он стеснялся, кричал, кашлял и курил сигарки, а потом с робостью пил чай из блюдца, не трогая сухарей, потому что, дескать, давно уже сыт.

В квартире учительницы, во всех ее двух комнатах и в кухне, стояли стулья, на окнах висели занавески, в первой комнате находились пианино и шкаф для одежды, а в другой, дальней, комнате имелись кровати, два мягких кресла из красного бархата и там же на стенных полках помещалось много книг,

– наверно, целое собрание сочинений. Отцу и сыну эта обстановка казалась слишком богатой, и отец, посетив вдову всего два раза, перестал к ней ходить. Он даже не управился ей сказать, что хочет на ней жениться. Но Никите было интересно увидеть еще раз пианино и читающую, задумчивую девочку, поэтому он просил отца жениться на старушке, чтобы ходить к ней в гости.

– Нельзя, Никит! – сказал в то время отец. – У меня образования мало, о чем я с ней буду говорить! А к нам их позвать – стыдно: у нас посуды нету, харчи нехорошие... Ты видал, у них кресла какие? Старинные, московские! А шкаф? По всем фасу резьба и выборка: я понимаю!.. А дочь! Она, наверно, курсисткой будет, И отец теперь уже несколько лет не видел своей старой невесты, лишь иногда он, может быть, скучал по ней или просто размышляя.

На другой день после возвращения с гражданской войны Никита пошел в военный комиссариат, чтобы его отметили там в запас. Затем Никита обошел весь знакомый, родной город, и у него заболело сердце от вида устаревших, небольших домов, сотлевших заборов и плетней и редких яблонь по дворам, многие из которых уже умерли, засохли навсегда. В его детстве эти яблони еще были зелеными, а одноэтажные дома казались большими и богатыми, населенными таинственными умными людьми, и улицы тогда были длинными, лопухи высокими, и бурьян на пустырях, на заброшенных огородах представлялся в то давнее время лесною, жуткою чащей. А сейчас Никита увидел, что маленькие дома жителей были жалкими, низкими, их надо красить и ремонтировать, бурьян на пустых местах беден, он растет не страшно, а заунывно, обитаемый лишь старыми, терпеливыми муравьями, и все улицы скоро кончались волевою землей, светлым небесным пространством, – город стал небольшим. Никита подумал, что, значит, им уже много жизни прожито, если большие, таинственные предметы обратились в маленькие и скучные.

Он медленно прошел мимо дома с зелеными ставнями, куда он некогда ходил в гости с отцом. Зеленую краску на ставнях он знал только по памяти, теперь от нее остались одни слабые следы, – она выцвела от солнца, была вымыта ливнями и дождями, вылиняла до древесины; и железная крыша на доме уже сильно заржавела – теперь, наверно, дожди проникают через крышу и мокнет потолок над пианино в квартире. Никита внимательно посмотрел в окна этого дома; занавесок на окнах теперь не было, по ту сторону стекол виднелась чужая тьма. Никита сел на скамейку около калитки обветшалого, но все же знакомого дома. Он думал, что, может быть, кто-нибудь заиграет на пианино внутри дома, тогда он послушает музыку. Но в доме было тихо, ничего не известно. Подождав немного, Никита поглядел в щель забора на двор, там росла старая крапива,

пустая тропинка вела меж ее зарослями в сарай и три деревянные ступеньки подымались в сени. Должно быть, умерли уже давно и учительница-старушка, и ее дочка Люба, а мальчик ушел добровольцем на войну...

Никита направился к себе домой. День пошел к вечеру, – скоро отец придет ночевать, надо будет подумать с ним, как жить дальше и куда поступать на работу.

На главной улице уезда было небольшое гулянье, потому что народ начал оживать после войны. Сейчас по улице шли служащие, курсистки, демобилизованные, выздоравливающие от ран, подростки, люди домашнего и кустарного труда и прочие, а рабочий человек выйдет сюда на прогулку позже, когда совсем смеркнется. Одеты люди были в старую одежду, по-бедному, либо в поношенное военное обмундирование времен империализма.

Почти все прохожие, даже те, которые шли под руку, будучи женихами и невестами, имели при себе что-нибудь для хозяйства. Женщины несли в домашних сумках картофель, а иногда рыбу, мужчины держали под мышкой пайковый хлеб или половину коровьей головы либо скупно хранили в руках требуху на приварок. Но редко кто шел в унынии, разве только вовсе пожилой, истомленный человек. Более молодые обычно смеялись и близко глядели лица друг другу, воодушевленные и доверчивые, точно они были накануне вечного счастья.

– Здравствуйте! – несмело со стороны сказала женщина Никите Фирсову.

И голос тот сразу коснулся и согрел его, будто кто-то, дорогой и потерянный, отозвался ему на помощь. Однако Никите показалось, что это ошибка и это поздоровались не с ним. Боясь ошибиться, он медленно поглядел на ближних прохожих. Но их сейчас было всего два человека, и они уже миновали его. Никита оглянулся, – большая, выросшая Люба остановилась и смотрела в его сторону. Она грустно и смущенно улыбалась ему.

Никита подошел к ней и бережно оглядел ее – точно ли она сохранилась вся в целости, потому что даже в воспоминании она для него была драгоценность. Австрийские башмаки ее, зашнурованные бечевой, сильно износились, кисейное, бледное платье доходило ей только до колен, больше, наверно, не хватило материала, – и это

платье заставило Никиту сразу сжалиться над Любой – он видел такие же платья на женщинах в гробах, а здесь кисея покрывала живое, выросшее, но бедное тело. Поверх платья был надет старый дамский жакет, – наверно, его носила еще мать Любы в свою девичью пору, – а на голове Любы ничего не было, одни простые волосы, свитые пониже шеи в светлую прочную косу.

– Вы меня не помните? – спросила Люба.

– Нет, я вас не забыл, – ответил Никита.

– Забывать никогда не надо, – улыбнулась Люба.

Ее чистые глаза, наполненные тайною душою, нежно глядели на Никиту, словно любовались им. Никита также смотрел в ее лицо, и его сердце радовалось и болело от одного вида ее глаз, глубоко запавших от житейской нужды и освещенных доверчивой надеждой.

Никита пошел с Любой одной к ее дому, – она жила все там же. Мать ее умерла не так давно, а младший брат кормился в голод около красноармейской полевой кухни, потом привык там бывать я ушел вместе с красноармейцами на юг против неприятеля.

– Он кашу там есть привык, а дома ее не было, – говорила Люба про брата.

Люба теперь жила лишь в одной комнате, – больше ей не надо. С замершим чувством Никита осмотрелся в этой комнате, где он в первый раз видел Любу, пианино и богатую обстановку. Сейчас здесь не было уже ни пианино, ни шкафа с резьбою по всему фасу, остались одни два мягких кресла, стол и кровать, и сама комната теперь перестала быть такою интересной и загадочной, как тогда, в ранней юности, – обои на стенах выцвели и ободрались, пол истерся, около изразцовой печи находилась небольшая железная печка, которую можно истопить горстью щепок, чтобы немного согреться около нее.

Люба вынула общую тетрадь из-за пазухи, потом сняла башмаки и осталась босая. Она училась теперь в уездной академии медицинских наук: в те годы по всем уездам были университеты и академии, потому что народ желал поскорее приобрести высшее знание; бессмысленность жизни, так же как голод и нужда, слишком измучили человеческое сердце, и надо было понять, что же есть существование людей, это – серьезно или нарочно?

– Они мне ноги трут, – сказала Люба про свои башмаки. – Вы посидите еще, а я лягу спать, а то мне очень сильно есть хочется, а я

не хочу думать об этом...

Люба, не раздеваясь, залезла под одеяло на кровати и положила косу себе на глаза.

Никита молча просидел часа два-три, пока Люба не проснулась. Тогда уже настала ночь, и Люба встала в темноте.

– Моя подруга, наверно, сегодня не придет, – грустно сказала Люба.

– А что – она вам нужна? – спросил Никита.

– Даже очень, – произнесла Люба. – У них большая семья и отец военный, она мне приносит ужин, если у нее что-нибудь останется... Я поем, и мы с ней начинаем заниматься...

– А керосин у вас есть? – спросил Никита.

– Нет, мне дрова дали... Мы печку зажигаем – мы на полу садимся и видим от огня.

Люба беспомощно, стыдливо улыбнулась, словно ей пришла на ум жестокая и грустная мысль.

– Наверно, ее старший брат, мальчишка, не заснул, – сказала она. – Он не велит, чтоб меня его сестра кормила, ему жалко... А я не виновата! Я и так не очень люблю кушать: это не я – голова сама начинает болеть, она думает про хлеб и мешает мне Жить и думать другое...

– Люба! – позвал около окна молодой голос.

– Женя! – отозвалась Люба в окно.

Пришла подруга Любы. Она вынула из кармана своей куртку четыре больших печеных картошки и положила их на железную печку.

– А гистологию достала? – спросила Люба..

– А у кого ее доставать-то! – ответила Женя. – Меня в очередь в библиотеке записали...

– Ничего, обойдемся, – сообщила Люба. – Я две первые главы на факультете на память выучила. Я буду говорить, а ты запишешь. Пройдет?

– А раньше-то! – засмеялась Женя.

Никита растопил печку для освещения тетрадей огнем и собрался уходить к отцу на ночлег.

– Вы теперь не забудете меня? – попрощалась с ним Люба.

– Нет, – сказал Никита. – Мне больше некого помнить.

Фирсов полежал дома после войны два дня, а потом поступил работать в мастерскую крестьянской мебели, где работал его отец. Его зачислили плотником на подготовку материала, и расценок его был ниже, чем у отца, почти в два раза. Но Никита знал, что это временно, пока он не привыкнет к мастерству, а тогда его переведут в столяры и заработок станет лучше.

Работать Никита никогда не отвыкал. В Красной Армии тоже люди не одной войною занимались – на долгих постах и в резервах красноармейцы рыли колодцы, ремонтировали избышки бедняков в деревнях и сажали кустарник в вершинах действующих оврагов, чтобы земля дальше не размывалась. Война ведь пройдет, а жизнь останется, и о ней надо было заранее позаботиться.

Через неделю Никита снова пошел в гости к Любе; он понес ей в подарок вареную рыбу и хлеб – свое второе блюдо от обеда в рабочей столовой.

Люба спешила читать по книжке у окна, пользуясь тем, что еще не погасло солнце на небе; поэтому Никита некоторое время сидел в комнате у Любы молчаливо, ожидая ночной темноты. Но вскоре сумрак сравнялся с тишиной на уездной улице, а Люба потеряла свои глаза и закрыла учебную книгу.

– Как поживаете? – тихо спросила Люба.

– Мы с отцом живем, мы – ничего, – сказал Никита. – Я вам там покушать принес, – вы съешьте, пожалуйста, – попросил он.

– Я съем, спасибо, – произнесла Люба.

– А спать не будете? – спросил Никита.

– Не буду, – ответила Люба. – Я же поужинаю сейчас, я буду сыта!

Никита принес из сеней немного мелких дровишек и разжег железную печку, чтобы был свет для занятий. Он сел на пол, открыл печную дверцу и клал щепки и худые короткие поленья в огонь, стараясь, чтоб тепла было поменьше, а света побольше. Съев рыбу с хлебом, Люба тоже села на пол, против Никиты и около света из печки, и начала учить по книжке свою медицину.

Она читала молча, однако изредка шептала что-то, улыбалась и записывала мелким, быстрым почерком несколько слов в блокнот –

наверно, самые важные вещи. А Никита только следил за правильным горением огня, и лишь время от времени – не часто – он смотрел в лицо Любы, но затем опять подолгу глядел на огонь, потому что боялся надоест Любе своим взглядом. Так время шло, и Никита думал с печалью, что скоро оно пройдет совсем и ему настанет пора уходить домой.

В полночь, когда пробили часы на колокольне, Никита спросил у Любы, отчего не пришла ее подруга, по имени Женя.

– А у нее тиф повторился, она, наверное, умрет, – ответила Люба и опять стала читать медицину.

– Вот это жалко! – сказал Никита, но Люба ничего не ответила ему.

Никита представил себе в мысли больную, горячую Женю, – и, в сущности, он тоже мог бы ее искренне полюбить, если б узнал ее раньше и если бы она была немного добра к нему. Она тоже, кажется, прекрасная: зря он ее не разглядел тогда во тьме и плохо запомнил.

– Я уже спать хочу, – прошептала Люба, вздыхая.

– А поняли все, что прочитали-то? – спросил Никита.

– Все чисто! Хотите, расскажу? – предложила Люба.

– Не надо, – отказался Никита. – Вы лучше берегите при себе, а то я все равно забуду.

Он подмел веником сор около печки и ушел к отцу.

С тех пор он посещал Любу почти каждый день, лишь иногда пропуская сутки или двое, ради того, чтоб Люба поскучала по нем. Скучала она или нет

– неизвестно, но в эти пустые вечера Никита вынужден был ходить по десять, по пятнадцать верст, несколько раз вокруг всего города, желая удержать себя в одиночестве, вытерпеть без утешения тоску по Любе и не пойти к ней.

У нее в гостях он обыкновенно занимался тем, что топил печь и ожидал, когда она ему скажет что-нибудь в промежутки, отвлекшись от своего учения по книге. Каждый раз Никита приносил Любе на ужин немного пищи из столовой при мастерской крестьянской мебели; обедала же она в своей академии, но там давали кушать слишком мало, а Люба много думала, училась вдобавок еще росла, и ей не хватало питания. В первую же свою получку Никита купил в ближней деревне коровьи ноги и затем всю ночь варил студень на

железной печке, а Люба до полночи занималась с книгами и тетрадями, потом чинила свою одежду штопала чулки, мыла полы на рассвете и купалась на дворе в кадучке с дождевой водой, пока еще не проснулись посторонние люди.

Отцу Никиты было скучно жить все вечера одному, без сына, а Никита не говорил, куда он ходит. «Он сам теперь человек, – думал старик. – Мог же ведь быть убитым или раненым на войне, а раз живет – пусть ходит!»

Однажды старик заметил, что сын принес откуда-то две белые булки. Но он их сразу же завернул в отдельную бумагу, а его не угостил. Затем Никита, как обычно, надел фуражку и пошел до полночи и обе булки тоже взял с собой.

– Никит, возьми меня с собой! – попросился отец. – Я там ничего не буду говорить, я только гляну... Там интересно, – должно быть, что-нибудь выдающееся!

– В другой раз, отец, – стесняясь, сказал Никита. – А то тебе сейчас спать пора, завтра ведь на работу надо идти...

В тот вечер Никита не застал Любы, ее не было дома. Он сел тогда на лавочку у ворот и стал ожидать хозяйку. Белые булки он положил себе за пазуху и согревал их там, чтоб они не остыли до прихода Любы. Он сидел терпеливо до поздней ночи, наблюдая звезды на небе и редких прохожих людей, спешивших к детям в свои жилища, слушал звон городских часов на колокольне, лай собак по дворам и разные тихие, неясные звуки, которые днем не существуют. Он бы мог прожить здесь в ожидании, наверно, до самой своей смерти.

Люба неслышно появилась из тьмы перед Никитой. Он встал перед ней, но она сказала ему: «Идите лучше домой», – и заплакала. Она пошла к себе в квартиру, а Никита обождал еще снаружи в недоумении и пошел за Любой.

– Женя умерла, – сказала Люба ему в комнате. – Что я теперь буду делать?..

Никита молчал. Теплые булки лежали у него за пазухой – не то их надо вынуть сейчас, не то теперь уж ничего не нужно. Люба легла в одежде на кровать, отвернулась лицом к стене и плакала там сама для себя, беззвучно и почти не шевелясь.

Никита долго стоял один в ночной комнате, стесняясь помешать чужому грустному горю. Люба не обращала на него внимания, потому

что печаль от своего горя делает людей равнодушными ко всем другим страдающим. Никита самовольно сел на кровать в ногах у Любы и вынул булки из-за пазухи, чтобы деть их куданибудь, но пока не находил для них места.

– Давайте я с вами буду теперь! – сказал Никита.

– А что вы будете делать? – спросила Люба в слезах. Никита подумал, боясь ошибиться или нечаянно обидеть Любу.

– Я ничего не буду, – отвечал он. – Мы станем жить как обыкновенно, чтоб вы не мучились.

– Обождем, нам нечего спешить, – задумчиво и расчетливо произнесла Люба. – Надо вот подумать, в чем Женю хоронить, – у них гроба нету...

– Я завтра его принесу, – пообещал Никита и положил булки на кровать.

На другой день Никита спросил разрешения у мастера и стал делать гроб; их всегда позволяли делать свободно и за материал не высчитывали. По неумению он делал его долго, но зато тщательно и особо чисто отделал внутреннее ложе для покойной девушки; от воображения умершей Жени Никита сам расстроился и немного покапал слезами в стружки. Отец, проходя по двору, подошел к Никите и заметил его расстройство.

– Ты что тоскуешь: невеста умерла? – спросил отец.

– Нет, подруга ее, – ответил он.

– Подруга? – сказал отец. – Да чума с ней!.. Дай я тебе борта в гробу поравняю, у тебя некрасиво вышло, точности не видать!

После работы Никита понес гроб к Любе; он не знал, где лежит ее мертвая подруга.

В тот год долго шла теплая осень, и народ был доволен. «Хлебу вышел недород, так мы на дровах сбережем», – говорили экономические люди. Никита Фирсов загодя заказал сшить из своей красноармейской шинели женское пальто для Любы, но пальто уже приготовили, а надобности, за теплым временем, в нем все еще не было. Никита по-прежнему ходил к Любе на квартиру, чтобы помогать ей жить и самому в ответ получать питание для наслаждения сердца.

Он ее спрашивал один раз, как они дальше будут жить – вместе или отдельно. А она отвечала, что до весны не имеет возможности

чувствовать свое счастье, потому что ей надо поскорее окончить академию медицинских знаний, а там – видно будет Никита выслушал это далекое обещание, но не требовал большего счастья, чем оно уже есть у него благодаря Любе, и он не знал есть ли оно еще лучшее, но сердце его продрогло от долгого терпения и неуверенности – нужен ли он Любе сам по себе, как бедный, малограмотный, демобилизованный человек. Люба иногда с улыбкой смотрела на него своими светлыми глазами, в которых находились большие, черные, непонятные точки, а лицо ее вокруг глаз было исполнено добром.

Однажды Никита заплакал, покрывая Любу на ночь одеялом перед своим уходом домой, а Люба только погладила его по голове и сказала: «Ну будет вам, нельзя так мучиться, когда я еще жива».

Никита поспешил уйти к отцу, чтобы там укрыться, опомниться и не ходить к Любе несколько дней подряд. «Я буду читать, – решил он, – и начну жить по-настоящему, а Любу забуду, не стану ее помнить и знать. Что она такое особенное – на свете великие миллионы живут, еще лучше ее есть. Она некрасивая!»

Наутро он не встал с подстилки, на которой спал на полу. Отец, уходя на работу, попробовал его голову и сказал:

– Ты горячий: ложись на кровать! Поболей немножко, потом выздоровеешь... Ты на войне нигде не раненный?

– Нигде, – ответил Никита.

Под вечер он потерял память; сначала он видел все время потолок и двух поздних предсмертных мух на нем, приютившихся греться там для продолжения жизни, а потом эти же предметы стали вызывать в нем тоску, отвращение, – потолок и мухи словно забрались к нему внутрь мозга, их нельзя было изгнать оттуда и перестать думать о них все более увеличивающейся мыслью, съедающей уже головные кости. Никита закрыл глаза, но мухи кипели в его мозгу, он вскочил с кровати, чтобы прогнать мух с потолка, и упал обратно на подушку: ему показалось, что от подушки еще пахло материнским дыханием – мать ведь здесь же спала рядом с отцом, – Никита вспомнил ее и забылся.

Через четыре дня Люба отыскала жилище Никиты Фирсова и явилась к нему в первый раз сама. Шла только середина дня; во всех домах, где жили рабочие, было безлюдно – женщины ушли доставать провизию, а дошкольные ребяташки разбрелись по дворам и полянам.

Люба села на кровать к Никите, погладила ему лоб, протерла глаза концом своего носового платка и спросила:

– Ну что, где у тебя болит?

– Нигде, – сказал Никита.

Сильный жар уносил его в своем течении вдаль ото всех людей и ближних предметов, и он с трудом видел сейчас и помнил Любу, боясь ее потерять в темноте равнодушного рассудка; он взялся рукой за карман ее пальто, сшитого из красноармейской шинели, и держался за него, как утомленный пловец за отвесный берег, то утопая, то спасаясь. Болезнь все время стремилась увлечь его на сияющий, пустой горизонт – в открытое море, чтоб он там отдохнул на медленных, тяжелых волнах.

– У тебя грипп, наверно, я тебя вылечу, – сказала Люба. – А может, и тиф!.. Но ничего – не страшно!

Она подняла Никиту за плечи и посадила его спиной к стене. Затем быстро и настойчиво Люба передела Никиту в свое пальто, нашла отцовский шарф и повязала им голову больного, а ноги его всунула в валенки, валявшиеся до зимы под кроватью. Обхватив Никиту, Люба велела ему ступить ногами и вывела его, озябшего, на улицу. Там стоял извозчик. Люба посадила больного в пролетку, и они поехали.

– Не жилец народ живет! – сказал извозчик, обращаясь к лошади, беспрерывно погоняя ее вожжами на уездную мелкую рысь.

В своей комнате Люба раздела и уложила Никиту в кровать и укрыла его одеялом, старой ковровой дорожкой, материнскою ветхою шалью – всем согревающим добром, какое у нее было.

– Зачем тебе дома лежать? – удовлетворенно говорила Люба, подтыкая одеяло под горячее тело Никиты. – Ну зачем!.. Отец твой на работе, ты лежишь целый день один, ухода ты никакого не видишь и тоскуешь по мне...

Никита долго решал и думал, где Люба взяла денег на извозчика. Может быть, она продала свои австрийские башмаки или учебную книжку (она ее сначала выучила наизусть, чтобы не нужна была), или же она заплатила извозчику всю месячную стипендию...

Ночью Никита лежал в смутном сознании: иногда он понимал, где сейчас находится, и видел Любу, которая топила печку и стряпала пищу на ней, а затем Никита наблюдал незнакомые видения своего

ума, действующего отдельно от его воли в сжатой, горячей тесноте головы.

Озноб его все более усиливался. Время от времени Люба пробовала ладонью лоб Никиты и считала пульс в его руке. Поздно ночью она напоила его кипяченой, теплой водой и, сняв верхнее Платье, легла к больному под одеяло, потому что Никита дрожал от лихорадки и надо было согреть его. Люба обняла Никиту и прижала к себе, а он свернулся от стужи в комок и прильнул лицом к ее груди, чтобы теснее ощущать чужую, высшую, лучшую жизнь и позабыть свое мученье, свое продрогшее пустое тело. Но Никите жалко было теперь умирать,

– не ради себя, но ради того чтоб иметь прикосновение к Любе и к другой жизни, – поэтому он спросил шепотом у Любы, выздоровеет он или помрет: она ведь училась и должна знать.

Люба стиснула руками голову Никиты и ответила ему:

– Ты скоро поправишься... Люди умирают потому, что они болеют одни и некому их любить, а ты со мной сейчас... Никита пригрелся и уснул.

Недели через три Никита поправился. На дворе уже выпал снег, стало вдруг тихо повсюду, и Никита пошел зимовать к отцу; он не хотел мешать Любе до окончания академии, пусть ум ее разовьется полностью весь, она тоже из бедных людей. Отец обрадовался возвращению сына, хотя и посещал его у Любы из двух дней в третий, принося каждый раз для сына харчи, а Любе какой бы то ни было гостинец.

Днем Никита опять стал работать в мастерской, а вечером посещал Любу и зимовал спокойно; он знал, что с весны она будет его женой и с того времени наступит счастливая, долгая жизнь. Изредка Люба трогала, шевелила его, бегала от него по комнате, и тогда – после игры – Никита осторожно целовал ее в щеку. Обычно же Люба не велела ему напрасно касаться себя.

– А то я тебе надоем, а нам еще всю жизнь придется жить! – говорила она. – Я ведь не такая вкусная: тебе это кажется!..

В дни отдыха Люба и Никита ходили гулять по зимним дорогам за город или шли, полуобнявшись, по льду уснувшей реки Потудани – далеко вниз по летнему течению. Никита ложился животом и смотрел вниз под лед, где видно было, как тихо текла вода. Люба тоже

устраивалась рядом с ним, и, касаясь друг друга, они наблюдали укромный поток воды и говорили, насколько счастлива река Потудань, потому что она уходит в море и эта вода подо льдом будет течь мимо берегов далеких стран, в которых сейчас растут цветы и поют птицы. Подумав об этом немного, Люба велела Никите тотчас же вставать со льда; Никита ходил теперь в старом отцовском пиджаке на вате, он ему был короток, грел мало, и Никита мог простудиться.

И вот они терпеливо дружили вдвоем почти всю долгую зиму, томимые предчувствием своего близкого будущего счастья. Река Потудань тоже всю зиму таилась подо льдом, и озимые хлеба дремали под снегом, – эти явления природы успокаивали и даже утешали Никиту Фирсова: не одно его сердце лежит в погребении перед весной. В феврале, просыпаясь утром, он прислушивался – не жужжат ли уже новые мухи, а на дворе глядел на небо и на деревья соседнего сада: может быть, уже прилетают первые птицы из дальних стран. Но деревья, травы и зародыши мух еще спали в глубине своих сил и в зачатке.

В середине февраля Люба сказала Никите, что выпускные экзамены у них начинаются двадцатого числа, потому что врачи очень нужны и народу некогда их долго ждать. А к марту экзамены уже кончатся, – поэтому пусть снег лежит и река течет подо льдом хоть до июля месяца! Радость их сердца наступит раньше тепла природы.

На это время – до марта месяца – Никита захотел уехать из города, чтобы скорее перетерпеть срок до совместной жизни с Любой. Он назвался в мастерской крестьянской мебели идти с бригадой столяров чинить мебель по сельсоветам и школам в деревнях.

Отец тем временем – к марту месяцу – сделал не спеша в подарок молодым большой шкаф, подобный тому, который стоял в квартире Любы, когда еще ее мать была приблизительной невестой отца Никиты. На глазах старого столяра жизнь повторялась уже по второму или по третьему своему кругу. Понимать это можно, а изменить пожалуй что нельзя, и, вздохнув, отец Никиты положил шкаф на санки и повез его на квартиру невесты своего сына. Снег потеплел и таял против солнца, но старый человек был еще силен и волок санки в упор даже по черному телу оголившейся земли, Он думал втайне, что и сам бы мог вполне жениться на этой девушке Любе, раз на матери

ее постеснялся, но стыдно как-то и нет в доме достатка, чтобы побаловать, привлечь к себе подобную молодую девушку. И отец Никиты полагал отсюда, что жизнь далеко не нормальна. Сын вот только явился с войны и опять уходит из дома, теперь уж навсегда. Придется, видно, ему, старику, взять к себе хоть побирушку с улицы

– не ради семейной жизни, а чтоб, вроде домашнего ежа или кролика, было второе существо в жилище: пусть оно мешает жить и вносит нечистоту, но без него перестанешь быть человеком.

Сдав Любе шкаф, отец Никиты спросил у нее, когда ему нужно приходиться на свадьбу,

– А когда Никита приедет: я готова! – сказала Люба.

Отец ночью пошел на деревню за двадцать верст, где Никита работал по изготовлению школьных парт. Никита спал в пустом классе на полу, но отец побудил его и сказал ему, что пора идти в город – можно жениться.

– Ты ступай, а я за тебя парты доделаю! – сказал отец. Никита надел шапку и сейчас же, не ожидая рассвета, отправился пешком в уезд. Он шел один всю вторую половину ночи по пустым местам; полевой ветер бродил без порядка близ него, то касаясь лица, то задувая в спину, а иногда и вовсе уходя на покой в тишину придорожного оврага. Земля по склонам и на высоких пашнях лежала темной, снег ушел с нее в низы, пахло молодой водой и ветхими травами, павшими с осени. Но осень уже забытое давнее время, – земля сейчас была бедна и свободна, она будет рожать все сначала и лишь те существа, которые никогда не жили. Никита даже не спешил идти к Любе; ему нравилось быть в сумрачном свете ночи на этой беспмятной ранней земле, забывшей всех умерших на ней и не знающей, что она родит в тепле нового лета.

Под утро Никита подошел к дому Любы. Легкая изморозь легла на знакомую крышу и на кирпичный фундамент, – Любе, наверно, сладко спится сейчас в нагретой постели, и Никита прошел мимо ее дома, чтобы не будить невесту, не остужать ее тела из-за своего интереса.

К вечеру того же дня Никита Фирсов и Любовь Кузнецова записались в уездном Совете на брак, затем они пришли в комнату Любы и не знали, чем им заняться. Никите стало теперь совестно, что счастье полностью случилось с ним, что самый нужный для него

человек на свете хочет жить заодно с его жизнью, словно в нем скрыто великое, драгоценное добро. Он взял руку Любы к себе и долго держал ее; он наслаждался теплотой ладони этой руки, он чувствовал через нее далекое биение любящего его сердца и думал о непонятной тайне: почему Люба улыбается ему и любит его неизвестно за что. Сам он чувствовал в точности, почему дорога для него Люба.

– Сначала давай покушаем! – сказала Люба и выбрала свою руку от Никиты.

Она приготовила сегодня кое-что: по окончании академии ей дали усиленное пособие в виде продуктов и денежных средств.

Никита со стеснением стал есть вкусную, разнообразную пищу У своей жены. Он не помнил, чтобы когда-нибудь его угощали почти задаром, ему не приходилось посещать людей для своего удовольствия и еще вдобавок наедаться у них.

Покушав, Люба встала первой из-за стола. Она открыла объятия навстречу Никите и сказала ему;

– Ну!

Никита поднялся и робко обнял ее, боясь повредить что-нибудь в этом особом, нежном теле. Люба сама сжала его себе на помощь, но Никита попросил: «Подождите, у меня сердце сильно заболело», – и Люба оставила мужа.

На дворе наступили сумерки, и Никита хотел затопить печку для освещения, но Люба сказала: «Не надо, я ведь уже кончила учиться, и сегодня наша свадьба». Тогда Никита разобрал постель, а Люба тем временем разделась при нем, не зная стыда перед мужем. Никита же зашел за отцовский шкаф и там снял с себя поскорее одежду, а потом лег рядом с Любой ночевать.

Наутро Никита встал спозаранку. Он подмел комнату, затопил печку, чтобы скипятить чайник, принес из сеней воду в ведре для умывания и под конец не знал уже, что ему еще сделать, пока Люба спит. Он сел на стул и пригорюнился: Люба теперь, наверно, велит ему уйти к отцу навсегда, потому что, оказывается, надо уметь наслаждаться, а Никита не может мучить Любу ради своего счастья, и у него вся сила бьется в сердце, приливает к горлу, не оставаясь больше нигде.

Люба проснулась и глядела на мужа.

– Не унывай, не стоит, – сказала она, улыбаясь. – У нас все с тобой наладится!

– Давай я пол вымою, – попросил Никита, – а то у нас грязно.

– Ну, мой, – согласилась Люба.

«Как он жалок и слаб от любви ко мне! – думала Люба в кровати. – Как он мил и дорог мне, и пусть я буду с ним вечной девушкой!.. Я протерплю. А может – когда-нибудь он станет любить меня меньше и тогда будет сильным человеком!»

Никита ерзал по полу с мокрой тряпкой, смывая грязь с половых досок, а Люба смеялась над ним с постели.

– Вот я и замужняя! – радовалась она сама с собой и вылезла в сорочке поверх одеяла.

Убравшись с комнатой, Никита заодно вытер влажной тряпкой всю мебель, затем разбавил холодную воду в ведре горячей и вынул из-под кровати таз, чтобы Люба умывалась над ним.

После чая Люба поцеловала мужа в лоб и пошла на работу в больницу, сказав, что часа в три она возвратится. Никита попробовал на лбу место поцелуя жены и остался один. Он сам не знал, почему он сегодня не пошел на работу, – ему казалось, что жить теперь ему стыдно и, может быть, совсем не нужно: зачем же тогда зарабатывать деньги на хлеб? Он решил кое-как дожить свой век, пока не исчахнет от стыда и тоски.

Обследовав общее семейное имущество в квартире, Никита нашел продукты и приготовил обед из одного блюда – кулеш с говядиной. А после такой работы лег вниз лицом на кровать и стал считать, сколько времени осталось до вскрытия рек, чтобы утопиться в Потудани.

– Обожду, как тронется лед: недолго! – сказал он себе вслух для успокоения и задремал.

Люба принесла со службы подарок – две плошки зимних цветов; ее там поздравили с бракосочетанием врачи и сестры милосердия. А она держалась с ними важно и таинственно, как истинная женщина. Молодые девушки из сестер и сиделок завидовали ей, одна же искренняя служащая больничной аптеки доверчиво спросила у Любы – правда или нет, что любовь – это нечто чарующее, а замужество по любви – упоительное счастье? Люба ответила ей, что все это чистая правда, оттого и люди на свете живут.

Вечером муж и жена беседовали друг с другом. Люба говорила, что у них могут появиться дети и надо заранее об этом подумать. Никита обещал начать в мастерской делать сверхурочно детскую мебель: столик, стул и кроватку-качалку.

– Революция осталась навсегда, теперь рожать хорошо, – говорил Никита. – Дети несчастными уж никогда не будут!

– Тебе хорошо говорить, а мне ведь рожать придется! – обижалась Люба.

– Больно будет? – спрашивал Никита. – Лучше тогда не рожай, не мучайся...

– Нет, я вытерплю, пожалуй! – соглашалась Люба.

В сумерках она постелила постель, причем, чтоб не тесно было спать, она подгородила к кровати два стула для ног, а ложиться велела поперек постели. Никита лег в указанное место, умолк и поздно ночью заплакал во сне. Но Люба долго не спала, она услышала его слезы и осторожно вытерла спящее лицо Никиты концом простыни, а утром, проснувшись, он не запомнил своей ночной печали.

С тех пор их общая жизнь пошла по своему времени. Люба лечила людей в больнице, а Никита делал крестьянскую мебель. В свободные часы и по воскресеньям он работал на дворе и по по дому хотя Люба его не просила об этом, – она сама теперь точно не знала, чей это дом. Раньше он принадлежал ее матери, потом его взяли в собственность государства, но государство забыло про дом – никто ни разу не приходил справляться в целости дома и не брал денег за квартиру. Никите это было все равно. Он достал через знакомых отца зеленой краски-медянки и выкрасил заново крышу и ставни, как только устоялась весенняя погода. С тем же прилежанием он постепенно починил обветшалый сарай на дворе, opravил ворота и забор и собирался рыть новый погреб, потому что старый обвалился.

Река Потудань уже тронулась. Никита ходил два раза на ее берег, смотрел на потекшие воды и решил не умирать, пока Люба еще терпит его, а когда перестанет терпеть, тогда он успеет скончаться – река не скоро замерзнет. Дворовые хозяйственные работы Никита делал обычно медленно, чтобы не сидеть в комнате и не надоедать напрасно Любе. А когда он отделялся начисто, то нагребал к себе в подол рубашки глину из старого погреба и шел с ней в квартиру. Там он садился на пол и лепил из глины фигурки людей и разные

предметы, не имеющие подобия и назначения, – просто мертвые вымыслы в виде горы с выросшей из нее головой животного или корневища дерева, причем корень был как бы обыкновенный, но столь запутанный, непроходимый, впившийся одним своим отростком в другой, грызущий и мучающий сам себя, что от долгого наблюдения этого корня хотелось спать. Никита нечаянно, блаженно улыбался во время своей глиняной работы, а Люба сидела тут же, рядом с ним на полу, зашивала белье, напевая песенки, что слышала когда-то, и между своим делом ласкала Никиту одной рукой – то гладила его по голове, то щекотала под мышкой. Никита жил в эти часы со сжавшимся кротким сердцем и не знал, нужно ли ему еще что-либо более высшее и могучее, или жизнь на самом деле невелика, – такая, что уже есть у него сейчас. Но Люба смотрела на него утомленными глазами, полными терпеливой доброты, словно добро и счастье стали для нее тяжким трудом. Тогда Никита мял свои игрушки, превращал их снова в глину и спрашивал у жены, не нужно ли затопить печку, чтобы согреть воду для чая, или сходить куда-нибудь по делу. – Не нужно, – улыбалась Люба. – Я сама сделаю все... И Никита понимал, что жизнь велика и, быть может, ему непосильна, что она не вся сосредоточена в его бьющемся сердце – она еще интересней, сильнее и дороже в другом, недоступном ему человеке. Он взял ведро и пошел за водой в городской колодец, где вода была чище, чем в уличных бассейнах. Никита ничем, никакой работой не мог утолить свое горе и боялся, как в детстве приближающейся ночи. Набрав воды, Никита зашел с полным ведром к отцу и посидел у него в гостях.

– Что ж свадьбу-то не сыграли? – спросил отец. – Тайком, по-советски управились?..

– Сыграем еще, – пообещал сын. – Давай с тобой сделаем маленький стол со стулом и кровать-качалку, – ты поговори завтра с мастером, чтоб дали материал... А то у нас дети, наверно, пойдут!

– Ну что ж, можно, – согласился отец. – Да ведь дети у вас скоро не должны быть: не пора еще...

Через неделю Никита поделал для себя всю нужную детскую мебель; он оставался каждый вечер сверхурочно и тщательно трудился. А отец начисто отделал каждую вещь и покрасил ее.

Люба установила детскую утварь в особый уголок, убрала столик будущего ребенка двумя горшками цветов и положила на спинку

стула новое вышитое полотенце. В благодарность за верность к ней и к ее неизвестным детям Люба обняла Никиту, она поцеловала его в горло, прильнула к груди и долго согревалась близ любящего человека, зная, что больше ничего сделать нельзя. А Никита, опустив руки, скрывая свое сердце, молча стоял перед нею, потому что не хотел казаться сильным, будучи беспомощным. В ту ночь Никита выспался рано, проснувшись немного позже полуночи. Он лежал долго в тишине и слушал звон часов в городе – половина первого, час, половина второго: три раза по одному удару. На небе, за окном, началось смутное прозябание – еще не рассвет, а только движение тьмы, медленное оголение пустого пространства, и все вещи в комнате и новая детская мебель тоже стали заметны, но после прожитой темной ночи они казались жалкими и утомленными, точно призывая к себе на помощь. Люба пошевелилась под одеялом и вздохнула: может быть, она тоже не спала. На всякий случай Никита замер и стал слушать. Однако больше Люба не шевелилась, она опять дышала ровно, и Никите нравилось, что Люба лежит около него живая, необходимая для его души и не помнящая во сне, что он, ее муж, существует. Лишь бы она была цела и счастлива, а Никите достаточно для жизни одного сознания про нее. Он задремал в покое, утешаясь сном близкого милого человека, и снова открыл глаза.

Люба осторожно, почти неслышно плакала. Она покрылась с головой и там мучилась одна, сдавливая свое горе, чтобы оно умерло беззвучно. Никита повернулся лицом к Любе и увидел, как она, жалобно свернувшись под одеялом, часто дышала и угнеталась. Никита молчал. Не всякое горе можно утешить; есть горе, которое кончается лишь после истощения сердца, в долгом забвении или в рассеянности среди текущих житейских забот.

На рассвете Люба утихла. Никита обождал время, затем приподнял конец одеяла и посмотрел в лицо жены. Она покойно спала, теплая, смиренная, с осохшими слезами...

Никита встал, бесшумно оделся и ушел наружу. Слабое утро начиналось в мире, прохожий нищий шел с полной сумою посреди улицы. Никита отправился вослед этому человеку, чтобы иметь смысл идти куда-нибудь. Нищий вышел за город и направился по большаку в слободу Кантемировку, где спокон века были большие базары и жил зажиточный народ; правда, там нищему человеку подавали всегда

мало, кормиться как раз приходилось по дальним, бедняцким деревням, но зато в Кантемировке было праздно, интересно, можно пожить на базаре одним наблюдением множества людей, чтобы развлеклась на время душа.

В Кантемировку нищий и Никита пришли к полудню. На околице города нищий человек сел в канавку, открыл сумку и вместе с Никитой стал угощаться оттуда, а в городе они разошлись в разные стороны, потому что у нищего были свои соображения, у Никиты их не было. Никита пришел на базар, сел в тени за торговым закрытым рундуком и перестал думать о Любе, о заботах жизни и о самом себе.

...Базарный сторож жил на базаре уже двадцать пять лет и все годы жирно питался со своей тучной, бездетной старухой. Ему всегда у купцов и в кооперативных магазинах давали мясные, некондиционные остатки и отходы, отпускали по себестоимости пошивочный материал, а также предметы по хозяйству, вроде ниток, мыла и прочего. Он уже и сам издавна торговал помаленьку пустой, бракованной тарой и наживал деньги в сберкассе. По должности ему полагалось выметать мусор со всего базара, смывать кровь с торговых полок в мясном ряду, убирать публичное отхожее место, а по ночам караулить торговые навесы и помещения. Но он только прохаживался ночью по базару в теплом тулупе, а черную работу поручал босякам и нищим, которые ночевали на базаре; его жена почти всегда выливала остатки вчерашних мясных щей в помойное место, так что сторож всегда мог кормить какого-нибудь бедного человека за уборку отхожего места.

Жена постоянно наказывала ему – не заниматься черной работой, ведь у него уж борода седая вон какая отросла, – он теперь не сторож, а надзиратель.

Но разве бродягу либо нищего приучишь к вечному труду на готовых харчах: он поработает однажды, поест, что дадут, и еще попросит, а потом пропадает обратно в уезд. За последнее время уже несколько ночей подряд сторож прогонял с базара одного и того же человека. Когда сторож толкал его, спящего, тот вставал и уходил, ничего не отвечая, а потом опять лежал или сидел где-нибудь за дальним рундуком. Однажды сторож всю ночь охотился за этим бесприютным человеком, в нем даже кровь заиграла от страсти замучить, победить чужое, утомленное существо... Раза два сторож

бросал в него палкой и попадал по голове, но бродяга на рассвете все же скрылся от него, – наверно, совсем ушел с базарной площади. А утром сторож нашел его опять – он спал на крышке выгребной ямы за отхожим местом, прямо снаружи. Сторож окликнул спящего, тот открыл глаза, но ничего не ответил, посмотрел и опять равнодушно задремал. Сторож подумал, что это – немой человек. Он ткнул наконечником палки в живот дремлющего и показал рукой, чтоб он шел за ним.

В своей казенной, опрятной квартире – из кухни и комнаты – сторож дал немому похлебать из горшка холодных щей с выжирками, а после харчей велел взять в сенях метлу, лопату, скребку, ведро с известью и прибрать начисто публичное место. Немой глядел на сторожа туманными глазами: наверно, он был и глухой еще... Но нет, едва ли, – немой забрал в сенях весь нужный инструмент и материал, как сказал ему сторож, значит – он слышит.

Никита аккуратно сделал работу, и сторож явился потом проверить, как оно получилось; для начала вышло терпимо, поэтому сторож повел Никиту на коновязь и доверил ему собрать навоз и вывезти его на тачке.

Дома сторож-надзиратель приказал своей хозяйке, чтоб она теперь не выхлестывала в помойку остатки от ужина и обеда, а сливала бы их в отдельную черепушку: пусть немой человек доедает.

– Небось и спать его в горнице класть прикажешь? – спросила хозяйка.

– Это ни к чему, – определил хозяин. – Ночевать он наружи будет: он ведь не глухой, пускай лежит и воров слушает, а услышит – мне прибежит скажет... Дай ему дерюжку, он найдет себе место и постелит...

На слободском базаре Никита прожил долгое время. Отвыкнув сначала говорить, он и думать, вспоминать и мучиться стал меньше. Лишь изредка ему ложился гнет на сердце, но он терпел его без размышления, и чувство горя в нем постепенно утомлялось и проходило. Он уже привык жить на базаре, а многолюдство народа, шум голосов, ежедневные события отвлекали его от памяти по самому себе и от своих интересов – пищи, отдыха, желания увидеть отца. Работал Никита постоянно; даже ночью, когда Никита засыпал в пустом ящике среди умолкшего базара, к нему навевывался сторож-

надзиратель и приказывал ему подремывать и слушать, а не спать по-мертвому. «Мало ли что, – говорил сторож, – намедни вон жулики две доски от ларька оторвали, пуд меда без хлеба съели...» А на рассвете Никита уже работал, он спешил убрать базар до народа; днем тоже есть нельзя было, то надо навоз накладывать из кучи на коммунальную подводку, то рыть новую яму для помоев и нечистот, то разбирать старые ящики, которые сторож брал даром у торгующих и продавал затем в деревню отдельными досками, – либо еще находилась работа.

Среди лета Никиту взяли в тюрьму по подозрению в краже москательных товаров из базарного филиала сельпо, но следствие оправдало его, потому что немой, сильно изнемогший человек был слишком равнодушен к обвинению. Следователь не обнаружил в характере Никиты и в его скромной работе на базаре как помощника сторожа никаких признаков жадности к жизни и влечения к удовольствию или наслаждению, – он даже в тюрьме не поедал всей пищи. Следователь понял, что этот человек не знает ценности личных и общественных вещей, а в обстоятельствах его дела не содержалось прямых улик. «Нечего пачкать тюрьму таким человеком!» – решил следователь.

Никита просидел в тюрьме всего пять суток, а оттуда снова явился на базар. Сторож-надзиратель уморился без него работать, поэтому обрадовался, когда немой опять появился у базарных рундуков. Старик позвал его в квартиру и дал Никите покушать свежих горячих щей, нарушив этим порядок и бережливость в своем хозяйстве. «Один раз поест – не разорит! – успокоил себя старый сторож-хозяин. – А дальше опять на вчерашнюю холодную еду перейдет, когда что останется!»

– Ступай, мусор отгреби в бакалейном ряду, – указал сторож Никите, когда тот поел хозяйские щи.

Никита отправился на привычное дело. Он слабо теперь чувствовал самого себя и думал немного, что лишь нечаянно появлялось в его мысли. К осени, вероятно, он вовсе забудет, что он такое, и, видя вокруг действие мира, – не станет больше иметь о нем представления; пусть всем людям кажется, что этот человек живет себе на свете, а на самом деле он будет только находиться здесь и

существовать в беспамятстве, в бедности ума, в бесчувствии, как в домашнем тепле, как в укрытии от смертного горя...

Вскоре после тюрьмы, уже на отдании лета, – когда ночи стали длиннее,

– Никита, как нужно по правилу, хотел вечером запереть дверь в отхожее место, но оттуда послышался голос:

– погоди, малый, замыкать!.. иль и отсюда добро воруют? Никита обождал человека. Из помещения вышел отец с пустым мешком под мышкой.

– Здравствуй, Никит! – сказал сначала отец и вдруг жалобно заплакал, стесняясь слез и не утирая их ничем, чтоб не считать их существующими. – Мы думали, ты покойник давно... Значит, ты цел?

Никита обнял похудевшего, поникшего отца, – в нем тронулось сейчас сердце, отвыкшее от чувства.

Потом они пошли на пустой базар и приютились в проходе меж двух рундуков.

– А я за крупой сюда пришел, тут она дешевле, – объяснил отец. – Да вот, видишь, опоздал, базар уж разошелся... Ну, теперь переночую, а завтра куплю и отправлюсь... А ты тут что?

Никита захотел ответить отцу, однако у него ссохлось горло, и он забыл, как нужно говорить. Тогда он раскашлялся и прошептал:

– Я, ничего. А Люба жива?

– В реке утопилась, – сказал отец. – Но ее рыбаки сразу увидели и вытащили, стали отхаживать, – она и в больнице лежала: поправилась.

– А теперь жива? – тихо спросил Никита.

– Да пока еще не умерла, – произнес отец. – У нее кровь горлом часто идет: наверно, когда утонула, то простудилась. Она время плохое выбрала, – тут как-то погода испортилась, вода была холодная...

Отец вынул из кармана хлеб, дал половину сыну, и они пожевали немного на ужин. Никита молчал, а отец постелил на землю мешок и собирался укладываться.

– А у тебя есть место? – спросил отец. – А то ложись на мешок, а я буду на земле, я не простужусь, я старый...

– А отчего Люба утопилась? – прошептал Никита.

– У тебя горло, что ль, болит? – спросил отец. – Пройдет!.. По тебе она сильно убивалась и скучала, вот отчего... Цельный месяц по

реке Потудани, по берегу, взад-вперед за сто верст ходила. Думала, ты утонул и всплывешь, а она хотела тебя увидеть. А ты, оказывается, вот тут живешь. Это плохо...

Никита думал о Любе, и опять его сердце наполнялось горем и силой.

– Ты ночуй, отец, один, – сказал Никита. – Я пойду на Любу погляжу.

– Ступай, – согласился отец. – Сейчас идти хорошо, прохладно. А я завтра приду, тогда поговорим...

Выйдя из слободы, Никита побежал по безлюдному уездному большаку. Утомившись, он шел некоторое время шагом, потом снова бежал в свободном легком воздухе по темным полям.

Поздно ночью Никита постучал в окно к Любе и потрогал ставни, которые он покрасил когда-то зеленой краской, – сейчас ставни казались синими от темной ночи. Он прильнул лицом к оконному стеклу. От белой простыни, спустившейся с кровати, по комнате рассеивался слабый свет, и Никита увидел детскую мебель, сделанную им с отцом, – она была цела. Тогда Никита сильно постучал по оконной раме. Но Люба опять не ответила, она не подошла к окну, чтобы узнать его.

Никита перелез через калитку, вошел в сени, затем в комнату, – двери были не заперты: кто здесь жил, тот не заботился о сохранении имущества от воров.

На кровати под одеялом лежала Люба, укрывшись с головой.

– Люба! – тихо позвал ее Никита.

– Что? – спросила Люба из-под одеяла.

Она не спала. Может быть, она лежала одна в страхе и болезни или считала стук в окно и голос Никиты сном. Никита сел с краю на кровать.

– Люба, это я пришел! – сказал Никита. Люба откинула одеяло со своего лица.

– Иди скорей ко мне! – попросила она своим прежним, нежным голосом и протянула руки Никите.

Люба боялась, что все это сейчас исчезнет; она схватила Никиту за руки и потянула его к себе.

Никита обнял Любу с тою силою, которая пытается вместить другого, любимого человека внутрь своей нуждающейся души; но он

скоро опомнился, и ему стало стыдно.

– Тебе не больно? – спросил Никита.

– Нет! Я не чувствую, – ответила Люба.

Он пожелал ее всю, чтобы она утешилась, и жестокая, жалкая сила пришла к нему. Однако Никита не узнал от своей близкой любви с Любой более высшей радости, чем знал ее обыкновенно, – он почувствовал лишь, что сердце его теперь господствует во всем его теле и делится своей кровью с бедным, но необходимым наслаждением.

Люба попросила Никиту, – может быть, он затопит печку, ведь на дворе еще долго будет темно. Пусть огонь светит в комнате, все равно спать она больше не хочет, она станет ожидать рассвета и глядеть на Никиту.

Но в снях больше не оказалось дров. Поэтому Никита оторвал на дворе от сарая две доски, поколот их на части и на щепки и растопил железную печь. Когда огонь прогрелся, Никита отворил печную дверцу, чтобы свет выходил наружу. Люба сошла с кровати и села на полу против Никиты, где было светло.

– Тебе ничего сейчас, не жалко со мной жить? – спросила она.

– Нет, мне ничего, – ответил Никита. – Я уже привык быть счастливым с тобой.

– Растопи печку посильней, а то я продрогла, – попросила Люба.

Она была сейчас в одной заношенной ночной рубашке, и похudevшее тело ее озябло в прохладном сумраке позднего времени.

Леонид Сергеевич Соболев

Рождение командира

Порыв ветра донес с бухты хрустальный перезвон склянок, и нетерпеливо шагавший по пристани лейтенант почти бегом поднялся по ступеням мимо безмятежной парочки, пристроившейся в тени колоннады. Он взглянул на них со злостью, смешанной с откровенной завистью, и застыл у колонны в позе отчаявшегося ожидания.

Девушка проводила взглядом его ладную и крепкую фигуру. Золотые нашивки на рукавах белого кителя сияли предательской новизной, явно указывая, что владелец их ходит в лейтенантах не слишком давно.

– Бедняга! Видно, она уже не придет, – сочувственно сказала девушка и пожала пальцы собеседника (который еще ни разу не опоздал на свидание).

– Свинство! – согласился тот и добавил с железной логикой влюбленного: – Чудесный ветерок, не правда ли?

Лейтенант нервно закурил папиросу и зашагал вдоль колоннады. Девушка опять взглянула на него с жалостью: наверное, разрыв. Разве так мучают человека, если хоть немножко его любят?.. Лейтенант опять остановился, взглянул на часы и потом решительно пошел вниз, к пристани, где стояли красивый военный катер и большая пузатая шлюпка.

Со ступеней он еще раз (о, неистребимость надежды!) обернулся на площадь, просиял и бегом ринулся навстречу. Девушка невольно привстала на скамье, всем сердцем поняв его порыв. Но она увидела только грузовик, какие-то ящики на нем, четырех краснофлотцев и вспотевшего флотского доктора, с которым лейтенант вступил в оживленную беседу, пока краснофлотцы быстро и ловко спускали ящики на асфальт.

Беседа (которую девушка не могла слышать) пошла о медицине вообще и о самом докторе «с его дурацкими клистирами» в частности. Неужели доктор не мог сообразить, что, пока он возился со своими «банками-склянками», подул этот паршивый ветер и теперь придется подымать шлюпки на порядочной волне? Неужели ему не понятно, что до съёмки с якоря осталось меньше двух часов? Почему,

наконец, он не позвонил с вокзала о задержке?.. Доктор, вытирая пот, оправдывался, что на вокзале никакого ветра не было, что в накладной оказалась ошибка, что телефон решительно ни при чем, ибо до линкора сорок минут ходу, а времени осталось больше полутора часов, и что лейтенант, очевидно, не успел развить в себе основных качеств командира – выдержки и спокойствия. Ящики тем временем были погружены на баркас, доктор и лейтенант во взаимном неудовольствии прошли мимо девушки вниз, мотор на катере загрохотал и пустил из-под кормы синюю струйку, на баркасе поставили флаг, сразу же вытянувшийся в тугую цветистую плоскость, и катер, отделившись от пристани, дернул тяжелый баркас и повел его в бухту.

И хотя ветерок, лирически названный влюбленными «чудесным», все свежел и уже в самой бухте появились барашки, но лейтенант заметно успокоился. Самое неприятное осталось на пристани.

Приказание было точное: принять в шлюпочной мастерской баркас № 2, погрузить доктора с аппаратурой рентгеновского кабинета и отваливать на корабль, не опаздывая к походу. Но доктор проковырялся с приемкой все утро, подул ветер, все неожиданно осложнилось, и впервые за свою недолгую командирскую службу лейтенант Тимошин вынуждался к поступку чисто командирского свойства: решать самому, – и одному! – и решать правильно.

Сперва он решил ждать ровно до трех, накинув необходимое время на погрузку, на переход по волне и на подъем катера и баркаса на палубу. Но уже без четверти три ему показалось, что погрузить «клизтиры» на баркас – минутное дело и что можно подождать до четверти четвертого.

В три часа, размышляя о том, как он появится на линкоре без доктора, он почти услышал уничтожающую интонацию помощника командира: «Так, по-вашему, у нас две шлюпки поднимают полчаса?» – и доктор тотчас получил амнистию еще на двадцать минут.

Но подошел и новый срок, и лейтенант встал лицом к лицу с основным вопросом: оставить корабль на весь поход без врача (старший был в командировке) или задержать съемку с якоря, согласованную с действиями других кораблей эскадры? Вопрос был настолько грозен, что он малодушно кинулся к телефону, чтобы

убедить дежурного по штабу флота запросить линкор по радио: ждать или отваливать?

Но пока в трубке шелкало и клохтало, он представил себе, как встретят на корабле такую паническую радиограмму, и ему стало неопровержимо ясно, что уменьшать ход на волне, пожалуй, не придется и что в запасе времени он перехватил. Он повесил трубку, решив подождать «ровно до четырех», и вышел на пристань в состоянии, близком к отчаянию: если доктор не появится в четыре, все равно придется решать самому, и тогда будет поздно спастись даже ценой радиопозора. С горечью признавшись себе, что из него никогда не выйдет настоящего командира, он зашагал по пристани, отлично понимая, что и «ровно в четыре» он не отвалит, ибо основной вопрос – ждать или не ждать? – так им и не решен.

Но теперь, когда катер, покачиваясь, бойко шел из бухты, лейтенант повеселел. Взглянув на часы, он с удивлением обнаружил у себя в запасе, сверх всех накидок на волну и на ветер, еще лишние полчаса (которые он, хитря с самим собою, набавил просто так, для верности), и тогда он успокоился окончательно. Даже сизая туча, которая стремительно и низко надвигалась к морю от гор, заставляя темнеть воду в бухте, не смогла испортить его настроение, и он весело болтал с краснофлотцами. Доктор же, наоборот, примолк, чувствуя, что, если бы в накладной не оказалось ошибки, путешествие, и точно, было бы спокойнее. Доктор плавал первый год и морю не особенно доверял.

На рейде волна оказалась еще крупнее. Гребни рассыпались белой пеной по неприветливой темной воде. Ветер дул с берега, холодный и резкий, срывая порой брызги и захлестывая их в катер. Когда, пройдя мыс, повернули к видневшемуся вдали линкору, волна круто повалила катер на правый борт и потом начала швырять его с боку на бок. Лейтенант оборвал разговор и встал рядом со старшиной у штурвала. Ветер и волна, бившие в левый борт, явно сносили катер в море, и баркас начал время от времени сильно дергать корму буксиром. Но и это по сравнению с переживаниями на пристани казалось пустяками: тут, по крайней мере, было известно, что делать.

– Потравить буксир! – крикнул он на корму и, с удовольствием убедившись, что на длинном буксире баркас перестал дергать катер,

повернулся к штурвалу. – Еще лево... Вот так и держите, на крайний эсминец!

Он спрыгнул вниз и, присев на корточки, ловко закурил, охватив спичку ладонями, и потом посмотрел на доктора, героически мокнувшего под брызгами на наветренном борту.

– Коли бы не ваши клистиры, давно бы дома были, – сказал он ядовито и потом добродушно прибавил: – Да чего вы там мокнете? Идите сюда.

Доктор отрицательно мотнул головой. При каждом размахе катера сердце его замирало, и он упирался ногами в палубу, откидываясь к борту, как бы стараясь выпрямить этим катер. Тот валился больше на правый борт, и доктору казалось неблагодарным перегружать собою подветренный борт, где и так сидели краснофлотцы и куда вдобавок сел и сам лейтенант. Удивительная беспечность у этих молодых командиров! «Клистиры»! Он неприязненно посмотрел на Тимошина. Подумаешь, морской волк! Небось на пристани растерялся, а тут бодрится... И чего он суется с приказаниями? Нет, брат, Тюлина не тебе учить, Тюлин четвертый год на катерах ходит, не в такую волну выбирался... Вот опять вскочил! Разве можно в такую погоду по катеру прыгать?

Тимошин опять встал рядом со старшиной и, сморщившись, взглянул против ветра на сизую тучу, уже нагонявшую катер. Потом снял колпак с компаса, заглянул в него и крикнул старшине:

– Править по компасу, курс триста!

– Есть курс триста, – ответил Тюлин, и доктору показалось, что ответил с усмешкой. Оно и понятно: какой там компас, когда линкор – вот он, как на ладошке, и ходу до него полчаса. Вот расслужился, юнец!

Тимошин опять соскочил вниз и повернулся к доктору.

– Ух, и ливень будет! – сказал он почти с удовольствием. – Промокнут ваши клистиры, и ящики не спасут. Брезента небось не взяли?

Доктор хотел было вконец обозлиться за «клистиры», но, вспомнив, что о брезенте он и впрямь утром забыл, потому что жара была собачья, смолчал.

– Ладно, – милостиво сказал Тимошин и закричал во весь голос: – На баркасе! Ящики прикройте! Снять чехол с рангоута, чехлом и

парусами прикрыть!

– Есть прикрыть, – долетел с баркаса голос старшины, и краснофлотцы в баркасе зашевелились. Доктор, осторожно приподнявшись и крепко держась рукой за борт, увидел, как вздулась в их руках девственно-белая парусина. Внезапно она стала темной. За воротник потекли холодные струйки, все кругом заревело, и баркас исчез из глаз.

Это налетел шквал с плотным косым дождем. Китель на Тимошине стал тоже темным, золотые нашивки как бы потускнели. Он нахлобучил фуражку и повернулся лицом к линкору. Впереди встала сизая мгла, и дальше второй волны ничего не было видно. Тюлин, легши грудью на штурвал, всматривался в компас, то и дело обтирая лицо рукавом, а лейтенант, сделав ладони трубочкой, прикрыл ими глаза, разглядывая кипенье воды впереди. Потом он откинулся назад:

– Товарищ Корнев, пройдите на бак впередсмотрящим! Осторожнее, смочет!

Корнев, аккуратно завязав ленточки бескозырки вокруг шеи, пошел на нос, цепко хватаясь за поручни. Доктор, весь съежившись под ливнем, проклинал себя. Дернуло его самому отправиться за грузом! Проветриться захотел, извольте видеть! Но кто же знал, что такая буря будет? Он достал платок, свернул его жгутом, заложил за воротник и застыл в несчастной позе. Еще минут пять катер качался в сизой мгле шквала, потом с бака донесся голос Корнева:

– Справа по носу предмет!

– Лево на борт, – тотчас ответил Тимошин.

Катер рыскнул влево, волна подняла его нос, и корма глубоко ушла в воду. Ведра полтора воды плеснуло в корму, ноги доктора мгновенно промокли, и он выпянул за борт: «предметом» в этой мгле мог быть и желанный линкор. Дождь больно хлестнул ему в глаза, впереди была все та же косая водяная пелена, а Тимошин вдруг очень громко и тревожно скомандовал:

– Стоп!

Ровный рокот мотора внезапно оборвался, Тимошин и Тюлин переглянулись, и доктор догадался, что произошло что-то неладное. Краснофлотцы тоже, очевидно, это поняли, потому что свесили головы за борт, разглядывая что-то на воде. Тимошин, нагнувшись,

открыл люк машинного кожуха и заглянул туда. Минуту он переговаривался с мотористом, потом выпрямился и достал папиросу. Закурить ему не удалось, фокус с ладонями что-то не выходил, и он выкинул мокрую папиросу за борт.

– Намотали, Тюлин, – коротко сказал он, достал еще одну папиросу и спрятал ее обратно.

Только теперь из начавшихся переговоров доктор понял, что произошло. Шторм сорвал сети, поставленные рыбаками под берегом, и унес их в море. «Предмет», оказавшийся буйком, был обнаружен внезапно у самого катера, и, когда Тимошин скомандовал: «Стоп», винт уже остановился сам, намотав на себя сети.

Катер опять стал бортом к волне и изменил качку. И хотя размахи ее не увеличились, но она показалась доктору опаснее прежней: катер мотался на волне беспомощно и жалко, и доктор вдруг со страхом понял, что каждый удар волны относит их в море. Он беспокойно оглянулся. Ливень уменьшился, баркас опять стал виден, но линкора и кораблей сквозь частую сетку дождя найти ему не удалось. Он взглянул на Тимошина. Тот стоял в раздумье, расставив ноги и качаясь с катером.

– Может, задним ходом разматываем, товарищ лейтенант? – спросил Тюлин.

Тимошин покачал головой и обернулся, оглядывая краснофлотцев. И, словно поняв его взгляд, один из них снял фуражку и, зажав ее между коленями, потянул с себя форменку. Тимошин дождался, когда лицо его показалось из-под вздувшейся материи, и спросил, как о самой обыкновенной вещи:

– А как ныряете, товарищ Фомин?

– Подходяще, – ответил тот и скинул брюки.

Тимошин поискал глазами:

– Конец приготовить и нож!

Фомина обвязали тонким концом. Тюлин хозяйственно привязал к его голой руке и нож. Фомин стал на борт и, дождавшись, когда катер положило, нырнул.

– Враз не срезать, – сказал другой краснофлотец, Паньков, и, сев на банку, начал деловито снимать сапоги. Он успел снять оба и стащил уже брюки, когда с другого борта показалась рука с ножом. Фомина вытащили.

– Холодная? – спросил Паньков.

Фомин взглянул на него, тяжело дыша. На голом мокром его плече шла широкая кровавая полоса.

– Об обшивку бьет, не поранься... А вода ничего, – сказал он, обтирая плечо. – Сеть не режь, режь верхнюю подбору... И грузик какой возьми, наверх сильно тащит.

Лейтенант подозвал Тюлина, и они втроем посовещались. Потом Тюлин хитрым узлом привязал к ноге Панькова полупудовую балластину, взял конец в руки, а Тимошин вынул часы.

– Отдать якорь! – засмеялся Фомин, когда, подняв обе руки вверх, Паньков бухнулся в воду.

Тимошин с часами в руках стоял у борта. Когда прошла минута, он взмахнул рукой. Тюлин рывком дернул конец. Паньков выскочил из воды, как пробка, и Тюлин вытащил освобожденную от него балластину. Фомин подошел к борту.

– Срезал? Или еще лезть?

– Срежешь ее, черта! – сказал Паньков и потянулся за брюками. – Смоленая она.

Тюлин присвистнул, и все посмотрели на лейтенанта, доктор тоже, хотя он и не совсем понимал, почему эту «подбору», оказавшуюся смоленой, нельзя просто снять с винта. Но одно было ясно: катер запутался в сетях, и его несет вместе с ними в море, а шторм не собирается стихать, и с кораблей их не видят. Этого было достаточно, чтобы представить себе, где застанет их следующее утро (если оно вообще их застанет). Он оттянул от тела промокшие брюки и вдруг обозлился: разве можно было доверять катер в такую погоду только что выпущенному из училища лейтенанту? Опытный командир не напоролся бы на сети, настоящий командир и сейчас что-нибудь бы придумал, стал бы на якорь, что ли... В раздражении доктор забыл, что «такую погоду», собственно, устроил он сам своей задержкой, что в сизой мгле шквала наскочить на сети, болтающиеся далеко от берега, мог и самый опытный командир и что под катером была глубина, которой не достал бы якорь.

– Ну, товарищ лейтенант, чего теперь делать будем? – спросил Тюлин.

«Чего делать?» Второй раз сегодня служба требовала, чтобы Тимошин оправдал свои командирские нашивки. На этот раз дело шло

не о самолюбии, а о более серьезных вещах – о катере, баркасе, рентгене и о людях.

Лейтенант стоял спиной к краснофлотцам, бесцельно смотря в серую мглу дождя. Повернуться он не мог, боялся, что на его лице все прочтут растерянность. Он вдруг поймал себя на том, что думает совсем не о людях, которые ждут от него, комсомольца и лейтенанта Красного флота, решительности, спокойствия и умения, а о том, как глупо все это получилось. Конечно, надо было отваливать, не дожидаясь доктора. Надо было на пять секунд раньше догадаться, что этот буюк означает сети... Он испугался этих бесполезных мыслей: надо было... Что надо сейчас?..

Волна вдруг сильно накренила катер, а буксир, переползший к борту, не дал катеру вовремя встать. Вода опять хлынула в корму, и Тимошин услышал высокий вскрик доктора:

– Что же делать? Давайте что-нибудь делать, тонем!

В этом крике была явная паника, и Тимошина точно подкинуло. Он резко повернулся, столкнулся взглядом с доктором, и тот испугался еще больше: во взгляде Тимошина доктор прочел растерянность. И тут же лейтенант понял, что выдал себя с головой. Нестерпимый стыд поднялся в нем жгучей волной. Глаза его сузились, и, с отвращением посмотрев на прыгающие губы доктора, он грубо крикнул:

– Краснофлотец ранен, а вы сидите! Перевязать краснофлотца!

Резкий его тон отрезвил доктора. Лейтенант оглянул остальных, боясь встретить еще в ком-нибудь страх. Все опять подняли на него глаза. В них было такое спокойное ожидание приказаний, что он невольно обернулся: нет ли за ним командира? Но сзади были только вздыбленное море, серая пелена дождя и баркас.

А командиром, на которого все смотрели, был он сам.

Баркас плавно и мерно покачивался сзади, показывая то борт, то палубу. Ящики стояли в нем, прикрытые намокшей парусиной. Тимошин посмотрел на них с неожиданным любопытством. Некоторое время он разглядывал их, соображая, потом присел на корточки, достал папиросу и ловко Закурил от первой же спички, прикрывая ее ладонями.

– Товарищ Паньков, – сказал он весело, – придется еще разок нырнуть. Тащите-ка эту сволочь на борт, обрубим... Зубило есть?

Сеть была вытащена на катер. Толстый смоленый трос, твердый и негибкий, держал ячейки сети, и доктор понял, почему его нельзя было ни перерезать, ни размотать с винта. Ударами зубила отрубили оба конца. Буксир стало медленно относить. Катер был освобожден от тяжелого груза сетей, но винт по-прежнему оставался в плену у обрывка троса, и доктор недоумевающе посмотрел вокруг: что же изменилось?

– Подтянуть баркас! – скомандовал Тимошин. – Товарищ старшина, останетесь с прислугой на катере. Возьмем вас на буксир, понятно? Остальные – в баркас! Живее, бьет!..

Серая туша баркаса была уже рядом с бортом. Она нависала над ним на волне, готовясь его стукнуть, но вдруг оседала вниз, и катер сам норовил ударить баркас. Прыгать пришлось с умом. Наконец оттолкнулись, и баркас начало относить ветром. Тимошин встал на корме баркаса.

– Штормовое вооружение ставить! Одну фок-мачту в средний степс, понятно? – сказал он и, дождавшись, пока разобрались в рангоуте и в снастях, скомандовал: – Рангоут ставить! Куда вы ванты потащили, Паньков? Мало под парусами ходили? Сюда! Так! Завернуть здесь вот...

Тимошина точно подменили. Он лазил по баркасу, помогая, показывая, что надо делать, шутил, подгонял и нетерпеливо посматривал на волну. Мачта была поставлена, паруса разобраны, он вернулся на корму, взялся за румпель и, вдруг став серьезным, крикнул:

– На фалах!..

Он изогнулся, всматриваясь в волну, и, улучив момент, закончил команду:

– Паруса поднять!

Парус, подхваченный ветром, резко надулся, захлопал над головами, баркас лег на бок и рванулся вперед. Лейтенант следил за буксиром. Буксир быстро натягивался, и в тот момент, когда он готов был рвануть баркас всей тяжестью неподвижного еще катера, Тимошин двинул рулем. Баркас стал против ветра, дернулся, потеряв ход, и потом, осторожно уваливаясь под ветер, стал плавно забирать ход, таща за собой катер.

– Теперь пойдет – хоть песни пой, – сказал Тимошин и поудобнее сел на банке. – На шкотах не зевать! На руках держать, а то и перекинет... На баке, вперед смотреть!

– Есть смотреть! – донесся веселый голос Корнева.

Баркас под штормовым вооружением шел в полный бакштаг – самый выгодный и безопасный ветер в шторм. Волна, шипя, кренила его так, что захватывало дух, но верная и сильная шлюпка, выпрямляясь, летела вперед. Мутная пелена дождя уходила в море. Лейтенант взглянул на часы и удивился: прошло всего полчаса – те самые полчаса, которые он утаил от самого себя в мучительных колебаниях на пристани. Он вспомнил это и усмехнулся.

– Справа по носу предмет! – крикнул с бака Корнев, и доктор опять привстал: что еще могло быть?

Но Корнев весело поправился:

– Отставить предмет: справа по носу линкор, товарищ лейтенант!

– Есть! – ответил тот и вдруг недовольно оглянулся.

«Эх!» – сказал он про себя и, встав во весь рост, крикнул:

– На катере! Флаг поставьте! Забыли?..

По правилам, флаг должен быть на буксируемой шлюпке, и подойти к линкору следовало в полном порядке.

Иван Иванович Катаев

Под чистыми звездами

I

Горячий июль доцветал в Уймонской долине, но все той же первородной свежестью дышал Алтай; высокая трава предгорий казалась голубоватой от влажности, и речная вода хранила холодок поднебесных снегов.

Мы ехали верхами по правому берегу Катуня, пробираясь в мараловодческий совхоз. Миновали Нижний Уймон, заречную его сторону, что звалась не так давно кулацкой. Вывеска школы красуется над резным крыльцом тяжелодумного владения Ошлаковых. Максим Ошлаков, говорят, вернулся из ссылки, одиноко моет золото где-то под Катандой. Брат его Федор, командир отряда у Кайгородова, еще в те лихие года словил партизанскую пулю, и серая полынь дремуче разрослась над бесчестной бандитской могилой. А было время – полтысячи коней, две сотни маралов держал в горах отец их Пилей, глухонемой, да понятливый старец. Помнит, еще помнит их округа...

Млечно-голубая Катунь в отдалении просторно шла от того края неба, утихшая на мягком лоне долины. Вчера я видел ее воды близко, когда на закате насквозь пророзовела их льдистая толща, а гребни струй стали темно-синие. Здесь, выше Уймоны, река делилась на множество рукавов и лишь узкими протоками подходила к дороге. Укромный, тенистый мир камышей и сырого мелколесья недвижно стоял на низких островках, утиные выводки возились в тростнике и кое-где выплывали, мелко чернея, на ясную стрежень, золотую от предвечернего солнца.

По ту сторону дороги травянистая поверхность земли мягко взмывала кверху. Горный вал, от самого подножья клубящийся густыми березовыми рощами, подымался в синее небо.

Ближе к вершинам, над свежей, счастливой зеленью берез, сухо темнели лиственничные леса.

За этой первой лесистой грядой, – мы видели вчера с того берега, на выезде из ущелья Терехты, – таилась уединенная горная страна, из

тех, что всегда так властно манят в путешествие своей как бы вечно недостижимой синевой. Ее увенчивали резкие ледяные вершины Катунских Альп.

Оставив позади строенья и поскотины колхозной фермы, мы стали забирать в гору. Путь наш лежал к перевалу, а ночевка замышлялась где-нибудь в лесу, на подъеме. Сразу объяло нас легкой мигающей тенью, запахами спелой травы и черносмородинного листа. Промеж деревьев горели в косых лучах солнца наклонные луговины; березы, толпясь, смело наступали вверх по склону; тонкие стволы безошибочно сохраняли отвесную прямизну, хотя, казалось, земля ускользала у них из-под ног.

Лошадь бодрым шажком привычно брала крутизну, успевая то и дело перехватить сбоку сочный стебель. Яркая белизна бересты, несмятая трава, синее небо, сверкавшее в просветах, – все тут было исполнено особой, молодой и целебной чистоты.

Подступало странное, составное чувство родины и чужбины, – его не раз уже испытал я на Алтае. Посмотришь, – березы, тихая суета теней и света, жесткий иван-чай розовеет в траве, темный старый гриб торчит, – что может быть ближе? – самое простое, северно-русское, известное с детства. И те же запахи, та же скромная прохлада. А оглянуться шире – все это на горе и куда-то летит с нее кувырком, и раскрывается бездна, и таинственно грозят дальние хребты... То, что привык понимать как Юг, как самое далекое и необычайное. Думаешь: куда ж это меня занесло!.. Азия, в двухстах километрах монгольская граница...

Меж тем мы и в самом деле уже забрались высоко. Когда в просветах открывалась Уймонская долина, взгляд падал, как с высоты полета, и скользил далеко, через всю ее затуманенную ширь, катившую последние волны закатного света. Неясно маячили над мглою горизонта Терехтинские белки. Они дымчато порозовели. Только воздух отделял их от нас, – гигантские массивы чистого, сладкого воздуха, заполнившего эту впадину земли.

По мере подъема растительность на горе постепенно менялась. Лошади продирались сквозь цепкие заросли малинника, усыпанные спелыми темными ягодами. Прозрачно рдели повсюду кисти красной смородины. Мы уже давно вступили в эту зону великого ягодного сада, опоясавшую все предгорья Алтая Там и здесь между березами

зачернели лиственницы, худые и будто вечно обтрепанные ветром. И все чаще стали попадаться выкошенные поляны; важно стояли на них высокие стога, их долгие тени стлались до самой опушки. Волнующе смешанный запах опахивал нас: острый, домовитый от сена и вольный, сырой – от свежей, вечерней травы.

II

Из зеленой глубины леса донеслись человеческие голоса. Мы поворотили в ту сторону и скоро выехали на просторную поляну. Радостно открылась она зрению, озаренная густым розовым светом, в пестром мелькании женских платков и кофт, в веселой спешке предшабашной работы.

Здесь уймонские убирали сено, метали последние стога.

Кто-то из нас справился у проезжавшей верхом, с волоком сена, босоногой девчонки: что за бригада.

– Полинарьи Лесных! – ответила та не без гордости, ударила лошаденку пятками в широкие бока, качнулась и поехала дальше.

Про Лесных Аполлинарию мы уже кое-чего слышали на Уймоне. Из кержачек, девица, ведет бригаду второй год и всех обгоняет, была на краевом съезде...

Надо поглядеть. К тому же пора и на ночевку.

На том краю поляны из-под высоких лиственниц поднимался белый дымок костра. Мы тронули туда.

Три недовершенных стога возвышались в центре общего движения работы. Крайний сложен до половины, и там незаметно было особого оживления, рыжебородый коренастый дядя неспешно управлялся наверху, принимая пласты. Зато два других стога, выложенные на две трети, казалось, притянули к себе всю горячую жизнь, все голоса, всю молодую силу нагорного вечера. На рысях подносились к ним ребяташки-копновозы, огромные навилыны взлетали со всех сторон без передышки, смех раздавался, взвизги и задорные возгласы, – так все и кипело там. На одном стогу, на среднем, принимала женщина, на другом – парень в городской клетчатой кепке, козырьком назад.

Никто и не оглянулся на нас.

Мы спешили возле костра. Бригадный суп клочкотал в широчайшем, как свод небесный, чугунном ойротском казане. Низенькая плотная девица, глядя на нас, застыла в изумлении, с черпаком в руке. Лицо ее пряталось под головным платком, повязанным ниже бровей: только бойкий нос торчал.

Лошадей привязали на выстойку. Чувство степенного, мирного отдыха, как всегда, вступило в свои права с той самой минуты, как тяжелые седла были сложены на траве и горячие кошемные потники расправлены. Тишина летнего вечера, сразу приблизившись, коснулась души. Близко, в подокном сумраке чащи, среди корней и мхов, шумел несильный поток.

– Бригадирша-то где? – справились мы у стряпухи, хотя в этом вопросе и не было особой надобности. Просто губы у этой толстенной девицы оказались что-то уж очень яркие и плянцевиты.

Четверо, хотя бы и с ружьями, – конечно, слишком много мужчин, чтобы разговаривать с ними всерьез. Блеснули зубы первейшей белизны, вечная игра началась.

– А вам на што?

– Значит, надо.

– Надо, так поищите.

– Ишь ты, какая быстрая.

– Побыстрее вашего!

– Вон что!.. А зовут тебя как?..

Большая грудь под голубой застиранной кофтенкой пошла ходуном,

– Зовуткой!..

Мы отошли. Девица крикнула вслед:

– Вон она, Полинарья, на среднем стогу. – И добавила другим тоном, посуше: – Они с Тимкой Вершневым на спор ставят. Значит, кто раньше смечет.

Мы обернулись:

– Чья же берет?

– Ну, разве ей против Тимки выстоять! – в голосе ее прозвучала жесткость раздражения. – Одна только слава, что бригадирша... Конечно, подавальщиков она себе каких поздоровше набрала. Ну, да не угнаться, все едино...

Терпкие краски заката погасли. Дохнуло холодком, примчавшимся с каких-то нелюдимых высот. Но ясное небо над горой было еще до самых глубин налито таким всемогущим сиянием, что, казалось, оно никогда не может истощиться. Веселый гомон не стихал у стогов, кипение работы дошло там до высшей точки.

– Давай, давай! – надрывался чей-то ликующий голос. – Стой, отвязывай копну!.. Да куда ж ты, язви те, волокешь!..

Рассудительный бас громыхал на всю поляну:

– Вершину-то Тимофей, пообжимистей выводи, пообжимистей! Чо ж ты разгоняешь ее не знаю как... Эдак мы никогда...

– То есть это как пообжимистей?! – негодуяще визжали от другого стога. – Что значит?.. Он и так у вас тощей!..

– Тощей, тощей! – передразнивали отсюда. – Сами больно пухлые!..

– Дядя Симеон! Ты там доглядывай за ними... А то они небось...

– А я доглядаю, – важно ответил тот рыжебородый, что недавно управлялся на третьем стогу. Его, видно, призвали в арбитры. Он стоял теперь перед стогами, опершись обеими руками на грабельник, как на посох, и наблюдал за ходом соревнования.

– Все правильно у них, – прибавил он веско. – Тимке чуток и остался, еще пласточков десятка полтора, и вывершит.

А мечет ладно, я доглядаю...

Тимка чертом вертелся на стогу, только грабли мелькали.

Видно, не просто это было – поворачиваться там, на верхушке, сделавшейся не шире тележного колеса, и пружинило сухое легкое сено, но Тимка, резко выделяясь плечистой своей фигурой на глади светлого неба, будто приплясывал, не оскользаясь, не заплетаясь ногами; без промедления, точно хватал он навилины, попевал приладить и примять пласт, не нарушая стройных, закругляющихся друг к другу навстречу очертаниям вершины.

Может быть, только излишняя щегольская подчеркнутость была во всех его ловких поворотах и изгибах да и сама быстрота их казалась чрезмерной и судорожной. И свое – «давай, давай, не задерживай!» – выкрикивал он без нужды часто и залихватски. Похоже, что его самого всего пружинило и распирало там – от счастья работы, от умения, от того, что всех выше он под небом, всех ловчей.

Аполлинария, соревновальщица его, действовала на своем стогу умело и споро, стог ее тоже рос правильно, круто. Но уже заметно поотстала она, и это видели в ее группе и уже поторапливали снизу, не выходя, впрочем, из пределов почтительности.

– Чего ж ты, Полинарья, ты бы, однако, повеселей уклádала. Вон уж у них...

Кстати стряпуха-то давеча возвела на Аполлинарию явный поклев – будто она набрала себе каких покрепче. Ей подавали все больше девицы да совсем малорослые пареньки. Взрослые мужики, которых вообще было немного, как раз собрались вокруг Тимки. Может, оттого он и брал верх.

Бригадирша, наверное, видела, что отстает. Однако в движениях ее не прибавлялось торопливости. Она двигалась по-прежнему спокойно, и с какой-то особенной плавной грацией творилась у нее эта работа, похожая на одинокий танец, высоко над головами людей, в светлом куполе неба.

А уже загалдели у Тимкиного стога: «Вывершил, вывершил!» – и кто-то жиденько затянул: «Ура-а!..»

И рыжебородый Симеон, гордясь своим значением, громко подтвердил:

– Вывершил. Будя!

И тотчас же Тимка, как-то по-особому выгнувшись и едва скользнув рукой по веревке, перекинутой подавальщиками через вершину стога, слетел на землю с высоко поднятыми граблями, притопнул, хотел, видно, крикнуть да сдержался, сказал тихо, хриловато, с едва приметной улыбкой, витающей вокруг запекшихся губ:

– А ничего сработали... Складно...

Но насквозь сияло и пело изнутри скуластое его лицо с дорожками пота на грязных крепких щеках, с раскисшим и прилипшим ко лбу сивым вихром. Приставив грабли к стогу, он повернул свою явно франтовскую кепку козырьком вперед и, пока кругом голосили с преувеличенным восторгом, чтоб только погорше было тому стогу, Тимка стоял неподвижно, невысокий, ладный, сдерживая дыхание расходившейся просторной груди, и поглядывал на всех узкими смелыми глазами, из которых так и било хитрое его счастье.

Казалось, на вид ему побольше двадцати, и то ли гладко брился он, то ли бежала в нем какая-то залетная алтайская кровь, – но был мальчишески гол его острый подбородок. Ситцевая выгоревшая рубаха, выбившаяся из-под ремня, была у него сильно разорвана возле плеча.

Восторженные голоса стихали. Под конец самый дюжий мужик в древней поярковой, грибом, шляпенке, кажется, тот, что недавно гудел: «Пообжимистей!» – заключил столь же густо:

– Сам-от он Вершнев, – выходит, завсегда и вершить ему!

Тут все звено обрадованно засмеялось, а Тимка, поняв минуту, нагнулся, стал отряхивать со штанов приставшее сено.

Потом он подтянул голенища высоких конашин, подвязал их сыромятными ремешками и, прихватив грабли, пошел к стану, на ходу перепоясываясь и оправляя рубаху. Все двинулись за ним.

Проходя мимо Аполлинарыного стога, Тимка остановился, посмотрел наверх, где бригадирша укладывала последние мелкие пласты, но почему-то ничего не сказал, пошел дальше.

Только уж позади его крикнул кто-то:

– Эй вы, ползуны неповоротные, подсобить не надо?..

Аполлинария, выпрямившись, утерла лоб рукавом, ответила с усмешкой, без обиды:

– Спасибо на добром слове. Сейчас сами управимся.

Голос у нее был низкий и умный, из тех, что идут со дна груди и, свидетельствуя о полной душевной силе, так обогащают самый неказистый женский облик. Мы еще не сумели разглядеть, какова она собой.

Только под лиственницами, у костра, возле его живого пламени, заметили мы, как смерклось на поляне. Еще один солнечный огромный день ушел совсем. Но в этой пустынной высокой стране, откровенно кажущей небу свои провалы, трещины и обледенелые складки, всякая подвижка времени ощущалась телесней, чем где-либо, лишь как новый поворот этого бока планеты с его хребтами и впадинами. Она давала в остатке не грусть, но чувство свободы полета. День прошел, – летим дальше, дыша этими запахами теплого сена и близких снегов.

Я поднял голову. Первая звезда водянисто дрожала в померкшей, еще бесцветной вышине.

Стреножив лошадей, мы отпустили их к бригадному табуну.

Подошла Аполлинария, работавшие с ней мальцы и девчата, толкаясь и хохоча, побежали к ручью умываться. Мы поговорили с Аполлинарией о бригадных порядках, об урожае. К третьему августа, досрочно, они кончат сеноуборку, бригада переключится на жнитво. Весь-то колхоз запаздывает с сеном, а пшеница желтая уже, к тем горам так и вовсе погорела, лето знойное. Бригадирша отвечала просто, смело; видно, привыкла говорить с приезжими, с городскими, с кем угодно. Но разговор наш не вязался, шел по верхам; устала она, и, похоже, чем-то другим были заняты мысли. Несколько раз она оборачивалась к костру, ярко расплывшемуся неподалеку, высоко озарившему стволы и мрачную хвою лиственниц. Что-то ее тревожило.

Может быть, ужин запаздывает?

Там, возле костра, сидел Тимка, до пояса голый. Он уже успел умыться, и теперь толстенькая стряпка, стоя рядом с ним на коленях, чинила его порванную рубаху. Время от времени он подбрасывал в огонь сухого лапнику. Столбом взвивались искры, вдогонку вымахивало длинное пламя. Беспokoинный, дышащий круг света мгновенно раздвигался, виднелись обутки и спины бригадников, прикорнувших между толстыми корнями; по другую сторону наши седла в траве посверкивали металлическими частями и отполированной кожей. Тимкина голая грудь и плечи сияли, как начищенная красная медь; переливались при движении резкие валики мышц. Совсем не скучный разговор шел там у шгх, стряпка то и дело, откинувшись, тряслась от смеха, розово блестели ее зубы. Потом она перекусила нитку, заколола иголку себе в кофту и встала, чтобы помешать в казане. Тимка тоже поднялся, стал надевать рубаху, но, видно, запутался головой в ворота. Стряпка, оглянувшись, ловко щелкнула его горячим черпаком по твердому втянутому животу и с визгом отбежала на ту сторону костра. Тимка справился с рубахой, схватил свой ремень, погнался за девицей.

Сперва она увернулась, но он все же достал ее ремешком – легонько вытянул вдоль гладкой спины и, поймав в охапку, принялся

не то щипать, не то щекотать ее.

– Ой, не буду! Ой, мамоньки, не буду! – верещала она, плача от смеха.

Аполлинару, с минуту молча и неподвижно смотревшая на эту возню, вдруг решительно двинулась к стану. Мы последовали за ней, посмеиваясь про себя, – сейчас проборка...

Увидав бригадиршу, Тимка отпустил девицу, та вперевалочку отбежала к казану, принялась деловито помешивать в нем; по выражению спины, по всей ее напряженной полусогнутой фигурке видно было, что она с неловкостью ожидает, что будет.

Ждал и Тимка, глядя на подходившую Аполлинару, но он стоял прямо и, по-красноармейски стянув рубаху борами назад, неторопливо опоясывался.

Бригадирша молча постояла перед ним, как-то неуверенно, по-девичьи, сложив на животе руки, потом произнесла обычным своим, упругим и ясным голосом:

– Ну, что ж тебе сказать, Тимофей... Скажу: молодец.

Работу аккуратно исполнил. – В голосе у нее дрогнула улыбка. – И меня обставил... Ну, я на то не в обиде. На жнитве сосчитаемся.

Тимка молчал, глядел на нее прямо, зорко.

– Всегда б, как ноне, работал, – продолжала она наставительно, – коли б не отлынивал, так ладно было бы. Ухватка, смелость у тебя есть во всем. А будешь стараться, по осени от правления тебе премия выйдет, это я твердо тебе говорю.

Тимкины губы чуть покривились.

– Не больно, чтой-то, я страдаю об премии этой, – сказал он отчетливо.

Стряпка, с интересом слушавшая этот разговор, тут радостно захохотала. Аполлинару медленно повела на нее глазами и снова обратилась к Тимке:

– Значит, совсем лишняя она тебе, премия?

– Это две десятки-то или там будильник со звоном? – усмехнулся Тимка. – Так я в Ойрот-Туре, на стройке, за один день две таких премии отшибу, чем тут за нее цельное лета париться. Ты уж кому другому ее выхлопатывай. Вон хоть Панька, братишка твой, почитай што без порток гуляет и старается во всю силу, ему сгодится. А уж я обойдусь как ни то...

– Во-он ты как смотришь! – спокойно удивилась Аполлиария. – Только на рубль меряешь. А как весь колхоз твою работу ценит, страм ли от него, почет ли, это тебе без интересу?..

– Проживем и без почету, – пробормотал Тимка, глядя куда-то вкось. – Уймонский почет недорого стоит, языком да по собраниям крутятся, еще и легче его найти, чем на поле.

Аполлиария подступила к нему почти вплотную.

– Ну и Тимка! – протянула она с изумлением, и впервые горячая, грозная даже нота зазвучала в ее голосе, еще более низким. – Красив же ты стал, Тимка!.. Будто кто подменил тебя, право. Эдакого не слыхала я от тебя раньше... Однако, видно, новые учителя у тебя завелись. И учат они тебя, учат, и впрок идет ученье!..

Она стояла перед ним в тревожных, струящихся к небу отсветах костра, чуть отклонив голову в сторону, стараясь перехватить потупленный Тимкин взгляд. Была она одного роста с парнем, а то и повыше.

Я смотрел на нее во все глаза. Молода она – вот что больше всего удивляло. До чего же молода!.. Хоть мы и слыхали, что девушка она, но как-то не соединялось это совсем, совсем юное лицо ни с званием увесистым бригадирши, ни с краевой ее известностью, – и с голосом, со всей повадкой ее не вязалось.

Конечно, не было ей и двадцати. Даже белый платок, низко, поскитски скорбно, с прямым перегибом на висках повязанный, ее не старил. Продолговатое, может, слишком длинное между носом и ртом, с темными строгими бровями – северной славянки лицо. Иконописное – сказали бы раньше, – рублевского века. Но куда там! В нем столько движенья было, горячности, а сухости никакой. Свежи и нежны щеки, несмотря на загар или природную смуглоту; и вовсе не скаредные губы приоткрыты в напряженном внимании. И не шло в голову суждение, красива ли, – так важно и ново, как всегда, было явление из вечернего сумрака этого, полного своей жизни, лица, с тем особенным и страстным наклоном, ей, только ей одной свойственным, как вот вглядывалась она в ту минуту в потупленные глаза парня.

– А что еще, какие учителя? – вдруг будто очнулся он и резко поднял голову. – Ты про кого это?.. – И, не дожидаясь ответа, сказал твердо, с силой, глядя прямо в глаза ей: – Знаешь чего, Полиарья, лучше в мой палисад не лазай, ты в нем не хозяйка. И не время нам

тут с тобой счеты сводить. А это запомни: мне учителей не надо. Ни новых, ни старых. Не нуждаюсь. – Он усмехнулся дерзко: – Слава богу, сам ноне грамотный.

И, повернувшись, пошел от нее, легко перескочил через суковатую сушину, положенную одним концом в костер, уселся невдалеке среди молодых парней и девчат. Лежа в траве звездой, головами друг к другу, они разговаривали между собой и пересмеивались.

Аполлинария постояла, глядя ему вслед, потом обернулась к стряпке.

– Таисья, ужин-от готов у тебя?.. Раздавай, – сказала она строго и пошла к ручью. Темная коса тяжело лежала на ее спине, прямой и по-женски зрелой.

Через несколько минут стряпка застучала черпаком по краю казана и звонко, на всю поляну, позвала ужинать.

Мгновенно все вокруг пришло в движение, со всех сторон из уплотнившейся дочерна темноты потянулись бригадники с мисками, котелками, столпились у костра. Сначала все шло там чинно и мирно, и уже усевшиеся поблизости истово, над ломтем хлеба, понесли ко рту дымящиеся ложки. Потом вдруг у казана зашумели, заговорили вперебой, донеслись голоса, и негодующие и жалостные.

– Это что ж такое!..

– Права не имеешь!..

– Всем давай!..

Шумели больше всего ребяташки, обступившие Таисью со своими чашками и мисками. А Таисья, не слушая их, весело и начальственно провозглашала:

– Маленьким без мяса!.. Без мяса маленьким!.. Отходи, давай, кто следующий!..

Но ребята не отходили, шум разрастался, две или три бабы решительно вступились за ребячьи права. В эту минуту подошла Аполлинария.

– Из-за чего спор? – спросила она.

Все сразу загалдели, обратившись к ней. Таисья на прямой вопрос бригадирши ответила не без вызова, что ей сам Федор Климентыч наказывал, как заезжал поутру, чтобы с этого дня мясо в

ужин выдавать только взрослым. Как ей председателем велено, так она и делает.

– Глупости это, – быстро сказала Аполлиария. – Трудодень ребяташки по своей работе получают, а есть всем надо ровно. Выдавай с мясом, как и раньше.

– Верные твои слова, деушка, – поддержал дядя Симеон, до того, впрочем, молчавший. – Им ведь, однако, расти надо, маненьким-то, расти...

– Так председатель же! – закричала Таисья. – Оглохли вы, чо ли? Я говорю, председатель велел, Федор Клпментьич...

Вон и Тимка слышал, он тут был. Тимка! Да скажи ты им!..

Тимка сидел поблизости на какой-то колоде, хлебал из-своей чашки. Не поднимая головы, сказал отрывисто:

– А не знаю я. Меня это не касаето.

Таисья всплеснула руками:

– Дак как же ты, Тимочка... Ведь при тебе же! Слышал ведь!

– Отвяжись ты от меня! – глухо, со злобой ответил Тимка. – Чего пристала? Говорю: не слышал ничего.

– Ладно! – вмешалась Аполлиария. – Это я сама разберуся с председателем, говорил он, нет ли. А вот я тебе, Таисья, говорю: выдавай по-прежнему. И кончено дело.

– А не буду по-прежнему! – крикнула та. – Ты что, главней председателя стала нонче? Не могу я его приказ нарушать. Я тут, у котла, отвечаю!

– Да ты что? – тихо изумилась Аполлиария, подступая к ней. – Ты что это в голову забрала? В чьей ты бригаде состоишь?.. Думаешь, ежели... – Она осеклась и, переменив тон, закончила сухо и властно: – Делай, как я велю. А не хочешь, – сей момент от котла отставлю и другого назначу!

Неизвестно, чем бы разрешилась эта история, – похоже, Таисья не собиралась сдаваться. Но в это время из темноты раздались радостные возгласы:

– Передвижка!.. Передвижка приехала!..

Многие, и скорее всех – ребяташки, кинулись в ту сторону, откуда закричали. Следом за ними пошла и Аполлиария. Таисья, видимо, решила подчиниться распоряжению бригадирши, просто ей,

наверное, не захотелось затягивать раздачу. На стану все снова пришло в чинный порядок, выстроилась очередь.

И чей-то мальчишеский голос удовлетворенно произнес:

– Ты побольше, побольше накладай, Таська. А то знаешь;..

IV

Механик кинопередвижки, длинноногий парень в кожаной куртке, неподалеку от костра уже устраивал все необходимое для зрелища. Ловко подрубил метра на полтора от земли высокую лиственницу и повалил ее так, что она, переломившись, осталась комлем на пне. Пообчистив середину ствола от сучьев, снял с вьючной лошади динамку и прикрепил к стволу, потом приладил проекционный аппарат. Видно, все это для него было дело привычное. Полотняный экран он натянул, с помощью бригадных мальчишек, опять-таки между двумя стволами лиственниц, точно по заказу, удобно и прямо стоявших поблизости.

Ручей шумел теперь где-то за экраном, заменяя отсутствующий оркестр, небольшой пригорок полого снижался к воде, – он и должен был стать партером, в подлинном смысле этого слова.

Оказывается, все тут, на горе, издавна было приготовлено для этого электрического колдовства.

Бригада, отужинав, тесно расселась на пригорке. Кино видали хоть и не часто, но не в первый раз, все понимали, в чем дело, все ждали с горячим любопытством и тем особым уютным волнением, какое предшествует ночному, вполне безопасному и поразительному зрелищу.

Смутно белел экран в великолепной раме мохнатых веток и звездного неба. Звезды, совсем близкие и ясные, будто вымытые, роились над темными верхушками деревьев в немыслимой и стройной тесноте, во всем торжественном разнообразии величин, крупные, важно переливающиеся, и те, едва намеченные в черных прогалах неба, и вся драгоценная пыль. Поток шумел неумолчно, ровно, все одним широким и мирным звуком.

Потом экран вспыхнул, звезды отступили и померкли. И, вовсе погасив шум воды, резко в лесной тишине застрекотал аппарат.

Мы, городские, видали этот фильм лет десять тому назад, он уже почти выветрился из памяти. Но, вспомнив его по первым кадрам, мы сразу обрадовались ему, как старому приятелю.

То была простодушная и жизненная картина, с молодыми, очень увлеченными и старательными актерами, полная движения и летнего солнца. Многие, наверное, припомнят ее. Там, в центре всего, монастырь, расположенный в красивой горной местности, а главный герой – монастырский звонарь Иона, здоровенный парень, хитрец и силач, с крупным и веселым лицом. В село, что возле монастыря, приходят белые, арестовывают большевиков из ревкома, запирают их в монастырском подвале. Героиня, деревенская девушка, пытается освободить своего брата, большевика; звонарь Иона ей помогает. Тут же, рядом, – корысть, жадность и всякие блудни монахов.

Экран дождал и мерцал, лента была старенькая, однако еще вполне разборчивая. Механик громко прочитывал надписи, нещадно перевирая слова. Но его мало кто слушал, все и так понимали суть дела. Когда на экране в деревню ворвались белые, сверкнули погоны, – снизу, с земли, погруженной во мрак, сразу тревожно воскликнули:

– Кайгородов!..

Насторожившись, вытянули шеи, кто-то привстал на коленки, но его, видимо, сердито дернули снизу, и высунувшаяся голова пропала. На экране белогвардейцы творили расправу, металась скотина, бегали ополоумевшие бабы, плакали дети. И все это было очень знакомо и понятно здесь, на Уймоне, где всего тринадцать лет тому назад кипела кровавая мешанина, жесточайшая за всю историю сибирской гражданской войны, где при Кайгородове рубили и пороли каждого десятого, – и память о тех годах была жива. Да и местность в картине очень походила на алтайские предгорья.

Кончались части, треск аппарата смолкал, обрывалась вторая жизнь, ловкая и стремительная. Снова победно выступали звезды, еще вольней шумел поток, прохлада живой, все углубляющейся ночи становилась ощутимой.

– Давай кого другого вертеть! – крикнул механик, доставая ленту из третьей коробки, – Тебе, брат, телячий хвост крутить, а не динаму, – мирно сказал он какому-то малому, выполнявшему эту почетную обязанность. Действительно, тот крутил неумело, рывками, то

слишком усердствовал, а то вдруг замедлял, видно зазевавшись на картину, и свет слабел, почти угасая.

– Становись другой кто-нибудь, – повторил механик.

Тут многие повернули головы к Тимке Вершневу.

– Вот Тимка сумеет... Эй, Тимка!.. Вылезай, чо ли!..

Вершнев сидел с краю, впереди меня, рядом с Таисьей. Перед началом картины он устроился удобно, положив соседке голову на грудь, та крепко обняла его. Так и полулежал он примерно до середины первой части, потом приподнял голову, неотрывно уставившись на экран, а к началу второй и вовсе выпрямился и даже, когда Таисья стала опять клонить его к себе, нетерпеливо снял с своего плеча ее руку.

Теперь она зашептала ему:

– Не ходи, Тимочка, чего тебе там, сиди тута...

Но он вскочил и направился к аппарату.

Дело у него пошло отлично, свет сиял ровно, не мигая.

Разгорались бои, в лесистых горах сходились партизаны.

Красивая девушка, верная, храбрая и предприимчивая, пробиралась в монастырь, заглядывала в подвальное оконце, видела своего брата, измученного, заросшего диким волосом. Пленники томились смертной мукой, назавтра их ожидал расстрел. Зрители, вполне захваченные ходом действия, то замирали в чуткой тишине, то ахали и бурно волновались.

Тимка, открутив три части, вдруг отошел от динамо.

– Ты куда? – удивился механик. – Устал, что ли?

– Уставать тут не с чего, – мрачно сказал Тимка. – А вертеть больше не буду. Смотреть хочу.

– А отсюда разве не видно?

– Мешает.

Не возвращаясь на старое место, он уселся впереди всех и, не взирая на уговоры и просьбы, наотрез отказался крутить.

Тогда вызвался тот дюжий колхозник в поярковой шляпе, и динамо снова заработало исправно.

Красивая девушка скакала, скакала по лесам и долам, пригнувшись к шее коня, тяжелая коса ее билась за плечами. Не лицом, но смелостью движений, зрелым и легким станом, еще чем-то походила она на Аполлинарию... И вот они, партизанские костры в

долине. А молодец Иона в переполненном народом храме разоблачил придуманное монахами чудо, и разгневанная толпа повалила выручать большевиков, которые – вот уже – стоят перед дулами. Тут так лихо принялся Иона крушить оглоблей белогвардейцев, – где ни махнет, там улица, – что никак уж невозможно стало усидеть смирно. Чуть не вся бригада повскакала на ноги; загалдели, восторженно хохоча:

– А, давай, давай!..

– От, язви!..

– А вон энтото еще, ишь спрятался!..

И чей-то совсем уж восхищенный голос крикнул:

– Эх, братцы!.. Вот бы к нам его, стога-то метать!..

Так, под громовый хохот, рукоплескания и крики, Иона отхватил офицерской шашкой полы своего подрясника, так он поцеловался с красавицей, так он ехал на зрителей во главе партизанского отряда с красным знаменем в руках, молодецки поглядывая на девушку, а она ехала рядом и смотрела на него с нежной насмешливостью.

И погас экран. Снова полным разгаром своим выступили звезды, снова свежо зашумел поток. Но что-то переменялось в ночи. Стала она будто откровенней и доступней. В неподвижной тьме ясно угадывались пространства, высоко взлетевшие под небо, но не страшные, а братски близкие телу. Все прежде разъятое, раздельное – черная, горящая высь, травянистая земля, нагретая за день, и горстка людей, закинутых работой на гору, высоко над долиной, и шумно несущаяся вода, и безмолвная сухая хвоя – все это сошлось воедино, как бы проникло друг в друга, породнилось. И прохладный ветер, волной пробегавший по поляне, казался теперь приятным, свойским, – он был дыханьем все той же простой и единой жизни.

Мне было давно знакомо и дорого это переживание. Его и сейчас породила властная работа искусства, – а оно присутствовало в этой незамысловатой, но верной и доброй картине.

И хотелось мне знать, что же чувствуют другие зрители, что творится в глубине их душ. Расспросить?.. Пожалуй, никто не скажет. Бригадники расходились в темноте, возбужденные и веселые, похваливая картину, а больше всего одобряя богатыря Иону.

– Вот бы к нам-то эдакого! – все повторяли они.

– Да уж этот бы наработал!..

Скоро все стихло на поляне, люди разбрелись спать по стогам, улеглись вокруг угасавшего костра. Спутники мои тоже разошлись кто куда. В ровном, бестелесном сумраке поляны, среди нелепых, размытых теней стогов и деревьев только венец раскаленных углей вокруг черного котла выделялся издали единственным цветовым пятном; этот цвет был горяч и груб в сравнении с тонким, игольчатым мерцанием звезд, но и он не дерзил, не нарушал глубокого спокойствия ночи, – он даже был, пожалуй, главным средоточием ее древней сдержанной силы.

V

Захватив свой кошемный потник, я отправился на тот край поляны, к самому дальнему стогу. В тон стороне земля уж заметно убегала из-под ног, страшновато округлилась книзу. Там я с вечера заметил широкий просвет в стене леса, открывавший даль Уймонской долины. Мне и хотелось улечься здесь, чувствуя высоту, и чтобы утром встать и сразу увидеть Алтай.

Сейчас ничего нельзя было разглядеть, кроме смутного лесного моря под ногами, да горящее звездное небо впереди в огромной размахе выгибалось к горизонту, падая в черную тучу земли.

Было новолунье, и молодой месяц, наверное, прятался где-нибудь за нашей горой.

Я обошел стог, подсунул с краю свою кошму и улегся, кое-как вкопавшись в тугой, колючий бок стога; как сумел, завалил себя сверху. Едкие, мирные запахи сена и конского пота, пропитавшего кошму, мгновенно заволокли быструю череду дневных лиц, имен, солнечных искр; все слилось, исчезло.

Проснулся я, верно, от холода, очень неуютно зябла спина – видно, сползло с меня сено. Хотел было устроиться получше; повернулся захватить рукой сползавший ворох и – тут же замер. Совсем близко, рядом, за округлым боком стога, говорил мужской, молодой и хрипловатый голос. И столько было в нем встревоженной страстной силы, даже когда понижался он до глухого шепота, – столько страстности, неловкой, но побеждающей всякое стеснение...

Я замер, не шевелясь, и сон слетел с меня, не мог я не слушать. Ведь это же Тимка Вершнев... Ну, конечно, он!

– Не понимаешь ты!.. Эх, не понимаешь! – громко, прерывисто шептал он. – А ты пойми, на вот, хоть влезь в меня, я тебе всю душу вывернул!.. Пойми же ты, однако, не город этот мне нужен, не одежда, не деньги легкие... Ну, что она, Ойрот-Тура, с виду деревня та же, только что дома повыше... В Новосибирском был, в Омском, знаю. И опять не про то я... Не в улицах сласть, что людей там много, трамваи... Это мальчонке лестно, поглядел – и надоело на третий день, ходишь, как по Уймону. А мне ведь из себя вырваться надо... Из себя, понимаешь?..

Он передохнул тяжело и зашептал еще горячее, быстрее:

– Тут я чисто в шкуре какой хожу, и сквозь меня она до нутра проросла, как зверь все равно. Грузно мне, тошно, глаза застилает, к земле гнет. И все уймонское меня облепило, и сам-то я дурак дураком. Не вижу ничего, не знаю, тыкаюсь все равно, что щенок слепой...

– Нет, постой, погоди, однако, – заторопился он. – Знаю, ты и раньше все напевала, дескать, и тут можно... Это знаю я, что и тут все к лучшему идет, и самому можно... Да ведь тугото как!.. Еле-еле... Пластом переползаем. За годом год... А я быстрее могу жить! Я очень даже скоро все взять могу. Я все понимаю, все мне открыто...

– Не хвалюся я, нет! – воскликнул он и тут же, испугавшись, что громко, понизил голос. – Я тебе говорю, а смотрюсь в себя, как в воду, и все до доньшка вижу. Слепой я, дурак нетесанный, а ведь вглубь-то я все понимаю, всю землю чувствую, всех людей. Вот – как усмехнулся человек или там поежился, или говорит что, а сам про другое думает, – завсегда мне все открыто – к чему это он и чего ему надо. И не только свои мужики али ребята... Вот наемни который инструктор приезжал, из Усть-Коксы, – начал он тут речь говорить...

– Да это все зря я! – вдруг прервал он себя с досадой. – Не об этом я хочу... Я про то, однако, что мне учиться Только побыстрее бы, спешно, да-погуще бы как... Про все, чему только ни учат. Я с места бы взял, разом... И. уж не отце-, пился бы до конца, пока все не превзойду! Как клещ бы впился...

Он вздохнул, видно улыбнувшись.

– Ах ты, мать честна! Дотянуться бы только поскорей!

Сила есть войне, не занимать, знаю... Есть сила!.. И самостоятельность... Уж я не закружуся, запить там, загулять или еще какие пустяки... Все дальше пойду, весь мир какой брат мне будет... Как старики наши поют, – вся тайная... Вся тайная отверзится... Я ведь как сделать-то хочу... Да ты слушаешь; Линка, аль спишь?..

– Нет, слушаю я, – невесело ответил низкий женский голос, и с изумлением узнал я в нем голос Аполлинаруи.

– А все не веришь, не веришь? – зашептал Тимка. – Опять скажешь: накатило... Нет, Линушка, теперь уж крепко, это, навечно. Что про картину я сказал, это так и есть. Но от нее мне... ну, только толчок будто сделался. Ведь все это и раньше во мне было, и цельное лето промаялся я, то есть прямо скрутился от тоски, хоть в петлю. И уж надумал было, совсем решился... ну – сказаться тебе, чего надумал-то... Да все как-то не вязалось одно с другим. И в город уйти надо... Надо мне, понимаешь! Вот уж до коих подступило, не могу... И от тебя уйти духу нет... Нельзя ведь мне без тебя, Лина, я это каждый день, каждый час вижу. А опять же знаю, строгая ты, свой план у тебя во всем, и с Уймоном не торопишься... Что ж теперь делать?.. Измытарился я вконец... А тут вдруг как свет! Ты говоришь, чудно тебе это, чудно, сам знаю. Ведь не доказал мне никто, не скомандовал: дескать, вот так и так надо. Ну, что-там? Монахи, борьба... И ведь не то чтобы пример какой... А только вдруг свет, свет в меня пошел, в горле сдавило... Кончилось представление, – тут и увидел я свою силу. Эх, да все я смогу, что ни лежит предо мной! Все одолею!.. Вот что со мной стало. И сошлось одно с другим, что раньше вразброд шло...

Он помолчал, потом заговорил умиротворенней, тише:

– Так и всегда со мной, от картин от этих, от постановок... То есть, ясно, какая понравится. Другая, так тошно с нее, после три дня совестно на всех людей плядеть, и руки и ноги вянут. Ну, а уж понравится, – так ведь в городе, бывало, как птица летишь оттуда и кругом будто праздник Первое мая. Так и обнял бы всех... аль бы подрался не сходя с места. С гадом с каким, с фашистом бы, чо ли... Нет, не то, что во хмелю, по-другому. Смелей, красивше... У всех так бывает?.. Не знаю я...

Нет, ребята есть, – глядишь, только на. улицу вышел – и уж он орешки себе лузгает, и разговор про то, про се, и не вспомнит.

А я дан цельный год могу помнить... Вот, однако, и книжка тоже... Где про разное. Не те, что в школе учили, другие...

И чтобы по-правдашнему было написано... Опять же смотришь, нет в ней никакого наставления. А что только и сделается с нее!.. Летось вот прочел я книжечку... Не помню, кто сочинял, Пушкин будто. Ну, просто там живут старичок со старушкой.

Ели они ужасно много, только и знали что ели. И ничего не случилось у них, и будто ничего не написано такого... Вот, ведь, не знаю, как и передать... Ну, двери у них шибко скрипели... А после, в конце, померла старушка. И старичок сильно заскучал по ней. Заскучал он, значит, затомился и помер тоже.

И все тут... Так веришь ли, нет ли, а прочитавши, чуть-чуть не взревел я с этой книжки. Так меня взяло... С чего, и сам не пойму... Ну что там? Старички какие-то, помещики, это даже надо осудить, ежели по-серьезному... А меня опять как на крыльях подняло, чтой-то мне тут опять приоткрылось. И ночь-то я мало спал, все думал... А на другой день в больнице по настилке потолочных балок две нормы сделал, вот как... И всю жизнь буду помнить ту книжечку...

Тимкин голос замолк. Самая тайная, самая черная тишина ночи в эти минуты доспевала на горе. И ветер стих. Не шелестела ни одна былинка. Только ручей вдалеке шипел нескончаемо, осторожно, одним ровным звуком, и от него было еще тише.

Звезды в зените, прямо над моим лицом, горели светло, упоенно, их будто стало еще больше, и мелкие, слабые явственно отступали в свои пустые глубины, нарушая цельность и гладкость черного свода, а крупные вышли наперед, дрожа и пуская в глаза мне сияющие паутины. Я лежал, не шевелясь, не зная, что делать мне... Встать, уйти, – они услышат, спугну их и, может быть, все разрушу... Да ведь пока и говорит-то он такое, что не грех слушать... Нет уж, лежать, лежать, по-прежнему затаив дыхание!

Там у них зашуршало, Тимка неуверенно окликнул:

– Лин, а Лин!..

– Что тебе?

– Так как же мы с тобой, а?

– А все так же, – тихо сказала Аполлинария. – Вот ночь переспишь, а утром Таисья тебя поприветит, все и слетит с тебя, и

всем болезням твоим конец, посмеешься только, все равно как сну несурьазному...

– Ну вот, – горько усмехнулся Тимка. – Опять сначала.

Будто и не говорили... Да что же я душу тут всю перекопал перед тобой, – зря, выходит?... Ты слушала меня аль нет? Разве для обману я говорил тебе? Ведь не так обманывают-то, эх, Линка!

– Слушала я все, – заговорила она медленно и печально. – Слушала, и вижу, что правду говорил, вот как она этот час у тебя на сердце лежит, да и нету тебе никакой корысти теперь обманывать меня... Ну, а толк-то какой в твоих словах? И по весне говорил ты мне много, – заслушаешься, бывало. И про картины поминал, и про книжки, и какой от них переворот в тебе... А потом что было?... Помнишь, как у реки, у парома позвала я тебя?... Как нож в меня тогда (и на низкой ноте дрогнул, оборвался ее голос)... Как нож!..

Она поборола себя, встрепенулась:

– Я про чувства свои, про слезы не мастерица рассказывать. Не люблю. Только все поняла давно уж. Все едино тебе, перед кем ни проповедывать и кому руку жать и в чьи глаза плядеть. Везде ты только себя, себя одного видишь и сам собой весь мир застишь. И всем-то ты чистую правду говоришь, и мне, и Таське, и третьей, и десятой... Таське-то, небось...

За стогом сильно зашумело, и Тимким голос, смелый и счастливый, громко произнес:

– Линушка, знаешь чего?

– А что? – быстро откликнулась она, – А то, что я тебе последний раз говорю: брось про Таську.

Смешно мне, как ты ее с собой равняешь. Смешно, и все тут.

Да ты что, сама не понимаешь, чо ли? Как костыль она мне нужна была, подпереться, да от тебя отхромать. Поближе было, только руку протянуть, вот и взял, не глядя. И напоказ перед тобой с ней крутил, и через силу старался во всем поперек тебе ставить, чтоб только на тебя осерчать, расколотся с тобой напрочь. Умная ты, однако, сама должна была видеть, да и понимаешь все, не поверю я... Таська!.. Да ежели бы по-серьезному, что ж я, лучше бы не мог сыскать! Совсем ведь бессмысленная девка, ну, нестоящая...

– Бессмысленная, а тебя вон как спутала.

– Как это спутала?

– А ты знаешь, у кого она ума набирается. Я сказала тебе, к кому она в заречье бегает да кто ей родные.

Тимка засмеялся.

– Ну эта твоя история из газетки вычитана. Что ты от святости своей, как, значит, активистка... Да мне-то что! Хоть бы и бегала. У нас с тобой об ней кончен разговор. У нас своих делов до утра не переговорить. И все сообразить надо. Ты подь сюда ближе... Да чего ж ты!

Что-то резко рванулось, зашуршало и смолкло. Потом зазвучал Тимкин тяжкий шепот:

– Так что ж тебе, Полинарья... богом-господом, чо ли, божиться?.. Да не молишься ты, и я поотвык. Ты мне так поверь.

Сказал: без тебя – никуда. Так и будет. До зимы – скажешь, буду зимы ждать. Еще набавишь, опять потерплю. Говорю тебе: теперь на все хватит у меня силы. Веришь теперь, ну?..

Ну?.. – повторил он властно.

Стихло. Потом зашептались едва слышно:

– Линушка, ты на каком ходишь-то?..

– А сам не сосчитаешь?

– Не сбиться бы...

Засмеялась тихонько.

– На четвертом, – шепнула она. – Скоро прознают уж.

– Теперь пускай все прознают.

Зашумело сено. Не дыша, осторожно, я приподнялся, чтобы встать и уйти. И уж когда, крадучись, сделал я занемевшими ногами два-три шага по скользкой, росистой, скошенной траве, раздался Аполлинарьин голос, звучный, горестно-веселый:

– Ох, тяжко мне, Тимочка, с тобой будет, ох, чую, тяжко!

Горя не оберешься... Да что уж!

Скользя по траве и спотыкаясь, я спускался по крутому склону в темноте, едва-едва потускневшей, шаги невольно ускорялись, ноги побежали сами, и, разлетевшись, выставив вперед руки, я ткнулся ладонями в толстый, шершавый ствол лиственницы. Обхватил его и замер на месте. Что там было, подо мной?

Обрыв ли, пологий ли скат?.. Смутно чернела внизу щетина нагорных лесов, холодным духом сырости, древесной гнили,

кислинкой березового листа тянуло оттуда. Уже долинная тьма была чуть разбавлена белесыми полосами катунских туманов.

Начинал светлеть безмерно далекий край неба, и там робкой, воздушно-серебряной чертой наметились зубцы и купола Терехтинских белков. Звезды в той стороне неба проредились, поблекли, но выше и над головой они еще горели торжественно, лучисто. Я подумал, что люди, которые вышли в эту минуту на воздух из аилов, крытых лиственничной корой, из войлочных юрт Кош-Агачского плато, из пошатнувшихся избенок Уймо́на – все они видят вместе со мной те же созвездия, и шепчут что-нибудь, и хвалят свой желтр-зоровой Алтай.

А в Москве, пожалуй, и спать еще не ложились.

1937

Владимир Германович Лидин

Сад

Под вечер полк переправился в город. Впереди, с высокого берега реки, спускались яблонные сады, коричневые яблони с могучими кронами, узловатые кривые стволы многорожавших деревьев. Все было полно тонкого запаха плодов, осеннего приношения земли, ее зрелости.

Медные звуки рожков протяжно поплыли в чистейшем воздухе осени – маневры были закончены. И маленький городок всеми тремя сотнями своих старых домов и яблонными садами принял жаркое, шумное и уставшее за неделю походов племя. Запахло табаком, конским потом, дымом походных кухонь, сложными запахами жизни, движения, привала бойцов, – всплеснулась гармоника.

Красноармейцу Глушкову, бывшему садовнику московского парка Культуры и Отдыха, достался ночлег у старухи-бобылки. Ветхий ее домишко стоял на горе, и к реке спускался яблонный сад, полный старых, криво разросшихся и запущенных яблонь. Глушков, круглоголовый, хозяйственный и деловой паренек, привел еще односельчанина, Егора Грачева, работавшего с ним вместе по садовому делу.

– Ну, мамаша, мы у тебя здесь в шалаше заночуем. И тебе не беспокойство, и нам хорошо, – сказал он хозяйке.

Красноармейцы деловито осмотрели шалаш, натаскали сенца, исхлопотали самоварчик, приготовились к роздыху.

– Сад у тебя, мамаша, большой, но запущенный, – говорил Глушков в благодушии. – Ты присаживайся, однако, попробуй нашего варева.

Он разлил из котелка суп на три человека, хозяйственно нарезал хлеб, достал из тряпицы деревянную ложку. По привычке садовода бережно хранить семена, были в его вещевом мешке аккуратно завернуты в холщовые тряпочки сахар, соль и табак, и даже кривой садовый нож, который всегда должен быть под рукой у хорошего садовода. Старуха, тощая и болезненная, с коричневыми пятнами на длинном лице, сидела прямо, дичилась, издали протягивала ложку

за супом. Ей было пятьдесят девять лет, жила она одна, старик ее умер год назад от простуды.

– Ты, мамаша, должна знать, – говорил между тем Глушков, – яблоня, которая без присмотра растет, – пустая яблоня.

Что толку, если она сучья во все стороны выгонит? Будет она родить один кислый дичок, какая человеку от этого радость?

Ты что же, одна, что ли, здесь управляешься?

– Одна живу, – сказала старуха.

– И сыновей нет?

– И сыновей нет. Был сын, да помер.

– И внуков нет?

– И внуков нет. Никого нет. Одна живу.

Глушков поднес ложку ко рту и задумался.

– Да, – сказал он затем, – одной тебе с садом не обернуться.

Ему стало жаль этой высокой костистой старухи, молчаливо предававшейся вдовьей судьбе, были коричневые пятна на ее лице похожи на два родимых пятна на лице матери. И он сейчас же, как только покончили с едой и чайком, отправился осмотреть сад. Он с сокрушением обходил эти три десятка непомерно разросшихся яблонь, осматривал поврежденные стволы, дичающие побеги, посвистывал сквозь зубы. И так же молчаливо, как длинная тень, следовала за ним старуха, оставшаяся одна со своими кривыми дичающими яблонями, похожими на ее оскудевшую жизнь.

– Твой старик кем работал? – спросил Глушков на ходу.

И старуха рассказала, что старик работал бондарем на заводе, потом служил сторожем при лесном складе, в лесу же на сплаве простудился и помер.

– Нет, мамаша, – сказал Глушков вдруг решительно, – доброе дерево не хуже сына там или дочери на старости поддержку должно оказать. Яблони эти кормить тебя могут.

Вечер уже наступил, и над яблонными садами домовито тянуло дымками человеческого роздыха и первыми негромкими песнями, еле шевелящими тишину городка. Потом Глушков вернулся к шалашу возле самой старой и раскидистой яблони.

– Ну, Грач, – сказал он горбоносому, любителю походных приключений, Грачеву, – тебе охота, конечно, в город сбегать,

пошуровать... только я тебя не пущу. Я тебя на рассвете разбужу, будешь нужен.

И он не отпустил Грачева. Они вскоре легли в шалаше, и сразу сильный и свежий сон налетел на обоих, как порыв ветра. Глубоко и уютительно пахла антоновка, наваленная грудой в углу шалаша. И маленький городок, заполнившийся вдруг людьми, автомобилями, походными кухнями, с белым древним монастырем на горе, тоже отдался глубокому сну.

На рассвете Глушков разбудил Грачева. Он успел уже сполоснуть лицо водой из ведра, его круглые щеки блестели.

– Вот что, Грач, – сказал он обстоятельно, – без мужской руки этому саду пропасть. Ты, милый человек, рассуди – может ли старуха со всем этим справиться? Мы с тобой и приведем все в порядок. Я уже и ельник припас, и инструмент добыл.

И он показал на целую грудку ельника, нарезанного им в прибрежном леску. В хозяйстве старухи, под насестом, закапанным курами, он нашел поржавевшую садовую пилку, в его мешке был завернутый в холщовую тряпочку и теперь пригодившийся садовый нож. Грачев поворчал, сон еще туго лежал в его уставшем за дни переходов теле. Но Глушков так и не дал ему вторично уснуть, и тот выбрался следом за ним в утренний сад, синий, дремлющий и отродивший. Нашел Глушков в ветхом хозяйстве бывшего садовода еще жестянку с высохшей масляной краской, развел ее керосином, и красноармейцы принялись за деревья. Они отпиливали лишние ветви, дичающие побеги, сухие сучки, смазывали краской повреждения на коре, старые раны, в которых гнездятся личинки вредителей, окапывали на зиму стволы.

К утру поредел, стал прозрачнее разросшийся сад. Туман, как весенний цвет, лежал на яблонях, и сильно и стойко пахла навороченная земля, ее винные соки, ее густое тепло, которое должно сберечь от морозов нежные и пущенные близко к поверхности корни. Потом Глушков стал обвязывать стволы заготовленным ельником, чтобы зайцы не объели за зиму кору. Лица у красноармейцев были в поту, черные от приставшего древесного сора.

– Вот так и зайчику здесь будет нечего взять, – говорил между тем Глушков любовно. – Тебе, Грачу, два часа не доспать, а старухе на этом, может, цельную жизнь строить.

Старуха стояла на обочине сада, высокая и прямая, разбуженная ранними голосами в ее саду. Красноармейцы сложили в кучу спиленные ветки, разровняли граблями навороченную землю, обмыли руки и лица водой из ведра и сели за утренний чай, необыкновенный после этого труда на рассвете.

– Вы, сынки, хоть ваше имя скажите, кого мне поминать, – сказала старуха.

Слезинка вдруг выпала из ее глаза и покатилась по коричневому пятну на щеке. Пришли откуда-то эти деловые и хозяйственные сынки, пожалели ее старость, наполнили старый сад молодыми голосами, свежим звуком пилы, горячей утренней работой садоводов.

– Имена наши – бойцы пехотного полка славной Пролетарской Краснознаменной дивизии, и окромя никакого имени тебе помнить не надо, – сказал Глушков. – И если бы пришли не мы, а другие бойцы, каждый так же бы по мере сил постарался. А еще должен вам, мамаша, сказать – к концу там третьей или четвертой пятилетки, может быть, каждый гражданин должен будет в обязательном порядке иметь свой яблонный сад.

Глушков отпивал из кружки горячий чай, хрустел сахаром; круглые щеки его лоснились. Потом теми же размеренными движениями садовода, какими привык он пересыпать семена на ладони и готовить для каждого сорта особый пакетик, было старательно завернуто им в тряпочки все его походное хозяйство и послуживший для дела садовый нож.

Полчаса спустя горнисты протрубили на площади сбор.

Красноармейцы уже были готовы. В шинели, с вещевым мешком за спиной, Глушков пошел к дому проститься с хозяйкой.

– Ну, мамаша, – сказал он, подавая жесткое ребрышко ладони, – живи хорошо. Весной, как цвет пойдет, первым делом следи, чтобы гусеница или еще какой червяк не завелся. Если, скажем, тля на лист сядет, табачным раствором опрыскивай.

Яблоко должно уродиться хорошее.

И красноармейцы торопливо зашагали к городской площади. Отовсюду, со всех дворов, с мест случайного ночлега в походе, торопились красноармейцы, походные кухни были впряжены, кони ржали. Протяжно и строя в походный порядок всю эту массу людей, прокатилась по площади команда. Маневры были закончены, теперь

предстояло возвращение на зимние квартиры и отдых. Высокий и заливистый тенорок левофлангового Силантьева затейливо вывел первые слова походной песни.

И разом, вслед за первым и сложным коленцем певца, обрушилась могучая громада голосов. Они как бы сами собой раскрывали на ходу окна, извлекали жителей, расцвечивали женские руки платками, похожими на спугнутых голубей в этот утренний час. Теперь пошли сады, тысячи яблонь, корявые стволы, опустошенные, готовые к зиме, к густым дремотным месяцам отдыха.

Переправившись на другой берег, войдя уже в походный размеренный шаг, Глушков оглянулся на покинутый город. Высоко к самому небу уходили деревья. Туман лежал на низких развесистых кронах яблонь, и казалось, что это – цветут сады.

Они были как бы осыпаны белыми цветами, обильным полноцвельем весны, обещающим невиданные урожаи. Ему показалось еще, что над крутым спуском яблонного сада он увидел старуху, с коричневыми пятнами на старом лице, похожими на родимые пятна на лице матери. И белые клочья тумана знакомо повязывали платком дорогое лицо, приближенное из детства, из самых начальных дней его жизни...

А полк уже шел по осенним полям, бывалый песенник выкидывал своим тенорком коленца, обвал голосов сопровождал это его заливистое вступление, и все дальше и дальше уплывал городок со своими расцвеченными туманом садами, полными роскошного цвета весны, и старым, любимым и возвращенным из прошлого лицом матери.

Февраль, 1938

Александр Степанович Яковлев

Глухарь

I

Глухаренок родился в глухом чапыжнике, под еловыми ветвями, нависшими крышей над гнездом. Он, как темный шарик, откатился на слабых беленьких ножках в сторону, грудкой прилег к земле и впервые плянул кругом. Над головой у него протянулись темные колючие ветви, между ветвями белели пятна света, а сбоку, рядом... что-то ворочалось большое, черное и звало:

«Ко-ко». Глухаренок, услышав зов, быстро поднялся, подбежал к черному, ткнулся клювом в мягкие перья, перья раздвинулись перед ним, он просунул голову и пролез под крыло матери. Там уже кто-то возился, маленький, мягкий, – теплый. Глухаренок пискнул: «Пиу-пиу» и опять услышал те же звуки: «Ко-ко». Потом крыло открылось, мать поднялась на ноги, и глухарята торопливо отбежали от нее в стороны. Она, осторожно ступая и при каждом шаге квохча, пошла. Глухарята – их было восемь – побежали за ней, перегоняя друг друга. Они сталкивались, сбивали один другого и пищали жалобно: «Пиу-пиу, пи-пи».

Глухарка с детьми вышла на маленькую полянку, окруженную со всех сторон высокими деревьями. Здесь было так много света, что глухаренок остановился, закрыл глаза и так минуту целую стоял, покачиваясь. Но мать позвала, и глухаренок вместе с другими побежал. Глухарка шла по опушке, наклонив голову к земле, полуоткрыв крылья. Она время от времени останавливалась, поднимала голову высоко вверх, смотрела во все стороны, слушала. А маленькие глухарята, сбившись у ее ног, стояли неподвижно. На опушке, возле старой сломанной – сосны, чернела высокая муравьиная куча.

Глухарка взмахнула крыльями, взлетела на вершину кучи и начала ногами разбрасывать ее. Мелкие палочки, хвоя, кусочки земли и вместе с ними муравьи и муравьиные яйца полетели во все стороны. Глухарка поспешно слетела с кучи, схватила белое яичко в клюв и

позвала: «Ке-ке». Глухаренок вместе с другими глухарятами бросился к матери, к ее клюву, и первый, так как он бегал быстрее других, схватил яйцо и проплотил. А мать уже подняла другое яйцо, опять крикнула, глухарята наперебой, отталкивая один другого, хватали белые сладкие яйца и плотали их. Это была веселая беготня.

Муравьи тащили яйца назад, в муравейник. Глухарка еще два раза взлетала на кучу и разрывала. Глухаренок уже насытился, ленивее бежал на ее зов, ему стало тяжело. Он припадал грудкой к земле, потому что его слабые ножки уже не могли его носить. За матерью еще бегали два, самые слабые глухаренка.

Им теперь доставалась вся пища.

Потом глухарка громким и протяжным «ко-ко» позвала детей с собой, пошла вдоль опушки, опять время от времени поднимая высоко голову и слушая, не крадется ли враг.

На поляне торчал большой пень сосны, вывороченной бурей.

Тонкие корни поднялись вверх, как пальцы чудовища, и между ними застряла земля. Под корнем виднелся желтый песок, сверху чуть забросанный прошлогодними листьями и хвоей, Мать разрыла листья, грудью припала к теплему песку, растопырила крылья, и птенцы один за другим пролезли к ее теплему телу. Песок ласково грел их нежные ножки, глухаренок забился далеко в перья к самому боку матери; весь сжался в комочек и задремал. Он слышал, как справа и слева возились другие глухарята, как вздрагивало иногда тело матери, – было хорошо дремать в тепле. Мать повернулась, толкнула глухаренка, он перестал дремать, потянулся и, наступая на перья, выпянул из-под крыла. Солнце опять ослепило его. Он на миг зажмурил глаза, потом, высунув головку далеко между перьями, долго глядел во все стороны. Мать большими круглыми глазами заботливо смотрела на него.

Глухаренок выпрыгнул из-под крыла, обежал кругом матери. Он старательно смотрел на землю, маленьким желтеньким клювиком перебирал камешки, кусочки дерева и хвои. Он искал муравьиные яйца, как их помнил, – белые, круглые. Из-под крыльев матери вылезали и другие глухарята, потягивались, растопыривали крылышки, качались, падали, поднимались. Они забегали по желтому песку, по листьям. Они попискивали, уже проголодавшиеся. Мать ласково сзывала их, не позволяя далеко отбегать. Потом она поднялась

на ноги, три глухаренка еще дремали под ней. Глухарка, высоко поднимая ноги, пошла. И за ней – суетливой толпой глухарята.

Лес уже изменился: верхушки деревьев покраснели. Было прохладно. На другой стороне поляны у корней деревьев ложилась тень. Глухарка подвела детей опять к муравьиной куче, разбросала ее и, сзывая детей, кормила из своего клюва. Глухаренок ждал ее крика. Со всех ног первый бежал к ней, отталкивая других. Потом он что-то понял: он сам отыскал на земле муравьиное яйцо, остановился над ним, не решаясь съесть. Он жалобно запищал: «Пиу-пиу», – мать подошла; взяла яйцо, сказала: «Ке-ке». Глухаренок из ее клюва взял яйцо и проглотил его. И потом, отбежав, он отыскал на земле яйцо сам и, уже не дожидаясь матери, съел. Мать сказала беспокойно и коротко:

«Ко», – и быстро пошла от муравейника. Она привела выводок к гнезду. Здесь она долго стояла неподвижно, высоко подняв голову, слушала, ждала. Кругом было тихо. Глухарка села на гнездо, растопырила крылья. Глухарята пробрались через перья к ее телу, повозились, попищали и утихли, засыпая.

II

Глухарка просыпалась рано, едва в лесу краснела заря, поднималась на ноги, вытягивала крылья, одеревеневшие за ночь, а голодные глухарята пронзительно пищали. Она быстро выводила птенцов на опушку леса, вела к муравейникам, кормила, от муравейников вела к сечи, где у корней срубленных деревьев в молодой траве возилось множество насекомых. Она сзывала детей, каждому указывала, что можно есть. Пищи было много, глухарята насыщались быстро. Сама глухарка тоже ела много, ела насекомых, прошлогодние иссохшие ягоды, белые корешки трав и, насытившись, шла с птенцами на песок, на солнышко.

Птенцы старательно прятались в ее теплых перьях, дремали, отдыхали и, отдохнув, снова вылезали на свет, бегали вокруг матери, точно веселые подвижные шарики. А лес вокруг поляны стоял все такой же темный. Иногда над поляной пролетали большие птицы, глухарка вся вытягивалась и строго, отрывисто говорила: «Ко», – и все птенцы рассыпались в траву, плотно прислонялись к пням, и замирали

неподвижно, и были, и были похожи в эти минуты на темные кочки. Птица пролетала, глухарка успокоительно говорила: «Ко-ко», – и птенцы снова бежали за ней.

Птенцы росли быстро, и уже на шестую ночь глухарка не повела их к гнезду, а осталась ночевать возле поваленной сосны под корнями. Глухаренок был больше своих братьев и сестер.

У него потолстела голова, он был темнее других, бегал быстрее и дальше всех от матери, и мать с особенным беспокойством каждый раз звала его. В полдень, греясь на солнышке, он уже перестал подлезать под крыло матери, а вырывал себе в песке ямку, ложился в нее боком, раскрывал крылья, то одно, то другое, растопыривал перышки, едва наметившиеся, вытягивал ноги с широко растопыренными пальцами. Глядя на него, скоро и другие птенцы стали вырывать себе в песке ямку и сидели в них, а мать, подняв голову, тревожно сторожила.

В начале второй недели глухаренок почувствовал сладкое томленье в плечах и в сгибах своих крылышек. Он замахал ими и такт махая, побежал по песку. Это было ново, это задорило.

Он весело попискивал, убегал далеко в траву, спотыкался. Он не понимал что его зовет и что заставляет вот так бегать и так махать крыльями. Мать испуганно подзывала его протяжным криком, он повертывался, бежал к ней и на бегу опять махал крылышками.

Глухаренок теперь самостоятельно отыскивал пищу, пожирал и червяков, и нежные белые корешки трав, что мать вырывала из земли своими мощными лапами. Ножки у него слегка потемнели, стали шерхнуть. Среди нежного пуха показались перышки, темные, со стальным блеском.

С маленькой полянки глухарка перевела детей через лес на сечь. Переход был трудный и страшный. Семья шла очень осторожно. Глухарка поминутно останавливалась, слушала. В лесу было сумрачно, прохладно, кое-где виднелись болотца, и над ними толклись большие мухи. Глухарята понимали опасность, шли молча. Лес становился все темнее. Нужно было пробраться через валежник. Птенцы разбивались поодиночке и парами, убегали в сторону, теряли из виду мать и вдруг поднимали отчаянный крик: «Пиу-пиу». Испуганная мать возвращалась, забирала их, шла дальше. Вот между

деревьями мелькнул свет, и выводок вышел на просторную, большую поляну, на которой кое-где виднелись отдельные деревья.

Но не успели все выйти на поляну, еще у самой опушки, глухарка вдруг крикнула: «Ко», – и шумно взлетела на воздух.

Глухарята врассыпную бросились в траву, в самые укромные уголки, и замерли. Кто-то большой с треском пролезал через валежник, потом пошел дальше, еще дальше и, наконец, ушел прочь. Шум больших крыльев раздался над головой – это летела мать. Она опустила в траву, позвала, глухарята собрались вместе, пошли. На сечи еды было еще больше, над маленькой колдобинкой вились мушки. Глухаренок подпрыгивал, ловил их на лету, это его забавляло, и опять, подремав на песке, он расправлял крылышки, бегал, махая ими. Он чувствовал, как все тело его становилось легче, – ноги едва-едва касались земли.

Это было на двенадцатый день, когда глухаренок впервые взлетел. Он оторвался от земли и так, с вытянутыми книзу ногами, пролетел с полметра и упал с размаху в траву. Ему было и больно, и в то же время все его существо переполнилось радостью. Он быстро вскочил, пробежался, тотчас забыл боль, опять, полетел и, увлеченный своими маленькими полетами, далеко убежал от матери, потерял ее из виду, испугался, закричал пронзительно. Глухарка прибежала к нему, сердито квохча.

Все больше и больше беспокойства было у ней. Птенцы один за другим поднимались на крылья. Они забывали осторожность, вылетали из травы, их было видно издалека. Хищные птицы пролетали над поляной и над лесом. Глухарка теперь боялась каждой тени и часто заставляла птенцов прятаться. Время от времени она сама взлетала на воздух и, призывно квохча, летела через пни, совсем низко над землей, над травами, и птенцы один за другим поднимались за ней, летали, махая часто и усердно крылышками. Лишь двое, пролетев немного, падали в траву, начинали отчаянно кричать. Глухарка делала круг в воздухе, возвращалась к ним.

Ночевать глухарят мать уводила в глухие чащуги, и всю ночь она настороженно слушала, не крадется ли враг. С ночлега уходили, как только занималась заря, и бродили по поляне до тех пор, пока солнце не вставало столбунцом, а зной не смаривал птенцов.

Однажды глухаренок увидал: по опушке ползет желтый зверь с черными большими глазами. Мать сразу насторожилась, крикнула, взлетела. Глухарята взлетели за ней, но желтый вверх – это была лиса – судорожно прыгнул раз-другой, и один глухаренок, тот самый, что отставал от других, жалобно пискнул.

Весь выводок в ужасе стремительно пролетел через поляну.

Обеспокоенная мать оставила всех в траве и, высоко поднявшись в воздух, полетела назад к тому месту, где была лиса.

Она тревожно завоптала, увидев, как лиса с глухаренком в зубах убегала в лес.

Потом мать быстро летала над поляной, сделала один круг, другой, спустилась к птенцам, каждого обошла кругом, опять сорвалась и улетела в лес, туда, где скрылась лиса. И ночью она просыпалась и беспокойно звала.

Ночи теперь были короткие, теплые, – заря сходилась с зарей. Весь лес полон пением птиц. Над болотами носились стрекозы, везде пестрели птицы.

Однажды вечером мать поднялась на дерево, села на самой толстой ветви и позвала детей. Все семь глухарят взлетели к ней и рассыпались по ветвям недалеко от нее. Они ждали: вот-вот мать опять спустится на землю, потому что шли сумерки, шла тьма они все устали. Но мать не спускалась. Глухаренок цепко схватился за тонкую ветвь и так, в чуткой дреме, продержался всю ночь, вздрагивая и боясь упасть. Это был первый ночлег на дереве. В эту ночь один глухаренок оборвался, упал вниз, в темноте тяжело бился о ветви и кричал. Мать тревожно звала, но с места не тронулась, ослепленная темнотой. Глухаренок так и ночевал под деревом один.

Утрами, наевшись, глухарята любили перелетать с ветки на ветку по опушке. Им сверху была видна вся поляна. На поляне в траве возились птицы. Вон там глухариный выводок, глухарка, совсем похожая на их мать, водит своих детей. Низко над болотцами летят серые большие птицы. Нужно спрятаться в ветвях чтобы птицы не заметили. Иногда через поляну пробиралась лиса. Она пряталась в траве, прикидала к корням и пням, – минуту лежала неподвижно, зорко высматривая. Тогда все птицы – и глухарка, и птенцы, и сороки, и маленькие белые птички с черными хвостиками, что живут в ракутнике над болотами, – все поднимали крик, тревожный, как будто

предупреждали друг друга: «Берегись, лиса, идет». Лиса, злобно оглядываясь, бежала дальше через поляну, скрываясь в лесу.

Раз глухаренок увидел большого бурого медведя. Медведь разрыл кучу муравьев, поставил передние ноги в самую середину муравейника и длинным розовым языком слизывал муравьев, ползших по его ногам. В этот день шел дождь, летать не хотелось Глухарята сидели на тонких ветвях молодой сосны, недалеко от ствола. Медведь повозился с муравейником, пошел по поляне дальше. Он ворочал лапой листья, сучья, под ними отыскивал улиток, ел их, громко чавкая, вырывал какую-то траву, тоже ел. Он поднял морду, поглядел кругом на лес и увидел глухарят. Он перестал жевать и чавкать, подошел к сосне.

Глухарка громко сказала: «Ко». Глухарята замерли. Медведь, подняв высоко морду, долго ходил вокруг сосны! Глухарята и мать беспокойно смотрели на него сверху. Лапами медведь обнял деревцо и сильно тряхнул. Ветви задрожали, глухаренок крепко вцепился пальцами в ветку, раскрыл крылья, готовые взлететь. Медведь тряхнул еще раз, два, глухаренок не удержался, упал и низом, почти над землей, тяжело махая мокрыми от дождя крыльями, полетел прочь. Медведь быстро и ловко, скачками, помчался за ним. Глухарка пронзительно завоптала, полетела за медведем, настигла его, заметалась над его головой, повернула в сторону, упав в траву. Медведь побежал за ней, но мать перед самым его носом опять поднялась, тяжело, и лениво полетела над травой к болоту. Медведь гнался за нею, вода брызгами полетела из-под его ног. Воды становилось больше, больше, медведь кувыркнулся, упал. Тогда глухарка поднялась высоко вверх, быстро полетела назад, а медведь остался среди болотины.

В середине июня поспели ягоды. Сечи и опушки леса покраснели. Глухарята наедались так, что им тяжело было ходить.

Но пришла тревога: на полянах появились люди, весь день слышались голоса, а по вечерам и ночью то там, то здесь горели костры, и запах дыма заполнял лес. Глухарка уводила детей в глухие заросли, недоступные человеку, а на большие поляны выводила их только по зорям.

В августе у глухаренка уже выпал последний пух. Все тело покрылось черными перьями со стальным отливом. Хвост украсился

белой каймой. Мать уже меньше беспокоилась, улетала иногда от детей надолго, а глухарята пока держались вместе.

Ночи стали длиннее. Заморосили дожди. На утренних зорях глухаренок уже один летал над полянами, над лесом, слушал, высматривал – и мир ему казался большим и радостным.

III

Глухарята еще долго ночевали на одном дереве, разместившись на разных сучьях. Но, когда прилетали на поляну, все разбредались в разные стороны. Каждый жил самостоятельной жизнью. Молодой глухарь больше всего держался со своими двумя братьями. Наевшись брусники и клюквы, молодые самцы летели к трем соснам, росшим над оврагом. Сосны были старые, дуплистые, с темными густыми ветвями. Молодой глухарь забирался на ветки к самому стволу, и в дождь сидел неподвижно, втянув голову в крыло. Обычно двое спали, а один слушал. Овраг был глухой, очень глубокий, было видать сверху, как у корней иногда проходил медведь. Недалеко по опушке бегали зайцы, филин кричал откуда-то из дальнего леса. Иногда по утрам долетал звон далекого колокола.

Осень навалила крепкая и беспокойная. Над лесом постоянно развевалась мелкая сетка дождя, небо нависло низко-низко, солнца не было, и в эти дни мокрядь и дождь пронизывали – тело, и не хотелось летать, не хотелось двигаться. Потом начало замораживать, холод напитал воздух – молодые глухари сильно зябли.

Однажды – это было после погожей ночи – утром молодой глухарь увидел, что поляна от края до края покрылась белым инеем. На рассвете иней пропал, к полудню опять пошел дождь, и в дожде, точно белые мухи, замелькали снежинки. В этот день глухари летали только на ближнее болото, чтобы поклевать клюквы. Вернулись скоро и сидели весь день в дреме. К вечеру белых мух стало больше, лес зашумел печально, протяжно.

Ночью пошел густой снег и закрыл всю землю.

Утром глухари полетели на знакомое болото. Все кругом изменилось. Они кружили над полянами, не зная, где сесть, и пугаясь этой незнакомой белой земли. Они увидели: два больших белых

глухаря ходят по опушке. Молодые спустились недалеко от них. Старые сердито захрюкали, но не тронули молодых.

Так все пятеро паслись, разрывая снег крепкими лапами, отыскивая ягоды. В лесу, поднимаясь вершиной высоко над соснами и елями, росла громадная лиственница. Старые глухари сели на нее, принялись собирать опадавшую хвою, уже хваченную Морозом. Молодые попробовали хвои – им она очень понравилась.

И с того дня они летали к лиственнице кормиться, собирая хвою на земле. Каждое утро, пролетая над лесом и над полянами, они высматривали, где пасутся старые глухари. Заметив их, молодые опускались недалеко, делали то же, что старые. Они научились отыскивать ягоды – рябину и калину. Эти ягоды им нравились больше хвои.

А зима все крепчала, снег лег. глубокий. На земле нельзя уже было отыскать пищи. Теперь глухари вели жизнь очень скучную, мало летали, все больше сидели на тех же соснах, дремали, лениво посматривали вниз, не крадется ли враг. В сильные метели лес шумел грозно, деревья ломались, и тогда казалось: кто-то страшный крадется. Толстый сук однажды в метель оборвался рядом с глухарями и с шумом и грохотом полетел вниз.

Глухари разом поднялись, долго летали, и ветер рвал их перья.

Они измучились. Им казалось, что метели не будет конца и что их ждет гибель. Но вот ветер утих, глухари успокоились, отдохнули, снова полетели к лиственнице и там увидели старых глухарей. Они кормились вместе и вместе с ними полетели на ночлег, оставив свое насиженное место. Старые глухари тоже жили над оврагом и ночевали в густых ветвях высокой ели. Молодые поселились по соседству, тоже на густой ели, рядом.

Зима установилась крепкая. Завернули сильные морозы.

По ночам глухарь промерзал так, что у него болело сердце.

Как-то старые глухари перед вечером спустились на снег, походили у корней сосен и стали зарываться. Они скрылись в снегу совсем с головой, и сверху нельзя было различить, где они. Молодые глухари пригляделись, слетели на снег и зарылись.

В снегу было теплее, чем снаружи, но молодой глухарь все беспокоился, ждал, что вот кто-то в снегу сейчас подойдет, схватит. Он чутко прислушивался. Он знал, что старые вот где-то рядом, здесь,

если они полетят – будет слышно. Он ждал, ждал долго и заснул. Старые зашевелились, полетели. Молодой испуганно вылез из снега. Был уже день, совсем светло. Глухари, все пять, полетели на лиственницу.

Дни были очень короткие. Утром и вечером глухари улетали на кормежку, питались только хвоей. И эта скудная пища делала их вялыми.

IV

Зима переломилась, солнце стало пригревать сильнее, дни заметно увеличились. Со своих насиженных мест, что были возле стволов елей, глухари выбирались на тонкие ветки, открытые солнцу, и здесь, растопырив крылья, полусидя, полулежа на ветвях, оставались от утра до вечера, грелись. Вечером опять забивались к стволу. Старые летали дольше, странно беспокоились; молодые летали за ними, не понимали, почему старые беспокоятся. Свое насиженное место старые покидали, ночевали не каждую ночь.

Раз молодые полетели за ними. Недалеко над болотом рос мелкий лес, в котором еще белели полянки и кое-где, в молодом лесу, далеко друг от друга подымались большие сосны-семенники. Здесь, на небольшой поляне, старики опустились на снег и так ходили долго один перед другим, распутив крылья, чертили перьями снег. Они ходили молча, важные, пышные, с растопыренными хвостами. Брови у стариков покраснели, налились, стали толстые. Молодые глухари почувствовали, как их охватывает непонятное беспокойство. Еще вот недавно, зимой, они знали, что им нужно только поесть, нужно прятаться от врагов, нужно спать. Они ели, спали, прятались. Больше им ничего не нужно было. Теперь хотелось еще чего-то. Глухарки прилетали к токам, сидели на деревьях, издали смотрели на токующих глухарей, молчали. Но их молчаливый взгляд почему-то теперь беспокоил молодого глухаря. Старики с каждым утром оставались все больше и больше на поляне, напыщенно ходили друг перед другом, торопливо чертили снег крыльями. Молодой глухарь тоже спустился на снег, тоже растопырил крылья, пошел неловко по снегу, вытягивая шею, весь напрягаясь, и какое-то странное чувство,

доселе не испытанное, вдруг захватило его. Он сделал несколько шагов, остановился, посмотрел кругом. Другие глухари ходили молча недалеко от него.

Молодой опять пошел, сделал круг, шея его невольно вытягивалась, непонятное чувство звало его. Хотелось ему кричать, но горло не издавало ни звука. Брови его набухли, стали толстыми. Так все пятеро – двое старых и трое молодых – каждое утро, прямо с ночлега, летели на поляну, долго-долго ходили друг перед другом.

Просыпались они все раньше и раньше. Небо еще било черное, лишь беловая полоска виднелась на востоке. Над головой светилась яркая звезда – утренница, и в этот ранний час лес уже пробуждался, высоко над лесом проносились утки, посвистывая крыльями, а где-то в небе звонил небесный колокол: летели журавли. Молодые глухари по-прежнему держались невдалеке от старых: они чувствовали, что старые знают какую-то тайну жизни... Так проходили заря за зарей и день за днем.

Раз утром молодой глухарь проснулся от странного звука.

С ближнего дерева кто-то покрикивал: «Чок-чок». Глухарь всмотрелся, он увидел: внизу, по суку, ходил старый глухарь.

Он распушил хвост, раскрыл крылья, вытягивал шею, это он кричал: «Чок-чок». Молодой также распустил хвост и крылья, вытягивал шею, хотел крикнуть и не мог. Глухарки тяжело летали около, задорили. А лес кругом и ближняя поляна были полны зовущими звуками. Скрипуче кричали куропатки, урлыкали тетерева, весь воздух был полон страсти, и эта страсть захватила молодого глухаря, он смешно ходил по суку, подражая старому.

Заря все разгоралась. Лес стоял, пронизанный красноватым светом. Теперь легко можно было различить каждое дерево отдельно. Везде на деревьях и под деревьями на поляне, возились птицы, возились по-особенному, так, как никогда не видел и не слышал молодой глухарь. Глухуши с томными криками носились вокруг дерева, где шел ток, и, слушая их полет, старый глухарь пел сильнее и задорней. Порой, сорвавшись с сука, как тяжелый ком, он летел за глухушами куда-то в сторону, оставался там недолго, снова возвращался на тот же сук, сидел, прислушиваясь, клювом оправляя перья. А солнце уже всходило, лес золотел. Глухарь еще недолго пел песню, все реже, реже, он раскрывал крылья, вытягивал их далеко

назад, вытягивал лапы, сперва одну, потом другую, широко раскрывал рот, вздыхал, точно после тяжелого труда.

V

Раз в такое утро старый глухарь ходил по суку взад и вперед, растопырив крылья, и пел. Молодой услышал: где-то недалеко затрещали сучья. Кто идет? Медведь или лиса? Молодой насторожился. Он тревожно вытянул шею, испуганно хрюкнул, а старый пел, не слушая ни треска сучьев, ни хрюканья молодого. Молодой подумал, что опасности нет, если поет старый, притаился и ждал. Он увидел между темными стволами сосен внизу, на земле, кто-то двигался черный, двуногий. Молодой глухарь узнал: это человек – зверь самый страшный, от него всегда глухари спасались сломя голову. Почему же теперь не улетает старый глухарь? Человек прыгал: прыгнет раз, другой, остановится и чего-то ждет. Прилетела глухуша, увидела человека, с испуганным криком полетела прочь. Человек уже прыгал недалеко. Прыгая, он заполнял весь лес треском, потом сразу останавливался, треск прекращался, а старый глухарь пел все задорней и задорней. Когда старый глухарь прекращал песню и слушал тишину леса, человек стоял неподвижно. Потом, когда опять начиналась песня, человек со всей силой бросался вперед, к тому дереву, на котором пел глухарь. Уже все глухуши улетели далеко, уже на дальних деревьях испуганные глухари сначала замолчали, потом тоже улетели. Человек еще раз прыгнул под песню глухаря и замер. Вот старый глухарь опять запел – и сразу гром потряс весь лес, между деревьями блеснул огонь. Молодой глухарь судорожно взметнулся, полетел над лесом. А старый, ломая сучья, с грохотом упал с сосны вниз.

И день, и два, и три молодой глухарь провел в беспокойстве.

Он настороженно ждал: вот-вот опять покажется человек, опять блеснет огонь, загремит гром. Он не летал на тока, днем сидел на самой верхушке дерева.

А лес был прежний. Так же шумели птицы, урлюкали тетерева, так же постукивали бекасы на болотах, и так же на других токах токовали глухари. И опять странное чувство толкало глухаря к токам,

где, подражая старикам, он ходил по суку, вытягивал шею, робко пытался петь. Сначала у него песня не выходила. Потом, как-то напрягши все силы, он пропел:

«Тэ-кэ, тэ-кэ». И едва он пропел, как на ближний сучок шумно села глухуша, заурлюкала странным голосом, будто звала. Молодой глухарь подлетел к ней. Глухуша сорвалась, слетела вниз на маленькую полянку, глухарь слетел за нею, с растопыренными крыльями. Вдруг старый глухарь – огромный и хищный – бросился на молодого, ударил его лапами и клювом в грудь. Молодой перевернулся и в испуге улетел.

VI

Весна разгоралась пожаром. Уже сходил снег, оставался он только в глухих зарослях у корней деревьев – лиловый и твердый. На полянах стояли болотца, вечера были сини, в оврагах весь день шумели ручьи, ветер веял теплый и ласковый. – Пригорки дымились паром. Уже меньше кричали на токах птицы, перестали плакать в лесах зайцы, старые глухари переселились в чащу и с ними молодой. Муравьиные кучи ожили.

В траве возле пней зашевелились насекомые, жить стало легче, корму было обильно. Молодой глухарь заметил, как истомлены и обессилены были глухари старые. Он ходил между ними гордый и сильный, будто причесанный, он готов с ними был вступить в драку, он был полон задора. Однажды, рассерженный, он бросился на старого глухаря, ударил его, сшиб наземь, и старый глухарь покорно побежал в траву, прочь.

Теперь молодой ростом уже был со старого, у него выровнялись грудь и плечи, перья лоснились, он чуял в себе неукротимую силу. Из чащу он летал к полянам, где было больше травы и где на опушках встречались муравьиные кучи. Он теперь знал, как живет лес. Сидя на высоких ветвях, он не раз видел, как в траве пробиралась лисица или, ломая сухие сучья, пролезал медведь, Он не боялся их, потому что знал: он высоко – ни медведь, ни лиса его не достанут. Он боялся только человека, боялся его огня и грома. Завидев человека издали, он улетал поспешно. Множество птиц хлопотало возле своих гнезд и

возле птенцов. Уже опять вывелись молодые глухарята, глухарь видел, как пасутся выводки. Уже куропатки ныряли в траве со своими птенцами. На дальних широких полянах зазвенели страшные человеческие голоса, и по вечерам пахло дымом. Это приехали косари из деревень. И, боясь человеческого голоса, глухарь улетел в чащу и сидел там, скрываясь вместе с другими.

Но вот отзвучали человеческие голоса, потухли костры на полянах, и опять глухарь облетал по зорям большие пространства. На опустошенных полянах он видел стога сена. Берег лесной речки был истоптан человеческими ногами, песок взрыт.

Глухарь долго летал над берегом, высматривая, нет ли где человека, потом спустился на песок и здесь, лежа на боку и вытянув ноги, грелся на солнышке.

Поспели ягоды, глухари уже откормились. Теперь не нужно было летать долго за кормом. Глухарь выбрал себе поляну недалеко от речки и здесь проводил целый день: кормился, валялся в песке, грелся на солнышке. Но опять заморосили дожди, солнце потускнело, лес зашумел уныло и беспокойно. Меньше стало птиц в лесу, утки вереницами улетали на юг, и случалось, что целую ночь глухарь слушал их тоскливые крики в вышине. Глухое болото в лесу каждый день заселялось новыми путешественниками, иногда это были утки; крикливые и беспокойные, они кормились по берегам, ссорились. Иногда здесь останавливались серые гуси, большие, густо гоготающие.

В вечерние зори они неизменно взмывали к небу и уносились к югу.

Молодой глухарь испытывал странное беспокойство: в одиночестве ему теперь было не по себе. Он нашел других глухарей-самцов, долго обхаживал их и стал жить с ними. С холодами перелеты птиц уменьшились, жизнь в лесу замирала.

Скоро ударили морозы, в воздухе закружились белые мухи.

Глухари сбились в стаю, – их было восемь, – опять поселились на двух соснах, что росли над глухим оврагом, сплошь заросшим ольшаником, березой и молодой елью.

С зимой пришла дрема, кровь текла ленивее, не хотелось далеко летать. Мороз пробирался под перья, шарил по телу, глухарь втягивал голову в плечи, плотнее сжимал крылья.

В сильные морозы и метели глухари прятались в снег, сидели там сутками, питались они опять только хвоей и молодыми побегами ольшаника. Иногда, в солнечные теплые дни, они улетали к пригоркам, лапами разрывали снег, добывали ягоды. И зима казалась длинной-длинной, и будто ей не будет конца.

Однажды на берегу оврага послышался лай. Встревоженные глухари подняли головы, присмотрелись, – через поляну несся заяц. У самой опушки он сделал огромный прыжок в сторону, скрылся в лесу, и тотчас по его следам из леса выскочила собака, охриплым лаем помчалась за ним. Заяц закружил возле оврага, собака не отставала. Где-то в стороне раздался треск, и глухарь увидел идущего на лыжах человека. Он не вытерпел, сорвался, полетел прочь. Позади него тотчас грохнул гром, что-то с визгом пролетело над головой, глухарь метнулся к земле и, задевая ветви сосен, полетел в сторону. И с той поры, заслышав лай собаки, он перелетал дальше в чащу, прятался, скрытый самыми темными ветвями. Успокаивался он и снова вылетал только в сумерках, когда уже лай прекращался и человек уходил из леса.

И еще случай: в полудреме молодой глухарь слышал, кто-то карабкается по стволу дерева, прыгая с ветки на ветку. Он проснулся, смотрел вниз, вытягивая голову. Длинный зверек поднимался вверх по дереву. Глухарь подумал, что это белка.

Белок он видел часто, но не боялся. Зверок осторожно пробрался к старому большому глухарю, спавшему на нижних ветвях, и вдруг прыгнул на него. Глухарь крикнул, рванулся, полетел вверх, выше дерева. Зверок крепко держался за него, но что-то случилось, глухарь камнем упал наземь в снег и долго трепыхался. Зверок юрко запрыгал по нем. Глухари всей стаей поднялись и полетели прочь, хотя еще кругом стояла тьма.

А дни уже становились теплее и больше. Уже буйные метели на мягких веющих широких крыльях понеслись над лесом.

Опять старые глухари, а за ними и молодой вечерами стали перелетать на токовище, где (это знал молодой глухарь) токовали в прошлом году.

Четыре зори молодой глухарь вместе со старыми, распутив крылья, чертя перьями по снегу, молча ходил по поляне, кружился, будто танцевал. На пятую зорю старый глухарь взлетел на сук, затоковал, а за ним тотчас взлетел молодой глухарь, уселся поблизости, на сосне, по толстому суку прошелся из конца в конец, и песня сама по себе вырвалась из его горла.

Так каждую зорю они прилетали двое, садились недалеко один от другого и токовали. Глухуши с шумными криками носились возле. Старый глухарь улетал за ними. Глухуш было много, они садились на ближние ветви, сидели неподвижно и молча, будто безучастно, смотрели, как токует молодой глухарь. А молодой, пропев песню, весь вытянувшись, замирал, слушал, ждал.

Он видел, как глухуши все ближе и ближе садятся к нему.

Иногда глухуша срывалась, летела вниз наземь, кричала зовущим голосом. Молодой глухарь, не понимая, смотрел на нее.

Потом какая-то сила сорвала его с сука, он бросился вниз-за глухушей, весь сотрясаясь от странного чувства. Глухуша пробежала по земле и у корней сосны прилегла грудкой на мох, оглянулась, тихонько завохтала. Глухарь шумно захлопал крыльями, иступленно начал топтать глухушу ногами. Вернувшись на дерево, он запел громче и радостней. Это был гимн жизни, тот самый гимн, что весной поют лес, и птицы, и все живое. Он перестал есть, целый день и ночь думал только об утренних зорях, стал тревожнее, злее. Всеми зорями он пел, звал; глухуши носились возле него, он гонялся за ними... Но вот глухуш все меньше и меньше оставалось на токах, они прилетали деловито, оставаясь с глухарём недолго.

Так прошла эта весна. Измученный и обессиленный, глухарь вместе с другими забрался в лесную чащу и здесь старательно откармливался целое лето. Осенью он опять почувствовал прежние силы и задор и, вспоминая весну, прохладными зорями снова летал на место тока и пел, пел задорно, и звал, и ждал, но ни одна глухуша не прилетала.

Осень накатилась быстро – с дождями, унылым шумом, потом зима – с метелями и морозами. Глухарь жил лишь одной заботой – не умереть с голода, прожить, ни о чем больше не думал. Лишь ночами иногда он вспоминал о зорях, о веснах, и ему чудился крик глухуши.

Но ярче загоралось солнышко, потянуло новым ветром, и прежнее чувство задора разбудило глухаря. Прежде стариков, уже один, он полетел на ток. Три зори ходил по снегу молча, растопыбив крылья и чертя перьями, потом поднялся на сук, заходил, запел и в песне забывал обо всем. Его уши закрывались, закрывались глаза, он весь трепетал от напряжения. Когда на соседних соснах он услышал пение старого глухаря, он задорно бросился в бой, прогнал старика прочь, сам вернулся и запел еще с большим торжеством. После каждой песни он замирал, слушал глухуш, – вот они недалеко, он их чувствовал, иногда видел и тогда задорно, с большей страстью, начинал петь снова. К нему слеталось все больше и больше глухей.

Однажды на заре их собралось сразу пять, они сидели и слушали. Глухарь пел, ничего не видя и не слыша. Кончив песню, он увидел, как глухуши с беспокойным криком полетели прочь. Он не понял, почему полетели. Он запел опять, еще с большей страстью. Он звал их вернуться. Песню за песней пел и после каждой слышал крики. Глухуши уже были где то вдали, а лес затаился и замер. Глухарь опять запел. Вдруг что-то со страшной силой ударило его в бок, он рванулся, хотел полететь и, ломая ветви, упал вниз к корням деревьев. Безумными глазами, вытянув шею, он оглянулся и тут увидел страшное человеческое лицо. Человек бежал к нему. Глухарь метнулся, прыгнул раз, другой, изо всей силы побежал прочь, прячась между стволами, но сзади опять грохнул гром, и глухарь грудью ударился оземь. Человек схватил его за шершавые ноги и поднял. Глухарь затрепетал каждым пером, к его горлу подкатился клубок, мешал дышать. Глухарь судорожно дернулся и умер.

Николай Николаевич Ляшко

Сердолик на ладони

Сергей Патрашин поднял голову с подушки, посмотрел в открытое окно, прислушался к шуму моря. Первые проблески рассвета коснулись его лица; он встрепенулся и сел.

– Вот и готов я, а ты еще спишь!

Сергей сунул ноги в сандалии, на террасе снял с гвоздя нитяную сумку, ощупал в ней бутылку с водой, сверток и, кивнув домам санатория – до вечера! – заторопился.

Дорожка поскрипывала под ногами галькой, доцветающие влажные тамариски щекотали плечо.

За морем небо наливалось бирюзой, а обступавшие голубую долину дымно-песчаные печальные горы были еще смутными и зыбкими, как облака.

На гряде намытой волнами гальки Сергей разделся и вошел в море. Вода приятно холодила прогретое сном тело. Сергей входил в нее все глубже, пока волны не лизнули его локти. Тогда он поплыл. Хотелось долго нырять, плавать, но боязнь – «опоздаю!» погнала его назад. Он размашисто взлетал на волны и повторял:

– Нет, не опоздаю, нет, нет!

Слева, за столпившимися у моря горами, пожарищем занималась заря; горы справа чуть зарделись и открыли голубые провалы ущелий.

Сергею представилось, как он – и не один! – перейдет зеленую от макушки до пояса гору, опять спустится к морю, будет собирать сердолики. Ему виделся пустынный берег, а на нем сверкающие в солнце сердолики – они ждали и дивились, что его еще нет.

– Уверен, что ты еще спишь, та-ра-та-ра-там-та-ам, – одеваясь, запел он.

Гора упиралась скалистой стороной в море. На ее ступенчатых уступах местами выступали жилы красных и розовых сердоликов, гнезда агата, слои белесого, дымчатого и полосатого халцедона. Ветер, дожди, снега и зной расщепляли поверхность горы, и куски редких камней в потоках весенней и дождевой воды катились в море. Волны отделяли от них породу, смешивали с галькой и уносили в

пучину. Окиси морского дна проникали в поры камней, залежали в них и на них лилово-радужными разводами, зеленью, золотом и серебром.

Долго лежали камни в пучине. Море изо дня в день, из ночи в ночь шевелило и шлифовало их. По ним ползали крабы, над ними качались медузы, проплывали дельфины, морские кошки, ерши, рыбы-иглы, рыбы-змеи. Проходили десятилетия, столетия, возможно – тысячелетия...

Штормовые ветры качали поверхность моря; редкие камни передвигались водами глубин по дну, бродили у берега и под ударами волн стремились на сушу. Вот они вскинуты, вот они коснулись золотого света: но волны, отступая, мчали их назад и опять вперед, опять назад. И, наконец, наступал счастливый миг; подтолкнутые волнами, окрашенные глубинами моря, отшлифованные, они взлетали с разноцветной галькой и падали на берег...

Место встречи – скамья у санатория – было еще пустым.

Сергей повесил на скамью сумку, услышал за кустами диких маслин хруст гальки, плюнул туда и выпрямился: Женя стояла лицом к морю и одевалась. Одернув майку, она ловко схватила с гальки полотенце и на ходу увидела Сергея.

– Ты уже здесь? Здравствуй!

Он шагнул к ней с распахнутыми руками.

– Тысячу раз здравствуй! – и положил ей на плечо руку.

Зубы ее сверкали, глаза искрились. Ей тоже хотелось коснуться его плеча, но пальцы Сергея подрагивали, будто цепенели у нее на плече, и это пугало ее. Она отстранила его руку и сказала:

– Не надо так. Ты забываешь свое слово. Пойдем, Сергей снял со скамьи сумку и раскрыл ее.

– Клади.

Женя затолкала еще одну бутылку с водой, полотенце, и двинулись вдоль берега к горе. Сергей шел: за ней с таким чувством, будто ему в жару подали воды и тут же, едва он протянул руку, вылили на землю. Слово, опять это слово! И зачем только сказал его? Это ребячество, причуда! Это она, Женя, придумала, чтобы мучить его: «Я тебя люблю, но дай слово, что мужем и женою мы станем, когда я окончу институт...»

Больше года тянется эта история. Ну, на что похоже? Ведь об этом даже говорить ни с кем нельзя, это надо прятать, это, видите ли, их

секрет, это...

Было это весной. Он пришел к институту с запиской. Записка была крошечная, хотя он писал ее долго-долго, извел на нее толстую тетрадь. Он вложил записку Жене в ладонь, шепнул: «читай» и потупился. «Что хочешь, то и делай, но я тебя люблю, давно люблю. Прочитала? Если ты не любишь, верни записку и молчи, я провожу тебя до общежития – и конец». Вот и все. А сколько он волновался над этими словами!

Когда он давал Жене слово – происходило это против института, на скамье, – все было ясно: они по-прежнему в выходные дни будут бродить по улицам, обедать у матери Сергея, играть в шахматы, ходить в театры, в кино, а потом она станет врачом и...

Сергей прикрыл глаза, вспоминая, как вел себя тогда, что говорил. Он доказывал Жене, что ее затея навеяна книжками, что любовь не мешает работать и учиться, что многие студентки выходят замуж, что, наконец, ребенок, если он будет у них, не свяжет ее, Женю, – за ребенком станет ухаживать бабушка, его, Сергея, мать. Это возмутило Женю.

– Перестань! И не ставь в пример моих подруг. Оттуда у тебя такое отношение к старикам? Мать выхаживала тебя, мучилась, а ты на старости толкаешь ее опять к пеленкам. Я хочу быть самостоятельной и сама справляться со всем. Да и не в этом дело. Разве я предлагаю тебе что-нибудь страшное? Ну, ты не согласен? Говори! Или ты...

Женя отняла у Сергея руку и вскочила.

– Почему молчишь? Боишься? Себе не веришь? Мне? Да?

Ух, как сверкали тогда ее глаза! Сергею было и жарко, и зябко, и весело, Он привлек к себе Женю и сказал, что согласен на все. Лицо ее засветилось, она чуть ли не запела о том, что теперь ей совсем хорошо, легко, что она не обманулась в нем, верит ему. А вот теперь... Впрочем, нужно ли терзаться? Ведь он давал слово не кому-то, а ей, чудесной Женьке. Вот она, рядом.

Он поехал на работу в санаторий у моря, она устроилась на лето в соседний санаторий медицинской сестрой – и вот идет с ним за сердоликами. Вот покачивается ее спина, мелькают загорелые руки. Люди думают, она окрасила волосы. Как же, ждите! В ней ничего

фальшивого, подрумяненного. В ней все свое – и такое прекрасное, что она похожа на цветок!

Женя почувствовала на себе взгляд Сергея и плянула на него.

– А тебе, Сережа, загар к лицу.

У Сергея перехватило дыхание.

– Приятная пилюля!

– Это не пилюля. Ты такой, что я побаиваюсь тебя!

– Меня? Не фантазируй, пожалуйста.

– Я не фантазирую. И ты держи себя в руках, а то у меня закружится голова, я отстану в учебе. А быть в тягость твоей матери я не хочу. Вот. Неужели ты не понимаешь? Я прошу тебя! А то...

Сергей взял ее за руку:

– А то что будет? Признайся, что наше слово и тебе в тягость, но ты упрямисься.

– А ты не горячись и не выдумывай, чего нет!

Сергей склонился к Жене.

– Хорошо, поцелуй меня, один раз...

– Хочешь подкрепить свое слово?.. Пусти, увидят!

– Один раз!

– И больше не будем? Да?

– Не будем.

Сергей положил на землю сумку и выпрямился. Женя приподнялась на носки, побледнела и, как бы падая, прикрыла глаза. Сергей одной рукой обхватил ее шею, другую прижал к ее щеке и губами припал к губам. Женя закачала головой и руками уперлась в его грудь:

– Да ты что?! Ведь трудно дышать! Зря я приехала сюда!

Не надо! Прошу тебя!..

Она вырвалась и, дрожа, улыбаясь, на ходу провела рукой по губам. Сергей тоже улыбался и, боясь, что улыбка рассердит Женю, обогнал ее. Она старалась нахмуриться и беспокойно думали: «Он прав, нельзя так. Не надо было ехать сюда».

Сердцу ее было холодно, щеки горели, и она недовольно пробормотала:

– Из санатория все видели.

– Сейчас еще нет четырех часов, все спят, – смущенно шепнул Сергей.

Женя протянула к нему руку, но спохватилась и закусил губу: «Только посмей, только посмей!» Она тряхнула головой и, чтобы отвлечь внимание Сергея, сказала:

– Мы очень тихо идем, а ты говорил, что солнце встретим на горе. – Сергею было ясно, что до восхода они на гору не поднимутся, но он промолчал об этом и пошел быстрее. На уступ, где начинается дубовый лес, они взошли молча. Здесь солнце из-за далеких гор опажнуло их красным пламенем, и они обернулись к морю.

– Опоздали, – проговорил он тихо, – перевал придется всходить по солнцу.

Гора искрилась, вспыхивала, а когда Сергей и Женя приблизились к перевалу, начала тускнеть. Сергей оглянулся, вскинул руку.

– Гляди, нам везет!

На макушку горы темно-белесым краем надвигалась туча.

С перевала налетел ветер. Жесткие усатые травы и цветы склонялись вправо, влево, качались и шуршали. А размашистый и пахучий ветер все крепчал. Соседние горы были в туманной мгле. Сверкавшее сквозь деревья море синело, у берегов подергивалось чернотой. Туча срезала макушку горы и поползла по вершине дубов. Солнце как бы отпрянуло от нее и скрылось.

– Идем скорее!

В нарастающем шуме листвы шагов не было слышно, а вскоре и шорох деревьев и свист ветра тоже стали чуть слышными.

Зарокотал гром. На горе полохнули вспышки молний. Туча потемнела, спустилась ниже и понеслась на Голубую долину.

Сергею и Жене казалось, что они идут под тучу, как под свод.

Навстречу с ветром летела сырая прохлада. Из тучи начали срываться капли. Сергей подхватил Женю под руку и повлек ее в сторону.

– Бежим, сейчас хлынет, дождь.

– Куда ты? погоди! – закричала Женя, но Сергей не выпустил ее руки, не остановился.

Взметаемые ветром пылинки запорошили Жене глаза, капли дождя щекотали плечи. Она с разбегу натолкнулась на копну сена и вскрикнула:

– Что это?!

– Сядь и жди меня. Возьму сумку! – крикнул Сергей и, будто подхваченный ветром, исчез за копной.

– Куда ты?! Слушай!

Ветер подхватил крик. Женя протерла глаза и села на землю. Она положила на голову руки и слушала, как по локтям ударяют и разлетаются капли. Сергей появился с палками и ворохом веток.

– Мокнешь? Я сейчас все устрою. Не надо помогать, я сам!

Он воткнул в землю палки, ветками соединил их вершины, начал накрывать охапками сена. «Шалаш делает», – улыбнулась Женя и спрятала под себя ноги. Капли дождя учащались и тяжелели. Сергей вышел из-за копны, подхватил Женю под руку, втолкнул ее под навес из веток и сена:

– Теперь пускай льет. Садись!

Женя ладонью провела по его мокрому лбу. Он взял ее руки и прижал к своему лицу.

Сергей и Женя держались за руки и сквозь сизые водяные нити глядели на купающийся в дожде дубняк. Туча на горизонте шумела все громче и громче. Мгновениями казалось, будто гром грохочет у самой копны. При одном из его раскатов Жене почудилось, что гора рушится, и она вздрогнула. Сергея склонил ее голову к себе на плечо, ладонью прикрыл глаза.

– погоди. Думаешь, я испугалась? – спохватилась она.

– Нет. Но ты впервые на такой высокой горе в такую грозу – вот и все.

– Но ты ведь не боишься?

– Кто тебе сказал, что я не боюсь? Вот ударит молния и убьет нас обоих!

Сергей крепче прижал к своему плечу голову Жени.

Под ударами дождинок все говорило: камни гудели, ветки вздрагивали, листва заливалась звоном, травы шуршали, сено потрескивало. Ветер совсем сник и притаился, травы склонялись под тяжестью капель, вздрагивали, выпрямлялись и опять вздрагивали. Гром вдруг притих, оборвался, и в дубняке наступила тишина. По верху дубов стремительно хлынул свет. Гора вспыхнула и задымилась паром. Женя отодвинулась от Сергея и встала:

– Можно идти?

– Да, но пойдём ли мы за гору – это еще вопрос.

– Почему?

– А вот увидишь.

Сергей вслед за Женей выбрался из шалаша. На горе все млело в аромате прелой листвы, чебреца и помолодевшие, счастливо сверкало.

– В такой-день да не идти за сердоликами? Идем, идем!

Сергей по мокрым травам вывел Женю на каменистую дорогу, и они пошли к седлу горы. Впереди открылись гряды новых гор у моря.

То, чем Сергей пугал Женю, дало о себе знать за седлом горы. Сбегающая по уступам мокрая глинистая дорога была скользкой, приклеивала ноги, прилипала тяжелыми комьями.

– Так придется шагать до самого моря, – сказал Сергей, – и ты очень устанешь. Не лучше ли вернуться?

– Да что ты! В следующий выходной, может быть, нельзя будет отлучиться. Я в детстве грязь сбрасывала вот так, гляди!

Женя по очереди взмахивала ногами и, – последив за отлетающими от них кусками глины, засмеялась:

– Вот! Сразу легче стало. Пойдем!

Мокрая дорога извивалась в тени горы и влекла вниз. Сергей и Женя скользили, хватались за ветки деревьев, чтобы не упасть, размахивали руками, наталкивались друг на друга.

Сбежав к морю, Женя вытерла потное лицо и взмахнула руками:

– Ой, как хорошо! Как хорошо! Будто во сне!

Море принимало в себя горные дождевые потоки и было у берегов зеленоватым, а дальше синим-синим. Валы теплой гальки дышали йодом, солью и тлением слежавшихся, похожих на бурую кошму водорослей. Сергей и Женя соскоблили с обуви глину и двинулись по берегу.

– Ну, давай искать сердолики, – предложил Сергей. – Ищи так, как я учил: не торопись, вглядывайся. Вот так. Ты иди здесь, а я там.

Сергей шел по гребню гальки, Женя – по ложбинке. Галька хрустела под ними, волны сгоняли Сергея с гребня и обдавали его ноги брызгами. Жене посчастливилось первой: оплянувшись на волну, от которой увернулся Сергей, она увидела на гальке полосатый сердолик и схватила его:

– Смотри, что ты проглядел!

На ее ладони лежал красный камень. Его насквозь пронизывали тонкие молочные и темно-сизые жилки. Он был влажен, сверкал в

лучах солнца и будто радовался, что его подняли.

Сергей несколько раз перевернул его.

– Начало хорошее. У тебя острые глаза. Продолжим... О, нам везет!

Он поднял синеватый, позолоченный морем, узорчатый халцедон. Женя тут же нашла густо-красный, с белым пояском, сердолик. При каждой удаче они подходили друг к другу, разглядывали находку. Глаза Жени разбегались, она спешила вперед, сворачивала вправо, влево, пятилась назад, ногами сдвигала верхний слой гальки, рылась в ней руками, жаловалась, что хорошие камни редко попадаются, и вдруг замерла от восторга: на песке лежал розовый, с белесыми полосками, гладко отшлифованный сухой камень.

– Ой, какой! Лучше всех! Смотри!

На лице ее были радость и удивление. Он порывисто склонился, поцеловал ладонь Жени, губами взял с нее сердолик и удивился:

– Какой камень? Чему ты радуешься?

Женя плюнула на свою пустую ладонь и вспыхнула:

– Постой, ты толкнул меня, камень и упал! Не двигайся, он закатился за гальку.

Она широко развела руками и наклонилась:

– Ведь какой камень! У тебя такого я не видела.

– Возможно, но зачем ты хитришь? Я ведь все видел. Хочешь, я вмиг найду его у тебя? Вот стань прямо, опусти руки.

Вот так. Раз, два, три!

Сергей прижал к своему лицу руку Жени и губами положил на нее камень.

– Видишь, ты его между пальцев прятала!

Женя закричала, что это никуда не годится, что камешки в рот брать нельзя! Но тут же взъерошила Сергею волосы:

– Это замечательно! Я слышу, что ты шепелявишь, но сразу не догадалась. Как ты ловко сделал это, выдумщик ты мой!

Они глядели друг другу в глаза и смеялись. Женя порывалась петь, вслух вела счет найденным камням, досадовала, что их мало, и раздумчиво сказала:

– Сережа, знаешь, эти камни будут нам помогать. Когда уедем отсюда, поглядим на них, потрогаем – и будто побываем у моря!

Изредка Сергей останавливался, с трудом переводил дыхание, поднимал на Женю глаза, но тут же обрывал себя: «Не смей! Раз дал слово, нельзя!» Руки его падали. Небо, берег и морской простор сливались в глазах.

– Жарко! – глухо говорил он.

– Идем в воду. Ты здесь, я там.

Женя бежала вперед, они сбрасывали с себя одежду, кидались в море, плавали, перекликались и опять собирали камни.

На привалах, в тени гор, ели бутерброды, запивали водой и, положив под головы руки, смотрели в небо.

Сергей плянул ей в глаза:

– Ответь мне: ты недовольна мною таким, какой я есть? Да?

– Ты с ума сошел! – возмутилась Женя, но, вместо того чтобы и дальше упрекать Сергея, спросила: – А ты? Доволен мною такой, какая я теперь?

Он отвернулся и ответил:

– Я в тебе ничего не стал бы изменять.

Солнце жаром обливало море и гальку. На берег легли косые тени горных вершин и наливались синевою. Волны подсакивали им навстречу, торопили:

«Скорее, скорее!»

Жажда перехватывала дыхание. Женя перестала искать камни и закричала:

– Пи-и-ить!

Сергей приблизился к ней и объявил:

– Воды в последней бутылке осталось мало, и я буду выдавать тебе по плотку.

– По одному плотку? Ох, море, почему ты соленое?!

Сергей вынул из сумки бутылку и, глядя в сторону, сказал:

– Открывай рот!

Преодолевая смех, Женя откинула голову, разомкнула губы.

Сергей струйкой лил воду ей на зубы, на язык. Капельки сверкали на ее губах, скатывались на грудь. Сергей закрыл бутылку и пошел дальше.

– Ты мучаешь меня. Дай как следует напиться.

– Жажды все равно не уймешь.

– Дай еще один плоток.

– Нельзя. Ищи камни, следующий плоток получишь через полчаса.

После четвертого плотка тени гор дотянулись до моря и заплясали на волнах. Сергей остановился:

– Ну, будет искать. Освежимся, отдохнем – и назад.

Они выкупались и, мокрые, усталые, отдыхали на остывающей гальке.

– Посмотрим, что собрали, – сказала Женя.

Сергей придвинулся к ней, и голова его очутилась против ее головы. Он рукой разровнял между своим и ее лицом гальку, разостлал полотенце и положил на него мешок с камнями:

– Смотри!

Женя высыпала камни на полотенце, пальцами проворно разделила их по цветам, каждый переворачивала, со всех сторон оглядывала, стирала морскую соль и бормотала:

– Этот хорош, этот, этот! Даже не верится, что они не побывали у химиков и художников. Ведь как разрисованы, а какие жилки! Таких рисунков даже не придумаешь. Только мороз на окнах так рисует.

Сергей не сводил с нее глаз и ждал, когда она взглянет на него. Корявые, осколистые камни она отложила в сторону, хорошо отшлифованные, редкие – пересчитала.

– Пять крупных сердоликов, два агата, девять крошечных сердоликов и пять рисунчатых халцедонов. Я называю камни так, как ты учил. Не сбилась? Вот видишь!

Камни переливались в ее глазах. Она разложила их на полотенце так, что они образовали цветок, и удивилась:

– Погляди, что получается! Эти камни лучше драгоценных.

Из них можно сделать редкие вещи.

Сергей улыбнулся:

– Ты, я вижу, заболела камнями.

– Нет, – тряхнула головой Женя, – не заболела, но я рада, что ты научил меня собирать и разбираться в них. Слушай, тебе не бывает неловко здесь? Все захвачены работой, а мы собираем камни, загораем, купаемся...

– Ты забываешь, что мы здесь работаем, а загораем только между делом, что...

Сергею вдруг представились в голубом море вражеские, ревущие орудиями корабли, и он пробормотал:

– Да, загораем...

Потом спросил:

– Женя, а если на нас нападут?

– Пусть попробуют! Не растеряемся. Я пойду в армию сестрой, а ты – по своей специальности.

Сергей вскинул на Женю глаза и ждал. Она снизу перехватила его взгляд, возмутилась:

– Ты чего так плядишь?

– Жду, что скажешь еще.

– Ах, вот что! А я не скажу того, чего ты ждешь.

– А чего я жду?

– Молчи, знаю. Не красней, не красней! Вдруг грянет, мол, война, мы пойдем на фронт, а счастья у нас так и не было.

Ведь ты это хотел сказать?

Сергей покраснел гуще и согласился:

– Да, об этом я тоже хотел сказать. А еще вот о чем...

Я на фронте буду думать, что у меня есть чудесная Женька, а все-таки жизни у нас с ней не было... Думаю, что и у тебя мысли будут такие же, и ты, может быть, даже назрешь меня дурачком.

– Нет, я иначе буду думать! Я буду верить в наше счастье.

Женя поцеловала Сергея в глаза, в лоб и обеими руками провела по его голове.

Он вывел ее на заросшую колючками тропу вдоль прибрежных гор. Тропа была узенькой, и ему пришлось выпустить руку Жени.

– Сережа!

Женя подняла с груди камней похожее на кинжал, огромное коричневое перо птицы.

– Ой, пляди, оно чуть короче моей руки! Чье это?

– Орлиное. Это к счастью.

– Орлиное? Значит, над этой горой орлы играли или дрались. А почему к счастью?

– Этим пером ты будешь писать мне письма, – засмеялся Сергей и стал рассказывать об орлах, о том, как орлицы учат орлят летать, как орлята, падая, на их спины, вырывают из них перья.

За горами в гудах облаков плавилаь сталь, горела медь, вспыхивала сера. Облака были неопиуемо яркими, потом они начали медленно гаснуть и застилаться дымкой.

Над далекой острой вершиной вспыхнула первая звезда.

– Смотри, – указал на нее Сергей, – это вечерняя. У Тараса Шевченко есть обращение к этой звезде:

Зоре моя вечерняя,
Зийди над горою,
У неволи тихэсенько
Поговоримо с тобою...

Женя кивнула:

– Хорошо. А скоро привал?

– Скоро, вон там.

Сергей нарвал травы, застлал рубахой и сказал Жене:

– Отдыхай, нам еще далеко.

Женя дышала неровно и тяжело. Сергей протянул руку и погладил ее по лбу:

– Ты устала оттого, что мы спускались с горы по мокрой, вязкой дороге.

Со лба рука Сергея скользнула на жаркую щеку, на плечо.

Женя переложила ее обратно на свой лоб.

– Так мне лучше.

Сумерки сгущались, ветер, уставая, дул все тише и тише, звезды всходили по одной, затем усеяли все небо. В куполе неба заискрился Млечный Путь. Ветер чуть шевелил вершину ясеня. Веки Жени сблизались, но с отрога горы подала голос сплюшка:

– Сплю-у-у!

Женя встрепенулась:

– Спи, ты дома, а нам далеко.

Из глубины рва, перерезавшего подошву горы, донеслись голоса водяных лягушек.

– Ну, расхвастались, – рассмеялась Женя. – Вам после дождя воду по плоткам не выдают.

Сергей приподнялся на локте, вынул из сумки бутылку и, подняв ее к звездам, встряхнул:

– Глотков шесть осталось. Глотни. Но один раз, а то жалеть будешь.

Горлышко бутылки прильнуло к сверкнувшим зубам Жени.

– Возьми, я сейчас ведро выпила бы. Много еще идти?

– Полгоры вверх, гору вниз да вдоль моря минут пятнадцать. Ну, крепись!

Сергей вскочил и помог Жене встать.

– Пошли!

За ясенями начинался крутой подъем. Женя спотыкалась и шла все медленнее. Голоса птиц, не умолкая, звучали в темноте. Навстречу из-за горы ослепительно сверкали звезды.

– Стыдно сказать, но я раскисла, – призналась Женя.

– Ничего, – пошутил Сергей. – Помнишь сказку: шли братец Иванушка и сестрица Аленушка? Солнце высоко, колодезь далеко, жар донимает, пот выступает...

Он запнулся и умолк.

За поворотом дороги надвинулся новый подъем, а за ним встал последний, самый трудный.

– Почему ты замолчал?

– Кончилась сказка.

– А ты придумай продолжение.

Сергей ввел в сказку себя, Женю, а чтоб она не уставала слушать, указывал на взблески зарниц, на падающие звезды: «Смотри!»

У вершины горы он усадил Женю на камень.

– Отдохни, здесь я дам тебе два плотка воды. Пей и пляди. Отсюда звезды кажутся совсем близкими, правда? Вот прислушайся. Как-то я возвращался из-за-этой горы, лежал здесь, глядел на звезды, и мне чудился твой голос. Ты ничего не слышишь?

Женя обняла руками ноющие колени и стала вслушиваться.

Вечер переходил в ночь. Звуки роями подплывали к ушам – вначале смутные, еле уловимые, затем четкие, осмысленные.

Женя сказала:

– Ты хорошо воспринимаешь природу. Тебе даже звезды говорят о том, чего ты хочешь. Ты и меня настроил на свой лад.

Я с тобой ничего не боюсь. Идем.

Сходить с горы по черному дубняку было труднее, чем подниматься. Усталые ноги ныли, а тело стремилось вниз. «Закон притяжения», – про себя оправдывалась Женя и, оступившись, ослабела совсем.

Сергей взял ее под руку и осторожно повел. Ей стало легче.

На руке Сергея покачивалась сумка, а в ней о бутылку ударялся мешочек с камнями. Женя припоминала найденные сердолики, старалась вернуть ощущение близости с Сергеем, но это плохо удавалось.

– Остановимся, – придержал ее Сергей. – Здесь ты выпьешь последний поток.

Он подал ей бутылку. Женя вспомнила, что он с зари не притрагивался к воде, и, преодолевая нежность, недовольно спросила:

– Почему ты сам не пьешь? Не верю, что не хочешь. Ты покровительственно относишься ко мне: она, мол, слабая, воду надо беречь для нее. А я жертв не люблю!

– Каких жертв? Я ведь и раньше ходил на эту гору, а ты впервые, тебе тяжелее. Пей, а то задремлешь!

Женя молча подчинилась. От слабости у нее рябило в глазах. Огни Голубой долины казались россыпью звезд, а звезды – огнями Голубой долины. Из-за скалы внезапно донесся плеск моря. Женя облегченно вздохнула и перестала ощущать свои заплетающиеся ноги.

Море шумело все ближе и дышало в лицо прохладой. На берегу Сергей отдал Жене последний поток воды. Она слышала теплый шепот Сергея, но ни огня, ни моря не видела.

Она не заметила даже того, как очутилась на дворе санатория, – казалось, Сергей с горы перенес ее к затихающим на ночь домам. Только в своей комнате, когда свет вспыхнул и осветил ее, она встрепенулась:

– Дошли? – торопливо взяла графин, налила из него в стакан воды и подала Сергею. – Пей скорее, пей!

Веки ее смежились, она глядела на Сергея к шептала:

– В детстве я тоже с поля приходила такой усталой. Мать раздевала меня, укладывала.

– А сегодня – я тебя уложу, – смеялся Сергей. – Ты, вероятно, еще очень хочешь пить? Я сейчас налью, погоди.

Он наполнил стакан, взял его в левую руку и, как бы маня за ним Женю, повел ее к постели. Он помог ей сесть, снял с нее туфли и подал воду.

– Пей и ложись, я тебя укрою.

Вода расходилась по телу, веки сблизились, в голове потускнело. Женя хотела сказать, что вкуснее воды нет ничего на свете, но лампа помутнела, в сознании зародились сердолики, зазвучали слова Сергея, и ей неожиданно представилось, что сама она лежит на чьей-то ладони и тот, на чьей ладони она лежит, кому-то показывает ее и говорит:

– Вот сердолик!

Ей хотелось взглянуть на говорившего, но веки были тяжелыми и не размыкались. Она порывалась разнять их пальцами, но руки тоже не повиновались ей. Она хотела закричать: «Сергей! Сергей!», хотела вскочить и не могла сделать этого:

Длилось это, как казалось ей, недолго, а когда она вскинула, наконец, веки, на столе играли лучи утреннего солнца. По ту сторону окна стоял Сергей. Он раскладывал на подоконнике собранные вчера камни. Она вмиг охватила сознанием вчерашний день, вечер, звуки голоса того, кто во сне держал ее на ладони, называл сердоликом, и засмеялась:

– Сережа, ты был на зарядке? Нет? Значит, еще рано? А мне что снилось! Заходи в комнату, покажи камни. Нет, камни потом! Дай руку, дай другую. Сядь. Вот так. Я тебе все расскажу, я теперь совсем счастливая и люблю тебя крепко-крепко...

1936–1939 гг.

Александр Владимирович Перегудов

Светлый день

Звуки пастушьего рожка возникали над землей вместе с рассветом. Они были далеки и нежны, как мутно-палевое небо на востоке.

Заслышав рожок, дедушка Трофимов вставал с постели, одевался и выходил на крыльцо. Он садился на прохладные, чуть влажные от ночной свежести ступени и ждал восхода солнца.

Большая зеленая поляна и небо над ней медленно наливались заревым светом. Высоким дымно-зеленым валом возвышался за поляной сосновый лес. У его подножия лежал легкий лиловый туман. Перед крыльцом на клумбе пестрели цветы, от них тянуло запахом левкоев и флоксов.

Рожок пел то тише, то громче, и, когда он замолкал, слышалось мычание коров, сухое шелканье кнута, посвист пастуха. Стадо проходило за лесом в километре от дома отдыха.

Над пышными кудрями сосен тепло, розовели пепельно-сизые облака. Легкий ветерок перебирал листья березы, одиноко стоящей у дома. Ветерок выдувал остатки ночных сумерек, спрятавшихся в ветвях, – светлела окраска листвы.

Из сарая, где лежало сено, выходил конюх Еремей. Он закидывал руки за голову, потягивался и громко, на всю поляну, зевал. Потом подходил к Трофимову. Каждое утро разговор начинался одним и тем же:

- Благодать, – говорил Еремей, окидывая взглядом землю.
- Благодать, – соглашался старик.
- Давно проснулся?
- Давно. Старые люди, как куры: с солнышком ложатся, с солнышком встают.
- Ты ноне раньше солнца встал.
- А выспался... Я на сон не жаден.
- Купаться пойдем?
- А как же?.. Купаться – это обязательно.

Они шли к речке, протекавшей у леса. Их подошвы оставляли на матово-серебряной от росы траве темно-зеленые следы. Навстречу им

поднималось солнце, большое, розовое, ясное.

Река курилась легким паром. В светлой заводи плавали белые облака, отражения кустов в воде были ярки и четки, как в зеркале.

Еремей быстро раздевался и с разбегу кидался в заводь.

Он громко хлопал по воде руками, гоготал и заманивал купаться старика:

– Молоко парное вода-то... Лезь скорее!..

Дедушка Трофимов, раздевшись, осторожно опускал пятку в воду. Его лицо расплывалось в радостной улыбке...

– Вот это вода!

Он умывался, проводил мокрыми ладонями по груди и, не искупавшись, одевался.

Так начиналось утро, начинался день, наполненный непривычным для старика отдыхом. Сорок восемь лет проработал Трофимов на заводе, шестьдесят четыре года прожил на земле, и никогда в его жизни не было таких покойных дней.

В первые дни пребывания в доме отдыха старик, смущаясь, шел в столовую завтракать, обедать, ужинать. Совестно было пить, есть, спать в чистой постели и ничего не делать. Всю свою жизнь привык он трудиться и, даже покинув завод, не сидел без дела: плел корзины, копался в огороде, разводил помидоры.

Он и в доме отдыха искал работы: хотелось чем-то отплатить людям за их доброту и заботу, хотелось помочь им в их труде.

Трофимов видел у кухни рассыпанную щепу, развалившуюся поленницу дров и, обрадованный тем, что находил себе дело, подбирал щепу, укладывал дрова. Но из столовой выходила заведующая Мария Васильевна и, улыбаясь, говорила:

– Оставь, оставь... Без тебя уберут. Ты отдыхай.

Только Еремей не препятствовал дедушке засыпать лошадям овес, подметать конюшню, и за это Трофимов был благодарен конюху.

В это утро, вернувшись с речки, они задали корму лошадям, потом конюх ушел за водой, а старик ходил по конюшне, хлопал по лошадиным крупам ладонью, притворно-сердито говорил: «Ну, балуй!», хотя лошади стояли смирно, жуя овес.

Звонкий колокол приглашал к завтраку.

На веранде, уставленной столами, собирались отдыхающие.

На столах, покрытых скатертями, стояли вазы с цветами, тарелки с пшеничным и ржаным хлебом. Подавальщицы, в белых фартуках и кружевных чепчиках, разносили кофе, масло, колбасу, молочную кашу. Трофимов садился на свое место в уголке он уже привык к необычной обстановке, к шуму и смеху молодежи, он ел не торопясь, подбирая со скатерти крошки и отправляя их в рот. За завтраком Мария Васильевна сообщила, что вечером будет собрание, приедет из райкома товарищ и сделает доклад о новой Конституции.

После завтрака старик опять заглянул в конюшню, но там все было прибрано и дела не находилось. Он пришел на спортплощадку, где парни в синих трусах и девушки в сиреневых майках играли в волейбол. Вскидывая руки, изгибаясь в стремительных движениях, они перебрасывали через сетку кожаный мяч. Над сеткой сияло голубое горячее небо, от сетки падала на землю косая сквозная тень, похожая на кружево.

Катя Топорова смуглая и черноглазая, как цыганка, сверкая белозубой улыбкой, подбежала к старику и за руку потащила его на площадку.

– Вставай с нами! У нас человека не хватает.

– А что же? Я могу, – Трофимов, слегка упираясь, шел за девушкой. – Я вам покажу. – Он, бодрясь, встал у сетки. – Ну, ну, давай...

Излишне суется, он мешал играющим и через пять минут, тяжело дыша, отошел в сторону.

– Замаялся... Годков сорок скинуть бы – я бы вам показал...

Солнечный день был томительно жарок, над поляной струился горячий воздух, похожий на жидкое стекло, за ним дрожали и плыли кусты Можжевельника и высокие ярко-лиловые цветы иван-чая.

Спортплощадка опустела, молодежь ушла на речку купаться. Пожилые рабочие сидели на траве в тени столовой, играли в шахматы, шашки, читали газеты.

Темно-синяя туча тяжелой громадой вылезла из-за леса.

Глухо рычала и сверкала молниями, непомерной тяжестью давила на лес, и лес как будто сделался меньше и затих в предгрозье. Но гроза прошла стороной, туча свалила на север, уползла за край земли...

После обеда дом затих в мертвом часе. В мертвый час дедушка Трофимов не спал, но, подчиняясь правилам, раздевался и ложился в постель. Солнечный свет косо падал в окна, лежал на полу горячими ромбами. За окном сияло голубое небо, по нему изредка стремительно проносились ласточки. Иногда на голубой прямоугольник окна наплывало снежно-белое и пушистое, как вата, облако. Золотые ромбы на полу тускнели, гасли и снова вспыхивали, когда облако проходило. В открытую форточку дул теплый ветерок, пахнувший свежим сеном и березовой листвой. В этот час в тихой и светлой комнате хорошо было думать о прошлом и настоящем, перелистывать свою жизнь, как книгу. И великое множество картин всплывало перед внутренним взором старика, одни из них были свежи и яркие, другие тусклы и расплывчаты.

Видел Трофимов своего отца, высокого, здорового молотобойца, шутника и балагура. Бывало, придя с работы, отец, как пушинку, подхватывал сына на руки и курчавой жесткой бородой щекотал ему лицо. Этот образ был далек, едва уловим, и память с трудом создавала его. Гораздо чаще видел Трофимов отца больным и желтым, с трясущимися руками, с подергивающейся головой. Отец сидит на постели, упираясь ладонями в колени, трясет головой и беззлобно говорит: «Никому не нужен стал... всю жизнь работал, а достатка и отдыха не заработал...» И умер отец в нужде и лишениях, и похоронили его добрые люди, собрав пятаки и копейки...

Образ матери был и туманен и светел. Сколько ни напрягал старик память, но не мог вспомнить лица матери. От всего ее облика ярче всего запомнились темный с белыми горошинками платок и синяя полинявшая кофта с заплатой на плече. Но этот облик был трогательно ласков, напоминал о детстве, о какой-то позабытой радости, о каких-то хороших переживаниях.

О каких? Разве теперь вспомнишь – мать умерла незадолго до смерти отца.

И еще один образ рождала память. Вот как сейчас, помнит старик: рабочие толпой стояли у заводских ворот, над толпой дерзновенно возвышался красный флаг. И вдруг кто-то тревожно крикнул: «Казачи!» – и все повернули головы и посмотрели на улицу поселка, по которой галопом мчались всадники.

Нарастал тревожный, как звук обвала, топот, толпа шарахнулась, разбилась надвое, освобождая дорогу. Девушка в белой кофте, растерявшись, заметалась посреди дороги. На нее лавиной неслись всадники. Тот, что скакал впереди, нагнулся к лошадиной шее, и, слегка привстав на стремях, взмахнул нагайкой. Женщина у заводских ворот истерично закричала:

«Раздавят!» Из толпы наперерез казакам метнулся парень, отчаянным прыжком кинулся к лошади и вцепился в узду. Лошадь взвилась на дыбы. Удар нагайки упал на голову парня.

Девушка успела отбежать в сторону... Разве теперь кто-нибудь поверит, если сказать, что когда-то этим парнем был дедушка Трофимов. И разве теперь кто-нибудь узнает в жене дедушки Трофимова ту далекую девушку в белой кофте? Время иссушило свежесть щек, пробороzdило морщины серебром покрыло волосы, и превратилась веселая девушка Груня в добродушно-ворчливую бабушку Аграфену.

Старик хмурил брови, растроганный воспоминаниями, слезы выступили на его глазах. И большой-большой дорогой показалась ему жизнь. Вот от этой комнаты, покойной и светлой, протянулась она в прошлое, и начало ее терялось в далеком и полузабытом...

Вечером перед открытой сценой собрались все отдыхающие и работающие в доме отдыха. Приехавший из города докладчик говорил о проекте Конституции. Он назвал ее новыми скрижалями человечества. И дедушка Трофимов подумал, что для того чтобы создать эти скрижали, нужна была подпольная работа большевиков, нужны были героизм и жертвы людей, твердо верящих в победу. За будущее счастье человечества люди умирали на виселицах, в тюрьмах, шли на каторгу, на поселение в далекую Сибирь. Воображение старика создавало этот путь и на нем – серых людей, звенящих кандалами. Он вспоминал первые дни революции, годы гражданской войны, разрухи и голода, годы строительства и побед.

Кто-то громко кашлянул сзади, Трофимов обернулся, непривычно сердито сказал: «Тише!» – и окинул взглядом сидящих на скамьях. Бойкая Катя Топорова, сцепив руки, подалась вперед Столяр Никита Иваныч, слушал, опустив голову, будто о чем-то глубоко задумался. Машинист Баландин стоял возле сцены со свернутой сигаркой в

темных пальцах, он забыл закурить и не заметил, как из сигарки высыпалась махорка.

– Статья сто двадцатая, – говорил докладчик. – Граждане СССР имеют право на материальное обеспечение в старости, а также в случае болезни и потери трудоспособности...

– Так! – вслух произнес Трофимов и, смутившись, оглянулся. Но на него никто не обратил внимания.

«Обеспечение в старости», – мысленно повторил старик, и память раскрыла перед ним бедную каморку, тряпье на постели, больного отца с трясущимися руками. Отец знал, что его в старости никто не обеспечит, он отказывал себе в необходимом и откладывал часть заработка на «черный» день. Этот «черный»

день был неизбежен для всех живущих в рабочем поселке. Для одних он незаметно наступал в старости, для других быстро приходил в болезни. Люди «черного» дня сами признавали свою ненужность, становились робкими, молчаливыми, покорно ожидали смерти. «Черный» день, как неизбежность, пришел и в каморку Трофимовых...

И опять замелькали в памяти старика картины, и лица прошлого: чахоточная мать с полузабытым лицом, забастовка, красный флаг над толпой, девушка в белой кофте, удар нагайкой, механическая мастерская завода, токарный станок, у которого стал молодым и ушел от которого стариком, ушел не забытым и брошенным, не в «черный» день, а в спокойную обеспеченную старость. В воспоминания прошлого вплетались рожок пастуха, белые облака в речной заводи, конюх Еремей, мяч, взлетающий над сеткой, веранда столовой, тихая комната с ромбами солнечного света на полу – все, что принес этот светлый летний день...

Собрание закончилось, люди разошлись, а старик продолжал сидеть перед опустевшей сценой. Там, где протекала река, лег туман, похожий на голубой дымок. Большой багровый круг солнца осторожно опустился на край поляны, скрылся за горизонтом. Малиновыми, золотыми, желтыми красками загорелась и начала угасать заря. На смену дню пришел вечер. Где-то зазвучала гитара, девичий голос запел знакомую песню. Дедушка Трофимов улыбнулся песне и будущим дням, которые придут такими же хорошими и светлыми, каким хорошим а светлым был ушедший день.

1937 г.

Константин Александрович Федин

Рисунок с Ленина

1

Летним полднем молодому художнику Сергею Шумилину позвонили по телефону из газеты и сказали, чтобы он зашел в редакцию договориться об одном деле. Художник бросил рисовать, помыл руки, сунул в карман гимнастерки карандаши с блокнотом и вышел на улицу.

В магазинных окнах были выставлены портреты Ленина в красных рамочках из кумача, и повсюду бросались в глаза надписи: «Да здравствует Третий Коммунистический Интернационал!»

Сергей, заглядывая в окна, думал, что – вероятно – фотографии очень правильно передают черты Ленина, без отклонений, но художник мог бы тоньше, уловить особенности лица, живость движений, и хорошо было бы порисовать когда-нибудь Ленина с натуры.

В редакции Сергею сказали:

– Вот какое хотим мы дать вам поручение. На конгресс Коминтерна съезжаются иностранные делегаты. Отправляйтесь во Дворец труда, там они сегодня соберутся. Зарисуйте кого-нибудь из делегатов. Согласны?

– Хорошо.

– А завтра мы дадим вам пропуск на открытие конгресса, можете рисовать любого делегата и, если увидите, Ленина...

– Ленина? – быстро перебил Сергей и улыбнулся своей мгновенной мысли, что вот судьба так странно исполняет его желание.

– Да, если представится возможность, нарисуйте нам Ленина.

– Хорошо, – опять сказал Сергей.

Веселый, он поехал на трамвае во Дворец труда и, как только через открытые окна вагона замечал где-нибудь портрет Ленина, – снова удивлялся необыкновенному совпадению и уже ясно

представлял себе, каким легким, непринужденным, живым будет его рисунок с Ленина.

Он решил, какой альбом возьмет с собою; какие нужны карандаши и как он потом, по рисунку, напишет большой портрет.

2

Во Дворце, куда явился художник, было шумно. На лестницах, в коридорах попадались иностранцы, окруженные русскими, которые рассказывали им о жизни Советской Республики.

Шла война с Польшей, поляки были разбиты, и Красная Армия преследовала бежавшие польские войска. Белогвардейцам барона Врангеля в Крыму тоже приходил конец. Но до мира было далеко, вражеская блокада изнуряла молодую советскую землю, и трудно было проникнуть из-за границы в Петроград. Иностранные гости ехали на конгресс морем, вокруг Скандинавии, им приходилось переживать по дороге рискованные приключения. Но желание увидеть Страну Советов заставляло одолевать самые трудные препятствия, и люди съехались со всех концов света.

Сергея познакомили с одним немцем. Это был маленький горбун с важным лицом и с медленной походкой. Родом он происходил из Брауншвейга, по профессии был портным. Во время германской революции он три дня возглавлял «независимую» республику в Брауншвейге, которую предательски разгромили немецкие социал-демократы.

Хотя он сразу согласился позировать художнику, он занялся подробными расспросами о Советской власти и все не мог понять, зачем ей понадобилось упразднить всякую торговлю и ввести распределение товаров.

Они стояли на балконе, глядя на суровую площадь перед Дворцом, еще хранившую следы героической обороны Петрограда от генерала Юденича: на мостовой виднелись второпях засыпанные окопы, на бульваре торчали остатки бруствера – бревна, мешки с песком. Сергей сказал:

– Целое сонмище врагов ополчились на нас. Мы думаем об одном – победить их.

– Понимаю понимаю, – с превосходством говорил брауншвейгец и плавно двигал головой, лежавшей глубоко в плечах. – Но какой смысл в том, что у вас закрыты мелочные лавки?

– Лавочники заодно с нашими врагами.

– Понимаю, понимаю. Но если у меня оторвется пуговица, где я ее куплю?

Таким рассуждениям, казалось, не будет конца, и Сергей вдруг заскучав, почувствовал, что совершенно ничего не получится, если он начнет рисовать брауншвейгца.

– Знаете, я попробую сделать ваш портрет завтра, на конгрессе, – сказал он.

Немец снисходительно разрешил, и художник быстро простился.

3

На другое утро, с билетом в кармане, Сергей торопился на открытие конгресса, но, когда он пришел, зал Дворца Урицкого был уже полон, на хорах колыхалась живая полоса голов, все глухо гудело от разговоров, везде вспыхивали белыми крыльями расправляемые газеты. Стояла духота, чаще и чаще в амфитеатре снимались пиджаки, люди обмахивались газетами, платками, рябило в глазах от трепета неисчислимых пятен, все было напряжено ожиданием.

Сергей нашел место в ложе для журналистов, против трибуны. Отсюда хорошо были видны скамьи президиума. Он раскрыл альбом и стал готовиться к рисованию.

Внезапно хоры зашумели, и, все поглощая грохотом, вниз начал сползать плетчер рукоплесканий. Сергей поднялся вслед за всем залом и стал глядеть в места президиума. Но там никто не появлялся. Он посмотрел в зал, и вдруг у него выпал из рук альбом: он начал аплодировать.

Прямо на него, через весь зал, впереди разноплеменной толпы делегатов, шел Ленин. Он спешил, наклонив голову, словно рассекая ею встречный поток воздуха и как будто стараясь скорее скрыться из виду, чтобы приостановить аплодированье. Он поднялся на места президиума, и, пока длилась овация, его не было видно.

В момент, когда он появился, раскрылись все двери. зала, и на хоры и в амфитеатр внесли огромные корзины красных гвоздик Цветы разлетались по рукам, вовлекая длинные ряды скамей в красочную перекличку с алыми полотнищами знамен и декораций. Оглядывая зал, Сергей увидел неподалеку двух пожилых художников, которые еще недавно были его учителями.

Они уже уселись на места, а он все еще стоял. Спohватившись, он поднял альбом и взялся за карандаши.

Но неожиданно, когда стихло, он опять увидел Ленина, очень быстро поднимавшегося вверх между скамей амфитеатра. Его не сразу заметили, но едва заметили, снова начали аплодировать и заполнять проход, по которому он почти взбегал.

Он поравнялся с одним человеком и, весело улыбаясь, протянул ему руки. Тот встал навстречу Ленину, здороваясь неторопливо, с какой-то степенной манерой крестьянина и с ласковой сдержанной улыбкой. Они разговаривали, все больше наклоняясь друг к другу, потому что овация росла и люди обступили их кольцом.

– Это – Миха Цхакая, – услышал Сергей, – грузинский коммунист. Он жил с Лениным в Швейцарии.

Кольцо людей вокруг них сужалось, и Ленин, пожав руку товарища, почти прорвал неподатливую толпу, устремляясь вниз, явно недовольный громом и толчеей.

Сергей следил за каждым шагом Ленина. Ему казалось, что он успел заметить очень важные особенности движений этого невысокого, легкого человека и уже видел их пойманными карандашом в своем альбоме.

Ленин, войдя в места президиума, на минуту исчез, потом вновь показался, и Сергей увидел, как он вынул из кармана бумаги и присел на ступеньку в проходе. Это случилось быстро, нечаянно, просто, и лучшей позы нельзя было ни ждать, ни вообразить. Сергей почувствовал, что его соседи-художники уже рисуют. Он сжал в пальцах карандаш, но не мог оторвать взгляда от Ленина.

Так хорошо была видна его голова – большая, необычная, запоминавшаяся в один миг. Ленин положил бумаги на колени и, читая, низко нагнулся над ними. Взмах его лба, темя, затылок с завитушками светлых желтых волос, касавшихся воротника, резко преобладали во всем его облике. Сергей хотел сравнить Ленина с

каким-нибудь образом, знакомым из истории или современности, но Ленин никого не повторял. Каждая черточка его принадлежала только ему.

Сергей наконец коснулся карандашом бумаги. Одним мягким, нащупывающим скольжением он прочертил контур ленинской головы и поднял глаза. Ленина уже не было.

4

Сергей увидел его снова, когда он ступил на трибуну для доклада. Восторженная, несмолкающая овация встретила Ленина.

Ему пришлось вынести ее до конца. Он долго перебирал бумажки на кафедре. Потом, высоко подняв руку, тряс ею, чтобы уgomонить разбушевавшийся зал. Укоризненно и строго поглядывал он по сторонам – один среди клокотавшего шума. Вдруг он вынул часы и показал их аудитории, сердито постукивая пальцем по циферблату, – ничего не помогало. Тогда он опять принялся нервно пересматривать, перебирать бумажки, пока овация, словно исчерпав себя, не обратилась во внимающую тишину.

Ленин начал говорить.

Сергей увидел его в движении, передававшем мысль. Вот именно это и мечтал художник изобразить в рисунке. Черты Ленина, несколько минут назад совершенно точно уловленные, как будто исчезли в Ленине-ораторе и заменялись новыми, в непрерывном живом чередовании. Одну за другой отмечал их в памяти Сергей, но они возникали и не повторялись, и он боялся упустить их, и все не решался начать рисовать, и уже не мог бы сказать, что делает – изучает ли жестикуляцию Ленина или слушает его речь.

Полная слитность жеста Ленина со словом поразила его.

Содержание речи передавалось пластично, всем телом. Сергею казалось, будто жидкий металл влит в податливую форму: настолько точно внешнее движение сопутствовало слову, так бурно протекала передача огненного смысла речи.

Ленин разоблачал Англию, которая нежданно-негаданно прониклась миролюбием и, чтобы спасти панскую Польшу и белого генерала Врангеля, предложила свое посредничество между ними и

Советской Республикой. Когда Ленин спросил у зала: почему создано во всем свете «беспокойство», как выражается деликатное буржуазное правительство Англии, все его тело иронически изобразило это неудобное, щекотливое для Англии «беспокойство», и ее политика на глазах у всех превратилась в разящий саркастический образ.

Ленин часто глядел в свои записки и много называл цифр, но ни на одну минуту он не делался от этого унылым докладчиком, оставаясь все время покоряющим трибуном. Его высокий голос был неутомим, его язык – наглядно-прост, его произношение – мягко, он иногда грассировал на звуке «р», и это наделяло его слово человечностью, жизненно приближая речь к слушателю.

С таким чувством, как будто он не пропускает ни звука этой речи, Сергей принялся рисовать. Он набрасывал на бумагу приподнятую голову Ленина, его вытянутые руки, прямую сильную, разогнутую линию спины, круглую, выпяченную грудь. Он оставлял один рисунок, начинал другой: то у него не получалось лицо, то руки или торс. Он повторял удачное, бился над тем, что не удавалось, перевертывал в альбоме лист за листом и, наконец, в испуге заметил, что цель, которую себе поставил, ничуть не приближалась.

Он посмотрел на своих учителей. Один из них, нагнувшись, старательно стирал нарисованное резинкой. Лысина его была пунцовой. Сергей вспомнил – он всегда краснел, если у него что-нибудь не получалось. Другой художник ушел из ложи, пристроился в рядах против трибуны и, бросив рисовать, слушал Ленина.

Сергею вдруг сделалось страшно, что он навсегда упустит мгновение, что Ленин кончит речь, а в его альбоме так и не будет ни одного цельного наброска. Он вышел из ложи, насилу протолкавшись в дверях, где люди стояли плечом к плечу. Он стал внизу, в проходе, откуда Ленин показался ему больше и выше. Он решил, что это самое выгодное место. Но тут мешал свет юпитеров: объективы фотокамер и кино вместе с художниками ловили неуловимого, живого Ленина, и огни, вмиг ослепив, окунали зрение в темноту. Сергей перешел на другую сторону от трибуны. Отсюда Ленин виден был почти силуэтно, потому что свет позади него падал ярче. Нет, первая позиция была лучше всех, надо было скорее, скорее возвращаться в ложу.

Место Сергея было занято, ему пришлось стоять. Но стоя он внезапно увидел всего Ленина, во весь рост и в той полноте, которая не давалась глазу, разывавшему на части исполненную цельности натуру. Сергей сразу взялся за новый рисунок. И тогда стала сказываться вся подготовка, все неуверенное штудирование, этюды, сделанные как будто на ощупь, вслепую, и жесты, движения головы, черты лица, дополняя друг друга, соединяясь, начали медленно превращаться в связный рисунок, в близкий к правде образ – в живого Ленина. Уже не отрываясь от альбома, быстро, без усилий рисовал Сергей.

Гулкий шум раскатился по залу. Сергей вскинул глаза.

Взмахом руки собрав бумаги, Ленин легко сбегал с трибуны.

Сергей захлопнул альбом.

5

Когда кончилось заседание, в плотной, жаркой толпе делегатов Ленин вышел из Дворца вместе с Горьким. Сверкающе синий день слепил и обжигал после тепло-желтого полусвета зала. Теснота приостановила движение у самого выхода. Фотографы, наступая на делегатов со всех сторон, трещали затворами, обрадованные неистовым освещением. Горький и Ленин, подвинутые толпой, остановились у колонны дворцового крыльца. Их снимали не переставая. Гладко выбритая, голубеющая голова Горького, блестящая на солнце, была видна далеко. Кругом повторялось его имя. Ленин стоял ниже, впереди него, тоже с непокрытой головой.

Сергей был рядом, и ему надо было бы рисовать. Но толпа сдавила его. Да и он не думал шевельнуться: так близко он еще не видел Ленина за весь день. Он чувствовал, что улыбается и что улыбка его, может быть, не к месту, но она не спадала с лица, точно одеревенев. Конечно, он не мог радоваться, что фотографы нащелкают несколько десятков плохих снимков, но он позавидовал приткности их беспечной профессии.

Шествие тянулось. Среди знамен, над головами, несли трехметровый венок из дубовых веток и красных роз: направлялись к братской могиле на площади Жертв Революции.

Ленин шел во главе делегатов конгресса. Рядом с ним все время сменялись люди – иностранцы, русские, старые и молодые. Он кончал говорить с одним, начинал с другим, третьим.

Он шел без пальто, расстегнув пиджак, закладывая руки то за спину, то в брючные карманы. Было похоже, что он – не на улице, среди тяжелых, огромных строений, а в обжитой комнате, дома: ровно ничего не находил он необычайного в массе, окружавшей его, и просто, свободно чувствовал себя во всеобщем неудержимом тяготении к нему людей.

Сергей, шедший поблизости, вдруг заметил знакомого человека, который, пробираясь между плотными рядами людей, вынырнул вперед и, улучив минуту, поравнялся с Лениным. Это был брауншвейгец. Обстоятельно представившись и пожав Ленину руку, он приступил, как видно, к хорошо заготовленной тираде.

Ленин наклонил голову набок, чтобы лучше слышать низенького собеседника. Тот говорил, важно поводя длинной рукой, ценя свои внушительные слова, боясь проронить что-нибудь напрасно. Сначала Ленин был серьезен. Потом заулыбался, прищурился, коротко подергивая головой. Потом отшатнулся, обрывисто махнув рукою с тем выражением, которым говорится: чушь, чушь! Брауншвейгец, жестикулируя, продолжал что-то доказывать. Ленин взял его за локоть и сказал две-три фразы – кратких и каких-то окончательных, бесповоротных. Но брауншвейгец яростно возражал. Тогда вдруг Ленин легко хлопнул его по плечу, засунул пальцы за жилет и стал смеяться, смеяться, раскачиваясь на ходу, прибавляя шага и уже больше не оглядываясь на человека, который его так рассмешил.

«Не о пуговице ли заговорил неудачливый брауншвейгец?

Возможно, конечно», – улыбнулся Сергей, когда немец отстал от Ленина и затерялся в толпе. Странные чувства подняла эта сцена в Сергее. Она была немой для него, но, полная движения, так остро выразила в Ленине непринужденность, доступность и беспощадное чувство смешного. Сергей видел Ленина веселого, от души хохочущего, наблюдал его манеру спорить – с быстрыми переменами выражения лица, с лукаво прищуренным глазом, с жестами, полными страсти и воли. Сцена с брауншвейгцем должна была дополнить рисунок Сергея такими важными штрихами, каких прежде он не мог знать.

«Два председателя, – думал он, улыбаясь и словно все еще видя перед собою две фигуры, – председатель трехдневного брауншвейгского правительства, канувшего в Лету, и председатель правительства, которое существует три года, будет существовать всегда».

Незнакомое телесное ощущение гордости потоком захватило Сергея, и почти в тот же момент у него стало биться сердце от досады и волнующего дерзкого желания: почему, почему так много людей подходят к Ленину и он уделяет им время, а он, художник, который должен, который обязан и хочет навсегда запечатлеть Ленина для сотен, для тысяч людей, почему он должен выискивать секунды, чтобы заглянуть в его лицо, рассмотреть его улыбку, поймать на лету его взгляд?

Сергей раскрыл альбом. В рисунке были черты сходства, несомненно. Пойманные бегло, мимолетно, они не обладали бесспорностью, но что сказал бы о них сам Ленин?

Сергея толкнули вперед. А может быть, это ему показалось, – он сам протиснулся в передний ряд и уже маршировал вровень с Лениным. Он чуть не задыхался. Какой-то шаг отделял его от цели, и, не зная, хватит ли силы, он сделал этот шаг.

Он подошел к Ленину.

– Я хочу, – сказал он, и едва придуманная фраза тотчас разломалась у него. – Владимир Ильич, как рисунок вы находите этот?

Ленин мельком плянул на Сергея, взял альбом за угол и, нагнувшись, сощурился на бумагу. Потом он отодвинул альбом, весело покосился на Сергея.

– Вам нравится? – спросил он со своим дружелюбным «р».

– Нет, – ответил Сергей, – но сходство, кажется, есть...

– Не могу судить, я – не художник, – скороговоркой отозвался Ленин.

В глазах его мелькнуло шутливое лукавство, он откинул голову назад, ободряюще кивнул Сергею и отвернулся в другую сторону: с ним кто-то заговорил.

Сергея оттеснили из первого, затем из второго ряда, он Удивился – почему все время он легко сохранял удобное место в шествии и

сразу потерял его. Огорчение? Неловкость? Сергей заново вызвал в себе состояние, которое только что испытал.

Нет, ни в голосе, ни во взгляде Ленина не мелькнуло ничего, что могло бы Сергея встревожить. Но как пришло в голову показать Ленину неудавшийся рисунок? Это было малодушие.

Сергей раскрыл и тотчас захлопнул альбом: рисунок никуда не годился.

Тогда кто-то взял его за локоть и потянул книзу. Он обернулся.

Его жестко держал брауншвейгец.

– Вы, мой друг, намеревались меня рисовать, – сказал он громко. – Сегодня вам это не удалось, но я могу вас принять завтра.

Приподняв над головою длинную, сухую руку, он похлопал Сергея по плечу.

– Дьявольски жаркий день. Совсем не похоже на вашу матушку-Россию.

– Знаете что, – сказал Сергей, – я раздумал, я рисовать вас не буду.

– О, очень любезно, – расслышал он позади себя, пробираясь сквозь толпу.

Он тотчас забыл о немце. – И в тот же момент он ощутил новое, теплое пожатие руки. Его учитель, художник, рисовавший вместе с ним в ложе, со знакомой участливой вдумчивостью сказал тихо:

– Слышите? У меня не получается рисунок с Ленина.

А у вас?

– У меня тоже, – ответил Сергей и, неожиданно прижимая к себе ласковую руку, с жаром договорил:

– Но даю слово, даю вам честное слово – у меня непременно получится!..

Аркадий Петрович Гайдар

Голубая чашка

Мне тогда было тридцать два года. Марусе двадцать девять, а дочери нашей Светлане шесть с половиной. Только в конце лета я получил отпуск, и на последний теплый месяц мы сняли под Москвой дачу.

Мы со Светланой думали ловить рыбу, купаться, собирать в лесу грибы и орехи. А пришлось сразу подметать двор, подправлять ветхие заборы, протягивать веревки, заколачивать костыли и гвозди.

Нам все это очень скоро надоело, а Маруся одно за другим все новые да новые дела и себе и нам придумывает.

Только на третий день к вечеру наконец-то все было сделано. И как раз, когда собирались мы втроем идти гулять, пришел к Марусе ее товарищ – полярный летчик.

Они долго сидели в саду, под вишнями. А мы со Светланой ушли во двор к сараю и с досады взялись мастерить деревянную вертушку.

Когда стемнело, Маруся крикнула, чтобы Светлана выпила молока и легла спать, а сама пошла проводить летчика до вокзала.

Но мне без Маруси стало скучно, да и Светлана одна в пустом доме спать не захотела.

Мы достали в чулане муку. Заварили ее кипятком – получился клейстер.

Оклеили гладкую вертушку цветной бумагой, хорошенько разглядели ее и через пыльный чердак полезли на крышу.

Вот сидим мы верхом на крыше. И видно нам сверху, как в соседнем саду, у крыльца, дымит трубой самовар. А на крыльце сидит хромой старик с балалайкою, и возле него толпятся ребяташки.

Потом выскочила из черных сеней босоногая сгорбленная старуха. Ребятишек турнула, старика обругала и, схватив тряпку, стала хлопать по конфорке самовара, чтобы он закипел быстрее.

Посмеялись мы и думаем: вот подует ветер, закружится, зажужжит наша быстрая вертушка. Ото всех дворов сбегутся к нашему дому ребяташки. Будет и у нас тогда своя компания.

А завтра что-нибудь еще придумаем.

Может быть, выроем глубокую пещеру для той лягушки, что живет в нашем саду, возле сырого погреба.

Может быть, попросим у Маруси суровых ниток и запустим бумажного змея – выше силосной башни, выше желтых сосен и даже выше того коршуна, который целый день сегодня сторожил с неба хозяйских цыплят и крольчат.

А может быть, завтра с раннего утра сядем в лодку – я на весла, Маруся за руль, Светлана пассажиром – и уплывем по реке туда, где стоит, говорят, большой лес, где растут на берегу две дуплистые березы, под которыми нашла вчера соседская девчонка три хороших белых гриба. Жаль только, что все они были червивые.

Вдруг Светлана потянула меня за рукав и говорит:

– Посмотри-ка, папа, а ведь, кажется, это наша мама идет, и как бы нам с тобой сейчас не попало.

И правда, идет по тропинке вдоль забора наша Маруся, а мы-то думали, что вернется она еще не скоро.

– Наклонись, – сказал я Светлане. – Может быть, она и не заметит.

Но Маруся сразу же нас заметила, подняла голову и крикнула:

– Вы зачем это, негодные люди, на крышу залезли? На дворе уже сыро. Светлане давно спать пора. А вы обрадовались, что меня нет дома, и готовы баловать хоть до полуночи.

– Маруся, – ответил я, – мы не балуем, мы вертушку приколачиваем. Ты погоди немного, нам всего три гвоздя доколотить осталось.

– Завтра доколотите! – приказала Маруся. – А сейчас слезайте, или я совсем рассержусь.

Переглянулись мы со Светланой. Видим, плохо наше дело. Взяли и слезли. Но на Марусю обиделись.

И хотя Маруся принесла со станции Светлане большое яблоко, а мне пачку табаку, – все равно обиделись.

Так с обидой и уснули.

А утром – еще новое дело! Только что мы проснулись, подходит Маруся и спрашивает:

– Лучше сознавайтесь, озорной народ, что в чулане мою голубую чашку разбили!

А я чашки не разбивал. И Светлана говорит, что не разбивала тоже. Посмотрели мы с ней друг на друга и подумали оба, что уж это на нас Маруся говорит совсем напрасно.

Но Маруся нам не поверила.

– Чашки, – говорит она, – не живые: ног у них нет. На пол они прыгать не умеют. А кроме вас двоих, в чулан никто вчера не лазил. Разбили и не сознаетесь. Стыдно, товарищи!

После завтрака Маруся вдруг собралась и отправилась в город, а мы сели и задумались.

Вот тебе и на лодке поехали!

И солнце к нам в окна заглядывает. И воробьи по песчаным дорожкам скачут. И цыплята сквозь деревянный плетень со двора на улицу и с улицы на двор шмыгают.

А нам совсем не весело.

– Что ж! – говорю я Светлане. – С крыши нас с тобой вчера согнали. Банку из-под керосина у нас недавно отняли. За какую-то голубую чашку напрасно выругали. Разве же это хорошая жизнь?

– Конечно, – говорит Светлана, – жизнь совсем плохая.

– А давай-ка, Светлана, надень ты свое розовое платье. Возьмем мы из-за печки мою походную сумку, положим туда твое яблоко, мой табак, спички, нож, булку и уйдем из этого дома куда глаза глядят.

Подумала Светлана и спрашивает:

– А куда твои глаза глядят?

– А глядят они, Светлана, через окошко, вот на ту желтую поляну, где пасется хозяйкина корова. А за поляной, я знаю, гусиный пруд есть, а за прудом водяная мельница, а за мельницей на горе березовая роща. А что там за горой, – уж этого я и сам не знаю.

– Ладно, – согласилась Светлана, – возьмем и хлеб, и яблоко, и табак, а только захвати ты с собой еще толстую палку, потому что где-то в той стороне живет ужасная собака Полкан. И говорили мне про нее мальчишки, что она одного чуть-чуть до смерти не заела.

Так мы и сделали. Положили в сумку что надо было, закрыли все пять окон, заперли обе двери, а ключ подсунули под крыльцо.

Прощай, Маруся! А чашки твоей мы все равно не разбивали.

Вышли мы за калитку, а навстречу нам молочница.

– Молока надо?

– Нет, бабка! Нам больше ничего не надо.

– У меня молоко свежее, хорошее, от своей коровы, – обиделась молочница. – Вернетесь, так пожалеете.

Загромыхала она своими холодными бидонами и пошла дальше. А где ей догадаться, что мы далеко уходим и, может, не вернемся?

Да и никто об этом не догадывался. Прокатил на велосипеде загорелый мальчишка. Прошагал, наверное в лес за грибами, толстый дядька в трусах и с трубкой. Прошла белокурая девица с мокрыми после купания волосами. А знакомых мы никого не встретили.

Выбрались мы через огороды на желтую от куриной слепоты поляну, сняли сандалии и по теплой тропинке пошли босиком через луг прямо на мельницу.

Идем мы, идем и вот видим, что от мельницы во весь дух мчится нам навстречу какой-то человек. Пригнулся он, а из-за ракитовых кустов летят ему в спину комья земли. Странно нам это показалось. Что такое? У Светланы глаза зоркие, остановилась она и говорит:

– А я знаю, кто это бежит. Это мальчишка, Санька Карякин, который живет возле того дома, где чьи-то свиньи в сад на помидорные грядки залезли. Он вчера еще против нашей дачи на чужой козе верхом катался. Помнишь?

Добежал до нас Санька, остановился и слезы ситцевым кульком вытирает. А мы спрашиваем у него:

– Почему это, Санька, ты во весь дух мчался и почему это за тобой из-за кустов комья летели?

Отвернулся Санька и говорит:

– Меня бабка в колхозную лавку за солью послала. А на мельнице сидит пионер Пашка Букамашкин, и он меня драть хочет.

Посмотрела на него Светлана. Вот так дело!

Разве же есть в Советской стране такой закон, чтобы бежал человек в колхозную лавку за солью, никого не трогал, не задирали и вдруг бы его ни с того ни с сего драть стали?

– Идем с нами, Санька, – говорит Светлана. – Не бойся. Нам по дороге, и мы за тебя заступимся.

Пошли мы втроем сквозь густой ракитник.

– Вот он, Пашка Букамашкин, – сказал Санька и попятился.

Видим мы – стоит мельница. Возле мельницы телега. Под телегой лежит кудластая, вся в репейниках, собачонка и, приоткрыв

один глаз, смотрит, как шустрые воробьи клюют рассыпанные по песку зерна. А на кучке песка сидит без рубахи Пашка Букамашкин и грызет свежий огурец.

Увидал нас Пашка, но не испугался, а бросил огрызок в собачонку и сказал, ни на кого не глядя:

– Тю!.. Шарик... Тю!.. Вон идет сюда известный фашист, белогвардеец Санька. погоди, несчастный фашист! Мы с тобою еще разделаемся.

Тут Пашка плюнул далеко в песок. Кудластая собачонка зарычала. Испуганные воробьи с шумом взлетели на дерево. А мы со Светланой, услышав такие слова, подошли к Пашке поближе.

– Постой, Пашка, – сказал я. – Может быть, ты ошибся? Какой же это фашист, белогвардеец? Ведь это просто-напросто Санька Карякин, который живет возле того дома, где чьи-то свиньи в чужой сад на помидорные грядки залезли.

– Все равно белогвардеец, – упрямо повторил Пашка. – А если не верите, то хотите, я расскажу вам всю его историю?

Тут нам со Светланой очень захотелось узнать всю Санькину историю. Мы сели на бревна, Пашка напротив. Кудластая собачонка у наших ног, на траву. Только Санька не сел, а, уйдя за телегу, закричал оттуда сердито:

– Ты тогда уже все рассказывай! И как мне по затылку попало, тоже рассказывай. Думаешь, по затылку не больно? Возьми-ка себе да стукни.

– Есть в Германии город Дрезден, – спокойно сказал Пашка, – и вот из этого города убежал от фашистов один рабочий, еврей. Убежал и приехал к нам. А с ним девчонка приехала, Берта. Сам он теперь на этой мельнице работает, а Берта с нами играет. Только сейчас она в деревню за молоком побежала. Так вот, играем мы позавчера в чижа: я, Берта, этот человек, Санька, и еще один из поселка. Берта бьет палкой в чижа и попадает нечаянно этому самому Саньке по затылку, что ли...

– Прямо по макушке стукнула, – сказал Санька из-за телеги. – У меня голова загудела, а она еще смеется.

– Ну вот, – продолжал Пашка, – стукнула она этого Саньку чижом по макушке. Он сначала на нее с кулаками, а потом ничего. Приложил

лопух к голове – и опять с нами играет. Только стал он после этого невозможно жулить. Возьмет нашагнет лишний шаг, да и метит чижом прямо на кон.

– Врешь, врешь! – выскочил из-за телеги Санька. – Это твоя собака мордой ткнула, вот он, чиж, и подкатился.

– А ты не с собакой играешь, а с нами. Взял бы да и положил чижа на место. Ну вот. Метнул он чижа, а Берта как хватит палкой, так этот чиж прямо на другой конец поля, в крапиву, перелетел. Нам смешно, а Санька злится. Понятно, бежать ему за чижом в крапиву неохота... Перелез через забор и орет оттуда: «Дура, жидовка! Чтоб ты в свою Германию обратно провалилась!» А Берта дуру по-русски уже хорошо понимает, а жидовку еще не понимает никак. Подходит она ко мне и спрашивает: «Это что такое жидовка?» А мне и сказать совестно. Я кричу: «Замолчи, Санька!» А он нарочно все громче и громче кричит. Я – за ним через забор. Он – в кусты. Так и скрылся. Вернулся я – пляжу: палка валяется на траве, а Берта сидит в углу на бревнах. Я зову: «Берта!» Она не отвечает. Подошел я – вижу: на глазах у нее слезы. Значит, сама догадалась. Поднял я тогда с земли камень, сунул в карман и думаю: «Ну, погоди, проклятый Санька! Это тебе не Германия. С твоим-то фашизмом мы и сами справимся!»

Посмотрели мы на Саньку и подумали: «Ну, брат, плохая у тебя история. Даже слушать противно. А мыто еще собирались за тебя заступиться».

И только хотел я это сказать, как вдруг дрогнула и зашумела мельница, закрутилось по воде отдохнувшее колесо. Выскочила из мельничного окна обсыпанная мукой, ошалелая от испуга кошка. Спросонок промахнулась и свалилась прямо на спину задремавшему Шарику. Шарик взвизгнул и подпрыгнул. Кошка метнулась на дерево, воробьи с дерева – на крышу. Лошадь вскинула морду и дернула телегу. А из сарая выплянул какой-то лохматый, серый от муки дядька и, не разобравшись, погрозил длинным кнутом отскочившему от телеги Саньке:

– Но, но... смотри, не балуй, а то сейчас живо выдеру!

Засмеялась Светлана, и что-то жалко ей стало этого несчастного Саньку, которого все хотят выдрать.

– Папа, – сказала она мне. – А может быть, он вовсе не такой уж фашист? Может быть, он просто дурак? Ведь правда, Санька, что ты

просто дурак? – спросила Светлана и ласково заглянула ему в лицо.

В ответ Санька только сердито фыркнул, замотал головой, засопел и хотел что-то сказать. А что тут скажешь, когда сам кругом виноват и сказать-то, по правде говоря, нечего.

Но тут Пашкина собачонка перестала вдруг тявкать на кошку и, повернувшись к полю, подняла уши.

Где-то за рощей хлопнул выстрел. Другой. И пошло, и пошло!..

– Бой неподалеку! – вскрикнул Пашка.

– Бой неподалеку, – сказал и я. – Это палят из винтовок. А вот слышите? Это застрочил пулемет.

– А кто с кем? – дрогнувшим голосом спросила Светлана. – Разве уже война?

Первым вскочил Пашка. За ним помчалась собачонка. Я подхватил на руки Светлану и тоже побежал к роще.

Не успели мы пробежать полдороги, как услышали позади крик. Мы обернулись и увидели Саньку.

Высоко подняв руки, чтобы мы его скорее заметили, он мчался к нам напрямик через канавы и кочки.

– Ишь ты, как козел скачет! – пробормотал Пашка. – А чем этот дурак над головой размахивает?

– Это не дурак. Это он мои сандалии тащит! – радостно закричала Светлана. – Я их на бревнах позабыла, а он нашел и мне их несет. Ты бы с ним помирился, Пашка!

Пашка насупился и ничего не ответил. Мы подождали Саньку, взяли у него желтые Светланины сандалии. И теперь уже вчетвером, с собакой, прошли через рощу на опушку.

Перед нами раскинулось холмистое, поросшее кустами поле. У ручья, позвякивая жестяным бубенчиком, щипала траву привязанная к колышку коза. А в небе плавно летал одинокий коршун. Вот и все. И больше никого и ничего на этом поле не было.

– Так где же тут война? – нетерпеливо спросила Светлана.

– А сейчас посмотрю, – сказал Пашка и влез на пенек.

Долго стоял он, щурясь от солнца и закрывая глаза ладонью. И кто его знает, что он там видел, но только Светлане ждать надоело, и она, путаясь в траве, пошла сама искать войну.

– Мне трава высокая, а я низкая, – приподнимаясь на цыпочках, пожаловалась Светлана. – И я совсем не вижу.

– Смотри под ноги, не задень провод, – раздался сверху громкий голос.

Мигом слетел с пенька Пашка. Неуклюже отскочил в сторону Санька. А Светлана бросилась ко мне и крепко схватила меня за руку.

Мы попятнулись и тут увидели, что прямо над нами, в густых ветвях одинокого дерева, притаился красноармеец.

Винтовка висела возле него на суку. В одной руке он держал телефонную трубку и, не шевелясь, глядел в блестящий черный бинокль куда-то на край пустынного поля.

Еще не успели мы промолвить слова, как издалека, словно гром с перекатами и перегудами, ударил страшный орудийный залп. Вздогнула под ногами земля. Далеко от нас поднялась над полем целая туча черной пыли и дыма. Как сумасшедшая, подпрыгнула и сорвалась с мочальной веревки коза. А коршун вильнул в небе и, быстро-быстро махая крыльями, умчался прочь.

– Плохо дело фашистам! – громко сказал Пашка и посмотрел на Саньку. – Вот как бьют наши батареи.

– Плохо дело фашистам, – как эхо повторил хриплый голос.

И тут мы увидели, что под кустами стоит седой бородатый старик.

У старика были могучие плечи. В руках он держал тяжелую суковатую дубинку. А у его ног стояла высокая лохматая собака и скалила зубы на поджавшего хвост Пашкиного Шарика.

Старик приподнял широченную соломенную шляпу, важно поклонился сначала Светлане, потом уже всем нам. Потом он положил дубинку на траву, достал кривую трубку, набил ее табаком и стал раскуривать.

Он раскуривал долго, то приминая табак пальцем, то ворочая его гвоздем, как кочергой в печке.

Наконец раскурил и тогда так запыхтел и задымил, что сидевший на дереве красноармеец зачихал и кашлянул.

Тут снова загремела батарея, и мы увидели, что пустое и тихое поле разом ожило, зашумело и зашевелилось. Из-за кустарника, из-за бугров, из-за канав, из-за кочек – отовсюду с винтовками наперевес выскакивали красноармейцы.

Они бежали, прыгали, падали, поднимались снова. Они сдвигались, смыкались, их становилось все больше и больше; наконец с громкими криками всей громадой они ринулись в штыки на вершину пологого холма, где еще дымилось облако пыли и дыма.

Потом все стихло. С вершины замахал флагами еле нам заметный и точно игрушечный сигналист. Резко заиграла «отбой» военная труба.

Обламывая тяжелыми сапогами сучья, слез красноармеец-наблюдатель с дерева. Быстро погладил Светлану, сунул ей в руку три блестящих желудя и торопливо убежал, сматывая на катушку тонкий телефонный провод.

Военное учение закончилось.

– Ну, видал? – подталкивая Саньку локтем, укоризненно сказал Пашка. – Это тебе не чижом по затылку. Тут вам быстро пособьют макушки.

– Странные я слышу разговоры, – двигаясь вперед, сказал бородатый старик. – Видно, я шестьдесят лет прожил, а ума не нажил. Ничего мне не понятно. Тут, под горой, наш колхоз «Рассвет». Кругом это наши поля: овес, гречиха, просо, пшеница. Это на реке наша новая мельница. А там, в роще, наша большая пасека. И над всем этим я главный сторож. Видал я жуликов, ловил и конокрадов, но чтобы на моем участке появился хоть один фашист – при советской власти этого еще не бывало ни разу. Подойди ко мне, Санька – грозный человек. Дай я на тебя хоть посмотрю. Да постой, постой, ты только слюни подбери и нос вытри. А то мне и так на тебя взглянуть страшно.

Все это неторопливо сказал насмешливый старик и с любопытством заглянул из-под мохнатых бровей... на вытаращившего глаза изумленного Саньку.

– Неправда! – шмыгнув носом, завопил оскорбленный Санька. – Я не фашист, а весь советский. А девчонка Берта давно уже не сердится и вчера откусила от моего яблока больше половины. А этот Пашка всех мальчишек на меня натравливает. Сам ругается, а у меня пружину зажулил. Раз я фашист, значит, и пружина фашистская. А он из нее для своей собаки какую-то качалку сделал. Я ему говорю: «Давай, Пашка, помиримся», – а он говорит: «Сначала отдеру, а потом помиримся».

– Надо без дранья мириться, – убежденно сказала Светлана. – Надо сцепиться мизинцами, поплювать на землю и сказать: «Ссор, ссор никогда, а мир, мир навсегда». Ну, сцепляйтесь! А ты, главный сторож, крикни на свою страшную собаку, и пусть она нашего маленького Шарика не пугает.

– Назад, Полкан! – крикнул сторож. – Ляжь на землю и своих не трогай!

– Ах, вот это кто! Вот он, Полкан-великан, лохматый и зубатый.

Постояла Светлана, покрутилась, подошла поближе и погрозила пальцем:

– И я своя, а своих не трогай!

Поглядел Полкан: глаза у Светланы ясные, руки пахнут травой и цветами. Улыбнулся и вильнул хвостом.

Завидно тогда стало Саньке с Пашкой, подвинулись они и тоже просят:

– И мы свои, а своих не трогай!

Подозрительно потянул Полкан носом: не пахнет ли от хитрых мальчишек морковкой из колхозных огородов? Но тут, как нарочно, вздымая пыль, понесся по тропинке шальной жеребенок. Чихнул Полкан, так и не разобравши. Тронуть – не тронул, но хвостом не вильнул и гладить не позволил.

– Нам пора, – спохватился я. – Солнце высоко, скоро полдень. Ух, как жарко!

– До свидания! – звонко попрощалась со всеми Светлана. – Мы опять уходим далеко.

– До свидания! – дружно ответили уже помирившиеся ребяташки. – Приходите к нам опять издалека.

– До свидания, – улыбнулся глазами сторож. – Я не знаю, куда вы идете и чего ищете, но только знайте: самое плохое для меня далеко – это налево у реки, где стоит наше старое сельское кладбище. А самое хорошее далеко – это направо, через луг, через овраги, где роют камень. Дальше идите перелеском, обогнете болото. Там, над озером, раскинулся большущий сосновый лес. Есть в нем и грибы, и цветы, и малина. Там стоит на берегу дом. В нем живут моя дочь Валентина и ее сын Федор. И если туда попадете, то от меня им поклонитесь.

Тут чудной старик приподнял свою шляпу, свистнул собаку, запыхтел трубкой, оставляя за собой широкую полосу густого дыма, и

зашагал к желтому гороховому полю.

Переглянулись мы со Светланой – что нам печальное кладбище! Взялись мы за руки и повернули направо, в самое хорошее далеко.

Перешли мы луга и спустились в овраги.

Видели мы, как из черных глубоких ям тащат люди белый, как сахар, камень. И не один какой-нибудь заваливающийся камешек. Навалили уже целую гору. А колеса все крутятся, тачки скрипят. И еще везут. И еще наваливают.

Видно, немало всяких камней под землей запрятано.

Захотелось и Светлане заглянуть под землю. Долго, лежа на животе, смотрела она в черную яму. А когда оттащил я ее за ноги, то рассказала она, что видела сначала только одну темноту. А потом разглядела под землей какое-то черное море, и кто-то там в море шумит и ворочается. Должно быть, рыба акула с двумя хвостами, один хвост спереди, другой – сзади. И еще почудился ей Страшила в триста двадцать пять ног. И с одним золотым глазом. Сидит Страшила и гудит.

Хитро посмотрел я на Светлану и спросил, не видала ли она там заодно пароход с двумя трубами, серую обезьянку на дереве и белого медведя на льдине.

Подумала Светлана, вспомнила. И оказывается, что тоже видала.

Погрозил я ей пальцем: ой, не врет ли? Но она в ответ рассмеялась и со всех ног пустилась бежать.

Шли мы долго, часто останавливались, отдыхали и рвали цветы. Потом, когда тащить надоедало, оставляли букеты на дороге.

Я один букет бросил старой бабке в телегу. Испугалась сначала бабка, не разобравши, что такое, и погрозила нам кулаком. Но потом увидела, улыбнулась и кинула с воза три больших зеленых огурца.

Огурцы мы подняли, вытерли, положили в сумку и весело пошли своей дорогой.

Встретили мы на пути деревеньку, где живут те, что пахут землю, сеют в поле хлеб, садят картошку, капусту, свеклу или в садах и огородах работают.

Встретили мы за деревней и невысокие зеленые могилы, где лежат те, что свое уже отсеяли и отработали.

Попалось нам дерево, разбитое молнией.

Наткнулись мы на табун лошадей, из которых каждая – хоть самому Буденному.

Увидали мы и попа в длинном черном халате. Посмотрели ему вслед и подивились тому, что остались еще на свете чудаки-люди.

Потом забеспокоились мы, когда потемнело небо. Сбежались отовсюду облака. Окружили они, поймали и закрыли солнце. Но оно упрямо вырывалось то в одну, то в другую дыру. Наконец вырвалось и засверкало над огромной землей еще горячей и ярче.

Далеко позади остался наш серый домик с деревянной крышей.

И Маруся, должно быть, давно уже вернулась. Поглядела – нет. Поискала – не нашла. Сидит и ждет, глупая!

– Папа! – сказала наконец уставшая Светлана. – Давай с тобой где-нибудь сядем и что-нибудь поедим.

Стали искать и нашли мы такую полянку, какая не каждому попадется на свете.

С шумом распахнулись перед нами пышные ветки дикого орешника. Встала острием к небу молодая серебристая елка. И тысячами, ярче, чем флаги в Первое мая – синие, красные, голубые, лиловые, – окружали елку душистые цветы и стояли не шелохнувшись.

Даже птицы не пели над той поляной – так было тихо.

Только серая дура-ворона бухнулась с лету на ветку, огляделась, что не туда попала, каркнула от удивления: «Карр... карр...» – и сейчас же улетела прочь к своим поганым мусорным ямам.

– Садись, Светлана, стереги сумку, а я схожу и наберу в фляжку воды. Да не бойся: здесь живет всего только один зверь – длинноухий заяц.

– Даже тысячи зайцев я и то не боюсь, – смело ответила Светлана, – но ты приходи поскорее все-таки.

Вода оказалась не близко, и, возвращаясь, я уже беспокоился о Светлане.

Но она не испугалась и не плакала, а пела.

Я спрятался за кустом и увидел, что рыжеволосая толстая Светлана стояла перед цветами, которые поднимались ей до плеч, и с воодушевлением распевала такую только что сочиненную песню:

Гей!.. Гей!..
Мы не разбивали голубой чашки.
Нет!.. Нет!..
В поле ходит сторож полей.
Но мы не лезли за морковкой в огород.
И я не лазила, и он не лез.
А Санька один раз в огород лез.
Гей!.. Гей!..
В поле ходит Красная Армия.
(Это она пришла из города.)
Красная Армия – самая красная,
А белая армия – самая белая.
Тру-ру-ру! Тра-та-та!
Это барабанщики,
Это летчики,
Это барабанщики летят на самолетах.
И я, барабанщица... здесь стою.

Молча и торжественно выслушали эту песню высокие цветы и тихо закивали Светлане своими пышными головками.

– Ко мне, барабанщица! – крикнул я, раздвигая кусты. – Есть холодная вода, красные яблоки, белый хлеб и желтые пряники. За хорошую песню ничего не жалко.

Чуть-чуть смутилась Светлана. Укоризненно качнула головой и, совсем как Маруся, прищутив глаза, сказала:

– Спрятался и подслушивает. Стыдно, дорогой товарищ!

Вдруг Светлана притихла и задумалась.

А тут еще, пока мы ели, вдруг спустился на ветку серый чиж и что-то такое зачирикал.

Это был смелый чиж. Он сидел прямо напротив нас, подпрыгивал, чирикал и не улетал.

– Это знакомый чиж, – твердо решила Светлана. – Я его видела, когда мы с мамой качались в саду на качелях. Она меня высоко качала. Фють!.. Фють!.. И зачем он к нам прилетел так далеко?

– Нет! Нет! – решительно ответил я. – Это совсем другой чиж. Ты ошиблась, Светлана. У того чижа на хвосте не хватает перьев, которые

выдрала ему хозяйкина одноглазая кошка. Тот чиж потолще, и он чирикает совсем не таким голосом.

– Нет, тот самый! – упрямо повторила Светлана. – Я знаю. Это он за нами прилетел так далеко.

– Гей, гей! – печальным басом пропел я. – Но мы не разбивали голубой чашки. И мы решили уйти насовсем далеко.

Сердито чирикнул серый чиж. Ни один цветок из целого миллиона не качнулся и не кивнул головой. И нахмурившаяся Светлана строго сказала:

– У тебя не такой голос. И люди так не поют. А только медведи.

Молча собрались мы. Вышли из рощи. И вот мне на счастье засверкала под горой прохладная голубая река.

И тогда я поднял Светлану. И когда она увидела песчаный берег, зеленые острова, то позабыла все на свете и, радостно захлопав в ладоши, закричала:

– Купаться! Купаться! Купаться!

Чтобы сократить путь, мы пошли к речке напрямик через сырые луга.

Вскоре мы оказались перед густыми зарослями болотного кустарника. Возвращаться нам не хотелось, и мы решили как-нибудь пробраться. Но чем дальше мы продвигались, тем крепче стягивалось вокруг нас болото.

Мы кружили по болоту, поворачивали направо, налево, перебирались по хлюпким жердочкам, прыгали с кочки на кочку. Промокли, измазались, но выбраться не могли никак.

А где-то совсем неподалеку за кустами ворочалось и мычало стадо, щелкал кнутом пастух и сердито лаяла почуявшая нас собачонка. Но мы не видели ничего, кроме ржавой болотной воды, гнилого кустарника и осоки.

Уже тревога выступила на веснушчатом лице притихшей Светланки. Чаше и чаще она оборачивалась, заглядывая мне в лицо с молчаливым упреком: «Что ж это, папка? Ты большой, сильный, а нам совсем плохо!»

– Стой здесь и не сходи с места! – приказал я, поставив Светлану на клочок сухой земли.

Я завернул в чащу, но и в той стороне оказалась только переплетенная жирными болотными цветами зеленая жижа.

Я вернулся и увидел, что Светлана вовсе не стоит, а осторожно, придерживаясь за кусты, пробирается мне навстречу.

– Стой, где поставили! – резко сказал я.

Светлана остановилась. Глаза ее замигали, и губы дернулись.

– Что же ты кричишь? – дрогнувшим голосом тихо спросила она. – Я босая, а там лягушки – и мне страшно.

И очень жалко стало мне тогда попавшую из-за меня в беду Светланку.

– На, возьми палку, – крикнул я, – и бей их, негодных лягушек, по чему попало! Только стой на месте! Сейчас переберемся.

Я опять свернул в чащу и рассердился. Что это? Разве сравнить это поганое болотце с бескрайними камышами широкого Приднепровья или с угрюмыми плавнями Ахтырки, где громили и душили мы когда-то белый врангельский десант!

С кочки на кочку, от куста к кусту. Раз – и по пояс в воду. Два – и захрустела сухая осина. Вслед за осиной полетело в грязь трухлявое бревно. Тяжело плюхнулся туда же гнилой пень. Вот и опора. Вот еще одна лужа. А вот он и сухой берег.

И, раздвинув тростник, я очутился возле испуганно подскочившей козы.

– Эге-гей! Светлана! – закричал я. – Ты стоишь?

– Эге-гей! – тихо донесся из чащи жалобный тоненький голос. – Я сто-о-ю!

Мы выбрались к реке. Мы счистили всю грязь и тину, которые облепили нас со всех сторон. Мы выполоскали одежду, и, пока она сохла на раскаленном песке, мы купались.

И все рыбы с ужасом умчались прочь в свою глубокую глубину, когда мы с хохотом взбивали сверкающие пенистые водопады.

И черный усатый рак, которого я вытащил из его подводной страны, ворочая своими круглыми глазами, в страхе забился и запрыгал: должно быть, впервые увидал такое нестерпимо яркое солнце и такую нестерпимо рыжую девчонку.

И тогда, изловчившись, он злобно хватил Светлану за палец. С криком отбросила его Светлана в самую середину гусяного стада. Шарахнулись в стороны глупые толстые гусята.

Но подошел сбоку старый серый гусь. Много он видал и пострашней на свете. Скосил он голову, посмотрел одним глазом, клюнул – тут ему, раку, и смерть пришла.

...Но вот мы выкупались, обсохли, оделись и пошли дальше.

И опять нам всякого по пути попадалось немало: и люди, и кони, и телеги, и машины, и даже серый зверь – еж, которого мы прихватили с собой. Да только он скоро наколол нам руки, и мы его столкнули в студеный ручей.

Фыркнул еж и поплыл на другой берег. «Вот, – думает, – безобразники! Поищи-ка теперь отсюда свою нору».

И вышли мы наконец к озеру.

Здесь-то и кончалось самое далекое поле колхоза «Рассвет», а на том берегу уже расстилались земли «Красной зари».

Тут мы увидели на опушке бревенчатый дом и сразу же догадались, что здесь живет дочь сторожа Валентина и ее сын Федор.

Мы подошли к ограде с той стороны, откуда караулили усадьбу высокие, как солдаты, цветы – подсолнухи.

На крыльце, в саду, стояла сама Валентина. Была она высокая, широкоплечая, как и ее отец, сторож. Ворот голубой кофты был распахнут. В одной руке она держала половую щетку, а в другой – мокрую тряпку.

– Федор! – строго кричала она. – Ты куда, негодник, серую кастрюлю задевал?

– Во-на! – раздался из-под малины важный голос, и белобрысый Федор показал на лужу, где плавала груженная щепками и травой кастрюля.

– А куда, бесстыдник, решето спрятал?

– Во-на! – все так же важно ответил Федор и показал на придавленное камнем решето, под которым что-то ворочалось.

– Вот погоди, атаман!.. Придешь домой, я тебя мокрой тряпкой приплажу, – пригрозила Валентина и, увидав нас, одернула подоткнутую юбку.

– Здравствуйте! – сказал я. – Вам отец шлет поклон.

– Спасибо! – отозвалась Валентина. – Заходите в сад, отдохните.

Мы прошли через калитку и улеглись под спелой яблоней.

Толстый сын Федор был только в одной рубашке, а перепачканные глиной мокрые штаны валялись в траве.

– Я малину ем, – серьезно сообщил нам Федор. – Два куста объел. И еще буду.

– Ешь на здоровье, – пожелал я. – Только смотри, друг, не лопни.

Федор остановился, потыкал себя кулаком в живот, сердито взглянул на меня и, захватив свои штаны, вперевалку пошел к дому.

Долго мы лежали молча. Мне показалось, что Светлана уснула. Я повернулся к ней и увидел, что она вовсе не спит, а, затаив дыхание, смотрит на серебристую бабочку, которая тихонько ползет по рукаву ее розового платья.

И вдруг раздался мощный рокочущий гул, воздух задрожал, и блестящий самолет, как буря, промчался над вершинами тихих яблонь.

Вздогнула Светлана, вспорхнула бабочка, слетел с забора желтый петух, с криком промелькнула поперек неба испуганная галка – и все стихло.

– Это тот самый летчик пролетел, – с досадой сказала Светлана, – это тот, который приходил к нам вчера.

– Почему же тот? – приподнимая голову, спросил я. – Может быть, это совсем другой.

– Нет, тот самый. Я сама вчера слышала, как он сказал маме, что он улетает завтра далеко и навсегда. Я ела красный помидор, а мама ему ответила: «Ну, прощайте. Счастливый путь»...

– Папка, – усаживаясь мне на живот, попросила Светлана, – расскажи что-нибудь про маму. Ну, например, как все было, когда меня еще не было.

– Как было? Да все так же и было. Сначала день, потом ночь, потом опять день, и еще ночь...

– И еще тысячу дней! – нетерпеливо перебила Светлана. – Ну, вот ты и расскажи, что в эти дни было. Сам знаешь, а притворяешься...

– Ладно, расскажу, только ты слезь с меня на траву, а то мне рассказывать тяжело будет. Ну, слушай!..

Было тогда нашей Марусе семнадцать лет. Напали на их городок белые, схватили они Марусиного отца и посадили его в тюрьму. А матери у ней давно уж не было, и осталась наша Маруся совсем одна...

– Что-то ее жалко становится, – подвигаясь поближе, вставила Светлана. – Ну, рассказывай дальше.

– Накинула Маруся платок и выбежала на улицу. А на улице белые солдаты ведут в тюрьму и рабочих и работниц. А буржуи, конечно, белым рады, и всюду в ихних домах горят огни, играет музыка. И некуда нашей Марусе пойти, и некому рассказать ей про свое горе...

– Что-то уже совсем жалко, – нетерпеливо перебила Светлана. – Ты, папка, до красных скорее рассказывай.

– Вышла тогда Маруся за город. Луна светила. Шумел ветер. И раскинулась перед Марусей широкая степь...

– С волками?

– Нет, без волков. Волки тогда от стрельбы все по лесам попрятались. И подумала Маруся: «Убегу я через степь в город Белгород. Там стоит Красная Армия товарища Ворошилова. Он, говорят, очень храбрый. И если попросить, то, может быть, и поможет».

А того не знала глупая Маруся, что не ждет никогда Красная Армия, чтобы ее просили. А сама она мчится на помощь туда, где напали белые. И уже близко от Маруси продвигаются по степи наши красноармейские отряды. И каждая винтовка заряжена на пять патронов, а каждый пулемет – на двести пятьдесят.

Ехал я тогда по степи с военным дозором. Вдруг мелькнула чья-то тень и сразу – за бугор. «Ага! – думаю. – Стой: белый разведчик. Дальше не уйдешь никуда».

Ударил я коня шпорами. Выскочил за бугор. Гляжу – что за чудо: нет белого разведчика, а стоит под луной какая-то девчонка. Лица не видно, и только волосы по ветру развеваются.

Соскочил я с коня, а наган на всякий случай в руке держу. Подошел и спрашиваю: «Кто ты и зачем в полночь по степи бегаешь?»

А луна вышла бо-ольшая, большущая! Увидала девчонка на моей папаше красноармейскую звезду, обняла меня и заплакала.

Вот тут-то мы с ней, с Марусей, и познакомились.

А под утро из города белых мы выбили. Тюрьмы раскрыли и рабочих выпустили.

Вот лежу я днем в лазарете. Грудь у меня немного прострелена. И плечо болит: когда с коня падал, о камень ударился.

Приходит ко мне мой командир эскадрона и говорит:

«Ну, прощай, уходим мы дальше за белыми. На тебе в подарок от товарищей хорошего табаку и бумаги, лежи спокойно и скорее выздоравливай».

Вот и день прошел. Здравствуй, вечер! И грудь болит, и плечо ноет. И на сердце скучно. Скучно, друг Светлана, одному быть без товарищей!

Вдруг раскрылась дверь, и быстро, бесшумно вошла на носках Маруся! И так я тогда обрадовался, что даже вскрикнул.

А Маруся подошла, села рядом и положила руку на мою совсем горячую голову и говорит:

«Я тебя весь день после боя искала. Больно тебе, милый?»

А я говорю:

«Наплевать, что больно, Маруся. Отчего ты такая бледная?»

«Ты спи, – ответила Маруся. – Спи крепко. Я около тебя все дни буду».

Вот тогда-то мы с Марусей во второй раз встретились и с тех пор уж всегда жили вместе.

– Папка, – взволнованно спросила тогда Светлана. – Это ведь мы не по правде ушли из дома? Ведь она нас любит. Мы только походим, походим и опять придем.

– Откуда ты знаешь, что любит? Может быть, тебя еще любит, а меня уже нет.

– Ой, вре-ешь! – покачала головой Светлана. – Я вчера ночью проснулась, смотрю, мама отложила книгу, повернулась к тебе и долго на тебя смотрит.

– Эко дело, что смотрит! Она и в окошко смотрит, на всех людей смотрит! Есть глаза, вот и смотрит.

– Ой, нет! – убежденно возразила Светлана. – Когда в окошко, то смотрит совсем не так, а вот как...

Тут Светлана вздернула тоненькие брови, склонила набок голову, поджала губы и равнодушно взглянула на проходившего мимо петуха.

– А когда любят, смотрят не так.

Как будто бы сияние озарило голубые Светланкины глаза, вздрогнули опустившиеся ресницы, и милый задумчивый Марусин взгляд упал мне на лицо.

– Разбойница! – подхватывая Светлану, крикнул я. – А как ты на меня вчера смотрела, когда разлила чернила?

– Ну, тогда ты меня за дверь выгнал, а выгнанные смотрят всегда сердито.

Мы не разбивали голубой чашки. Это, может быть, сама Маруся как-нибудь разбила. Но мы ее простили. Мало ли кто на кого понапрасну плохое подумает? Однажды и Светлана на меня подумала. Да я и сам на Марусю плохое подумал тоже. И я пошел к хозяйке Валентине, чтобы спросить, нет ли нам к дому дороги поближе.

– Сейчас муж на станцию поедет, – сказала Валентина. – Он вас довезет до самой мельницы, а там уже и недалеко.

Возвращаясь в сад, я встретил у крыльца смущенную Светлану.

– Папа, – таинственным шепотом сообщила она, – этот сын Федор вылез из малины и тянет из твоего мешка пряники.

Мы пошли к яблоне, но хитрый сын Федор, увидав нас, поспешно скрылся в гуще подзаборных лопухов.

– Федор! – позвал я. – Иди сюда, не бойся.

Верхушки лопухов закачались, и было ясно, что Федор решительно удаляется прочь.

– Федор! – повторил я. – Иди сюда. Я тебе все пряники отдам.

Лопухи перестали качаться, и вскоре из чащи донеслось тяжелое сопение.

– Я стою, – раздался наконец сердитый голос, – тут без штанов, везде крапива.

Тогда, как великан над лесом, зашагал я через лопухи, достал сурового Федора и высыпал перед ним все остатки из мешка.

Он неторопливо подобрал всё в подол рубашки и, не сказав даже «спасибо», направился в другой конец сада.

– Ишь какой важный, – неодобрительно заметила Светлана, – снял штаны и ходит как барин!

К дому подкатила запряженная парой телега. На крыльцо вышла Валентина:

– Собирайтесь, кони хорошие – домчат быстро.

Опять показался Федор. Был он теперь в штанах и, быстро шагая, тащил за шиворот хорошенького дымчатого котенка. Должно быть,

котенок привык к таким ухваткам, потому что он не вырывался, не мяукал, а только нетерпеливо вертел пушистым хвостом.

– На! – сказал Федор и сунул котенка Светлане.

– Насовсем? – обрадовалась Светлана и нерешительно взглянула на меня.

– Берите, берите, если надо, – предложила Валентина. – У нас этого добра много. Федор! А ты зачем пряники в капустные грядки спрятал? Я через окно всё видела.

– Сейчас пойду еще дальше спрячу, – успокоил ее Федор и ушел вперевалку, как важный косолапый медвежонок.

– Весь в деда, – улыбнулась Валентина. – Этакий здоровила. А всего только четыре года.

Мы ехали широкой ровной дорогой. Наступал вечер. Шли нам навстречу с работы усталые, но веселые люди.

Прогрохотал в гараж колхозный грузовик.

Пропела в поле военная труба.

Звякнул в деревне сигнальный колокол.

Загудел за лесом тяжелый-тяжелый паровоз. Туу!.. Ту!.. Крутитесь, колеса, торопитесь, вагоны, дорога железная, длинная, далекая!

И, крепко прижимая пушистого котенка, под стук телеги счастливая Светлана распевала такую песню:

Чики-чики!

Ходят мыши.

Ходят с хвостами,

Очень злые.

Лезут всюду.

Лезут на полку.

Трах-тарарах!

И летит чашка.

А кто виноват?

Ну, никто не виноват.

Только мыши

Из черных дыр.

– Здравствуйте, мыши!

Мы вернулись.
И что же такое
С собой несем?..
Оно мяукает,
Оно прыгает
И пьет из блюдечка молоко.
Теперь убирайтесь
В черные дыры,
Или оно вас разорвет
На куски,
На десять кусков,
На двадцать кусков,
На сто миллионов
Лохматых кусков.

Возле мельницы мы спрыгнули с телеги.

Слышно было, как за оградой Пашка Букамашкин, Санька, Берта и еще кто-то играли в чижа.

– Ты не жульничай! – кричал Берте возмущенный Санька. – То на меня говорили, а то сами нашагивают.

– Кто-то там опять нашагивает, – объяснила Светлана, – должно быть, сейчас снова поругаются. – И, вздохнув, она добавила: – Такая уж игра!

С волнением приближались мы к дому. Оставалось только завернуть за угол и подняться наверх.

Вдруг мы растерянно переглянулись и остановились.

Ни дырявого забора, ни высокого крыльца еще не было видно, но уже показалась деревянная крыша нашего серого домика, и над ней с веселым жужжанием крутилась наша роскошная сверкающая вертушка.

– Это мамка сама на крышу лазила! – взвизгнула Светлана и рванула меня вперед.

Мы вышли на горку.

Оранжевые лучи вечернего солнца озарили крыльцо. И на нем, в красном платье, без платка и в сандалиях на босу ногу, стояла и улыбалась наша Маруся.

– Смейся, смейся! – разрешила ей подбежавшая Светлана. – Мы тебя все равно уже простили.

Подошел и я, посмотрел Марусе в лицо.

Глаза Маруси были карие, и смотрели они ласково. Видно было, что ждала она нас долго, наконец-то дождалась и теперь крепко рада.

«Нет, – твердо решил я, отбрасывая носком сапога валявшиеся черепки голубой чашки. – Это всё только серые злые мыши. И мы не разбивали. И Маруся ничего не разбивала тоже».

...А потом был вечер. И луна и звезды.

Долго втроем сидели мы в саду, под спелой вишней, и Маруся нам рассказывала, где была, что делала и что видела.

А уж Светланкин рассказ затянулся бы, вероятно, до полуночи, если бы Маруся не спохватилась и не погнала ее спать.

– Ну что?! – забирая с собой сонного котенка, спросила меня хитрая Светланка. – А разве теперь у нас жизнь плохая?

Поднялись и мы.

Золотая луна сияла над нашим садом.

Прогремел на север далекий поезд.

Прогудел и скрылся в тучах полуночный летчик.

– А жизнь, товарищи... была совсем хорошая!

1935

Антон Семенович Макаренко

Домой хочу

(Рассказ бывшего колониста)

1

Вот вы говорите: характер. Характеры бывают разные, а какой лучший, какой худший, это вопрос. Расскажу вам, например, о Сеньке Дружнове.

К нам в колонию он даже собственно не пришел, а его привели... привела старенькая-старенькая бабушка. Что это за такое дело, когда человека приводят разные родственники: маменьки, бабушки, тетеньки?

Человеку тринадцать лет, а он, как теленок, бредет, его бабушка подгоняет! И поэтому, когда пришел Сенька, колонисты посмотрели на него с осуждением и каждый подумал: «Известный тип – маменькин сынок!»

Сенька стоял посреди кабинета заведующего и молчал. Но Сенька молчал как-то по-своему.

И физиономия у него была ничего, можно сказать, даже приличная: глаза черные, а сам румяный, щекастый. Только волосы в беспорядке, видимо, Сенька и понятия не имел, что такое парикмахер: деревня! А на ногах лапотки, это уж действительно мода, кто же теперь лапти носит? Бедный, может, очень, тогда, конечно, ничего не поделаешь.

Нас, колонистов, помню, порядочно набралось в кабинет, молчим, рассматриваем и Сеньку и бабушку. Бабушка старая, худая, высокая, говорит не спеша, останавливается, слезы вытирает, как же ее не слушать?

– Привела... внучка, – говорит она заведующему, – возьми к себе, родной, пускай у тебя живет. А то, видишь, стара стала, сколько я там проживу, а ему куда деваться? А тебя господь наградит, пускай у тебя живет. И я умру... спокойно...

Бабушка подвинулась ближе к внуку, тронула его за плечо, подтолкнула к заведующему. Прodelала все это, отступила, успокоилась, поправила платок на голове; смотрит и ждет, не решения ждет, а просто: должен же и заведующий что-нибудь сказать по такому важному случаю. И колонисты все обратили лица к заведующему: что он скажет? Заведующий встал, поклонился и сказал серьезно:

– Спасибо вам, товарищ. Внука оставляйте. Будет у нас жить. Вы не беспокойтесь, человеком станет. А вы тоже живите, зачем вам умирать, умереть всегда успеем, живите себе на здоровье и приезжайте к нам в гости...

Колонисты нашли такой разговор вполне правильным. И бабушка была довольна, даже улыбнулась.

– Военные, что ли, у тебя люди выходят?

И на нас кивнула, – это мы, значит, военные.

Заведующий ответил:

– И военные и разные: и доктора, и рабочие, и летчики.

Кто куда хочет...

Бабушка вдруг загрустила, руку – к глазам, слезы у нее:

– Он... Сенюшка-то, все говорит... летчиком буду...

И тут стало видно, что бабушке трудно с Сенькой расставаться.

И нам это видно и заведующему, и всем жалко бабушку, а Сенька как будто неживой. Стоит, чуть-чуть склонился, смотрит, кто его знает куда, – на пустую стену, – глазом не моргнет, лицо красное. Разбери, чего ему нужно. Давно у нас не было такого неповоротливого человека!

Заведующий у него спрашивает:

– Ты грамотный?

А он даже и не отвечает. Хоть бы моргнул или пошевелился как-нибудь. Бабушка за него ответила:

– Грамотный, как же! В пятый класс ходил...

Заведующий не стал больше расспрашивать, распорядился бабушку накормить обедом и отправить на нашей линейке на станцию, а когда уедет, Сеньку к нему привести.

Девчата и хлопцы окружили старуху, – понравилась она всем, – потащили в столовую, а Сеньку пришлось за локоть поворачивать – побрел за ней. И пока бабушка обедала, Сенька сидел на стуле боком и

смотрел куда попало, ни одного слова не сказал; не могли даже понять, есть ли у него какой-нибудь голос.

Потом бабушку усадили на линейку и повезли на станцию.

А Сенька совсем как деревянный, насилу поставили его перед заведующим как следует. Смешно было на него смотреть, хлопец с виду правильный, даже красивенький, а души никаких признаков. И заведующему на вопросы не отвечает, только на один вопрос и ответил.

Заведующий спросил:

– Так летчиком... хочешь... Семей?

Вот тут он и ответил:

– Угу!

Заведующий и говорит:

– Ну, он потом обойдется. Дежурный, веди его, куда следует.

Дежурил в тот день Виталий Горленко. Подошел Виталий к Сеньке, заметил что-то, просунул руку за воротник и вытащил... крестик, маленький, черненький какой-то, на черном шнурке. Виталий рванул, оборвал всю эту святыню, швырнул куда-то в угол дивана, да как заорет:

– Что это! Предраассудки такие на шее носишь!

Мы даже ахнуть не успели. А Виталий покраснел весь, прямо дрожит от злости.

– Летчиком он будет! Никакой самолет не выдержит, если крестов навешать!

Сенька пришел в себя. Повернулся всем телом градусов так на 35, не больше, глянул в то место, куда крест полетел, и вдруг как заревет. То молчал, молчал а тут – на тебе – такой голосина, да звонко так, с захлебом. Стоит, как и раньше, без движения и воеет. Мы засмотрелись на него с удивлением: до чего человек дикий! Заведующий напал на Виталия, почему, говорит, так нетактично, оборвал, бросил, объяснить нужно...

А Сенька все стоит и ревет. Даже Виталий испугался, до каких же он пор будет кричать? Заведующий начал было:

– Дружнов, успокойся! Послушай...

А Сенька еще выше на полтона взял.

– Ну, и характер, – сказал тогда Виталии. – Но все равно, креста не отдам! Колонист, и с крестом!

Тут наконец, Сенька заговорил. Не то что заговорил, а тоже по-своему: повернулся обратно на 35 градусов к заведующему и заладил, – с растяжкой, с рыданием:

– Домой хочу!

– Домой хочу!

И еще раз, и еще раз, да все одинаково, на особый лад, подеревенскому, на «а»:

– Дамой хачу!

Заведующий выставил нас из кабинета, а сам его ублажать.

Мы вышли в коридор и долго еще слышали, доносилось до нас сквозь двери:

– Дамой хачу!

Народ у нас был боевой. Много видели на своем веку, удивляться не умели. А тут, честное слово, стоим в коридоре и глазами друг на друга хлопаем. Виталий говорит:

– Фу ты, дьявол! Даже перепугал меня! Вы видали когда-нибудь такое?

– Какой вредный пацан! – сказал Шурка Просянников. – Это он все из-за креста!

А Владимир Скопин, он у нас очень умный был человек, не согласился:

– На чертей ему крест! В лаптях ходит! Ты думаешь, это он из-за религии?

– А как же?

– Да нет! Характер такой! Самостоятельный. С виду тихоня, а плотка: «Да-мой ха-чу!»

Что вы думаете о таком характере? Можно сказать, вредный действительно, и с таким человеком жить, ну его? А у нас всех, сколько ни есть колонистов по свету, нет лучшего друга, как. Сенька. Вот вам и характер.

С тех пор десять лет прошло, а может, немного меньше.

Вспомнить то время, десять лет назад! Дикости у нас тогда куда больше было. Если сравнить, скажем, сегодняшнюю культуру и как

тогда было. А все-таки Володька Скопин был прав: в Сеньке никакой дикости не было, хоть по какой-то там глупости крест и висел у него на шее. Этот крест, наверное, бабушка повесила. Думала: раз в колонию ехать, надо как можно лучше. На ноги лапотки, на шею крест, вроде как парадный костюм.

Заведующий с Сенькой долго тогда разговаривал глаз на глаз. О чем они говорили, так мы и не узнали, а только потом ни заведующий, ни Виталий Горленко, да и никто вообще про тот крест не вспоминали. Так, будто его и не было.

Мы прожили с Сенькой в колонии пять лет, а после разъехались, кто в вуз, кто в командиры, кто в летчики. Только у нас принято: всегда встречаемся, письма пишем, друзьями остались, а лучший друг у всех Сенька Дружное.

Характер у – него всегда – был одинаковый, молчаливый. Можно по пальцам пересчитать, сколько Сенька за нашу совместную жизнь слов сказал.

Но не думайте, он не уединялся, не прятался, бирюком никогда не был. Где компания, там и он. А ребята, знаете, какие болтуны бывают: говорит, говорит, трещит, вертится туда-сюда и смеется, и зубы скалит, и хвостом, и крыльями, – сорока, настоящая сорока. Другие, допустим, поменьше разговаривают, а все-таки... А Сенька как-то умел без слов. Стоит, слушает, к тому чуть-чуть повернется, к другому. С лица он всегда был румяный, брови густые, черные. Как-нибудь там егозить или суетиться он никогда не умел. И смеяться как будто не смеялся, а все-таки смотришь на него и видишь: улыбается человек, а почему видишь, ни за что не разберешь, по краскам, что ли, по румянцу, а кроме того, и губы у него иногда морщились. Думаешь, сейчас что-нибудь скажет, но только это редко бывало, чтобы он в самом деле сказал.

Мы любили ходить слушать, как Сенька перед заведующим «отдувается». Приходилось все-таки.

Заведующий ему:

– Это ты неправильно сделал, результаты нехорошие получились.

А Сенька?

А Сенька молчит.

Заведующий присмотрится к нему и снова начиняет:

– Надо лучше разбираться, товарищ Дружиов, нельзя так... Надо точнее, гораздо точнее, понимаешь?

Молчание.

– Понимаешь?

И вот Сенька, наконец, отвечает:

– Да.

И заведующий на него смотрит, и мю смотрим, и видим, что и этом одном слове Семен больше сказал, чем другой в целой речи наговорит. Видно, что Семен действительно согласен, что он все понимает. Не такой он человек, чтобы зря свое «да» потратить.

Учился Семен на «отлично» и работая по-стахановски.

А если приходилось ему где-нибудь старшим быть или бригадиром, так уже кругом никаких разговоров не было. Хватка у него была железная: посмотрит только удивленно, поднимет одну бровь, и каждый понимает, что разговоры кончены.

В этом году он приехал в Москву, а нас здесь целая кояопия – бывших колонистов. И вдруг узнаем, едет Семен Дружное получать орден. Конечно, чествовать. Встретили, обнимались, целовались и спрашиваем, за что орден. А он молчит.

– Да говори, это же ни на что не похоже!

Пришлось ему все-таки разговориться:

– Да... за боевую подготовку.

– Ну?

– Я же сказал.

– Ничего ты не сказал... Какая боевая подготовка? Что ты сделал?

Летаешь? На чем летаешь?

– Эсбэ.

– Скоростной бомбардировщик?

– Угу.

– И что?

А он поднял руку, повертел пальцем в воздухе, пойми, что это значит: мертвая петля или штопор, или какое-нибудь там скольжение. Так ничего и не добились. Не за один день, постепенно все-таки кое-что выяснили: отпуск у него на два месяца; бабушка его еще жива и живёт с ним при каком-то аэродроме; хочет Семен побродить по музеям Москвы. Мы вообразили, что он нуждается в нашей помощи.

Но однажды он остановился против одной церкви на Ордынке, посмотрел, помолчал и вдруг говорит:

– Шестнадцатый век, вторая половина.

Мы прямо в восторг пришли, хором потребовали объяснений, кричали, просили, но добились только одного слова:

– Шатровая.

Показал рукой и пошел дальше.

Больше всего приставал к нему Виталий Горленко. Виталий теперь авиаконструктор, до зарезу ему нужно было узнать мнение Семена насчет прицельного аппарата для бомбометания.

На разные лады расспрашивал:

– А может, так удобнее? А если отсюда залезть? А с этой стороны неудобно? А если такое приспособление?

Семен внимательно выслушал все его вопросы, потом молча достал карандаш и бумагу, оглянулся, дернул Виталия за рукав и потащил его в самый дальний угол. А ведь мы его друзья уже десять лет. С Виталием он, представьте себе, разговаривал долго, доносились до нас отдельные непонятные слова: «угол перемещения», «инерция будет мешать». Кончили они совещание, мы и говорим:

– Что ж ты нам не доверяешь?

– Доверяю, – говорит.

– Так почему?

Подумал немного, улыбнулся даже, сказал:

– Доверяю, что из любопытства спрашивать не будете.

Видите, какая речь!

Однажды мы его поддразнили. Фашисты, говорим, теперь вооружаются, как – ты на это смотришь? Настроят бомбардировщиков, плохо нам придется.

Тогда он целую речь сказал, первую, может быть, речь, какую мы от него слышали.

– Настроить они могут... Только... люди какие. Можно послать сто бомбардировщиков, – и ни одна бомба в цель не попадет. А рассеивание... знаете какое? До десяти километров.

– Ну, так что? А у нас?

Семен неохотно хмыкнул, даже отвернулся, из скромности, конечно.

– Да говори!

– У нас... другое. Можно... двенадцать бомб посадить в одну точку. Точность прицеливания – очень важное дело.

– И что?

– Ничего... ничего не останется.

Вот тут только мы начали догадываться, за что он получил орден. Мы представили себе Семена в деле, на высоте семи или восьми километров в тот момент, когда он прицеливается, когда он собирается спустить на врага двенадцать, или сколько там, бомб. Мы представили себе его добродушно-румяное лицо, его спокойно-уверенную точность, его прищуренный глаз. Мы хорошо знали, что, уничтожив врага, он ничего не изменит в этом лице, он не захочет и тогда сказать ни одного слова.

А может быть, он тогда и позволит себе сказать свое любимое «угу». Во всяком случае, это будет хорошо сказано.

Семен прожил у нас только двенадцать дней. Получил какое-то письмо и собрался на вокзал. Мы спросили, в чем дело.

И неожиданно для нас он ответил:

– Дамой хачу.

Мы узнали старые нотки, это самое деревенское «а», стало как-то тепло на душе.

– Домой? Где же это?

– Там... Аэродром... Поведем паше звено на первое место.

Поеду... домой.

И уехал.

У нас на Украине о некоторых характерах говорят: «Комусь кыслыци сняться» – это значит: кому-то плохо придется.

Если фашисты вздумают полезть на нашего «дамой хачу», пускай им лучше заранее снятся кислицы.

Вот какие интересные бывают на свете характеры!

Борис Леонтьевич Горбатов

Большая вода

В полярном году есть один в буквальном смысле слова непутевый месяц.

Это какой бы вы думали? Это... июль. Точнее: с 20 июня по 20 июля. Именно в эту пору Диксон становится островом.

Пароходы еще не ходят, самолеты уже не летают, собаки не бегают. Словом, в июле люди сидят по домам и ждут. Июль – месяц полного бездорожья, но зато и предчувствия больших дорог.

Удивляться не следует: в полярном календаре все наоборот. Здесь самый солнечный месяц апрель, а самый ненастный – август; здесь в октябре уже зима, а весна, робкая и измученная дальней дорогой, добредает сюда лишь в конце июня.

И июль здесь – перевальный месяц, гребень года, месяц больших ожиданий и неясных тревог.

Именно в эту пору дядя Терень с Восточного берега надевает высокие белые сапоги из белужьей кожи, жирно мажет их ворванью, берет ружье, палку и табак, вскидывает на спину походный мешок и трогается в путь-дорогу.

– Куда ты собрался, дядя Терень? – удивленно встречает его сосед по промыслу, молодой парень, зимующий по первому году. – Да кто же в такую погоду ходит?

– Я хожу, – просто отвечает дядя Терень, – тринадцатый год хожу.

– Куда же ты идешь, дядя Терень?

– А на Диксон.

– С ума ты сошел, старик! Полтораста километров! Оставайся дома. Скоро пароходы пойдут.

– Мил человек, – удивляется дядя Терень, – как же мне не идти? Я не пойду, кто же пойдет тогда?

– Да идти-то зачем?

– Идти надо, чужак человек! Я, брат, всю жизнь хожу.

И в деревне, бывало, ходил. Кто же другой пойдет? – бормочет он, нетерпеливо поглядывая на дорогу. Ему скучно все это объяснять. – Почты не будет ли какой до Диксона? – спрашивает он, оживляясь. – Так я возьму, да и пойду, пожалуй.

– Почты? – конфузится сосед. – Нет, что уж... Ну, да коли все равно идешь, захвати падырку^[6]. Тисни там... – и шепотом прибавляет: – Нехай приезжает, Настя-то...

Дядя Терень усмехается, забирает радиogramму и трогается в путь.

Он идет и бормочет в усы песню, которую сам придумал:

Долог путь до моря сизого... Эх!
Тяжек путь до острова скалистого... Эх!
Где ты, мачта, где, заветная?
Э-эх!

В тундре – весна. Звенят большие и малые ручьи. Со стоном взламываются речушки в горах. Дрожат покрытые тонкой пленкой заморозков рябоватые озера, лужи, купели стоячей, остро пахнущей мхом и землей талой воды.

Вода всюду. Ступишь ногой в мох – и мох сочится. Тронешь мшистую кочку – и кочка сочится. Станешь робко ногой на ледок – и из-под ледка брызнет вода, звонкая, весенняя.

Вся тундра сейчас – сплошное болото. Оно оживленно всхлипывает под сапогами, мягкое, податливое, покрытое желтой прошлогодней травой и нежным весенним мхом, похожим на цыплячий пух.

Весна входит в тундру робко и неуверенно. Останавливается. Оглядывается. Испуганно замирает под неожиданным нордом, ежится под метельным остом и все-таки идет, идет... Уже сполз в лощины снег, но еще не стаял. Уже открылись забереги, но лед еще прочен. Уже появился гусь, но нет еще комара.

Подо льдом на реке свершается невидимое глазу великое движение. Гидрологи отмечают повышение температуры и падение солености воды в заливе – верные приметы надвигающейся весны.

Но на промыслах и зимовьях Восточного берега, где гидрологов нет, самая верная примета – дядя Терень.

– Скоро быть большой воде, – радостно говорят в избах, – Уже дядя Терень пошел.

Третьего дня его видели в бухте Белужьей, вчера его несло слышали на Сопочной Карге. Он идет на двадцать дней впереди большой воды. У него свои расчеты. Ни разу еще не било, чтоб они не оправдались. Делайте заметки в календаре, высекайте топором зарубки на палке – через двадцать дней в том месте, где прошел дядя Терень, быть большой воде.

Он идет по вязкому берегу и поет:

Гой ты, тундра пробужденная... Эх!
Ты, дорожка бездорожная... Эх!
Мои ноженьки промокшие...
Э-эх!

Кричит гусь в небе. За горой протяжно ревет олень. Пронзительно вопят чайки-мартышки. Полярные совы, важно раскинув свои великолепные весенние наряды, носятся над рекой, садятся на черные с прозеленью скалы. Шустрые лемминги со злобным писком шныряют под ногами. Выпорхнула из-под кочки жирная белая куропатка, побежала по снегу, переваливаясь с боку на бок, как купчиха.

– Эй, барыня, погоди! – крикнул ей вслед дядя Терень, не успевший скинуть с плеча централку.

Куда там! Испуганно закосолапила, взлетела – и нет ее!

А под ногами уже возятся проворные кулики – остроносые сплетники, попискивает куцехвостая пеструшка-салопница в рыжей шубейке, пробежал песок, драный, облезший... И все это – живущее и оживающее – суетится, хлопочет, кричит, звенит, поет, радуется весне. Даже лед на реке ломается с радостным звоном.

Все правильно, сроки сбываются. Дядя Терень довольно улыбается в усы.

Он подходит к бревенчатому домику под медно-красной скалой.

– Эй! – стучит он в дверь палкой. – Есть хозяин дому сему?

И ждет ответа. В избе тихо. Из трубы струится легкий унылый дымок. Сугробы подле избы начали уже таять, из них выплянули на свет ржавые консервные банки. Они, как и подснежники, появляются только весной.

– Есть живая душа в доме? Отзовись! – снова кричит старик, нетерпеливо постукивая палкой.

Дверь распахивается, и на пороге появляется унылый, лохматый парень.

– Ну, здравствуй, Арсений!

– Здравствуй! – нехотя отвечает парень, пропуская вперед гостя.

– Не ладно гостя привечаешь, – укоризненно говорит дядя Терень и сбрасывает с плеч ружье и походный мешок. – Почто скучный?

Он окидывает и избу и парня внимательным, но насмешливым взглядом. На столе – ворох писем, телеграмм, фотографий: курносая бабенка, кудряшки из-под берета; вот она же в шубке, она же в сарафане, голое плечо блестит. Вот опять она же на стене. Улыбается жеманно и застенчиво.

– Угу! – произносит дядя Терень и садится на полешку у печи.

Однако он ни о чем не спрашивает. Он все уже знает, все понял. Знает и какое поручение даст ему Арсений. Стаскивает сапоги, ставит их к печи и молчит. Ждет, глядит, как бегут по стеклу мутные ручьи. Слушает, как звенит капель с крыши.

Арсений молча бродит по избе, ставит чайник на огонь, чашки, хлеб, мясо – на стол, потом тяжело опускается на табурет.

«Ну, как нынче промысел?» – надо бы спросить дяде Тереню по обычаю, но он не спрашивает. Арсений молчит, молчит и он.

– Разлюбила, – шепчет Арсений. – Ты не говори, дядя Терень, не спорь, пожалуйста...

– Я и не спорю.

– А я тебе говорю: сука она. Вот кто!

– Ты и прошлый год так говорил. Одначе ошибся.

– А теперь уж не ошибусь, нет. Две недели в этом деле разбираюсь. Все письма подобрал... Одно к одному, – бормочет Арсений. – Не ем, не пью, из избы не выхожу... Все читаю...

Все читаю...

– Разобрался? – насмешливо спрашивает дядя Терень.

Но Арсений не слышит насмешки.

– Вот, – говорит он, – вот. Сам гляди, старик.

Он раскладывает на столе письма. Так следовательно раскладывает вещественные доказательства.

– Вот, – суетится он, – от двадцатого ноября письмо.

Первое нонче. Видишь в конце: «горячо-горячо целую»? Заметил? Горячо-горячо... А вот – девятнадцатое декабря. Вот – «крепко целую»... Не горячо, старик, а только крепко... Заметил?

– Это что ж, хуже?

– А вот последняя радиограмма, майская. Читай: «целую».

Просто – целую. Без никаких. А время заметил? Мая третьего. Майское дело... Закрутилась, хахаля нашла. Ясно? – торжествующе спрашивает он. Горькое это торжество! – Нет, ты сам посмотри, сам... – и он тычет дяде Тереню письма.

Дядя Терень неторопливо достает из-за пазухи очки, напяливает их на нос. Глядит в письма. Действительно: от двадцатого ноября – «горячо-горячо целую», от девятнадцатого декабря – «крепко целую», а от третьего мая – «целую» просто, без никаких.

– Ну? – тревожно спрашивает Арсений.

Какого ответа он ждет? Утешения или подтверждения злой догадки? Дядя Терень необычно серьезно вертит в руке письма и молчит.

– Ну? – снова спрашивает Арсений.

– Это весна... – наконец произносит старик. – Весна в тебе бушует, парень.

– Весна? – растерянно переспрашивает Арсений. – При чем тут весна?

На печи запел чайник. Дядя Терень ставит его на стол и принимается за еду. Арсений ничего не ест, вертит в руках письма.

– Ты не спорь, не спорь... – бормочет он, – я эти письма до дыр перечел. Я каждое слово в них перетряхнул, взвесил.

Не зря ведь слово сказано. Каждое слово свой смысл имеет.

– Это у тебя оно нонче смысл имеет, а бабенка твоя их зря ставит. Какое в голову придет.

– Не бывает так, старик, не бывает. Слово от души пишется. Вот от двадцатого ноября письмо... Я его наизусть помню. С тяжелой душой письмо писано. Скучала по мне, видно, мучилась... – Его лицо становится добрым, нежным, серые глаза голубыми.

– Мучилась? Ну вот... – поддакивает дядя Терень и смеется.

– Потом пошли письма смущенные... будто виноватые.

В чем-то был ее передо мной грех. Был. А последнее письмо – вовсе легкое. Так, без души пущенное. Пишет: в кино была.

– А что же, ей и в кино не ходить?

– Да писать-то мне об этом зачем? Я ведь в кино не хожу. Ну, ходи, ходи в кино, – кричит он вдруг в дверь, словно продолжая свой давний спор с женой. – Да пишешь-то мне об этом зачем? Сладко ль мне такое читать?

– Кровь в тебе бушует, парень, – качает головой дядя Терень. – Это от одиноческой жизни. Бывает...

В печи потрескивает плавник, обуглившиеся головешки рассыпаются и последний раз вспыхивают ярким светом и гаснут.

– На Диксон идешь, дядя Терень? – тихо спрашивает Арсений.

– На Диксон.

Оба молчат.

– Почту возьмешь?

– Возьму.

И опять долго молчат.

– И ответа дождешься?

– Дождусь.

Дядя Терень встает и идет к койке. Расстилат тулуп, готовит постель.

– Так я напишу... дядя Терень, – нерешительно и словно виновато говорит Арсений.

– А напиши, напиши...

И пока дядя Терень спит, Арсений сочиняет радиограмму.

Он рвет листок за листком, грызет ручку, снова пишет. Его лицо попеременно отражает все человеческие чувства: от нежной любви, от дикого отчаянья до тихой надежды.

Через четыре часа старик уже на ногах. Время дорого, а путь далек. Арсений провожает. Идут молча. На берегу прощаются. Арсений крепко жмет руку дяди Тереня и, заглядывая в глаза, спрашивает:

– Так ждать?

– Жди, парень, жди...

Теперь путь дяди Тереня лежит напрямик, через бухту.

Арсений долго еще стоит на высоком берегу и глядит, как бредет по льду старик, перепрыгивает через трещины, обходит забереги, проваливается в бродный мокрый снег, падает, подымается и снова идет. Мешок подпрыгивает на его спине. В мешке телеграмма.

Наконец проклятая бухта позади. Дядя Терень выбирается на берег. Отряхивает снег со штанов, с сапог, садится на кочку посуше и переводит дыхание.

Вёсны ли стали хуже или годы уже не те, только все трудней и трудней становится старику дорога.

«Еще год-два похожу, а там и на покой!» – думает он, вытирая пот со лба и шеи.

Небо над тундрой голубое, высокое, чуть-чуть влажное – такое, как дома в апреле. Так же пахнет земля, сырая, развороченная. Так же звенит вода. Так же кричит гусь на озере.

Только жаворонка нет.

Дядя Терень, кряхтя, подымается на ноги и идет.

Вот уж снова слышится песня:

Гой ты, тундра молчаливая... Эх!
Край далекий, позаброшенный... Эх!
Где ты, мачта, где, заветная?
Э-эх!

Он идет, выбирая места посуше. Хорошо идти галькой, хуже – вязкой, жирной глиной, совсем плохо – лощинами: под тонкой, обманчивой коркой снега – студеная вода.

И, когда дядя Терень идет лощиной, он уже не смотрит в небо. Небо – высоко. Вода – близко. Он идет осторожно, щупает снег палкой, трубка гаснет, песня смолкает. Тут, если провалишься, не выберешься, – снег рассыпчатый, ухватиться не за что.

Так он идет через лощины, подымается на холмы, бредет тундрой и выходит на узкую тропинку, протоптанную зверем.

В рыжей глине – отпечатки копыт. След свежий. Он ведет на север, дяде Тереню по пути.

Старик идет по следу и думает:

«Что оленя на север гонит? Овод! А осенью с севера на юг?

Голод. А что же человека сюда гонит? Ох, беспокойное творение человек!»

Оленья тропинка круто сворачивает вправо. Дяде Тереню надо бы прямо – и ближе, и суше, – а он все идет по следу.

Какой овод гонит его?

На холме он останавливается, поднимает голову и, совсем как старый, седой олень, нюхает воздух.

Пахнет влажной, сырой землей, болотом, стоячей водой, травой, перепревшей под снегом, – терпкие, ржавые запахи тундры. Ветер несет их на дядю Тереня. Только запахов зверя не слышно. Плохи у человека ноздри, зато глаза хороши.

И в лощинке, меж двух бугров, дядя Терень замечает оленя.

Олень тощий, весенний, беспокойный. Он испуганно водит головой, видно, тоже принюхивается. Что-то тревожит его. Но слабы глаза у оленя – он не видит, как подбирается к нему человек с винтовкой, – зато ноздри хороши. Олень пугливо нюхает воздух. Запахи тревожные, зловещие: пахнет человеком.

Олень делает испуганный скачок в сторону... Но дядя Терень уж вскинул ружье. Ветвистая голова аккуратно помещается на мушке.

Два выстрела раздаются – одновременно. Олень, жалобно застонав, валится на снег, тело его судорожно дергается и затихает.

Дядя Терень не спеша идет к добыче.

Но его упреждает звонкий ребячий голос:

– Это мой олень!

Из-за скалы выбегает паренек лет тринадцати, в огромной беличьей шапке и с ружьем.

– Это мой олень! – предостерегающе кричит он и бросается к туше.

У трупа поверженного животного он останавливается и, крепко сжав руками ружье, ждет нежданного конкурента. Он весь ошетинился. Даже мех на его беличьей шапке стал дыбом.

Дядя Терень подходит ближе. Мальчик взволнованно ждет его, но, разглядев, опускает голову.

– Ваш олень, дядя Терентий! – грустно говорит он и отворачивается, чтобы скрыть недостойные охотника влажные глаза.

– А вот мы сейчас разберемся, Митяй, чей олень, – отвечает старик и наклоняется над тушей.

Он сразу находит дырочку во лбу меж рогов. Дырочка круглая, аккуратная, и дядя Терень невольно любуется метким выстрелом.

Однако надо найти вторую дырочку, чтоб никому обиды не было. Дядя Терень старательно исследует тушу, но второй дырочки нет.

Митяй взволнованно следит за ним, сердце его колотится.

– Твоя пуля, – говорит дядя Терень.

– Моя? – недоверчиво переспрашивает Митяй.

– Твоя. В твою сторону олень глядел, твоя и пуля.

– Моя? – восторженно шепчет Митяй и вдруг кричит на всю тундру: – Моя!

– Ну, с первым зверем тебя, Митяй! – торжественно поздравляет старик. – Первый ведь?

– Первый.

– Великим охотником будешь, Митяй.

Митяй не знает, куда деваться от счастья. Ему хочется быть солидным и степенным: «Ну, убил оленя, что ж тут такого?»

Но чистосердечная ребячья радость так и брызжет из его глаз.

Веснушки на носу сияют, как звезды.

Дядя Терень свежует оленя. Его руки в крови. Кровь теплая.

– Пей! – говорит он молодому охотнику. – Цинжать никогда не будешь.

Митяй наклоняется к надрезу на горле оленя и пьет теплую кровь. Чтоб никогда не цинжать, чтоб быть сильным, смелым, ловким охотником.

Освежевав и спрятав оленя, оба – старый и малый – идут к избе и ведут степенную беседу, как два старых охотника.

– Как нынче промысел, Митяй? – спрашивает дядя Терень.

– Надо бы лучше, – отвечает мальчик: не пристало охотнику хвалиться, а хаять промысел не за что. – Песец нонче не тот пошел... – объясняет он важно.

– Не тот?

– Песец нонче хитрый пошел. На кроху он уже не идет.

Не то что раньше,

– А ты помнишь, какой раньше песец был?

Митяй смущается. Отцова шапка совсем налезла на нос.

– Люди сказывали... – бормочет он.

– А может, и не ввали люди! – добродушно соглашается дядя Терень, – Человек умнеет, отчего и зверю не поумнеть.

Ну, а план твой как?

– Я план, дядя Терень, весь выполнил.

– За это ты, выходит, молодец и ударник. А велик план-то?

Дядя Терень это из приличия спрашивает. Как и все люди в тундре, он слышал о промысловом договоре Митяя. Его сочинил веселый инструктор, объезжавший промыслы. Митяю дали ружье, лодку, участок и план: пять песцов. Стал Митяй заправским промышленником. И даже не столь ружьем он гордился, сколь планом.

– План – пять песцов, дядя Терень! Да я еще ушкана убил. Да пятерых куропаток. И олень вот. Теперь думаю на гуся идти.

– Великий у тебя оборот, промышленник! Богач ты теперь! Куда доходы девать будешь?

– Я все тятке, – смущается Митяй. – Мне ничего не надо.

– А у тятки как с планом?

– У тятки-то? У него плохо...

Старик усмехается. Но, как ни в чем не бывало, продолжает беседу.

– А там, помнится, в плане у тебя еще пункт был. А? Сполняешь?

– Сполняю, дядя Терень, – неуверенно отвечает мальчик. – До дробей уж дошел.

– А не врешь?

Митяй даже обижается.

– Пес врет, а я – человек. Хоть экзамен мне сделайте.

Тут уж черед дяде Тереню смущаться. Он чешет затылок и говорит:

– Плохого ты, брат, профессора себе для экзаменов нашел. Профессор – от сам на пальцах считает. Но ты не горюй, Митя. Однако ты свое дело знай: учись. Ученым станешь. На магистраль поедешь. Глядишь, и в профессора выйдешь.

– Нет, я лучше тут останусь, дядя Терень, – говорит мальчик и поднимает глаза на старика. – Хорошо тут!

– Хорошо?

Они вышли уже к избе. Она внизу, на берегу маленькой тихой бухточки. Далеко в залив вдается массивный горбатый мыс Ефремов Камень. Нынче он особенный. Не угрюмый, как осенью, не черный с проседью, словно кавказское серебро с чернью, как зимой, а дымчатый, даже чуть-чуть синий и легкий-легкий, почти бесплотный. Вокруг него – голубой прибой льдов, а дальше – неоглядная мирная

снежная равнина. Снег серебряный, он тронут весной, в нем есть уже тусклость металла. В заливе тихо. Солнце спокойно играет в торосах. Дремлет тундра. Легкий дымок над избой да стук топора. Видно, Трофимов хозяйничает, И вокруг лежит тундра, мать сыра земля.

Да уж, сыра! Сырее и не бывает.

– Хорошо-о! – соглашается дядя Терень.

Они спускаются к избе. Трофимов зовет ее усадьбой.

Пожалуй, это единственное на всем Восточном берегу жильё, обнесенное частоколом. К чему тут частокол, Трофимов и сам не знает. Воров не водится, бродяги перевелись, волки не забегают. Да и на землю трофимовскую никто не посягает. На десяток километров окрест он один – хозяин тундры, ее единственный обитатель и добытчик.

Но он именно этот участок у бухточки огородил, обособил.

Он словно оборонился от тундры: вот здесь мое, жилое, трофимовское, а там, за частоколом, – уж чужое, дикий край, глухое место. И изба у него, не в пример другим, аккуратная, теплая, ладная. Он пристроил к ней завалинку, баньку вывел в стороне. Плавник напилит аккуратными брусками и сложил в штабеля. Двор изрыл канавками, чтоб весенняя вода быстрее стекала. А по двору пустил гулять гусей, – еще в прошлом году он словил двух линялых и приручал, их. Они бродят по двору, словно на птичнике, и уныло гогочут. Собаки к ним уже привыкли.

– Хозяйственный мужик у тебя отец-то! – говорит дядя Терень, вдыхая сладкий дым жилья, и в его голосе слышится не только одобрение, но и снисходительность, совсем такая же, как у Митяя, когда он говорит об отце.

Они застают Трофимова во дворе. Он возится с топором подле нарты. Над быстро высыхающей землей двора поднимается теплый весенний пар. И кажется, что Трофимов не нарту чинит, а борону ладит к весне.

– А я оленя убил! – кричит Митяй. – Сам убил. Дядя Терень видел.

– Ишь ты! – удивляется отец и, здороваясь с дядей Терентием, говорит, указывая на сына, словно извиняясь: – Охотник растет. Дикой.

Он ведет дядю Терентия показать прибыль в доме: дочку.

Дочке – три месяца. Она спит в люльке, подвешенной к матице^[7], и во сне сладко причмокивает губами. Люльку Трофимов смастерил сам.

Пока трофимовская хозяйка возится у печки, мужчины курят и беседуют. Разговор – хозяйственный, заводит его Трофимов. Он душевно рад, что случился собеседник, есть пред кем похвалиться планами. Планы большие: затеяно избу перестроить, баню расширить, катух для собак сделать новый...

– Да тебе бы города строить, Трофимов! – смеясь, перебивает дядя Терень. – Какой ты охотник? Ты – человек-строитель.

– Вот и строю, – гордо улыбается Трофимов.

Хозяйка ставит на стол еду. Мужчины прячут трубки за голенища и берут ложки.

– В газетах пишут, – говорит меж борщом и жареной олениной дядя Терень, – а мне люди пересказывали, будто ученые такое удобрение придумали, что можно и в тундре хлеб сеять.

– Оно хорошо-о! – оживляется Трофимов. – Земли-то тут – боже ты мой! Если ее поднять, да вспахать, да засеять... – Он даже замирает в восторге, но потом, махнув ложкой, заканчивает: – Только, полагаю, врут люди. Земля насквозь мерзлая, ее удобрением не возьмешь, – и прибавляет, вздохнув: – А земли много!

После сытной еды разговор стихает. Хозяйка нянчится с дочкой. Митяй, видно, вспомнил приписочку к договору, сел за книгу. Подпер кулаками щеку, читает, шевеля губами. Да нетнет и бросит взгляд в окно, – взгляд птицы в клетке. Трофимов вышел на минутку по хозяйству, со двора доносится стук его топора.

А дядя Терень сидит у огня и задумчиво курит. В усадьбе Трофимова тепло и домовито. Пахнет щами, мокрыми пеленками и овчиной, – запахи деревенские, беспокойные. И дядя Терень думает о том, что скучно бобылю жить на свете.

«Хорошо бы вернувшись к большой воде домой, застать в своей избе... ну – дочку, что ли... аль сына... внуков... А то вернешься домой, а изба-то и не топлена».

Такие мысли всегда приходят ему в голову, когда он гостит у Трофимова.

Ночью дядя Терень уходит дальше. По ночам идти легче – подмерзает. Трофимов вручает ему телеграмму и просит лично

проследить, чтоб передали всю. В телеграмме обстоятельно изложено, что из припасов надо завезти Трофимову на новую зиму. Список длинный.

Хозяйка набивает торбу дяди Тереня едой и просит добыть на Диксоне сгущенного молока.

Митяй идет провожать старика.

– А тебе, Митяй, чего принести? – ласково спрашивает дядя Терень.

– Книжек мне. Я свои все выучил.

– А еще что?

– А еще – глаза Митяя загораются, – а еще нож, дядя Терень. Такой, как у вас, чтобы зверя разделявать, – и, озабоченно наморщив нос, прибавляет: – Совсем без ножа плохо, не обойдусь.

К утру дядя Терень уже далеко за Ефремовым Камнем.

Камень пришлось переваливать поверху. Сунулся было старик в залив, да там у берегов такая весенняя кутерьма, что и не пройдешь. Дядя Терень даже испугался: не ошибся ли в сроках? Весна, выходит, ранняя.

«У нас дома уж небось давно и отпахались и отсеялись! – умильно думает дядя Терень. – Озимь уж, поди, в трубку пошла. Какая-то весна была дома? Хорошо б, дружная!»

И он вспоминает родную сторонку. По привычке он все еще говорит: у нас дома, в деревне. А в деревне, поди, никто уж и не помнит его. Кто помнил, забыл, а кто не знал, тому и вовсе дела нет до того, есть на свете дядя Терень или нет его.

Только дядя Терень все помнит, что губернии он Пермской, уезда Шадринского, а здесь он человек пришлый, временный, хоть и живет тринадцать лет.

Охотничьи дела и крестьянские заботы – все смешалось в дяде Терене, он и сам не знает, какие ему ближе. А тут еще с бабенкой Арсения хлопоты. И Трофимовой – молоко, и Митяю – нож. Вот Митяй – уж тот свою линию знает. Он не шадринский, нет.

Так размышляя, идет дядя Терень по тундре, и каждый камень ему тут знаком, каждая дверь открыта, каждое сердце распаивается перед ним радушно и доверчиво. Он входит в чужие избы, и сразу же чужая жизнь, чужие дела и заботы становятся его делами и его заботами.

«А Митяю – нож, – думает старик, подходя к избе Жданова. – Я уж знаю, какой ему надо! Ножны из моржовой кости, а черенок черный, витой».

Жданова в избе нет. В дверь воткнут охотничий нож, на ноже записка: «Дядя Терень! Олень на печи, табак на столе, чарка – сам знаешь где. Скоро приду. Жданов».

Дядя Терень не огорчается. Он и не ждал, что в погожий, солнечный день застанет Жданова дома. Как Трофимов всегда на своей заимке, так Жданов всегда на промысле. Дядя Терень уж привык хозяйничать в избе Жданова без хозяйки.

Жилье Жданова – убогое, холостяцкое. Только оружия много. Оно и на стенах, и на матице, и в углах.

В холодных сенях висят песцы. Дядя Терень треплет рукой пушистые хвосты, белые с искрой, и улыбается. Теперь хоть и не приходи Жданов, – дядя Терень знает, какую радиограмму надо давать.

Так уж повелось с давних пор: входя в сени Жданова, первый взгляд дядя Терень всегда бросал в «закрома» – каков урожай пушнины? Если урожай хорош, Жданов еще на зиму останется на промысле, если же год был плохой, непромысловый и Жданову нечем покрыть взятый аванс, – он вернется на магистраль. В должниках Жданов ходить не любит. Первоклассный механик, он уходит тогда на завод и целый год отработывает свой долг. В это время он ни с кем не говорит о промысле, о тундре, – он только механик первой статьи, профессор своего дела. Но год прошел, долг покрыт, и Жданов, аккуратно завернув инструмент в тряпку, берет на заводе расчет и снова идет на промысел. Потому что не механика, а охота – профессия его души.

Вот отчего дядя Терень, заглянув в «закрома», безошибочно мог сказать: нынче Жданов на промысле останется.

Кроме песцов да оружия, в жилье Жданова смотреть нечего, и дядя Терень, найдя на печи оленину, в заветном месте – спиртишко и на столе – табак в кисете, заправляется и ложится спать. Спит крепко, без снов.

К вечеру с промысла возвращается Жданов. Согнувшись, входит в избу, ставит в угол ружье, отстегивает и бросает на пол пояс, на поясе добыча – гуси.

– Пришел, добытчик! – весело встречает его дядя Терень. – Еще не всю дичь в тундре истребил?

– Не всю, – усмехается Жданов. Улыбка у него неумелая: глаза больше смеются, чем губы.

– А то, говорят, – продолжает дядя Терень, – зверье на тебя жалобу писать собирается. Нет, говорят, жизни от Жданова.

Жданов раздевается, моется и садится за стол. Присаживается и дядя Терень, предвкушающий беседу. Потому что всякий полярник скажет: хороша чарка с морозу, баня – судороги, но слаще всего беседа с умным человеком, за трубкой.

И старик неторопливо начинает беседу о промысле. С каждым человеком надо о главном говорить: с Трофимовым – о хозяйстве, с Арсением – о женщине, со Ждановым – об охоте, других разговоров с ним начинать не стоит – отмолчится.

– Вот уж и гусь пошел, – говорит дядя Терень, заглядывая в серые глаза Жданова. (Это – приглашение к разговору.)

– Какой это гусь? – усмехается Жданов. – Это гусь несамостоятельный. Настоящего гуся еще нет.

– Пойдет скоро. В Широкой уж лед взломало...

– Да-а? – неохотно переспрашивает Жданов, и беседа угасает, так и не разгоревшись, словно костер из сырых сучьев.

Ну что ж, с умным человеком и помолчать приятно. Оба попыхивают трубками и смотрят в огонь.

Но вот Жданов что-то бормочет себе в усы.

– Ась? – переспрашивает старик.

– Я говорю, – бурчит Жданов, не подымая головы и глядя в пол, – ты не знаешь ли, какие цветы есть на земле?

– Цветы?

– Цветы.

– Это к чему же цветы? – недоумевает дядя Терень.

– Так. Любопытствую.

– Цветы! – усмехается дядя Терень. – Ишь ты, цветы...

Мил человек, да я ведь тринадцать лет ни единого цвета не видел.

– Вот и я – хоть и видел, а ни к чему было, и я не упомянул.

– Цветы, – крутит головой дядя Терень, а сам спешно соображает: «Зачем это Жданову понадобились цветы? Не зря спрошено, не таков человек».

– Цветы, – говорит он меж тем, – цветы всякие есть. Вот есть цветок роза. Так и звание у нее – королева цветов. Еще фиалка, иван-да-марья тоже есть. Это наш цветок, деревенский.

– А еще?

– Еще? Что ж еще? Петунья цветок бывает. Опять же ландыш. Бывало, пойдешь в лес, а уж он, мил друг, колокольчик-то из-под елки и кажет, и кажет. Словно звенит.

– Нет, это не то...

– Не то? Ну, тогда василек, он на венки девкам идет. Ромашка. Потом роза...

– Розу ты уж говорил.

– Говорил? Ишь ты! Ну, левкой, резеда, тюльпан. Важный цвет – тюльпан. Он на грядке, точно исправник, надутый, спесивый.

– Пион еще, – говорит Жданов. – Помню, цветок был такой – пион. Алый. Георгины еще есть, астры, розы.

– Розу я говорил.

– А, да. Хорош цветок роза?

– Хорош. Да к чему тебе-то?

– Нет, это я так.

Он умолкает. Теперь уж молчит прочно.

Дядя Терень собирается в дорогу. Жданов пишет телеграмму.

– Хороши песцы у тебя нонче, Жданов, – говорит дядя Терень таким тоном, как говорят: «Хороши огурцы у тебя нонче, Жданов». – Полагаю так, что первого сорта не меньше половины, а?

Но Жданов молчит и пишет.

– Хорош был год, – продолжает дядя Терень, переобуваясь. – Каков-то будущий год? Год на год не приходится.

У тебя как капканы, ничего? Ремонту не требуется?

Жданов поднимает голову и говорит, не глядя на дядю Тереня:

– Уезжаю я...

– Что?

Дядя Терень опускает сапог.

– Как? – переспрашивает он почему-то шепотом, Жданов протягивает ему телеграммы. Их три: две в контору, в них сообщается о желании Жданова уехать с промысла, третья – в Москву.

«Тресту зеленого строительства, – читает заголовок дядя Терень. – Прошу пятого июля послать корзину роз стоимостью сто

рублей адресу Арбат 32 квартира 8 Татьяне Логиновой Деньги вам переведены конторой Таймыр-треста. Охотник Жданов».

Дядя Терень долго смотрит в телеграмму. Жданов стоит подле него. Оба молчат: Жданов – смущенно, дядя Терень – укоризненно.

– Что ж, ответа ждать? – наконец спрашивает дядя Терень.

– Нет, – тихо отвечает Жданов.

Потом, качая головой, прибавляет еще тише:

– Ответа не будет.

«Что ж это делается, люди добрые? – растерянно думает дядя Терень, бредя по тундре. – Что ж это делается на земле?

Жданов бабе цветы шлет!»

Совсем сбитый с толку, он идет вдоль русла реки и размышляет:

«Кто эта Логинова? Жена Жданову или знакомая? Отчего же ответа не ждать? Отчего ответа не будет?»

«Вот и Жданов... того... – огорченно думает дядя Терень. – Закружил человек. А какой охотник был! Какой мужик был!

Что ж это за сила такая – женщина?!»

Он поднимает глаза на реку, словно ждет от нее ответа.

Но река знай звенит свое. Над ней носятся бесноватые птичьи стаи. Ликующий весенний гомон стоит в воздухе.

С каждого камня несется птичий крик. Словно камни поют.

За мысом дядя Терень догоняет белушатников. Их человек сто, идут они скорым маршем по льду, торопятся на зверобойку, на зимовья не заходят, греются и едят у костров на берегу.

До Широкой они доплыли по Енисею за ледоходом, дальше лед не пустил, идут пешком.

Дядю Тереня они встречают радостно: многие знают старика. Они окружают его шумной толпой, со всех сторон тянутся руки и кисеты.

– Чтой-то вас много нынче, – смеется дядя Терень, окидывая взглядом пеструю толпу зверобоев. Он замечает в ней много незнакомых молодых лиц. – Колхозники? Ну а как дома-то?

Отпахались?

По случаю встречи объявляется привал прямо на льду.

Люди располагаются у большого костра и наперебой спрашивают дядю Тереня:

– Ну, как нонче – белухи много будет?

Дядя Терень сердито огрызается:

– Колдун я? Откуль мне знать?

– Колдун, колдун... – смеются зверобои. – Ты приметы знаешь.

– Приметы! – сердится старик. – Если голова на плечах есть – «примета»: человек умный. Ничего вам не скажу, скажу одно: сайки нонче много.

– Это к чему же... сайка? – робко спрашивает молодой парень с пухлыми губами. Он, видно, и впрямь считает дядю Тереня колдуном.

– Непонятно тебе, сосунок? – хмурит старик косматые брови (глаза смеются). – Задача! Сайка – рыбешка маленькая, с палец; белуха – зверь большой, с корову. Вот и пойми, что от чего зависимость имеет. – Он с удовольствием замечает, что парень-сосунок даже рот в изумлении открыл, и с торжеством заканчивает: – А вот и отгадка. Что зверь, что рыба, что человек – всяк за пищей ходит? Белуха – за сайкой, песец – за пеструшкой, человек – за зверем. Так-то, сосунок.

Зверобои зовут дядю Тереня идти дальше с ними.

– Вместях веселей! – говорят они, не желая расставаться с веселым стариком.

Но он только качает головой в ответ.

– На том спасибо! Однако мне в сторону свернуть надо.

К хозяину тундры на поклон пойду.

– К деду Курагау? – удивляется начальник партии. – Жив еще старик?

– Всех переживет! У стариков кость крепкая.

Он говорит это с гордостью. Подымается на ноги, берет палку и глядит, прикрыв глаза ладонью, на восток, туда, где синеют горы.

– Пойду! – говорит он просто и, не попрощавшись, взмахнув палкой, уходит.

Зверобои долго смотрят ему вслед.

А он идет, высокий, прямой, тощий, и нет износу ни ему, ни его сапогам из белой кожи.

Он не поет сейчас, не смеется в усы, не наклоняется над травинкой и камнем. Он идет на поклон к хозяину тундры, робкий, почтительный, такой, как и тринадцать лет назад, когда впервые шел к деду просить совета, покровительства и благословения. Вот речушка, которую даже на картах называют речкой деда Кураша, вот и жилье.

Дядя Терень тщательно обивает у порога снег с сапог и входит.

Дед Кураш лежит на кровати в чистой белой рубашке, торжественный и светлый. Эта торжественность пугает дядю Тереня, он поспешно снимает шапку, торопливо кланяется.

– А-а! – приветствует его дед Кураш. – Лешак-шалопут пришел! Все ходишь, молодой человек?

– Хожу, Егор Кузьмич.

– А я, брат, лежу.

Бабка Дарья с грохотом ставит горшок в печь.

– Ты не плачь, – сердито говорит ей дед, – не плачь, слышь? Не люблю.

Но бабка и не плачет (она плакать не умеет).

– Каменная, – ворчит дед, – хоть слезу б уронила. Муж ведь помирает. Не кто-нибудь.

– Я те помру, я те помру, черт! – кричит вдруг бабка. – Ишь время нашел!

– Не я, мать, время нашел, – укоризненно, но мягко выговаривает ей дед Кураш. – Это, мать, меня время нашло. Уж в какую глушь я от него спрятался, а вот нашло-таки...

Дядя Терень осторожно подходит к постели и присаживается на табурет. Он хочет закурить трубку, но не решается.

Надо бы что-нибудь сказать, да слов нет. Он вдруг чувствует, что точно: тринадцать лет пролетело, как одна минута... Неужто помрет дед Кураш?

– Да, пожито, – говорит дед Кураш.

Ему хочется поговорить перед смертью, наговориться досыта, надо много сказать: много прожито, много думало было (в тундре думается хорошо), много вызнано, – все надо рассказать, все. И дед Кураш сердечно рад, что пришел к нему человек, пришел послушать старика, – вот и умирать легче.

– Да, пожито... – говорит он, вздыхая. – Пора и того... на тот свет аргишить ^[8].

– Рановато бы еще... – робко вставляет дядя Терень.

– Не рано, молодой человек, чего уж! А прямо скажу: не хочется. Ведь кто помирает, а? Дед Кураш помирает. Здешних мест владетель. А? Так я говорю?

– Так, так...

– То-то! Пришел я сюда, здесь следа человеческого не было. Было это... Эй, Дарья, в котором мы году пришли?

– В девятьсот втором, старик.

– Вишь. Тридцать лет и три года. Пришли мы сюда с бабой да с дитем. Огляделись. Медвежий край. Баба плачет.

– Врешь, не плакала я.

– Плакала. Ты, черт, слезливая. Плакала, тебе говорю.

А я на нее – цыц! Нишкни! Не плакать, дура, надо – петь надо. Ты кто на деревне была? Ты раба была. Всем раба. Помещику – раба. Уряднику – раба. Старосте – раба. Мужу – раба. А здесь? Мы, говорю, с тобой, Дарьюшка, здесь сами помещики, сами цари. Ишь простор какой! От станка к станку сотни верст. А что зверя! Что птицы! И воля! Хошь пей, хошь бей, хошь слезы лей, – все на своей воле.

Он задумчиво опускает голову на грудь и долго молчит.

Дядя Терень боится нарушить его думы и молчит тоже. Бабка Дарья, нахмурившись, стоит у постели и, подперев кулаком подбородок, смотрит на мужа. Ее лицо точно из камня, и глаза сухие, но у губ сложились две морщинки, и в них все: и великая нежность, и великое горе.

– Ты слушай, слушай меня, молодой человек, – вдруг сердито кричит дед Кураш, – ты не перебивай... – Он поводит злыми глазами. Ему кажется, что он все время говорил, а не думал про себя, а его не слушают, перебивают.

– Я и то... молчу, – испуганно оправдывается дядя Терень.

– Не перебивай! Я худому не научу. Не ты один приходил ко мне уму-разуму поучиться. Ты слушай.

И он начинает долгий рассказ о том, как полюбились ему это глухое место, эта речушка и камни на ней, как поставил он избу, а подле избы – капканы, как стал он постигать премудрость тундры и других учить промыслу, как стали к нему люди за советом ходить, а сам он – ездить за умом к ненцам («потому врут, что они – дикий народ, они – самые мудрые люди на земле»), и теперь он может многому научить людей («случись ученый тут, большущие книги мог бы он с моих слов написать»), – да вот умирает, и промысел передать некому.

Народила Дарья ватагу ребят, а где дети?

– Где у нас Сережка, Дарья?

– Сереженька на зверобойке, дед.
– А Петрушка где?
– Петрушка на Мурмане летает.
– А Васек?
– Васек на Челюскинском мысу.
– Шалопуты! – ругается дед. – Шатаются по белу свету, а отец помирает один.

– А ты подожди помирать-то, дед, – вкрадчиво говорит дядя Терень. – Сынов дождись. Я их тебе всех соберу.

– Подождать! Это, брат, молодой человек, не от меня зависит. Это как еще смерть резолюцию положит. Однако сынов дождусь, – говорит он вдруг и решительно обводит всех сердитым взглядом. – Опять плачешь, Дарья? Что ты меня раньше время хоронишь? А ты чего, черт, лешак, приуныл? Разве так деда Кураша привечают? Играй песню, песельник. Ну!

Бабка Дарья в возмущении даже руками всплескивает.

– Ты чего выдумал? – кричит она. – Чего выдумал?

– Играй песню, Терень! – властно приказывает дед, и дядя

Терень, как и тринадцать лет назад, откашлявшись, запевает песню:

Гой ты, тундра бесконечная... Эх!
Нам родная мать – не мачеха... Эх!
Наша волюшка – привольная...
Э-эх!

Дед Кураш слушает его, качает в такт бородой, но голова его все ниже и ниже клонится к подушке. Он закрывает глаза и тяжело дышит.

Дядя Терень испуганно обрывает песню и бросается к старику. Дед что-то шепчет, дядя Терень с трудом разбирает слова:

– Сынам напиши... пусть поторопятся... Не смогу я их долго ждать...

С тяжелым сердцем уходит дядя Терень из избы Егора Курашева. И кажется ему, что и дорога стала труднее, и ноги слабее.

«Тоже ведь смерть не за горами. Все мы подле ее капканов ходим, и неведомо, когда тебя ее давка придавит».

А тундра звенит и поет. Вот и хозяин умирает, а ей дела нет. Все идет своим чередом: вскрываются реки, тает снег, бегут в залив ручьи, нерпа просасывает во льду лунки, все идет своим порядком. Трофимов о новой бане хлопочет, Митяй – об охотничьем ноже, Арсений мучится ревностью, а Жданов – любовью, сосед Настю ждет, чайка кричит, песец бежит, нерпа на солнце греется. И если дядя Терень помрет, все будет ждать свою Настю сосед и обрадуется ей, когда она приедет.

Наконец вдали засинел мыс Лемберова. Здесь последнее зимовье на пути к Диксону.

Так и на карте показано: мыс Степана Лемберова. А ведь Лемберова дядя Терень лично знал, не раз с ним подле спиртишка грелся. Был Степан Лемберов простой человек, тобольский плотник и объездчик собак, прожил долгую бродячую жизнь на севере, участвовал в первой экспедиции Циглера на землю Франца-Иосифа, а потом в экспедиции на «Герте», разыскивавшей Седова, жил на Диксоне, построил баню, а в 1920 году умер. На его могиле и сейчас стоит крест из серого плавника, а на карте напечатано его имя.

И деда Кураша имя есть на карте. Может, и бухточку, где живет дядя Терень, когда-нибудь назовут его именем? Все-таки без следа не исчезнет с земли человек, не растает, как снег весной.

Так, размышляя о жизни и смерти, подходит дядя Терень к избе Повойниковых.

Согнувшись, входит в низенькие сени, распахивает дверь, из-за которой доносятся крики и плач, и попадает в драку.

Не отскочи он в сторону, быть бы старику покойником: мимо него со свистом проносится табуретка, шлепается о двери и разлетается щепками.

Дерутся братья Повойниковы: у младшего лицо исцарапано в кровь, у старшего по губе течет алая струйка, и глаз припух. Бабы визжат и тоже лезут в драку. Баба старшего, худая, злющая, растопырив пальцы, наскокивает на противницу, ее когти страшны; баба младшего, пухленькая, маленькая, в растерзанной кофточке, обороняется, чем может, но больше слезами.

– Мир дому сему! – хмуро произносит дядя Терень и сбрасывает мешок с плеч.

Повойниковы сразу стихают. Бабы поспешно застегивают кофточки, младшая прячется за занавеску. Братья вытирают кровь с лица и смущенно отворачиваются. А он молча проходит к столу, медленно опускается на табурет и кладет на стол руки.

– Весна нонче ранняя, – говорит он, словно ничего не видел. – В Широкой лед сломало третьего дня. Белушатники говорят: нынче у Горла лед. – Он обводит избу равнодушным взглядом: поломанные табуретки, поваленные лавки, люльку, в которой младенец плачет, и тем же тоном спрашивает: – Ну? Чего не поделили?

Старший Повойников – огромный, нечесаный, ленивый мужик страшной, тупой силы; младший – проныра и жулик.

Вероятно, задирает младший. Он же и бывает битым. Жена старшего – баба-ведьма, жена младшего – овца и дура. Вероятно, заводит старшая, она и подзуживает мужа. Все это дядя Терень знает и спрашивает без надежды помирить братьев и их жен.

Младший Повойников первый начинает выкладывать свои обиды. Говорит он визгливым, бабьим голосом, бросая злые взгляды на брата и на его жену. Старший смущенно молчит, за него говорит его жена. Она всех перекрикивает и сыплет на дядю Тереня ворох сплетен, обид, – все это житейские мелочи, все от шершавости быта. Изба – тесная, а люди – колючие, словно ежи в норе.

В таком деле судьей быть трудно. Но дядя Терень честно пытается разобраться во всем.

– Стойте, граждане, – строго говорит он, надев очки. – Давайте по порядку. Так что ты говоришь, Семен, о капканах?

Но его перекрикивают голоса спорщиков, и он, безнадежно махнув рукой, умолкает и снимает очки.

Спор разгорается с новой силой. Визгливо кричит Повойников-младший, размахивает руками и все время обращается к дяде Тереню, бросая косые взгляды на жену брата. Хрипло ругается жена старшего, шипит из-за занавески жена младшего. Наконец и старший Повойников, все время молчавший, не стерпев, бьет кулаком по столу и орет неведомо что, всех перекрывая своей могучей плоткой. Теперь уж быть драке.

Но дядя Терень, про которого в шуме совсем забыли, слышит плач в углу, встает, подходит к люльке, наклоняется к младенцу и говорит сердито:

– Эх, люди, люди! Дите разбудили... Родители!

Оттого ли, что сказал он это с сердцем, оттого ли, что ссора вдруг выдохлась, но Повойниковы сразу стихли.

И во внезапно наступившей тишине слышно, как плачет ребенок. Он плачет настойчиво и обиженно.

У Повойниковых дядя Терень не задерживается. Некогда, да и не хочется.

В сенях младший брат торопливо сует старику записку.

– Пошли телеграмму, – возбужденно шепчет он, – нехай разведут нас с братом. Убьет он меня.

Старший догоняет дядю Тереня уже за мысом. Он снимает шапку и протягивает старику бумагу. Дядя Терень, не читая, кладет телеграмму в мешок.

– Эх, люди, люди! – качает он головой. – Звери в берлоге.

Повойников смущенно опускает лохматую голову.

– Не осуди! – хрипло просит он и разводит руками.

Долог путь до моря сизого... Эх!

Тяжек путь до острова скалистого... Эх!

Где ты, мачта, где, заветная?

Э-эх!

Вот и заветная мачта выплянула из тумана. Вот и черные скалы. А за скалами уж и море сизое. Путь окончен.

Дядя Терень входит в Бухту Диксона. Снег со льда сошел, и бухта – как двор хорошего хозяина, – чистая, точно метлой выметенная. Только в ямках во льду чернеет мусор, но и он сверху покрыт тонкой, прозрачной ледяной коркой... Похоже на стеклянные шары, украшение комодов.

Первым делом дядя Терень отправляется на радиостанцию.

Здесь вытряхивает он свой мешок и наблюдает, как несутся в эфир и заботы Трофимова, и ревность Арсения, и любовь Жданова.

Вот последняя радиограмма отстукана. Теперь дело дяди Тереня – ждать. И слушать.

Он сидит в кают-компании, окруженный полярниками, прихлебывает кофеек из большой кружки, лакомится засахаренным лимоном и слушает. Слушает он жадно, все нужно знать ему: и что на свете делается, и какие караваны идут, и где нынче лед. По целым часам сидит он подле репродуктора, окутанный облаками табачного дыма, подолгу простаивает у карты, на которой флажками расцвечены пути кораблей. Расспрашивает синоптиков, радистов, моряков с зимующего лихтера. С ним люди разговаривают охотно, он умеет и спросить, и послушать, и свое слово вставить. Он ничего не записывает, – такой моды у него нет, он и не знает, что можно новости записывать, но что он услышал и понял, то запомнил прочно. Кок говорит, что дядя Терень совсем «нафарширован новостями», – а старику все кажется, что узнал он мало.

Однако засиживаться на Диксоне нельзя. Весна торопит: ныне она ранняя. Она уже во всей красе: дожди и туманы.

Это и есть полярная весна. Дядя Терень озабоченно прикидывает в уме сроки: обратный путь будет во много раз трудней.

– Летуй с нами, дядя Терень, – предлагают радисты.

– Мне, мил человек, летовать здесь никак нельзя, – отвечает он. – Меня люди ждут.

Однако и уходить никак невозможно. Вот уж со всех концов получены ответы на телеграммы, только от бабенки Арсения все нет и нет.

– Экая бабенка, какая непутевая, – злится дядя Терень, но не уходит с острова, ждет: как без радиограммы к Арсению явишься?

Тоскливо глядит он, как тает под дождем лед на бухте, – он весь уж в дырочках, точно сыр. Почернел и съезжился снег на северных скатах гор. А ответа от бабенки все нет. Пролетел над островом первый косяк гусей, это уж гусь самостоятельный, – а ответа нет. Все сроки вышли, нет и нет ответа. Радисты решили подсобить дяде Тереню в беде.

– Мы ее к телефону вызовем. Врет, явится.

И точно – на другой день дядю Тереня вызвали на рацию.

Он очутился перед микрофоном и услышал женский голос:

– Алло! Я слушаю...

Старик даже растерялся. Ведь это что, ведь это из Москвы голос... Ведь это он сейчас скажет, а в Москве услышат. Тут зряшное слово сказать нельзя, тут весь мир тебя слышит.

– Алло! – нетерпеливо зазвенел в ухе женский голос. – Ну, что же вы не отвечаете?

«Капризная дамочка», – подумал дядя Терень и вдруг рассердился: экая баба! Еще кричит. Лед вот-вот тронется, а тут все сиди, ее листика дожидайся.

– Я мужу вашему сосед... – сказал он в микрофон, не уверенный, что слова его услышат.

– Ах, сосед! Очень, очень рада. Ну, что он, как бедненький мой? Ах, знаете...

– А то, что нехорошо вы делаете, милая дамочка. Нехорошо, – сказал дядя Терень в микрофон и даже головой покачал. – Я тебе это по-стариковски скажу, попросту. Кабы ты дочка моя была али сноха, я б... – и тут диктор дернул его за рукав, и он остановился. – Ну, то-то, – проворчал он.

– Я не понимаю, – сконфузилась бабенка. – Что это вы говорите?

– А то говорю, – сердито закричал в микрофон дядя Терень, – что нельзя так. Муж тебе, баба, не игрушка, вертеть им тоже нечего. Радиограмму получила, сказывай?

– Получила...

– А ответ что же? Я, бабонька, тут прохладиться не могу.

Да и муж ждет. Муж он тебе аль кто?

– Ну, муж...

– А коли муж, уваженье к нему иметь надо. Хоть и муж, а все человек он. Тоже сердце имеет. Не пар. Тебе хаханьки, а он не ест, не пьет... сна решился.

– Я напишу, напишу... – заторопилась женщина, – я сегодня же... Ах он глупый!

– Чего напишу? – закричал дядя Терень. – Нет у меня больше сроку ждать. Ты это понять можешь: скоро лед пойдет.

Лед. А... – махнул он рукой. – Что ей про лед толковать-то...

Радисты, корчившиеся от смеха во время этого разговора, и тут решили подсобить дяде Теренью.

– Гражданка, – сказал в микрофон диктор, – вы продиктуйте радиограмму, а мы ее передадим с соседом.

– Только чтоб хорошую телеграмму, – проворчал дядя Терень. – Плохую не понесу.

Радист стал записывать: «Я жива, здорова, по тебе очень скучаю...»

– Скучаешь, как же, – буркнул старик, – ты еще про кино напиши.

«...очень скучаю... жду тебя не дождусь. Деньги получила, по все уже вышли. Но это ничего, хотя трудно мне. А затем оставайся здоров, себя береги. Целую. Твоя Фрося».

– Нет, нет! – закричал дядя Терень что было силы. – Не беру такую телеграмму. Не беру.

– Что ты, дед? – удивились радисты.

– «Просто целую» не беру. Пушай крепко-крепко, горячо целует, тогда понесу. Шалишь!

– Ну, крепко... крепко... горячо, – пролепетала Фрося в эфир. – Какие вы странные!

Радисты вписали: «крепко-крепко, горячо», и довольный дядя Терень через час шагал со своим мешком за плечами по бухте, трогал лед палкой и пел.

Теперь только бы поспеть домой к большой воде! Дядя Терень идет скорым маршем, где можно – напрямик через тундру, где нельзя – напрямик через залив. Он торопится. Надо успеть опять на все зимовья зайти, все письма раздать и выложить то, что всего важнее, – новости. Капсе, как говорят якуты; пынель, как говорят чукчи.

Великое дело – новости! Человек, принесший новость, – нужный, желанный человек в тундре. Ему – красный угол в избе, ему – почетное место у котла.

Но дядя Терень не чванится новостями, он ими не торгует.

Он щедро раздает их встречному-поперечному, и они, сразу став крылатыми, летят по тундре. Новости важные, нужные: о том, где лед идет нынче, и когда каравана ждать, и чем баржи гружены, и какие люди едут, и какие цены на зверя везут, и какие порядки ожидаются. Все дядя Терень узнал; все, что узнал, роздал.

В избе Повойниковых дядя Терень нежданно-негаданно застал мир. Он глазам не верит: за столом дружно сидит вся семья, лица у всех праздничные, светлые, бабы в розовых кофтах, старший

Повойников причесан, у младшего на лице умиление, царапины позажили.

– Мир дому сему! – бормочет дядя Терень и уж раздумывает, отдавать или нет радиogramмы из конторы.

– Дядя Терень пришел, – радостно визжат обе бабы и тащат старика к столу.

Ничего не понимая, он садится, обводит всех глазами: мир, мир написан на всех лицах, – и, обрадовавшись, поднимает чарку:

– Ну, – говорит он, – чтоб и нам, и вам, и всем добрым людям! – и пьет.

Обед проходит шумно и дружно. Но после обеда младший отзывает старика в сторону и спрашивает:

– Ну как?

– Принес вам развод, – нерешительно говорит старик, – Аль невпопад?

Младший задумывается. Потом говорит!

– Однако давай.

Старик отдает радиogramму из конторы: младшему оставаться на мысе Лемберова, старшему переселяться на зимовье Жданова.

– Это как же? – вдруг громко произносит младший. – Отчего же Ивану ехать? Это и я очень просто могу поехать.

Все в избе настороженно затихают.

– Ишь ты! – криво усмехается младший. – Ивану лафа какая. Промысел Жданова известный, с нашим не сравнить.

Швыряет телеграмму в лицо старшему и шипит:

– Вперед забежал? Ловкой!

Старший Повойников еще и разобраться ни в чем не успел, а жена его уж вцепилась в Семена, а Семенова баба – в него.

Драка вспыхивает сразу, трещат бабы кофты, летят табуреты.

– Стойте! Стойте! – надрывается дядя Терень. – Люди вы аль не люди? – : Он кое-как выбирается из драки, хватает мешок и ружье. – Тьфу! – плюет на пол и скорее вон.

«Что за люди! – недоумевает он, оставшись один. – Тундра широкая, а им тесно...»

Однако некогда размышлять о Повойниковых. Некогда думать. Теперь только смотри да смотри. Лед тончает, забереги стали

огромными, что полыньи, тундра топкая, вязкая, под каждым камнем – лужа, реки вскрылись, разлились, трудная дорога, мокрая.

А времени мало!

«Застану ли еще деда Кураша в живых?» – озабоченно думает дядя Терень.

Деда Кураша он застаёт подле избы. Старик лежит на лавке, греется на солнышке.

– А-а! – встречает он дядю Тереня. – Долго ходишь, молодой человек! Бывало, раньше шибче ходил.

– Оно раньше ноги ходчее были, – шутит дядя Терень, – теперь самоходы мои выходились. Надо себе автомобиль заводить.

– Заведи, заведи. Ну, как сходил? Счастливо?

– Ничего. Приедут к тебе, Егор Кузьмич, сыновья. Ты дождись!

– А-а! – усмехается дед в бороду и не может улыбки скрыть. – Приедут-таки, шалопуты. Испужались. А вот возьму да, не дождавшись, помру. А? – И он смеется своей угрозой.

Дядя Терень начинает выкладывать новости. Сперва государственные, политические.

– Вот в Москве под землей дорогу выстроили, – сообщает он, – называется метро.

Но деда Кураша новости московские не интересуют. Раз и навсегда он ограничил свои интересы делами Арктики. Здесь его изба, его промысел, его дети.

– Ну, как там... какие полеты будут? – спрашивает он.

«Это про Петрушу вопрос», – отмечает про себя дядя Терень и рассказывает о полетах.

– А что про зверя слышать? Как нонче белуха идет, как нерпа, как морж?

«А это про Серегу», – догадывается дядя Терень и рассказывает о зверобойке.

– Так, так, – одобрительно кивает головой дед. – И о полярных станциях слышал? Как нынче на Диксоне? Али, например, на Челюскином мысу?

«А это уж про Ваську», – улыбается дядя Терень и рассказывает про Ваську, то бишь – про станцию на Челюскином мысу.

Вот и все новости выложены. Можно и в путь. Дед сердится, что гость уходит так скоро, он понимает – задерживаться ему нельзя.

– Оставил бы я тебя еще на день, – говорит на расставанье старик, – да ноги нонче у тебя не те. Торопись. К большой воде не поспеешь.

Целый день сеется дождь, мелкий, настырный, и когда дядя Терень добирается до избы Жданова, на нем сухой нитки нет.

Жданов встречает его, как всегда, молча, ни о чем не спрашивает, ведет в избу и, пока дядя Терень сбрасывает с себя мокрую одежду, достает из сундука свою и дает старику.

Потом оба садятся к огню и закуривают.

– Я послал, – кратко сообщает дядя Терень: с Ждановым научишься краткости.

– А-а, – равнодушно отзывается Жданов.

– Ответа наказывал не ждать?

– Ну?

– Я и не ждал, – заканчивает дядя Терень и протягивает к огню ноги в шерстяных ждановских чулках.

Оба молчат и курят.

Слышно, как стучит дождь в окно.

– Однако, – говорит дядя Терень, зевая, – однако писулька тебе какая-то пришла...

Лицо Жданова начинает медленно краснеть. Но он ничего не говорит, не торопит дядю Тереня, только трубкой пыхтит, – трубка, как назло, погасла.

Дядя Терень достает из мешка радиogramму и сует Жданову.

«Я получила ваши розы, дорогой друг. Спасибо от всей души.

Часто и тепло вспоминаю нашу встречу в тундре и еще раз вам, как тогда, скажу: хороший вы, правильный человек. Буду рада вас увидеть в Москве, если случится вам быть там. Сердечный привет. Татьяна Логинова».

Жданов долго, очень долго читает радиogramму и вдруг сам начинает рассказывать о Татьяне Логиновой, о том, как встретил ее в прошлом году, пятого июля, в тундре (она геолог), как посчастливилось ему оказать ей услугу, пустячную, а вот помнит, и как думал о ней с тех пор, всю зиму думал, думает и сейчас...

– В Москву поеду. Попрошу на нее. Только попрошу. И обратно сюда!

– Один вернешься? – будто невзначай спрашивает дядя Терень.

Жданов бросает на него свирепый взгляд и рычит:

– Один! А ты что думал? Один, черт тебя подери!

В избе Трофимова дядя Терень мешок кладет прямо на стол, вся семья собирается вокруг, и старик торжественно раздает подарки: Митяю – книги, хозяйке – сгущенное молоко в банках и скляночки с лекарствами и присыпками из больницы, Трофимову – хозяйственные мелочи.

Митяй вертит в руке книги и смотрит на дядю Тереня исподлобья.

– Ты чего? – спрашивает отец.

– Ничего, – надув губы, ворчит Митяй, – надул...

– Ах да, – говорит дядя Терень, хлопая себя рукой по лбу. – Я и забыл!

И, лукаво улыбаясь, вытаскивает из кармана нож и отдает Митяю.

Подарки розданы, теперь – новости. Трофимову нужно рассказывать обстоятельно. Это не Жданов, не дед Кураш.

С Трофимовым можно долго и смачно говорить о политике. Гадать, будет ли нынче война или нет, и какого урожая ждать в колхозах, и каких цен на зверя.

Как всегда, дяде Тереню не хочется уходить из теплой, домовитой избы Трофимова. Хорошо бы остаться и сидеть вот так у огня, курить, беседовать, слушать, как стучит дождь в окно, как возится девочка в люльке, как повизгивают в сенях собаки. И то сказать, довольно уж он походил на своем веку. Место старика у печки.

Но, рассказав все новости, он встает, выколачивает трубку о каблук, надевает мешок на плечи, прощается и выходит.

Всю дорогу от избы Трофимова до жилья Арсения дядя Терень последними словами ругает Арсеньеву бабенку. Это из-за нее потерял он на Диксоне три дня. Три дня, шутка ли сказать.

Три дня, когда тут каждый час дорог. Час весну делает.

– Вот чертова баба, – ругается старик, перепрыгивая через трещины и проваливаясь по грудь в ледяную воду. – Ох, баба анафемская! Да коли бы ты дочкой моей была б аль снохой – я б...

К жилью Арсения он добирается из последних сил. Все мокро на нем. Он дрожит и от холода и от усталости, проклиная дорогу, бабу и себя за то, что связался с этими делами.

«Ишь, какие дела завелись в тундре: любовь, ревность. Сроду не было. И люди стали беспокойнее, и вёсны хуже, и вода холоднее – до костей пронизывает, да и кости не те (главное – кости не те), что прежде. Все тело ноет. Совсем застудил ты себя, старик. Ах, дела!»

Но когда Арсений, исхудавший, обросший бородою, страшный, нетерпеливо бросается к нему навстречу и кричит: «Ну? Ну? Ну?», старик, стуча зубами от холода, первым делом отвечает ему:

– Принес, принес. Крепко целует. Дай отогреюсь, погоди, отойду...

Но прежде всего он отдает Арсению радиogramму, потому что душа у человека болит всегда сильнее, чем кости.

Арсений вырывает радиogramму из окоченевших рук старика и жадно читает.

– Ишь! Ишь ты! – бормочет он, весь расплываясь в улыбке. – Ишь! – сконфуженно хмыкает он. Вот уж душа и вылечена. А кости – что кости? Кости стариковские, привычные, – отошли и они. Снова можно в дорогу.

– Ты не уходи! Не уходи! – просит Арсений.

Нельзя человеку оставаться одному наедине с горем, но еще труднее – с долгожданной радостью. Теперь только бы говорить, говорить, рассказывать о жене, о том, как она любит его и он ее и как они чудесно жить будут...

– Ты не уходи, дядя Терень, золотой ты человек! – просит Арсений. – Теперь как раз нам выпить следует!

Но старик помнит о соседе, который тоже ждет, Тоже, поди, душой изболелся.

Надо идти. Надо идти.

Сосед стоит на высоком берегу и смотрит в залив. Над Енисеем – рев. С треском взламывается лед, льдины сталкиваются, со скрежетом переворачиваются, бьются; снежная пыль столбом стоит в воздухе.

«Теперь дядя Терень заливом не пойдет! – грустно думает сосед. – Теперь пойдет берегом, в обход. И ждать сегодня нечего».

В последний раз бросает он взгляд на ледоход и вдруг далеко-далеко в заливе замечает одинокую черную фигуру: она мечется среди льдин, прыгает. Сосед всматривается и с ужасом узнает дядю Тереня.

– Дядя Тере-ень! – кричит он испуганно. – Что это ты?

Но старик не слышит. Кругом грохот, рев, треск. Лед ползет из-под ног, прочные ледяные поля вдруг раскалываются в самом надежном месте и заливаются водой, Большая вода идет, большая сила идет, как с ней старику сладить?

– Вот проклятая баба! – ругается он, вспомнив жену Арсения, и мечется по льдине.

До берега еще далеко. А на берегу мечется сосед, невольно повторяя движения старика на льдине, всплескивает руками:

«Ах, беда какая! Что же теперь, а? Пропал старик!»

Вдруг он решается, бежит к лодке, сталкивает в воду, прыгает в нее и, отталкиваясь шестом от льдин, торопится на выручку. Лодка скользит среди ледохода, обломки льдин летят в нее со всех сторон.

– Э-эй! – кричит сосед. – Дядя Терен-ень!.. Подержись!.. Держи-ись!..

Старик замечает лодку.

– Ты зачел!? Заче-ем? – кричит он сердито. – Тебя раздавит, черт!

– Ты держи-ись! – доносится до него.

И старик, ожесточенно сплюнув, прыгает на соседнюю льдину, а с нее на следующую, и еще на следующую, навстречу лодке.

Через полчаса оба шабра^[9] на берегу. Оба мокрые с головы до ног, оба измучены.

– Приедет Настя... – говорит старик, – вот вода пройдет, она и приедет. – И отдает радиограмму.

Сосед, сконфузившись, читает. Дядя Терень глядит, как проносятся мимо льдины с отпечатками его шагов. Они несутся в море.

– Это хорошо, что Настя приедет. А? Как думаешь? – конфузясь, спрашивает сосед. – Человеку без бабы никак невозможно жить.

– Это верно. – соглашается старик. – Такое уж дело, – и смотрит на ледоход.

Соседу вдруг становится стыдно за свою радость.

«Что ж это я, – все о себе да о Насте! Надо и старика спросить».

– Ну, а ты, дядя Терень, что из дому получил? Хорошие вести?

– Из дому, – смеется старик. – А у меня, мил друг, никакого дома нет.

– А родня?

– И родни нет. Бобыль. Как подорожник у межи, один... так-то!

– А кому же ты радиogramму посылал?

– Я? Никому.

– Так ходил ты зачем? – удивленно спрашивает сосед.

Но старик не отвечает.

Идет большая вода – это всего интереснее.

«Значит, поспел-таки!» – думает старик и снимает шапку, словно приветствуя большую воду.

1939

Сергей Владимирович Диковский

Сундук

Они познакомились под Ленинградом в 1925 году. Август Карлович Реймер и Санька Дроздов. Знаменитый мастер фирмы «Цойт» и семнадцатилетний ученик ФЗУ.

На бумажной фабрике в то время шел монтаж немецкой машины. Ее привезли в шестидесяти вагонах, ослепительную, громоздкую и многим еще непонятную. Август Карлович, без которого не обходилась ни одна сборка, ходил по цеху переполненный достоинством. Увидев Саньку, он бесцеремонно спросил:

– Ты откуда?

– Мы осинские, – сказал Санька, не зная, чему удивляться – двухэтажной машине или пестрым гетрам, натянутым на могучие икры баварца.

– Я не спрашиваю жительствова... Где ты учен? Фэзэу? Übersetze nicht! Я буду сам поясняйт.

Он взял ученика за плечо и медленно, точно диктуя, сказал:

– Фэзэу – это школа... Это – fassen, sehen, ubensich!^[10] Понятно?

Дальше «васиздасов» Дроздов еще не ушел. Но молчать не хотелось.

– Ну, а как же! – сказал он поспешно. – Конечно, понятно. Честное слово, понятно!

Лето они провели вместе возле барабанов, медных сеток, массивных станин, и с каждым днем Санька все больше и больше поражался памяти Реймера. Немец знал не только, как разместить все десять тысяч деталей. По скрипам и шорохам Август Карлович угадывал скрытые болезни машин. Он мог определить дефекты, приложив мизинец к подшипнику, а большой палец к волосатому уху.

За тридцать лет работы у Цойта этот грузный, медленный в движениях человек успел объехать полмира. Машины, установленные им в начале столетия в Канаде, Австралии и Норвегии, жили до сих пор, опустошая леса, превращая деревья в бесконечную бумажную ленту.

Реймер любил показывать Саньке листы целлюлозы, ленты папиросной и газетной бумаги, куски искусственного пергамента,

шелка, обрезки бристольского картона. Но интереснее всего был сундук, о содержимом которого можно было только догадываться. Тяжелый, обитый лакированной жестью, он был залеплен десятками ярлыков отелей и багажных бюро. Говорили, что сундук набит монтажными схемами всех цойтовских машин, что Август Карлович копил уникальные технические книги и атласы.

В те годы многие из технических секретов приходилось угадывать на ощупь, поэтому содержимое сундука в глазах заводской молодежи разрослось до гиперболических размеров.

Несколько раз Дроздов разговаривал с Реймером о сундуке, но неизменно встречал округленные удивлением глаза. За три месяца совместной работы Август Карлович ни разу не развернул перед учеником монтажную схему, не объяснил, как читаются синьки. Он нехотя прибегал даже к помощи карандаша, точно боялся оставить хотя бы тень своих знаний.

Последний разговор был перед отъездом немецких монтажников.

– Август Карлович, – сказал Санька дипломатично, – вот вы по специальности почти инженер.

Реймер подозрительно покосился, но ничего не сказал. Санька замялся.

– Хорошо бы обменяться опытом, – заметил он нерешительно.

– Прекрасная идея... Дальше.

– А разве непонятно?

Август Карлович усмехнулся.

– Нет. Я догадался... Любопытство есть стимул в работе для каждый молодой человек. Так?

– Так.

– Значит, я не могу ничего вам показывать. Я боюсь лишайт молодой человек такой ценный стимул.

– А вы не бойтесь.

– Каждый человек должен кушать из свой тарелки, – сказал Август Карлович наставительно.

...Они расстались зимой 1926 года, и только через несколько лет на имя Дроздова пришло письмо из Мельбурна.

Саньки на заводе уже не было – конверт переслали в Ленинград студенту первого курса Дроздову Александру Борисовичу. Реймер

жаловался на жару и рассказывал, что смонтировал пятьдесят шестую ротацию.

– Fassen, sehen, ubensich! – сказал Дроздов, вспомнив разговоры с Августом Карловичем. Впрочем, немец тут же вылетел у него из головы. Шли зачеты, приближалась летняя практика. Август Карлович не дождался ответа.

Только через десять лет на одном из уральских заводов они встретились снова. Технический директор Дроздов и старый цойтовский мастер.

Август Карлович достаточно много ездил, чтобы ничему не удивляться. Увидев вместо перепачканного тавотом парня бритоголового здоровяка за директорским столом, он спокойно сказал:

– Поздравляю с блестящей карьера.

– Sie wollten sagen – mit Forwachsen^[11], – ответил Дроздов.

Август Карлович начал сборку своей семидесятой машины. Старые мастера, знавшие Реймера еще до революции, нашли, что немец мало в чем изменился. Те же сизые щеки, стриженная проволока усов и оплывшие веки, даже тот же суконный картузик с наушниками.

Удивительнее всего, что сохранился и знаменитый сундук. Облепленный ярлыками, он стал еще ярче. Каждая страна оставила на его боках свой отпечаток. Были здесь пальмы, автомобили, орлы, китайские иероглифы, следы таможенного сургуча, наклейки польских гостиниц.

Сундук был водворен в гостиницу, и Август Карлович приступил к монтажу. Теперь дело шло много легче, не приходилось торопить и объяснять элементарных вещей. Здесь было много опытных мастеров, прошедших школу на Балахне и Сяси. Знаменитая цойтовская модель, названная в преискурантах «Левиафаном», была смонтирована в течение месяца.

Наконец все было закончено. Уборщицы вымыли кафельный пол. Закатав рукава, сеточки стали к машине.

Реймер открыл вентиля, забормотала вода, стал слышен шепот пара.

Машина нагрелась, ожила. Барабаны пошли быстрее. Наконец первые хлопья целлюлозы легли на сетку.

Через час возле «Левиафана» стало жарко. Сушильщики работали в одних рубашках. Они бережно принимали узкие серые полосы бумаги и вели их через барабаны. Лента бежала со скоростью сто пятьдесят метров в минуту, но никак не могла добраться до последнего вала. Она то расползалась влажными хлопьями, то, перегревшись, гремя скатывалась с барабана.

Машина шла полным ходом. Наладчики едва успевали отбрасывать обрывки ленты, еще наполненные влагой и теплом. Бумага заваливала проходы. Ее отшвыривали, сгребали, уносили в мешках и корзинах. Она снова сбивалась в высокие рыхлые горы.

Наступила ночь. Из цеха вынесли пять вагонов разорванной в ключья бумаги. Старики наладчики отказались уступать места смене. Люди упрямо подхватывали и вели куски ленты, и так же упрямо барабаны стряхивали со своих сверкающих боков обрывки бумаги.

Дроздов спокойно наблюдал эту затянувшуюся схватку. Похожие случаи бывали и раньше на Балахне. Никогда еще «Левиафаны» не заводились сразу, как тракторный движок.

Немец рысью бегал по трапам. Жесткие усы его топорщились вызывающе, хотя мешки под глазами изобличали усталость. За последние сутки он отошел от машины только один раз, чтобы побриться и выпить стакан кофе. Август Карлович ни с кем не разговаривал, не советовался. Вооруженный тяжелым американским ключом, он продолжал терпеливо настраивать «Левиафан».

На вторые сутки, пробегая мимо Дроздова, немец сказал сквозь зубы:

– Dieser Schurke ist vollständig!^[12]

Лысый череп его взмок от жары и волнения. Третий котел бумажного варева шел вхолостую. Дроздов остановил старика.

– Август Карлович, – сказал он тихо, – я не навязываю вам совета. Машину сдаете вы, но мне думается, у верхних барабанов нарушена синхронность. Проверьте еще раз передачи.

Это был верный совет. К вечеру на площадках «Левиафана» стояло только четверо рабочих. Мимо них плавно бежала широкая лента.

Август Карлович стал собираться домой. Незадолго до отъезда Реймера пригласили в заводской клуб на вечер. Награждали монтажников, и в длинном списке, оглашенном рупорами на весь

поселок, стояла фамилия Августа Реймера. Впрочем, больше, чем конверт с деньгами, Августа Карловича взволновал собственный портрет, вывешенный на видном месте в фойе. Мастер несколько раз прошелся мимо фотографии, делая вид, что прогуливается.

На следующий день секретарша предупредила Дроздова:

– К вам немец. В новом костюме и надушен даже.

Август Карлович уже стоял в дверях. Он снял картузик и поклонился неуклюже и церемонно.

– Я хотел бы выразить вам свою благодарность, – сказал он нерешительно.

Директор был вдвое моложе мастера, он взял старика за плечи и усадил в кресло.

– Лучше не выражайте, – сказал он смеясь. – Бумага идет? Идет. Премия получили? Получили. Все ясно.

– Нет, не все... Я хочу вас приглашать к себе на небольшой секрет. Сегодня... Сейчас.

– Почему же не здесь?

– Прошу вас, – сказал Август Карлович, приложив огромные ладони к жилету.

Они молча оделись, перешли площадь и поднялись на второй этаж гостиницы, где жили немецкие консультанты.

Войдя последним. Август Карлович повернул ключ в замке и спустил шторы.

– Ого, – заметил директор, – значит, секрет?

Август Карлович не расслышал.

– Да, да, – сказал он, – скоро я буду в Германии. У меня в Лейпциге семья – вы понимаете?

Август Карлович наклонился и вытащил из-под кровати знаменитый сундук. Мастер заулыбался ему, как старому другу, он снял пиджак и погладил сундук по крутой спине.

Замок был старинный, со звоном, каких уже не делают в Золингене. «Тилим-бом!» – сказал сундук, распахиваясь, и директор с любопытством взглянул через плечо Августа Карловича.

Это была вместительная копилка технического опыта – целая библиотека, завернутая в толстую сахарную бумагу. Объемистые справочники лежали рядом с чертежами цойтовских машин и старинными словарями с фотографиями канадских заводов. Были

здесь еще складные, метры, респектабельные прейскуранты, готовальня, лекала и даже образцы целлюлозы, похожие на тонкие вафли.

Дроздов с любопытством разглядывал все это аккуратно разложенное по стульям богатство. Но чем дальше опорожнялся сундук, тем скорее любопытство директора сменялось разочарованием. Все, что вчера представляло огромную ценность, сегодня уже превратилось в историю.

– Вот, – сказал Август Карлович великодушно, – пусть кто-либо берет и пусть читайт.

Дроздов засмеялся.

– Стриженому расчесок не дарят. Лет бы пять назад мы вам во какое спасибо сказали!

– А сейчас?

– Поздно, Август Карлович, теперь это... как бы сказать, вроде сундука Полишинеля.

– Это вы серьезно? – спросил немец, опешив.

– Вполне. Спокойной ночи, герр Реймер.

Дроздов простился и вышел. Август Карлович машинально сложил книги и захлопнул сундук. «Тилимбом!» – сказал замок насмешливо.

Пинком ноги Реймер отшвырнул сундук под кровать и подошел к окну.

В старом сосновом лесу, окружавшем завод, горели сильные лампы. Строители не успели поставить столбы, поэтому белые шары висели на разной высоте среди сучьев и хвой.

Август Карлович надел шубу и вышел на улицу. На просеке, возле пакгауза, стоял длинный товарный состав. Парень в буденовке и лыжном комбинезоне просовывал стропы под квадратный, должно быть, очень тяжелый ящик.

Август Карлович тронул грузчика за плечо.

– Что это?

– А кто его знает, – сказал парень, не отводя глаз от груза. – Каландр какой-то, шестьдесят вагонов – одна машина.

– Гамбург?

– Нет, Ленинград.

Август Карлович снова вспомнил о вежливой улыбке директора. Досада росла, как изжога.

– Сундук Полишинеля, – сказал он громко. – Natürlich^[13]. Да, это есть опоздание.

Грузчик хмуро взглянул на пожилого человека в расстегнутой шубе.

– Опоздали, опоздали... – сказал он, озлясь. – Вся ночь впереди...

И, отвернувшись, громко добавил:

– Вот вредный толкач!

1937

Михаил Михайлович Пришвин

Весна света

Ночью снежинки при электричестве рождались из ничего: небо было звездное, чистое.

Пороша складывалась на асфальте не просто как снег, а звездочка над звездочкой, не сплющивая одна другую. Казалось, прямо из ничего бралась эта редкая пороша, а между тем, как я подходил к своему жилищу в Лаврушинском переулке, асфальт от нее был седой.

Радостно было мое пробуждение на шестом этаже. Москва лежала, покрытая звездной порошей, и, как тигры по хребтам гор, везде ходили по крышам коты. Сколько четких следов, сколько весенних романов: весной света все коты лезут на крыши.

И даже когда я спустился вниз и проехал по улице Горького, радость весны света меня не оставила. При легком утреннике в лучах солнца была та нейтральная среда, когда пахнет самая мысль:

подумаешь о чем-нибудь, и этим самым запахнет.

Воробей спустился с крыши Моссовета и утонул по шею в звездной пороше. Он до нашего прихода успел хорошо выкупаться в снегу, а когда ему из-за нас пришлось улетать, то от ветра его крыльев разлетелось вокруг столько звездочек, что кружок почти в целую большую шапку почернел на асфальте.

– Видели? – сказал один мальчик трем девочкам.

И дети, плядя вверх на крышу Моссовета, стали дожидаться второго слета веселого воробья.

Весна света согревается полднями. Пороша к полудню растаяла, и радость моя притупилась, но не исчезла, нет! Как только замерзли к вечеру лужи, запах вечернего мороза опять вернул меня к весле света.

Так вечерело, но голубые вечерние звезды не показались в Москве: все небо оставалось голубым и медленно синело. На этом новом голубом фоне в домах там и тут вспыхивали лампы с разноцветными абажурами; никогда этих абажуров в сумерках не увидишь зимой. Возле полузамерзших луж от растаявшей звездной пороши всюду слышался детский восторженный крик, детская радость наполняла весь воздух. Так дети в Москве начинают весну, как в деревне начинают ее воробьи, потом грачи, жаворонки, в лесах

тетерева, на реках утки и кулики на болотах. От детских весенних звуков в городе, как все равно от птичьих криков в лесах, мои ветхие одежды с тоской и гриппом вдруг свалились. Настоящий бродяга при первых весенних лучах и вправду часто бросает свое тряпье при дороге...

Лужи быстро везде замерзали. Одну я попробовал ткнуть ногой, и стекло разлетелось вдребезги с особенным звуком: др...

др... др... Бессмысленно про себя, как это бывает у стихотворцев, стал я повторять этот звук, прибавляя подходящие гласные: дра, дря, дри, дриаи. И вдруг из этой бессмысленной дряни вышла сначала любимая моя богиня Дриана (душа дерева, леса), а потом и Дриандия, желанная страна, в которую еще утром при звездной пороше начал я свое путешествие. Я так этому обрадовался, что несколько раз вслух, пробуя на звучность, повторил, ни на кого вокруг не обращая внимания:

– Дриандия.

– Что он сказал? – спросила одна девочка у другой позади меня.

– Что он сказал?

Тогда все девочки и мальчики с другой лужи бросились догонять меня.

– Вы что-то сказали? – спросили они меня все разом.

– Да, – ответил я, – слова мои были такие: «Где тут Малая Бронная?»

Какое разочарование, какое уныние произвели мои слова:

оказалось, что мы и стояли-то как раз на этой Малой Бронной.

– Мне кажется, – сказала одна маленькая девочка с плутовскими глазами, – вы что-то совсем другое сказали.

– Нет, – повторил я, – мне нужна Малая Бронная, иду к моим хорошим знакомым в дом номер тридцать шесть. До свиданья!

Они остались в кружке, недовольные, и, наверно, сейчас обсуждали между собой эту странность: было что-то вроде как бы Дриандия, и оказалось – обыкновенная Малая Бронная!

Отойдя от них на значительное расстояние, я остановился у фонаря и громко им крикнул:

– Дриандия!

Услышав это во второй раз, уверившись, бросились дети с дружным криком:

– Дриандия, Дриандия!

– Что это? – спросили они.

– Страна вольных сванов, – ответил я.

– А кто они?

– Это, – начал я спокойно рассказывать, – люди не очень большие ростом, но сильно вооруженные.

Мы вошли под черные, старые деревья Пионерских прудов.

Большие матовые электрические фонари, как луны, показывались нам из-за деревьев. Закрайки пруда были покрыты льдом.

Одна девочка попробовала стать, лед затрещал.

– Да ты с головой уйдешь! – крикнул я.

– С головой? – засмеялась она. – Как то – с головой?

– С головой, с головой! – повторили ребята.

И, прельщенные возможностью уйти с головой, бросились на лед.

Когда же все кончилось благополучно и никто с головой не ушел, дети опять явились ко мне, как к старому своему приятелю, и попросили еще рассказать о маленьких, но сильно вооруженных людях Дриандии.

– Люди эти, – сказал я, – всегда держатся по двое. Одни отдыхает, а другой везет его на салазках, и оттого время даром у них не пропадает. Они во всем помогают друг другу.

– А зачем они сильно вооружены?

– Они должны охранять от врагов свою родину.

– А почему они на салазках, у них вечная зима?

– Нет, у них всегда, как вот теперь у нас, – ни лето и ни зима, у них всегда весна света: лед под ногами хрустит, иногда проваливается, и тогда бедные сваны уходят под лед с головой, другие их тут же спасают. Голубые звезды вечером у них не показываются: небо у них такое голубое, светлое, и, как только вечер, везде в окнах загораются разноцветные лампочки.

Я им рассказывал то самое, что бывает в Москве весной света, как сейчас, и никто из них не догадывался, что моя волшебная Дриандия находится тут же, в Москве, и что так скоро за эту Дриандию мы все пойдем на войну.

Выходные данные

ПОД ЧИСТЫМИ ЗВЕЗДАМИ
Советский рассказ тридцатых годов

Составитель
ДИНА ГРИГОРЬЕВНА ТЕРЕНТЬЕВА

Заведующая редакцией Л. Сурова
Редактор Н. Рылькикова
Художественный редактор Э. Розен
Технические редакторы Н. Привезенцева, Г. Бессонова
Корректоры Т. Семочкина, Н. Кузнецова, В. Чеснокова

Сдано в набор 24.11.82. Подписано к печати 30.03.83.
Формат 60 x 84 1/16. Бумага типографская № 3.
Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая.
Усл. печ. л. 29,88. Усл. кр. – отг. 30, 52. Уч. – изд. л. 30,08.
Тираж 100 000. Заказ 2916. Цена 2 р. 50 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Московский рабочий».

101854, ГСП, Москва, Центр, Чистопрудный бульвар, 8
Ордена Ленина типография «Красный пролетарий».
103473, Москва, И-473, Краснопролетарская, 16

notes

Примечания

1

Начнем! (франц.)

2

Капитан в кожаной куртке (франц.)

3

Так (франц.)

4

Это мое последнее слово (франц.)

Барак – на Дону – луг. (Прим. автора.)

6

Падырка – письмоцо (ненецк.)

7

Матица – центральная балка избы

Аргишить – кочевать

Шабер – сосед

10

Понимать, смотреть, упражняться!

вы хотели сказать – с ростом

Эта шельма взбесилась!

разумеется